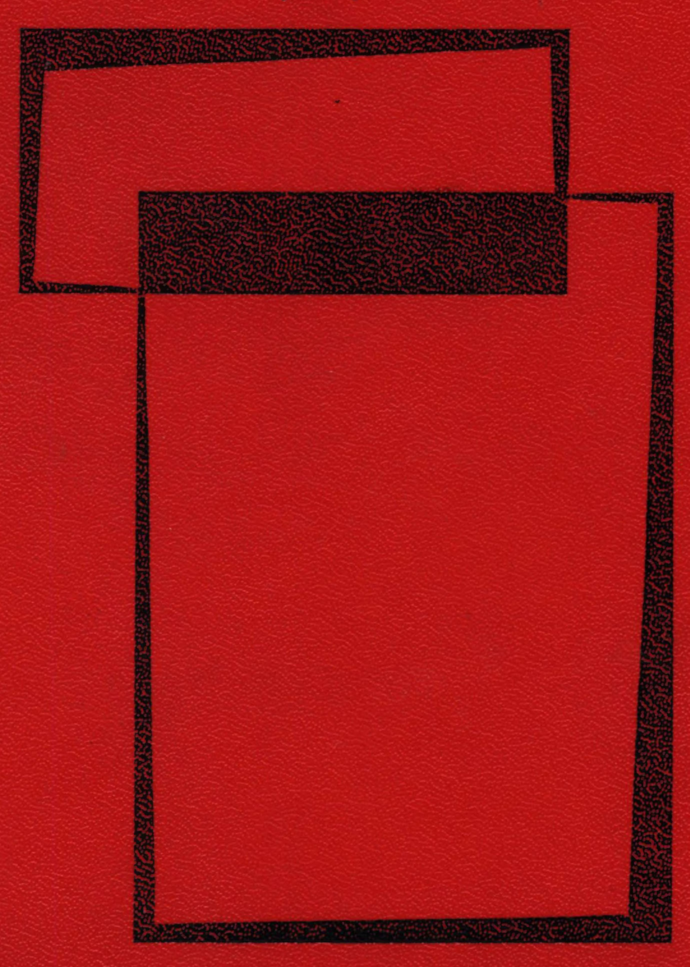
ИЗБРАННОЕ

НИКОЛАЙ РОДИЧЕВ



НИКОЛАЙ РОДИЧЕВ

ИЗБРАННОЕ

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

«Современник»
Москва • 1985

Р2
Р60

Р $\frac{4702010200-229}{М106(03)-85}$ КБ—4—37—85

ББК84Р7
Р2

О ПРОЗЕ НИКОЛАЯ РОДИЧЕВА

В советской русской литературе давно звучит внешне не броский, но искренний и честный голос Николая Родичева. Тема его творчества — «Земля, а на ней человек...». И в каждом рассказе, в каждой повести писатель без устали повторяет, что человек украшает или должен украшать землю, но человек может только тогда считаться настоящим Человеком, если в душе его живут благородные начала, а в нравственных принципах, которые он исповедует, заложены категории добра и справедливости, простоты и мудрости, идущие от многовекового опыта народной жизни и выражающие духовную суть народа. Но писатель не однообразен, как может показаться в связи с вышесказанным, в каждом произведении создает совершенно новый образ, тип. Так старый дед Евдоким из рассказа «Конопляный бог» совсем не похож, скажем, на Алимушку («Алимушкины полушубки»), хотя тема тут вроде бы одна и та же — это произведения о народных умельцах, о их золотых руках. Но психология мастерового Алимушки и земледельца Евдокима совершенно различна и точно отражает ту среду и тот быт, в котором пришлось жить каждому из них.

Также вроде бы на одну тему написаны повести «Цветы отцу» и «За сиреневыми звездами». Оба произведения повествуют о людях и тех жизненных обстоятельствах, которые уводят главных героев куда-то в сторону от истинно человеческого предназначения, о нравственно-социальных категориях, заставляющих этих героев все-таки свернуть с гибельного пути, обрести в себе силы для решительных поступков, после которых открывается горизонт и земля видится в ее истинно-прекрасном цвете. Но «отрицательные» и «положительные» персонажи этих произведений — каждый со своим неповторимым характером, каждый — своеобразный литературный тип.

Здесь хотелось бы только обратить внимание на следующее. Я давно приметил одну особенность творческой сущности Николая Родичева: ему лучше удаются персонажи положительные. Посмотрите, как написаны бывший моряк, а ныне хлебороб Симон Аверьянович Подузов, его жена Настена, колхозный механик Епифан Павлович! Последнему-то вроде и строк уделено немного, эпизодический персонаж, но такая в нем нравственная сила, так мастерски он нарисован, что запоминается сразу и накрепко. Мне же, как читателю, конечно, важнее понять и узнать истоки высокой нравственности и человеческой целомудренности в Симоне Аверьяновиче, в Насте и Епифане, чем истоки духовной гнили Лии Ивановны. С первым писатель справляется, к счастью, превосходно. Видимо, потому, что знает

своих героев не понаслышке, живет среди них и не только их любит, но понимает и приветствует цели и смысл их бытия.

В рассказах «Не отверну лица», «Егор Ильич», «Только одного фашиста», «Огонь на себя», «Лада-ладушка» повествуется о том, как действуют в трудные времена, в критические моменты, в минуты смертельной опасности, люди, живущие по заповедям народным. И здесь Н. Родичева в первую очередь интересует — что же, какие же стороны характера, какие идейные и нравственные силы делают человека несгибаемым, заставляют достойно перенести тяготы и лишения, совершать подвиг? Писатель отыскивает в человеке главное, ради чего тот родился, просвечивает человека насквозь и как бы говорит, смотрите и думайте, ведь на таких, внешне, может, и неприметных, людях, как Семен Малов («Огонь на себя»), мальчишка-подросток Егорка («Егор Ильич»), простая женщина Арина Никитишна («Лада-ладушка») и т. д. и т. п., держалась, держится и впредь будет держаться наша земля.

Особенно характерна в этом отношении повесть «Стоял старик на обочине». Не сладко сложилась жизнь главного героя этого произведения Захара Бондарева. Жил он до войны в деревне Тереховке скромно и неприметно, делал потихоньку свое крестьянское дело. В войну стал прославленным на всю дивизию разведчиком. В одном поиске в тылу врага потерял друга своего Михаила. А потом узнал страшную весть — немцы сожгли его Тереховку, погибла там и жена с детьми...

Но нашел в себе силы этот человек не согнуться под тяжестью горя. После войны приехал в ту деревню, где жила жена погибшего фронтового друга, стал помогать ей воспитывать детей.

Так и жил он, без шума и грома, неприметно, работая простым плотником, не кичась полутора десятками своих фронтовых наград, среди которых было три ордена Славы. В свободное время деревья сажал на обочине дороги, землю украшал.

Так бы он и умер в неизвестности, совершив незаметно настоящий человеческий подвиг. И только случайность помогла узнать бойцам и командирам расквартированной по соседству воинской части, что за старик жил рядом с ними...

Как видим, снова и снова Н. Родичев возвращается к своей любимой теме «Земля и на ней человек...». И будет, конечно, разрабатывать ее впредь, потому что тема эта необъятна, как сама жизнь.

Анатолий Иванов,
Герой Социалистического Труда

РАССКАЗЫ

АЛИМУШКИНЫ ПОЛУШУБКИ

Случалось это в предзимье. Застуденит с тонким присвистом ветерок; корочкой возьмутся проселочные тропы, затянет морозец бархатным ледком копытные следы, а иногда и первым снежком потрусит сверху — в эту пору появлялся в нашей деревне гость.

Был он уже немолод, сутуловат, ходил вприпрыжку, с подволоком левой ноги, перебитой на японской войне. От прочих пожилых людей в округе отличался тем, что сам себе укорачивал бороду и носил, подобно священнику, очки.

Все его звали Алимушкой и не помнили отчества. Никто не знал, сколько ему лет, откуда родом, где пропадает до холодов. Хорошо известно было лишь то, что Алимушка немало годков оттрубил в царской армии. В японскую войну под Мукденом был тяжело ранен и получил Георгиевский крест. После излечения в госпитале уже не мог возвратиться в строй и остался в родном полку портным.

Старик любил, когда его называли солдатом или просто служивым.

В деревню гость предпочитал захаживать без провожатых, от случайного попутчика освобождался хитростью: притворится усталым или свернет в ложбину по нужде.

Особая радость звучала в голосе отставного воина, когда он, опершись на клюку и сбросив под ноги холщовую котомку с инструментами, певуче возвещал от крайней избы о своем приходе:

— Полушубки!.. Эй, кому шить полушубки!..

Занятые нескончаемыми докучливыми заботами, сельчане за летнюю страду успевали забывать про швеца. Но, будто по команде, хлопали калитки, со скрипом распахивались двери. Одетые наспех, а то и босиком, чтобы не отстать от сверстников, мальчишки высыпали на дорогу, и крикливый их табунок окружал пришельца.

— К нам, дядя Алимушка! Нет, к нам!.. И мы вас ждем!

Швец неторопливо развязывал котомку и одаривал детей тульскими жамками, которые, как и все его вещи, пах-

ли овчиной. Потом он в окружении ребятни обходил изогнувшуюся по взгорью кривую улицу, останавливаясь у каждой избы. Кому степенным поклоном, а кому и соленой прибауткой он отвечал на приветствия. Успевшие принарядиться — мужчины в новых рубахах, женщины в цветастых полушалках — на разные лады шумели у распахнутых дверей:

— Не обойди мово двора, куманек!

— Заждались тебя, Алимушка!..

Самая расторопная из женщин выносила швецу березовый веник. Путник, крякнув от удовольствия, с превеликим тщанием обметал свои лапотки.

— Отлетай пыль-дорога у этого порога, а тебе, молодушка, что ни гость, то подмога...

Старый солдат переступал порог и с этой минуты считал свой марш оконченным. У догадливой хозяйки он мог выпить чарку и отобедать, но это не означало, что изба для продолжительного постоя найдена.

Привечать Алимушку считалось большой честью в любом доме. Ради него резали поросенка или барана, гостю стелили лучшую постель. Домочадцы наряжались по этому случаю в праздничные одежды, а сама хозяйка развешивала по стенам вышивку. Гость не брезговал принять в дар пару чистого белья, не отговаривал, если добрые люди топили для него баню.

За право приютить у себя швеца шли раздоры. Но Алимушка предпочитал выбирать себе место для работы сам. Чаще всего это был дом моего деда Данилы — человека чудаковатого и беспечного, любившего прихвостнуть, крепко знавшего свое плотницкое ремесло.

Сразу после молотьбы дед Данила выдалбливал в земляном полу избы три глубокие ямы, закреплял в них рядок толстых кругляков. Затем настилал на этих кругляках подобие нар или помоста. Для работы Алимушке хватило бы и обыкновенного стола, но дед знал: от любопытных не будет отбоя.

Поглядеть на швеца, послушать бывальщину о житье в других селениях, его рассказы о войне сходились и стар и млад. Поэтому настил из свежих, гладко выструганных досок тянулся через всю избу — от иконного угла до порога. Не было случая, чтобы Данила употребил для этого сооружения прошлогодние доски или не обстругал их добела. Нередко гость, чтобы не стеснять хозяев дополни-

тельными заботами о ночлеге, использовал этот помост как исполинскую постель, застлав его овчинами.

Швец приступал к делу не торопясь. Он выпивал рюмочку, сытно обедал, любил даже полежать немного после еды. Не обращая внимания на публику, которая к вечеру постепенно заполняла богатырское застолье, Алимушка размашисто крестил лоб, со строгим выражением лица сотворял шутливую молитву:

Поклон тебе, боже,
За добрые кожи,
Божьему сыну
За мягкую овчину,
Хозяину за привет,
Хозяюшке за обед.

Минуту и две он потом прохаживался по избе, не отвечая на добродушные реплики местных остряков. Когда он подходил к столу, лицо становилось одухотворенным; серые выцветшие глаза вспыхивали задорным блеском, как у артиста, готовящегося к импровизации.

Наконец наступала долгожданная минута. Алимушка засучивал выше локтя рукава, повязывал через лоб тесемкой волосы, чтобы не спадали на глаза, и небрежно швырял на стол овчину. Резкими, точными, размашистыми движениями он рассекал ее на несколько кусков по известным только одному ему мысленно начертанным линиям. И пускал в ход иглу.

Обычно неторопливый Алимушка за рабочим столом становился совсем другим. Толстая, сверкающая в неярком свете керосиновой лампы игла описывала в воздухе замысловатые круги, исчезала в густых складках кожи, появлялась вновь. Руки швеца танцевали, кипели над шитьем. Овчина ворошилась, как живая, дышала под этими руками.

На глазах у изумленных, притихших людей разбросанные по столу куски и лоскутья сращивались, соединялись навсегда и в таком порядке, что овчина становилась красивой, ладно сшитой, ласкающей глаз обновкой. Не дай бог, если кто-нибудь в это время кинется помогать Алимушке и в чем-то нарушит строгий порядок на столе. Разве хозяйка догадается чистым рушником отереть повлажневший лоб мастера, да такой заботе своя пора.

Вот, откусив нитку зубами, простукав деревянным молотком швы, Алимушка вскидывал свое детище на руке и щедрым взмахом кидал полушубок по длинному столу.

Десятки рук устремлялись навстречу обновке, каждый норовил подержать ее перед глазами, прежде чем она попадала в цепкие руки заказчика.

Брат моего отца, рыжеватый рослый парень Моисей, не очень сдержанный на слова, как-то сказал, обращаясь к соседу:

— Подумаешь, полушубок! Вот надену — и разойдется по швам.

Эти слова услышал Алимушка. Закончив работу, он подошел к Моисею:

— На, разорви, щенок!

Моисей, покраснев от обиды, стал напяливать только что снятую с иголки одежду. Дед Данила пытался урезонить Алимушку:

— Брось, служивый, с дураком тягаться!

— Рви, если сможешь! — упорствовал швец. — Я плачу за овчину!

Моисей с глуповатой ухмылкой застегнул на все крепушки нарядную обновку и шумно потянул в себя воздух, расправляя плечи. Однажды он согнул на своей груди стальной ломик, но тут, как ни приседал, перекашивая плечи, добиться своего не мог.

— Рвите вдвоем! — подзадоривал Алимушка.

Моисей сбросил полушубок, взялся за рукав. Его ровесник Демьян Сорокопуд ухватился за полу. Парни забегали по избе, как бы отнимая полушубок друг у друга, изо всех сил тянули каждый к себе, дергали рывками. Наконец Моисей полетел в угол, к лохани, зажимая в руке кусок полушубка.

Все ахнули: рукав лопнул по целику!

Торжествующий Алимушка тут же притачал новый рукав и, подбросив свое изделие к потолку, крикнул:

— А ну, кто поймает?

Дождался своей очереди заказчик Савелий Князьков. Он поднес к столу и расстелил перед мастером большую овчину, которую все время держал под мышкой, скатав ее в трубку. Швец поправил тесемку на лбу и взялся было за ножницы. Но вдруг отложил инструмент в сторону:

— Надсмехаться над своим однополчанином вздумал, Савелий? Ни во что ставишь меня перед добрыми людьми! Овчина-то твоя ползет, как тесто. А одежда готовится не на один год. Не только для сугреву — ради красоты человеку я служу! Не удержит твоя овчина моих ниток — как струны они у меня!

Пристыженный Савелий тут же удалился, позабыв овчину, сброшенную на пол разгневанным мастером.

— Гляди-кось, бабка Алена, швец из твоей овчины черта стачал!— выкрикивал какой-нибудь озорник, чтобы разрядить неловкую обстановку. Из-под вороха порезанной кожи высовывались застежки, похожие на заячьи ушки.

— Цыцте, окаянные!— шумела с печки бабушка.— В урочный час нечистого не гневите... Алимушка — святой человек, безродный кругом... Всейный он наш, богом для угождения людям послан...

Швец относился к такому заступничеству безучастно.

— Бога не видывал, про черта только слыхивал, а вот домовой мне сродни доводится...

— Ой ли?!— испуганно воскликнула, услыхав такое, Настя Бородина, сидевшая поблизости от Алимушки.

— А то как же думаешь: вышел за деревню — и к облакам короткими перебежками? Я в овчинах у вас летом живу на потолке...

Швец, округлив глаза, испытующе уставился на Настю поверх очков.

— Хочешь, крестница, я прилюдно все твои секреты объявлю: сколько ты перемен белья своему суженому приспела, какой узор на свадебной сорочке выбила?..

— А вот скажи!— осмелела девушка.

— Так вот: четыре рубашки, да портов столько же, да онуч тринадцать аршин... Сукна на новый зипун...

Настя ликующе возразила:

— Ой, обмишулился, папаня крестный! Не в лад сказал!

— Одну вышиванку успела подарить тайком от матери и подружек,— не сдавался Алимушка.— Хочешь скажу, как жениха звать?

Девушка, будто поперхнувшись, смолкла. Застолье взорвалось смехом.

— Крой подчистую, Алимушка! До конца говори... И про Евменью рассказывай, и про Катьку.

Рябая дебелая Катька, прозванная в деревне Воеводой, взмолилась сразу:

— Дядечка, милый, обо мне ни слова. Я верю, что ты домовой...

Раззадоренные мужчины кричали:

— И ведьмов наших небось знаешь наперечет?

— С ведьмами я в сговоре,— важно ответствовал швец.

На этот раз вступила в разговор бабка Алена, недо-

вольная отношением самого Алимушки к ее заступничеству.

— Не беда бы в нашей деревне — так он в Сусловке, угодничек божий, ведьмашку завел: к солдатке Домахе пристроился, чаевать к ней ходит...

Эта разоблачительная фраза, произнесенная хворой бабкой, уже давно не слазившей с печи, подняла на ноги всех в избе. Вздрогнул швец, на миг остолбенел. Очки свалились на щеку. Неистовый хохот гремел за длинным столом. Алимушка перекусил зубами суровую нитку и часто заморгал подслеповатыми глазами. Всем стал заметен испуг, хотя солдатская находчивость тут же пришла ему на помощь.

— Напраслину гнешь, кума,— поправляя очки, заметил он.— Домаха — баба честная, рукодельем ее любуюсь.

— Знаю я Домахино рукоделье!— подливала масла в огонь внезапно поздоровевшая бабка.

Мужики мудрствовали:

— Вот тебе и домовой... А Домахин-то Митька, сердульший, за Настей ухлестывает...

Дед Данила, насупившись, протиснулся к осажденному дружку, однако не за тем, чтобы выручить его.

— Ежели на большой привал потянуло, пехота, то у нас и своих солдаток избыточно... Хату тебе всем миром отгрохаем! Петухов я ольховых срукодельничаю поузористей, чем Домаха на холсте...

Алимушка почтительно поклонился деду, сложив руки на груди:

— Каюсь, дорогие! Сдаюсь после жаркого боя... Открыться перед вами желаю...

Когда люди поутихли, продолжил:

— Была такая думка у меня... Позиция у соседей ваших приглянулась, окопаться вздумал там.

Дед Данила еще больше помрачнел.

— Это чего же у соседей?

— В коммунию сусловцы всем обчеством собираются, одной семьей жить хотят.

— И овчины в кучу свалят?— выкрикнули от порога.

— Все, как есть!— весело блеснул очками швец.

За столом протяжно присвистнули. Дед Данила поскреб в затылке.

— Не пойму, служба, куда ты свою строчку в разговоре повел? Всем миром ладно получается хороводы водить на лугу, а полюшко, тебе не в обиду будь сказано, не

овечья шкурка... За хлеб животы люди кладут, самому царю холку намылили.

Швец пожал плечами. Он, видимо, и сам не вполне представлял себе коммунию. Обдумывая свой ответ, он повертел перед лицом почти готовое изделие и сказал искренне, душевно:

— Ремесло свое хочу обчеству доверить. Молодых шить научу, а там и в отставку — без печали и воздыхания...

...Часто разговор уходил за полночь и прерывался лишь пением петухов или завершением начатого шитва.

Помнится, Алимушка никогда не начинал работу утром. После жаркого шитья, которое подчас продолжалось до полуночи, швец отсыпался, разбросав свои красные, вздрагивающие во сне руки. Женщины подоят коров, истопят печь, соберут на стол. А он все спит. Завтракали молча, переговариваясь шепотом, чтобы не потревожить покой своенравного старика.

Однажды, улучив момент, когда взрослые разошлись по своим делам, я залез к швецу на помост. Захотелось поглядеть на его руки — большие, с тонкими, вытянутыми пальцами, пахнущие совсем иначе, чем у всех.

Это было неожиданно и показалось мне страшным. Руки старого Алимушки, те самые руки, веселой иглой которых мы любовались, руки эти были в синих крапинках уколов, будто посеченные дробью. Вдоль большого пальца тянулся свежий, еще не заживший шрам.

Дед Данила спозаранку уходил в свою каморку, где стоял его деревянный токарный станок с ножным приводом. Там он мастерил прялки, вытачивал катушки для основы, строгал ножки к столам, делал игрушки маленьким. В избу проникал через сени еле уловимый шумок привода и шелест отлетающей стружки. Но и этого негромкого шума порой было достаточно, чтобы старый солдат с его по-особенному настроенным слухом просыпался. Плеснув себе в лицо холодной водой, он спешно утирался и семенил в каморку. Там он мог часами с детским очарованием во взоре наблюдать, как обыкновенное березовое полено превращается в узорчатую ножку для прялки, миску или матрешку.

Дед Данила улавливал за спиной восторженный шепоток швеца. Замедлив вращение диска, он снимал с зажи-

мов еще горячую, остро пахнущую березой деталь, кидал ее на руки другу. Если вещица особенно приходилась по вкусу швецу, дед уговаривал взять себе на память. Иногда Алимушка принимал дар, заворачивал деревянную миску или матрешку в кусок овчины, чтоб показать в другой деревне. Он хорошо знал в округе всех рукодельных вязальщиц, удалых медвежатников, пчеловодов, шорников, гордился дружеской близостью с ними, считал своею родней.

Был случай, когда Алимушка встал поутру раньше всех нас. Это произошло в начале марта. К тому времени захожий мастеровой обшил всю деревню и поговаривал о скорой разлуке. Чудаковатый старец мог запросто, втихую исчезнуть, не взяв ни с кого платы за свой труд. Поэтому мужики уговорили деда присматривать за Алимушкой в последние дни построже. Они собирались купить швецу в складчину лошадку, чтобы тому легче было передвигаться от села к селу в его подвижнической кочевой жизни.

Поднявшийся спозаранку отец обнаружил лежанку швеца пустой. Не было у изголовья и френча с «Георгием». Отец всполошился. Мы кинулись на розыски. Но тревога оказалась напрасной. Алимушка сидел на крыльце, накинув внапашку свою ветхую одежину.

— Чего всколготились! — набросился он на отца.— Послушайте-ка: весну везут... Отлетает моя пора... Машинами станут шить одежду артельные, как в городах.

По деревне вперемежку с петушиным криком разносился дробный перестук кузнеца: «Длень-день, де-де-день!.. Длень-день, де-де-день!..»

Все это сливалось в музыку начинающегося трудового дня. Тонкий перезвон металла напоминал колокольчик извозчика, который будто в самом деле вез откуда-то издалека в нашу деревню весну.

— Эк, выкамаривает, а?! — шумел старый швец. Он поплотнее натянул на плечи армяк и будто прикипел ногами к промерзшим половицам крыльца.— Красив, должно быть, кузнец ваш, если он на наковальне, будто на гармошке, наигрывает!..

Деревенский коваль Аноха Дерюгин был крив на один глаз, страдал от запоя. Хоть и считался он отменным работником, никому в голову не приходило назвать этого страховидного человека красивым.

Лишь однажды я видел Алимушку разъяренным, как-

то даже потерявшимся от возмущения. Приглядевшись к молодке, присланной за ним из соседнего села, Алимушка попросил ее показать свою шубейку. Чем-то не понравилась швецу обновка: неровные сборки по талии, уродующая статную фигуру молодой женщины выпуклость на спине.

Чем больше Алимушка разглядывал это изделие, тем сильнее закипала его несогласная со злом натура.

— Швы-то какие, а? Строчку повел аж отседова, стервец! А нитки! Неужто ссучить как следует поленился?!

Подняв глаза на сокрушенную владелицу шубейки, спросил строго:

— Чья работа, сказывай?

— Да нашенский человек готовил, Сутокин. Вдвоем они шьют — с сыном Ермолкой.

— Ермолка у меня в учениках ходил зиму — бездарь! — отрезал Алимушка.— Выгнал я его!.. Так и сказал: «Кру-у-гом! Марш отседова!»

Алимушка без особого напряжения растянул шубейку, и она расползлась сверху донизу. Это вконец разъярило швеца. Он затрясся весь, ударяя себя в грудь.

— Иуды! — вскричал Алимушка.— Опозорили! Осрамили рукомесло наше! На всю родную землю худую весть о швецах пустили!

Работа как-то не давалась ему в руки в этот день. Он часто вскакивал из-за стола, шептал ругательства. Под конец испортил овчину, чего с ним никогда прежде не случалось. К вечеру не выдержал, собрав пожитки, ушел с этой молодайкой, выпросив для нее зипун у моей матери.

Ходили слухи, что он все же «смерил» вдоль спины незадачливого Сутокина своим березовым аршином, которым брал мерку с заказчиков.

...Умер старый швец в мае, простудившись в дороге под весенним ливнем. Стояла теплынь, когда хоронили его, но кладбищенский холм ярче луговых венков пестрел полушубками.

Дядя Моисей, несший вместе с другими гроб от самого нашего дома, у могилы снял свой полушубок и укрыл им Алимушку.

Как-то мне пришлось побывать в родных местах. Дебелый крест, сработанный из сердцевины дуба моим де-

дом, за тридцать лет потемнел, покосился, взялся зеленым мхом. Поправляя крестовину, я разглядел на ней все еще заметные выжженные в кузнице раскаленным гвоздем прощальные слова...

В другой раз неожиданная встреча с Алимушкой выпала на ярмарке. Сквозь несмолкаемый базарный говор вдруг прозвучал хрипловатый басок:

— Эй, навались, у кого деньги завелись! Полушубки! Алимушкины полушубки!..

В кузове грузовика, заваленного тряпьем, стоял мужчина — не Ермолка ли? — держа на руках одежду из яркой дубленой кожи. Несколько пожилых мужчин отделились от толпы и обступили машину. Шуба оказалась в жилистых руках седоволосого старика, одетого как встарь — в кожух и треух. Он долго крутил в руках привычную для него одежду, подслеповато приглядываясь к рубцам, мял кожу между пальцами. Потом молча возвратил продавцу. Уже отойдя в сторону, сказал:

— Шьешь, так шей, как можешь! А чужого имени не замай попусту! Алимушка небось космонавтам одежду мастерил бы, доживи он до наших дней...

И старик поправил на плечах уже выцветший, кое-где залатанный, но все еще ладно сидящий на нем полушубок...

1964

ПРОТАС ЧУХНИН

За жиденькой цепью бревенчатых строений, прилепившихся, будто ласточкины гнезда, к крутому склону холма, дурманяще пахнут луговые травы. На фоне поблеклых от майской жарыни хлебов на взгорьях луг в низине сочен, ядовито-зелен. Из пестрой кипени цветов поднялись грязно-желтые метелки конского щавеля. Ржавые, почти безлистые растения эти качаются под ветром: благодарят и щедрое солнце, и застоявшуюся в корневищах влагу полых вод, и нескончаемый птичий хор за даровую благодать своего существования.

Заглушая колокольчатую трель жаворонков и сентиментальный пересвист иных пичуг, из борозды близ дороги надрывно орет грач. Он волочит по земле подраненное крыло, крупно вышагивает, подпрыгивает, если с дороги к

нему долетают комья земли, и со злости клюет трубчатые стебельки озими.

На пыльном большаке волтузятся двое мужчин. Они то сближаются, молча работая кулаками, то с криками хватают комья залубеневшей в колдобинах грязи. Щупленький, востроглазый Кузьма Толстых предпочитает наносить удары издалека. Ширококостный и грузный, а потому более уязвимый для обстрела, Варфоломей Степыкин норовит схватить противника за ворот и бросить под себя. Если это удается, Варфоломей тут же окарячивает Кузьму и, заграбастав его обе руки в свою одну, больно дергает стонущего от бессильной злобы человека за усы. Затем отворачивается и кидает чем-нибудь в противно орущую птицу. В последний раз он запустил в нее картузом Кузьмы.

Грач оскорбленно взметнулся над бороздой, из последних сил замахал здоровым крылом, припадая в полете на больное крыло, ненадолго оторвался от земли. Птица опустилась на самую высокую былку конского щавеля и, подламывая ее, скатилась в траву. Стайка ребятни отделилась от толпы зевак, вышедших поглазеть на драку, бежит на луг. Дети шарят под листьями, сбивают прутиками шершавые лепестки с ржавых метелок щавеля.

— Мы его веревкой к дымарю привяжем!— победно восклицает малыш, добывший грача первым.

Его ровесник притворным голосом, явно подражая кому-то, предостерегает:

— А ты подумай, подумай сначала!..

Дети, а вслед за ними и взрослые у околицы понимающе хохочут, свистят, что-то беспрерывно советуют и Варфоломею и Кузьме, но подойти к ним боятся.

Насладившись местью, Варфоломей смирнеет, приподнимается с Кузьмы и медленным шагом, без оглядки направляется к деревне. Кровь сочится у него из рассеченного надбровья. Варфоломей старательно размазывает ее по лицу, чтобы вызвать жалость к себе.

Среди тех, кто оказался оторванным от домашних хлопот дракой, был и Протас Чухнин. Только Протас, выйдя из избы, не заспешил к толпе. Он стоит на крыльце, замерев, сложив крестом руки на животе, будто читает молитву. Но когда до него долетает смешливое слово «подумай», Чухнин вздрагивает, как от укуса слепня, ответно роняет тяжелое слово.

На Протасе длинная, расшитая по груди и предплечьям полотняная рубаха. Серые, с расплывшимися зрачками, но не выцветшие глаза его красивы. Перекосившаяся притолока избяной двери, черная от копоти, похожа на плохую рамку для картинно-нарядного Протаса.

Чухнин осудительно покачивает головой, выжидая, когда дерущиеся, поочередно преследуя друг друга, поравняются с крыльцом его избы. Будто в угоду Протасу, Варфоломей и Кузьма разыгрывают у самого порога один из заключительных актов своей импровизированной драмы.

— Да я тебе колом череп проломлю!— вопит пойманный за остатки располосованной сорочки Кузьма.

— Гореть твоей хате нынче, сосед!— со свирепой радостью обещает Варфоломей, садясь верхом на обидчика.

Наконец один из великовозрастных забияк ловит на себе укоризненный, скорбящий взгляд красивых Протасовых глаз. Пытаясь заполучить симпатию Чухнина при неизбежном разбирательстве причин этой свалки, Варфоломей принимает смиренную позу, благодушно не отвечая на удар.

И тогда Протас Чухнин неспешной походкой мессии сходит по скрипучим, предательски зыблющимся ступенькам крыльца. Он опускает руку на оголенное плечо того, кто ближе.

— Подумай, Кузьма, подумай, милый, что ты делаешь,— произносит Протас грудным, немного певучим голосом, при этом он указывает на полено в руках Кузьмы.

— А чего мне думать? — возражает Кузьма, будто его призывают к худому.— Свинья его, пусть и думает.— Полено он все же роняет.

Варфоломей уже предвкушает моральное поражение противника, потому что «сам» Протас Чухнин резонит Кузьму. Отирая кровь подолом сорочки, Варфоломей неожиданно всхлипывает:

— За шелудивого поросенка жисти человеческой решить могут...

— И ты подумай!— с той же непреклонностью обращается Протас и к Варфоломею, не меняя выражения лица, ничего не суля затканными поволокой глазами.

— Ну мне-то об чем велите думать?— В скорбном оцепенении Варфоломей ответно уставляется на Протаса. Но не выдерживает пристального судейского взгляда Протаса и опускает голову.

— А об этом самом,— напирает Протас,— для чего тебе голова дадена...

Варфоломей принимает его слова как намек на жесткий нрав соседа. Голова-то ведь дадена, по крайней мере, не для того, чтобы разъяренный Кузьма колом по ней стучал... «Надо беречь голову»,— наконец догадывается Варфоломей и отходит в сторонку.

Кузьма тоже обнаруживает готовность к примирению.

— Вот пускай нас дядя Протас рассудит,— бубнит он.

Не дождавшись суждений Чухнина, они принялись наперебой выкладывать наболевшее. Понять что-либо из запальчивых, пересыпанных узорчатой руганью объяснений невозможно. Но Протас нимало не озадачен доверием повздоривших мужчин и не пытается вникнуть в суть дела.

— Тут следовает обмозговать все рядком да ладком,— важно замечает он, полуобняв противников и опасно сблизив их лица.— Обнюхайтесь, вы же свои, нашенские... Пораскиньте мозгами, и я поищу ответа... Одним словом, подумайте!

— Подумай! Подумай! — вдруг подхватывает из толпы мальчонка лет шести и хлопает в ладоши.

Но его тут же оттаскивают в сторону. Женщина, сама исподтишка подсмеивавшаяся над Протасом, принялась шлепать его:

— Нешто можно дразниться со взрослыми?! Ты зачем плохие слова говоришь?! Вот я тебя!..

Подобревшие после внезапной вспышки, обычно дружные и вообще-то неглупые люди, Варфоломей и Кузьма очень даже скоро поняли каждый свою оплошность.

Варфоломей, не заходя в дом, принялся поправлять плетень.

Кузьма поначалу накинулся на жену, упустившую скотину на чужой двор. Кузьминиха еще с утра собиралась напомнить мужу о пустых сусеках: корму маловато, бедная скотина с голоду шастает по огородам...

В перебранке супруги пришли к мысли, что до жатвы нечего и тянуть со свиньей. А валить и освежевать скотину никто сноровистее Варфоломея не был горазд...

Сосед, томившийся от угрызения совести из-за того, что ударил бессловесную тварь, с радостью предложил свою услугу, заметив через плетень, как супруги Толстых тужатся повалить на бок обреченную виновницу скандала...

Магарыч распивали в компании Чухнина.

— Ну и голова у тебя, Протас Киребеевич!— пьяно восклицал Варфоломей, оглядывая уютную соседскую избу, которую он совсем недавно представлял уже обугленной.— Ну и голова!..

— Даже стыдно вспомнить о драке,— гнусавил Кузьма, обхватив покорного Варфоломея, целуя его в темя.

Протас воспринимал обильную хвалу за спасение Кузьминой избы и Варфоломеевой головы, а заодно и похвалу собственной голове, не подвергавшейся за всю жизнь никакой опасности.

— Ды я што... Ды я бы точно так сделал, как и ты,— скромничал Протас, не обращаясь, между прочим, ни к одному, ни к другому из друзей-противников.— Но не время было тогда объявить тебе свою думку. Потому как во всяком деле своя осторожка требуется...

Протас Чухнин считался самым осмотрительным и непогрешимым человеком в деревне. К нему шли за советом перед севом и молотьбой, хотя на загоне Протаса стеблина за стеблиною гоняются с дубиною; вдовствующего мудреца односельчане посвящали в свои семейные тайны; перед отбытием в извоз люди приходили к Чухнину потолковать о выгоде и убытках затеянной отлучки из дому на заработки.

Чухнины были плотницкого роду. Но изба Протаса выглядела ветхой. Всегда занятому, как казалось со стороны, осмыслением чужих бед, хозяину из года в год не выпадало досужей минуты выпрямить притолоку скособочившейся двери, сменить подгнивший венец сруба.

После смерти измученной частыми родами жены Протаса полноправной хозяйкой в доме стала их дочь, Дуняха. От отца девушка взяла разве относительную сдержанность в речах. Впрочем, может, ей просто не оставалось времени в неизбывных заботах о шестерых сестрах перекинуться словом с подругами, задержаться на посиделках. Зато во всем остальном Дуняха поступала решительно и без проволочек. Она могла запросто влепить подзатыльник любой из подопечных, выдворить засидевшегося гостя, осадить разошедшегося в похвальбах отца.

Пока Протас отсыпался после полуночных доверительных бесед, Дуняха успевала выкосить траву у плетня, подоить корову, истопить печь, заштопать своему авторитетному родителю порты. С особым усердием она стирала и разглаживала на вальке жениховскую расшитую рубаху

отца, в которую мужик обряжался поутру, садясь в ожидании гостей под икону.

Крепкая, необычайно серьезная для своих лет, ухватистая в работе, с заревым румянцем на скуластых, тронутых загаром щеках, синеокая Дуняха давно поняла, что в воспитании и прокормлении домашней оравы ей пособления ждать неоткуда. Разве какой добряк, изумленный Соломоновой мудростью отца, принесет шапку яблок или оставит кусок солонины. Но Протас был мужик проестной, и если ему никто из детей в это время не попадался на глаза, он мог прикончить свой гонорар в одиночку...

Протас по-бабьи хмурился от хлестких упреков Дуняхи, точно так же, как прежде от гневных слов покойной супруги. Возражал робко, смирившись с единовластием дочери в доме.

Каждодневную суету по хозяйству Протас считал недостойной своего призвания к «умственной работе».

Когда требовательные слова шестнадцатилетней Дуняхи казались особенно докучливыми, Протас, горделиво тряхнув нечесаной головой и кудрявившимися от природы волосами, изрекал:

— Не спешила бы резонить родителя... У самой дети будут...

— Хватит мне и твоих детей до седых волос!— находчиво парировала девушка, широким взмахом отцовского топора разрубая березовое полено... Или загоняя в стенку гвоздь... Или поправляя каблук мужских сапог — единственной «действительной» обувки в доме, сохранившейся со времен солдатской службы хозяина.

— Ну вот,— совсем тихо заключал Протас,— до чего можно договориться, не подумавши...

«Подумай»— такова уличная кличка Протаса. Не в сравнение с иными насмешливыми прозвищами односельчан, второе имя Чухнина говорилось без обиды и даже с оттенком уважения.

При всеобщем расположении к Протасу в округе едва ли можно было сыскать старожила, который начал бы когда-то или завершил серьезное дело, использовав прямую подсказку Протаса, утолил бы жажду истины, заглянув в кладезь мудрости, каким слыл чухнинский двор.

Не мог бы, пожалуй, и сам Чухнин припомнить что-либо конкретное в своих пророческих речениях, хотя благодарность «за участие» воспринимал как должное, даже немного красуясь собою в эти минуты.

...Дальний родич Протаса Аграфен Зипунов как-то свалил под окнами провидца два мешка жита и занес в избу четверть водки. Щедрый гость едва втолковал Чухнину, за какие заслуги последовало вознаграждение... Оскудевший от бесхлебья Аграфен совсем уже собрался покинуть фамильное гнездовье, отдать в аренду пришлому человеку клочок земли, замучивший его неурожаями. Но кто-то из приятелей надоумил отрешенного Аграфена посоветоваться с Протасом. Родич принял на полный серьез тягучую фразу радетеля: «А что, ежели повременить?.. И ты подумаешь, и я подумаю...» Пока смятенный неясными обещаниями земледелец ждал окончательного решения Протаса, подоспела пора выходить в поле с лукошком. Засеянная кое-чем, однако отдохнувшая в недороды земля полыхнула невиданным урожаем сам-двадцать...

Хотя окрестный люд и благоволил к доморощенному мудрецу и не мог не замечать его лишений, как-то не принято было давать ответных рекомендаций самому Протасу. На такое по доброте своей истовой решился лишь полоумный монах Иоахим-затворник. Проживший до зеленой бороды в Святогорской пещере на берегу Донца, повидавший свету хожалый старец этот изъявил охотку поменять келью на избу Протаса, ежели хозяин на сбережения монаха срубит себе новое жилище, а нынешнее, освященное умилительной бедностью, отпишет божьему человеку...

Протас матерно выругал монаха и тем самым положил край всяким попыткам соваться к нему с необдуманным словом, пусть слово это и богоугодное.

Однажды поутру, когда отец еще похрапывал на лежанке, а Дуняха заполняла варевом чугунки, в скрипучую дверь Чухниных протискалась целая процессия: отец, мать и отпрыск Дьяковы. Тихонький, замурзанный, вечно чему-то скорбно улыбающийся Епифан Дьяков долго струшивал у порога овсяные отруби с плеч, будто только сейчас обнаружил сор на замызганном, потерявшем первоначальный вид пиджаке.

Жена его, поясно поклонившись спящему хозяину избы, положила на край стола увесистый сверток.

Долговязый подросток зашел последним. Задев головою скосившуюся притолоку, он громко чертыхнулся вместо приветствия. Разодет парень был точно на празд-

ник: в новом костюме из домашнего сукна, в узорчатой косоворотке. Как застоявшийся жеребчик, он перебирал ногами на месте, безмятежно похохатывал, пока старшие Дьяковы уговорами и толчками вызволяли Протаса из цепких объятий Морфея.

Дуняха давно устала от «умственных» трудов отца, а еще больше — от беспрерывной сутолоки чужих людей в дому. Она даже не отозвалась на голоса ранних посетителей. Нарочито повернувшись спиной к пришельцам, девушка кочергой крошила на уголья перегоревшее полено в печи, подгребала жар к заустью.

Протас наконец увидел озабоченного Дьякова с женой у лежанки и нагловатого увальня, пританцовывающего у порога. Спросонья принял Дьяковых за сватов.

— Евдокия!— крикнул он с постели.— Сорочку мне... Енту самую, что мать на свадьбу мне приспела... Да и самой тебе пора переодеться...

— Присоветуй, кум,— начала речитативом Дьякова,— куда нам своего наследника причалить... К чему Ефимку сподобить?.. Шестнадцатый ему с заговен пошел, а малый в четвертую группу ходит... Оно бы еще ничего, «неуды» сплошь... Рихметика заела...

— Рихметика ему — что шлея под хвост норовистому коню,— фальцетом подтвердил Дьяков. Он дважды кашлянул в кулак и добавил:— Может, к тетке в город спровадить его? Там, бают, и учителя покрепше...

Ефимка изучающе посмотрел в заспанное лицо вершителя своей судьбы и перевел не менее изучающий взгляд на крутые бедра Дуняхи, изогнувшейся так, словно она хотела в эту минуту лезть со стыда вслед за сковородкой в заустье печи.

Разочарованный тем, что ошибся в причине раннего и насильственного пробуждения, Протас долго скреб заросшую жиденькой растительностью грудь.

— Ай умишком не удался?— спросил вдруг Протас, недобро глянув на пышущего здоровьем парня.— Ростом выше Ивана Великого, а с рихметикой не совладал... Хм...

— Школа далеко от деревни... И через лес дорога,— высказала догадку Дьякова.

Но Протас не нуждался в пояснениях. Он уже настраивался на привычный наставительный лад.

— Тут, Епифан Андреевич и Аксинья Романовна, дорогие мои, разлюбезные, с кондачка решать нельзя, поскольку Ефимка наследник ваш, как вы сами изволили

сговориться... Тут, можно сказать, вами всеми, видно, с самого зачатку ошибка была допущена... А теперь что? Теперь вы безвременно ко мне и зря явились... Не подумавши, как следовает в таком разе...— Протас свесил босые ноги, посучил ими, как младенец, шумно зевнул, продолжал:— Каждому из вас надо прежде с самим собой посоветоваться, со всех сторон тут подходить следовает...

— Не волк же он,— обиделся за сына Епифан Дьяков, по-своему поняв мудреные слова Протаса,— флажками со всех сторон обкладывать не станешь...

— Волк — что!— ухватился за слово Протас.— Ежели рассудить...

Но тут Протас икнул от испута и сильно мотнул головой, уворачиваясь от явной опасности. У самого лица пророка, брызгая каплями раскаленного масла, пронеслась тяжелая сковорода.

Плоский снаряд опустился на глиняный горшок с детскими побрякушками, стоявший на подоконнике глухого окна. Пробужденные шумом сестренки захныкали, заканючили, заревели на печи на разные голоса: собранные в огороде склянки и осколки битых тарелок были единственными в этом доме игрушками для детей.

Удар был предназначен совсем не Протасу и тем более не детским забавкам. Это Дуняха таким манером отреагировала на отнюдь не мальчишескую шалость Дьякова-младшего, решившего скуки ради потревожить невнимательную хозяйку. Больше отца и Ефимки испугавшись такой выходки своей, оскорбленная ежедневными спектаклями с пустым нравоучительством, Дуняха закричала, стуча черенком ухвата об пол:

— Тетя Ксюша!.. Дядя Епифан!.. Люди добрые, до каких пор вы будете насмехаться над нами, сиротами?! Душа изболелась глядеть на это поганое действо... Какого вы совета у папани ищете — он и своим детям ряду не укажет!.. Настьке девятый год пошел, в школу пора, а валюхи некому подшить, верхнюю одежку некому справить.

Девушка вздохнула с перехватом, перевела пылающий голубыми огнями взгляд на Ефима. Тот успокоенно торжествовал, увильнув от заслуженного возмездия.

— Ты чего лыбишься, ухажер? Не видишь, что у отца кожа он натуги полопалась? Или не знаешь, что Стеньку Шураева, молотобойца, в Красну Армию берут, место ослобоняется?.. Учителя тебе плохи здесь?.. В город захо-

телось? Книжки не даются — бери молот! Иди на конюшню на подмогу отцу!— Девушка, потрясая ухватом, двинулась на опешившего парня.— Чего бельками хлопаешь, ухажер? Марш домой! Переодевайся и мигом сюда! Слышишь? Сама в кузню поведу... А не придешь, струсишь — на посиделки не пустим... Засмеем тебя, сама частушку про тебя составлю...

У Ефима задрожал подбородок.

— Да ты горластая, ты составишь!— таращил он глаза, прижимаясь задом к двери.— А в кузню я завсегда согласный... И нечего меня припевками трогать...

Дьяковы впервые видели свое чадо покорным.

Аксинья Дьякова лишь не могла определить сразу, кому из Чухниных она обязана нежданным поворотом в решении Ефимкиной судьбы. Поколебавшись, женщина протянула сверток Дуняхе, хозяйке. Но девушка так поглядела на Дьякову, что та опрометью кинулась из избы.

...Раньше, чем к ее ровесницам, к Дуняхе зачастили сваты. Минуя высокие пятистенки с резными воротами, пренебрегая слухами о кованых сундуках с приданым у богатых сельских нарядёх, сани и колесницы со звонкими колокольцами останавливались у хилой избы на краю оврага. Свой выбор дальние сваты объясняли просто:

— Евдокия Протасовна хоть и «голая» девка, да от умного родителя...

1961

КОНОПЛЯНЫЙ БОГ

На деревья и кусты палисадника опускались сумерки, когда люди сошлись в избу посумерничать. Внезапно с улицы донеслись резкие звуки трещотки и глухие удары о днище дырявого таза. Поддерживая на бегу штанишки и вопя, мимо окон метнулась стайка мальчишек.

— Птицы на коноплянище!

Мы с братом побросали на стол ложки и кинулись за порог, не желая отстать от сверстников. Где-то в конце огородов мы настигли деда Евдокима. Он часто дышал и спотыкался, путаясь босыми ногами в подсохшей ботве картофеля. Иногда он падал, но и лежа вздымал над грядками ребристую деревяшку, вокруг которой с бесовским

треском вращалась крыльчатка, похожая на игрушечную лесенку. Слезящиеся, не потерявшие угольного цвета глаза старика были устремлены на темный косяк посевов, поднявшийся в рост всадника.

В тихую подзакатную пору, когда на деревьях не вздрогнет сомлевший от духоты лист, коноплянище шевелилось, шуршало, потрескивало сломанными стеблями растений, переживая налет оматеревших за первые месяцы лета, лоснящихся от жира птиц. Здесь были не только скворцы. Полакомиться зреющим пахучим семенем в нашу деревню слетались из ближних лесов синицы, щеглы, воробьи...

Крылатые разбойники с азартными криками облепляли метелки конопли, гнули их к земле. Мы обрушили на прожорливых налетчиков груды комьев, швыряли в них картузами, свистели, били железными прутьями в худые ведра... От крайней избы, где жил охотник Ерофей, грохнул выстрел берданки. Обнаглевшие птицы присмирели. Затем нехотя начали отдаляться от плантации. Трепещущие крылья их слились в целую тучу. Эта туча на несколько минут притушила огонь заходящего солнца и скрылась за лесом.

Дед Евдоким успокоился не сразу. Он ушел со своей полоски последним. И после улета птиц он долго ходил по заросшей бурьяном меже, теперь превращенной в тропу, отделяющую его надел от соседнего, вздымал вслед птицам руки и что-то выкрикивал, как всегда, неразборчивое, сердитое.

Мы, мальчишки, в такие минуты не торопились приблизиться к старику, боялись его непонятных ругательств, седых, насупленных бровей, похожих на колючие кусты, сторонились взгляда его темных, пронзительных глаз. Во всей деревне он был самый рослый, высокий, хотя в последние годы, говорили старшие, он заметно усох, стал как бы врастать в землю.

На неширокой полосе, сходящейся под бугор клином, дед Евдоким никогда не сеял ничего, кроме этой длинной, подобно себе, и косматой сверху конопли. За непонятные слова и диковинную преданность одному виду растений, за неизменное счастье урожая в любой год на клиновидной полоске наши деревенские прозвали его колдуном.

Колдуны и колдуньи жили и в других избах. Широкой кудрявой бородой и ясным взглядом черных очей дед Евдоким больше смахивал на образ святого. Потому ребят-

ня звала его по-своему — Конопляным богом или просто дедушка Конопля...

Одарив юных помощников кого глиняной свистулькой, кого горстью поджаренного на сковороде пахучего семени, старик неторопким, усталым шагом побрел к своей избе. С утра ему нездоровилось, а то дневал и ночевал поблизости поспевающего урожая...

Деревенька наша, не потерявшаяся меж зеленых и белых горок Орловщины, не набирала и трех десятков строений. Здесь сеяли рожь и картошку, лен и гречу, драли лыко в окрестных лесах. Помимо этих непременных, извечных забот, для обитателей каждой избы имелось свое, родовое занятие, в котором земляки не уступали друг другу первенства, пришедшего к ним от предков. В одной избе жили отменные бондари, в другой кузнецы, в третьей отличались изготовлением валенок или разведением овец.

Одевались почти все одинаково: мужчины ходили в зипунах, женщины предпочитали шубы яркой раскраски. Бревна на стройки возили из одних и тех же лесов. Однако любой взрослый и малый житель, так же, как и жилища их, отличались друг от друга целым рядом примет, тоже идущих от фамильного занятия.

Женщины мочили в зиму яблоки, сушили грибы. И это спокон вечное, известное любому дело давалось людям по-разному. Иная несет из погреба миску огурцов — полных, хрустящих на зубах, пряных и ровных, будто сейчас с грядки, а соседка ее, глядишь, потчует гостей и домашних кормит овощем пустотелым и осклизлым, пахнущим немытой кадушкой вдобавок...

У одной молодайки бежит из-под пальцев нить ровная и тонкая, что струна. Другая гонит вервие чуть не в палец толщиной.

Хлебы тоже пекли в каждой избе из муки, привезенной с ближней мельницы. Но по вкусу, цвету и внешнему виду каравая можно было сразу узнать, на что горазда хозяйка и какое у нее было настроение, когда она месила в кадке тесто.

Издавна у нас всяк себя сам снабжал обувкой из лыка. И в этом мудреном деле имелся в деревне настоящий глава и знаток первейший. Не помню имени главного лапотника, но в лицо узнал бы. Это был не старый еще человек, вяловатый и тусклый в иных занятиях, однако плетеную обувку его можно было отличить от изделий других мастеров издали на ноге идущего человека. У зако-

подателя деревенской моды обувь получалась глубокой и легкой, расписанной по головке тонкой вязью из краснотала, за которым он хаживал по весне в какие-то другие, известные лишь ему места. Однажды этот заядлый «лаптежник» сработал на спор настоящие мокроступы — так подогнал лыко к лыку в ровной строчке, что и в луже к ноге не проступила вода!

Имелись свои лошадники, способные обуздать необъезженную конягу, свои мастера крыть крыши под глину, свои колесники и каретники.

Ружей на всю деревню не нашлось и двух путных, но добытчиками полевой дичи считали себя многие, в том числе и мальчишки. Из орехового прута дети совсем без посторонней помощи умели выгнуть лук, конопляная треста годилась на стрелы, если это примитивное оружие умело снабдить гвоздем вместо наконечника. Ко всем этим премудростям деревенского быта, доступным любому и каждому с малолетства, дед Евдоким вроде бы не имел никакого интереса. Преуспевал же он в самой небольшой малости, но заставил вот помнить о себе долгие годы.

Бедовал на старости лет Евдоким в одиночку, супруга его долго жить приказала, и этот ее наказ он исполнял строго — тянул до полной сотни. Дети их, говорят, в немалом числе, выросли и разбрелись по своим стежкам, редко навещали родительскую оселью. Был Евдоким молчалив в обычном своем расположении духа, но не злой. Тихий такой, застенчивый человек. От долгого одиночества привык разговаривать сам с собой. За эту его причуду да за умение во всякий год выгнать в рост коноплю себе под стать, за нежелание поделиться секретом с остальными коноплянщиками деревенские и окрестили Евдокима злым словом. С годами борода деда стала светлой, затем подернулась прозеленью, и он еще больше напоминал Конопляного бога.

Чтобы поберечь свой секрет, а может, подзадорить завистников, старик работал на своей делянке ночью, управлялся с делами до рассвета. Другие лишь собираются, бывало, на пашню, а у деда Конопли растение прет из земли вывернутым полушубком. Удавались посевы и другим землепашцам. В иной год высятся стебли на коноплянищах что твой подлесок. У деда или метелка гуще, или пенька мягче, будто пух легка.

— Молитву знает! — шептались старухи. — С нечистой силой спознался!

В плотницком нашем роду не часто удавались посевы. Наслушавшись зимними вечерами всяких толков в избе, я взял себе за правило отираться с теплых дней вблизи дедова подворья: авось удастся перенять его молитву!

Поступать так мне было сподручнее, чем иным однолеткам. Дед Евдоким благоволил ко мне, ценил за спокойный, недокучливый характер. Попав в его общество, я не тарахтел попусту, не донимал «глупыми» расспросами, не мешал ему думать бесконечные стариковские думы... Обходились мы редкими словами, проистекавшими из привычных занятий: вязали в пучки метелки семенных растений и собранные в залужье травы, набивали небольшие ящички землей, перемешанной с торфом. Пучки трав он затем развешивал на потолке, вогнав в матицу крупные кривые гвозди.

Иногда он сам являлся за мной. Не переступая порога, с крыльца произносил слова, похожие на военный пароль:

— Чибисы прилетели!..

Я скатывался с полатей, хватал что-нибудь из одежды, догонял деда на середине улицы. Чибисами он называл куличи, грубо слепленные из пресного теста и запеченные в духовке. Все недостатки кулинарных навыков старика бесследно исчезали под пряной хрустящей корочкой, которая получалась у него, если густую подливу из тертой конопли сдобрить медом.

Временами я заставал дедушку Евдокима за этими немудреными приготовлениями. Старик выкатывал из-под лавки темную, побравшуюся трещинами ступу, поднимал ее на попа посередине избы, засыпал в углубление горшок прокаленного в печи семени.

Изба вздрагивала от ударов тяжелого и потрескавшегося толкача.

Дед Конопля не терпел ни кошек, ни собак. В хозяйстве его водились куры, но и они в поисках корма разбредались по чужим подворьям. Нечастая потребность в яйцах для приготовления пахучей дедовой подливы удовлетворялась с моей несложной помощью: стоило лишь побегать по грядкам огорода или запустить руку между слежавшимися снопами на задворках. Была у него одна несушка — пестрая, с поломанным крылом, которая проявила к Евдокиму непонятную преданность и даже ревность. Она с воинственным клекотом нападала на чужих кур, забредших во двор, гнала их прочь. Но и она однажды пропала, и через некоторое время, к удивлению Евдокима, привела ему че-

тырех длинношеих цыплят, хотя никто не ждал от нее потомства.

За многолетие одинокой жизни Евдоким порастерял из домашней утвари и то скудное имущество, что припасла покойная жена. В горящую печь дед отправлял выщербленный чугунок рукой, защитив ее большой рукавицей из овчины. Темная, обгоревшая рукавица да веник из обмолоченной травы — вот и все, что валялось в передней, в избяном углу.

Полы дед протирал сам. В маленьком ведерке с веревочной дужкой я носил ему водицы из речки, а он, опустившись на колени, гнал куском мешковины эту воду от порога к дальнему углу под божницей.

Там постепенно из мышиной щели образовалась воронка с подопревшими краями. Старик ловко маскировал эту промоину ветхой дерюжкой из цветных лоскутков. Однажды я оступился в дыру босой ногой и сдернул с лодыжки кожу. Дознавшись об опасном месте моих гулянок, наш дедушка Данила без спроса пришел в избу Конопли, расширил ножовкой промоину и приколотил гвоздями деревянную латку. Одним заходом он сдвинул и остальные щелистые, громыхавшие под ногами доски. От куска свежей, выструганной доски в избе словно повеселело. По этому случаю старики выпили бражки и закусили причерствевшими лепешками.

Дед Конопля несколько дней не застилал ряднушкой обновленное место в полу, показывал гостям. Белое пятно это выделялось в избе очень долго: закрасить его («затереть», говорил дед) было нечем. Из тех немногих вещей, которые надобились деревенскому жителю в обиходе, сам он не силен был вырабатывать разве краску для пола, хотя другие изделия чем-то расцвечивали, возможно, отваром из корья.

Деревянная латка в избе деда Конопли напоминала мне о других прорехах сельского житья.

Не всегда по причине бедности, скорее от всегдашней крестьянской расчетливости в хозяйстве сельчан полагалось экономить во всем. На ребячьих портках рачительность старших проявлялась наиболее зримо; мы, огольцы, пестрели от этих затейливых поправок к заношенной одежде, как куропатки. Когда в дом выбирали будущую невестку, наравне с ее сноровкой, способностью вышивать, стряпать, ходить за скотом, угождать старшим и немалым числом иных навыков обговаривалось умение молодой хо-

зяйки чинить одежду. В латках тоже сохранялся некий стиль, отличающий одну семью от другой. Мне до сих пор думается, что цветом и рисунком заплат родители как бы метили своих пацанов, чтобы их можно было с одного взгляда отличить в гурте от чужих, таких же непричесанных, конопатых и сопливых... Латками детвора выставлялась друг перед другом: у кого красивее. К сожалению, ими нельзя было поменяться, а чужая ведь всегда кажется соблазнительнее. Никишова ребятня «клеймилась» синими кусками из холста нового утока; Богачевы израсходовали на поправку обтрепанных сорочек и штанов невесть как попавшую в их сундук поповскую рясу; стайка Шиловых одно лето выделялась ярко-кумачовыми полосками: этим сокровищем наделила их бабка Ефименья, порезав на куски свадебный подарок деда, принесшего еще в былые времена своей невесте алую кофту из дальних отхожих промыслов. Завещать кофту не было смысла — воротник потратила моль.

Без латок обходились разве те, кто совсем не имел штанов, бегал до школьных лет нагишом или в длинной рубашке. Но у таких хватало синяков и ссадин, да и следы родительского воспитания на жилистых ногах проступали резче, чем у владельцев грубых заплат. Все равно выходило так на так.

На коленках и сзади латки ставили даже впрок, когда справляли одежду из нового материала. Почему нашивали спереди — легко объяснить. Наколенники до недавней поры пришивали солдатам. А какая опасность, кроме отцовского ремня, подстерегала непоседливое племя мальчишек сзади — до сих пор не могу осмыслить. Тешу себя убеждением, что слишком практичный деревенский люд ничего не предпринимал попусту или для форсу.

Отличались латки не только цветом, но формой, размером: квадратные, косячком, округлые, будто оладьи... Встречались и фигурные, наподобие скачущих коней или похожие на облака, разбросанные ветром по небу... Иная подносившаяся одежда начинала свою жизнь заново тоже с латки, удачно пристегнутой суровыми нитками во всю спину или сбоку. К ней затем приторачивали другую или целый рукав, штанину. Если от сорочки оставался воротник, а от портов пояс, они не считались выбывшими из игры...

Видел я на каком-то сверстнике настоящее чудо: на месте прохваченного огнем переда сорочки во весь живот

от подбородка до подола сияла желтая тулья от офицерской фуражки, будто на неосторожного забияку снизошло само солнце... Так иногда содеянное родителями в сердцах идет не в ущерб ребенку и не в наказание, а оборачивается для сорванца в настоящую выгоду. Мы сгорали под этим солнцем от зависти и готовы были уступить счастливцу за его латку любое сокровище из тайных ребячьих кладов. Я предлагал ему за днище от казачьего головного убора складной ножик — по тому времени целое состояние.

...Куском фанеры заделывали разбитые стекла окон, золотистыми свежими снопами затыкали дыры в гнилых соломенных крышах, свежей лозой наращивали осевшие плетни, обновляли выщербленную доску в двери и даже бревно под избой. В ином хозяйстве не считали зазорным взбодрить чистым лыком подтершийся снизу лапоть — посуху он мог еще какое-то время служить человеку.

...Как-то в теплую майскую ночь мужики засиделись у нас на завалинке. Дед Евдоким, сославшись на колотье в хребтине, первым заторопился на покой. Звякнула во тьме щеколда, скрипнула дверь. Вспыхнул и вскоре погас желтый огонек в его окне. Стали расходиться по домам и другие участники ежедневных полуночных бесед. Я схватил бабкин рваный полушубок, служивший мне постелью, и прокрался на межу, разделявшую поле деда Евдокима с нашим наделом. Ночь выдалась тихая и теплая, небо весело ярилось звездами. Где-то на краю деревни лениво тявкала собака. Все было тихо, покойно, совсем не страшно, и только лес угрюмо шумел неподалеку, вобрав в себя черноту близкой ночи.

Мне повезло. Когда отблистала за лесом зарница и всю окрестность заткала густая предрассветная темень, на полосу пришел Евдоким. Он опустился на колени, потрогал ладонями теплую, пахнущую прелью землю и засмеялся от счастья. Потом распрямился и крупно зашагал по пашне, раскидывая из лукошка семена и бормоча какие-то слова. У меня пробежал мороз по коже: я отчетливо слышал дедову молитву! Жадная детская память, как промокашка влагу, впитывала каждое слово, и слова эти были понятны мне, пятилетнему пострелу... За какой-нибудь час старик дважды опорожнил лукошко и, перекрестившись в сторону леса, двинулся к меже. Нас разделяло с полсотни шагов, встреча была неминуема. Понимая свое

преимущество перед глубоким стариком, я дал волю озорству. Во мне взыграла внезапная необъяснимая прыть. Подхватив полушубок и сообразив, как поскорее достичь своих огородов, я громко прокричал услышанную на коноплянище молитву:

Сею, сею коноплю,
Будет с пуда по рублю!
Насбираю рубликов:
Внучикам на бублики,
Старой бабке на платок,
А себе на табачок...
Кто услышит — тот молчок!

Дед оторопел от крика, возмутившего тишину ночи. Молитва укатилась за лес и повторилась там стоусто. Я подпрыгнул на месте и кинулся было к дороге напрямик. Но рваный полушубок предательски обвился вокруг ног... Моим же полушубком старик накрыл меня, как глупую ночную птицу. Дед был крепок еще, потому что легко поднял свою добычу с земли и посадил в просторное лукошко. Опамятовался я в риге, где Евдоким хранил нехитрый земледельческий инвентарь.

Кричать я боялся, потому что «колдун» в отместку за проникновение в его тайну мог оборотить меня в коноплю, собаку или выставить до заморозков чучелом и держать так в поле, пока не отлетят в дальние страны птицы — самые неумолимые враги его посева.

Старик усадил меня на пук выцветших растений прошлогоднего урожая, подпер куском слеги дверь и зажег с обитым стеклом фонарь. Длинная черная тень старика со всклокоченной бородой металась вслед за ним по стенам риги.

—А ну-ка, шельменок, повтори, что ты там придумал на коноплянище? — прогудел дед, уставившись на меня темными ямками глаз.

— Это не я придумал!— сказал я, колотясь от страха, и на всякий случай заплакал. Дед не поверил слезам, и мне пришлось еще раз, но очень тихо повторить его же молитву.

Старик засмеялся, пристукнул в ладоши.

— Слышал, да не дослышал! При мне осталась главная молитва.

Я решил не сдаваться «колдуну»:

— Нет, все!.. Вот расскажу дедушке Даниле, и у нас тоже вырастет конопля, еще выше...

Старик сел рядом на пересохший и затрещавший, будто на костре, сноп, четко, с веселым удовлетворением произнося слова.

— Твоему деду,— сказал доверительно, без зависти и злости,— не дается конопля. Она ему — тьфу!— без надобности. По дереву он мастак... С ним в лес хорошо ходить: постучит палкой по стволу и скажет, на что деребо годится — на балалайку или в печь. Бабка — иное дело, она у тебя тонкопряха, рукодельница... А главная молитва — вот она, ты ее все равно не поймешь, и никто не отымет ее у меня... Не побоишься, если прочитаю сейчас?..— И он пробормотал что-то невнятное, действительно жуткое:

— Ал-ел-бы-ше-ри ал-аль-чик-ма-ри ал-амой-до-ри-ал-ать-спа-ри![1]

Видя, что я совсем напуган, забавляясь моей растерянностью, он проговорил еще несколько таких же колдовских фраз и вдруг смолк, устало вздохнул. Черные глаза его стали блестящими от набежавшей слезы.

— Ладно, будь по-твоему... Коль не забоялся в таком возрасте пойти к самому «колдуну» в гости, значит, любишь коноплю, сердцем прикипел к моему делу... Так и быть, тебе первому откроюсь — не в могилу же уносить добыток...

Он крякнул, пошарил в кармане, не нашел кисета и, сев поудобнее, заговорил просто:

— Так вот запомни: складуха эта делу не потатчица... Ее я для отвода глаз бормочу на загоне, чтобы в работе спорилось... Вся конопляная история — в семенах да в руках вот этих... Вы где семена сушите?

— На чердаке, у трубы!— ответил я.— А ближе к весне бабушка на печку их высыпает.

— Вот, вот, на печку!— с гневом проговорил старик.— Печка с утра горяча, к обеду, глядишь, остыла... Хлебы пекут — печку раскаляют. На другой день вчерашними щами пробавляются да молоком, а кирпичи холодные... Семя же сугреву вовсе не требует!.. И вообще растение приспособлено само себя и в зиму беречь, прогрев семенам без надобности... Ты его только не застужай слишком, от мороза спаси...

Старик раскидал рядок снопов ржаной соломы, стоявших вдоль стены в риге, и вынес на свет фонаря два пучка рослой конопли, головки у них были обвязаны хол-

[1] Шел бы ты, мальчик, домой спать.

щовыми мешочками. Он проворно растер между шершавыми ладонями один такой мешочек и высыпал крупные зерна мне в пригоршню. Я продул семя и отправил в рот. Конопля деда Евдокима была вкусной и пахучей, будто сейчас с поля.

— А зачем же ты ночью сеешь, от людей таишься?— с крестьянской недоверчивостью упрекнул я.

— Земля, внучек, теплеет к ночи, подходит, будто опара в деже... И вода тоже... Небось сам замечал: речка к ночи будто кипит, парует... Людской день, стало быть, наш с тобою, к сумеркам кончается, а день земляной до самого утра длится, росою на заре умывается... Ночью земле приходит час родить: она становится теплая, мягкая и пахучая, что твой каравай из печи. Тут и уследить полагается, самый мент поймать, когда семена кинуть в пашню.

Дед Евдоким заволновался, принялся пуще прежнего искать табак: добыл кисет из кармана старой свитки, висевшей на крюке близ двери, подрагивающими от усталости руками высек огонь.

— Люди спят, как в сей мент, а я, может, совет держу с землею. Открываюсь ей со своими задумками-болями, а она мне бороздой распахивается, травами шепчет в ответ. Ничего, внучек, нет роднее землицы на всем свете!.. И накормит, и от огня спасет, и на покой примет на веки вечные...

Последние слова старик проговорил совсем тихо, себе, видно, но я их услышал.

Дед Евдоким вскоре умер. Согласно уговору с ним, я никому не выдал его «молитв» и доверительной беседы в риге. Однако пришло время рассказать односельчанам об этом случае. Но конопля в нашей деревне и после моих воспоминаний о беседе в риге лучше родить не стала. Сеяли ее ночью и в дни погожие, приговаривали дедовы молитвы и придумывали свои собственные. В иной год удастся такая, детской руке не достать верхушки, не осилить толстого стебля, чтобы полакомиться семенами... И все же это была не Евдокимова конопля!

Позже я не раз ловил себя на мысли, что, может, чего-нибудь не добрал по малолетству, упустил нечто важное из ночного разговора со стариком. Затем пришло убеждение: ко всему сказанному и заказанному, ко всяким научным рецептам и опыту бывалого человека для полного торжества дела требуется тепло человеческих рук, свет влюбленных в работу глаз, огонь сердца... Нужна, наконец,

способность разговаривать с землей, доверяться ей и понимать то, что скажет она тебе в ответ... Таким талантом в малом на вид ремесле своем обладал неграмотный деревенский старик Евдоким, соединивший в себе качества колдуна и бога, но оставшийся для меня навсегда просто земляком, работящим, добрым человеком.

1966

БУДЕТ ДЕНЬ...

Вот уж чем по-настоящему угодил горнякам начальник шахты Андрей Скиба, так это клубом. Дворцом не назовешь, но в зрительном зале всегда мест вдосталь. И тем, кто, принарядившись загодя, в первые ряды успел, и припозднившимся — из забоя. Этих издалека узнаешь. На зависть иной моднице веки под ресницами добытчика так проуглены, что с одного захода и мочалкой не ототрешь. В шахтерской стороне о профессии не спрашивают: в лицо глянь — вот тебе и готовый ответ.

На сцене, на возвышении, за продолговатым столом — дорогие стулья в два ряда. Сам Скиба прямиком из зала идет в президиум.

На трибуне — молодой парень, как раз из тех, с черными веками. Воротничок сорочки распахнут. Одной рукой он придерживает бойкий, рвущийся из-под пальцев чуб, в другой зажат клочок бумаги. Празднично голубеют глаза. Кричит с расстановкой, словно на торжище:

— Начальника шахты Героя Социалистического Труда Андрея Юхимовича Скибу!.. Бригадира проходчиков Владимира Еремеевича Бисиркина!.. Забойщиков Гоженко и Орача!.. Главного инженера треста лауреата Государственной премии товарища Зайцева!.. Наших дорогих гостей с шахты пять-бис...

Зал рукоплещет после каждой фамилии кому больше, кому скупо, с раздумкой. Когда ведущий произносит фразу: «Разрешите ваши аплодисменты считать...» — кто-то с приставного сиденья напряженным голосом, будто мстя за оплошку, бросает:

— Бисиркина-старшего не обойдите!

Грохот откидных сидений тонет в дружном одобрении:

— Еремея Ваныча на сцену!

— Первого шахтерского героя!..

— Ярему за красный стол!..

Бисиркины оба здесь. Владимира, хотя ему за пятьдесят, зовут молодым. На сцене, как и подобает меньшому, он ведет себя скромно: сесть не торопится, но стул придерживает рукой, ищет глазами отца. Старший, в расшитой по воротнику суконной форменке почетного шахтера, застегнутой на все пуговицы, белоголовый, будто в шапочке из козьего пуха, сидит в дальнем углу зала, отбивается от чьих-то неумолимых рук, помогающих ему подняться. Вот Ярема неспешно идет по проходу, ни на кого не глядя, супит брови от надоедливого шума, силится улыбнуться. Улыбка пропадает в бесчисленных складках лица. Возле самых ступенек, ведущих на сцену, Ярема останавливается, трогает блестящий паркет палкой. Голос глухой, как из подземелья. Но в зале все его слышат, потому что разом взрываются хохотом, аплодисментами, когда старик выговаривает Скибе:

— Круты сходцы зробыв, Андрей!..

Руки взвиваются над ним, будто крылья. И начальник шахты спешит мимо трибуны, выбросив перед собой правую руку. Владимир озабоченно глядит из-за спины Скибы. Но Бисиркин-старший не ждет помощи. Медленно поворачивается лицом к залу. Мудрая величавость в его движениях. Ему не до улыбок, но выдают глаза: что-то светлое заискрилось в морщинистых уголках.

— Спасибо за честь, люди-громада!.. За память спасибо. Молодых в гору двигайте, им лететь... А мне и тут, меж вами, гарно. С Меланкой рядом.— Он кивнул в сторону жены.

— Не такие ступеньки одолел, Ваныч! — гремит все тот же басок, что первым напомнил о Бисиркине-старшем.

— То молодость моя одолела,— соглашается и одновременно остепеняет старик излишне внимательного горняка.

Козья шапочка заколыхалась среди чубатых голов, дюжие телохранители сопровождают Ярему на место, к Меланье. Старуха рада его возвращению. Пунцовая от счастья, тряпицей она обмахивает и без того чистый стул, помогает мужу сесть.

Ярема под перекрестным огнем сияющих глаз долго роется непокорными пальцами в кармане, извлекает платок, отирает шею, лоб, глаза. Красно от кумачового полотна на сцене, от яркого солнца за окном, в душе красно.

Жарко. Платок на какое-то время, будто штора, заслоняет нынешнее, торжественное. Из слов докладчика выпархивают целые составы с добычей, тянутся ряды новых домов, шуршат транспортеры с углем, мелькают годы... Несут они Ярему почему-то не вперед, куда обрадованно зовет оратор, а в минувшее, застрявшее в памяти где-то одаль. К третьему после революции лету возращаются думы, к войне гражданской. О ней и помнят-то теперь немногие. Разве из кино или постановки. А у Яремы она вот где, в самом сердце.

Степь... Выжаренная солнцем, раскатанная колесницами тачанок, рано отцветшая под сполохи сухих гроз, выветренная до каменных ребер земля, истыканная стрелами костенеющих трав. Сушь такая — жаворонкам хочется подать воды в небо.

— Ви-ить... ви-ить!.. Пить!

Воды нет. Оголились, потрескались низины балок, упала вода в прудах. Взбитая до желтых глин копытами торопливых коней, она загустела, ржавеет у берегов. Пескари плавают брюшками вверх, ребята собирают рыбу картузами, руками.

В степи сотни людей, тысячи. Серая толпа растянулась от завьюженных песчаником хат до круглой пропасти посередине поля, одичавшего за годы войны. Согбенные люди напоминают странников, застигнутых внезапным появлением чуда. Есть у них свой пророк. Опираясь на кривой посох, сам похожий на суковатую жердь — крючконосый с узкой бороденкой в клин — старец сидит, подобрав под себя босые ноги, упираясь гнутой спиной в покосившийся выщербленный стояк. А дальше — темнота, исполинский зев, черная с размытыми краями яма. Стояк и яма — это все, что осталось за годы войны от шурфа — запасного шахтного ствола. Клеть давно обрушилась вниз; ветры да недобрые руки разметали кровлю навеса. Обнаженной ямы сторонятся люди. Тропа здесь делает колено — уводит подальше от случая, от беды...

Незрячие глаза старика остановились, вся его щуплая фигура выражает нервное ожидание. На обгоревшем до темноты лице — блаженство.

Невдалеке от слепца женщина в рубище. Обтрепавшаяся снизу посконина прикрывает жилистые ноги. Не вставая с колен, женщина приставляет то одно ухо к земле, то другое. Косы разметались в пыли, голос потерял силу, осип:

— Ой, боже мий, що ж воно буде?

У ног — завернутая в клетчатую кофту девочка лет двух. Спит или уже мертвая — ничего не просит. Мальчонка тех же лет а может, чуть старше, бодрствует. Горящими от любопытства глазами он шарит по складкам одежды старца, запускает в его суму худую ручонку... Подросток лет двенадцати, скуластый, ширококостный, рядом с этими двумя детьми кажется взрослым. Оттирая мать от ямы, он касается ее плеча, по-мужски грубовато просит:

— Мамо, перестань!.. Мамо!..

Сомлевший от духоты, но не подающий вида старец шепчет: «Настанет глад и мор, придет конец детям человеческим, с огнем и мечом придет антихрист».

Дети, пугаясь незнакомых слов, жмутся к коленям матерей. Старухи покорно кивают головами, крестятся. Откровения слепого старца звучат для них не ново. На той неделе со стороны Макеевки набежали старинным шляхом верховые. Казачий есаул Чернецов шашками порубил сельсоветчиков, трупы велел побросать в шурф; что огонь принял — отдано огню.

Из поселковой власти выжил только один, Юхим Скиба, саночник. Прыгнул сам, не дожидаясь, пока располовинят ударом и сбросят туда частями. Опустился удачно, помог обрывок каната. Вывихнул плечо, снес кожу на ладонях, рука висит плетью. И голова посветлела, будто зажженная изнутри. А вот усы ничего, рыжими остались, как медь. Обвисли малость.

Засыпать хотели шурф, сделать из него братскую могилу с холмом. Но вовремя спохватились: без шурфа нет дыхания шахте, без свежего воздуха горняк не пробудет под землей и десятка минут.

А как жить без добычи шахтеру? Кто накормит детей, привезет лампы и обушок? Так недолго и всю шахту пустить под кладбище остальным, выжившим после гибели отцов.

Насчет угля напомнил гонец, прибывший дрезиной из Бахмута. Дрезину он, к восторгу поселковой ребятни, приводил в движение ногами.

«Будет уголь,— сказал посланец губкома,— куряне накопают для вас молодой картошки, воронежские прасолы поменяют зерно на топливо. Уголь нужен и котлам: в прошедшую зиму стыли на путях локомотивы».

Шахту покидать не советовал. «Она теперь ваша»,— сказал.

И тогда вслед за трупами погибших на дневную поверхность из шурфа стали вытаскивать обломки взорванных опор, свалявшиеся мотки каната, куски рельсов. Отыскались две винтовки, наверное, опущенные туда дезертирами, нашлась казачья фуражка, соскочившая с пьяной головы, когда владелец ее стрелял в шурф вдогонку Скибе. Мальчишки тут же оторвали от нее блестящий козырек, а в красную тулью, надетую на кол, били из рогаток.

Пружинистый наст из курая и песка взрыхлили ломами и вычерпали бадьей. Дорогу к углю пересекла толстая слига. Мелкая известняковая пыль, занесенная летним бураном из Сальских степей, смешалась с потоками воды, устремившимися в беспризорный шурф в половодье. Все это окаменело будто порода.

Пробовали одолеть пробку зарядом тола. Рвануло с отдачей, но лишь выкроило нишу в стволе. После взрыва поняли: пробку эту подпирал снизу сосновый лежак в два обхвата. И кто только догадался впереть деревину в пропасть? Не хозяин ли шахты перед тем, как умотать на юг, к корабельным пристаням?

Опечаленные расходились шахтеры от шурфа, словно не всех погибших достали. Иные принялись вспоминать о дальних родственниках в хлебных краях на Орловщине и под Черниговом, куда следовало бы поскорее прибиться, пока слушаются ноги. Немало оказалось и таких, у которых только и родни на всей земле, что эта шахта.

Вот тогда и нашелся человек, замысливший подрезать комлевый лежак снизу. Углекопам часто приходится, спасая себя от каменных глыб, резать бревна и ставить в пасть смерти распорки. Бревна эти на глазах растирало в бумагу, но человек успевал к той поре наготовить еще распорок и нарубить кучу драгоценного топлива. Такова подземная жизнь, похожая на игру со смертью. Но то, что предлагал отчаявшийся смельчак ныне, было хуже. Следовало пройти несколько километров забытыми ходами к основанию шурфа, затем подняться по темному колодцу вверх и обрушить пробку на себя...

Человека, придумавшего такой план, сердито выругали, начали стыдить за насмешку над правдашной людской бедой. Но он спокойно возразил, сказав, что сделает это своими руками. Больше того, обещал оставить по себе зарок, чтобы потом из-за его нечаянной гибели ни с кого не было бы спросу. Писать шахтер не умел, но под бумагой, заполненной с его слов, уверенно поставил крест.

Человеком тем был Ярема Бисиркин.

Ярема удался щуплым от рождения. Не раздобрел он и после женитьбы от домашних харчей, на которые была гораздой его жена, широкоскулая степнячка Меланья. Не позволяло Яреме жиреть подвижное шахтерское ремесло, хотя мужик он был на еду падкий. Цепляясь за скользкие распорки и перекидывая через них свое легкое тело, он порхал, будто птица, подбираясь к добычному уступу. Мог вознестись без роздыха на пятьдесят саженей и выше. Но то было иное время: перед спуском под землю Ярема убирал в себя любую половину обширной, как холм, украинской паляницы и фунта два отварной баранины. Для закрепления того Меланья опускала в холстинный сидорок косой шмат солонины. Гостинца ради, да и то не всегда, отец приносил домой сдачу — кусочек припыленного сала, размером с мизинец.

Остальное отнимал уголь.

Сейчас же Ярема сухой былиной качался на ветру. О припасе и говорить не приходилось.

Его стали разубеждать и вроде бы совсем отговорили.

Наступила ночь.

Утром Ярема вышел за порог жилища в проуглившихся лохмотьях, надетых поверх чистой сорочки, расписанной узорной нитью еще в годы девичества Меланьи. Обмотанный длинной пеньковой веревкой, с острой ножовкой в руке и топором за поясом шахтер шел к стволу. На месте тормозка теперь качался противогаз, оставленный в поселке с прежних времен горноспасателями.

Выход из поселка был один: на битый шлях, к покосившемуся копру над основным стволом и к погосту. Похоронно звучали вопли домочадцев, повисших на Яреме, тянувших его назад. Хлопали калитки, пустел поселок.

Прощаться с каждым было недосуг. Ярема поцеловал жену и детей, постоял в обнимку с Юхимом Скибой. Громаде ответил общим поклоном и полез в бадью. Кто-то успел сунуть ему за пазуху кукурузную лепешку, другие поделились луком и огурцами.

Двое держались за железные рычаги ворота.

— Пособоровать бы, да нет батюшки! — пожалела вслух древняя старуха Иванна, мать Юхима. — В таком разе молитва полагается... — Высокая, подобно сыну, сероглазая, статная, вся в черном, она приблизилась к Яреме и по-матерински благословила его.

Бадья заскрипела, пошла вниз. Чтобы ворот не сорвался, к рычагу подбежали еще по одному человеку с каждой стороны.

Медленно в тот день садилось солнце. Еще дольше тянулась ночь. Люди не уходили из степи. Днем спасались под навесами из дерюжек, под утро жгли костры. Мальчишки ловили в балке пескарей, женщины судачили о пережитом, некстати вспоминали последний случай с Шубиным, шахтным домовым. По их словам выходило, что если рудник простоит так три полных года в бездействии, то Шубин покинет глубины, замкнет пласты и перейдет жить в поселок. Уголь превратится в породу...

Скиба в кругу мужчин сидел на склоне балки, откуда далеко просматривалась дорога к Бахмуту. На самом горизонте скучно синели остывшие терриконы. Мужчины курили пожухлые цветы донника, покрикивали на ребят, которые тут же в балке волтузили друг друга, перехватывая добычу, жарили пескарей, засунув им в рот былинку, и поедали без соли. Старшие резались в карты, путая козыри, матерясь, вспоминая что-нибудь озорное из будничной жизни. И тем подбодрялись, отгоняли тоску.

Юхим Скиба отзывался на соленое словцо, но душой был далек от развлечений. Его будоражили вопли, доносившиеся время от времени с поля. То прощалась со своим мужем Меланья, исходила болью. Юхим вскидывался во весь рост, поднимал над головой руку, напоминал зычно:

— Люди!.. Слухайте!..

Толпа склонялась еще ниже. Мужики оставляли карты, дети, зажав рубашонки у пупка, выбегали из воды. Скиба тоже прикладывал ухо к земле. Земля молчала.

О неисполненном желании строгой и добронравной родительницы своей, Иванны, Скиба вспомнил на другой день, когда заметил благообразного старца, бредущего с посохом мимо поселка в казачью сторону. Старец был слеп, это легко определялось по высоко поднятому лицу и твердо, с пристуком опускаемому посоху,— так он ощупывал впереди себя всегда опасный для незрячего путь. Передвигался он между тем ходко, с резвостью, завидной выносливому пешеходу. «Гляди-ка!— удивился Скиба.— Монах!.. Не лазутчик ли какой?» Шахтер медленно поднялся, не спуская глаз с прохожего.

Чувство свалившейся на него ответственности за людей, живых и павших, толкало его на неожиданные поступки. И он, смелея от такого положения, окликнул старца.

Странник, почти совсем лысый, с реденькой свившейся бородкой, в долгополой рясе, не сошел с нагретой солнцем дороги, а лишь повернулся на зов и раздумчиво чертил посохом в пыли. Юхим объяснил, не ожидая расспросов, что он инок Пармен из Святогорской кельи, идет по делам божьим, кормится подаянием.

Скиба остановился перед слепцом в двух шагах, обдумывая свой непростой разговор. Чтобы как-нибудь утешить верующих женщин, овдовевших после бандитского набега, он решился бы пригласить для похоронного обряда любого попа, окажись тот в окрестье. Но молодой батюшка Вонифатий оставил свою паству без призрения и удрал к родителю в Мариуполь, едва над здешней степью прогремели пороховые грозы... Об этой своей нечаянной докуке сельсоветчик рассказал монаху без утайки, как смог. Искренность тронула затворника. Поругав священника за слабость духа, старец сошел с дороги. Тут же встал, будто уперся в невидимое препятствие, покрепче обхватил опору. На плоском, обгоревшем лице Пармена и без игры глаз отразилась мука. Инок поведал: обряд над усопшими ему не положено править по сану, молитвы за упокой, стихир из акафиста он держит в памяти, однако читать не станет, если земле преданы люди, поднимавшие оружие на других,— не позволяет закон...

Почти все павшие от сабель были дружинниками, красногвардейцами. Не раз удавалось им отбиваться от карателей, защищая семьи и шахту. В пятом году ходили помогать восставшим в Гришино. А тут оплошали, на других понадеялись. Но разве святость их ратного дела доступна книжному рассудку затворника? Скиба уже осуждал себя за ненужный разговор с монахом. Но вдруг пожалел старика:

— Ссекут тебе голову беляки,— сказал, как отомстил за упрямство.

Монах вздрогнул, жалко осклабился:

— Бренной жизнью тягощусь, смерть приму яко приближение ко вратам рая...

Скиба впервые так близко видел человека, который совсем безбоязненно говорит о смерти, безвольно отдается на милость сильным. В словах старика он различил религиозный фанатизм, нечто противное даже самой вере. И шахтеру захотелось спросить, что несет он людям, если готов принять муку за свои слова.

— Я иду сказать о скором пришествии господа... Сбылось Писание, гибнем в огне.

— И это все?— удивился шахтер.— А потом?

— Потом будет день,— заученно, со страстью вел свое прохожий.— Настанет благоволение, рай земной... Но не для нас! — закончил он предупреждением. В лице его Скиба увидел скорбь.

«В глубоком сне живет человек. Напрасные видения заморочили ему голову,— подумал Скиба, негодуя.— А ведь среди монахов на Руси водились люди мудрые, начитанные, горазды исцелять душевные немочи словом. Таких князья брали с собой в походы».

Старец медлил, советуясь с совестью. Отказ в помощи да еще по части духовной противоречил его убеждениям.

— Как же ты не боишься без провожатого пускаться в такую дорогу?— поинтересовался Скиба. На это последовал горький ответ:

— Верст на двести округ Святых гор тропы мне привычны. Зрю душой, дар этот взамен погасших очей даден... Птиц различаю по свисту крыла, ночную дорогу ногами чую — она теплее обочины травянистой; речка и впадина предупреждает о себе сыростью; строевого коня кованого отличу от домашней животины за версту; сурочьи потасовки слышу в глубокой норе... Спать же не боязно и под открытым небом: зверь боится спящего сильнее, чем бодрого, змея и та без надобности не ужалит... Ежели бы господь, потушивший свет в моих очах, зажег его там снова, я просил бы не делать того, как прошу людей сейчас не давать мне еды лишней, ничего лишнего.

Инок передохнул, повел белками пустых глаз на Скибу:

— Навык имею доброго человека от дурного отличить по приметам, по голосу.

— Какой же я, по-твоему?— спросил шахтер, приняв последнюю фразу странника за похвальбу.

— Себя ты сам же раскрыл,— старец с обидой взмахнул выцветшими бровями, вскинул бороденку над клюкой.— Плохие люди о других, тем более о покойниках, не радеют... Ежели пытаешь о внешности, то вот мой сказ: росту ты саженного с вершком, бороды не носишь, но усат, лицо оспой трачено... Детей народил трех и еще будут. Судьбу твою и чад до их полнолетия мог бы прочесть по линии на руке, но ты однорук, я понял это по походке.

Скиба засмеялся коротким довольным смешком, хотя минуту тому назад был близок к испугу.

«Хитер, бродяга!— подумал шахтер.— Отгадки по руке бережет на смертный случай: улестить палача, дураку нос утереть... А все же послушать его забавно».

— Все, отец, сказал верно. И насчет сажени с вершком, и про детей. А вот с рукой обмишулился. При мне рука, только плечо помял, не действует покамест.

Он хотел сказать о том, что собирался в Бахмут к доктору, да не может теперь и на час людей покинуть. Вспомнил о Яреме:

— Человек наш еще вчера ушел под землю... Делу помочь... Ждем его теперь, как бога.

Старец обиделся за такое сравнение:

— Спасителя ждите с неба!.. И не гневите сатану хождением в его владения.

Неожиданно он согласился послушать, жив ли под землей Ярема.

Миновало минут тридцать, как Скиба остановил прохожего. Понадобилось не многим больше того, пока инок, окруженный любопытными, прошелся над местами, где выдолблен подземный путь от ствола к шурфу. Трижды замирал старец в неподобной позе, морщась, чихая от пыли. Наконец вздохнул устало, отер полой рясы испарину и весело известил:

— Божий раб Еремей во здравии!.. Токмо дух его не ясен. В сатанинском чреве все темно, смрадно и нет озарения... Слышу звон, много звону... Бьется раб божий с прислужниками ада или в полон взят, прикован цепями к вражеской наковальне и кости единоверцев дробит по их злому наущению — во тьме не различу. Явственно слышу: кует что-то,— тихо закончил монах, и глаза его повлажнели. Заслонив лицо ладонями, он дробно частил словами, спасаясь молитвой от греха,— сотворил недозволенное.

Слова старика подхватил ясноглазый, скуластенький старший сын Яремы.

— Щось кує!.. Жив тато! Кує!— завопил Владимир.

Степь вслед за ним воспрянула, загремела голосами:

— Живой Ярема!.. Щось кує!.. Кує щось!

— Крепь ставит,— деловито поправляли мужчины.

До наступления сумерек монах трижды менял место, следуя за Яремой. Толпа слегка опережала его, показывая путь.

Юхим Скиба при помощи верткого и такого же голубоглазого и чубатенького, как он сам, сынка Андрейки зачерпнул старой корзиной и выволок на берег пруда кучку

ила, а в нем — полдесятка плотичек и карасей. Гостю сварили уху. Тот расчетливо сдобрил постное варево неполной горстью хлебных крошек и склонился над котелком, зажатым между колен. Улучив момент, пока сидели у костра, Скиба тронул здоровой рукой запястье старика, шепнул доверительно: «Насчет геенны огненной ты бабам поменьше стучи, отец. Береги эти слова для беляков, им все равно каюк... А про завтрашний день светлый толкуй. Ждут наши люди хороших дней, верят... Это сейчас вот как нужно!»

Он провел ребром ладони по заросшему кадыку.

Кончив есть, старик насухо облизал ложку и опустил ее на прежнее место за пазуху, до другого случая. Вместо возражения Скибе сослался на пример.

— Святой Иов был отвращен так от пути истинного соблазнами суетной жизни, потому на время лишился высшего доверия, познал бесчестие... От него ушли его ученики.

После ужина монах подобрел. Теперь, когда Ярема отыскался, не закоченел под землей от газа и не запросился вон, а неотступно продолжает задуманное, всяк начал жалеть, что в свое время не догадался пособить смельчаку. Сокрушались, что не снабдили его харчами, и в этом виделась главная причина возможной гибели шахтера или его отступления. Меланья прямо сказала, что муж неистов, пока сыт. «Худой же он ни к чему не способен».

Не ради успокоения, а истине служа, инок подключился к их разговору, заметив:

— У человека не одна сила, а целых три. Первая от предков, от роду-племени; вторая — от еды; третья — от стремления. Какая сила сильней — о том ведутся споры...

Глубокое молчание, воцарившееся у костра, говорило об интересе, вызванном словами старика. И тогда он пояснил сказанное:

— Из малого, невидимого глазу семени, в темном чреве образуется человек. Он же сам без подмоги со стороны освобождается от материнского лона. Человеку новому достает той силы, чтобы заявить о себе криком, потребовать пищи и внимания. На этом первая сила иссякает, ибо кому не известно, что младенец без еды и забот скоро умрет, опять превратится в тлен.

Все согласились с иноком, а женщины похвалили его за понимание их тяжкой доли хождения с бременем. Старец продолжал:

— Вторая сила — в хлебе насущном. Она гонит все

живое в рост, вдыхает огнь внутренний, для движения потребный... В том числе и для пустых движений,— улыбнувшись, добавил инок.— Истинно так, ибо мелкие заботы о себе одном зело обдумки не требуют, они привычны... Умение добыть пищу, оградить собственный живот и плодиться присуще и свинье неразумной. Иной зверь либо животное управляется с такими потребностями ловчее, чем люди. Человек же, овладевший лишь теми двумя силами, умеющий быть в пользу себе и не более, животному неразумному подобен. Третья сила — в духе, в мысли возвышенной, в делах, кои я зову промыслом божьим либо озарением. Ваш нынешний вожатый,— монах повел пустым лицом на Скибу,— пусть назовет иначе, как ему ясно.

— Здравомыслием!— отозвался Скиба, опускаясь у костра напротив Пармена.— Высшей целью, и никак иначе!

— Однако же я,— продолжал Пармен,— разом с вожатым чту сына человеческого Еремея в его высоком стремлении... Истинный человек он! Не обижайте его неверием в третью силу, главную опору ему сейчас. Ей нет измерения! Действует она не всегда, час от часу, но способна в нужную годину восполнить недостатки тех двух сил... Не думайте же о своем брате, яко о животном, он сейчас выше всех нас, хотя и под землею!

Люди подивились такому заступничеству за Ярему. Более того — найденной в шахтере божественной третьей силе. Один голос прозвучал из темноты с сомнением:

— Пье дуже — ниякий бис не бере!..

Посмеялись незлобиво над той привычкой Яремы и сразу стихли. Старец молчал отрешенно. На неподвижном лице его скакали огненные тени. Он вспоминал о чем-то, шевеля губами.

— Всуперечь трем силам три слабости в человеке живучи,— заговорил снова Пармен.— Имя у них едино: зло... Выступает сатанинское наваждение в трех лицах: суесловие, корысть, измена. Поелику всякие козни от нечистого, грешным людям оный соблазн видится не слабостью, а силой... То изначально! Ибо слово кривое, выгода и отступничество имеют обратный путь — к человеку, сотворившему их на беду другому, породившему зло.

В полночь старец задремал, показав добрый знак прочим. Несмотря на тяжкий путь дневной и сомнения, заснул крепко, смущая соседей по ночлегу здоровым храпом.. Мятежная душа инока, стесненная веригами монастырских бдений в обычное время, выпархивала орлицей, когда хо-

зяин спал, и заявляла о несбывшихся желаниях богатырским трепетом крыл. «В самом деле,— улыбаясь, думал о страннике Скиба,— при таком проявлении духа едва ли даже измученный голодом зверь осмелится приблизиться к логову беззащитного угодника».

Перед зарей инок Пармен проснулся, начал с молитвы, но, вспомнив о новом призвании, побрел к шурфу. Он первым уловил в знобкой тишине зарождающегося дня слабое шарканье ножовки по дереву. Ярема подбирался к слиге.

Заря играла кроваво-багряными всплесками. На ветры, на пожары. В дымке росного тумана верхушки дальних терриконов казались отсеченными, угрожающе висели над окоемом, будто шлемы неведомых врагов. Доступный глазу мир лежал перед этими шлемами ничтожным. Маленький человек, сошедший в подземелье, должен был возвратить этому миру его реальные черты, а людям — надежду.

Пока еще не совсем пробудилась степь, не взлетели птицы, звук ножовки слышали многие. Работал шахтер неторопливо, расчетливо: протянет раз, другой — затаится. Потом принимается снова. Было то от слабости рук или Ярема, подрезая лесину, давал себе передышку, отступал в укрытие, чтобы не пропустить момента, когда сдвинется слига,— люди объясняли всяк на свой лад.

Меланья не уходила от ямы, шепча вслед за иноком молитву, похожую на заклинание. Она лишь однажды обернулась, когда запеленатый в кофту ребенок напомнил о себе, попросил есть. Крикнула Меланья не на девочку, всем трем:

— Сигайте, злыдни, в яму!.. И я следом... Все одно без батьки сгинем от голоду.

К ним подошел Скиба. Женщина благодарно взглянула на него и зачем-то спросила:

— Чи высоко, Юхим, пришлось лизты Яреме до той клятой деревины?

В глазах ее Скиба уловил гордость за своего мужа. Она и ругала его, чтобы отпугнуть смерть.

Скиба не стал обижать женщину ложью. Поискав глазами что-нибудь для сравнения и не найдя, он пригляделся к снизившейся тучке, измерил глазом расстояние до нее, ответил просто:

— Считай, як до неба...

Перед обедом, когда люди стали разбредаться по степи, ища спасения от зноя, а яма совсем замолчала, будто Ярема раздумал биться со слигой, в глубине что-то дрогнуло,

срушилось, загудело... Над круглым зевом снаружи взвился столб пыли, заметались ошметки коры, дохнуло погребной сыростью.

Над смерчем завис протяжный зов Меланьи, женщина готова была прыгнуть в шурф, чтобы встретить там кончину разом с мужем. Настала как раз та минута. Но ее упредил голос снизу:

— Эгей!— И еще разобрали слово:— Веревку!..

Проворные руки тут же подкатили телеграфный столб, уложили его поперек ямы. Мужчины побрались за руки, чтобы оградить опасное зрелище от безумства любопытных. Через столб заправили канат с куском горбыля, как сесть живому. Веревка оказалась с запасом, ее облепили все. Тащили поначалу спокойно, потом не совладали с желанием, зачастили руками, перехватывая, отнимая друг у друга концы. Словно выкрадали среди бела дня обреченного у самой судьбы.

Не в ночь тянули, а из ночи, не от людей — на люди, не один всех, все — одного... И чуть не ошиблись, что случается впопыхах. Человек явился иным, не таким, как привыкли видеть, как ждали. Черным и недвижным перевалился Ярема через край урвища, будто его заменили там ковалком угля или сам он от натуги превратился в камень.

Меланья что-то тревожно залопотала, но Пармен остепенил ее жестом. Он разгреб лохмотья на груди спасенного, приложился ухом.

— Спит, аки агнец смиренный,— объявил старец, вставая.— Облик человеческий утрачен, однако печати сатанинской нет, диаволу не сдался. Заслаб сильно... Не будите, не советую.

Иванна поднесла к губам шахтера бутылку с козьим молоком. Тот глотнул сонно, веки вздрогнули, не разлепились. Его понесли через степь. Впереди Меланья с девочкой, рядом с ней Иванна, Юхим, хлопчики. Старец плелся сбоку, чтобы не задеть кого дрюком.

Скиба слышал вокруг ликование. Люди славили Ярему. Но, рождаясь в чистых глубинах сердца, слова эти тут же отлетали прочь, умирали среди гомона и птичьих песен. Так умирает для творца не запечатленная на бумаге или не дошедшая до свидетелей мысль, явившись одному и лишь однажды. Скибе хотелось, чтобы сегодняшние слова о хорошем человеке запомнились навсегда и разнеслись по свету. Он велел шествию остановиться, а Ярему поднять на руках повыше.

— Громадяне!— сказал он, сухо глотая, супясь от напряжения.— Давайте запомним нынешний день... Ради всех нас Ярема опустился в заброшенный рудник. Каждому шахтеру ведомо, что значит это. Он постоял за наше дело, как воин стоит в битве за отечество.

— Истинно так, яко воин!— согласился с вожатым инок. Он уже обжился здесь и считал себя, если не первым, то вторым человеком после Скибы.

— Прежняя власть,— продолжал Скиба,— была непужной, як тая проклятая слига... Но и царь не смел обидеть храбрых. Солдатам вешал кресты, офицерам раздавал ордена, земли... Наша молодая народная власть похерила царские знаки, чтобы мы все жили равными. У нас еще нет своих рабоче-крестьянских наград, а если они в центре имеются, то до нас пока не дошли... Лучшие люди всегда были, есть и сейчас. На той неделе герои наши полегли в неравной схватке с беляками. Нынче Ярема Бисиркин возвысился делом!.. Давайте же отметим своего брата шахтера большим сердечным словом. Станем величать Ярему пролетарским Георгием Победоносцем, или как иначе. Может, богатырем нашего промысла... Як громадой решим тут, так и буде...

Скиба с напряжением подходил к нужному слову. Вдруг услышал в толпе то, что давно хотелось:

— Трудовым «Георгием»!..

Скиба подхватил эти слова, поправил:

— Не «Георгием», а героем трудовым! Пусть в таком добром звании живет меж нами Бисиркин! Людская молва выше царского креста!

Степь заколыхалась непокрытыми головами.

— Героем!.. Трудовым!..

— Ярема — герой шахтерский!

— Ура Яреме!

Со Скибой вдруг заспорил Пармен. Закашлявшись после первых слов, с непривычки говорить перед множеством, он частил фальцетом:

— Не соблазняйтесь мирскими званиями, единоверцы! Равными пришли в мир, равными и уйдем отсюда. Вечен только святой, страдавший за веру, яко Христос страдал. Божий раб Еремей совершил благостное дело, я тому свидетель. Он пойдет со мной до архиерея, владыка осветит его имя, запишет для поминания.

— Не быть тому, не быть!— остановила речь слепца Иванна. Она хотела сказать еще что-то, но в спор вмеша-

лась Меланья. Колыхая плачущего ребенка, женщина убеждала криком:

— Не пущу Ярему в святые!.. Не его то работа! И сам он не пойдет никуда — шахту окаянную любит дуже... Уголь вместо хлеба нюхает, коли брагу заисты больше нечем!

Подступив к старцу ближе, она с жаром принялась отговаривать его. Мокрела жалостливой слезой.

— Не поругай меня божьим словом, святой отец... Возьми старшенького сына, Володимира, в поводыри... От голоду спасешь, и тебе он помогу окажет... Возьми в благодарность за моление.

Она подталкивала заупрямившегося мальчика к иноку.

Когда процессия, шумно переживая спор между Скибой и Парменом, двинулась дальше, Иванна подошла и попыталась объяснить, почему вмешалась в разговор мужчин о судьбе Яремы.

— В том шахтере, честный инок, не много святости. Разве в руках да в деле. А так он пьющ не в меру, речь перемежает сорным словом. Не удержит в устах молитвы... Нравом ерепенист больно, жену обижает...— Она предпочла не говорить подробностей.

Пармен кивал в ответ, будто соглашаясь, но своими думами не делился. По причине, неизвестной остальному миру, он от времен совершеннолетия перестал верить женщинам.

Старец Пармен решил дождаться полного пробуждения Яремы и поговорить с ним наедине. Он просидел у постели спящего, одновременно прислуживая ему по нужде, остаток дня, ночь целую и еще день до появления звезд. Они могли бы и столковаться в конце концов, но отрекся от своей затеи благостный инок. Исповедальную речь шахтера не дослушал и до середины, ушел своей дорогой. Юного поводыря отпустил, сказал на прощание:

— Иди, отрок, за Скибой!.. Тебе открылся иной путь.

Первую бадью угля шахтеры добыли еще к той поре, как Ярема проснулся.

В шахтерской Горловке помнят об этом случае до сих пор.

1971

ЕГОР ИЛЬИЧ

Командир запасного полка, наметивший позицию для учебных стрельб по ту сторону железнодорожной насыпи, очевидно, не учел, что гаубицу нам придется выкатывать на руках по крутому взлобку, обильно политому ночью первым весенним дождем. То ли потому, что весь орудийный расчет был скомплектован из бывших госпитальных, то ли бойцы еще недостаточно сдружились — пушка застревала на полдороге в колдобине, ноги бойцов скользили по откосу. Напрасно сержант Туляков, командир расчета, рвал глотку, поглядывая на часы:

— Раз-два, взяли!.. Н-ну-у... — выдыхал он, хватаясь за спицы колеса то слева, то справа.

Гаубица какое-то время катилась вперед, переваливаясь с боку на бок, как жирная гусыня. Потом, словно забоявшись крутой дороги, начинала сползать обратно, увлекая за собой измученных солдат.

— Эх, пару лошадок бы сюда! — вздохнул ефрейтор Анисим Голубь, сворачивая козью ножку. Длинный, исхудалый, пропахший за многие лазаретные месяцы какими-то неистребимыми запахами лекарств, Анисим был старше всех в расчете и больше иных меченный войной. Тяжелый осколок перебил ему ключицу и распорол щеку от подбородка до виска. В холода и при нервном расстройстве шрам становился фиолетовым, дергался. И тогда Голубь прикрывал его ладонью, стыдясь своего увечья. — С лошадками мы враз бы перескочили на другой бок насыпи,— закончил он, потирая шрам.

— Какие у них лошадки! — досадливо махнул рукой командир расчета в сторону колхозной деревеньки, сиротливо разбросанной в огромном полудужье насыпи, огибающей деревню кольцом. И без того низенькие, вдобавок обветшавшие за войну хаты казались с насыпи еще более жалкими.

Сержанту возразил наводчик Супрун, тихий, всегда молчаливый, старательный, а потому, видно, больше остальных притомившийся воин.

— Лошади должны быть,— заявил Супрун. — Колхоз ведь тут. Без машин они — это правда. Но утром я сам слыхал, как ихний бригадир наряд давал на пахоту...

— Иди разведай,— коротко бросил мне сержант. — Скажи, мол, на полчасика нам коняга требуется. В момент вернем.

В ежедневных солдатских заботах от темна до темна мне как-то недосуг было полюбопытствовать, чем жива эта крохотная деревенька, недавно вызволенная из оккупации,— обескровленная, разграбленная фашистами и полусожженная ими напоследок.

Я постучался в крайнюю избу. На разворошенной, неубранной кровати сидела седая женщина, зажав в подоле гильзу из-под снаряда. Тележечным шкворнем старуха растирала в гильзе просяные зерна.

— Широбоков Егор... сынок Ильи теперь за старшего у нас,— ответила бабка, поглядев на меня вкось, не подымая лица.

На другом конце деревни я приметил мальчонку лет четырнадцати. Был он курнос, конопат, с зелеными девчоночьими глазами. Но уж больно строгим показался он мне, хотя и занимался интересным для его возраста делом. Потоптавшись около минометчика, который протирал на завалинке ствол оружия, подросток с разрешения бойца взвалил на плечи девятнадцатикилограммовую плиту и прошелся с ней по двору.

Я пристыдил бойца:

— Чего позволяешь пацану такое поднимать? Не по летам ему...

Минометчик смерил меня изучающим взглядом через плечо и продолжал шуровать тряпкой.

Подросток бережно прислонил плиту к завалинке и отозвался на мои слова:

— Мне — что! Я только попробовал. Батяня от Волги до Днепра такую нес. Может, и дальше придется...

— Ну каково нам, солдатам?— не удержался я.

— Тяжело ему,— вздохнул паренек. И тут же добавил: — Только бы немца пересилили да домой вернулся. Мы с маманей тут ему вволю отдохнуть дадим. Хоть до самой старости пусть ничего не делает, все сами поработаем.

И тут я обратил внимание на руки паренька: черные кисти, потрескавшиеся ладони. Сам приземистый, в росточек не выбился, лицо детское, в веснушках, а руки с солдатскую лопату! Руки эти были словно чужими у него.

Паренек перехватил мой взгляд и машинально стал нащупывать карманы.

Узнав, что я ищу бригадира, паренек сказал просто:

— Широбоков Егор — вот он я... Егором Ильичом меня теперь зовут.

Заметив мое изумление, он также невозмутимо разъяснил:

— Чего мне врать-то? Чай, не по своей воле. Всем селом избрали. Да и мужиков у нас не осталось больше. Был дед Герасим — на кладбище свезли. Немцы его перед вашим приходом порешили...

— Упряжку надо, товарищ бригадир!

— Лошадок? — Егор Ильич даже подался мне навстречу, обрадовавшись. Однако, когда разобрался, что к чему, невесело осклабился: — Нема лошадей, ни одной...

В глазах бригадира то мелькала радость, надежда, то опять он становился не по-детски угрюмым.

— А пашете на чем?..

И тут я поперхнулся. С огородов донесся нестройный бабий галдеж... По артельному полю в сторону деревни, перехлестнувшись лямками, подбадривая себя хриплыми голосами, тащили плуг женщины.

Порыв ветра срывал верхний слой земли с комьев и кидал пылью в их посеревшие лица, затрудняя дыхание.

— Арина Буланова нынче борозду ведет... Вроде за коренника у них,— с грустью проговорил Егор Ильич. — Старший сын и муж у тетки Арины на войне... А вот та, что по правую руку от нее, маманя...

Паренек потоптался на месте, затем, как бы вспомнив о главном, побежал к пахарям, кинув на ходу:

— Пойду-ка я подмогу им на повороте!..

Заробев от мысли, что колхозницы увидят меня и догадаются, зачем солдат пожаловал к ним в страдную пору, я свернул в переулок.

— Ну что, пришлют лошадей? — спросил Анисим Голубь, не дожидаясь, пока я доложу командиру о выполнении задания.

Я молча подошел к Тулякову, попросил у него бинокль и, наметив ориентиры, указал сектор наблюдения.

Лицо сержанта вытянулось, едва он поднес бинокль к глазам. Смерив Голубя уничтожающим взглядом, он передал оптику ему.

Мы все видели, как заиграл, задергался шрам на щеке ефрейтора, но тот словно не чувствовал. Он прижимал к глазам бинокль даже тогда, когда отвернул лицо в сторону. Голубь хотел таким образом задержать стыдную слезу, вдруг навернувшуюся на глаза. Но она предательски покатилась по изуродованной щеке.

Когда бинокль обошел весь расчет, бойцы молча сгру-

дились у гаубицы. Помнится, никто из нас не подавал команд, мы не хотели даже смотреть друг на друга. Но гаубица с первого захода выскочила на насыпь. Боясь оглянуться назад, мы катили ее по песчаному полотну, не разбирая дороги, через лужи и ухабы.

Если бы вместо насыпи тогда оказалась крутая гора, мы все равно не остановились бы, пока не достигли ее вершины.

1945

СТЕПКА ВЕРНУЛСЯ

Было это не за горами-морями и не совсем в давние времена. Кажется, не успели еще остыть на проселочных тропах Суземья следы босых ребячьих ног; еще чудится порой ржание лошадей за ночными кострами в пойме речушки Сев; нет-нет да послышится в лесном эхе тревожный голос тетки Пелагеи:

— А-у! Степка!.. Сынушка-а!

Жил в нашей деревне мальчонка по имени Степка. Один он у матери был. Махонький удался сызмальства, долго в росте отставал от своих однолеток. Нестриженым и босым бегал: рыжие волосенки вразброс по макушке, ноги в цыпках. Одна штанина до колен завернута, другая по сбитым щиколоткам хлопает. Если и было что свежее у Степки, так только глаза: голубые, как крохотные лесные озерца, глубокие-глубокие.

Играться, бывало, затеем — сидит Степка, пока не покличут. На малу кучу и не заглядывал: отойдет в сторонку и виду не подает, что ему интересно. Говорят, и отец у него таким тихоней был: мухи не обидит. Оттого и поручили отцу за природой наблюдать... Убили браконьеры.

С той поры тетка Пелагея пуще глаз берегла Степку, неохотно отпускала его от себя. А отпустит — целый короб сердитых слов наговорит: и в воду не лезь, где глубоко, и в драку не встревай, и поперед взрослого в разговоре со своим словом не суйся.

Куда уж ему со взрослыми водиться, если он в ребячьей компании тише воды ниже травы. Мы и в картишки на лугу иной раз срежемся, и огород чей-нибудь

обнесем, а Степка всегда вроде ни при чем. Сидит себе в колдобине да по ивовому прутику черенком ножа постукивает. Дудочки вырезывал. Вырежет, посвистит сам немножко и отдаст кому-нибудь, абы нашелся такой добрый человек, который позарился бы на эту дудочку.

Единственное, что позволял себе Степка,— это стрелять из лука. Редко кто из деревенских ребят нашей поры луком не баловался. Но чуть подросли — родители нам свои старенькие ружьишки дарили и на охоту с собою брали. Не с кем Степке охотиться, да и ружья ждать неоткуда. Зато из лука Степка мог яблоко сбить в колхозном саду, птицу на лету доставал.

А еще он удался на сон некрепким. Наговоримся мы, бывало, у костра в ночном о ведьмаках да леших, россказней всяких наслушаемся, картошки печеной наедимся и — спать впокат на свежем сенце. Про Степку и думать забыли. Проснемся на заре: костер вовсю пылает, и куча сушняка в запас наношена. Степка сидит себе как ни в чем не бывало, картофелины в золе палочкой поворачивает.

Однажды он удивил нас. Пробудились мы ночью, как по тревоге: лошади спутанные ржут, к костру сбиваются. И Степки у костра нет. Пригляделись, а он по лугу с горящей головешкой носится как шальной. Оказывается, в табор волчица с выводком пожаловала. Нет бы Степке поднять нас, а он схватил головню — и один на волчицу.

Ох и досталось Степке от матери за это! Она крепко забоялась пускать его в ночное. Работу ему такую приискала: за соседской девчонкой-ревушкой глядеть. Не мальчишье это занятие вовсе, а Степке вроде все равно. Сидит целыми днями дудочки вырезывает или наконечники к стрелам мастерит.

Но вскоре о Степке снова заговорили.

Повадился в нашу деревню беркут. И откуда только принесло его такого: в крыльях сажень добрая, носище что твой серп, лапы когтистые с человеческую ладонь. Зачнет ходить кругами над деревней — жди беды. Курицу подхватит, и ягненку в его когтях несдобровать. Засаду сколько раз делали, бьют мужики из ружей — все мимо да около.

Беркут и совсем обнаглел. То ли со старых глаз, то ли силу свою дурную испробовать надумал, на девчонку эту самую набросился. Степка как раз к завалинке отошел, просмоленный наконечник надо было ему в пыли обка-

тать, чтобы затвердел получше и гвоздь крепче в нем держался.

Кинулся Степка на беркута, колотит его по крыльям стрелою, девочку от когтей загораживает. А беркут не отлетает, клювом над головой его щелкает. Хорошо, что девочка закричала. Люди сбежались, ругают Степку: чего, мол, такой-сякой, на помощь не зовешь?

А он и сам не знает почему. Забыл с перепугу.

Долго не заживали на плечах следы от острых когтей хищника. Крепко рассерчал Степка на беркута. Чуть свет он уже во дворе, зоркими глазенками по небу шарит. Все примечает: откуда поутру прилетает хищник, куда с добычей направляется, когда по небу стрижет черными крыльями, куда из-за облаков комом валится. Иной раз увяжется Степка вслед за птицей и на полдня пропадает. Ножик отцовский охотничий на чердаке отыскал, наточил об камень.

Соседка уже стала на него за девочку обижаться: мол, никакого толку от такой няньки.

И вдруг пропал Степка. Обед мать приготовила — нет сына. Ужин в нетронутых мисках остыл. Когда совсем завечерело, пошла тетка Пелагея со своей докукой по дворам. Одни к речному перекату с баграми отправились, другие по лесу цепью разошлись. Впереди тетка Пелагея; подол юбки за пояс подоткнут, босиком, как лен полола. Хрипит она уже от крику:

— Сынка! Степка! Вернись, родненький!

— А-у! А-у! — разносятся по сумеречному лесу голоса.

К утру вернулись по домам ни с чем. Ни спать, ни есть неохота, и работа в руки не идет. В глаза друг другу люди не глядят. Не Степке ровня — взрослые погибель находили в лесных болотах.

На другой день опять по лесу да к речке, и снова то же самое. Тут уж кое-кто стал успокаивать тетку Пелагею: мол, не ровен час... Все под крестом ходим.

Только она и слушать не хочет. Знай свое: мечется по окрестностям. Глаза от слез и бессонья красными стали, на ровном месте спотыкается. Крикнет на другом конце мальчонка какой — бегом туда бежит. Волки завыли ночью — через огороды напрямик в поле ударилась. Все чудится ей, что Степка отзывается... Волчица его будто рвет в отместку за лошадей.

Уже обхожены ближние деревни, и спрашивать больше некого, и надеяться не на что. Тетка Пелагея на работу с

подружками вышла. Горько ей было: волосы на голове в кудельку спутались, глубокие складки у рта залегли, синие круги под глазами... Пробовали ее разговорами душевными увлечь. Вроде слушает, даже слово-другое уронит. А сама вбок да вбок посматривает. И вдруг спросит:

— Степки-то мово не видели?

Пугаться ее стали. А иной раз скажут:

— Придет Степка! Куда ему деваться?

Но никто уже не верил, что Степка жив.

На рассвете после четвертой ночи в окна нашего дома отчаянно забарабанила чья-то твердая рука. С улицы донесся громкий шепот:

— Сынка вернулся! Слышите?

Этому можно было и поверить, если бы тетка Пелагея не захохотала: жутко, на всю улицу.

Отец кинулся в сени, загремела железная щеколда. На крыльце послышалась возня. Отец уговаривал несчастную женщину войти в наш дом, передохнуть с устатку.

— Эк израсходовала ты себя, сердешная! — то и дело приговаривал отец.

Но тетка Пелагея, дико хохоча и расталкивая людей, упрямо шла от окна к окну. Отец грузно переступил порог, потоптался на одном месте, вздохнул, заругавшись. Увидев, что я не сплю, он походя рванул меня за ухо.

— Глядеть вам друг за дружкой велено... Во как по вас матеря убиваются!

Мать тоже завозилась на кровати, вспоминая обо мне что-то нехорошее.

Раньше отец никогда и пальцем меня не трогал. Но в эту минуту мне хотелось, чтобы меня били, говорили обо мне что попало, лишь бы вернулся Степка!

Комната наполнилась табачным дымом, окна посветлели. Отец все сидел на пороге в исподнем. Мать тоже встала, загремела печной заслонкой. И вдруг нас словно ветром вымело из дома.

Мимо окон шли и шли люди. Они разговаривали громко, выкрикивали что-то, даже смеялись. Почти неделю мы не слыхали в деревне смеха... Мы не спрашивали, куда бежать.

У избы тетки Пелагеи собралась целая толпа. Все молчали, образовав полукруг, или перешептывались совсем тихо. Где-то там, за сомкнутыми плечами, было диво. Я прошмыгнул между чьими-то неплотно расставленными ногами и очутился в центре полукруга. Можно было и не

верить этому, как не верили многие, но у пыльной завалинки лежал распластанный Степка. Лицо его сильно изменилось от худобы и сгустков запекшейся крови. Рядом со Степкой валялась огромная бездыханная птица с хищно раскрытым клювом. Полуобнаженное тело Степки было накрыто крылом этой птицы.

— Тихонько, милые! — по-голубиному ворковала над сыном Пелагея. — Сын вернулся. Он спит.

И спустила, точно дерюжину, крыло беркута на ноги сыну. Ноги Степкины были в ссадинах и цыпках.

Пороли нас целую неделю. Деревня наполнилась детским ревом. Били за все наши грехи, которые запомнились родителям с пеленок, жестоко наказывали по подозрению, нещадно всыпали авансом. За одну неделю ребята нашей деревни стали самыми умными мальчишками на свете. Даже восхищаться Степкиным беркутом мы могли только тайно, потому что дело это считалось строго наказуемым. Из сочувствия к своим иссеченным пастушкам плакали коровы.

Не битым остался только Степка. Мать прижимала его лохматую голову к своей груди и словно не замечала, что делается вокруг. Это не все понимали, но беркута она не отдала разгневанным сельчанам, которые хотели разбросать его по перышку. Степка отнес его в школу.

Степка сильно изменился после этого случая, даже разговорчивее стал. Его как-то сразу погнало в рост. За два-три года он догнал самых долговязых подростков. Увлекся книгами: все про Луну читал. Посветлел, покорился расческе его рыжеватый вихор. Только глаза остались неизменными: голубые, как озерца.

Тетка Пелагея совсем успокоилась. Лишь вспоминать о беркуте не любила. Когда о Степкиной охоте заговорят при ней, вздрагивала, как от удара, зябко поводила плечами.

— Пойду-ка погляжу, что мой малый делает,— говорила она и сразу удалялась к дому. В глазах ее загорался недобрый свет.

...Заухали огненные филины на лесных дорогах, замелькали над деревней стальные крылья залетных беркутов с черными крестами.

Повез Степка колхозный хлеб на станцию да не вернулся, подводу другие пригнали. Письмо с дороги отпра-

вил. Не волнуйся, мол, маменька. Так получилось все непредвиденно. Шел эшелон на фронт, и командир согласился меня с собою взять... Больно приглянулся ему Степка...

Притихла, сцепила зубы Пелагея, натянулась, как струна. Письма от Степки за пазухой носит да еще рукой придерживает, чтобы невзначай не выпали.

Вслед за Степкой потянулись к военкомату другие парни, что постарше. Все, как есть, в одночасье ушли мужики, а с ними и мой отец. Осталось с десяток подростков, вроде меня, да деды. Остальные все женщины с малышами. Как мы завидовали старшим братьям своим и отцам! А больше всего Степке: и здесь он на виду оказался! Да еще раззадоривает нас, пишет: в разведку ходил, с настоящим автоматом трофейным вернулся! Благодарность от командира полка заслужил. А командир тот вместе с Чапаевым воевал. Ну и ну!..

Но подоспело и наше время. Враг приближался. По ночам мы вывозили в лес мешки с мукою, какие-то ящики, переданные нам на станции. Все село готовилось в партизаны. Мне уже объявили в райкоме комсомола, что зачислен в особый тыловой отряд, который развернет свои действия, если оккупанты пожалуют на Суземье... Скажут же такое: фашисты придут сюда! Да их расколошматят еще под Минском, там, где Степка, где отец.

Но раздумывать было некогда. В лесной чащобе день и ночь стучали топоры, туда шли подводы. Какие-то люди в военном рыли окопы вдоль дорог, закладывали мины под мостами.

В беготне я совсем забыл о тетке Пелагее. Да и сама она то часто ходила, а то совсем не кажет глаз на́ люди. Недели через три я все же вырвался на часок.

— Ну как там Степка? — выпалил я весело.— Что новенького пишет наш разведчик?

— Степка в обороне сейчас,— знающе объяснила тетка Пелагея.— На Днепре стоит Степка, немца не пущает. Вот носки ему шерстяные вяжу. Захолодает скоро...

Она зябко передернула плечами и опять уткнулась в свою работу. Голова ее склонилась еще ниже, руки зашевелились быстрее.

Она изредка подергивала ниточку, белый клубок перекатывался в подоле. Что-то не понравилось в ее позе тогда. Но я не мог остановить своего внимания даже на том, что тетка ни разу не взглянула мне в лицо. Я запом-

нил только: клубок ее и вязанье были чисты, как снежок. «Не многие в нашей деревне могут так выварить в щелочи шерсть, так выбелить пряжу»,— подумал я с восхищением. Все так же не глядя на меня, тетка Пелагея достала из-за пазухи зеленый конверт и, положив на уголок стола, приказала строго:

— Читай вслух!

Я не заставил себя долго упрашивать.

— «Здравствуйте, наша добрая мама Пелагея Сидоровна,— бойко начал я. — Мы, командиры и бойцы сто девяносто пятого полка, сообщаем, что Ваш сын, Степан Федосеевич Чураев, хра... хра... храбро...»

Тут я внезапно осекся. Дыхание остановилось. Я машинально пробежал глазами весь текст недлинного и жестокого послания войны. Потом пробовал прочесть его сначала, но буквы уже запрыгали перед глазами. А тетка Пелагея все вязала и вязала, не меняя позы. И только сейчас я заметил, как белы ее волосы, как похожи они на разложенную в подоле пряжу. Может, поэтому и лицо показалось землистого цвета.

«А что, если она еще не знает?» — обрадованно подумал я. Руки мои уже сгребли со стола и письмо и конверт. Гадко разыгрывая из себя очень выдержанного человека, я стал любезно прощаться с хозяйкой дома.

— Будь здоров, соколик! — хрипло отозвалась тетка Пелагея. — А письмо-то положи на место. Слышишь? У людей нынче и свово горя хватает. И кепку не позабудь, она тебе в партизанах сгодится...

Я кинулся к ней:

— Тетя Поля! Родненькая...

Она задержала меня спокойным, укоризненным взглядом:

— В обороне Степка! Слышишь? Вернется он...

Тогда еще в нашей деревне не научились не доверять казенным бумагам. В особенности если речь шла о гибели на войне. Да о Степане-то не какой-нибудь заскорузлый канцелярист сообщал на заготовленном бланке. Это было совместное письмо с подписью командира и комиссара. Там же поставили свои фамилии несколько бойцов, вероятно, служивших в одном подразделении с разведчиком Чураевым. Они писали о готовности стать сыновьями Пелагее Сидоровне, вырастившей такого замечательного друга им и защитника Отечеству.

После я не один раз слышал женские причитания в

избе Чураевых. То кричала не тетка Пелагея. К ней спешили со своим горем овдовевшие солдатки, чтобы выплакаться на ее твердом плече, услышать от нее, может быть, совсем несбыточные, но сохраняющие надежду слова: «Вернутся они!.. И твой придет, и Степка вернется!..»

Почти два года продержались оккупанты в нашей местности. За это время деревня, а потом уже то место, где была деревня, шесть раз переходила из рук в руки. На прежних пепелищах в первые дни после освобождения мы всей бригадой срубили избу партизанской матери тетке Пелагее.

Не сразу заживали полученные в боях раны. Не вдруг поднялась из пепелища деревня.

Есть в нашем краю и такие женщины, которые быстро свыклись с потерей мужей на войне, вышли замуж, растят новых детей.

И лишь тетка Пелагея жила своими надеждами на встречу с сыном и, кажется, совсем позабыла в таких думах о себе. Да и годы брали свое. Сгорбившаяся, припадая к клюке, будто несла на своих плечах горе всех матерей на свете, она и сейчас ходит по деревне, посматривая по сторонам обезумевшим взглядом.

Как-то в середине дня пробегавший по улице мальчонка с криком постучал палкой по наличникам окон моего дома:

— Эй, сельсоветчик!.. Гости приехали!

Хотел отругать постреленка — чуть малышей не разбудил в колыбели, едва угомонились. Вышел на крыльцо и, присмотревшись в ту сторону, где изба Чураевой, увидел двух военных. Рядом с высоким, худым сержантом, тесно прижавшись к нему и как бы подпирая его, стояла девушка в полушубке и ушанке. «В командировку, наверное,— подумал я. — Или в отпуск кто-либо из ближних деревень. К тетке Пелагее на ночлег нельзя: подурнела она за последнее время. Да и для нее это одно расстройство...»

Я медленно сошел по ступенькам, так же не спеша двинулся вперед, ощупывая глазом каждую колдобинку на обледенелой тропе. Может, потому, что идти пришлось не подымая головы, к дому Чураевых приблизился незряче. Когда вплотную я оказался перед военными, почти в упор встретился... с глазами Степки... Передо мною снова засветились чистые-чистые два лесные озерца.

Меня как-то качнуло с боку на бок. Я вдруг почувствовал, что проваливаюсь в бездну. Нас все же разделяло

какое-то пространство, потому что мне захотелось бежать к этим озерцам. По-ребячьему подпрыгнув на месте, я ринулся вперед, закричал. То кричало во мне все мое существо.

— Степка! Степка пришел!

Я уже не чувствовал, как подвернулся протез, как я упал. Девушка в полушубке помогла мне подняться. Она же затем настойчиво оттерла меня плечом от Степки, боясь, что я задушу его.

— Осторожно, товарищ! — напоминала она.— Степану Федосеевичу не можно волноваться... Будь ласка, без резких движений.

Нетрудно было догадаться, что это медсестра. Да и сам Степка был бледный, постаревший, весь пропахший йодоформом.

Чересчур уж серьезной показалась для первого раза медсестра эта!

— К-командуешь здесь? — заикаясь и вообще каким-то чужим, завезенным издалека голосом спросил Степка.— А к-как же отец?

Я промолчал.

А по деревне шли и шли люди. Казалось, все живое вопило: «Степка Чураев приехал! Степка вернулся!..»

Впереди нестройной толпы, гордая и молчаливая, шла, почти не опираясь на клюку, тетка Пелагея.

Медицинской сестре, сопровождавшей Степку из госпиталя, пришлось упрятать его в избу.

Но лежащему на материнской кровати Степке не предвиделось покоя. Каждый хотел хоть пальцем дотронуться до него, как до святого. Ахали, поздравляли, целовали его и друг друга. Степка весело поглядывал в изумленные лица односельчан, сам удивлялся, отгадывая имена повзрослевших детей.

Не знаю почему, но я вскоре очутился сзади всей этой счастливой публики. В избу входили все новые и новые люди, проталкиваясь вперед. Ребята даже на печку залезли, чтобы лучше видеть.

Внезапно я обнаружил, что на том месте у кровати, где сидела медсестра, домовито расположилась сияющая Пелагея. Приглядевшись получше, я убедился, что медсестры вообще нет в избе. Решил выйти покурить.

Я прошел через сени к двери, распахнутой во двор. Наверное, долго стоял там, опершись о дверной косяк, глотая табачный дым, бессмысленным взглядом созерцая

кур, разбредшихся по двору. До моего сознания с беспощадной ясностью вдруг стало доходить то, что можно было угадать по бескровному лицу Степана и по горестно-озабоченным глазам медсестры. Странные иногда запоминаются подробности: девушка ни разу не улыбнулась, видя счастливые лица односельчан Степана.

Заглянув внутрь сарая, я остолбенел: медсестра лежала на соломе, уткнувшись лицом в согнутую руку. Плечи ее вздрагивали.

Почувствовав шаги, она привстала на локоть, заслоняя от меня ладонью свободной руки зареванное лицо.

— Ради бога, ни о чем не спрашивайте меня,— умоляющим тоном проговорила она.

Предупреждение это было лишним. Едва ли я смог бы в эту минуту спрашивать ее о чем-либо. Я повернулся, чтобы уйти, но девушка попросила окрепшим голосом:

— Вытрите себе лицо, мужчина... И помогите мне встать.

Я выполнил ее желание.

— Как вас зовут? — зачем-то спросил я, не выпуская ее руки.

— Одарка,— улыбнувшись лишь уголками губ, ответила она и посмотрела на меня большущими, со снежными искорками в глубине, карими очами. О, сколько тоски могут вмещать иногда женские глаза!

— Когда вы уезжаете?

— Завтра утром.

Одарка опять взглянула на меня, и снова мне стало холодно от ее взгляда.

— Пришлю за вами сельсоветовскую подводу...

Она не ответила, машинально сбрасывая с рукава приставшие соломинки. А я все еще не отпускал другую ее руку, то ли пытаясь передать Одарке свою душевную стойкость, то ли ища поддержки у нее самой.

— Спасибо вам, Одарка... Спасибо душевное за то, что вы... за то, что вы довезли Степана сюда живым. Он очень нужен нам здесь. Какой есть, какой бы он ни был...

Одарка рассказала мне подробности Степкиного ранения.

...Его подобрали бойцы из другой части, бездыханного. В госпиталь доставили в безнадежном состоянии. Врачу не удалось вытащить из тела всех осколков. Особенно опасен был один — у самого сердца. Он до сих пор там и перемещается...

— Долго, очень долго боролись мы за его жизнь. А больше нас он сам боролся. Из переписки со штабом его части мы узнали, что похоронная отослана. Я сразу приготовила письмо Пелагее Сидоровне и даже дала почитать ему, когда он пришел в сознание. Но врач спрятал это письмо у себя в столе: стоит ли дважды травмировать сердце матери?..

Наутро Одарка ушла пешком на станцию.

...С той поры на Суземье что ни мальчик, то Степан.

Пелагея Сидоровна жива доныне. Ежедневно, покончив с нехитрыми домашними делами, она обходит те тропки, по которым бегал ее рыжеватый Степка. И хотя она, выйдя из дому, на несколько минут замирает у невысокого холмика, всегда убранного живыми цветами, тревожный взгляд ее испытующе останавливается на встречных людях. Она как бы спрашивает с надеждой: «Ты не Степка?»

Я не знаю человека в нашем краю, который решился бы сказать ей, что он — не Степка.

1949

ТОЛЬКО ОДНОГО ФАШИСТА...

Немец был широкоплеч, грузен. Ходил вразвалочку. От вынужденного долгого сидения в танке ноги у солдата искривились, будто у наездника. Переставляя их, он загребал ступнями землю.

Он был даже добр, этот самодовольный увалень: уходя с термосом к станционному зданию, швырнул под ноги мальчику бумажный сверток с остатками своего обеда. В свертке — надкушенный кусок хлеба со следами крупных редких зубов и колбасная кожура, собранная в консервную банку. Мяса в отбросах почти не осталось, хотя фриц чистил колбасу небрежно, щипками, захватывая вместе с кожурой крошки сала. Полузабытый запах сдобренной чесноком пищи был острым, волновал голодного мальчика.

Васятка не притронулся к свертку, пока танкист не скрылся за пристанционным забором. Но и развернув бумагу, не стал есть. Он решил отнести все это домой.

Там его ждали больная мать и двухлетняя сестренка Манька, родившаяся в первые дни оккупации. Девочке совсем не знаком вкус колбасы.

В отличие от иных солдат, сопровождавших эшелон, танкист не гнал русского мальчика прочь. Пресытившийся медведь не замечает у себя под ногами лисенка, отбившегося от выводка. Слишком жалок был хрупкий, исхудавший Васятка, чтобы угрожать эшелону с бронированными чудовищами.

Васяткина изба стояла невдалеке, у переезда. Из танка, приспособленного для стрельбы даже по самолетам, можно было без труда снести весь ряд пристанционных домиков, если бы мальчик вел себя подозрительно. Но за два дня вынужденной задержки эшелона на глухом полустанке русский ничем не проявил себя, чтобы его можно было причислить к партизанам, взорвавшим где-то впереди мост через реку...

Мальчик лишь на короткое время отлучался с насыпи домой — когда из избы доносился пронзительный голосок непоседливой сестренки. Потом снова появлялся здесь и всякий раз садился, словно по забывчивости, немного ближе к эшелону. Как-то прибежал к насыпи с девочкой. Танк в это время плавно вращал массивной башней, перечеркнутой огромным белым крестом...

Немец заметил детей в смотровую щель. Большое темное дуло ствола, покачавшись, уставилось на них. Манька заревела и поползла через пыльную дорогу прочь. Танкист заржал, довольный своей шуткой. Его басовитый хохот устрашающе гудел из железной утробы танка. Казалось, что смеется танк.

Васятка не испугался, но он должен был проводить сестренку к матери, поэтому тоже ушел вслед за Манькой. Испугался мальчик позже, когда в сумерки в их избе появился танкист с пустым алюминиевым котелком. Заглянув в порожний бельевой шкаф, затем в лампадку перед иконой, потрогав полусогнутой рукой матицу потолка, танкист сказал требовательно:

— Матка! Яйка, сам-огонь!..

Длинные русские слова он разрывал на части, посмешному уродуя их.

Мать Васятки через силу выпростала больные ноги из-под одеяла, посидела на кровати и побрела в сени. Она боялась, что гитлеровец сам начнет шарить везде и со зла напугает детей.

Пока она ворошила тряпье, разыскивая оставленные про черный день два крупных яйца, за свежесть которых теперь не ручалась, танкист опустился на табурет возле стола. Табурет тихо постанывал под ним. Немец взял из миски залубеневшую картофелину, деловито понюхал ее и положил обратно. Внимание пришельца неожиданно привлекла висевшая над столом сплющенная у горловины гильза, приспособленная под коптилку. Гильза пусто зазвенела, когда пришелец тронул ее почерневшим ногтем. От обгоревшего фитиля разило соляром.

— О, дас ист руссиш электришен?

Васятка высунул голову из-под ряднушки:

— Был электришен, но полицаи движок в Кочетовку увозишен...

Посередине избы сиротливо качался обрезанный шнур. Васятка отдал лампочку Маньке играть вместо куклы.

Мать услышала голос сына и заторопилась из сеней.

— Цыц! — прикрикнула с порога.— Спи себе! Не твое дело!

Перед тем как отдать неприкосновенный запас продовольствия немцу, она долго вытирала яйца передником. Она перехватила насмешливый взгляд танкиста, обращенный на каганец.

— Пан! — сказала женщина.— Бензинчику бы... Налей сюда бензину...

Васятка видел утром, как танкист нацедил из бака почти целое ведро горючего и отдал паровозной бригаде. За шнапс отдал.

Гитлеровец насупил брови и нехорошо посмотрел на мать. Осторожно опустив яйца на самое дно котелка, рассудительно возразил:

— Бензин — не карашо... Бензин — пуф! Много фойер, огонь много!.. Дом — капут. Ты, матка, капут...— Переждав несколько секунд, добавил, кивнув на лампадку: — Икона — карашо!

Он улыбнулся, оголив крупные передние зубы. Васятка заметил, что один зуб спереди был железным и остро поблескивал в тусклом свете лампадки.

— Да мы ведь солью его разбавляем,— урезонила женщина недогадливого иноземца.

Но гитлеровец топнул раз и другой посередине избы, замахал руками, принялся фыркать, раздувая щеки.

— Бензин — стратегишен! Понимайт?.. Дом — капут!

Айн, цвай — вагон, локомотив капут!.. И я — капут! Понимайт?

Последнюю фразу он произнес вприкрик, даже погрозил хозяйке пальцем, намекая на что-то. Может, поэтому Васятке больше иных слов запомнилась последняя фраза: «И я — капут! Понимайт?»

В эту минуту больная и слабая мать, которую качало из стороны в сторону, вдруг показалась Васятке сильнее, чем громадный пришелец. Мама умела просто и безбоязненно укротить страшную для немца силу бензина.

Танкист и на другой день не закрывал люк плотно. Он ел, брился, вращал огромную башню с пушкой, не вылезая из танка, обжившись в нем домовито, прочно. И лишь перед тем как ложиться спать, он высовывался из люка до пояса, перекидывался с патрульными одной-двумя фразами, потом хватался за массивную крышку и осторожно опускал ее на круглый лаз. Оставалась лишь небольшая щель, чтобы в стальную кабину проникал свежий воздух июньской теплыни, чтобы, засыпая, танкист мог слышать, как умиротворенно стрекочут за Васяткиной избой кузнечики.

Косой, полукруглый проем между несомкнувшимися крышкой и краем люка отдаленно напоминал лягушечью пасть. А если солдат подпирал крышку блестящим болтиком, пасть эта становилась похожей на полуоткрытый рот танкиста, в котором темнел металлический зуб... И тогда весь танк — неуклюжий, приземистый, раскорячившийся на платформе — напоминал грузного своего водителя.

Часами торчавший на насыпи Васятка и сам не мог бы объяснить толком, в какой день или в какую минуту впервые появилось желание запустить руку в приоткрытый люк танка!.. Может, в тот день, когда он вовсе не случайно подслушал разговор взрослых в Медвежьем урочище. А может, только вчера, впервые увидев тревогу фашиста, испуганного своими же словами о пожаре.

...Мальчонка и прежде забредал с грибным кузовком на партизанский стан, рискуя притащить за собою полицейских лазутчиков. Но Васятка был глазаст, осторожен, умел при малейшей опасности исчезнуть в кустах и выжидать там, пока освободится от случайных встречных.

В последний раз ему пришлось провожать в урочище, к дядьке Максиму, каких-то мамкиных знакомых.

— Отведи, сынок, к Максиму их,— сказала она.— Хорошие люди это, нашенские. Дорогу к партизанам ищут...

Помни, что сегодня в сумерки от Сычова болота подходить нужно. По-выпьему кричи три раза кряду — партизаны выйдут...

Дядька Максим — заросший, бородатый, с красными от бессонницы глазами, не выспавшийся после многодневного рейда к дальнему населенному пункту — будто и не обрадовался приходу пополнения.

— Вот о чем речь поведу, товарищи! — сказал лесным гостям дядька Максим.— Хоть вы и с запасцем продовольствия явились сюда — вы еще не бойцы, не подмога нам вовсе. Не знаю, где как принято, а в мою бригаду люди приходят с оружием в руках. И не просто с оружием, какое бог пошлет, а с автоматами и карабинами, отнятыми у врага!.. А как же ты думал?..— обратился он прямо к высокому тонкому парню, удивленно воскликнувшему при этих словах.— Фашист тебе сам отдаст автомат? Надо изловчиться и убить врага первым! И это будет твой вступительный взнос в партизанское воинство...

Пришедшие смолкли, переглядываясь. Но их растерянность лишь распалила партизанского вожака.

— А вы как же думали? Фашист страшен только с виду. Он что вор в чужом доме, не знает, из какого угла смерть на него замахнется. А нам с вами каждый закуток, каждая тропинка тут ведома. Что же нам — стенка на стенку сходиться с оккупантами да жребий бросать, кому первому начинать! Круши, язви их в душу, где попало, к ногтю бери, где прижучишь. Теперь, мужики, что взрослого населения в партизанском краю, что фашистского чистопородного зверья — равное число понагнали. Значит, и враги всех нас за солдат считают. И то правда. Каждый нынче на своем месте — воин. Кто меткой пулей, кто вилами, а кто не побрезгует и голыми руками — по одному оккупанту на тот свет спровадим, и лучшей подмоги для Красной Армии не придумаешь...

Уставившись на Васятку чуть улыбчивыми, утомленными глазами, он сказал:

— Вот о таких надо думать... Все погибнем, если потребуется, но детей наших в рабство не отдадим, как отцы нас не отдали...

Снова затем загоревшись, партизанский вожак рассказал:

— Слыхали небось, как бабка Лаврентьевна в Суслове обухом комендантова помощника по высокому картузу съездила? И на виселицу пошла — слезинки недругам не

показала. «Слава богу, говорит, что не за зря своей жисти лишаюсь: майору невольницкому веку укоротила! Все вам легче будет, сельчаны, в борении вашем праведном!». Ну чем не героиня? Слова эти большими буквами и портрет бабкин в партизанской газете напечатали...

Он вытащил из нагрудного кармана гимнастерки газету и передал ее парню, на которого накричал было поначалу. Пришедшие обступили газету.

Дядька Максим горестно заметил, сняв шапку:

— Жалко, что не поспели мы в Суслово, не вызволили Лаврентьевну. Зачислил бы ее на полное партизанское довольствие и пистолет свой персональный ей вручил... А может, и командиром бы к вам приставил!— озорно блеснул глазами напоследок.

Пришедшие в лес с помощью Васятки мужчины — в большинстве это были пожилые люди или едва оперившиеся юнцы — виновато потупились. Они стали шумно уговаривать партизанского командира вооружить тем, что окажется лишним, послать их в бой.

Кто знает, как поступил с ними дядька Максим, брат Васяткиной матери. Может, придумал испытание. Васятку же отослал домой одного. Да еще и напутствие дал секретное, чтобы все поселковые прятались в ночь на пятницу в погреба.

— А почему — не твое дело! — сурово осадил мальчика командир, не любивший, когда его перебивают вопросами.

Васятка так и не решился спросить, примут ли его в отряд, если и ему удастся подкараулить и убить одного фашиста?..

«Примет, наверное,— облегченно думал он по дороге к дому.— Ведь дядька Максим от своего слова никогда не отступался. Прислал записку начальнику полиции в Кочетовку, что изловит и повесит гада — изловил и прилюдно казнил предателя».

В четверг вечером соседи помогли мальчику приладить в погребе на подставках из саманных кирпичей снятую с петель хатную дверь. Топчан получился лучше не придумать! Кадку вместо стола приспособили. Васятке она удобной показалась: сунул руку под кружало, выловил огурец, какой потверже да поядреней, и в рот отправляй без пересадки.

Хорошо, прохладно летом в подвале! Только от темноты заплесневелой на душе тоскливо. Манька лягушек боится...

Васятка в стрелку сводил брови, стараясь походить на дядьку Максима, когда задумывался. В самом деле, чем бы это опустевший каганец зарядить к ночи? В лампадку юный хозяин заглядывал: нельзя ли нацедить оттуда маслица? Воды бы в гильзу подбавил, чтобы жир к фитилю поднялся? Но и там горючего оказалось на донышке. Гиблым тараканам на дне лампадки хвосты припалило...

Хоть и негоже было признаваться в своей беспомощности, доложил Васятка матери все, как есть. Чтоб потом, когда подопрут дверь погреба кольем, не ругала. Может, думал он, пошлет засветло к кому-нибудь давний долг по такому случаю истребовать?..

Не послала. Долго вздыхала, на немощи в ногах жаловалась, пока решилась выдать свою, не про детский разум хранимую тайну:

— В подполье бутылка у нас... По самое горлышко в землю стоймя прикопана... Окруженцы еще впозапрошлогодь оставили. Больно лют бензин в той склянке. Сказывали: железо от него огнем берется... По наперсточку я оттудова в соляр добавляла. И ты, смотри, немного налей. Да солюшки, солюшки крупной на дно засыпь...

Все сделал Васятка, как мать велела. И откупорил бутылку со всей осторожностью, и в гильзу соли натолкал сначала. Попробовал, горит ли, перед тем как в погреб светильник снести. Только одного не превозмог — ребяческого любопытства. Сроду не видал, как железо горит! А тут не у кого и спрашивать — возьми да сам и пробуй. Можно ведь отлить две-три капли — бутылка огневой жидкости почти вровень с плечиками, полна.

Пролил Васятка несколько капель на жестяной совок и фитилек поднес. Полыхнуло сильнее, чем думалось, хотя совок и целым остался. Как порох взметнулось пламя!..

Вспыхнул огонь и будто все внутри озарил: «А что, если?..»

И сердце замирало в радостном испуге: «А что, если?..», и руки то дрожали, то наливались недетской силой: «А что, если?..» Взрослел Васятка в эти жуткие мгновения, стараясь уяснить себе, как поступили бы на его месте дядька Максим, бабушка Лаврентьевна и те мужики, которых вел он по бестропью на партизанское становище.

И не было для Васятки большего трусишки на свете, чем он сам.

Чем гуще темнело небо в предвечерье, тем больше роилось в голове этих самых «А что, если?..»

«А что, если кинуть бутылку с насыпи?..», «Нет, обмишулиться можно, да и бензин же надо сперва поджечь!..», «А что, если разобью бутылку ненароком, когда на танк полезу?», «Нет, надо тряпочкой обернуть и в пазуху положить...», «А что, если кремень из худого кармана оброню?..», «А что, если?..»

Однако все эти новые «А что, если?..» уже не пугали. Наоборот: подталкивали, звали...

И темень загустела предлунная, колодезная; и сверчки раскричались — шагов не слышно; и зарница над лесом взыграла, будто дядька Максим подмигивает; и танкист храпел; и патрульные, удаляясь к паровозу, перекликались, будто болотные птицы.

Васятка в один прыжок очутился под платформой, а потом по сцепным крючьям к танку подобрался. Кремень с ватным жгутом в кулаке зажал.

Взмокрел Васятка весь от пазухи до плеч — пробку неплотно в бутылке заткнул. Стал на цыпочки, дотянулся до лягушачьего зева в танке и вылил туда остатки бензина. Все вылил, даже на заправку каганца не оставил... «Ну и достанется мне от мамани!..» Потом фитилек принялся раздувать в ладошках, чтобы вслед за бензином в танк его спровадить.

Вот тут-то и занялась огнем намокшая в бензине рубашка. Да так вспыхнула, что забыл Васятка, зачем сюда пришел, сомлел от страха. И уже когда сам он превратился в факел, пламя от горящей рубахи лизнуло окутанный парами танк.

Обезумевший от внезапного пробуждения гитлеровец, будто пушинку, откинул крышку люка. Первое, что он увидел,— клубок огня, удаляющийся от эшелона по откосу. «Мама! — кричал клубок тот.— Мама!..»

Танкист, вопя от боли и ужаса, перевалился за борт. Но тут же, оглушенный взрывом, взлетел над платформой вместе с башней вслед за клубком огня, похожим на шаровую молнию, скатившуюся с безмятежного неба в ночи.

Васятка рвал с себя полыхающую одежду. Ему казалось, что пламя не отстанет от него и что он может поджечь свою избу.

Он побежал мимо переезда, огородами. Его больно жалило и кусало. По нему стреляли от вокзала трассирующими пулями. Надо было упасть в бурьян, покататься

в пыли, но каждый раз, когда он припадал к земле, сзади раздавался сатанинский грохот. Эшелон плескался огнем, швырялся целыми ящиками. Через голову мальчика, кувыркаясь, будто поленья, летели гигантские патроны. Упав на землю, они крутились, потом разлетались в разные стороны — куда гильза, куда неразорвавшийся снаряд... С огненным хвостом из двух горящих вагонов, и, наверное, уже без машиниста, паровоз устремился в лес, в сторону взорванного моста...

Пылали ближние к железнодорожным путям избы...

Конные дозорные партизан, выехавшие узнать причину преждевременного взрыва обреченного на уничтожение состава, подобрали на проселочной дороге у леса сильно обгоревшего мальчика. В бреду он еле шевелил запекшимися губами. Дозорные разобрали слова:

— Дядя Максим, я убил одного фашиста...

1950

ДЕВЯТЫЙ «Б»

— Гешка!.. Комиссар!..

Я вздрогнул. Я вспомнил... Нет, я ничего не мог вспомнить в тот миг, замерев посередине дощатого настила, заляпанного свежей известкой. Я разогнался было к оконному проему не достроенного нами дома, когда снизу меня настиг этот зов. До сих пор не знаю, почему я тогда остановился: ведь я уже давным-давно не Гешка. У меня есть замечательный тезка Гешка Михайлов, названный так его упрямой матерью. Он охотно отзывается на такое обращение. Это мой сын. Для всех строительных рабочих — от юных штукатурщиц до степенных, седоусых каменщиков я — Геннадий Петрович, прораб. Всем известна моя натура, не терпящая легкомыслия, ребячества. А тут с высоты цокольного этажа я прыгнул вниз на кучу алебастра. В едкой пыли мы сшиблись с человеком, окликнувшим меня полузабытым детским именем...

Отойдя в сторонку, мы жадно приглядывались друг к другу. Тот, кто знал мое имя, был в более выгодном положении — он меня искал и мог разглядеть издали.

— Ну, узнай же меня! Узнай скорее! — приказывал

этот человек, больно притираясь к моей щеке худыми и колючими скулами.

И тут только я заметил, что левая рука его, заброшенная мне через плечо, равнодушно висит плетью, не прижимает меня, подобно правой.

— Вы... ты случайно не из девятого «Б»?

Кричу я, вероятно, громко потому, что гость тоже шумлив. Из нижнего оконного проема высунулась девичья голова в алой косынке. Я делаю досадливый жест рукой, и косынка понимающе исчезает.

Проклятая память подготовила мне новый сюрприз. Напрасно я минуту и другую вглядывался в ослепляющие горячечным блеском глаза друга, с расходящимися от уголков гусиными лапками морщин. Ни у кого из моих знакомых не было столько коричневых складок на лице, такой глубокой морщины на лбу и таких серых проницательных глаз. К счастью, обрадованному человеку этому пока хватило упоминания о девятом «Б».

Так произошла эта встреча.

Плохо быть щепетильным в подобной ситуации, но служба есть служба. Еще до оклика снизу я почувствовал на руках две-три холодные капли. Погода с утра не предвещала ничего хорошего, а прораб в таком случае должен быть настороже. Пока мы обнимались, капли зачастили.

Извинившись, я кинулся к проему, чтобы разыскать подсобных рабочих и приказать им убрать с открытой площадки цемент, а кучу алебастра забросать листами фанеры. Люди, как нарочно, разбрелись по этажам.

Когда я вернулся от ящика с цементом, дождь разошелся. Впрочем, на куче алебастра поблескивал лист фанеры. А друг мой нашел убежище под толевым навесом, куда мы после смены сносили инвентарь. Он дал мне знак рукой, чтобы я переждал непогоду на месте. Надо было все же перебежать через двор, но меня остановил внезапно голос подсобницы Гали Онипко, неслышно подошедшей сбоку. Галя была едва ли не самой юной из группы выпускниц средней школы, пришедших на строительный объект после неудачи с институтским конкурсом. Она организовала бригаду «красных косынок».

— Одноклассника встретили, Геннадий Петрович? — затягивая и без того крепкий узелок под подбородком, спросила Галя. Не дождавшись ответа, девушка сказала не без гордости: — А наш класс тоже был девятым «Б».

Девушка глубоко вздохнула и закусила губу, отчего ямочки на щеках углубились, а юное личико похорошело.

Между тем дождь, попробовав свою молодую силу, обрушился на землю неистовым ливнем. Задорно рокоча и с сухим треском загоняя в землю ослепительные стрелы, над головами метался гром. Лист фанеры на куче алебастра гудел, будто железный. Из-под листа, пузырясь, растекались молочно-белые ручьи. Это был один из таких весенних ливней, после которых холода исчезают бесповоротно.

Пока еще не опознанный по фамилии гость еще глубже отступил под навес, но не настолько, чтобы потеряться из глаз. Юность наша осталась где-то так далеко, что если бы у людей имелась привычка измерять жизнь школьными классами, то мы с ним перешли бы к нынешней поре, по крайней мере, в двадцать девятый «Б».

Отгороженный от гостя густой шторой дождя, я не переставал вглядываться в его лицо, одухотворенное улыбкой. Сквозь эту водянистую штору оно казалось мне свежим, без морщин. Больше того, оно с каждой минутой чудодейственно прояснялось и молодело. Дождь, будто художник штриховкой, делал это лицо зримее.

И вдруг!.. О, счастье! Я чуть не вскрикнул, весь подавшись вперед. Мне хотелось побежать к другу, повторяя его имя много раз, как строку из полузабытой, но дорогой песни... «Пимка! Яровой Пимка!»

— Геннадий Петрович,— послышался опять сбоку голос Гали Онипко,— товарищ Михайлов, а ваш класс был дружный?

— Наверно... обычный класс, такой же, как у вас,— наконец нашелся я, полагая, что этот ответ сгладит мою прежнюю небрежность.

— А вы часто собираетесь все вместе? — не унималась девушка.— Когда, например, в последний раз встречались?

Ах, если бы я мог сказать этой девчушке... Если бы я мог ей сказать что-нибудь иное, только не суровую правду! Я знаю: тотчас бы она очень певучим голосом, каким читают стихи на школьных вечерах, рассказала бы мне о недавней встрече ее одноклассников в их родной школе. Она как-то затевала разговор об этом, но я, уже не помню почему, не мог дослушать ее до конца.

Я ответил ей очень тихо. Я никогда и никому не гово-

рил о таких вещах громко. Я сказал Гале еще тише, чем обычно:

— В сорок третьем... В последний раз...

— Извините,— сказала постаревшим голосом Галя.— Извините, товарищ Михайлов...

...А дождь все шел и шел, уводя меня в то далекое, невозвратимое. Только это был уже не теплый майский ливень, готовый прекратиться чуть ли не сразу, лишь только над пузыристыми лужами прозвенит детская припевка: «Дождик, дождик, перестань...»

Шел холодный осенний дождь военной поры. Пронзительные отвесные струи словно ввинчивались в почву, размывая ее. Сквозь эти жесткие струи можно было продвигаться не иначе, как опустив голову и разводя впереди себя руками.

Мы шли уже пятый час, еле поспевая за командиром. Шли через притихшие в тоске прифронтовые села, по-хозяйски обходили шаткие мосты, старались не задеть плетней. Никто не спрашивал названия этих сел. Здешним жителям остались безвестными наши имена...

Я никогда не думал, что первым сдается железо. Вороненые стволы наших карабинов и автоматов наполнились водой и оттягивали плечи. Косые срезы ствольной коробки зацвели, стали покрываться ржавчиной. А мы все шли и шли, ссутулившись, боясь резко повернуть голову: намокшие ворсины шинели ощетинились, больно ранили шею.

Иногда спереди долетал сухой голос ротного, капитана Катина: «Младших командиров в голову колонны!» Начальственную фразу эту подхватывали в двух-трех местах добровольцы. И тогда я устремлялся вперед, хотя обогнать людей, втянувшихся в ходьбу, дело нешуточное. Но я рвался на командирский зов. Мне это полагалось по нештатной должности «комиссара». Я был единственным политработником в роте, комсомольским секретарем. В «комиссары» меня перекрестил сам капитан Катин.

Капитан Катин обладал удивительной способностью чувствовать свою роту как единый организм. А здесь он бросил мне через плечо:

— Что-то снова в девятом «Б». Ну-ка, комиссар, выясни. Это, кажется, по твоей части...

Мне хотелось, чтобы капитан ошибся. С каким наслаж-

дением я доложил бы ему: «Вам показалось, товарищ капитан. Поскользнулся боец. Только и всего...» или что-нибудь в этом роде.

Но сейчас капитан оказался прав. Может, его за это и недолюбливает рота, что он никогда не ошибается сам и никому не прощает ошибок.

Девятый «Б» — это наш второй взвод. Строевому командиру там нечего делать. И стреляют, и отдают честь, и бросают гранаты все, как заправские вояки. Глядя на них, можно подумать, что они отродясь только и делали, что копали траншеи.

Им только по семнадцать. Сразу после экзаменов они всем классом записались в добровольцы. Дежурные по полку часто упрекали нашего командира взвода, что его подчиненные не помнят номера своего подразделения. На вопрос «откуда?» отвечают: «Рядовой Сизов из девятого «Б». Или рядовой Киселев, или Яровой. Впрочем, никого еще не наказали за такой ответ. Просто терпеливо разъясняли: «Забудьте о своем девятом «Б». Вы солдаты».

Бойцы совершенно искренне обещали исправиться. И не исправлялись тоже честно.

Их только девятнадцать во взводе, но чувствуют они себя так, будто их вдвое больше. Может, потому, что в комсомольском билете каждого крохотная фотография оставшейся в Зауралье школьницы. Юные их подруги путаются в войсковых терминах не меньше самих бойцов. Вместо индексов, обозначающих роту, после номера полевой почты любовно выводят на конвертах фиолетовыми чернилами: «Девятый «Б».

От таких писем веет партой и мелом — запах, который проникает в душу и сохраняется дольше самых дорогих духов на свете.

Все девушки — худенькие и толстощекие, с косичками и коротенько остриженные — на карточках неизменно улыбались. В письмах они дружно называли вооруженных бойцов мальчиками. Сами они с первого сентября стали на целый год старше: пошли в десятый класс, а их отважные защитники ходят по суровым полям Украины в звании рядовых из девятого «Б»...

В списках старшины личный состав этого взвода числится как получающий сахар вместо махорки. Поскольку в хозяйстве старшины чаще, чем сахар, водились леденцы, взвод по команде «перекур» достает из кармана дешевые конфеты...

Меня, как комиссара, перевели в этот взвод не случайно: отсюда начинаются все события ротного масштаба.

...Колонна выбиралась из лощины на косогор, когда я поравнялся с серединой роты.

Почему-то я сразу заметил бойца Киселева. Он был грязен с головы до ног и без оружия. Киселева вели под руки двое рослых девятиклассников, первый и второй номер станкового пулемета. Упасть на марше — немудреная штука. На ночных переходах можно запросто плюхнуться в кювет и досматривать там счастливые сны. Но упавший обычно бодрится и норовит поскорее занять свое место в строю, чтобы избежать жестоких насмешек...

Над Киселевым никто не смеялся. Девятый «Б», похоже, скорбел над такой незадачей своего товарища. Только эти двое, что были рядом с Киселевым, и сам пострадавший улыбались.

— Чепуха, комиссар! — сказал первый номер пулемета Пимка Яровой с нарочитой веселостью. Он ловко вскинул на спину вещмешок Киселева.— Стоило ли по пустякам шум поднимать? Скажи-ка лучше, когда там в небесном генеральном штабе дадут команду насчет дождика?..

У Пимки ковыльного цвета чубчик, белые, бесцветные брови и пушок над верхней губой белый-белый. Когда он задумчив, кожа на лбу собирается в тоненькую, еле заметную складочку.

Второй, здоровяк Осинин, шел с двумя автоматами за плечами и тащил тележку пулемета. Он тоже хотел сказать мне что-то, но его опередил сам Киселев.

— Не вздумай докладывать командиру,— тревожно заговорил он, счищая ладонью грязь с плеча. Потом добавил с гордостью: — Девятый «Б» никогда не подводил роту, комиссар.

Он, вероятно, говорил бы еще, но лихорадочную речь его предательски оборвал кашель. Киселев был бледен и часто кашлял, однако никогда не жаловался на простуду и сторонился врача, когда тот делал санитарный обход.

Этот боец вообще не внушал мне доверия: на две недели он опоздал в запасной полк, в дороге потерял все документы, кроме комсомольского билета. Если бы не дружное заступничество взвода, ему, пожалуй, и не выписали бы красноармейской книжки без особой проверки, хотя в прифронтовой зоне случалось и такое. Солдаты, отставшие от своих частей, могли вливаться в любое подразделение, идущее на передовую... Обязаны были так

поступить по военным правилам. Киселев вел себя в данном случае как заправский вояка, разыскав свою часть даже без документов.

Я не стал спорить с девятым «Б». Они наверняка все были бы не на моей стороне. Я молча подпрягся в пулеметную тележку, став между Киселевым и Осининым. Вечерело.

А дождь все шел. На неровные ряды бойцов лился и лился поток воды.

Вскоре мы по еле заметным скользким тропинкам спустились в пологую балку, криво перерезавшую нам путь. По дну балки гулко хлюпала вода, трудолюбиво размывая свое русло. В мутной воде откуда-то сверху тащился негодный мусор отнюдь не степного происхождения: банки из-под консервов, нестираные бинты, обгорелые снарядные ящики, жирная пакля. Игриво колыхаясь, проплыла полузатопленная немецкая каска с картофельными очистками.

Кто-то домовито обживал этот степной овраг, не отыскав себе пристанища поуютнее.

Сужаясь и раздаваясь будто в угоду ручью, балка вихлясто уходила вдаль. Она, как исполинская морщина придавала затуманенному дождем лицу поля, слегка взрытому, оспинками воронок, скорбный материнский вид.

— Здесь будем ждать приказа,— без лишней строгости объяснил капитан Катин, когда ему доложили о наличии всех бойцов. Офицер задумчиво сплюнул в каску с очистками, проплывавшую у самых его ног. Потом осведомился: — Вопросы есть?

Бойцы молчали. Какие могут быть вопросы, если смысл нашего появления здесь имел предельную ясность: роте надлежало приблизиться вслед за танками к окопам гитлеровцев и забросать их гранатами. Бегущего противника полагалось преследовать до полного уничтожения, щадя только раненых и пленных.

На тактических занятиях в запасном полку мы разыгрывали эту операцию до тех пор, пока не заслужили благодарность. Правда, никто из нас, кроме офицеров, в глаза не видывал живых немцев, и как они отнесутся к нашему появлению здесь, представляли себе смутно. У нас все же хватило воинской мудрости не беспокоить капитана лишними расспросами.

— Есть вопрос! — глухо прозвучало вдруг из третьей

шеренги. По кашлю я догадался о фамилии любопытного. — Как называется это село?

Киселев взмахнул автоматом в сторону отдаленных домиков, тоскливо вжавшихся в землю за фронтовой чертой.

— Терпенье! — неожиданно проговорил капитан. Рота недоуменно вытянула лица. Капитан выхватил из планшета карту и подал ее правофланговому Воронцову.

— Населенный пункт Терпенье!— бойко уточнил Воронцов.

Бойцы заулыбались. Улыбнулся и капитан. Потом он увел офицеров на рекогносцировку, дав нам благожелательную команду: «Можно курить и сидеть, не сходя с места».

Садиться на расквашенную глину было бы смешно. Леденцы растаяли в карманах. Дождь отнял у нас по дороге на передовую даже ту, дарованную старшиной последнюю радость, которая еще связывала нас с детством...

Ночью меня потревожили чьи-то негрубые руки. Я прикоснулся щекой с шершавому металлу гусеницы танка и тут же вспомнил гостеприимных людей в шлемах, которые кинули для нас брезент из машины.

— Славка умирает! — услышал я над собой горячий шепот Ярового.

— Убили? А где взвод?

Под брезентом не было ни души.

— Не шуми, Гешка,— еще тише потребовал Яровой,— а то как бы ротный нас не хватился... Славка сам по себе умирает. Больной он был всю дорогу...

«Даже для сна это не годится»,— подумал я. Мне хотелось нырнуть снова под брезент, чтобы увидеть сон получше.

Яровой прыгнул сапожищами в грязь на той стороне ручья и понесся по балке, не оглядываясь. Я кинулся следом. Я не упал, наверное, только потому, что не глядел себе под ноги, боясь упустить из виду юркую фигуру пулеметчика. Мы бежали мимо землянок, мимо каких-то грузовиков со вздернутыми над кабиной рельсами... Все это казалось дурным сновидением.

В этом верхнем конце балки было гуще, кучнее от ящиков, машин. В темноте ярко блестела плоскость самолета, приспособленная для перехода через хлюпающий по-

ток. Мы устремились по этой плоскости опять на «свою» сторону оврага и с ходу попали в блиндаж...

Оказалось, что здесь собрался весь девятый «Б». Ребята сидели на земле, тесно прижавшись друг к другу. Юные лица их в свете единственной плошки были едва различимы и казались намного старше, суровее.

Молоденькая санитарка стояла на коленях перед лежащим посередине блиндажа Киселевым и укутывала ему ноги плащпалаткой. Киселев уже привык к ее проворным, заботливым рукам. Он лишь слабо улыбался.

— Ну вот, комиссар...— извинительно заговорил он.— Хуже и не выдумаешь. Не принимает война. Не то опоздал, не то раньше срока явился.

— Бредит?— спросил я у санитарки, опускаясь рядом с ней.

— Правду сказывает!— по-северному нараспев возразила она.— Легкие по ниточкам разошлись. А сейчас — вон...— И она кивнула на большой ком ваты, от которого отщипывала по крохотному клочку, вытирая больному окровавленные уголки рта.

Девушка была не старше этих бойцов. Мне подумалось вдруг, что это совсем не настоящая медсестра, а одна из нынешних десятиклассниц, сошедшая с фотокарточки, как добрая фея. Я не удивился, если бы они оказались здесь все до одной.

— Не серчай на девятый «Б», комиссар,— снова заговорил Киселев. Слова ему давались с большим напряжением, но никто не осмелился остановить эту речь.— Это я сам во всем виноват... Если бы они не приняли меня во взвод, я воевал бы в одиночку. Не дотянул немного до победы. С самолета меня во время эвакуации фашист ударил, грудь пробил. Болезнь далеко зашла. Не хотелось мне просто так умирать, на больничной койке, от класса своего не мог я отстать... Ты не гляди, Михайлов, что я вдруг заслаб. Я сильный был, выше всех в школе прыгал, боксом занимался!.. Я злой... Ух, и дрался бы я с фрицами, если бы с глазу на глаз повстречался в бою... Мы все такие...

Славка проглотил горький комок, передохнул и закончил вдруг просительно:

— Дайте мне автомат!.. Где мой автомат? Я хочу один идти в атаку...

Он заворочался под плащ-палаткой, намереваясь встать. Но девушка легким касанием руки успокоила его.

Одноклассники Славки еще ниже опустили головы. Кто-то всхлипнул в темноте.

Было что-то милое и вместе с тем обидное в том, что именно от посторонней девушки я услышал продолжение Славкиного рассказа.

— Самовольщик он... Только по-хорошему,—заговорила медсестра, садясь у изголовья больного. — Врачи не пускали воевать-то... Говорят: лечиться надо, где потеплее да посытнее. А он взял и обманул всех... по-хорошему. Ему в Крым бы надо, в Мисхор, а Крым под немцем!

Девушка сняла с колен еще не успевшие загрубеть руки и рывком приложила их к глазам.

— Славка хочет стрельнуть по фашистам напоследок,—угрюмо проговорил за моей спиной Яровой.

И я сразу понял, зачем Яровой прибегал за мною. Отчаянным жестом я сорвал автомат с плеча.

— Давай, Славка! Жарь из моего. Мы сейчас тебя вынесем на бугорок, поближе к фрицам.

Бойцы ожили, задвигались. Медсестра уставилась на меня благодарными глазами.

Шумно вздохнув, как будто приходилось делать нелегкую работу, в углу поднялся рослый танкист. Под комбинезоном этого человека, одетого по-боевому, четко обозначались твердые командирские погоны.

— Не колготись, комсомолия! — рассудительно заявил танкист.— Ради такого дела я бы и на машину посадил вашего Славку, снаряд для него загнал бы в пушку и на передок подвез... Не время — вот какая штука. Молчать нам приказано, ждать команды. Одним словом — отставить!— закончил он.

Ребята загалдели. Я почувствовал себя посрамленным, кинулся вон из блиндажа.

...Катина удалось разыскать в штабном блиндаже. Он спал сидя, вытянув разутые ноги к маленькой железной печке, которая распространяла вокруг себя опьяняющее тепло. На печке стояла двухкилограммовая гирька, которой штабники в свободное время проглаживали швы гимнастерок, казня таким способом насекомых.

Рассказ мой о Славке ротный выслушал только до половины.

— Мальчишки! Потешные стрелки Петра Великого,— ворчал он, натягивая сапоги.— С вами в лапту играть, а не боевое задание выполнять... ЧП... Ну скажи, ЧП это или нет?

— Нет,— мотнул я головой.

— Верно! — обрадовался Катин. Он еле поспевал за своими мыслями.— Сейчас я звякну в санроту, чтобы пришли за Киселевым. Идет? Где же ваш взводный? Ах, да я его в офицерский патруль выделил... Ну и ну...

Я уговорил капитана связаться с «четвертым». Для пущей убедительности я сказал, что танкист готов немедленно дать Славке пальнуть из орудия, будь на то согласие старших. За цифрой «четвертый» скрывался командир полка Громов. Выше Громова я даже не представлял себе наших прямых начальников. Все в этом полузатопленном овраге принадлежало ему.

Ротный отмахнулся от моих слов, думая о чем-то своем. Потом он стал с ожесточением накручивать ручку полевого телефона. Переругиваясь со связистами, он искал врача. Для меня это казалось несбыточным — отыскать нужного человека во тьме, перемешанной с дождем. Но то ли ротный проявил настоящее усердие, то ли связист спросонья подсоединил штаб дивизии, то ли беспокойный генерал делал обход частей и раньше других подошел к телефону в каком-то полевом блиндаже,— в трубке приветливо зарокотал мягкий басок:

— Первый слушает... Что там у вас?..

Капитан, кажется, выронил трубку. Когда она очутилась в моей руке, командир роты заслонился от трубки растопыренными пальцами, прошептав:

— Валяй сам обо всем... Ниже солдата не разжалуют... Говори, что с разрешения командира...

Я уже знал, что разговор с войсковым начальством следует начинать со своей фамилии и звания. Это у меня прошло довольно гладко. Но потом чем больше я спешил, тем путанее называл номера полка, батальона, взвода. Выручил понятливый собеседник.

— Так и сказал бы, что из девятого «Б»,— совсем не строго произнес генерал.— Знаю... Все про вас знаю... Потише, потише, рядовой Михайлов, дай одуматься... Так... Генерала обманули, а жизнь не обманешь. Мудра она, мудра и жестока подчас.

До меня как-то внезапно дошло, что при всей моей непередаваемой беде у генерала есть дела поважнее. Но трубка на другом конце провода ожила опять.

— Все понял,— зарокотал басок «первого».— Если бы не письмо из дому, может, чего и не уразумел бы... Сынок у меня в одних годах с вами. Юра... На фронт рвется...

Молодцы! Геройское племя! Так можешь передать своим товарищам из девятого «Б»: врача уже послал к Киселеву. А вот насчет стрельбы сейчас не получится. Это тоже передай. И пусть не обижаются сынки. Все могу: на боевые машины всех вас до одного посажу, когда время подоспеет. Прямо в глотку зверюге гранаты швыряйте, за мечты свои мстите... Орудийный залп велю по всему участку дать за Славку, если не пересилит он хворобу. А сейчас ничего нельзя, ни звука. Взыщу за самовольный выстрел... Вот как бывает на войне. Терпение, сынок, терпение...

Мы с капитаном ворвались в блиндаж, но нас словно не заметили. Я готов был слово в слово повторить отцовскую речь генерала и прежде всего сказать о враче. Но мне не пришлось в эту минуту раскрыть рот. Я был поражен необычной тишиной. Ни в одном классе на земле, ни на одном уроке никогда не было так тихо. Мы с капитаном и не подумали нарушить эту скорбную тишину. Мы сняли головные уборы и замерли на месте. Вошел генеральский врач и тоже постоял рядом с нами несколько минут, не сказав ни слова...

Потом откуда-то явился наш взводный и развел нас по шесть-семь человек к танкам.

Мы очень долго ждали рассвета под дождем. И когда уже совсем привыкли к такому состоянию и готовы были ждать вечно, ночная темь, изредка прошиваемая белыми нитками трассирующих пуль, стала еще более сгущаться. Затканное дождем небо почернело, как обугленное. Мы перестали видеть друг друга. Мы слышали только учащенный стук своих сердец, наполненных большим ожиданием, и редкие удары капель дождя о броню. Железо тихо стонало под этими каплями.

Но вот степная балка внезапно ожила, как пробудившееся чудовище. Заворошились, забегали люди, с приглушенным гудом танки стали пятиться из земного укрытия, возводя стволы. Над башней нашей машины заколыхался штырек рации.

Опережая команду, мы кинулись на танк, прикипая к скользкому железу, нащупывая деревенеющими пальцами выступы, чтобы можно было удержаться на бешеной скорости в бою.

И вот наступил рассвет. Он был самым диковинным и ярким из всех виденных нами рассветов на родной земле. Чья-то могучая рука с грохотом раздвинула черный полог ночи, застилавший нам путь вперед. Тьма завыла на все

лады, засвистела. На мгновение она смыкалась вокруг нас, чтобы отпрянуть еще дальше... И в этом смертоносном говоре темноты со светом зазвучали воинственные кличи: «Третья рота!», «Первый взвод!», «Четвертый батальон!».

Между двумя соседними машинами, тихо вздрагивающими от сдержанной ярости моторов, вознесся голос нашего взводного — мстительный и тревожный:

— Девятый «Б»! Приготовиться к атаке!..

А сверху, в океан будущего огня, падали и падали частые тяжелые капли. Шел дождь...

1953

НЕ ОТВЕРНУ ЛИЦА

По сигналу тревоги к месту сбора должны являться все: и строевики, и подрывники, и бойцы хозяйственного взвода. А уж на месте, сообразуясь с обстановкой, командир усиливал огневые расчеты, определял резерв и отсылал в тыл всех, кому положено было там находиться до получения новых распоряжений.

Ездовой дед Овсей, партизанский конюх, мог бы и не спешить в строй по команде. Никто от него этого не требовал. На попечении древнего Овсея было шесть заезженных одров и гнедой рысак Буш, отбитый у немцев и названный так по фамилии своего хозяина — крейсляйтера Буша.

Хлопот с худобою хватало, да и какой из Овсея строевик: чуть к перемене погоды — ноет поясница, своевольничают ноги. Восьмой десяток разменял в первую партизанскую зиму.

Однако стоило деду лишь взглянуть на командира бригады, когда тот вскочил на рысака и с места в галоп кинулся к дальним землянкам, и он покрепче затянул узлы на коновязи и потянулся за трофейным карабином.

Тревога оказалась не шутейной. Весь вражеский гарнизон вышел с рассвета для прочесывания леса. Партизаны рассредоточились по опушке. Даже санитарка Поля, пристроив свой немудреный чемоданчик в колдобине под кустом боярышника, стала окапываться рядом с пулеметчиком Сенькой Шиловым. Сенька помогал ей, маскируя окопчик ветками.

Дед Овсей, не дождавшись разрешения идти к коням, привалился к подопревшему ольховому пеньку у самого буерака, чтобы одним глазом присматривать за лошадьми. «Надо было мне пораньше подняться да к роднику сводить скотину»,— укорял он себя, предчувствуя затяжку в сражении.

Старый партизан вытащил затвор, протер его рукавом, дунул в ствольную коробку, выветривая засохшие листочки клевера, и вогнал в магазин один за другим четыре патрона, которые всегда валялись у него в кармане среди табачного крошева.

Командир бригады Павел Саворенко, обойдя позиции, подошел к деду. Поначалу он хотел было отослать старика подальше от опушки, но бросилась в глаза строгая армейская выучка Овсея — и как он взял карабин, и как по-уставному изготовился к стрельбе...

Поразмыслив о чем-то своем, улыбнувшись в усы,— такой уж был этот лихой человек! — Саворенко определил седовому боевое задание:

— Поскольку ты, Овсей Крисанович, крайним оказался, на тебе теперь весь наш левый фланг держится. Бей самого крайнего — это и будет твоя мишень. Не попадешь...— он покосился на карабин,— или осечка случится — Сеньке крикнешь, он поможет...

Старику не понравилось, что командир засомневался в нем. Но об этом он скажет Пашке после заварухи. А сейчас дед Овсей отозвался молодцевато, как встарь:

— Рад стараться, товарищ Саворенко!..

Каратели схлынули в русло пересохшей реки и долго не показывались оттуда. Командир уже подумывал о том, чтобы дать команду минометчикам. В буерак были посланы дозорные: предупредить о возможном обходе с фланга.

Овсей Крисанович так напряг свое зрение, глядя на крайний куст у кромки лесного оврага, что глаза заткало поволокой. Партизан смахнул влагу с ресниц и привстал на колени, чтобы затем лечь поудобнее. Но вдруг кольнуло в пояснице — едва не крикнул от боли. Проклятый радикулит, не считаясь ни с годами, ни с обстоятельствами, вел свою гнусную работу в старческом теле и днем и ночью. Пришлось потихоньку лечь в прежней позе.

Раздумья о неотступных немощах отвлекали деда, мешали ему сосредоточиться. «По хорошей поре,— жалел себя старик,— валяться бы мне на печи или кости парком

прогревать в бане. Согнали гитлерюги поганые с родимых мест и печку развалили вместе с хатой...»

Как-то Овсей пробудился от предчувствия близкой кончины: пригрезилось, что останавливается сердце. С того часа думы о смерти не отлетали. Это вовсе не пугало старика. В таком же возрасте преставились и отец его, Крисан, и родитель отца, правоверный Ероха. Оба они мнились Овсею Крисановичу людьми куда более крепкими, чем считал себя партизан. Дедунь Ероха, шумно со всей родней отметив семидесятипятилетие, собственноручно сколотил себе просторный, с резными украшениями гроб, настлал в него лугового сенца первого покоса и последние два года укладывался на ночлег в этой мрачной, несмотря на веселые узоры в изголовье, домовине. Такими были в те времена обычаи и приготовления к вечному покою.

По корням своим, по родству, дед Ероха считался старовером, но, видимо, не из усердных. Его в округе больше знали как заядлого книгочея. Однако, заглядывая в книгу (часто весьма не божественную), старик нередко потчевал свое многочисленное потомство наставлениями собственного сочинения.

Одна из родовых притч, текста которой даже внучка Овсея, студентка Даша, не сыскала в публичной библиотеке, запомнилась Овсею, врезалась в память сызмальства сильнее молитвы: «Не отверни лица своего от беды, пришедшей в дом ближнего, не прощай вору украденного, злому — зла, дабы худое, яко трава сорная во поле, не заглушило доброго в сердцах человеческих».

Сам Ероха, неистовый правдолюб и трудяга, тоже поступил однажды так, как требовала суровая притча «Не отверни лица...». Когда управляющий имением помещика Холодова ременной плеткой исхлестал за недоимку солдатку Мавру, правоверный Ероха подошел к обидчику вроде затем только, чтобы пристыдить человека именем божьим, но не удержался и ткнул ирода кулаком в грудь. И ткнул-то вроде слегка, но управляющий не выжил.

— «Не отверни лица своего...» — шепчет устало, с грустью партизанский конюх Овсей.— Давно ли я сам был стригунком, а теперь вот уже хоть мерку снимай на гроб...

Мысли старого Овсея с покойных деда и отца перекинулись на здравствующих детей, на внучку любимицу Дарью. Перед самой войной закончила институт девушка.

То-то красива, то-то нравом кротка да подельчива! А уж грамотнее ее и во всем районе не сыщешь. Кого война от дела отлучила, а Дарьюшка и в партизанском соединении по своей специальности работает: с пленными на их наречии объясняется, бумаги закордонные на обыкновенный язык перелицовывает...

Хорошо напомнив о себе, Даша тут же заставила деда Овсея горько вздохнуть: «Жить бы Даше да радоваться, своим образованием для лучшего устройства жизни пользоваться. До чего же догадливы другие: по грамотности своей да по чистым профессиям паруются, в городских каменных избах с кранами норовят остаться, а на нашу вроде наговор подействовал. Мест красивее Синезерья за студенческие годы нигде не высмотрела и парней лучше Даньки Козолупа для нее не существует».

Приключись же такое — к худу или к добру: тонула в озере Даша. Соседский паренек Данька, приемыш, спас. Выволок за косицу на берег, а сам побежал дальше по мальчишеским своим заботам. Без вытвора Данька дня не проживет. В кружок радиотехнический записался. Кто приемники собирает, кто антенну над школой ставит, а Данька кошку на этой антенне повесил...

Даша будто и не замечает всех этих проказ — иным ей Данька видится, удалым да храбрым. Прикипела она всей душой к ровеснику своему, будто зарок дала. Платок обметает, «Д+Д» в уголке яркими нитками выведет, стишок в школьную тетрадку сочинит о героях-пограничниках — первому Даньке покажет. Студенткой стала — рядком с родней в письмах парня упоминает, приветы ему шлет.

Поглядеть мимоходом на этого Даньку — и впрямь залюбуешься. И с лица пригож, и в плечах добрый молодец. Но присмотрись ближе — не добрал чего-то он от старших, не видно царя в голове. В рост шел — спешил, а умишко на полдороге застопорился. Любит Данька повыставляться, полюбоваться собой. Рад, что здоров, все нормы подготовки к труду и обороне осилил, значками грудь завешал. Даже за спасение Даши, когда осводовский знак учредили, ходил в райцентр награды требовать. Кому не с руки, кто мыку телячьего не переносит, а Даньке и нож — орудие производства: приладился скотину по дворам резать. Званый не званый — тут как тут. Десятипудового кабана одним ударом под сердце валит. Горячей кровушки по два стакана выпивал, рюмку с вод-

кой поперед хозяина на столе рукой ловит, когда магарыч распивать затеют.

Гнилое дерево разглядишь по сердцевине да если буря покачнет. Неброские красотой деревенские парни в первые дни войны кто на фронт ушел, а кто в лесах стал готовиться к встрече оккупантов. А Данька к бродячей труппе циркачей пристал, двухпудовую гирю на потеху гитлеровским офицерам в зубах по сцене волочит. Кланяться, стервец, выучился со сцены.

Худой молве дед Овсей не сразу поверил. Может, парень по заданию партизанского центра со смертью в обнимку ходит, своей башкой рискует. Может, он этой двухпудовкой самого Гитлера со сцены при случае по башке отоварит... Чего же Овсею спешить, чужим речам верить, если родная внучка совсем по-иному говорит о Даньке? Припадет сердешная к плечу старика, слезу роняет за слезой, душу обжигает:

— Дедунь ты мой милый! Один ты меня поймешь — пожалеешь! Люблю Даньку, жизнь не в жизнь без него!..

— А как же он-то? — осторожно спросит дед.

— Ох, не знаю, ничего не знаю! Не спрашивай меня, пожалуйста, о нем, дай поплакать у тебя в землянке, в штабе зареветь боюсь.

А вести одна другой хуже. Будто вырвался разведчик наш из каземата гестаповского. Видел он там Даньку Козолупа в немецком во всем да еще с нашивками золотыми — выслужился, ирод...

Такое дед Овсей и слушать не стал, а принесшему эту весть Семену Шилову — пулеметчику — прямиком отрезал:

— Сам не видел, не болтай лишку! Если парень по зелености своей, а может, и еще по какой причине с циркачами связался, то давай теперь на него всякое валить?! Никому не поверю, чтобы Данька мог руку на своих поднять... Да такое не отмолишь!..

Поверил деду Семен или устрашился его разъяснений, но больше о Даньке никому не говорил, а если другие затевали разговор, мрачнел, отмалчивался.

Долгой была жизнь у деда Овсея. Многое приходит теперь ему в голову из седой бывальщины и недавних бесед с войсковыми побратимами. Дрема стала навещать Овсея по всякой причине и без причины. Но если бы даже Овсей Крисанович не прикорнул у ольхового пенька по слабости сердца своего, а умер, беспощадные слова и тогда подняли бы на ноги из гроба:

— Гляди-кось, дедушка Овсей! Зятек ваш, Данька, в гости жалует!..

Почти сразу по огневой позиции партизан прошел негодующий гомон. Загремели затворы.

Дед Овсей не верил глазам: в первой цепи карателей, крайним, с автоматом в полусогнутой руке, на него шел молодой Козолуп... Ветер откидывал с узкого Данькиного лба длинную рыжеватую челку...

Вздрогнул и затрепетал в руках Сеньки пулемет. Дед был убежден, что смертоносная очередь была направлена в Даньку. Но Данька продолжал идти, лишь изредка поглядывая в сторону офицера. Как и немец, он держал в зубах сигарету. На френче его действительно блестела золотая нашивка.

«Не тебе бы помирать нынче, Данька... Не твой черед,— горестно думал дед Овсей, спуская предохранитель.— Но и своей уже трухлявой, как этот ольховый пенек, жизни, ни даже молодых веточек около пня в твои поганые руки не дам... Погибну — тебя за собой в могилу потяну. И моей вины тут имеется толика, что меж добрых людей гриб-поганка произрос...»

Семен Шилов приподнялся на колени и бил по залегшим вокруг офицера карателям кинжальным огнем. Медсестра аккуратно целилась в Даньку, но всякий раз палила мимо.

Дед привстал и махнул перед собой шапкой:

— Беги прочь, Данька! Сигай в ярыжек! Оружью на германца поверни!..

Данька не слушался, он был совсем близко. Вот он, припав на одно колено, прицелился и пустил короткую очередь по партизанам.

— Шельмец! — в ярости выкрикнул дед.— Куда пуляешь? Здесь отчим твой!.. В кормильца стреляешь!.. Дашу убить можешь!..

У Семена закровенело предплечье. Одной рукой он прижимал к животу пулемет и направлял его в цель. Каратели ползли назад, оставив убитого офицера.

«Не отверни лица своего...» — донесся издалека голос древнего Ерофея... «Жизнь не в жизнь без Даньки...» — шептала Даша где-то рядом.

— Ради твоего же счастья не отверну лица! — произнес как клятву Овсей.

Старый воин, поймав на мушку желтую полосу на груди Даньки Козолупа, медленно спустил курок. Данька

споткнулся на ровном месте, но выпрямился живуче. Он прошел еще несколько шагов на неверных ногах вразброд, затем рухнул навзничь. Рыжая голова его с разметанными залетным ветерком волосами свесилась в буерак.

1953

ЛАДА-ЛАДУШКА

Неровный квадрат поля очерчен с двух сторон — автострадой и насыпью железной дороги. Тонкая, будто лезвие сабли, черта горизонта, пересекающая их вдали, слегка выщерблена у самого поселка, смята в гармошку двуглавым терриконом.

За поселком меркнет подзакатное солнце. Оранжевый диск его сползает по крутому склону рудных отвалов вниз, обволакивается скорбной каймой. Прохладные и уже как бы отлетевшие лучи бьют через крыши домов в степь, освещают на выгоревшем пространстве невысокую арку. Облицовка арки загрунтована под слова из нетленных человеческих заповедей. Нужные слова еще не найдены, а может, они были, но выцвели, смыты дождями. Единственный на всю округу шахтерский погост...

Машины и поезда проносятся здесь без ограничения скорости. Свист шин и колесный грохот не в силах побороть застойную тишь исполинского поля. Пересаженные из садов вишни ярко цветут по весне, однако не плодоносят. К середине июня листья их желтеют, сворачиваются в трубочки и разлетаются по степи. Шахтный вентилятор, монотонно звучащий со стороны поселка, навевает раздумья о прошлом, далеком.

Слева от арки, у железной ограды, потемневшая от времени пирамида со звездой из крепкой жести и с таким же ржавым распятием, прилаженным чуть ниже. У пирамиды на коленях старуха. Несмотря на вечернюю духоту, она в суконном кителе, длинной сборчатой юбке и хромовых сапогах. Шаль сбилась на затылок. Длинные, с бахромой, концы ее свисают на грудь, прикрывая поблескивающие ряды орденов и медалей, нацепленных журавлиным косяком, будто у маршала. Поодаль от могильного холма матерчатый узелок, из которого весело выглядывает

белая бутылочная головка. Узелок брошен, будто забыт.

Старуха говорит взахлеб, споро, иногда всхлипывает, но угольно-черные глаза ее сухи, беспечальны. Временами, расцепив руки под шалью, она сводит в щепоть крупные, утолщенные к ногтям пальцы своей правой руки и размашисто, не склоняя головы, ведет со лба к животу, тычет троеперстием то в орден на правой половине груди, то в медаль слева и произносит с приглушенной хрипотцой, уставившись в блеклую фотокарточку, придавленную куском стекла под звездой и распятием:

— А еще, Яким, об чем я с тобой погомонить хотела в нынешний приход, так это о Дементии, середульшем сыне нашем...

Старуха смолкла, пошевелила редкой бровью, вспомнив что-то неважное о Дементии, покачала головой, напряженно думая, не решаясь говорить.

Под куском стекла — широкоплечий бравый парень с густым чубом, в распахнутой косоворотке, снятый по пояс, так что видны кисти узкого витого пояса. Глаза его широко раскрыты, как это случается у людей, робеющих перед аппаратом из опаски выйти слепым. Немного отпрянувший в момент съемки или просто вскинувший голову, он выглядит испуганным, удивленным, наверное, не таким, каким был в жизни. Это случайное выражение лица молодого здорового мужчины, как никогда, соответствует нынешней встрече: на могилу Якима пришла состарившаяся жена. Пришла поговорить о пережитом...

— Дементий ничего,— пересилила трудную думку старуха. — В разум вобрался вовремя и делом занят... Только пьет, окаянный, гульлив и жену обижает.

Старуха вздыхает и уже говорит быстро, не останавливаясь, временами путаясь в словах, перескакивая с одного на другое:

— С недогляду это за Дементием водится, и рос-то он на чужих руках. Не все я тебе, Яким, успела обсказать кряду, когда ты из госпиталя домой явился. Да и с памятью не в норме был до самой кончины. Все ладушкой меня звал, по-жениховски... А Дементий — что... Он свое взял от жизни потом... Большенькие две, Настя и Катерина, рано помогать начали: когда уголька в отвалах насобирают, картошки или кукурузы у совхозных выменяют, в подпаски в козье стадо нанимали их... Меньшие, Стенька и Андрей, в яслях были. А Дементию одна дорога — на

хозяйстве оставаться. По правде сказать, к соседям выпроваживала на всю смену. Гоню, бывалыча, к Семиным. У них своих куча, а где куча, там и один не прибавка.

Вся моя вдовья жизнь с того же Захара Семина переиначилась, царство ему небесное... Вот его могила в третьем ряду от твоей, Яким. Оба вы, дружки, раньше всякого срока прибрались. Как позвали тебя под ружье, Захара вскорости на твое место поставили, рукой водить на участке. А водить-то не над кем: полторы калеки на три лавы осталось. Зайдет, бывалыча, мимоходом Захар, сядет на пороге — дальше порога не ходил,— голову обхватит руками, думает, не поймешь об чем. Война в мыслях, дети, свои и чужие, немочи одолевают или о добыче печалится... Однова возьми да брякни с порога: «Бери, говорит, Никитишна, обушок мужнин, подмога требуется... Рядом с таким горняком сколько годов жила, духом его небось пропиталась». Я на смех подняла: «Неужто в шахту зовешь?» Отвечает, да так серьезно, будто впрямь на согласие рассчитывал: «Главное — к темноте привыкнуть, а работа везде одинакова... Бабы с тракторами совладали, не хуже мужиков пашут, а уголь долбить совсем веселая работа: бей по клеважу да отгребай в сторонку...» И все у него так ладком-рядком получается, что хоть переодевайся в мужнину спецовку и в ламповую за надзоркой. Благо, спецовку еще на пшено не променяла, охотника не нашлось. Свое барахлишко давно на рынок снесла. Осталось добра, что на теле, еды, что в животе... Уговорил Захар, рядом с собой в забое поставил. Глазастая сроду была, скоро пригляделась к трещинкам в пласте, угадывать их научилась. Где сама подналягу, где Захар рукой моей поведет. Долбить, грести не уморно. По стойкам лазить с непривычки боязно. Рук не чувствуешь, пока до лавы доберешься, с ногами на другой день маета. Одно сподручно: заплачешь в темноте, мужа, детей вспомнишь — никому твоей слабости не видно.

Через неделю заговорили обо мне на поверхности, радио шумит: «Ариша рекорд взяла!» Товарки в дом зачастили. Про дополнительный паек расспрашивают и про темноту эту самую слова закидывают. Захар подзуживает: «Быть тебе в бригадирах, Никитишна!.. Собирай солдаток. Время такое!...» Все на время кивал.

Пошла, дуреха, его следом по дворам. Иная призадумается на мою агитацию, а попадались крикухи нервенные: «Привыкли Нарейки в чести жить, все вам не может-

ся, больше других захватываете!.. Куда конь с копытом, туда рак с клешней! Был один горняк Нарейко — другому такому не бывать. А баба и подавно его не заменит. Надорвешься под землей, собственный муж потом отвернется». Для форсу покричит, а потом, глядишь, в наряднуюприпожалует. На денек будто, а там нужда-забота к пласту приворожит.

Захар добрых слов не жалеет, знай нахваливает. Даже из фронтовой газеты майор приезжал, о женской бригаде распытывал. Всех до одной в блокнот переписал, обещал мужьям по месту службы газету разослать с нашими портретами. Дошла ли газета к тебе, Яким, не знаю, а к наградам нас представили. Подружек медалями одарили, мне орден выпал, почетный. То-то реву было, когда обмывали заслуги!

Захар про нас не забывает. С обушков на отбойные молотки перевел, приговаривает: «Теперь в вашей лаве совсем как на войне... перешли на автоматы». На нижний горизонт бригаду спровадил, почти на целый километр от поверхности. И всему свое объяснение дает. То, мол, вы уголь для фронтовых паровозов брали, теперь домнам пойдет добыча. Сталь будут плавить на вашем топливе, чтобы фашисту в глотку заливать... И опять будто без баб обойтись невозможно.

А нам все одно уж. Привыкли. На поверхности в иной день еще горше, чем под землей... Днепр перешли, бомбят почем зря. Рады бы и ребятишек в шахту спустить, да жарища на нашем горизонте одолевает. Никакая тряпка на теле не держится. Мужику куда ни шло нагишом на пласту, а баба и здесь в убытке: всякая грязь к ней крепче липнет... Кровля прохудилась. Снизу печет, сверху течет. Собьемся, бывалыча, в круг, рубахи долой и ну воду из подолов выжимать. Клянем на чем свет стоит и воду эту, и войну, и долю свою. Мужикам тоже доставалось. Было за что.

Повадился на нижний горизонт техник горный Карпюк Иннокентий. Поговорку любил: «Дадим стране угля, хоть мелкого, но много!..» Чем только военкомат ублажил — здоровяк, бугая осилит, морда с чугунок ведерный, а поди ж ты — здесь воевать оставили! Он и повел наступление: то у вагонетки какую облапит, то в уступе дает стране угля... Потом вовсе стыд потерял. Приметил, где мы одежу сушим. Ходит по кругу, присвечивает надзоркой, что ему требуется, и лапищей круглые места оглажи-

вает... Бьем мокрыми тряпками по «чугунку», кричим — как с гуся вода. Пришлось на шахтком тащить охальника. Запомнил он обиду. Подстерег однова, когда замерять работу бригады осталась, коршуном насел из-за вагонетки. «Окстись,— кричу,— Иннокентий! У меня пятеро мужниных детей...» — «Ничто,— рычит,— шестой появится, шахтарчук настоящий!» И тут я вспомнила, что башмак железный своими руками под вагонетку ставила. Стукнула по затылку, он и сомлел. Хотела для верности еще разок отоварить за подружек в отместку, да детей пожалела: двоешки у него от жены-бедолаги... Заиграл Карпюк в штрафную, сам обо всем рассказал, совесть заговорила... Проглотила война.

Суток двое после того случая в колотье меня бросало. Сызнова темноты пужаться стала. И работа обрыдла, может, совсем ушла бы, но в одночасье Захар слег. Пыльная болезнь человека сконала. Перед кончиной он возьми да попроси меня принять его бригаду «Ух». Так у нас осужденных на шахте звали... Бог на гору, а черт за ногу! У нас порядки не сладки, а у пришлых и вовсе звериные нравы. На фронт запросились, так их шахтой испытывали. И обвалов пока не было, а каждый день кого-нибудь из них ногами вперед из клети выносили... Заступила на место Захара, отступать некуда. Решила слабинки не показывать. Они мне слово, я им целую очередь! Руку занесет который — за полено хватаюсь. Приладилась говорить по-ихнему. Пульнет из темноты грязным словом, возвращаю с прицепом: «Кто это мою родительницу хаять вздумал? Ах, хлоп твою мать по мягкому месту, если она тебя, дурака, уму-разуму не наставила вовремя!..» Который гогочет, а иной в толк берет. Слух между ними прошел: мол, своя баба, осужденная. Один даже справиться на этот счет пожаловал: «По какой статье зацапали, мурка?» — «По двенадцатой,— отвечаю,— Основного закона... На полную катушку тяну!» Хлопает глазами — не припомнит статью. И припоминать-то нечего. В Конституции по этой статье работа наша записана как почетная обязанность каждого.

Вскорости новая беда подстерегла меня, Яким. Глохнуть стала твоя ладушка невезучая. Пылью мне уши заложило, хоть гвоздем ковыряй. Мылась каждый день, париться любила. Уголь проклятый вовнутрь проходит, в кожу въедается. Профессор перед операцией журил поученому: надо, мол, ваткой уши затыкать и к носу очисти-

тельные устройства приставлять, вроде противогаза. А где я той ватки возьму — не спросил. Да и кто об этом думал тогда? Не далась операцию делать. Полуглухую на Самарщину меня привезли с детьми в эвакуацию. После отлегло.

Поселили в общежитии при заводе. Кто к чему горазд, вызнают. До меня дошла очередь. «Из-под земли... Там человеком стала... Вот глохну потихоньку». Вижу: сочли за притвору. «Слух — это не главное,— разъясняют,— у нас станки. К ним глаз нужен да руки». Послали стружки сметать, канавы чистить. Вскорости станочника бомбой снесло, место освободилось. Цилиндры для снарядов точила. Третий орден в эвакуации мне дали, Яким. Насовсем оставляли при заводе. Тоски не осилила. Думаю: где ты свою ладу с детьми искать будешь, как не под терриконом? Дети подросли. Старшие спросят иной раз о папе, а младшие совсем забыли.

Где поездом, где пешком по шпалам добирались мы домой. Из дальних краев — не с заработков. Только и тепла в родной стороне, что от пожаров. Копры на земле валяются, шахту немец водой залил до краев. Освоили гуртом в обгорелой коробке подвальчик. Пришлось, Яким, еще раз новой профессией обзаводиться. На миру — как в бору: любая сосна — лесу прибавка. Настька со мною на откачку воды ходила. Добрые люди заметили наши старания. И за спасение шахты и за уголь потом награды людям вышли. Твоего двора не обошли.

Отстроились помаленьку. Ты так и не признал нашей новой хаты, когда из госпиталя привезли, все домой, бедолажный, просился. Помаялся три недели и — ушел снова... В бессрочную... Всем поселком провожали. Были и слезы, и слова хорошие были. И про добытчика Якима Нарейко, и про воина. Только лада-ладушка не могла слова вымолвить от горя. Поклонилась низко, за все спасибо сказала. Детей рядком у могилы поставила.

Старшим на сохранение твои солдатские медали отдала.

Сокол с места — ворона на место. И году не миновало после похорон — другой солдат в дом стучится. Да не рядовой, а целый старшина, усищи до ушей. «Не узнаете?» — «Нет, говорю. Раньше в каждом вояке хозяин виделся, теперь тоже все на одно лицо, да чужие». — «Вы, говорит, меня двенадцатой статьей просвещали. Хоть и не сразу, но нашел подтверждение. Все точно оказалось, на

своей шкуре проверил». И шрам от виска до ключицы показывает.

Ефим Задорожный, из бригады Захаровой. Прощения добился, на фронт попал. Полным кавалером заявился. А только слез прибавил, хоть и слова душевные говорил: «Вы мне, Ариша, глубоко в душу запали справедливостью своей. Прописаться я возле вас еще тогда вздумал, да путя разошлись».

И к Дементию ласкаться, мешок с гостинцами развязал. Я заслонила Дементия от отца незваного. Потому как не всякий живой мертвого стоит.

Толкую гостю: «Не по себе сук рубишь, служивый... Больно велико мое приданое, даром, что ты герой: пять золотников, один другого дороже...» — «Все понял, Никитишина,— и каблуком прищелкнул. — Разрешите занять место в строю». — «Отставить,— командую. — Рано мой строй пополнять. Еще слеза по мужу не остыла».

Ушел Ефим, на соседней шахте десятником вентиляции устроился. Нет-нет да зайдет, только о сватовстве не заикался.

А жизнь полегчала с годами. Настя в техникум пошла, со своей стипендией девка. Катюша десятилетку шурует. Дементий тоже подтянулся, с приемником возится. Только и малышни, гляжу, двое. Они нам для забавы, когда из детсадика приведем.

Гости стучатся — у хозяйки сердце екает. Одного жениха выпроводила — другой через порог. И этот медалями гремит, страху нагоняет. Чубчик на виске, и словом речист, сам себя хвалит: «Я, добрый молодец, на охоту шел, в ваши ворота жар-птица залетела...» Приноровился, видать. Я так и обмерла: неужто в птаху мою какую нацелился? «Откуда,— спрашиваю,— такой прыткий?» — «Из общежития. Разом с Настасьей Акимовной гранит там грызем...» — «Не знаю, что ты грызешь, только староват для студента техникума». — «Староват — не виноват... Семнадцати на войну ушел, двадцати пяти отрядили, да и то в запас».—«Учишься, говорю, это хорошо, а вот с женитьбой или припоздал малость, или торопишься. Из моей Насти жена-хозяйка, как из лозины подпорка!» Гляжу: в пот бросило от моих слов, а все одно не сдается. «Хозяйка нужна на хозяйство, а у нас имущества — у меня вещмешок да у нее чемоданчик фибровый...» Тут меня обида взяла: «В своем сусеке урожай меряй, в другой раньше времени не заглядывай. Женитьба — не стометровка без

препятствиев, в одних трусах не одолеешь...» Выговорила, а Настя в слезы. Вижу, девка прикипела, не оторвешь. А коли так — собирай, мать, в дорогу...

Собрала девку честь честью, свадьбу шахтерскую сыграли. И зятю на костюм выгадала.

Не успела новоселье молодым справить — вот она моя невеста, снова на родительском пороге. В чем стоит, подхватилась, слезы в три ручья: «Прости, мамочка, прими обратно, мне замужем не понравилось. Больно муж беспокойный да разбалованный. Я с ним не высыпаюсь, глаза пухнут, на прямой стежке спотыкаюсь среди бела дня». И грех и смех с ними, Яким. За косу ее да к порогу. Ремнем твоим пригрозила — берегу для острастки. «Бачили очи, что покупали, ешьте, хоть повылазьте!.. Еще не раз подуреете, пока ума не наберетеся».

Спровадила... Ничего, Яким; живет Настя со своим непутевым, о том нашем разговоре не вспоминает. Гладкая стала, деток имеет. Институт вечерний закончила, за инженера на стройке.

А еще, Яким, меня самое бес путал. Замуж ходила, неладная, ненароком... Случилось это уже после того, как Катюша на врача пошла, Дементий из Барабы с молодой женой воротился, а двое меньших техническое в поселке покончали. Ефим Задорожный будто за углом стоял, ждал, когда «подешевеет» Никитишна. Не сразу я приняла жениха, Яким, твое слово помнила. Наказывал ты перед кончиной, мол, фамилии не срами, по рукам не давайся. Если который всурьез приглянется — живи по закону, детям плохой пример не оказывай...

Может, и на этот раз Ефим от ворот поворот получил бы, да судьба меня в неурочный час подстерегла. Указ вышел: всех баб из-под земли выкопать на поверхность... Меня сразу на пенсию отрядили. Дети — всяк свою долю нашел, а Никитишна вроде ни при чем. Смеюсь над Ефимом: «Ай свет клином сошелся — пенсионерку сватаешь? Муж женку и горбатую голубит, потому что молодую ее знавал, а моя печка уже вытопилась, и жар в заустье остыл». — «Сердцем своим,— отвечает,— приворожила. Душа у тебя, Никитишна, как стеклышко ясная!»

Переменой климата улестил, окаянный. Прихварывать я стала в ту пору, голова отяжелела. В Брянские леса увез Ефим, пятистенок в бору над рекой поставил. Черемуха цветет, птицы на разные голоса заходятся, а воздух что ключевая вода — опиться можно. Ефим спозаранку с

удочками за лещами, а я подопру щеку ладошкой и слушаю, слушаю, о чем лес сам с собою говорит. Не по мне тихая жизнь, Яким. Сильно я к шахте прикипевши. Чудится и в бору вентилятор, будто зовет к себе, тоску нагоняет. Уголь возле кузницы увидела, разревелась, как маленькая... Будто деньки мои молодые в кучке собранные лежат... Уехала вскорости. И денег с Ефима не взяла, что на пятистенок одалживала.

Надумалось мне, Яким, сызнова на работу проситься. Не куда-нибудь — на свой пласт. Причина тому нашлась. Еще когда на пенсию документы собирала, мужичок один в собесе надоумил: вам, гражданка, ровно сто десять дней подземного стажа не хватает, а то бы полную сумму ежемесячно получали. С чего это, думаю, зря деньгам пропадать? Самой не много нужно, а детей бригада, внуков еще больше. От денег да от подарков еще пока никто из них не отказывался.

На шахте мое заявление и в резонт не приняли. «Куда тебе, Ариша, приспичило? В забое теперь машинам повернуться негде. Да и сколько годов минуло, как от женщин избавились!» В трест потопала твоя лада. Старший сынок Захара Семина, Володимир, там рукой водит после института. И он — не в резонт. Заплакала от обиды: «В почетный мундир шахтерский обрядили, орденами, как елку новогоднюю, разукрасили, а в родную шахту дорога заказана?» Усовестила я Володимира слабостью бабьей, упрел, сердечный, возле меня, слезы мои почетные вытирал, по кабинетам бегал. Не знаю, какими словами-намеками объяснялся он с начальником шахты, чтобы закон-приличие соблюсти. В забой не пустили, откатчицей полтора года повкалывала. На той неделе сызнова на пенсию провожали.

Теперь я вроде как не у дел, Яким. Обойду деток, кто где живет. Дементия поприпридержу в вольностях шалых, внуков напоследок попугаю худобой да морщинами, чтобы подольше помнили... Ладнаться поближе к тебе стану, Яким... Чую — зовешь, в сны наведуешься. Почитай, двадцать годков на разных горизонтах службу правим. Пора и свидеться. В поселковом Совете заказала себе место рядом с тобою... Небось не примешь меня такую, за свою не признаешь?.. Ты молодой, ладный, а я больно страшна теперь. Остарела твоя ладушка. Поработала бы и еще какой год, а жить уморилась. Не заругай, Яким, за оплошку какую. Вся я тут, как на духу перед тобой. С гостинцем

на погост явилась. Любил с устатку рюмку опорожнить, нутро от пыли отмочить.

...По шоссе со свистом несутся припоздавшие грузовики. Одни, не сбавляя скорости, идут к зардевшемуся на ветреную погоду горизонту, другие, скрипя тормозами у поворота, сворачивают к поселку.

Старуха устало опускается на холмик у пирамиды и, не решаясь подняться, чтобы подтянуть узелок, длинно выбрасывает руку, достает бутылку, два граненых стакана. Сильным ударом о подошву сапога откупоривает бутылку, наполняет запенившейся у горлышка влагой стаканы. Слышится легкий звон прислоненной венцами посуды. Один стакан Ариша расплескивает по холмику, другой в молчаливом тосте бережно несет ко рту.

Она скорее догадывается, чем слышит: от поворота доносятся частые, требовательные гудки автомобиля. Легкой, играющей походкой кто-то приближается к ограде.

— Баба Ариша!— ломким баском окликают с дороги. По голосу старуха узнает Захарова внука, Ивана.— Папа за вами послал. Говорит: как ушли в полдень, не возвращались... Идемте к машине, стемнело.

Старуха торопливо собирает в узел пустую посуду, нехотя встает.

— Паняй себе!— говорит она по-местному.— На своих двоих прибуду.

Иван пропускает ее слова мимо ушей. Поигрывая ключами у машины, он с любопытством смотрит на могилы, ждет. Ему велено не возвращаться без старухи. Арише приятно, что за ней послали, но она тверда в своем решении идти домой пешком. Она видит в этом нечто священное. Теплея душой к Ивану, спрашивает:

— Школу-то кончил? Куда поступать будешь?

— Один экзамен остался,— скороговоркой отвечает парень.— В политехнический поеду...

— Можно и в технический,— соглашается старуха.— А Настина Алька ниверситет начинать будет...

Ариша привычным жестом стряхивает былинки с юбки, вздыхает:

— Земля тебе пухом, Яким... Не скучай тут... Я скоро.

Иван пугливо отступает от ограды, напоминает о велении отца, о поздней поре. Его настойчивость на этот раз не по душе Арише. Выйдя за кладбище, она роняет строго:

— Паняй один, говорю тебе... Отцу перекажи, чтобы на третью-бис позвонил из дому. Что-то у Яшки Горбуно-

ва звезда на копре притухла... То горела, а сейчас почти совсем не видна.

Ивану хорошо заметен яркий свет на копре шахты. Парень догадывается, что Ариша слабеет глазами. Он отходит к машине, включает подфарники, напряженно раздумывает: ждать старуху на шоссе или ехать вслед на тихом ходу, не выпускать из вида.

Старуха крупным шагом идет дальше. Полынная тропа ведет ее к поселку. У самого шоссе Ариша вдруг останавливается, подслеповато глядит назад, шепчет в укор себе:

— Погоди-ка, я про Дементия начала, не договорила... Ну ладно, другим заходом.

Налетевший из сумеречных далей пассажирский поезд заглушил ее слова, спутал мысли. Вот степь отгромыхала колесами, вокруг стало еще темнее. Не видно ни арки, ни дороги, ни кладбища. Пропала в ночи и сама старуха. Лишь в такт шагам тонко позванивают медали: «день, день...»

1969

СКАЗКА ЖИВАЯ

Для Олюшкиного дома солнце заходило чуть раньше, чем для других строений поселка. Оно еще ярко светило над степью, когда, словно диво из сказки, на глазах начинал прорисовываться двуглавый шахтный террикон, встречно выдвигаясь в небо. Зубчатые отвалы породы в этот закатный час становились похожими на разинутую пасть зверя. Солнышко проваливалось в эту пасть, распушив напоследок густой веер лучей, сверкающих, будто перья жар-птицы. Это было красиво, но грустно. Менялись краски в небе, в степи... Олюшка вся дрожала от неприятных ожиданий, связанных с наступлением ночи.

Темнело быстро. Косая тень от каменной громады ползла к дому, густо облепляла кусты смородины в палисаднике, тушила полыхавшие в отсвете заката окна. Холодок проникал в душу. Только в серых, с длинными ресничками глазах девочки еще долго-долго трепетало по смятому перышку жар-птицы. «Если бы солнце заходило немножко позже,— думала девочка,— тогда бы не так печально голосили гудки электричек, а люди, идущие с работы, не ка-

зались бы на одно лицо — сердитыми». А люди шли. Одни, наверное, не замечали Олюшку, стоящую на крыльце, другие вздыхали, проходя мимо.

— Дядя Сеня!— окликала девочка плечистого шахтера в засаленном кожаном картузе.— Папа придет?

— Придет, детка, придет!— успокаивал дядя Сеня и, не останавливаясь, проходил, еще ниже опустив голову.

«Если бы солнце заходило попозже, чтобы папе успеть по-видному дойти домой! Лицо его при дневном свете всегда доброе, улыбчивое».

От папиных глаз, когда весел, светлело в доме. Но когда пьян, не замечает он Олюшки и глаза у него нехорошие. Лучше спрятаться от таких глаз!

У шустрого, почти белого от шахтного ила ручья папа всегда закурить останавливается. Ему бы лишь шагнуть через белый ручей, здесь и дом рядом. Но папа вдруг сворачивает на узкую кривую стежку. В конце стежки отца поджидала женщина в сером полушалке. Она хватала папу за руку и уводила на взгорок, в большой дом с резными наличниками. Дом этот вечером казался краше всех: в балке становилось сумеречно, а на взгорке, в стеклах окон, все еще полыхает солнце. Там живет бабушка Параня, папина мать, и дедушка Панкрат.

Когда Оля была еще маленькой, такой маленькой, что ночевала у мамы под фартуком, все они жили в том доме. Но бабушка Параня не поладила с Олиной мамой и выгнала ее из дому. И папу тоже... Об этом Оле рассказала седая горбоносая соседка Секлета. В доме у бабушки Секлеты и родилась Оля. А через неделю все они перешли в совсем-совсем другой, новый дом. Его закончил строить папа вместе со своими товарищами из добычной бригады.

Бабушка Секлета рассказывала девчонке всякую всячину, когда они оставались вдвоем. Она могла говорить часами о своей молодости, о войне, когда убивали даже малышей. Говорила о непорядках в поселке. Она говорила, говорила и ничего не спрашивала.

Доставая девочке куклу из-под дивана, старая Секлета приговаривала с гневом:

— Горький человек твой дед Панкрат. Сивушная душа. Поэтому я и замуж за него не пошла в молодости.

Девочка плохо понимала, что это значит: сивушная? Она останавливала светлый, всегда немного изумленный

взгляд на потемневшем лице бабки Секлеты и спрашивала:

— Бабушка, а где мой папа?

— Прибудет скоро! — волоча мокрую тряпку по полу, отвечала Секлета.— Налопается винища и пожалует... Нарадуешься еще из-за него, наревешься... Только я тебя бить не дам. Пусть только пальцем тронет. Я его вот этой тряпкой...

Вымыв полы, бабка Секлета застилала их пестрыми ковриками из разноцветных лоскутьев, садилась на эти ковры, длинно вытянув костлявые ноги, и принималась за сказки. Сказки ее были живыми, потому что Секлета могла там, где нужно, изобразить и козочку, и серого волка, и поросеночка, заблудившегося в лесу.

Оля хлопала в ладошки, изумляясь такому быстрому превращению старухи, ликовала, когда козочка избегала опасности, всхлипывала, если волки терзали бедную козочку. А сама Секлета беззвучно колыхалась, уткнувшись лицом в колени, довольная своим искусством. Темное лицо ее молодело.

— Ох-хо-хонюшки!— восклицала она, слепо крестясь.— Правду говорят: что старое, что малое.

И вытирала зареванное лицо Олюшки шершавыми, морщинистыми ладонями.

Однажды бабка Секлета при маме изобразила дедушку Панкрата, забавно копируя его голос. Поставила на стол бутылку минеральной воды, достала из шкафа два стакана.

— Ну, сынок, давай по стопарьку тяпнем,— начала бабка, проведя тыльной стороной ладони по верхней губе, там, где у старого Панкрата усы.— С устатку шахтеру полагается, чтобы пыль отмочить внутрях...

— Не могу, батя,— уже другим голосом, похожим на папин, отвечала сама себе Секлета.— Больно лих становлюсь я от водки. Забижаю женку, и Олюшке под горячую руку достается. Выговаривают мне добрые люди за нахальство это.

— О ком люди не треплются!— махнула рукой бабка точно так, как это получалось у деда Панкрата.— Секлетка-то, слышь, любовь моя первая, замуж за меня не пошла из-за горькой моей привычки. Прожил... Как уж судьбе угодно было.

— Другие времена теперь, батя.

— Шахтеры мы с тобой, Володька, или не шахтеры!—

гневно воскликнула Секлета зычным голосом Панкрата.— Бери! По последней и — вон с глаз моих долой, если перечить родителю вздумал!

— Если по последней — давай,— примирительно отвечала смиренным папиным голосом бабка. При этом она чокнулась со стоящим поодаль Панкратовым стаканом, а свой поднесла ко рту и вдруг швырнула с брезгливой гримасой через раскрытую створку окна в палисадник.

Воробьи взмыли на крышу, шумно негодуя.

Если эту бабкину «комедь» слушала Олина мама, то она беззвучно смеялась, охала, хлопая себя по коленям, и произносила с завистью:

— Ну что за характер у вас, тетя Секлета!

Так Олюшка узнавала, что делается в большом доме на взгорке, перед тем как папа вернется домой.

...Мама так же тихо, как днем смеется, по ночам плачет, прижимая к себе Олюшку. Она заслоняет девочку от пьяного отца, ложится с ней в кровать, не выпускает из рук.

— Папа плохой?— спрашивает девочка, не раскрывая век, вслушиваясь в тяжелые шаги отца по комнате. Ей и заснуть хочется, и одну мать оставлять жалко. Голос у девочки разомлевший, дальний.

Мать пугливо отрывает голову от подушки, испуганно и сердито шепчет в темноте.

— Дурные мысли ты себе забрала в голову! Не смей так думать о папе. Папа у нас хороший, самый хороший. Он только от водки заболевает.

И успокоенно затихает рядом, вздохнув напоследок:

— Если бы не этот стакан водки...

Олюшка по-бабьи вторит ей:

— Если бы чуть позже заходило солнышко...

Только девочка поплотнее закрывает глаза, из-за темного силуэта шахтных отвалов вспархивает, по-воробьиному шумя крыльями, полыхающая жар-птица. Зубчатые горы породы окаймляются золотым сиянием, словно облака, пронизанные солнечными лучами. Тень перекрашивается в голубой цвет. Из-за гор появляется папа, тоже светящийся от лучей.

Олюшка бежит ему навстречу, к тому месту, где надо перейти ручей, и перекидывает с одного берега на другой свой, сплетенный из лозы, мостик. Папа ступает на этот

мостик, шаг, другой и, оказавшись на другом берегу, подхватывает дочь на руки. Смеясь, подбрасывает ее высоко-высоко, ловит и снова подбрасывает. Руки его не кажутся холодными и жесткими...

Они идут степью, напоенной густым запахом чабреца, озвученной пением невидимых пичужек. Затем спускаются вниз, к ручью. Папа достает с самого дна загустевший комок ила. Дав ему пообсохнуть на камне, он лепит петушков, козочек. Маленькие смешные петушки, затвердев на солнце, вскидывают свои серые крылышки и кричат: «Ку-ка-ре-ку!» Голосом папы, но все равно похоже.

Затем один из петушков говорит голосом дяди Сени:

— Снова пил, Аника-воин... Какую дорогую вазу расколол! Тебе всей бригадой ее вручили за предмайский рекорд...

— Выпил,— говорит другой петушок голосом папы.— Зашел и выпил со стариком. Не чужие.

— Пить-то не умеешь, выходит... А не уверен, говорят, не берись.

— Не на люди шел, домой...

— А мы не люди?— вскидывает потрескавшимися на жаре рогами коза. Олюшка узнает голос бабки Секлеты. Бабушка добавляет, сердито боднув папу:— Горький ты человек, Володька! Державы в тебе никакой нету супротив зелья. А еще в армии служил, над людьми рукою водил. В стержантах ходил два года!

Папа тускнеет от этих слов, молча проглатывает обиду. А голос дяди Сени звучит с укором:

— Значит, все наши хорошие слова перед народом попусту? Стараются, стараются люди, а одна паршивая овца — все насмарку?!

— Выгоните меня из бригады!— кричит папа.— Недостоин, рано мне...

— В кусты, значит? За рюмку водки всех нас продаешь!

— Если я не могу?! Подойду к ручью — сами ноги сворачивают... Двадцать два года ходил по этой стежке к родительскому дому... Батя без водки слова не вымолвит — его теперь не изменишь.

— Не о нем речь! Батя свое отходил!— требовательно гудит голос дяди Сени.— А мы к новому времени подошли. Нельзя нам распускаться.

...Петушки уже куда-то исчезли. Нет ни козочки, ни папы. Гремят только их голоса — неистовые, обозленные.

— Тише!— остепеняет их мамин голос.— Не ори, как оглашенный! Олюшку разбудишь...

— Я уже вся разбудилась!— сделав над собой усилие, говорит девочка. Еще не приглядевшись как следует к дневному свету, она видит в комнате папу и дядю Сеню, сидящих за столом. Они в длинных грубых пиджаках. Приготовились на смену. Мама несет к столу дымящиеся миски с пельменями, зовет бабушку Секлету. А бабка словно не слышит, сидит прямо на пороге комнаты — хмурая, неподвижная, и седые космы закрывают лицо. У ног ее сложена разбитая посуда.

— Мы с папой птиц лепили из глины,— протирая кулачками глаза, вспоминает Олюшка.— А потом я положила мостик через ручей, и папа прошел по нему домой засветло... Нет, это было раньше. Сперва мостик, а потом птицы...

Девочку никто не слушает. Она замечает это и с обидой кричит отцу:

— Папа, ты видел мой мостик? Правда, он хороший. Теперь ты всегда будешь через мостик ходить домой?

— Какой еще мостик?— вздрагивает отец.

— Видели, видели мостик!— кидается к Олюшке старая Секлета, подхватываясь с пола.— Какая ты умница, какая мастерица! Уж такой мостик, такой мостик!

— И я видел,— внезапно повеселев, подтверждает папа.— Маленький, с алюминиевыми перильцами, как мы с тобой в прошлом году для голубей делали.

— Да, да!— Олюшка подпрыгивает на пружинах матраса, путается ногами в длинной рубашке, трепыхается, словно птица, в теплых руках бабки Секлеты, сползает на пол, чтобы порыться в куче разбитых тарелок.

Все с укором глядят на папу. Дядя Сеня, отложив вилку в сторону, угрюмо занят своими мыслями. Бормочет. Иногда слова его звучат отчетливо:

— Обидел ты нас, Володя! Нарушил душевное спокойствие. Из бригады! Подумать только! Ради стакана водки... Нет, брат!— заключает он громко.— Будем провожать тебя по очереди, до самого... мостика, если на то пошло. А с Панкратом Силычем поговорим всей бригадой. Вот как дело поставим. Так-то будет ладнее!

Он уже не так сердито смотрит на папу, лицо которого перекосила нехорошая улыбка.

— Ладно. Попробую без провожатых. Если сегодня не превзойду себя, толку не ждите. Значит, не поспел для

будущей жизни... В шею меня, в шею!— кричит он, дергая головой, будто и впрямь его кто-то избивает.

Дядя Сеня тяжело поднимается со стула, и они выходят на улицу. Идут плечо к плечу — молчаливые, надувшиеся, так непохожие один на другого. Дядя — бодрый, сильный, озабоченный чужою бедою. Папа — не выспавшийся после ночного скандала, растрепанный. Но шаг в шаг... Крепкий у Оли папа. Он может всю ночь рубить под землею уголь, а придет — не сразу ложится. А вот стакан... отбросить от себя, как бабка Секлета, не может.

За весь этот день бабка Секлета не вспомнила ни одной сказки. Она ожесточенно вырывала на грядках сорную траву, обрушивала на кур град проклятий, если они склевывали рассаду. Оля стаскивала привядшие стебельки лебеды на край огорода и все время звала бабушку поглядеть на приснившийся ей мостик.

— Стоит он, милая, на месте. На самом шляху отцовом стоит, как живой,— отвечала Секлета, не разгибаясь, с хрустом вырывая траву.

Когда же над шахтой тоненько запел гудок, бабка распрямилась и долго смотрела на дорогу, подойдя к забору. Потом обняла девочку, легонько подтолкнула ее к калитке:

— Беги, подержи свой мостик. Кажись, папа идет.

Олюшка выскочила из огорода в палисадник, скакнула к дому. Ей хотелось только взглянуть, пришла ли с работы мама.

А мама стояла на крыльце, тоже всматриваясь в толпу рабочих. Лицо ее напряглось в тревожном ожидании. Солнце словно замерло, повиснув над разинутой пастью терриконa. Забрызганный светлыми лучами, папа шел впереди, оторвавшись от остальных горняков. Лицо его как-то по-доброму перекосилось.

— Ну вот,— сказал он самому себе, устало коснувшись крыльца.— Не выпил — и все! Подошел к мостику и вспомнил: да ведь это твой мостик, Олюшка! Понимаешь, твой!

— Понимаю!— пролепетала девочка.

Уже сидя на руке отца и глядя через папино плечо, Олюшка прокричала людям, шедшим мимо их дома:

— Смотрите не трогайте мостик!.. Я его папе подарю, насовсем! Мне не жалко!

Люди оборачивались на голос ребенка и понимающе кивали в ответ.

1961

ДОРОГО БЕРЕТ...

Многих мужиков поубивало в тот год на войне. На Петра, мужа Стешиного, тоже похоронку прислали. Так бедовала-плакала Стеша, что с лица сошла; на глазах у всей деревни, считай, не живя, остарела. Иные бабы покричат и угомонятся: какая из них не очень прикипевши к мужу была, а другая не верит в смерть, надеется. Стеша не надеялась на чудо — больно смирен и совестлив был ее Петр, не для войны человек. Куда позовут к делам — первым бежит, последним домой возвращается. Не хватило денег облигации выкупить — корову свел на базар. Такие и от пули первыми падают.

Лицом померкла Стеша, но женская стать ее горю не сдалась, природа отцовская, прямая, не надломилась, выстояла. Идет, бывало, деревней, по-старушечьи закутав шалью лицо до глаз, люди оглядываются:

— Эк... верхушку прихватил сухостой... А комель цел еще. Крепок комель!

Усадьба Стеши в ветхость приходить стала, забор от дороги наклонился. И ворота с одного края покосились. Вот-вот упадет перекладинка.

Безногий плотник Ефим, первым пришедший с войны, один стучал теперь топором то в одном конце деревни, то в другом. На вдовьих подворьях работы хватало. Но слух шел: дорого берет плотник, цену набивает. Пытались урезонить за скаредность — молча ухмыляется в усы.

Стеша получила премию за телят — больше сотни рублей,— подзаняла еще у соседки, да и подошла на стук топора.

— Дорого беру!— буркнул в ответ на ее просительные слова Ефим. Он даже не выпустил из рук инструмента, ошкуривая лесину на венец подгнившего сруба.

— И я не за так приглашаю,— заверила плотника Стеша.— Небось не беднее людей.

Она запахнула полу обветшалого пальто, чтобы загородить от ястребиных глаз Ефима залатанный под коленкой чулок.

— То-то, что не беднее!— спешно отозвался Ефим, оглядывая молодку из-под кустистых, закурчавившихся бровей. Он только на минуту распрямился, затем, будто разговор окончен, снова принялся тесать лесину.

Стеша не знала, идти ей или продолжать разговор. Когда ждать на усадьбе плотника?

— Я как Настя Неверова заплачу!

Плотник гмыкнул в усы, внимательно посмотрев в глаза Стеши.

— А ты откуда знаешь, как мы с Настей рассчитывались?

— Двадцать один рубль. Она сама сказала.

Плотник крякнул, отер усы и сказал тихим голосом:

— Если ты по-Настиному хочешь, явлюсь без опоздания. Но говорю прямо: плата мне высокая. Не всякая согласна.

Стеша постояла в раздумье. После пережитого она хуже соображала, разучилась понимать шутки. Она думала, что Ефим хорохорится, вымогая побольше денег. А может, и вообще не верил в ее заработок. Денег в колхозе не выдавали, только дояркам. Стеша протянула смятые в горсти тридцатки:

— Вот, посчитайте...

Плотник, пошевелив бровями, оттолкнул руку Стеши, а сам повернулся к ней боком, тяжело переступив на скрипучем протезе.

— Денег не беру!

— А как же, Ефим Карпыч?— удивилась Стеша.— Ограда валится...

— Сойдемся так на так,— рассудил плотник.— Моя работа, а твоя... забота. Сама знаешь: жена у меня хворая, в больнице. Вот и приходится — где что перехватишь...

— Тьфу!— плюнула Стеша, круто поворачиваясь.

Стеша шла домой не помня себя: «Старый кобелюга! У него ведь детей четверо. Первенькая, Елена, почти ровесница мне!»

Ночью забор, будто в отместку за несговорчивость хозяйки, рухнул, обнажив прохожим неказистую обстановку двора. Стеша чувствовала себя как раздетая среди улицы. Вдобавок кто-то столкнул покосившуюся перекладинку с ворот. Может, тот же Ефим — он ходил домой поздно, мимо дома молодой вдовы.

Стешу охватило отчаяние. Ей стало казаться, что она сама напутала в разговоре с Ефимом, не так поняла его слова. Шут их, мужиков, разберет! Не мог же в самом деле плотник предлагать ей, двадцатидвухлетней, себя в ухажеры. У самого дочь на выданье, если бы вернулись с войны женихи, в деды списала бы...

Но и продолжать разговор с плотником одна Стеша не решилась. Требовался совет. «Эх, была бы жива тетя Пе-

лагея,— вздыхала Стеша о покойной родичке.— Та против мужиков все наставляла: «Мужику-псу не показывай голяшку всю!..» Только зря ее наука прошла, в супружеской жизни не пригодилась. Смирен был и совестлив Петр. Отвернется, бывало, когда рубашку снимаю...» Но тетки не было в живых, мать жила в дальнем селе.

Стеша подалась за советом к такой же бедолаге-вдове, Насте. Ее дом наискосок, напротив. Это ей собрал Ефим из горбылей сени вместо сгоревших. О Насте прошел как-то слушок, будто позарилась на подпаска, звала его в копну. Некоторое время ее даже звали за это «молодятницей». Да о ком люди не толкут языками!

За ночь, проведенную после неудачного разговора с плотником, Стеша стала зрелее. У подруги она могла хоть как-то продолжать разговор об оплате плотницкой работы.

— Как же можно... С чужим мужиком?..

Настя бесстыже повела лупатыми серыми глазами по неприбранной избе, взбодрила голову дремавшего на руке младенца, уставшего сосать материнскую грудь.

— Тю... дура!— сырым, простуженным голосом заговорила она.— Тут золотым калачом не заманишь в дом хоть какого-нибудь, а к ней сами идут да еще работать напрашиваются. Я и при живом Максиме не очень-то разбиралась, кто лучше — свой или чужой.

Настя сунула в коляску спящего ребенка.

— Замолчи!— сорвалась криком Стеша.— Не хочу слушать! Не верю тебе. Ты заодно с Ефимом, и про деньги мне наврала.

Стеша еще подсобрала деньжат, отпросилась с фермы в соседнее село. Там тоже остался на все село один мужчина. Молодой парень, тракторист. Стеша не решилась даже заговорить с ним,— увидев издалека, расспросила встречных. Парень оказался серьезный, дельный, но за топор ни сам, ни кто другой в их роду не брался — больше по железкам.

Недели три Стеша не показывалась у Насти, а с плотником не здоровалась при встрече, переходила на другую сторону улицы. Однажды, возвращаясь еще завидно с выгонов домой, Стеша услышала стук топора на своей усадьбе. Сразу прибавила шагу, сжимая кулаки у дробно застучавшего сердца. С ее губ чуть не срывались злые слова: «Гнать! Гнать с усадьбы в три шеи!»

Ефим, видно, пришел с утра, выследив, когда Стеша

удалилась к телятам. Ворота стояли новенькие, с забором, плотник возился уже в самом дальнем углу.

Калитка открылась без скрипа. Нашел Ефим и новую клямку вместо проржавевшего засова.

Злые слова в душе Стеши враз пропали. Она переступила порожек калитки, бессильно опустилась на низкую скамеечку, вдруг почувствовав себя обреченной. Не заметила, как слезы часто покатились по ее лицу. Отложив молоток с гвоздями, к ней шел плотник.

— Ну, чего ревешь, дурочка!— ласково заговорил Ефим.— Больно вы недотрожистые стали. Уже и пошутить нельзя!

— Тебе шутки, а я всю ночь ревела, заступника своего вспоминала.

— Трудно тебе придется, Стешенька, с норовом твоим.

— Пожалел волк кобылу!— оборвала его Стеша, закипая. Она уже начинала привыкать к мысли, что от такого репья, как Ефим, не отвертишься, платить по его счету придется. Но почему-то злилась все больше на Настю, полагая, что это с ее легкой руки пошла по селу такая плата Ефиму: это она, злодейка, растравила легкими подачками семейного мужчину...

— Эх, выпить бы!— вздохнул Ефим, все еще стоя над вдовой и поправляя толстый карандаш за ухом.

— Правда?— подхватилась Стеша, озаряясь новой надеждой.— А у меня припасено.

Она только минуту колебалась, раздумывая: звать Ефима на ужин в дом или отдать бутылку здесь. Решила отнести к калитке.

Ефим без видимой радости принял заткнутую кукурузным початком пол-литру самогона, рассудив:

— Оно... бывает, полегшает мужику после выпивки, а случается — и обратно...

Стеша уже научилась за эти три недели понимать, что означает на мужском наречии это «обратно» и молча глядела то на новый забор, то на стоптанный кирзовый сапог плотника, не решаясь поднять глаз. На другой стороне улицы, облокотясь толстыми локтями на забор палисадника, стояла Настя, наблюдая за Стешей и плотником.

Ефим опустил бутылку в траву, чего-то опять вздохнул и пошел заканчивать ограду.

А Стеша задала корм свинье, принесла воды и, войдя в дом, плотно закрыла оба окна на шпингалеты. Она боя-

лась, что плотник, выпив самогон, начнет «обратно» приставать к ней.

Уже совсем стемнело, когда Ефим перестал стучать у забора. Он как бы нехотя, неторопливо собрал в ящик инструмент, разыскал в траве бутылку, но домой не пошел, раздумал.

Вдруг отяжелев, присел под окнами на завалинке, снял картуз и, покрепче обхватив широченной ладонью бутылку, раскрутил содержимое в ней и выпил с одного захода.

Через минуту он запел: тихо, жалобно, неразборчиво... Затем, облапив лысеющую непокрытую голову руками, поник. Плечи его вздрагивали.

Стеша наблюдала за ним из окна. Она догадалась, что Ефим плачет. Сильно испугалась Стеша, видя своего мучителя таким жалким, отрешенным. Она выбежала на улицу.

— Ефим Карпыч!— тихо позвала она, тронув плотника за руку.— Что с вами? Идемте в дом.

Плотник будто не замечал ее. Рука его была холодной, как у мертвеца, и влажной от слез.

— Идемте же!— громче сказала Стеша.— Слышите! Не сидите здесь, а то скоро светать будет. Что люди подумают...

Для себя она решила: уложу на своей кровати, а сама в чулан прошмыгну. На одной ноге не догонит. Эх, вот когда сгодилась наука двоюродной тетки Пелагеи: стерегись мужиков!

Ефим вдруг поднялся, отстраняясь от Стеши. Он был совсем не пьян и не казался ей слабым в эту минуту.

— Иди, Стешенька, в хату,— пробурчал Ефим, виновато клоня голову.— Отрезанной ногой чую: роса выпала, к холодам... Береги себя, доченька, не застудись ненароком. А про то не думай... Конец баловству пришел: моя Дарья-то умерла в больнице вчерась. Видно, Настя Неверова сказала ей, что я к тебе клеюсь... Расплакалась, говорят, женушка моя, криком зашлась... А там и сердце на распыл, конечно... Вот она какая жизнь у человека, нетвердая совсем.

Ефим помотал головой, всхлипнул, собираясь:

— Больно любила она тебя, крестницу свою. Характером вы с нею одинаковые. И меня, дурака, небось любила... Эх, пойду гроб Дарье собирать... да в больницу ехать надо.

1971

ТЕПЛЫЙ ХЛЕБ

Римме Васильевне Матросовой,
партизанке

— Ты что это, Неонила Карповна?.. Или соринка в глаз попала?.. Не годится слабость показывать при встрече! Не годится...

Высокий сутулый человек в белой сорочке с распахнутым воротом, в лайковых сапогах, припорошенных мелким песочком здешних троп, смуглый от загара, с реденьким прозрачным зачесом седых волос неловко трогал за плечи уткнувшуюся ему в грудь старуху.

— С радости это у меня, касатик! С радости...— шептала, глотая слова, Карповна и часто моргала.

В темном поношенном платке, не по летней поре надвинутом на глаза, в шитой клетчатой кофте с длинными рукавами, она, прижимаясь щекой к широкой груди гостя, вкрадчиво заглядывала ему в лицо: «Он или не он?.. Вот будет штука, если обозналась?..» Что-то знакомое, но очень дальнее, смутное, как августовский громок за рекой, слышалось в низком баске пришедшего:

— Горевать вроде не о чем пока, а на радостях люди не плачут!.. Смеются на радостях да водку пьют!

Карповна наконец отняла лицо от ослепительно белой, непривычно скользкой сорочки гостя и, вылавливая уголком платка в морщинах редкие слезинки, призналась, улыбаясь темным беззубым ртом:

— А я вот, старая, разревелась ненароком! Дай-ка я тебя, касатик, получше разгляжу-налюбуюсь.

Она шагнула назад, не на шаг даже, меньше, подслеповато уставилась на мужчину, подперев рукой согнутую в локте руку, и все покачивала головой, будто в сомнении. Карповна не могла бы сейчас назвать фамилии этого человека, но, едва взглянув ему в лицо, тотчас признала своего. Запомнился куцый и широкий нос и темная, раздавшаяся родинка под глазом.

— Ведь это ты лежал в дальнем углу землянки, рядом с Никитой Егоровым, минером? Вас еще землицей присыпало, когда бомба с самолета упала?

— Какое там присыпало? Едва откопали!— усмехнулся мужчина. Он снял висевший на руке пиджак и положил на небольшой дорожный чемоданчик, стоящий у ног, потом вытянулся по стойке «смирно», отрапортовал:— Товарищ партизанский хлебопекарь, Неонила Карповна Шерстоби-

това! Бывший пулеметчик четвертой партизанской бригады имени Щорса, генерал-майор в отставке Иван Рязанов прибыл к вам для личного свидания!..

Карповна всплеснула руками, охнула и снова ткнулась лицом в грудь пришедшего:

— Рязанов! Ваня Рязанов!.. Я так и подумала — Рязанов это! А сказывали...— Она не договорила, вдруг пугаясь непрошеной мысли.— Ну, заходи, заходи, Ваня, в дом... Ты уж меня прости, старую, что я не по-городскому встречаю, не как генерала... А признаться, так и не видела никогда живого генерала. Первый ты ко мне в таком чине заявился... Прямо не верится, вот оказия!

Они поднялись на крыльцо. Рязанов огляделся. Все здесь ему, прожившему много лет в иной обстановке, изрядно подзабывшему деревеньку Посух, куда не однажды ходил в разведку, было непривычно сейчас и даже незнакомо. Бревенчатый дом Шерстобитовых запомнился Рязанову крепким, свежим и высоким. Выделялся раньше этот дом на свороте от реки, потому что выше остальных поднималась над ним красная кирпичная труба. Но с тех пор дом осел, срубленные в лапу углы потемнели, выкрошились. От всего строения веяло ветхостью, как и от его хозяйки. Карповна будто угадала мысли гостя. С виноватым видом застигнутой врасплох нерадивой хозяйки она шныряла по избе, хваталась за что попало, приговаривая:

— Ты уж извини меня, Ванюша... Не обессудь старую...

Рязанов присел на лавку у стола, огладил повлажневшую от летней жары и волнения голову. Вспыхнувшая на лице улыбка не гасла теперь, словно ее подогревали изнутри. Подняв широкое в улыбке лицо, гость осмотрел матицу, затем уголок над печью и кусок стены у входа, утыканный крупными темными гвоздями. И только когда Карповна, пытаясь навести порядок в доме, сорвала с края посудной полки клочок травы, издали смахивающий на паутину, Рязанов перестал улыбаться, глаза его насторожились.

— Ладно тебе, Неонила Карповна, бегать, день еще не кончается... Посиди со мной, присядь.

Карповна, хрустя сухой травкой, поглядывая, куда бы ее сунуть, подошла, опустилась на лавку, Рязанов протянул руку:

— Что это у тебя? Дай-ка посмотреть.

Карповна смутилась, неохотно отдавая сломанные шершавые и почти безлистые стеблинки:

— Я уж и не разберу толком... Мятлик небось. По запаху точно он. А может, и другая какая травка...— Попеняла себе, вздохнув:— Все собираюсь обелить избу, выгрести сор из закутков, да недосуг. И упасть боюсь ненароком с табуретки. Внуки редко навещают, редко.

Она принялась вспоминать внуков, называя их поименно, сбиваясь: от Егора Виктор средний или от Петра младший? Закончила восклицанием, что Валера, который учится в городе по технической специальности и приезжает иногда напилить дров, но больше носится по берегу речки с удочкой, не внук ей, а правнук, сынов внук... Егорова сына первенец...

— Зажилась я на белом свете, надоела всем!— пришла к неожиданному выводу Карповна.— Вот и ты небось не верил уже, что жива... Не верил же, скажи по правде?

Рязанову было трудно признаться в этом, но и врать уважаемому человеку он не решался. Смущаясь такой прямотой разговора, он молчал, больше слушал, заново привыкал к дорогому для него голосу партизанской кормилицы Карповны.

— Годы никого не щадят!— вздохнул Рязанов, тронув рукой редкую прическу, словно пожаловался. Но Карповна поняла эти слова по-своему.

Эту женщину и в памятные Рязанову времена, тридцать лет тому назад, отличал от других партизанок возраст. Заматерелые в боях лесные жители ее и тогда называли «мамашей», а она воспринимала это как должное. И сейчас Карповна отнеслась без обиды к словам Рязанова о возрасте, потому что гордилась своей древностью, живучестью.

Все считают, что Карповны нет в живых, а она все бегает, хлопочет — молодым на удивление, ровесникам на зависть. Не просто по земле ходит, небо коптит в одиночку, а другим помощь оказывает. И не только тем, кто любит подчас из-за родства, но и дальним, совсем вроде бы чужим... Нет-нет да и спросят, окликнут ненароком, заговорят у крыльца или с кем знакомым привет перескажут... Помнят люди, помнят!..

Многое и сама она помнила. Путала — не без того!— фамилии раненых, иных называла лишь по именам или по военной профессии:

— Минер Василий, высокий такой, в рыжих сапогах фрицевских?.. Кланька из Волоховки? Та, что за коровами

смотрела?.. Ента самая, черненькая, что на аппарате в Москву передавала, не вспомню, как ее...

— Нина Кандыбина, десантница,— не сразу подсказывал Рязанов. Иногда он и сам с трудом припоминал фамилии соратников по войне за линией фронта.

Но темноволосую, со строгим и ясным взглядом радистку Кандыбину он хорошо помнил, не мог забыть, не хотел забывать. Это из-за нее, еще не прибывшей в отряд, они с Василием Ряжских схлопотали по выговору, а Ряжских вдобавок перед тем схватил осколок в лопатку. Тогда вместе с минером решился Иван Рязанов на дерзкую и притом глупую вылазку: добыть у фрицев для радистки простыню... С шиком хотели встретить московскую гостью.

«Мамаше», испекавшей для партизан хлеб, не обязательно было помнить, где и как получали бойцы ранения, не полагалось проявлять излишнего любопытства хотя бы потому, что военный объект ее размещался не на партизанском стане, а в самом что ни на есть логове карателей, в поселке Посух, где находился немецкий штаб. Дом Шерстобитовых выделялся среди летней зелени и тем более среди зимних сугробов красным цветом трубы, похожим на флаг. Бог знает откуда привез покойный Демьян, умерший еще до войны, кирпич такого цвета. Кирпича недостало на всю печь, хватило лишь до печурок, а дальше Демьян перестал класть из привозного, выложив только под и своды печи красным. Под конец использовал остаток красного, когда вывел трубу через чердак.

— Труба не карош!— морщился всякий раз лейтенант Фогель, приближаясь к околице поселка и тыча рукой в сторону дома Шерстобитовых.— Труба есть уникум ориентир... сигнал партизан!

Из лесу иногда постреливал вдоль улицы единственный партизанский миномет, и офицер этот, полагавший, что минометчики охотятся за его персоной, перенес штаб-квартиру на другой край поселка, подальше от красной трубы, из которой, вдобавок, чаще, чем из иных, валил пахучий дымок. Однажды Фогель ввергся в дом Неонилы Карповны. Так нежданно, рывком взбежал на крыльцо, словно с обыском пришел. Что уж ему понадобилось в доме пожилой женщины, неизвестно. Но, переступив порог и вдохнув ароматный запах, заполнивший дом и сенцы, Фогель остановился у порога, округлил глаза и рот:

— О-о!.. Прима!.. Уникум!

Фогель знал полтора десятка русских слов. Этого запаса ему не хватало, чтобы расспросить, почему так пахнут, так щекочут ноздри темные круглые буханки, расположенные на длинном полотенце вдоль стены. Лейтенант тыкал пальцем в буханки и произносил с различными оттенками одно и то же:

— Клеп?.. То есть клеп?

Неонила Карповна онемела, не знала, что немцу от нее нужно и как ему отвечать. Она только что сняла с пода, застланного капустным листом, всю выпечку — восемь буханок. Пять успела опустить в подпол, завернула там в холстинку, притрусила сверху соломой. Три оставшиеся, не лучшие — поскребушки — лежали на лавке, источая дразнящий дух. Они были коричневыми, из ржаной муки, разбавленной мятой картошкой. Сдабривать хлебы пришлось отваром из листьев мятлика лесного, кашки клеверной белой и медуницы... Смесь трав, душистый букет запахов в хлебе был фамильным секретом Шерстобитовых, тайной, которую Неонила Карповна готова была беречь с такой же непреклонностью, как если бы ей пришлось отвечать немцу на вопрос, кому предназначался хлеб. И темного хлеба,— что твой отвал земли от лемеха,— напичканного толчеными листьями, лебедой, ничем не пахнущего, немого, будто камень, в поселке ни у кого не имелось... А тут целых три буханки!.. На одну-то старуху в доме!

Но Фогель, решительно жестикулируя, хватая воздух ноздрями, прищелкивая языком, требовал от хозяйки дома не объяснения, кому пойдет хлеб, а чего-то иного.

— Варум зи ист никс вайс? Дас шварц клеп?

Он выкрикивал еще и еще, заглядывая в опустевшую печь. В потоке незнакомых слов мелькнуло одно, слышанное раньше от фельдшерицы Леонтьевны: «...рецепт». Карповна облегченно вздохнула. Она принесла из кладовки небольшую дежку с остатками теста, на глазах у немца истолкла сбереженные в чугунке две картофелины, сорвала с потолка пучок блеклой травы, какой под руки попался, опустила в ступу... Через минуту горстка месива из муки, травы и картошки лежала на краю стола перед Фогелем. Лейтенант насупился, ткнул пальцем в тесто, затем понюхал поочередно сырое тесто и испеченный хлеб, проговорил уличающе грозно:

— Но, но! То есть уникум!..— Он кивнул на остывающие буханки.— А то,— указал на тесто,— шайзе... Тьфу!

— Пан!— разъяснила Неонила Карповна.— Тесто надо в печь, на огонь...

Она развела руками, дивясь непонятливости коменданта. Фогель повернулся к двери, унося с собой обиду на хозяйку, а заодно и буханку пахучего чуда. Вскоре прибежал староста Ефим Кулагин. Притворив дверь, кутая заросшее лицо в воротник полушубка, Кулагин тревожно сказал:

— Велено спросить, не сможешь ли ты, Нила, печь ему такой же пахучий хлеб, только из белой муки?

— Белены бы ему в корм, проклятому!— сорвалось у Карповны.

Кулагин тут же остепенил пекарку:

— И не подумай, Нила... Ты мне своим норовом все дело со снабжением партизан из-за одного офицеришки спортишь... Фогеля я приберу и сам, когда время подоспеет. Говори толком, берешься или нет? Какая бы ни была приправа, хлеб должен оставаться белым. Уразумела?

— Как велишь...

— Приказывать не смею,— рассудил озабоченный Кулагин, теребя редкую, свалявшуюся бороденку.— Угодишь — не отвяжется, еще и стражу к дому приставит. Не потрафишь — и выпороть прикажет.

Карповна усмехнулась лукаво:

— Я цветов щерицы болотной подбавлю и мяты немного...

— Что будет?— пожелал уточнить староста.

— Разродится не сразу, когда приспичит, только и беды!— с досадой ответствовала Шерстобитова.— Подружка моя, Настька, своего свекра-кобелюгу так казнила. По три часа в отхожем месте просиживал, не знал с чего.

— Ха-ха-ха!— запрокинув голову, затряс бороденкой Кулагин.— Ну и бабы! Откуда беды ждать мужику, не узнаешь.

Хлеб домашней выпечки Фогелю приглянулся. Угощая деревенским трофеем гебитс-комиссара Вольке, хвастался привезти в фатерлянд руссиш рецепт пахучего хлеба. Вскоре, однако, занемог, простудившись в неутепленном русском клозете... На место Фогеля прислали штурмфюрера Фишмана, еще более лютого и осторожного, предпочитавшего еду германского производства всяким русским сдобам. Кто-то из посухцев догляделся: на аккуратном, упакованном в промасленную бумагу батоне Фишмана, каменно-неприступном снаружи и сыпучем, как

спрессованные опилки, внутри стоит дата выпечки: «1934». Хлеб тот готовился задолго до начала войны, как готовились снаряды. «Подумать только,— рассуждали в поселке,— фашисты едят хлеб десятилетней давности. А из нынешней русской муки пекут небось для новой войны... Сколько же им воевать?..»

Не понравились Карповне такие разговоры о диковинном немецком хлебе, пошла к денщику комендантову, выменяла за три яйца кусочек германского припаса. Денщик Янгель отпилил для нее от квадратного батона длинным зубчатым ножом — простой нож не брал... Отколупнула кусочек, растерла между пальцами, понюхала, в рот положила... Тут же выплюнула, ругая себя за любопытство:

— Чем такую шайзу есть, лучше нашей клеверицей с толченкой питаться... Одним духом, знамо дело, сыт не будешь, но продержаться можно долго!.. Не выиграют немцы войны на своем хлебе, а наш им поперек горла уже стал!

Посмеялся Ефим у Карповны, а в глазах тоска-грусть. Давно его смеху в поселке не слышали. И ходит — голова вниз, и говорит насупясь, будто не своим голосом. Вроде того что след свой ищет, потерянный, запутанный в дебрях житейских. За два последних года постарел на все двадцать лет, согнулся, деду впору... А ему ведь и сорока еще нет!.. У бойца, который с оружием в руках в атаку ходит, судьба иная: одолел врага — герой, победитель; сплоховал, уступил в меткости и сноровке недругу — прими смерть или рану на виду у остального воинства. А на миру, говорят, и смерть красна... Здесь же не знаешь, откуда пули ждать. Фишман, чуть что, выхватывает пистолет, тычет в лицо: «Фауль ди банде!.. Вот в этом пистолете и бог, и закон, и приказ фюрера!.. Идите исполняйте, и чтобы все было как следует!.. Я знаю вас, русских!» Но если и не на Кулагина кричит, на другого,— не легче Кулагину слышать все это. Иной раз не просто вызволить попавшего в беду односельчанина. Вызволишь одного — к другому не поспеешь... Того и гляди, свои порешат под горячую руку. Не одни посухинские и суземские мужики в лесах. Случается: нагрянут дальние отряды при переходе через пойму Сева. И первым делом в здешних деревнях: «Где полицаи да староста?» Полицаев к стенке, а старосту на осиновый сук.

Давно просит Кулагин смены у партизан, боится сорваться: броситься на коменданта подчас хочется или на

кого из сановных инспекторов рейха... Понимают там, в лесу, сочувствуют, но замены не шлют. Покамест доверяют оккупанты, нужен им посредник между пришлыми властями и населением. Нужен и партизанам свой человек в Посухе! Всякие сложности берет на себя Кулагин. Насчет хлеба и то приказал Карповне: допытываться вдруг станут, кому хлеб, говори — старосте Кулагину! И ни слова больше!.. Да только Карповна давно решила не прятаться за Ефима. Про себя она наметила не упоминать имени Кулагина, если что... Если про хлеб ни слова, так лучше совсем молчать...

Встретятся Карповна с Кулагиным будто невзначай на улице, обронят словечко-другое, а то и молчком разойдутся, посмотрев друг другу в глаза. По глазам все понятно: «Продолжай, действуй!»—«Да действую же!» Вслух попросит:

— Дровец привезите, пан-начальник!

Тащат дрова, несут — где только добывают!— муку, соль...

С утра Карповна старательно выпаривает дежу. Не ту, махонькую, что показывала Фогелю. Емкая, присадистая, из дубовой клепки, с тремя обручами, стоит фамильная дежа, как барыня, в красном углу под божницей. Сработана еще мастером Демьяном. Раз и другой окатит хозяйка днище дежи кипятком, протрет чистой тряпицей каждую клепку. Затем устелет кадку мхом боровым, прогретым на печи, таящим тепло и в студеные месяцы. В мох и опустит пять, а то и больше хлебов, завернутых в чистую холстину. Мхом же и обложит, а сверху прикроет дежу глубокой миской с бельем. Приладит все это на санки и айда за околицу, к кринице. Другой раз Федьку, племяша Ефима, пособить кликнет. Ниже криницы — лунка, прорубь... Долго бьет-колотит Карповна вальком холсты и половики на краю проруби. Хлопает валек по мокрой тряпке, за версту слышно. И обратно с такой же кадкой по-темному, к дому. С такой же, да не с той! Та, с хлебом, осталась у криницы. Всегда там у посухинцев кадка: путнику наскоро горло смочить; женщине на сносях неудобно в глубокую выемку, продолбленную водой, с ведром наклоняться — из кадки зачерпнет. А другая — дольет, не поленится. Пока Карповна с мальчонкой доберутся в сумерках домой, хлеба уже нет у криницы. Хлебушек в лесу, еще тепленький!

Приходили за хлебом и сами партизаны. Не к Шерстобитовым шли. Останавливались у соседей Хоменковых в овине. И тогда Карповна, сунув за отворот шубейки одну или две буханки, шла через калитку к Хоменковым, и те уже сами, из рук в руки, передавали партизанам. А она за новой поклажей к себе в подполье.

Когда отряд превратился в бригаду, поджаристой продукции Карповны на всех бойцов не стало хватать. Впрочем, и прежде партизаны хлеба ели не вдоволь. Кое-кто приладился печь лепешки в землянках. Терли в гильзах зерно на кутью. Случалось и вовсе подтягивать животы. Чтобы не возникло обиды у тех, кто в дозоре и при дележе пахучего дара Карповны оказался бы обделен, командир бригады Андрей Засекин распорядился передавать всю выпечку в партизанский лазарет.

Нашлись фантазеры, вызвались было соорудить в глухомани точно такой агрегат, как у Карповны в поселке. Женщина рада была переселиться поближе к партизанам, да и с дровами там повольнее. Но в кругу подрывников и автоматчиков, между пожилых мужчин, ведавших всякими хозяйственными делами бригады, не отыскалось человека, способного сложить точно такую печь, которую оставил по себе как память не дотянувший до партизанских времен Демьян Шерстобитов. За него воевала теперь печь, не знавшая замены. Поспорив, нынешние умельцы решили, что вся загвоздка в красных кирпичах, не остывающих почти полвека на ветрах и морозах.

А Карповна, узнав, что ее коврижки, будто некую драгоценность, вручают лишь тем, кто полил землю кровью, обморозился, не смея выдать себя в секрете, кто теряет сознание от тяжелых ран, еще пуще колготилась над хлебами, примеряясь, как бы ей обернуться в своем деле получше, чем сдобрить замесы, чтобы скорее вернуть силу раненому, а впавшему в беспамятство понизить жар в теле... Зная здешние тропы не хуже партизанских связных, шла она крадучись к лесу, потом часами сидела в землянке, помогая тем, кому невмоготу от боли...

— Помнишь, Карповна, как мы с тобой познакомились?— спросил Рязанов, прервав ее воспоминания о дежурстве в госпитальной землянке.

— Напужал ты меня тогда!— с напускной обидой упрекнула старуха.— Уж больно суров ты, Ваня, когда с ружьем!

— Служба!— объяснил Рязанов.

Они сидели за столом, чуть отодвинутым от стены, накрытым льняной скатертью, слежавшейся в сундуке от редкого употребления. Два граненых стакана с коньяком, две тарелки с нарезанной желтоватой солониной да выщербленная по краю деревянная миска с облупившейся давней росписью. В ней Карповна наготовила салату из свежих огурцов и помидоров, посыпала крупной, как градины, солью. Разговаривая, она все поглядывала на плиту, где погромыхивал алюминиевой крышкой, дрожал под напором огня чугунок с картошкой. Никакая иная закусь не заменит горячей картошки в деревенском доме...

Стаканы налиты, но ни генерал Рязанов, ни древняя Шерстобитова не спешат пригубить спиртное, хотя тост уже прозвучал не раз: за здоровье хозяйки, за победу над оккупантами, в память о былом... Надо бы еще один тост, но Карповна не решалась говорить о нем, ждала. Она сидела в новом штапельном платке, в белом переднике, поглядывала на плиту, определяя по запаху, когда дойдет, начнет рыхло разваливаться в чугунке картошка... Ждала, когда отхлынут, отойдут немного воспоминания, отпустит душу грусть по ушедшим...

— Нагнал страху на старую, хоть домой ворочайся!— повторила Карповна, берясь за стакан.

Она пробралась тогда тропинкой вдоль Сева до крутого поворота реки, где река изгибается в полукольцо, вторгаясь в буерак. Дальше Карповна шла заснеженным логом, тащила тяжелые санки с хворостом к дубняку, к урочищу. И когда уже совсем перестала бояться окрика сзади, выстрела часовых от деревни, навстречу ей — не в том месте, где прежде, а слева от тропы — заколыхалась над сугробом папаха, прозвучал суровый голос:

— Эй, гражданка!.. Сюда нельзя!.. Поворачивай к речке... Вернись, говорю, а то стрельну!

Молодой и показавшийся Карповне рослым парень шагнул из-за сдвоенного комля березы, служившего ему бойницей. Широким шарфом парень был закутан до носа и теперь торопливо сдвигал одной рукой шарф, освобождая рот, чтобы прокричать что-то, еще более грозное. В другой руке он держал короткое, с толстым стволом ружье и водил им, указывая женщине дорогу обратно.

Карповна от такой неожиданности остановилась, замерла.

— А ты, видно, не нашенский парень, раз своих не узнаешь.

Секретчик еще больше насупился, свел в стрелку широкие брови, тронутые инеем.

— Проваливай, бабка!— распорядился он решительно.— Сюда нельзя!.. Война.

— Мне к Андрюшке, сынок!— заявила Карповна просительно, однако не трогаясь с места.

— Какому еще Андрюшке?— засомневался боец.— Нет здесь никаких Андрюшек.

— Да к Андрею Тихоновичу я! Какой ты недогадливый!

Партизан на миг опешил, поглядел через плечо на завал, вздыбившийся за спиной продолговатым сугробом. И вдруг потребовал так, как надо бы спросить в самом начале разговора:

— Пароль.

Карповна знала, что это такое. Иногда связные шепотком передавали ей секретное слово, если вожак отряда сам вызывал ее в штаб, этим словом давали о себе знать. Но такого давно не случалось, ни пароля нынешнего, ни того даже, что был в действии на минувшей неделе, Карповна не знала. Ей оставалось лишь повиноваться: спуститься со взлобка, заметного и от соседней деревни, и от леса. Тогда она сказала слово, могущее заменить ей пароль:

— Мамаша я... Небось слыхали?

Брови часового полезли вверх, в глазах заиграла теплинка.

— А чем вы докажете?— спросил он, обращаясь к ней на «вы».

Карповна опустила на снег веревку санок, приблизилась и подала ему калабушек хлеба, хранившийся за отворотом шубейки. Завернутый в тряпицу с кусочком сала, хлеб еще не совсем остыл. Она взяла его на случай, если задержится в лесу.

— Коль пробовал мой хлеб, то признаешь!— сказала женщина с надеждой.

Парень не откусил калабушка, не испытал его на вкус, постеснялся, быть может. Он принял хлеб, снял рукавицу, понюхал. На лице его расплылась улыбка. Он свистнул то ли от радостного удивления, то ли так полагалось между соседями в секрете. На свист из-за завала вышел коренастый мужчина в лаптях и бушлате, подпоясанном рем-

нем. Он молча поднял веревочку от санок, взял Карповну под руку и повел в глубь леса. Это был Миша Козырев, крестник Ефима Кулагина. В одном классе Миша учился со старшим сыном Петра, Иваном, считай, на одном подворье и росли с внуком Карповны...

— А калабушек-то мне тогда запомнился!— воскликнул генерал, опять притрагиваясь своим стаканом к стакану Карповны.— Лучше всякого пароля сработал!

Они посмеялись. Карповна на этот раз глотнула коньяку и подалась к плите, принялась выкладывать разваристую картошку на сковороду с поджаренным луком. В комнате еще сильнее запахло снедью. Но Рязанов заволновался, встал со скамьи не от запаха. Он уставился на сковородку, дивясь бережливости хозяйки...

С тяжелой этой сковороды, прокопченной и промасленной настолько, что на ней можно было жарить и печь без масла, большой, как шляпа баштанника, рассчитанной на семейство в три поколения, с несравненной по выслуге лет и почти легендарной сковороды этой Рязанову уже приходилось угощаться.

...Хлеба тогда не выдавали больше недели. Никакого. Не могли добыть муки, сидели в окружении. Карповна варила чугунок картошки, мяла, сдабривала козьим молоком. Выкладывала толченку на сковороде горой, опять смачивала молоком, добавляла куриное яйцо. Лоснящуюся, влажную картофельную горку бережно ставила в заустье на искристые угли. Притомленная в вольном духе запеканка подергивалась золотистой коркой, превращалась в праздничный каравай. Повод для торжества находился.

Такой каравай обсели тогда восемь подрывников. Они были измотанными до крайности. Двенадцать километров от железной дороги, где еще дымились остатки гитлеровского эшелона, они бежали и ползли по глубокому снегу. Пытаясь уйти от преследователей, залегали, отстреливаясь... У карателей была собака... Матерый, чудовищной хватки зверь...

Мильчаков ввалился в дом Карповны с перебинтованной рукой. Василия Ряжских почти раздела разъяренная овчарка. Подрывник растерялся поначалу и орудовал карабином, как в детстве палкой, отбиваясь от сатанеющего зверя. И лишь потом, увидев бегущего за овчаркой фашиста, повернул карабин стволом вперед, сразил авто-

матчика пулей, а в собаку выпустил остаток обоймы, все еще не веря, что тварь эта валяется бездыханной...

Восемь заморенных бессонной вьюжной ночью, но счастливых своей удачей партизан наслаждались покоем и картошкой, сохранившей за плотной корочкой ароматное тепло. Ели с козьим молоком вприхлеб. Не было, правда, соли. Но кому из сельских неизвестно, что притомленная в жару картошка, пока горячая, не кажется такой уж пресной?..

— Ну, мамаша,— сказал, поднявшись из-за стола, Ряжских, старший команды,— приласкала ты нас сегодня, как по заказу!.. Большей награды за опрокинутый эшелон с гитлерюгами нам и не требовалось.

— Вырастал на картошке,— тихо отозвался Мильчаков,— а такой едать не привелось.— Он обнял Карповну и поцеловал по-сыновьи.

Женщина поправила бинт на руке партизана, заодно приложив к ране какой-то широкий лист, смоченный в кипятке.

Муку раздобыли только через месяц. Появилась в отряде и соль, прибыла к партизанам по воздуху вместе со взрывчаткой. Бросали груз без парашюта. Кому-то там, в самолете, показалось, что мешки с толом и солью лучше связать, чтобы им дружнее падалось, чтобы партизан, обнаруживший один мешок, тут же увидел и другой... По тому времени соль, как и взрывчатка, считалась самым дорогим подарком Большой земли. Так и Нина Кандыбина в радиограмме отстукала: «Помогите взрывчаткой и солью...»

Мешки угодили в стылое безлистое дерево и, разорванные сучьями, смешали содержимое в общую кучу. Партизаны бережно все собрали, а потом сортировали этот бесценный дар по крупице, по крошке. Возились, если находилось время. Отчасти эта операция им удалась. Но лишь отчасти. То, что именовалось толом, поблескивало крупицами соли и могло не взорваться в назначенный час. Куча соли, несмотря на старания сортировщиков, была скорее желтой, чем серой или белой. Эту желтоватую смесь, именуемую солью, и доставил в дом Карповны минер Ряжских. Пряча виноватую улыбку в щетинистые, не очень густые усы, он предупредил:

— Мамаша! Соль эта особая, военная. Если твои коврижки от нее не разлетятся в печи, то не скупись на посол, действуй смело, а партизанские желудки выдержат,

Строгая Карповна ничего не ответила. Пока Ряжских пил молоко и дразнил козленка, затянутого по холодной поре в избу, женщина вывалила из мешка пригоршню сердитой соли на стол, села с ней поближе к окну и принялась выколупывать подозрительные желтинки в столовую ложку. А когда ложка наполнилась желтым мусорком, Карповна понесла ложку к лохани. Не донесла. Житейская мудрость подсказала ей: ложка обыкновенной соли, мирной, была потяжелее, чем соль военная, как назвал ее сейчас Ряжских... На глазах у изумленного взрывника женщина смахнула попорченную толом соль в глубокую черепушку с водой, осторожно помешала, словно промывала крупу, прежде чем отправить ее в кастрюлю. Тол всплыл на поверхность, освободившись от вынужденного соседства с солью, возвратив последней первозданную прелесть.

— Желтое... заберешь обратно, что ли?— спросила Карповна.

Ряжских захохотал, взявшись за живот. Они вместе тут же перемыли весь принесенный припас.

Карповна получила благодарность от командира бригады за находчивость. Отмечали ее помощь партизанам в одном приказе с участниками дерзкой вылазки мстителей к мосту через реку Нерусу.

С тех пор, и нередко, когда Андрей Засекин вызывал из строя группу смельчаков и ставил перед ней нелегкое задание, требовавшее не только отваги, но и обдумки, строго созерцая пестро одетую команду, в которой одни стояли в раздумье, потупя взор, другие откровенно чесали затылок, любил подзадорить: «Эх, Неонилу Карповну бы сюда! Уж она-то сообразила бы, что к чему...»

А Карповна нередко появлялась и сама. Она приходила порой в тот день и час, когда в госпитальную землянку вместе с тоскливым воем поземки или партией новых раненых вползала тревога-тоска... Вьюга заметает прежние тропы — хорошо. Зато по свежему насту заметнее следы... Много раненых — сорвалась крупная операция... Нет хлеба и соли — опять смыкаются клещи карателей...

Выла поземка, навевала грусть. Лютей поземки петляли между топчанами слухи. Человек больной больше здорового думает. У него на эти штуки избыток свободного времени. Плохо, когда скованный немощью боец повторяет за другими невеселую догадку. Может, и говорит-то он досадные слова, чтобы расстаться с ними, чтобы услышать

нечто иное, ободряющее. Хуже, когда нет желания говорить, а думы сами лезут в голову под изнуряющий вой ветра: «Скоро ли кончится и чем кончится осада? Удастся ли снабженцам выкрутиться с продовольствием до смены погоды?.. Возьмут или не возьмут с собой раненых, когда объявят приказ штаба о переходе в Хинельские леса?»

В такие дни раненому не терпится поскорее встать на ноги, пусть не совсем оздороветь, но подняться, идти... Самому идти, опираясь на карабин, на палку, на плечо друга. Идти, потому что с каждым шагом ближе победа, скорее радость встречи с крупным соседним отрядом, счастье братания с регулярными частями Красной Армии... Трудно во вражеском тылу! Во сто раз горше с перебитой ногой или рукой, с пустым желудком вдобавок! При такой беде боец любой помощи рад, любой опоре... А опора — вот она, совсем близко, с порога землянки дает о себе знать материнским голосом:

— Вечер добрый, соколики!.. Как вы тут живете-воюете?

— Карповна пришла! — звучат радостные голоса. Кто попроворнее, подхватывается на ноги, помогает Карповне развести концы промерзшей шали, берет из рук кошелку, ставит на нары, поближе к коптилке. Сноровистее других обычно оказывается Петя Еремин из команды Ряжских. В темнобровом исхудалом парнишке сидело шесть минных осколков. Левая рука плетью висела — раздробило Пете лопатку. Кость плохо срастается, Петя стонет по ночам, молчит часами, уставившись в низкий потолок землянки. Но едва появится Карповна, парня словно подменяют: Петя шутит, вертится вокруг Карповны.

С нар несется в радостном беспорядке:

— Здравствуйте, мамаша!

— Рады тебе, Карповна!

— Как оно там, в деревне, на воле?

Карповна не спеша разматывает платок.

— Вся воля нынче — в Москве, соколики!.. Да вот в лесах, вами отвоеванных!.. Как вспомним про волю, на лес глядим!

Карповна говорит и говорит, сама не меньше бойцов обрадованная встречей.

Она неспешно стягивает с кошелки покрывало, одаривает партизан темными, с неостывшим печным запахом ржаными калабушками, блинами, кукурузными лепешками и смотрит, смотрит на бойцов. Перед тем как угощаться,

бойцы жадно вдыхают полузабытые домашние запахи, разглядывают трещинки на суровом хлебе военной поры. Вспоминают, наверное, морщины матерей, думают о пережитом... Один из госпитальных, Борис Тепляков — забинтованный так, что сквозь белые полоски марли проглядывает лишь заостренный нос и полноватые девичьи губы,— почувствовав теплоту хлеба, прижимает крохотную коврижку, размером с ладонь, к груди, затем прячет ее под шинель, служившую одеялом.

— Подержи, сынок, хлебушко на груди, нюхай крепче!— говорит Карповна знающе.— Дух от хлеба пользительный... А ноне я его на сухотничке да камчужнике запаривала. Бодрость от такого хлеба в теле и дыханию способнее.

С дальних нар из-под лохматого полушубка поднял голову, надсадно кашляя и пытаясь что-то сказать, подрывник Чепурной, сильно застудивший грудь. Карповна кинулась к нему, выхватив из кошелки литровую банку с коричневатой, похожей на вино, жидкостью.

— Не позабыла о тебе, соколик!.. Липы, липовых цветов наварила!

Распорядительная Карповна потребовала у дежурного по госпиталю жестяную посудину и, получив трофейный котелок, подогрела на плите содержимое банки. Чепурной сел на топчан, зажал котелок между колен. Покачиваясь от слабости, потея, хлебал по глотку. Карповна сидела рядом, придерживала больного под локоть, приговаривала:

— С медком лучше бы вышло, да супостаты порешили пасеку. Ну, ничего, сынок. И без меда липа хороша... Теперь укутайся с головой. Пропотеешь — взбодришься.

Не раз и не два пришлось Карповне носить отвары Сергею Чепурному, южанину из-под Джанкоя, не привыкшему к здешним холодам. И ромашку заваривала, дышать заставляла его над кувшином, и душицу, сорванную в редколесье, и липовый цвет пить велела.

— А Чепурной-то пересилил болезнь!— сказал Рязанов.— В Венгрии как-то встретились... Танкист... Еще госпитальных неделек хватить пришлось, в танке горел... А тебя, Неонила Карповна, и там вспомнил.

Карповна чуть заметно кивнула, принимая эту весть, как должное.

— Так оно и должно было случиться. Изгонять простуду — привычная забота женщины на селе. Главное — не упустить время... Первое дело — банька, конечно... Если

попариться вовремя да хлебнуть липы с медком, как рукой снимет всю простуду...

Карповна невольно задумалась. Рядом с Чепурным она часто видела радистку, Нину... Не радостны ее воспоминания о черняненькой шустрой радистке...

— Линию переходить стали...— тихо заговорила она.— Ты с Андреем был в начале колонны, вот и успели проскочить на ту сторону насыпи. А нас заметили. Когда ребятки из отряда Скворцова Василия к насыпи с повозками подошли, немец, будто спросыпу, как вдарит по полотну, как осветит линию!.. Господи! Откуда что и взялось?!

Сама же Карповна и поясняет:

— Линию разобрали, паровоз с рельсов сошел, а под откос не свалился. Решили не трогать эшелон. Думали, пока провозятся с рельсами, мы на другой стороне полотна очутимся... А паровоз-то цел, даже фонарь расколотить не догадались, забыли про то, что на паровозе свет... Засветили немцы фонарь — и вдарили по видному.

— Мы слышали стрельбу...— подтвердил Рязанов, как бы продолжая рассказ Карповны.— Вернуться головной колонне было уже поздно!

— Поздно, поздно!— согласилась Карповна.— Да и Скворцов ракету дал, чтобы не возвращались. Сами решили отбиваться... Упала Ниночка наша... Первой закричала. Кровь так и хлещет, так и хлещет... Врач посмотрел: перелом голени!

До Подгородней слободы вдоль речки несли — крепилась, голубушка. А как в избу их, четверых раненых, к фельдшерице Марковне доставили, бредить стала. Доктор-то наш партизанский, Сергей Евгеньевич, одно толкует: «Ампутировать будем!» Стыдить пробовала: очумел ты, что ли? Заучился в институтах или в лесу озверел?.. Девке восемнадцать и — без ноги?! Ни рук, ни ног не чует — сомлела! «Может, и лучше, говорит, спасать, пока в беспамятстве...» Молодой, а правду чуял. Если бы тогда нас, дурех, не послушался, живой Нина осталась бы!.. Пришла в память, а он к ней с тем же: «Придется ампутировать!..» Девка в слезы: «Не дамся! Жених от такой откажется!..» Господи! О женихе ли думать при такой беде! Душу спасай, говорю, а женихи найдутся... Плачет, бедняжка, слезы такие крупные, чистые... С ногой, думаю, прощается... И доктор терзается. Осмотрел рану еще раз, платком лоб и лицо вытер. Не ей, нам у порога сказал: «Какую красоту изверги загубили!» Она возьми да услышь слова эти...

«Не дамся ногу отнимать! Лучше смерть, чем жить калекой одинокой!.. В Москву хочу, там мама, там знакомые доктора!» Запросили Москву. И вроде бы посулили помощь. Сказали: самолет в ваши края уже отправлен. Ждем-пождем, нет самолета. Сбили по дороге или заблудился, может, не нашел нашей поляны. И такое случалось... Еще день прошел. Слабеть Нина стала, голос еле слышен. Тут я принялась толковать с нею по-своему, по-бабьи:

— Смирись, доченька!.. В Москве зазорно будет с одной-то ногой — невелика печаль. Была бы голова целой. У меня поселишься, за дочку приму. Проведешь свою радиву над хатой, детишек будешь грамоте учить, до школы два шага. И замуж тебя выдам — рука у меня насчет этого легкая...

Улыбнулась чуточку, а под глазами сине.

— Какая вы хорошая, Карповна... Вы как мама...

О матери вспомнила, снова зашлась плачем: «Нет, нет!.. Не дамся резать!.. Домой отправляйте!..» Улетела ночью... Только и видели! А потом передали нам: скончалась...

Карповна с легким укором выговорила примолкшему, ушедшему в воспоминания генералу:

— Не ты ли ей женихом доводился, рыжий? Все около штаба крутился, железки ей всякие подносил. На сосну с метелкой лазал...

— Скорблю о Нине до сих пор,— сознался Рязанов.— Но сердце Нины принадлежало другому... Вместе с одним парнем они курсы по радиоделу кончали. Должны были вместе и в лёса Орловские лететь, но что-то там по военной поре вышло не так, как виделось жениху и невесте...

Рязанов опустил голову, досказал затаенное:

— Жалко, что без меня все это случилось. Может, и удалось бы ее уговорить на ампутацию. Не жених я был, просто ровесник... А ровесники друг другу лучше верят... Эх, сколько людей ушло от нас, да каких людей!

Рязанов поднялся, подошел к окну, долго рылся в кармане пиджака, нащупывая таблетки. Сунул в рот сразу две.

Оглядывая его плотную и будто привядшую от полноты фигуру, Карповна подумала вслух:

— Не тот ты, парень, стал... Не тот! Вот тогда ты больше на генерала похож был!

Остаток дня Рязанов и Карповна провели порознь. Старуха, взвалив расшатанную кособокую кошелку на плечо, подалась к выпасам за скотными дворами. Ушла рвать крапиву: из сарая, пока они беседовали, подавала голос голодная свинья...

— Пора худобу кормить!— сказала Карповна, выйдя в сени.

Рязанов прошел огородами к реке, оглядел с обрывистого берега пойму, попытался найти в кустах калины место, где не однажды причаливал лодку, наезжая к Карповне за хлебом, а то и перебегая через Сев по молодому, непрочному льду. Многое в заречных лугах, в пойме переменилось. Обмелела, стала спокойнее река. Выщербился перевезенными на центральную усадьбу избами Посух...

Рязанов не решился сразу по приезде выкладывать Шерстобитовой свой план, свои надежды. А приехал он не только повидаться с дорогими сердцу местами. Многое и сам Рязанов успел запамятовать. Но прочно жила в нем легенда о целебном хлебе — легенда, родившаяся в землянке партизанского госпиталя. Взял да и похвалился Рязанов однажды среди отставников: есть, мол, такая гражданочка — хлебом лечит!.. Такой у нее, знаете, особый хлеб!..

Какими уж красками расписывал Рязанов хлеб партизанских лет, а заодно и сноровку умелицы Карповны, и самому не вспомнить. Только разворошил любопытство. Загорелись бывшие вояки, повидавшие на своем веку всяких див:

— Добудь коврижку партизанского хлеба!..

Легко сказать: добудь!.. Жива ли мастерица? Не в молодой поре приходилось генералу видеть Карповну. Уже тогда внуки у нее имелись.

«Жива! Жива!»— твердил обрадованно Рязанов, бродя вдоль реки. Затея с коврижкой казалась ему теперь пустой, никчемной. Стыдно даже сказать будет такому пожилому и серьезному человеку, как Неонила Карповна, о том, что где-то кучка досужих мужчин спорят о ней, о ее крестьянском ремесле. Рязанов и раньше не очень-то верил в легенду о целебности хлеба, хотя и повторял ее вслед за другими. Но кое-чему в этом смысле сам был свидетель. Своими руками принимал «пароль» Карповны — сдобную коврижку.

Не видел Рязанов ничего плохого и в том, что раненые бойцы верят в целебный хлеб, верят в Карповну, в то верят, что на войне, в схватке ярой с осатаневшим врагом все важно: и новое оружие, и былой военный опыт, и древнее искусство врачевания, когда смерть рядом, а современные клиники и госпитали далеко, за линией фронта... И слово душевное лечит, если оно вовремя сказано, если сказано от души, мудрым, бывалым человеком...

Обрадованный встречей с Карповной, торжествуя от сознания того, что и самому ему посчастливилось уцелеть в войну и снова вот увидеться с дорогим человеком, испытывая благодарность к судьбе, Рязанов поклялся не намекать о хлебе. Он не мог не видеть, что теперь и сама Карповна покупает хлеб в магазине. Хозяйка ловко нарезала хлеб потемневшим самодельным ножом с деревянной ручкой, складывала в тарелке горкой. Хлеб был не белый и не черный, но вкусный, тот самый, который в столице зовут орловским. Другого не имелось, а может быть, старуха не любила другого. Во вяком случае, хлеб был не домашней выпечки, «казенный», как говорят в здешних селах. Похоже, Карповна не замечала разницы. Хлебодарица, она никогда не была прихотлива к хлебу, лишь бы этот хлеб был... Потчуя гостя, Карповна пододвинула к нему всю тарелку с ломтями, а себе взяла лишь один кусок, не самый крупный, срезала с него едва пригоревшую корочку. О зубах спросила генерала запросто:

— Зубы-то у тебя все целы?

— Не все, но еще остались, держатся,— ответил Рязанов и показал в улыбке верхний рядок — целый. Нижний, однако, припрятал. Не сетовать же ему на здоровье перед старухой, которая прожила почти вдвое больше, ни разу не охнула в его присутствии: даже рюмочку пригубить не отказалась в честь его приезда.

— А я не сберегла свои,— ответила Карповна нехотя.— Чужими, протезными, есть не умею, а своих нет... Все раздала.

Она не сказала, кому раздала. Но такое не требует разъяснения... Горькой, бесхлебной поре. Жизни нелегкой отдала... Не все ли равно. Раздала!.. Была молодость, был задор, был рядок белоснежных зубов за полыхающими маковым цветом губами. Всю жизнь Карповна работала, это было ее главное занятие. Так жили отцы и матери. Колотилась, сжималась в комок от натуги и

разжималась, как сердце. И отдыхала тоже на ходу, не переставая что-нибудь делать. Делала больше для других, чем для себя. Но она ни о чем не пожалела, ни на что не посетовала. Умолчала о своих болях. Попеняла на зубы, да и то самой себе: не уберегла!.. А теперь приходится отделять от мякоти поджаристую корочку, над которой колдовала бессонными ночами.

Рязанов с самого начала старался ничем не выдавать своих желаний, но Карповна приметила: гость, войдя в избу, задержал взгляд на остывшей, давно не топленной печи; взяв с тарелки магазинный хлеб, посмотрел на ломоть будто с недоверием, а надкусив, хотел было спросить у хозяйки что-то, да высказать не решился, начал жевать медленно, даже с опаской, будто не того угощения ждал.

Карповна уловила это, но истолковала по-своему:

— Прогорк хлебушко... На перекаленную жаровню маслом брызнули.

Рязанов уже не смог умолчать о том, что его волновало.

— А мне нравится такой, с запашком... Молоко, бывало, пригорит в крынке... Сестренка запаха не переносила, а мне в самый раз, по вкусу.

Он вспомнил и еще о чем-то, домашнем, но Карповна, махнув рукой, заговорила сурово, словно борясь с непрошеными мыслями.

— Чего бога гневить — живем с хлебом!.. И недород случится, все равно возют... Федька-то Кулагин — помнишь такого?— санки мне к кринице возил... Нашенский, из Посуха. За старшего теперь на пекарне. И машина при нем, крытая. Иной раз вместе с хлебовозкой прикатит сам. Сестра у него тут замужем. Бабы в оборот Федьку возьмут, по-свойски. Для дальних он пусть инженер с дипломом, а нам — свой малый, да и только! Вот каким голопузиком помним...

Федька давно в начальниках ходит, к бабьему крику привычный. Свои и побьют, не то что отругают,— на пользу. Слушает, слушает, а соглашается не сразу, пересилить норовит самых горластых. И рассуждает по-ученому: на машину грехи свои валит. «Теперь, граждане, говорит, с хлебом машины управляются. Без вмешательства человека. Рад бы поправить, да руки коротки...»

И руки, шельмец, вытянет, чтобы показать, какие они у него чистые, как бумага, белые. Но баб не перегово-

ришь. Мы, кричат, тебя зачем пять годов в пищевом институте учили?.. Да и других у этих машин учили столько же! Для чего? Чтобы тестяным хлебом давиться? Исправляй свои непутевые машины, если в них загвоздка, или мы тебя самого исправлять будем, коль ты в нашей деревне родился и между нами ума-разума набирался. Нашу деревню упоминаешь в анкетах, значит, и мы за тебя отвечаем...

Федька краснеет, а не сдается. Шустрый стал! В коммерцию ударился. «Дорогие земляки!— кричит, на крыло автобуса станет.— Не все разом... Давайте сначала самую старшую выслушаем. Уж она-то в хлебе толк ведает! Говори, Карповна. От тебя любой попрек — наука!»

Мне по нутру, что вспомнил обо мне Федька, попавшись на горячем. Однако оборонять его от баб не берусь. И сама веду речь туда же: «А что, спрашиваю, эта самая хлебная машина... Она такая, что ей ни удержу, ни укороту нельзя дать, когда задвигается? Как молотилка работает?» —«Нет, почему же?— разъясняет Федька.— Можно нажать кнопку, остановить. И в процессе запаривания, и при раскладке в формы...»—«И при замесе можно?— спрашиваю.— И на палец теста взять доступно?» Федька осклабился тогда: «В том-то и дело, что пальцем притрагиваться нельзя! Но если к тому дело пойдет, пробу снять позволим».—«Есть, говорю, к тому дело. Машине твоей, недотроге, в зубы заглянуть хочется. Ревность у меня к ней появилась. Потому как она меня без работы оставила, а дела своего толком не знает».

Орут, хохочут кругом. И шофер хлебовозки из кабины, веселый, выглядывает: «Садись, мамаша, в кабину, говорит».

Села. Не этим разом, другим. Когда с сердцем себя получше чувствовала. Исполкомовский «козлик» тогда напротив избы остановился. Председатель на сенокосы пожаловал. Узнал, что я выпечку хлеба в район смотреть собралась, возрадовался. «Мы вас, говорит, Карповна, можем в постоянную комиссию ввести, контроль наводить за хлебом. Помним, говорит, прежние времена, не подвели партизан с хлебом». Просил позвонить с хлебозавода. Да где там звонить? И так от всяких шумов да звонов голова кругом пошла! Правду сказывал Федька: машинная круговерть в пекарне этой, да и только. Мука сама по себе в чаны сыплется, сама водой заливается, сама перемешивается. И огня в печке не видать, только жаром пы-

шет... Где уж тут за каждой буханкой доглядишь, если хлебом, как из пулемета, машина выстреливает. И все же я попросила придержать машину и зачерпнуть мне тестица ковшиком. На язык взяла — тут же недобор почуяла. «Ну, как? — торопит Федька.— Чего, Карповна, морщишься? Нашла причину?»—«Не за тем долго собиралась, чтобы попусту дорогу топтать, говорю. Сам ты, если не запамятовала, парень крещеный, а вот хлебушко у тебя некрещеным в печь идет...»

Закатился, дурень, смехом, аж кадык запрокинулся. Смешливы все в роду Кулагиных. Думал, пошутим и разойдемся с миром. Но не тут-то было. Велела в кабинет завести, чтобы с глазу на глаз поговорить по-свойски.

«Деда Демьяна Шерстобитова помнишь?»—говорю Федьке. «А как же,— отвечает.— Свистульки нам из глины лепил. Такие голосистые».—«Не только свистульками был красен Демьян! Хоть и за свистульки ему тоже спасибо... А его родителя, Родиона Евстафьича, не застал в живых? Не застал, выходит... Старшие-то, кто жив, Родиона за хлеб в деревне почитали. Не пек он, сеял удачливо, урожай чуял. И в печеном тоже толк знал. Дед Родион, царствие ему небесное, тебе, Феденька, в точности помог бы определить, где твои машины маху дают, в чем не тянут. Тот, бывалыча, только в рот возьмет, хлебушко языком с боку на бок перевалит, и брови в стрелку: «Что-то ныне хлебец не тот? Ай дежу не перекрестили?»

Федька Кулагин засопел обидчиво, будто мальчишка, брякнул невпопад:

«Такой набожный свекор? Дежу крестить?»—«В бога не ругался, разъясняю, а по верхним этажам крепким словом прохаживался, коли хлебом не угодишь. Мог и по хребтине съездить, если неуважение к хлебу замечал».

— ...Да,— продолжала вспоминать Карповна,— семейка сложилась восемнадцать ртов: Родион с бабкой Настеной, трое сынов женатых с невестками да две девки на выданье... и у каждой из молодок деток полкороба... А дела всем хватало — большим и малым. Наработаются, только успевай миски на столе менять. Мы, невестки, так и дежурили у печи поочередно, почитай сутками: людям приварку наготовишь, берешься кормить скотину, отбыл очередь по разу, заходишь по второму... Работнички полевые разбредутся по углам спать, а ты корпишь над хлебами. То Надька у дежи, то Лизавета, то мой черед. Дежа семипудовая, не в обхват. Месишь, месишь, бывало, семь

потов из тебя вон. Не вздышишься, пока каждый комочек муки выловишь, разомнешь. Замес кончила — обвязать дежу полагается, на теплое поставить, чтобы, значит, дошло тесто окончательно. Ставили вдвоем, мужа будила. Еле вздвинем на печь, на теплое место. Вот тут как раз время крестить приспевает. И сама, умаявшись, крестишься, чтобы не проспать хлебы, и дежу не один раз троеперстием обведешь. Не дай бог, дойдут хлебы плохо, перестоит тесто, через край попрет! Вкусного хлеба не жди.

Старик оплошки не упустит. Осрамит при муже и детях. Борщ пересолишь, каша подгорит в заустье — молча будет жевать, стерпит, а о хлебе не смолчит.

Хвала ему, честному Родиону,— мне меньше доставалось за хлеб, чем Надьке или Лизавете. Иной раз свекор — перед севом ли, жнитвом ли — загодя речь поведет в застолье: «Хоть и нужна мне Неонила на боронованье — Вороная ее хорошо слушается,— но, видно, стоять тебе, невестушка, всю неделю у печи... Без доброго хлебушка не управимся за время с полем, ослабнем». Барана режем к жнитве, кочетку голову напрочь. Свекру это все будет не в счет. Об иной еде редко с таким уважением толковал, как о хлебе.

Послушаешь его наказ: сердцу мило, а хребтина заноет. Всплакнешь в кутке. Я ведь и поле любила, не так убивалась на жатве да на току, как возле печи! Уважать хлеб зато научилась я у свекра, царство ему небесное! И уж страшнее слов его не было, когда ненароком грянет баском да лохматой бровью поведет: «Опять хлеб некрещеный к столу подаете?!»

Обсказала я это все Федору Кулагину в его начальственном кабинете, вспомнила бывальщину меж иными разговорами, а он возьми и задумайся. Пятерню в свой чуб запустил.

— Крестить, говоришь, Карповна, хлебушко полагается?

— Выдержать надо,— отвечаю,— хоть маненько тесто после замесов. Вроде бы дать ему дух перевести, устояться... А ты сразу в печь гонишь!

— А план кто будет выполнять?.. График у меня!

— У хлеба тоже план есть,— толкую.— Машине, ей небось все равно. Заставь пораньше замесить. А после роздых дай тесту...

Долго мы толковали с Федькой. Что-то он даже на бумаге записал из моих речений, хоть и хмурился, будто

тестяную корочку жевал... Не знаю уж с чего, только хлебушко лучше пошел у Федьки с тех пор.

Карповна вздохнула легонечко, повела глазами по избе, спохватилась:

— Что-то мы так поздно заговорились, служивый? Вечерять пора да на боковую... В избе ляжешь, Ваня?.. Или где?..

Она не договорила. Рязанов понял ее, кивнул головой согласно, улыбнулся, и в улыбке той Карповна уловила воспоминание о прежней поре, когда с тремя своими сверстниками Рязанов-разведчик скрывался у Шерстобитовых на сеновале.

Пока Рязанов разглядывал на стене избы наклейки из давних и новых фотокарточек, узнавая на них кое-кого из знакомых и просто пытаясь отгадать по скуластым лицам, серым с темнинкой глазам, кто бы это мог быть из Шерстобитовых, Карповна приготовила ему ночлег в сенном сарае, достав для дорогого гостя совсем новую простыню.

Есть на ночь Рязанов не стал, отказался, но парного молока выпил. Забравшись на сеновал, он задремал сразу, ударился в грезы, предчувствуя близкий сон. Но уснуть долго не мог, мешали прилетевшие издалека запахи свежей привядшей луговой травы, а вместе с ними воспоминания о прошлом, которое, оказывается, всегда жило здесь вместе с этими запахами, вместе с глуховатым расплывчатым говорком Карповны. Жило и словно ожидало встречи с ним.

Сквозь дрему и воспоминания он раз или два улавливал осторожные шаги Карповны по двору. Хозяйка приближалась к сеновалу, будто хотела спросить о чем-то гостя, но не решалась беспокоить и уходила к своей бессоннице, к своим делам. Затем Рязанову почуялось, что потянуло печным дымком и еще какими-то запахами, и уже под эти запахи, смешанные с сонным дыханием трав, он уснул крепко, как случалось с ним давно, в молодые лета.

Уехал он на другой день с коврижкой домашнего хлеба, которую испекла ему Карповна по всем своим правилам.

1973

ОГОНЬ НА СЕБЯ

У солдатского счастья есть свое скромное название: повезло. Притомился на марше, от колонны отставать стал, а тут тебе ездовой с кухней или грузовик попутный... Не проворонь случая! Поубавилось харчей в вещмешке, не радуйся прежде времени: спине легче — ногам тяжелее... Назовись в помощники складским на привале. Работы на час, зато желудку подзарядка. Пусть удивляется первогодок: откуда у тебя банка консервов? Да такое и не спрашивают, кто в службе толк знает. Ясное дело: повезло!

Правда, само оно, это счастье, не придет и разыскивать именно тебя среди других не станет, набиваться не будет — мол, на-кось, служивый, хватай меня в обе руки... Ты сам удачу разгляди, учуй, первым шагни навстречу...

Так рассуждал про себя ефрейтор Семен Малов, уходя от походной кашеварни и скручивая неторопливо «козью ножку». Горячей пищи на передовую сегодня подвезли не вдосталь. Повар явно не рассчитывал на пополнение, прибывшее на полсуток раньше срока, нервничал и старался класть в солдатские котелки поменьше, чтобы всем хватило. Семен получил свою порцию не раньше и не позже других. Поев, не спешил в землянку. Снял порожнее ведро с запятника кухонной повозки, сбегал в овраг к роднику. «Вода на кухне всегда пригодится».

И намекнуть не успел Малов на добавку — котелок его второй раз побывал в руках скуповатого раздатчика пищи.

На такую невинную хитрость Малов шел без колебаний и в любой обстановке. Сегодня же ефрейтору полагался дополнительный паек по всем статьям. В ночь снова идти за линию фронта, опять сидеть где-нибудь в воронке или обрушенном блиндаже, корректируя огонь дивизиона. И возвращение через нейтральную полосу не просто. На той неделе, если бы свои не поднялись навстречу, осталась бы сейчас у расчетливого кашевара еще одна, а то и целых две порции каши. По такому случаю, думал Малов, не грех, если солдат, не отказываясь от уставных командирских забот, еще и сам себя пожалеет.

Малов мог быть довольным своими сборами в ночной поиск. «Солдату собраться — только подпоясаться»,— отшучивался он. А тем временем требовал у старшины теплой одежды, настоял на том, чтобы подменили второго номера рации. Сержант Стругалин, носивший прежде коробку с питанием к рации, оказался слишком медлитель-

ным. Он откровенно тосковал по своей молодой жене, от которой его оторвали на первой неделе после свадьбы, был рассеян и потерял штырь антенны, сунув его не тем концом в карман шинели. Уже замаскированной в ельнике группе пришлось возвращаться на голое место и руками перебирать слежавшийся снег, отыскивая штырь. Кто-то грозился впотьмах сыграть темную Стругалину, и Малов все время боялся за молодожена. Теперь с рацией пойдет минчанин Гачек, часовщик по профессии, кое-что понимающий в настройке приемников, человек, несмотря на свою серьезную профессию, веселый. Всех подчиненных Малов обул в валенки, для себя удалось выпросить автомат из новой, еще не расконсервированной партии оружия.

До выхода на задание запасливый ефрейтор не удосужился лишь разжиться папиросами. И впрямь: кто это придумал солдата махоркой довольствовать? А если тот солдат — разведчик и недосуг ему самокрутку вертеть? Готовую папиросу сунул себе в зубы, припалил от крохотного огонька, спрятать же можно и в рукаве. А махорка от крутой затяжки огнем берется, да и воняет табак за версту. Так оказать себя можно лишний раз. Малов был убежден, что на войне не должно быть места случаям. «Лишний раз, как лишний глаз,— говаривал Семен.— И того, что двумя видишь, обдумать не всегда успеваешь...»

До сумерек оставалось почти два часа. Малов рассчитывал на это время. Пока другие будут перематывать портянки и увязывать тряпьем металлические предметы, чтобы не звякали в дороге, Малов надеялся побывать в штабе батальона. Попадется на глаза помнач по разведке — готов у ефрейтора деловой разговор к нему насчет условных сигналов и помощи огнем. Не встретится прямое начальство — еще лучше. Знает Семен всю эту музыку. Не впервой под нее на брюхе ползать через заградительную полосу. Зато с писарем штаба Малову нужно было непременно увидеться. Спросить хотелось втихую, не забыл ли командир батальона за прошлый раз к награде его представить, или он так просто, для морали, перед строем похвалил разведчика. Если так просто, то Малов и хорошим словам рад, сердца на командира не держит. Две медали у ефрейтора Малова уже имеются. Свое дело он привык аккуратно выполнять. А другие — как знают. В конце концов и на войне каждый за свою службу должен отвечать...

Вот об этом Малову и хотелось напомнить штабным. Забывчивый это народ, что и говорить...

Малов едва ли решился бы нести писарю в такой неподходящий час свою докуку, если бы не оплошал в одном деле. На радостях после возвращения из-за фронта, обласканный комбатом, Семен в тот же вечер послал на Рязанщину письмо. «Поклон всем вам,— выводил ефрейтор огрызком карандаша на листке,— дорогая супруга Ефросинья Панкратовна и детки: Гришуня, Манятка, Нюся, Тимошка и Колюшка... Отец ваш на защите родины состоит верно. Третьей наградой обзаведусь вскорости...»

Насчет Гришуни Малов уже сомневался. Раньше писал парень сам и о себе и о матери, а теперь что-то давненько слуху не подает. Как Миус-фронт одолели, из дому нет вестей.

Малов не боялся смерти и старался не думать о возможной гибели на войне. Причина такой уверенности была понятна: он не мог себе представить, как жена продолжала бы маяться с кучей детей — мал мала меньше.

Война постучалась к Маловым в самое что ни на есть неподходящее время. Только что вывели под крышу избу, отделившись от родителей, рассовали по просторным полатям детишек. Начали худобой обзаводиться. И все оно вроде на лад шло. Старший сын, Гришуня, в девятый перешел. Правда, с переэкзаменовкой по геометрии. Двое средних из класса в класс будто вперегонки тянутся. Книжки и шубейки один другому по наследству передают. Самый меньший попугал их с Ефросиньей: раньше времени на свет появился, жить поначалу не хотел.

А все потому, думал Семен, что иногда сбивает с толку жадность деревенская. Нанять бы кого в помощники, когда матицу к потолку прилаживать время подошло, на Ефросинью не надеяться. Жена на сносях. Одной рукой бревно подталкивает, другой за живот держится...

Мальчонка силу взял после года, в отрубях гречневых отлежался. Наравне с большими деревянной ложкой общую миску атакует, щечки порозовели. А характером в девчонку удался: по целым дням с тряпичной куклой возится. То-то рад, если свистулька глиняная в руки попадется.

Классный руководитель Гришуни, Евгений Матвеевич, зашедший поговорить с родителями о пользе геометрии, восхищался усердием самого меньшего Малова. Тот складывал из кусочков разбитое блюдце.

— Вот это усидчивость!.. Прилежным учеником будет!.. Жду!— потирал руки учитель.

— К игрушкам они все у нас охочи,— откликнулась мать. При этом она искоса и вприщур глядела попеременно — то на Колюшку, то на мужа.

Евгений Матвеевич умел перевести любой случайный разговор в научную беседу.

— С игрушками ребенок приобщается к труду. Мыслить привыкает. Вот я в городской лавке как-то самодействующую ветряную мельницу видел...

— Баловство!— перебила учителя Ефросинья.— Зря деньги тратить... Сами без городских забавок выросли!.. Живем...

Семен не поддерживал интересного разговора, боясь огорчить Ефросинью. Но думал над словами Евгения Матвеевича много.

Воскресным днем он стреножил для продажи двух ярочек. Одну решил на покрытие долгов сбыть, выручку от другой на семейные забавки израсходовать. Находило такое на Семена подчас: пей, ешь от пуза! Завтра бог даст день и укажет пищу! В этот раз и мысли иной не было — умную игрушку Кольке раздобыть.

Бедному жениться — день короток! С полдороги вернулся. Навстречу женщины с зареванными лицами, молчаливые, суровые мужчины нахлестывают лошадей: война!

— Не успел я вас городскими игрушками одарить!— будто о чем-то самом важном говорил Семен детям на прощанье.

Лишь самый маленький понял отца:

— Папа! Привези мне с войны руззо справдашнее!..

Ефросинья шлепнула малыша мокрой от слез ладонью и тут же сорвалась, запричитала:

— Ох, Семен, не вздумай голову на чужбине оставить!.. Видишь, сколько их на подоле моем висит... Разорвут одное...

Стояла прямая, с непокрытой головой на пригорке, облепленная детьми, пока муж не скрылся за высоким плетнем. И хоть не обернулся Семен, затылком всех их видел, сердцем чуял. Стоят они перед глазами солдата во сне и наяву до сих пор. Так бы и побежал к семье — обнять, добрым словом наставить.

Особняком от всех Гришуня. «Не сбежал ли из дому,

до срока Гришуня?.. Бойкий он, в мать пошел, говорили в деревне...»

Беречь себя Малов умел, воевал с хитрецой, с обдумкой. Младших по строю учил: «От службы не отказывайся, где не сможешь, сам туда не напрашивайся!..»

На передовой Малов сначала хорошенько прислушивался к шуму-грому: «Фашист иной раз палит попусту, сам себя пугает». Однако прицельный огонь уважал, кланялся ему и земно и поясно. Свою пулю от чужой различал по полету.

Совсем нечаянно Малов угодил в разведчики. Из-за линии фронта не вернулась хорошо обученная диверсионная группа, снабжавшая штаб живыми трофеями. Загоревал командир полка, принялся всех старослужащих по пальцам перечислять: из кого готовить замену. Вызвали Малова к командиру, разостлали карту. Долго и подробно офицер — в новеньких погонах, будто с экрана сошел,— наставлял ефрейтора условным знакам, опознавательным сигналам. Потом перешел к ориентирам и расчетам по курвиметру.

Малов напряженно слушал. А когда уморился от непривычных фраз, заговорил простецки:

— Ты, товарищ капитан, обскажи обыкновенными словами, что на первый раз мне знать следовает. А с чем можно и погодить. И думать дай, потому как не умею я жить не думавши, по чужим подсказкам. Может, я свои путя сыщу к этому самому объедку.

— Объекту!— раздраженно поправил капитан, бросив тонко подструганный карандаш на карту.— Немец мне нужен для допроса!

— «Язык» то есть?— уточнил Малов.— В каком звании, разрешите спросить?

— От рядового до Гитлера!— Капитан плохо справлялся со своими нервами.

Малову не нравилось, когда из-за него расстраиваются люди.

— Гитлер не выше меня чином. А костью небось и совсем тоньше...— Ефрейтор горделиво расправил плечи.

Капитан искал глазами по списку кого-то другого. И тогда Малов ревниво отчеканил:

— Попробую!

Всю ночь ползал Семен Малов по вражеской передовой в чужой плащ-накидке. Практический рассудок подсказал ему нехитрую уловку: перерезать провод и притаиться у

места разрыва. Одинокого связиста они с напарником взяли без шума.

Капитан Бельских был человеком дотошным. Он хотел знать все подробности. Разговора снова не получилось.

— Я же сказал: попробую,— твердил Малов.— Значит, буду за словом своим идти, пока в одной точке оно с делом не сойдется...

Малов все же нашел, у кого обменять махру на папиросы. Это были приданные соседней части танкисты, недавно переброшенные сюда для усиления обороны. Они размещались в балке, километрах в полутора от землянки разведчиков. Пехотинцам не разрешалось подходить к зарытым по самую башню машинам, а если кто невзначай попадал в их расположение, обязан был тотчас удалиться по первой команде. Что-то имелось у этих машин на вооружении, о чем посторонним не полагалось знать. Однако Малов в иных случаях считал себя свободным от выполнения обязанностей пехотинца. Он — разведчик!

Под передней машиной возились двое. Малов слышал стук ключей, видел ноги в новеньких кирзовых сапогах. Малов спустился в капонир, постучал по броне.

— Покурить, братцы, команды не было?

Семен соображал: механики, прибывшие из тыла, не позарятся на моршанскую махру, распечатают свои пачки.

На голос пришельца отозвались не сразу:

— Здесь сахарники!.. Некурящие!— хрипловатым, ломким баском проговорил один и высунулся из-под машины, чтобы взглянуть на нетерпеливого табакура.

Другой танкист лишь ожесточенней зазвенел ключом:

— Картер протекает, не до курева...

«Пособить им, что ли?»— мелькнуло у Семена. Но отвлекаться было недосуг. Да и чересчур неласковыми показались Семену глаза того, что не поленился вылезти из-под машины.

У другого танка суетились четверо. Пятый свесился в распахнутый люк, некрасиво растопырив ноги. Еще один сидел поодаль, разогревал что-то в прокопченной банке.

— Привет, ребятки!— бросил Семен, намереваясь пройти к костру. Занятые кто чем, ему не ответили. «А шут с вами,— подумал Семен.— Покурю своей махры у огонька и подамся дальше...» Однако не успел он обогнуть машину, как сверху с изумленным криком на него свалился человек в ребристом шлеме.

— Малов!.. Семен Дорофеевич!.. Батя!.. Ну, скажи, что это ты?

Голова закружилась от немыслимой встречи. Семен сел на снег.

— Гришуня?— шептал ефрейтор, вытягивая к сыну руки.— Ты чегой-то здесь?.. А мама как же?..

— После, отец, потом доложу все по порядку!— выкрикивал Гришуня, стоя перед отцом на коленях.

Их окружили рослые парни в комбинезонах. Тот, молодой, сероглазый, прибежал от первого танка.

— Эх, Малов, ну и повезло же тебе!

Семен принял эти слова на свой счет.

У радости тоже свои заботы. Через несколько минут Малов-старший, все еще часто дыша и млея от восторга, терзался от сознания мимолетности этой встречи. Ни отложить выход на задание, ни добиться себе замены он не мог. Не мог он и так просто вот, сейчас, сию минуту, отойти от сына и пойти себе дальше. Гришуня видел, как посерело от муки лицо отца. Тревога передалась и ему. Семен вдруг схватил сына за руки и потянул за собой.

В штабе начал издалека:

— Помните, товарищ капитан, вы мне в одночас говорили, будто я могу сам подбирать в группу достойных бойцов...

Капитан пригляделся к стоящим перед ним, не скрывающим радости и вместе с тем озабоченным воинам и рассмеялся. Он сразу уловил сходство между старшим и младшим: скуластые смуглые лица, синие, васильковые глаза, глубоко упрятанные под пушистый излом белесых бровей. Старший был лишь потемнее лицом из-за пробившейся после вчерашнего бритья щетины.

Ефрейтор знал о необычности своей просьбы, поэтому говорил напористо, напропалую.

Капитан устрашающе заулыбался. Малова злила эта улыбка. Он не понимал ее смысла. Взгляд капитана где-то на середине беспрерывной фразы Малова дрогнул, печально сошел вниз.

— Нельзя, Семен Дорофеевич, не получится...— Капитан назвал ефрейтора по имени-отчеству. Это не сулило удачи. Чем вежливее был командир, тем холоднее звучали его слова.— Не наши это люди, совсем другого полка.

— Как не наши?— отбрасывал прочь обидные слова Семен.— Может, скажете, Гришуня мне больше не сын? И материнское благословение для него ничего не значит?

Капитан пытался вразумить разведчика:

— Ну зачем вы так, Семен Дорофеевич?

Однако Семена будто прорвало. Он выкладывал сгоряча все, что передумал за последние пятнадцать минут. Вспомнил поименно всех детей, сказал о жене Ефросинье, которая, по словам Семена, проводив мужа, а затем и сына на войну, законно думает, что они где-нибудь рядом. А если рядом, то женщина надеется на отцовский присмотр за сыном... Под конец своей исповеди ефрейтор уронил горестно:

— Я даже не наговорился со своим первенцем.

Но и эти тяжелые слова не подействовали на капитана. И тогда Малов, посветлев глазами, кивнул на аппарат.

— А нельзя ли мне с вашего позволения обсказать старшим, которые и над вами и над танкистами по службе стоят?..

Капитан задумался. Он пошел к телефону сам. Ничего не утаивая из исповеди Семена Малова, слегка присочинив кое-что по мелочи для убедительности, он доложил кому-то, кто на другом конце провода значился под номером «вторым». Затем долго слушал разъяснение, то улыбаясь, то вдруг мрачнея. Улыбались и мрачнели вместе с ним оба Маловы.

— Ну, Малов, ты в рубашке родился!— Капитан достал платок, вытер шею, затем обвел посуровевшим взглядом бойцов.— Только на одно задание. Ясно? Хорошо, что не водитель, а стрелок...

Это касалось уже Малова-младшего. Но оба они, сияющие от удачи, заговорили вперебой:

— Так точно! На одно задание...

Находчивость, выручавшая тороватого ефрейтора не раз, обернулась тревогой, едва группа выступила в дорогу. Гришуня был единственный из нынешних подчиненных Семена, не нюхавший пороха, не видевший в глаза немцев. А предстоял переход линии фронта, требующий особой воинской сноровки. Радисты Сапаров и Гачек провели на передовой почти по году, научились понимать друг друга и своего командира с намека. Сапаров прихватил, как он выражался, даже финской войны и уже два раза побывал в госпиталях.

Гришуня старался казаться безбоязненным, бравым. Он забегал вперед, хватал вещи потяжелее. Семену при-

ходилось остепенять сына. Но чаще он толковал с ним по-свойски, хорошо памятуя, что за линией фронта разведчики переходят на скупой язык жестов.

Семен повел группу вдоль своей линии окопов, на самую стыковку с соседней частью. Ему хотелось не только передать сыну часть своей науки о войне, но расспросить о доме. Поэтому разговор был переменчивым, с частыми перескоками с одного на другое.

— Ракету бросят — застынь, прикипи к своему месту,— поучал Малов-старший.— Лежи, будто неживой.

Гришуня слегка оборонялся от непреклонной строгости отца:

— Знаю, пап... В полковой школе мы отрабатывали ночной бой.

— Одно дело — знать, другое — уметь,— возражал отец. Сапаров и Гачек вставляли свои слова, иногда защищали новичка. И все это, в том числе грубоватая защита незнакомых людей, смущало Гришуню.

— Говоришь, картошку в этом году червь подпортил?— допытывался отец.

— Не всю... На тех грядках, что от речки.

— И в ямы попала вода?

— Было немножко, ведрами черпал.

— Соломки следовало побольше сжечь...

— Жгли, отец... И солому и листья сгребали из сада.

— Дело!— похвалил отец.— В листьях черва яблочная до весны таится.

Семен будто задумался о том, не допустил ли молодой хозяин оплошки с картофелем, и вдруг резко скомандовал:

— Ложись!..

Невдалеке вспыхнула, обдала мертвящим светом окрестность и неспешно поплыла ракета. Кто-то с нашей стороны выпустил длинную трассу пуль.

Разведчики были уже между двух огней.

Гришуня не сразу понял, зачем ложиться. Ведь передовая линия, по его расчетам, проходила еще далеко. Отец больно толкнул его, прижимая к земле.

— Ну вот и пронесло,— добродушно сказал он через минуту.— Дежурный в небе звезды ищет... Норму выполняет... Хоть и не свой брат присветил, а помог: левее нам идти следовает.

До перехода через линию вражеских окопов Семен успел подробно расспросить о самом младшем. Не отстает

ли Колюшка от своих деревенских однолеток, не обижают ли его сестры.

— Герой!— старался отвечать покороче Гришуня.— Дедушка Панкрат выстругал ему саблю деревянную. Сказал: от отца подарок... С крапивой воюет.

Гришуня и сам не в шутку грустил о доме. За четыре месяца службы он порядком отвык от гражданской жизни. Вся она, в том числе и скудное детство в глухой деревеньке, теперь казалась ему сказочно красивой, желанной, единственно возможной.

Разведчики долго ползли, привалившись на лыжи, работая локтями. Затем ждали, когда в небе кустом сойдутся зеленые ракеты и наши минометы выбросят где-то справа, километрах в трех от группы, несколько мин. Затем это же повторилось в другом месте, еще дальше. И лишь потом Семен прошептал: «С богом!» Разведчики скользили за ним гуськом. Став на лыжи, они без передышки отмахали километров десять. Семен вывел их на наезженную дорогу, чтобы запутать след.

Своей удачей человек бывает обязан заботам близких людей, иногда щедрости чужого человека, а по случаю и недругу. Не появись за линией фронта большой танковой колонны, едва ли наше командование двинуло на участок Малова броневую помощь. А если так, то не было бы встречи с сыном...

Скопище вражеских машин имело шифрованное название «Питон». Сейчас Семен должен был разыскать в складках степной местности эту хищную змею и навести на нее удар тяжелых орудий.

Фашистской колонной руководил хитрый, поднаторевший в походах офицер. Днем он маскировался и отсиживался в балках. Ночью снимался на тихом ходу и перемещал колонну на сорок — пятьдесят километров в другое место. В передвижениях «Питона» замечалась одна важная особенность: колонна извивалась вдоль линии фронта, то углубляясь в тыл, то подползая на опасную близость к передовой. Настигнутая штурмовиками у высоты с отметкой 180,2, колонна почти не понесла потерь. За два танка, уничтоженные прямым попаданием, летчики заплатили гибелью своего экипажа. Другой самолет едва дотянул до расположения наших частей.

Разведчикам нужно было уцепиться за хвост «Питона», нанести на карту его загадочный маршрут.

Зимняя ночь показалась нескончаемо долгой. Семен побывал у села Надежное, где окопавшихся танкистов видели с воздуха. Обошли разведчики и вокруг высоты с отметкой 180,2. Затем двинулись вдоль шоссе, где проступали не свежие, но отчетливо различимые следы гусениц.

Близ степного селения, не обозначенного на карте, Семен наткнулся на опустевшие капониры. На снегу — большие маслянистые пятна, следы солдатских сапог, маленькие проталины от костров...

И снова час напряженной погони.

В одном месте шоссе раздвоилось. Свежий след уходил почти под прямым углом в сторону неубранного кукурузного поля. То ползком, то перебежкой разведчики устремились по новому следу. Наконец увидели танки...

Две мертвые машины со снятыми моторами. Возможно, их бросили из-за неполадок или разобрали на запчасти...

Догадку об этом высказал Гришуня.

На его рассудительные слова отозвался лишь Гачек, односложно бормотнув, передернув плечами. Оскорбленный невниманием к себе, Гришуня ринулся к люку:

— Пап, я на щиток гляну!..

— Стой!— осадил его резким возгласом Семен. Он потряс палкой и указал в сторону. Сапаров сдернул опешившего парня с гусеницы:

— Когда папа, а когда — товарищ командир,— насмешливо напомнил солдат.

Отец с Гачеком уже пробивали новую лыжню. Стараясь попасть шаг в шаг за Сапаровым, Гришуня корил их всех по очереди за излишнюю опеку:

— Разведчики!.. А может, там документы ценные?.. Неужели документы не понадобятся?

— На войне все нужно,— соглашался Сапаров. Такова была его привычка в спорах: сначала согласиться, потом истолковать все по-своему.— Но жизнь человеческая важнее документов... Она всегда нужна... Иначе — кому достанется победа? Самолетам? Танкам?..

Все внутри Гришуни восставало против таких рассуждений.

Чувствуя назревающий протест, Сапаров приотстал, зашагал рядом. Голос его стал просительным:

— Думаешь, как мы с твоим отцом сошлись?.. А все так же, человека мы друг в друге разглядели. У Малова

детей пятеро и хата не докрыта, а у Сапарова институт не окончен...

Он с минуту помолчал, приглядываясь к силуэтам тех двух, что уже ушли далеко.

— Я прежде у самого Коваленко служил в разведроте... Может, слыхал? Ну, вот... «Грудь в крестах или голова в кустах». Из шахтеров он, к смерти привык на гражданке. И здесь в стахановцы выбивался: за «языком» пошлют — норовит на двести процентов норму выполнить да еще и к погонам приглядывается... Пошуметь любил. А нам с Семеном Дорофеевичем звездочек ни больших, ни маленьких не нужно — хватит и медалей, благо, что они уже имеются...

Что-то совсем чужое, непривычное, и даже обидное уловил Гришуня в этом явно невыгодном сравнении знаменитого Коваленко с отцом. Хотелось веско возразить, опрокинуть представления радиста о Семене Малове. Но Гришуня вовсе не знал отца на войне. Зато сколько сбереглось в памяти о его неистовой натуре, о работной поре.

— Отец тоже упрямый, хоть и без форсу живет,— с обидой в голосе заговорил Гришуня.— Не отступит, если за что возьмется... Бывало, наметит делянку на косьбе — до ночи будет обхаживать, пока все до травинки не собьет и в копны не сложит...

— Эх, сено-солома!— вздохнул Сапаров и добавил почти враждебно:— Ящик с питанием Гачеку передай, слышишь? Над рацией я командир...

Он отчаянно заработал палками, словно намереваясь убежать от Гришуни.

Злые от неудачи возвращались они обратно к шоссе. Основная колонна —надолго ли?— уходила прямо на запад, в глубину своей обороны.

Близился рассвет. Ноги просили отдыха. Нужно было найти пристанище, согреться, передать в штаб сообщение о своих догадках и сомнениях.

Семен не решился вести группу в полуразрушенное селение, вытянувшееся на километры вдоль шоссе.

В стороне от этого селения маячили четыре кирпичных строения. Это были добротные жилые дома с надворными постройками, огороженными заборчиком. Черепичные крыши, слегка заляпанные черной и белой краской, выделялись среди снегов. Дома были похожи один на другой, выглядели чужими на нашей земле и напоминали усадьбы немецких колонистов. «Бауэр какой-нибудь со своим вы-

водком обстроиться успел на оккупированной земле!» — горько подумал Семен.

Хутор оказался пустым. Кое-где бродили куры с выдранными хвостами, во дворе крайнего дома валялась убитая лошадь. Все это было доказательством поспешного бегства немцев.

Семен вытащил из-под навеса сарая длинный шест, обстукал им каждую ступеньку крыльца, вошел в дом, стоявший в середине хуторка. Прихожая, гостиная, две больших комнаты... Оголенные до металлических сеток кровати... Ящики с бутылками, горы битой посуды... Новенький офицерский френч с оторванным погоном в платяном шкафу.

Семена радовали признаки растерянности в немецком тылу. Он ходил по опустевшему дому и слегка посвистывал, прислушиваясь к отзвуку настывших стен.

Сапаров смахнул лыжей с приземистого столика бутылки, бережно опустил рацию. Потом, не раздеваясь, лишь ослабив ремень, прилег на кушетку. Не успев докурить папиросу, радист заснул. Автоматчик Гачек улегся на кучу стружек рядом с кроватью. Бойцы знали: пока Семен не обшарит все закоулки и не убедится в полной безопасности, пока не обдумает своего разговора с Бельских, рация ему не потребуется.

Одна из больших комнат оказалась детской. Семен постоял у порога, погладил рукой блестящие никелированные спинки кроватки, повел глазами на шкаф. Там что-то виднелось, яркое и круглое, под тряпьем.

Семен разворошил тряпье палкой. Празднично засверкав цветастыми боками, оттуда выкатился огромный шар. Это был детский мяч, но Семен никогда не видал такого мяча. Шар забегал по опустевшей комнате, будто отыскивая хозяев, и слепо ткнулся в ноги ефрейтора. Семен тронул находку ногой, чтобы разглядеть, не тянутся ли вслед невинной забаве проводочки от мины. Шар оказался совсем мирным. И ефрейтор невольно вспомнил о привычной и беспечной мирной жизни.

Когда он вернулся в гостиную, Сапаров храпел со стоном, взахлеб. Заснул сразу, не успев закрыть крышку рации. Гачек лежал навзничь на ворохе пахучих стружек. Он дышал тихо, покойно, улыбался, готовый сказать что-нибудь колкое, смешное.

— Григорий, подь-ка сюда! — окликнул Семен. Не дождавшись ответа, сам пошел к сыну.

Гришуня стоял на коленях, прислонившись плечом к дверному косяку, и неотрывно глядел в бинокль, снятый со спящего Гачека. Заснеженный горизонт время от времени моторно гудел.

— Мотоциклы гоняют, пап!— доложил Гришуня.

Гришуня волновался от опасной близости немцев. Возможность встречи с врагом здесь, за линией фронта, ощущалась им как неизбежность. Он переживал нечто сходное с трудным экзаменом, через который все равно — рано или поздно — нужно пройти, а если уж так, то лучше раньше, скорее. Внутренне сдерживая себя, Гришуня стремился к этой встрече. Ему хотелось увидеть фашистов первым и, быть может, победить их одному, чтобы доказать отцу, что он не тот мальчик, каким оставил его отец, уходя на фронт.

— А потяжелее ничего не видать?— спросил отец, протянув руку к биноклю.

— Одни мотоциклы... Несутся, как на пожар!— удивлялся всему Гришуня.

— Холодно,— сказал отец.— Ветрено там на бугре.

Гришуня долго не замечал отцовской руки.

— Иди-ка приляг, сынок... В шкафу тряпки есть. Ноги себе укутай потеплее...

Семен не рассказал о шаре: «Сам увидит».

— А ты?— наконец отдал бинокль Гришуня.

— Первым всегда я дежурю,— соврал отец и пояснил дальше:— Я больше тебя увижу, скорее разберусь, что к чему... Мотоциклы — это ничего. Это связные, а может, раненых везут в колясках... Ну иди, иди... Глаза ввалились с устатку...

— Я ничего, папа,— пытался возражать Гришуня, но нужных слов не нашел и только нахмурился по-отцовски тяжко, сведя брови на одной линии у переносицы.

Семен принес к порогу пустой ящик, сел, готовясь к наблюдению.

— Навес тот, что от сарая, без меня покрыли? Под глинку небось, как и все,— спросил отец деловито.

— Не-ет. Камышом я заделал... Глины не на чем было подвезти из карьера.

— И туда война лапу протянула,— вздохнул Семен.

Сын смерил его долгим взглядом. Была в том взгляде горькая жалость.

— Многого ты, пап, не знаешь. Первую зиму мы мерз-

лой картошкой питались... Снег рано выпал. А что лопатами затепло успели, на станцию отвезли.

По неосторожным словам сына Семен понял больше, чем предполагал Гришуня. Перебарывая тоску в сердце, Семен заговорил ожесточенно:

— А мы, может, тоже всем кагалом после войны к морю двинем! На пальмы поглядим! Танюшке шляпу белую купим, а Кольке самый большой мячик...

Гришуня видел отца как бы внове. В ласковых, мечтательных словах его звучала решимость, приобретенная на войне. Сыну было смешно слушать о море, пальмах и мяче от родителя, которого он привык видеть с косой или вилами в руках.

У горизонта дважды расплывчато громыхнуло. Еле различимая в заполье нитка горизонта взвилась огненной петлей, спуталась с облаками, сама став темным облаком.

— Наши?!—то ли спросил, то ли объявил Гришуня.

Отец утвердительно закивал головой, улыбнулся:

— Самолеты прошли!.. Может, по хвосту бьют эту самую «Питону».

Лицо Семена выражало готовность идти в сторону, где, быть может, колонну нащупывали с воздуха, и он не сразу успокоился.

Гришуня на миг прильнул щекой к плечу отца, вздохнул о чем-то своем, ребячьем, и побрел в глубь дома.

Семен затосковал в одиночестве. Ему скоро надоело сторожить холодный коридор и обезлюдевшее пространство. От напряженного созерцания снежных полей пробивалась слеза. Папиросы попались отсыревшие, от них першило в горле.

Семен думал о сыне, который был для него еще где-то там, в отчей избе, а не в этом выхолощенном войной поместье. Приглядываясь к сыну, к его слегка приплюснутому носу и васильковым глазам, Семен видел в его повзрослевшем обличье многие черты, перенятые от матери, Ефросиньи. Жена вспоминалась давней, в девчоночьи ее годы. В родительской семье Фроси, кроме нее, старшей, было девятеро. Фросю до сих пор зовут младшие братья и сестры ласковым словом «няня», что по деревенскому обычаю почти равно материнскому званию.

Бледная от недосыпания, в мятой длиннополой юбке, босая Фрося таскала с восьми лет на себе младенцев в поле, стирала распашонки. Она по-взрослому шлепала шалунов. Игрушки, подаренные ей самой крестной матерью, переда-

вала младшим. Вдобавок ко всему, родители Фроси любили пображничать, оставались у кумовьев до зари... В школу Фрося могла ходить только зимой, когда кончался обмолот и с поля увозили картошку. Если и удалось за годы девичества выскочить два-три раза к подружкам на посиделки, и то хорошо.

— Бери замуж Фросю!— советовали Семену старшие, когда тот пришел с «действительной».— Девка не избалованная.

Семен многое и сам понимал.

— Замуж?!— удивилась девушка, когда Семен впервые заговорил о своих чувствах.— А как же мои дети?..— И заплакала.

На смену ораве братьев и сестер появилась своя немалая семья. Да такие же удались голубоглазые, беленькие, курносые. Своих от чужих не отличишь... Как и в родительском дому, Фрося вздыхала от неизбежных нужд, считала гривенники на молоко да на обувку, теми же словами, что и отца прежде, ругала теперь Семена, если он тратил деньги на водку...

Семен вернулся в дом обогреться. Собрал охапку стружек, набил ими плиту. Стружки неприятно засмердили, Семен вытащил стружки, затоптал их ногами.

И тогда снова вспомнил о мяче. Пористая поверхность игрушки делала ее доступной, шершавой. Ловить мяч было легко, он словно сам прилипал к рукам. Семен кидал мяч к потолку и на стену, тихонько постукивал им по полу. Приходилось лазить за игрушкой и под кровать — так Семен постепенно согревался.

— Ота-та, ота-та!— в забывчивости приговаривал Семен и даже слегка прихлопывал в ладоши, пока мяч взвивался над головой.

Гришуне не спалось. Сквозь смеженные веки он следил за отцом, то мрачнея, то веселея душой. Сын вдруг дошел повзрослевшим рассудком, как, в сущности, еще молод отец, ребячлив и наивен, когда остается наедине с собой, если не нужно по положению старшего наставлять и поучать других.

Мяч неожиданно ткнулся в лицо спящего Гачека. Едва поняв спросонья, над чем так трудится непосредственный начальник, Гачек защелкал языком:

— Оце так штука, що по лобу стука!..— Он облапил мяч, но кидаться им в Семена, как хотел вначале, не стал. Помрачнел, губы задрожали.

— В третью роту пленный один вернулся, из германских лагерей через всю Польшу втик... Казав, Гитлер с пленных шкуру снимае. Дамские сумочки и всяки таки красивые штучки выробляе... И сюда вот диковинку завезли...

И он брезгливо отшвырнул мяч в сторону.

Семен не поверил Гачеку, но спорить с ним не хотелось.

Гачек затеял дробить финкой кусок доски, чтобы на крохотном бездымном огоньке разогреть консервы. При этом он потешался над трофеем Семена, грозился прожечь мяч, выпустить из него фашистский дух. А когда разведчики собрались уходить, Гачек отнес мяч в шкаф, прикрыл тряпьем:

— А черт с ним, с мячом!— заявил он, посмотрев на Семена.

Заметили их после полудня возле молодого леска, засыпанного почти до самых верхушек ноздреватым февральским снегом.

Семен вел свою четверку одному ему ведомым маршрутом, и лишь изредка они пересекали дороги. У танковой колонны, похоже, не имелось постоянной цели. Следы машин то сходились, то расходились опять. Семен догадывался о существовании где-то поблизости логова, запасных стоянок.

Неудача разведчиков утомляла больше, чем физическая нагрузка. Они шли вразбежку, отталкиваясь обеими руками, катились по инерции. Семен был старше остальных и утомлялся скорее. От спешной ходьбы млели суставы. Хотелось упасть на снег и лежать распластавшись, пока уймется разгоряченное тело, стихнет надоедливый шум в голове.

У самого подлеска поле как бы осело, приоткрыв далекие холмы. Меж холмов, местами обнаженных ветрами до земли, Семен разглядел большую неровную падь, уходящую правым краем за лес. В дальнем углу пади смутно темнели глинобитные скотные дворы. Весь косогор пониже строений был взрыхлен, взбит до земли, будто его перепахали плугами...

Семен не раз видел на карте эту низину, глубокую и кривую, густо заштрихованную темно-синими черточками. Так обозначают бросовые луга, поймы одичавших полес-

ных рек, торфяники. Извилистая и длинная топь с небольшим озерцом на одном краю внешними очертаниями напоминала пресмыкающееся доисторическое животное, вроде ящера. «В холода и болото замерзает,— медленно доходил в мыслях о назначении пади Семен.— Камыши, кустарники. Ищи свищи... Тут и дивизия, как у бога за пазухой, спрячется».

Из низины тянуло холодком. К неизбывному во всякое время года запаху прели отчетливо примешивался запах горючего.

— Здесь что-то может быть, старик,— подтвердил догадку Семена подъехавший сбоку Сапаров и вытянул палку в сторону леса, повыше того места, куда вел их Семен. Малов понимал нетерпение Сапарова. В случае удачи им оставалось лишь пересчитать машины. Сейчас Семен никому не мог доверить такого дела.

Гришуня отстал. Он все еще шел, низко наклоня голову, размашисто работая палками. Железная коробка питания рации сползала на бок. Парень время от времени досадливым движением плеч посылал ее на место.

Семен хотел подбодрить сына, но его опередил чей-то резкий, напряженный голос. Так вскрикивают в полусне дети или взрослые, удивленные до крайности.

— Хальт!— принесло впервые за сутки отчужденное поле, затаившее до поры свою тайну.

Прижимаясь к земле, Семен краем глаза увидел, как неуклюже и вяло валится на снег сын. «Устал парень,— с досадой подумал отец,— разопрел в ходу, а лежать в сугробе, как перепелкам, не меньше часа...»

Немец появился не сразу. Он вырастал из снега, поднимался из невидимого углубления — сначала голова в ушастом капелюхе, затем перехваченная ремнем грудь и, наконец, ноги в сапогах с рыжими лоснящимися голенищами. Он был юн и близорук, а может, вздремнул ненароком в сторожевом укрытии. Вся его стройная продолговатая фигура еще выражала покой, хотя глаза испуганно и рассеянно бегали по равнине.

— Вер ист да?— повторил немец уставную фразу. Семен слышал это не раз ночами. «Никак в себя не придет, бедняга»,— подумал разведчик.

Он все время глядел за спину врага, не считая одинокого солдата достаточной для себя опасностью.

Гришуня с детским изумлением наблюдал за фашистом. Он не испытывал страха, потому что солдат был

совсем молод, выглядел, несмотря на автомат, невоинственно и стоял один против четырех, хотя за ним, быть может, прятались в снегах тысячи.

Часовой резким рывком сбросил с шеи ремень автомата. Хлестко, будто пистолетный выстрел, щелкнул спущенный предохранитель. Гришуне показалось, что немец целится в отца.

— Папа!.. Убьет!..— не выдержал он.

Часовой вздрогнул от крика, защитным движением вскинул руки, нажал спуск. Пули пошли высоко в небо. И вдруг он стал падать — медленно, всем телом, не подгибая колен, слегка развернувшись к разведчикам боком. Семен, пораженный этим падением, не расслышал ответных выстрелов. Он лишь увидел, как бьется в руках сына пулемет.

Пули тонко запели над буграми.

— Дурак!.. Ремня захотел!— Семен выбросил над головой автомат и тут же скомандовал упавшим голосом:— Бегом к лесу!

Он поднялся, но правая лыжа вильнула, соскочила с ноги и заскользила в сторону лежащего часового. Семен пополз. И остальные, увидев его передвигающимся по-пластунски, приняли это как команду, оставили лыжи в снегу. Сберег свои бегуны лишь Гачек, который кинулся к лесу без команды.

Прозвенели в вышине и плюхнулись неподалеку мины. Лес был ровным, насаженным. И, занесенный почти до верхушек, он сохранял квадраты посадки.

— Не беги вдоль ряда!— зло бросил сыну Семен, когда они поравнялись.— Дай сюда ящик! Ползи от куста к кусту...

Сын выглядел жалко.

— Я думал, он тебя убьет...

— «Убьет, убьет!»— расходился Семен.— А хоть бы и убило? Не смей стрелять без команды... Ишь защитник нашелся! Защищай теперь... На самое логово наткнулись!

Распадок гремел выстрелами. Где-то заливисто лаяли собаки.

Разведчики уходили по-над самой низиной.

— Здесь, Сапаров! — указал под разлапистую сосенку Семен.— Рацию наводи!

— Успеем ли?— засомневался сержант. Он тяжело дышал, часто оглядывался, готовясь продолжать отход. Но руки уже сами проворно забегали по щитку с приборами.

Сапаров соединил рацию с питанием и помог Гришуне выкинуть на дерево метелку.

— «Белка»!.. «Белка»!.. Я —«Малый»!— входил в свою роль радист.— Что передавать?

Семен к тому времени побывал уже на краю низины.

— Квадрат нашел по карте?— спросил Семен, подползая к рации.

— Восемьдесят три «Г»... Что дальше?

Семен словно перед кулачным боем взбил повыше ушанку.

— Говори: «Питона» этого самого достигли, что ночью из-под Надежного уполз.

Сапаров недоверчиво улыбнулся.

— Впрямь уж «Питон»!.. На желторотого фрица наткнулись.

— Увидишь и желтозубых!— осадил радиста Семен.

Сапаров продолжал вращать рукоятку настройки.

— «Белка»! «Белка»! Перехожу на прием...

Вместо своих в эфире на разные голоса горланили немцы.

Выстрелы внезапно стихли. Где-то по другую сторону низины взревели моторы. Два бронетранспортера, кидаясь снегом, залязгали гусеницами по чистому полю. Одна машина развернулась лобовой частью к лесу и стала напротив разведчиков чуть дальше брошенных ими лыж. Другая, не сбавляя скорости, понеслась вдоль крайнего ряда деревьев. Из нее выпрыгнуло на ходу с десяток автоматчиков.

На борт ближней машины привалился офицер с биноклем. Едва он скрылся за броней, поднял тупое рыло крупнокалиберный пулемет. Машина приблизилась на полсотни метров. Пулемет басовито выдал пол-очереди.

Офицер явно выхвалялся, чувствуя себя хозяином положения.

Ручной пулемет перекочевал от Гришуни к Гачеку.

— Эх, стукнуть бы по гляделкам!— с откровенной готовностью предложил белорус.

— Не шебарши раньше срока!— предупредил Семен.

— А ты голову свою побереги, старшой!— в тон командиру советовал Гачек, видя, что Семен, увлекшись наблюдением за автоматчиками, то и дело приподнимается.

— Не лишнее слово сказываешь,— согласился Семен.— Но головы наши им пока целыми нужны, без дырьев...

— Думаешь, ловить пришли?— В голосе Гачека прозвучало сомненье.

— А ты на их месте так бы и перестрелял до одного?— поддел недогадливого Гачека Семен.— Рация — это, милый мой, не хлеборезка. В ней на шесть часов запасу...

Сапаров слышал их разговор. Сержанта всегда ставила в тупик мужицкая рассудительность Семена. Потеряв надежду на связь из-за помех, Сапаров готовился к решительному объяснению с командиром. Невозмутимая поза ефрейтора, распластавшегося на снегу, бесила Сапарова: «Мужик!.. С двумя транспортерами надумал тягаться. Уходить нужно!» Но, встречаясь с нетерпеливым взглядом Семена, радист брался за свое.

— «Белка»... «Белка»!

Зимний день догорал, но до настоящих потемок было еще не меньше часа. Над самым горизонтом, где весь день бутылочно-бледно сочился холодный свет, детским румянцем взыграл багрянец, предвещая будущему дню ветреную погоду.

Автоматчики вытянулись в неровную цепь. С вызывающей медлительностью, переговариваясь на ходу, они шли во весь рост.

— В лес не пускать?— спросил Гачек, будто это и впрямь зависело лишь от него.

— Одиночными!— подал команду Семен и выстрелил. Гришуня приладился чуть сзади за густой сосенкой.

С первых выстрелов разведчики положили двух солдат. Ближний броневик обозленно рубил сучья вокруг разведчиков. Верхушка дерева над Сапаровым с треском надломилась, спутала антенну. Гришуня кинулся помогать сержанту. Вдруг он закричал по-мальчишески обрадованно.

— Папа!.. «Белка» отзывается!..

Сапаров бесконечно повторял ориентиры.

Семен продолжал целиться. Броневик попер было полным ходом к лесу, но внезапно замер, дернувшись всем корпусом. Офицер больше не показывался.

— Ну как, батя?— ликовал Гачек, потирая руки.

— Все идет, как следовает, как быть должно,— сурово подытожил Семен. Но в словах его не было торжества.

Семен потряс над ухом часами. Неужели стоят? Мир будто переменился вокруг. Молодой лесок, удивлявший своей стройностью, стал ниже, растрепанней. Шалевые

снега потемнели, взбугрились под гусеницами бронемашин. Цепь солдат недвижно лежала на опушке.

Если верить часам, прошло ровно двадцать четыре минуты...

Часы могли остановиться, когда Семена сильно тряхнуло. Мина запуталась в кроне или немцам надоело охотиться за живыми: грохнуло над самой головой, осколки пошли веером. Может, потому Семен и остался жив. Гачек ткнулся в снег — не шевельнулся. Тихо вскрикнул Гришуня: увидел на своем рукаве кровь. Отец забинтовал сыну плечо, велел лежать ничком. Потом кинулся к Гачеку. Еле оторвал от закоченевших рук пулемет...

— Сапаров! Что молчишь? Не задело?

Радист всякий раз оказывался дальше от Семена, чем тому хотелось бы.

— Сапаров, так твою!..

Радист связывал ремнем обе коробки.

— Запеленговали!— нервно выкрикнул он.— Но я успел: квадрат приняли. Я свое задание выполнил, ясно?

Было что-то новое, враждебное Семену в мечущемся взгляде Сапарова, в резких его словах.

— Низину указал? Низину?..

Сапаров, похоже, решил доконать Семена упрямством.

— Кто нам поверит, что тяжелые танки в болоте?.. Все равно поползут сейчас... Важен квадрат: пришлют самолеты, увидят, разбомбят... А мы тем временем...— Он махнул рукой за лес.

— Потолкуй мне!— оборвал Семен. С минуту он раздумывал над словами радиста, потом потребовал:— Дай мне «Белку»... Сам говорить буду...

Вместо «Белки» кто-то, шумно дыша, ревел басом:

— Рус здаваца... Ви окружен... Рус!

— Пошел ты!— ругнулся Семен. Радист выхватил трубку, щелкнул рычажком.

— Командир!.. Товарищ ефрейтор!.. Семен Дорофеевич! Голова бедовая... Пойми же — это пеленг!.. Не поможет и ночь... Накроют, как зайцев.

Семен прижимал трубку к груди, гнал Сапарова прочь.

Радист не унимался:

— Жлоб деревенский! Оглоблю тебе в руки, а не рацию... В герои лезешь?.. Запеленгуют, накроют миной... Или под гусеницами кончишь... Никто и не узнает...

— Под гусеницами?— отбивался Семен.— А на передо-

вую навалится этот самый «Питон»?.. А дальше проскочит? Дальше?!

— До твоей Рязани не проскочит!— хрипел Сапаров. Он кинулся за куст, намереваясь бежать от опасного места. Но о чем-то вспомнил или справился с собой.

— Отдай трубку!— потребовал он решительнее.— Я над рацией начальник, понял? Мне за нее отвечать!

Семен заколебался. Он боялся не справиться в одиночку с премудростями передачи.

— Жалко, Гачека нет... Он бы тебя угомонил быстро,— жестко высказался Семен.— Мы с Гачеком устроили бы здесь второй фронт... На, бери.

Сапаров не заметил слабости командира в этих его словах. Продолжал упрашивать:

— На финской не убили... Немцы второй год жалуют... Пусть немцы убьют!— выкрикнул он с надрывом.— Но не свои!.. Не хочу умирать под своими снарядами... Не по мне это!

Семен не слушал сержанта. Не обращая внимания на помехи, бранясь с досады, он кричал:

— Низина, товарищ «Белка»!.. Она самая, по-над лесом... Ну, торфяник, что ли... Только засохший сейчас, стылый... Днюют они тут. Бить нужно, пока моторы не нагрели...

Выговорившись в микрофон, успокоенно сказал Сапарову:

— Иди! Я теперь все знаю сам... Вот этот рычажок — от себя... Наведу огонь — и следом за вами.

Взвились ракеты, и все в низине разом загрохотало, пришло в неистовое движение. Сéмен перекидывал рычажки, прижимал шапкой трубку, но уже не мог различить ни своих слов, ни распоряжений капитана Бельских. Он припал грудью к рации, съежился в напряженном ожидании.

Где-то в далекой дали земля тяжко вздрогнула, воздух стал наполняться шелестом приближающихся снарядов. Они будто ползли по раскаленной сковородке — медленно, устало. Наконец упали далеко за холмами, дальше хат.

Семен тянул за собой обе коробки на край леса, поближе к низине.

— Левее... От солнца гони!— шептал Семен в микрофон.— То есть южнее забирай...

Танки лезли из камыша, гулко сталкиваясь, срывались,

скользили. Задние подталкивали тех, что на малой скорости карабкались на подъем.

Взрыв.

Еще взрыв. Потом несколько раз кряду все ближе. И вот — первое попаданье!

Дым, гарь, заполыхали камыши. Низина взялась огнем, почернела.

— А-а!

Рев отчаяния заглушал моторы. Танкисты лезли из люков, вязли в сугробах. Противно смердил развороченный торфяник.

Вместе с чувством ликования — настиг «Питона»! — в душу Семена Малова, быть может, впервые за всю войну, за жизнь его обдумчивую в первый раз вонзилась мысль о возможной кончине. Да что и рассуждать тут, если прямо в сердце тебе нацелен пулемет броневика и несколько автоматов залегших в пятидесяти метрах пехотинцев. Правда, один из броневиков, самый опасный своей близостью, молчал, зато два, что поодаль, рвались через лесок напрямик, подминая настывшие деревца,— они преследовали перебегающих Сапарова и Гришуню.

Автоматчики замерли под снарядами. И это их временное спокойствие Малов понимал так: они видели русского, зажатого между двух смертей, если не сразит снарядом, то попадет в их руки живьем... Может, понимали и другое: всем им не выйти живыми из ада кромешного, обрушившегося на эту гибельную поляну!.. А Малов думал: стемнеет — уползу вслед за сыном, за Сапаровым.

Противно гудело в голове, подкатывал комок к горлу. Но ефрейтор нигде не чувствовал боли. Быть может, от нервного напряжения. От других Малов слышал: если затошнило — ищи дырку в собственной шкуре, ранен.

— Лишь бы не потерять сознания, пока стемнеет! — подбадривал сам себя Семен. У него еще доставало силы наблюдать за автоматчиками. Чуть заметит движение в их цепи — прилаживается для стрельбы.

Рвануло где-то совсем рядом, и Семен отлетел в сторону. Он, задыхаясь от гари, пополз к тому месту, где недавно оставил Гришуню. Сына уже не было. Две неровные цепочки следов петляли между воронок и обезображенных кустов. Семен кинулся следом, с каждым шагом все глубже оседая в снегу. «Ты хороший солдат, Сапаров,— думал о радисте Семен.— Ты меня вот так же вытащил из пекла на Миус-фронте...»

— Гуще бейте, гуще!— кричал в трубку ефрейтор, не замечая, что за ним тянется лишь обрывок провода.

Горел снег. Семен полз в просвет между клубами дыма.

Он передавал последние слова сыну, Сапарову, капитану Бельских и даже тому «второму», который разрешил сыну пойти в разведку.

Земля стала мягкой, похожей на резиновый мяч. Она подпрыгивала сама, подкидывала Семена. Он все пытался поймать ее руками... и ему вдруг показалось, что он уже добрался к своим, домой насовсем вернулся, прилег с дороги. Кругом рассвело, звенят косы. День начался, и Ефросинья тормошит его...

1969

ЗА СИРЕНЕВЫМИ ЗВЕЗДАМИ

У Терентия Кошелева оторвало в бою правую руку. Поваленный взрывной волной навзничь, он сам видел, как замельтешила над вздыбленным орудийным лафетом полусогнутая в локте, до смешного малая издали чья-то человеческая рука. И хватиться не успел своей потери — его стошнило, затуманилось в голове.

К той поре, когда Терентий смог, не стеная от боли и не впадая тут же в беспамятство, лежать на госпитальной койке и кое-что соображать, дивизион его очутился за Дунаем. Война шла на убыль.

«Ну и хорошо, что все так кончилось,— думал Терентий.— Жив — и ладно».

Само по себе это открытие для солдата, проведшего на передовой почти два года, изверившегося среди крови и каждодневных смертей в возможности выжить, было равносильно чуду.

«Не беда!— утешал себя Терентий.— Живут люди без руки или ноги... Не хуже других живут».

Чувствовал себя выздоравливающий Терентий так, будто родился заново. По-иному думалось обо всем. Ходил вперекос. Облегченное плечо забегало вперед, а единственная рука казалась непривычно тяжелой, свисала почти до колен и все будто сама цеплялась за что-нибудь, искала себе занятие. Терентий старался держать ее полусогну-

той на весу или носил палку, хотя потребности в опоре не испытывал.

Прохаживаясь по двору госпиталя, батареец набирал в горсть камешков, подбрасывал и радовался, если успевал переловить их. Однажды он подошел к наряду, заготовлявшему дрова для кухни, и попросил топор. Первый удар по полену пришелся вкось, и Терентий чуть не упал, потеряв равновесие. Но со второго захода он с хеком развалил березовый кругляк, вызвав шумный восторг случайных наблюдателей.

— Перебьемся!— горделиво заявил Терентий.— Полный порядок в дивизионе.

Врачи не спешили его выписывать, объясняя задержку тем, что, мол, разыскивают награды Кошелева, потерянные вместе с гимнастеркой в санбате, что не к лицу такому заслуженному человеку, пролившему кровь, являться в родное село без орденов и медалей... А сами продолжали делать примочки, заматывали сизый шрам на плече бинтами, водили на рентген.

Терентий отоспался, похорошел лицом. Он научился без помощи нянек натягивать брюки, сам себе пришивал пуговицы. От курения солдат отвык за госпитальные месяцы, но, если приходилось кому из запеленатых в бинты соседей по палате услужить насчет курева, мог в один момент свернуть «козью ножку»... Однажды он вызвал на спор по части самокруток безногого казака Ерашева и победил в этом споре. «Выходит,— рассуждал Кошелев,— при уме да сноровке и одной рукой вполне можно обойтись».

И только во сне от него никак не отходила та, уже необратимая двурукая жизнь.

Любил Терентий править скирды до ухода на войну. Нехитрая вроде забота: сложить на краю поля обмолоченную рожь или застоговать сено в поречье. А уж куда проще с виду управиться с тремя-четырьмя подводами полевых кормов у своего дома... Да только иной мужик не зря жмет, бывало, седеющую бороденку в кулаке, переминается с ноги на ногу перед молодым парнем: «Уважь, Терентий Фомич, не посчитай за труд!.. Взбодри стожок на подворье, сам гондобил — по швам кладь ползет, кончается, не живши...»

Пойдет и поправит стог Терентий. Да так припечатает оберемок к оберемку, причешет с боков, принарядит эту самую копенку, что лей дождь сорок сороков — больше чем

на вершок не проймет; дуй выога-завируха с любой стороны — до самой весны медвяные запахи не улетучатся! А кто пренебрег талантом Терентия, у того, гляди, разметал сиверко укос по двору, прелью от неухоженной копенки за версту несет после моросных деньков. И невдомек хозяину, отчего буренушка поскучнела с холодами и молоком не в срок скупится!..

Снилось однорукому Кошелеву, как он, играючи, нанизывает на длинные двухрожковые вилы охапки соломы, похожие на кучу свалявшихся солнечных лучей, и подает тяжеленный навильник на самую верхотуру скирды. Затем сращивает звенящую кладь по-над краем, чутьем угадывая корабельную стать своего сооружения.

Словно океанское судно, будет возвышаться эта скирда среди застывших снеговых волн...

Докой по части истолкования снов в седьмой палате считался казак Лаврин Ерашев. Ерашев был всегда улыбчив. Сны толковал по-хорошему. Врал при этом, помогая вспомнить полузабытое сновидение, будто сам был участником чужого сна. Кошелев замечал: Лаврин становился особенно изобретательным и напористым, если видение слишком омрачало собеседника. Он как бы уводил собрата по палате от горестных размышлений подальше.

Кошелев никогда не видел Ерашева тоскующим из-за собственного увечья. К потере обеих ног казак относился, как к чему-то неизбежному, что на роду написано. По словам лихого рубаки, он даже знал, что такое случится.

«Вскочил это я будто на дончака своего,— исповедовался Ерашев,— и по привычке стремя ловлю ногой... У казаков не принято рукой стремя поправлять, ноги сами должны свое место знать при седле. А тут плывут они у меня вразброс, будто не мои уже!.. И недели не прошло — снаряд под брюхом у коня разорвался...»

«Во-он как дала себя знать судьба-злодейка!— отозвался на эту исповедь казака пехотинец Лизин.— Не ведаешь, где уронишь, а где найдешь...»

Андриан Лизин любил в разговорах печальное. Он был из староверов, приамурский охотник. Знал множество примет.

«Треп натуральный!— возражал сразу двум Кошелев.— Я во сне сколько по воздуху летал... А не вырос ни на вершок. Как был сто семьдесят два — до сей поры...»

Работа на войне попалась Кошелеву накладная. Зна-

чился он подносчиком снарядов, на службе этой не раз растягивал сухожилья. Вроде бы и недолго палит гаубица в отведенное ей для артподготовки время, считанные минуты. А сколько попляшет вокруг нее обслуга, пока с позиции на позицию перекатят да в землю вроют! А снарядами поиграйся с рук на руки!.. Да не как-нибудь, а с толком, с расстановочкой. Снаряд — капризная штучка, что твой грудной младенец. Недаром батарейцы звали Терентия «няней», а трехпудовые снаряды — «деточками».

Пока распеленаешь этакого «дитятю» от упаковки, да вставишь «соску»-запал, да пустишь по рукам к заряжающему, чтобы, рявкнув напоследок, отправилось «дитя» поцеловать «Гитлерову матушку» — спина взопреет!

А все же легче на душе, когда с наблюдательного пункта донесут: «Поцеловал!.. Улыбнулся дзот!.. Бери правее... на «Гитлерового батюшку»!..»

Фронтовой сон мало чем отличался от видений дневных. И хотелось иной раз батарейцу приманить себе в память что-нибудь давнишнее из лугов, с пашни, с жаворонками... Но под колючие, покрасневшие от порохового дыма веки из ночи в ночь шли волнами «фокке-вульфы», зависали над самой головой, сваливались на крыло... Нередко Кошелев просыпался от самой настоящей бомбежки. Сон мешался с явью. Снились атаки, команды, пальба.

Та, которую звал ненароком в чуткий сон, пришла в память разом с ощущением бодрости в теле.

Накануне Кошелев вышел после обеда во двор поразмяться.

Из палисадника несло прелью, лежалыми листьями, талой водой. Пожилая санитарка, сибирячка Паня, скалывала большим столовским ножом лед с затененных уголков крыльца. Покончив с этим, она принялась взрыхлять обветренную, залубеневшую землю под окнами палаты... Видно, что-то посадить думала. Кустик так себе, не разберешь, в каком звании. Не растет, а постылую службу правит.

Терентий разыскал у каптенармуса проржавевшую по краям лопату с куцым черенком. Оглядевшись, чтобы не попасться на глаза дежурному, жадно вогнал ее в землю. От вывороченных комков грунта остро пахло чем-то домашним, полузабытым, понятным только хлеборобу. К жирному выползню с крыши соскочил воробей, зачирикав точь-

в-точь, как у них под Сердобском. Вспомнилось о рыбалке.

Батареец, к радости своей, совсем позабыл о том, что копает одной рукой. А когда работа была окончена и печальная мыслишка дала себя знать, не огорчился, замял в себе тоску. «Приеду в деревню,— решил он,— коней не пущу на усадьбу, сам все перекопаю...»

На другой день, спросонья, повис на подоконнике. Сомлел от счастья: веточки распрямились, посвежели. Опушился низ куста. На одном отростке взыграла, фиолетовым цветом занялась крохотная крупитчатая гроздочка.

— Сирень!—завопил Терентий. И тут же будто выдохнул пришедшее издалека вместе с дыханием земли, цветами пахнущее слово:— Варюха!

...Много ее, душистой, пряной, росло у замшелой плотины за околицей. Белая, фиолетовая, даже черная попадалась, словно окунувшаяся в ночь. Сюда, только сюда соглашалась приходить на свидание Варя. Придет пораньше, наломает влажных, тяжелых веток, застелет себе колени. И в руках букет, с белой веточкой в середине. Если парень вздумает обнять — не противится, лишь предупредит строго:

«Гляди мне, не помни цветы, слышишь?»

«Чудная!»— подумает Терентий. «Чудная!»— скажет вслух.

«Давай-ка искать пятиконечные звездочки,— предложит девушка.— Они счастье приносят».

Одну ветку подаст Терентию, другую себе берет, крепко зажмет в руке.

«Ты почему не ищешь?»— рассердится в шутку, заметив, что Терентий не отрывает глаз от нее, а о сирени забыл.

«Чу-у-дная!— пропоет Терентий ей на ухо.— Ведь я уже нашел..»— и за косу тронет.

«А я еще не нашла!»— отведет она руку парня. И уткнется, будто разобидевшись, в букет. Глаз не закрывает, смотрит сквозь ветки на небо, на речку, на Терентия. А на глазах росинки с сирени... Хочется разглядеть ей: что там, за сиреневыми звездами.

«Чудная!»— шептал весь день батареец. Заснул он поздно. И было ему не легче, чем от трехпудовых «младенцев».

Проснулся Терентий не в себе, облизал соленые губы. Не разглядел — угадал в сидящем на соседней койке казака. Лаврин курил, с хрипотцой в горле, часто дышал.

От глубоких затяжек самокрутка то и дело вспыхивала, обжигала губы.

— Сейчас никто не выходил из палаты?— тревожно спросил Кошелев. Глаза его напряженно устремились на темный проем двери.

— Нет,— бросил казак, поначалу не поняв Терентия.

— Не может быть!— осердился батареец.— А Варька?.. Я обнимал ее сейчас, как живую... Ноги белые, будто из мрамора...

Кошелев прислушался к своему голосу, узнал себя. Губы его в растерянности шептали:

— А как же рубашка ее — вот она, в моем кулаке?..

Ему стало стыдно и себя и своих слов. Но сон все еще не отлетал. Терентий остро чувствовал и запах сирени, а вместе с ним и близость женщины. Варюха *точно* прильнула к нему, *точно* сказала: «Какое удобное плечо у тебя, Тереша... Всю жизнь голову клала бы на такое плечо...»

— «На такое плечо!»— передразнил ее, пригрезившуюся, батареец вслух.— А ежели оно не такое? Переполовинили мне его...

— Не шебурши!— строго потребовал Лаврин.— Ребят побудишь...

Уже окончательно проснувшись, радуясь тому, что привиделось это ему, Кошелев на коленках подобрался к казаку:

— К чему бы это могло померещиться мне, Лаврин? Про плечо с чего бы это она разговор затеяла?

Казак промычал неопределенное, плюнул на занявшуюся огнем самокрутку. Ему явно не хотелось сейчас продолжать шуточный брех о снах.

— Никого тут не было, понял?— отрезал он и смолк, потом, будто спохватившись, посмотрел снова в лицо батарейцу. Между бровей у того в тяжелой складке проступала, набухая, готовая покатиться по лицу, крупная капля пота. Ерашев перепугался окаменелости лица Терентия и, схватив руками его шею, стал грубо трясти.

— Ну, это ты брось!— проговорил он, прижимая голову Терентия к обрубкам своих ног.— Выдумал я про стремена, а ты теперь взаправду? Матрос из третьей палаты вешаться надумал, а ты про плечо... Победители!.. Хоть и потопталась по нас смерть, а целиком взять не осилила, понял? Ждут нас жены, вот и снятся по ночам...

— Варюха не жена мне вовсе!— с устрашающей твердостью в голосе проговорил Терентий.

— Не жена?— сказал отходчиво казак.— Тогда дело другое!

Лаврин был недоволен приставанием Терентия, беспокоившего его по пустякам. Он не стал разъяснять, почему же «дело другое». А Кошелеву хотелось знать об этом сейчас. Но он так и не дождался иных слов от Ерашева.

Батареец вернулся на койку, представил все свершившееся в безвыходном положении — и вдруг заплакал. Посапывал он в подушку долго, вспоминая сиротское детство, осунувшиеся под талыми ветрами скирды, плотину на выезде из деревни, теплые ладони Варюхи, пахнущие цветами. Плакал Кошелев от жалости к себе, потому что не было удобного плеча у него и никогда не будет.

Утром Кошелев выпросил у каптенармуса свой вещевой мешок, будто бы просушить тряпки надумал. На самом деле отнес в кочегарку новые яловичные сапоги, подаренные лейтенантом. Истопник на толкучке махнул сапоги за две бутылки самогона. Батареец сразу опорожнил одну бутылку. Пьяный, он приставал к казаку, требовал объяснить, к чему снятся покойники. Не добившись ответа, обозвал Лаврина дураком. Санитарке Пане, когда та напомнила ему о цветочных грядках в палисаднике, плеснул в лицо микстурой. В ответ на ее увещевания побежал во двор и вырвал сиреневый куст с корнем.

Многим было на удивление то, что Кошелев так буен и дурашлив во хмелю. Ему простили. Но через день батареец напился снова и пошел к главврачу. Там он стал проситься на повторную операцию, чтобы выправили, сделали удобным плечо...

Батарейца на другой день выписали из госпиталя.

К вокзалу Терентий шел широким шагом, без оглядки, словно торопился в другой госпиталь за получением того, в чем ему отказали здесь.

— В сторону Сердобска через час будет «аннушка»,— уткнувшись в проездные документы, проговорила кассирша.— Если хотите, комендант вас посадит. Утром будете дома...

Она была совсем молодой, но глубокие старушечьи складки у рта заметно портили круглое, черноглазое лицо.

— Комендант у нас парень покладистый... Вроде вас, на войне пострадавший,— продолжала она.— Он устроит.

— Утром?— переспросил Кошелев и нахмурился.

«Утро... Солнце... Мальчишки с удочками на плотине.

Кричать станут: «Терентий вернулся! Без руки он!» И это «безрукий» как примета, как кличка, по деревенским обычаям, на всю жизнь...»

— А так, чтобы попозже, не ходят?— прямо глядя в печальные, все понимающие глаза женщины, просительно заговорил он.

— Ходит пятьсот-веселый, раз в сутки. И он в Сердобск на рассвете прибывает... А вы не бойтесь,— вдруг по-домашнему просто сказала она.

— Да мне что!.. Я прямой наводкой по танку стрелял!— зачем-то похвастался Кошелев, но документы все же взял из рук кассирши.

Женщина улыбнулась одними глазами, сказала кому-то третьему:

— Если б мой хоть таким вернулся...

— А что — писем долго нету?— сочувственно полюбопытствовал Терентий.

— Письма были,— вздохнула кассирша.— В лесу его, раненного, видели. До санбата не дошел.

— Случалось и такое,— заключил батареец.— Небось ребеночек имеется?

— С ребеночком было бы легче...

«Здесь тоже свой узелок жизнь завязала»,— подумал Терентий. Вслух произнес:

— Говорят, без ребенка-то лучше в таком разе...

Она покачала головой.

— Хороших поубивало, а от кого-нибудь не нужно.

«А какой же я?— хотел спросить Терентий.— Если бы погиб, наверное, хорошим считали бы. И если бы целым остался...»

— Ну так что — выписывать до Сердобска?— Кассирша поборола в себе боль и спрашивала теперь голосом конторского служащего.

— Нет,— остановил ее батареец.— Я подожду малость, подумаю. Я еще не знаю, хороший я или вообще...— Он невесело заулыбался. Качнул плечом, поправляя полупустой вещмешок, побрел прочь от кассы. На душе — тоска, чувство ненужности.

Кошелев покрутился в зале ожидания, поискал, где бы присесть и поговорить с самим собою. Блуждающим взглядом он наткнулся на серую, размытую дождями вывеску буфета и потянулся к той двери. В буфете батареец «думал» до той поры, пока станционная уборщица не выдворила его освежиться.

В небе вовсю полыхали звезды. Ноги не слушались. «Пересидел маленько»,— упрекнул себя солдат. Он с трудом осилил привокзальную площадь, на каждом шагу цепляясь носком сапога за булыжник, свернул на улицу, обнесенную тесовым забором. Постоял у забора, пытаясь отгадать, зачем здесь колючая проволока. Так и не вспомнив, где он последний раз видел колючую проволоку, батареец вдруг почувствовал: дальше не может ступить ни шагу. Тяжелая истома, какая случается у людей, много перенесших и еще не взявших силу, внезапно свалила его с ног.

Надрывно голосила маневровая «кукушка», словно поднимала тревогу. Глухо, с перебоями тарахтел движок. «Картину показывают»,— улыбнулся Терентий и сразу уснул.

— Эй, паря! Ты чего здесь приклеился? Мне это место Коська Кривой уступил, он теперь у кинотеатра... Я его, гада, три недели поил... Ну, ну, подымайся! Или тебя Коська прислал? Я ему всю карточку попишу за такие шутки...

Безногий мужичонка в помятой матросской робе сновал вдоль забора на роликовой тележке, отталкиваясь от земли руками. Голова низко острижена. Узкие серые глаза враскос, на груди рядок нашивок за ранения. Кошелев повел рукой спросонья, и скандальный уродец откатился на шаг. Оттуда брызгал слюной, извергая потоки угроз. Наконец, увидев прохожего, успокоился, покатился к дороге.

Мимо шли люди. В пиджаках, фуфайках. С узелками, свертками, авоськами. Важно прошагал, сутулясь, шепотком поругивая кого-то из своих знакомых, железнодорожник в спецовке. Скрипуче колыхался в его руке кованый сундучок. Вслед за ним просеменила старушка.

Поравнявшись с безногим, она сняла кошелку с плеча и долго рылась в ней. Наконец подала калеке картофельный пирожок. Две женщины, шедшие следом, будто сговорившись заранее, опустили в бескозырку по медяку.

— Душевное спасибо тебе, мамаша!.. Благодарствуйте, сестрицы!— выкрикивал на всю улицу матрос.— Не думано, не гадано, люди добрые. Мичман второй статьи Изосим Гуслистый первый удар на себя принял. Руками и ногами отбивался, пока свои подоспели, живота не жалел!.. Спасибо тебе, папаша!—поклонился вышедшему из-за угла старику попрошайка.— Трудовую твою копейку вовек не забуду, за награду сочту...

Изосим грязно выругался вслед девушке, которая торопилась на гудок и даже не взглянула на сидящего у дороги крикливого человека. Затем полуобернулся к Терентию:

— Ты все еще лежишь?

Что-то угрожающее повиделось ему в заспанном, молчаливом солдате, который, лежа на животе, шарил одной рукой под забором, отыскивая фуражку.

— Ну-ну, только без драки,— готовился к худшему Изосим.— А то еще подумают, что между флотом и пехотой нет взаимодействия.

— Отдай фуражку!— потребовал батареец. Он увидел свой головной убор неподалеку от перевернутой бескозырки нищего.

— Фуражка твоя в деле,— весело сообщил Изосим.— Пока будешь дрыхнуть, она тебе на похмелку насобирает...— Он подкатился ближе.— Только учти: я в твою посудину целковый для приманки положил, отдашь потом...

Терентий сплюнул, оперся на локоть. Его мутило.

— Э-э, да ты еще тепленький,— определил Изосим, заглянув ему в лицо.— Ну-ка глотни...

Он достал из-за пазухи чекушку и, преодолев слабое сопротивление Терентия, вылил половину содержимого склянки ему в рот. Батареец снова опустил голову.

— Братцы, сестрицы!— вопил почти над самым ухом Изосим.— Не поскупитесь трудовой копейкой для защитников отечества... Двое нас,— нагло напоминал он тем, кто протягивал одну монету.

Сыпались медяки, гривенники.

Со стороны вокзала важно шествовала пара: высокий гражданин с баулом и его спутница — в белых танкетках, с газовым шарфиком в руке.

— Владик, остановись же!— умоляла дама.— Я прошу тебя, Владик... Нельзя же так... Нужно понимать простой народ, нужно сочувствовать...

Мужчина вырывал руку.

— Позорище! Им пенсии дают... Ремесла... Дома инвалидов...

— Ах, разве в этом дело... Ну не будь же таким...

Они миновали то место, где неистовствовал Изосим. Даме пришлось возвращаться. Она сунула в бескозырку и в фуражку по хрустящему рублю.

— Мерси, гражданочка,— ныл Изосим.— Сердце у вас

доброе... Сестра у меня точь-в-точь как вы, курносая... Партизанит на Втором Украинском...

Дама кинулась догонять своего инакомыслящего спутника. Они о чем-то заговорили. Смеялись, довольные. Смеялся над обманувшейся в своих чувствах дамой Гуслистый.

— Прибавь, бабка, по рублю на рыло!— прицепился к очередной жертве Изосим. Он схватил престарелую женщину за подол. Вымогатель приметил крестик на шее у женщины и сыпал богоугодными словами:— Верующие мы с братом, мамаша... Христовы воины, окалечены на поле брани. Каждый день храм посещаем. На свечки, мамаша, прибавь...

— Тебе-то можно и не каждый день,— скорбно резонила старуха калеку. Она с трудом выковырила со дна облезлого кошелечка еще одну бумажку.

— За кого молиться?— колыхаясь от беззвучного смеха, пытал ее Изосим.

— За себя, болезный... За себя,— прошамкала недовольная старуха.— Я свой век, худо ли, хорошо ли,— свековала. А твоя заря только занимается...

Часу в четвертом пополудни около безногого остановилась крутобедрая молодайка в платье с большими поблеклыми цветами. Привалила к забору у ног Терентия продолговатую плетенку, поправила выбившуюся из-под платка рыжеватую прядь, хмуро заглянула, недовольная, в бескозырку.

— Не густо!— упрекнула она калеку.— На рынке и то больше подавали.

Молодайка вытряхнула содержимое бескозырки в широченный карман, пристроченный к обратной стороне замызганного передника.

— Правда твоя, Нюшка! Как в воду глядела!..— поспешил согласиться с ней Изосим. Говоря так, он запустил руки в плетенку в надежде прихватить чего-нибудь съестного.— Как с неба в засуху, нынче не капнуло...

Кошелев давно уже пришел в память. Его смешила, а временами ужасала предприимчивость нищего.

Изосим был находчив в словах, привлекал прохожих жалостливыми песнями.

В кармане Кошелева не осталось ни гроша. За последнюю бутылку вина вчера пришлось рассчитаться трофейной бритвой «Золлингер». С присущей артиллеристу расчетливостью Терентий взвешивал сейчас, как ему удобнее

выйти из создавшегося положения: вернуться в госпиталь с повинной или пристать к попутному воинскому эшелону. Заботы эти самым неожиданным образом отпали с появлением Нюшки. Остроглазый Изосим заметил женщину издалека. Он рассовал было бумажные деньги по складкам одежды. Затем решился на иное: вывалил добычу в фуражку Терентия и напялил ее по самые уши на батарейца.

— После поделим!— шепнул он доверительно.

В другое время Терентий погнал бы побирушку прочь, но сейчас, при виде так недостающих ему денег, не решился. Скомканные рубли и трешницы приятно щекотали ему бритую голову.

Нюшка не спешила уйти. Она недоверчиво косилась на лежащего Терентия, явно придиралась к Изосиму.

— А ну, дыхни!.. Винище лопали?

Изосим бил себя в грудь, распахивал фланельку, демонстрируя искренность и покорность.

— Нюша, дай на зуб что-нибудь,— напоминал безногий, стараясь перевести разговор.

— Жив будешь... Посиди еще с часок. Сегодня у заводских получка.

— Пустые хлопоты!— убеждал женщину Изосим.— Когда под танкиста играл — больше верили... Больно уж не по мне матросская одежка эта... Один флотский чуть не побил. Говорит: отдавай концы, дрейфь отсюда, не позорь формы нашей... Сколько, говорит, заплатить тебе, чтобы ты бросил поганое ремесло?

— Сказал бы: тысячу! Вот он и отстал бы,— лениво толковала Нюшка, не веря в свои слова.

— Говорил!— клялся Изосим.

— Ну и что же?— усмехнулась Нюшка.

— Тридцатку выложил!.. Говорит: за сегодняшний день, пока я поезда дождусь...

В глазах Нюшки заиграли молнии.

— Где красненькая?— вскрикнула она.— Ах, в лоб твою мать!.. Ты от меня деньги прячешь?! Сейчас же отдавай тридцатку!

Изосим понял, что сболтнул лишнее. Стушевался, но даже глазом не повел в ту сторону, где покоились сейчас злополучные деньги. Нюшка вдруг ухватилась за поводок тележки и потащила Изосима домой. Безногий притворно визжал, просил прощения, опрокидывался. По его знаку Терентий поплелся вслед за ними.

— Кто меня обманет, тот до завтра не проживет,— важничала перед Кошелевым Нюшка с первых минут знакомства.— Не родился еще мужчина, которого я не раскусила бы до конца. На что уж Изосим ловкач и трепло, и то я по глазам сразу приметила: промежду вами, мужички, сговор имеется... Или на войне, думаю, встречались, или под забором снюхались.

Все это Нюшка высказала по пути к дому, одной рукой придерживая поводок, другой подталкивая нерешительного Терентия.

Жила Нюшка в ветхой хибарке на задворках вокзала. Переступив скрипучий порожек, Терентий попал в жилище, поразившее его чистотой и домовитым убранством. Крашеные полы, ковры на стенах, патефон. Многовато, как заметил гость, было комнат. Все они походили на клетушки с узкими и низкими прорезями, с запасным выходом во двор. Единственная приличная по размеру комната была занята огромной русской печью. Печь тоже изрезана множеством дверец, отверстий, заслонок. «Не печь, а целый агрегат»,— усмехнулся Терентий.

Перехватив его взгляд, обращенный к «агрегату», Нюшка погладила печь ладонью:

— Это наша кормилица...

Хозяйка принялась раскрывать створки, отодвигать заслонки.

— Здесь мы лепешки печем, сюда запарку на ночь ставлю, а тут молоко на творог откидываю...

Терентий не поскупился на добрые слова в адрес печников, сработавших такую удобную вещь.

— Сейчас я вас домашним варевом попотчую,— объявила Нюшка, скрывшись за ситцевой занавеской.

— Не беспокойтесь,— смутился Терентий, разыскивая глазами выход.— Я вовсе не рассчитывал... Да мы с вашим мужем даже...

Изосим отчаянно теребил гостя за штанину, подавал какие-то остепеняющие знаки. Он ополоснул лицо в кадке, стоящей на полу в коридоре, сменил флотскую одежду на домашнюю косоворотку. Чистая, схваченная латочкой у воротника сорочка больше шла попрошайке. Коротко стриженный, он казался в такой одежде вороватым мальчиком из дурной семьи, за воспитание которого наконец взялись.

Чтобы поразить гостя, Изосим надел протезы, прошелся по комнате, скрипя ремнями, постоял рядом с Терен-

тием. Глаза его говорили: ведь и я когда-то был молодцом... Так же внезапно Гуслистый сбросил протезы, уселся напротив гостя за столом. Весь вечер он притворно охал, подмигивал, кривлялся.

Стол Нюшка уставила не по военным годам обильно: гора лепешек из белой муки, ватрушки с пахучей творожной начинкой, куски сала. Нашлись и огурцы домашней засолки, капуста с изюмом. В глубоких мисках дымился наваристый борщ. Вместо рюмок хозяйка выставила граненые стаканы.

— Изосим-то не муж мне,— зачем-то объяснила Нюшка, поймав на себе вопросительный взгляд Терентия и нисколько не заботясь о самочувствии калеки. Она сидела за столом в новом крепдешиновом платье, врезавшемся под мышками в пышное тело.— Так просто, два кривых дерева при неровной дороге... Сцепились голыми ветками, чтобы буря в одиночку не свалила...

Изосим при этих словах вздохнул, замотал головой, сощурился, мигнул одним глазом:

— Она и не то может!..

— У Зосика ног нема, у меня сердце никудышнее,— продолжала хозяйка, не обратив внимания на подзуживание своего неполноправного сожителя.

Нюшка принялась рассказывать, как трудно ей приходится. Все в одни руки, все сама: «И муки в деревне достань, и к поезду успей, и худобу накорми, и навари, и обстирай... Кривой ли, горбатый — сам в могилу не попросишься... А день настал — класть что-то на зуб нужно».

Все у Нюшки выходило таким образом, что они с Изосимом самые несчастные на свете, богом и людьми забытые. Жалуясь на судьбу, Нюшка много и с удовольствием пила, наливая себе вровень с мужчинами.

Терентию были непонятны эти жалобы.

— Живете вы ничего, Анна... как вас по батюшке... Фатьяновна. Куском хлеба не обделены и другое имеется. Только вот занятие Изосиму надо иное...

— Вы скажите ему об этом, скажите!— замахала руками хозяйка на безногого.— Разве он меня послушается!

В голосе Нюшки слышалась и жалость к нищему и негодование.

Изосим пил спокойно, крупными глотками. Однако после каждого стакана у этого говорливого человека язык шевелился все меньше, слова будто застревали в горле.

Он мотал головой, гмыкал про себя и не вмешивался в разговор.

— Не-ет!.. Не-ет!— промямлил он в ответ на тяжелые Нюшкины упреки. Терентий не сразу понял, кому он возражает.

Нюшка, осуждая, пыталась дать объяснение постыдному занятию Изосима:

— Не может он без людей, не усидит и часа дома...

— Все мы к обществу привыкли,— рассуждал Терентий.— Но руки! Руки!.. Разве для того они человеку даны, чтоб милостыню собирать?

Нюшка, вдруг перестав соглашаться с Терентием, настороженно поглядела на него, поджав губы.

— Что ж тут обидного для калеки — копейкой на пропитание разжиться?— удивилась она.— Чай, не у германца или фашиста какого-нибудь просит! У своих!.. В каждом доме теперь то гиблый, то переполовиненный. Потому и жалостливы люди к калекам.

— И все же я не согласен,— заупрямился Терентий. Он чувствовал свою правоту, но доказать не мог. «Ерашев — тот враз бы эту Нюшку осадил,— вспомнил о госпитальном друге Терентий.— Казак силен по части споров о житье-бытье!»

Терентия внезапно атаковал его же подзащитный. С завидной трезвостью Изосим так уязвил Кошелева, что батареец едва не запросил пощады.

— Сколько там оказалось в картузе?— выпалил без обиняков Изосим.

— Не считал, не заглядывал даже,— кивнул Терентий на висящую поодаль от входа свою фуражку.

— А я наобум знаю: около двухсот тугриков!.. За полдня!— Изосим покачался на табуретке, будто усаживаясь ровнее, готовясь к новому удару.— Теперь скажи мне по совести: казна тебе за увечье сколько положила?

— Что, съел?!— взвизгнула Нюшка.— Изосим — это тебе не шалтай-болтай! С виду шибздик, а если что удумает, так удумает! Чужой ум ни во что не ставит...

Нюшка зажгла свет, поправила занавески на окнах.

— Изосим еще покажет себя,— счастливо ворковала она, садясь на край кровати за шитье.

Безногий продолжал, никого не слушая:

— Теперь о вытянутой руке потолкуем... Вот ты, к примеру, заявишься в свою родную деревню. «Слава победителю!..» И все такое похожее... А хаты своей нету?

Нету, вижу по глазам... По молодости лет не успел недвижимостью обзавестись или время не подоспело... Может, и бандиты сожгли в войну... Ну вот. Первое слово твое после радостного похмелья к гражданам начальникам: «Прошу». Не маши рукой-то,— остепенил возражающего гостя Изосим, вел дальше:— И это «прошу» на каждом шагу. Прошу с материалом на строительство, прошу с семенами на огород... Пенсию кровную хлопотать время подоспеет — десять бумажек к разным начальникам, и все они с этого самого обидного слова начинаются... Теперь ты рассуди,— закончил Изосим,— не все ли одно, где просить?

Изосим говорил въедливо, со злым торжеством выворачивал изнанку жизни. Это вконец насторожило хозяйку дома. Она с хрустом перекусила суровую нитку, отложила шитье.

— Ну, хватит!— предупредила женщина.— Языком сколько ни мели, муки не прибавится. А му́ки на свою голову накличешь...

— Пошла ты!— ругнулся на нее Гуслистый.

— Изосим, заткнись!— потребовала Нюшка более напористо. Она снова и плотнее сдвинула занавески и скрепила их иглой. Затем сдернула цветастое покрывало с единственной в доме кровати.— Не видишь, что ли: человек спать хочет!— объявила она внезапную перемену в себе.

— Это вы обо мне?— испугался Терентий.— Я — нет, мне пора... Большое спасибо...

— Никуда ты не пойдешь!— хмельная Нюшка говорила с гостем таким же тоном, как и с безногим. Чтобы показать свою непреклонность, она придвинулась к поднявшемуся из-за стола батарейцу и ловко, несколькими заученными движениями, стащила с него гимнастерку.

Изосим тоже стал готовиться ко сну. Он разметал с себя одежду. Оставшись в одних трусах, он смущенно поводил обеими руками по впалой, бледной груди и поскакал к кровати. В другой раз, вероятно, ему удавалось с размаху опрокинуться в постель. Сейчас же куцее тело инвалида жалко зависло на раме. Нюшка обернулась к Изосиму разгневанно.

— Иди на свое место!— приказала она таким тоном, как это говорится щенкам, некстати высунувшимся из конуры.— Здесь *человек* ляжет...

Изосим молча нырнул под лавку, где на потемневших стружках жалко пестрело лоскутное одеяльце.

— Зачем вы так?— опешил Терентий.— Я же сказал...
Нюшка загнала Терентия в постель, выключила свет. Сама вышла в боковушку, развела примус и долго плескалась над корытом. Распатланная, пышущая жаром, шастнула через Терентия на печь.

— Не кобенься, Терентий Фомич, не вороти носа... Сосунок и тот за титьку хватается, а ты, слава богу, мушшина... Ведь это для базара я, от глаз людских, в поношенное обряжаюсь. А в выходном я девка видная... И тело у меня — потрогай — крепкое. Ни разу не рожавши... На сердце-то свое я напраслину давеча несла. От глаз людских справки у меня выправленные. Не такая Нюшка дура, чтобы за карточки, за полтора килограмма селедки да кило пшена на производстве тридцать ден ишачить... Все вызнала: где достать, куда в кошелке вынести... Придись мне по душе который из вашего брата, хоть генерал, хоть сам старшина, внакладе не останется... Как сыр в масле купаться будешь, Фомич... Пятистенок купим с верандой застекленной, в грибном бору или у синь-моря поставим... Не заработок мужнин мне требуется, а защита... Трусихой я, Фомич, от непутевой жисти сделалась. Чуть власти во двор — в колотье бросает... А ты чистенький, Тереша, голову высоко держишь. Кровь на поле пролил за счастье свое. Таким после замирения портфели раздавать будут... Бутылочку буду тебе в портфель ставить, чтоб легче шагалось, о руке не вспоминалось. А Нюшка, пригретая, найдет путь и в тогдашнем времени, как с рублем обернуться и как залетке своему потеплее гнездышко свить...

Утром Нюшка как ни в чем не бывало приготовилась на рынок. Не одну корзину обвязала, а две. Повеселевшим голосом распорядилась:
— Отлеживайтесь, мужички, сил набирайтесь... Жаркое в заустье, вареники на плите... Зосик, накорми человека.
Из сеней позвала безразличным голосом:
— Эй, кто там из вас на подъем полегче? Затворите за мной дверь!
Жадно прильнула в полутьме, дыхнула в лицо щами:
— Ну, выспался? Ничего худого не приснилось? Смот-

ри не уезжай, с базару не дождавши... Поесть в дорогу соберу...

Но уезжать Терентию было не с чем. Фуражка пуста. В карманах солдатских брюк побывала чужая рука. Где-то запропастился вещмешок.

После сытного завтрака Терентий отвез безногого на то же место, где они встретились вчера. Изосим сунул ему в руку несколько помятых десяток.

«Откуда эта слабость у меня перед выпивкой?— пытался доискаться причины своего безволия Кошелев.— Неужто на фронте разбаловался? Не должно быть».

Шевелилась в сознании и другая, нехорошая мысль: «А почему, собственно, ты считаешь Нюшку и Изосима плохими? Не от мира сего? Накормили, чистую простыню постлали... Приставала Нюшка?.. Не лучше и не хуже других она! Всякая баба, тем более незамужняя, о себе заботится, не без греха живет. Иная молча такое вытворяет!.. А эта — что на уме, то и на языке. Простота божья... «Дом выстрою... Поесть в дорогу соберу...» Вот только об Изосиме она вроде забывает... Его жалко...»

Терентию надоело шататься по пивным. Он устал разговаривать с самим собою. Хотелось узнать что-нибудь о своих случайных знакомых. Вернулся к Изосиму. И хоть сидели они порознь и всем видом Терентий показывал, что непричастен к занятию нахального отщепенца, прохожие не очень-то всматривались, кто из них лучше, кто хуже, подавали тому и другому.

По вечерам в доме Нюшки играли в лото, скуки ради подсчитывали, кто сколько за жизнь поел каши, выпил спиртного.

Нюшка заливисто хохотала, довольная:

— Будет что вспомнить под старость...

Терентий рассказывал о своем селе, о заготовке кормов к зимовке, о целебном разнотравье под лесными засеками, в пойме речушки Нарочь. Особое место в этих воспоминаниях отводилось дяде Ивану, заменившему Терентию отца. «Тетка Агриппина — не то, пошумит иной раз,— уверял Терентий своих собеседников.— А дядя за меня горой!..»

«Нда-а!»— неопределенно поддакивала ему Нюшка и украдкой вздыхала.

Изосим слушал откровения гостя со скучающим видом, больше следил за мимикой и жестами Нюшки, ведшей, как он догадывался, свою игру с доверчивым солдатом. При случае безногий подогревал мечту батарейца о доме:

чем сильнее разбередит себе душу мужик, тем раньше умотает от Нюшки.

В памяти Кошелева надолго сохранилось хорошее. Дядя Иван, уже в годах, со слабым здоровьем, заходился перед войной пристраивать боковушку для Терентия, вошедшего в жениховскую пору. Жене толковал не в шутку: «Обвыкнется парень у нас, девку себе зачалит... Все тебе подмога».

Крикливая, вечно чем-то недовольная тетка Агриппина была словно не своя в доме. За сварливый характер ее сторонились даже собственные дети, близнецы Олюшка и Сашко. Может, потому малыши тянулись к улыбчивому Терентию. В счастливом их щебечущем обществе парень нередко засыпал на сеновале, обвитый теплыми, доверчивыми ручонками. И на войне и теперь нередко у Кошелева щемило сердце от жалости к обедневшей после его ухода ребятне.

«Вернусь, попрошу у Агриппины на воспитание кого-нибудь из детей, а то и обоих,— мечтал Терентий.— Своих теперь не заиметь».

Вспоминались слова билетной кассирши о том, что «хороших поубивало, а от кого-нибудь не хочу...». Это самое он мог бы сказать о Варе, если бы она погибла в лихолетье. Но девушка, наверное, как и многие, устав ждать, нашла свою долю с другим...

Нюшка извелась от красивых речей Терентия о доме. И злилась и смеялась над собой: «Дура, нешто забыла погудку: быстро робится — с бельмами родится». Казалось, она еще больше подобрела к пришельцу, подпевала ему, когда тот заводил деревенские песни про рожь. Не забывала вставить свое слово с нарочитой печалью в голосе: «Об нас-то с Изосимом, Терентий Фомич, небось сразу и забудете?»

На «ты» она разговаривала с ним лишь в постели.

«Скажешь такое!— обижался Терентий.— Я сразу телеграммой извещу...»

Кошелев верил, что задуманное непременно сбудется. Он пригласит своих новых друзей в гости, отблагодарит за все доброе.

Щедрость Нюшки поражала даже Изосима, не привыкшего ничему удивляться. Все солдатское было перестирано настоящим казенным мылом. К вещмешку прибавился слегка подбитый на углах, но еще крепкий фибровый чемодан. В присутствии обоих мужчин Нюшка опустила на

днище чемодана новенький шевиотовый костюм, завернула в газету две пары белья. Выгладила электрическим утюгом солдатскую и офицерскую гимнастерки. Ей удалось где-то заполучить в обмен на лепешку точно такую бритву, какую Терентий оставил в буфете за две кружки пива.

И все это делала Нюшка с доброй улыбкой и неприкрытой тоской в опечаленных, увлажненных предчувствием близкой разлуки глазах.

«Не от добра ли я бегу?» — строго допытывался у себя Терентий.

Однако сборы есть сборы. В конце концов, Кошелев был солдатом, а настоящему воину не пристало в пути менять однажды принятые решения.

В такой непреклонности Терентия отчасти была виновата хозяйка дома. Это она льстивыми речениями заставила Терентия поверить в свои мужские достоинства. Кошелев глядел уже на базарную торговку снисходительно, слегка даже переругивался с нею. «Повинюсь перед Варюхой... Все как есть поведаю, что на духу... Простит, заживем с ней душа в душу».

Как-то под воскресенье прибило на Нюшкин огонек крестьянина из ближнего колхоза. Заросший до глаз, в латаном кожушке, что твой тать в нощи, он долго мялся у порога, пока не разрешили раздеться, пройти к столу. Шел не спеша, огляделся, рюмку пил не закусывая. В темноте явился, на ранней заре вместе с хозяйкой на базар отправился. И поговорил перед сном полчаса, а смуту в душу Терентия занес. «Худо в деревнях сейчас... Где немец прошел, там и того плоше. Бурьянами огороды заросли, волки под окнами в стужу пешком ходят. Одна надежа: скоро коллективы распустят. Толковым мужикам, что в ссылках да по тюрьмам сейчас, прощение пожалуют, к хлебу позовут. Заживут люди, как встарь, как всегда жили!»

Изосим освободил от докучливых сомнений Терентия: «Это Нюшка старую ворону к тебе подослала... Заодно с ним на рынке действует».

«Любит она меня,— тревожился пуще прежнего батареец.— От себя отпускать не желает».

В день отъезда Терентия хозяйка не пошла на рынок, печь не топила. Вышла из боковушки с газовым шарфом на плечах. Кофточка насквозь светится, юбка шелковая. Чулки на ногах — что есть они, что их нет. Хочется руками потрогать.

На столе скупо: бутылка портвейна и три рюмочки, как игрушечные. Нюшка улыбается, но бледная, синь под глазами. Губы покусывает. Терентий и без выпивки хмельной, старается не замечать оглушительных вздохов хозяйки.

— Спасибочко вам, Анна Фатьяновна, за все... И вам, Изосим Корнеевич!

Первым опорожнил свою рюмку Терентий. Изосим и Нюшка чокнулись, а ко рту не спешат нести, друг на друга поглядывают.

— Ну вот, значит, ну вот...— виновато разводил руками Кошелев.

— А как же, Терентий, с сыном нашим быть? Сам за ним приедешь или в посылочке прислать?— вдруг пропела нежнейшим голосом Нюшка.

Терентий пролил дешевое вино на цветастую скатерть.

— Какой сын?

— А что в животе у меня!— Нюшка приподнялась из-за стола, покачала бедрами.

— Откуда он там?— закричал Терентий.

Сорвался. Выдала взыгравшая на лбу между складочками капля холодного пота. Смахнул ее досадливым жестом Терентий, но было уже поздно: заметила эту слабость солдата Нюшка.

— От сырости!— в тон ему крикнула торговка. Скривилась болезненно и вдруг повалилась на убранную кружевной накидкой кровать. Грубо замолотила обтянутыми в шелк икрами по никелированной спинке, вырвала в истерике клок волос с затылка. Впервые в жизни перед Терентием изводилась женщина.

— Погоди-ка, встань!— мужественно сопротивлялся надвигающейся беде Терентий.— Давай разберемся.

Но Нюшке все было ясно. Она визжала, причитала:

— Черненький... Синеглазый... С родинкой между лопаток... Ходить станет, спросит об отце! Что я ему отвечу, сиротинке малому?.. Подлец твой родитель, до появления на свет от тебя отказался...

— Кошелев никогда в подлецах не значился!— выкрикнул Терентий, бегая около кровати.

Изосим терся между Нюшкой и батарейцем, покашливал в кулак, приговаривал:

— Наше дело... хххе-ххе... не рожать: дунул, плюнул — и бежать... Иди, солдат, иди, пока Нюшка в чувствие не пришла... Придет в чувствие — кочергой тебя огладит...

— Я не приблуда какой-нибудь,— возражал Терентий.— Я по-хорошему хочу... Я не такой, как вы думаете!..

— Все мы одинаковые,— успокаивал Изосим.— Все людьми родились. Да жизнь у нас не такая...

На другой день Нюшка с одинаковой решимостью заглядывала в фуражку Терентия и шлем Изосима:

— Как поработали, мужички? Где крупные? Издеваться над беременной женщиной надумали?.. Ах, в лоб вашу мать!..

Надолго затянулась эта «беременность».

Однажды Терентий решился:

— Сколько тебе, Анна Фатьяновна, нужно от меня, чтобы, значит, мы врозь и по-хорошему?..

— Тыщу,— не задумываясь, ответила Нюшка. Она любила это слово. Но, сказав, рассмеялась сквозь зубы, потянулась томно.— Я и сама бы кому-нибудь отдала тыщу, и две, и самое себя в придачу ради перемены жизни... И нашелся бы, гляди, какой-нибудь чистенький, вроде тебя, а только не хочется по карточкам селедкой с мерзлой картошкой давиться. Отвыкла!

Раздраженно, испытующе взглянула в лицо Терентию. Кошелев со страхом понял, что его самого затягивает в трясину...

«Прочь! Убегу!— клялся он.— Вот завтра, вот послезавтра...»

В доме Нюшки не любили казенных бумаг, сторонились дел, которые и хозяйка дома и безногий называли одинаково: «обчими». Даже приглашения на концерт в агитпункт хозяйка уничтожала.

Прописался по гражданским документам Терентий лишь после второго привода в милицию — повздорил с дружками в пивной. Пенсионную книжку батареец не оформлял много лет: малой казалась сумма, назначенная государством за увечье на войне. «Пока пенсию оформишь, больше потеряешь». В память врезалась беспощадная притча Изосима об унизительном слове «прошу». И в нищенстве Терентий старался обходиться без этого слова.

После шумной драки с Изосимом за раскладушку мужчины больше не клянчили вдвоем. По жребию Терентию достался кусок улицы, прилегающий к техникуму культпросветработы, и батареец не считал себя внакладе. Чтобы овладеть лексиконом, близким к своим опекунам, он почитывал статьи на воспитательные темы.

«Покажите пример молодежи!— приставал он к тем, что постарше.— Бросьте по гривеннику...»

На пригородных поездах Кошелев уезжал в другие поселки, оставался неделями. В вагоне ему раздробило дверью чашечку колена. Теперь он ходил с клюкой. Заросший, обрюзгший, всегда раздражительный, он отталкивал от себя встречных звероватым взглядом. Женщины с ближних улиц пугали Терентием шаловливых детей.

И все же нашелся человек, пожелавший говорить с ним на равных. Да не какой-нибудь простак, сжалившийся над бедолагой, а милицейский начальник, заведующий паспортным столом.

Крепкий, моложавый, однако с густой проседью в редких крупных волосах, капитан Угловский смотрел на посетителей вкось: у него не было левого глаза.

Угловский долго держал новенький паспорт Терентия, почему-то медля с выполнением обычной процедуры — вручения документа владельцу.

— Кошелев?— привычно спросил начальник.

— Так точно!..— батареец отвечал вышестоящим неизменно уставным языком.

— Приметная фамилия у вас, товарищ Кошелев,—с наслаждением повторил Угловский. Терентий молчал, настораживаясь.— Десять тысяч населения в нашем городе, а Кошелев один.

— Я не здешний рожак,— угрюмо пробасил Терентий, краем глаза приглядываясь к выражению лица начальника. Ему не нравилась беспричинная дотошность капитана.

— Вижу!— Угловский аккуратно сдавил растопыренные обложки паспорта.— С сорок седьмого у нас?

— Да,— соврал Терентий. Несколько лет он обретался без прописки.

— Понятно!..

Единственный глаз Угловского словно бы зажегся изнутри и тут же померк.

— Понятно,— повторил он, в задумчивости покачав головой.— Значит, это не вас тогда жена разыскивала.

У Терентия отлегло от сердца.

— Ошиблись, товарищ капитан... С кем-то спутали... Я, слава богу, еще не женат.

— Бога славить, может, и ни к чему,— не согласился с ним Угловский.— А вот насчет того, что Кошелева в свое время искали, позволь мне на свою память положиться.

— Никак нет!— заупорствовал Терентий.— Через ваши

руки много всякого люду за войну прошло... Да и не один Кошелев на свете...

— Наверное,— не сразу дал себя уговорить капитан.— Тем не менее для меня вы — первый Кошелев.

Он еще раз изучающе, в упор поглядел на Терентия одним глазом. Едва заметный шрам под этим глазом потемнел.

— Паспорт можете взять,— протянул он Кошелеву темно-зеленую книжицу. Обрадовался, видя, что Терентий не торопится уходить. Если хотите, расскажу вам одну любопытную историю о том Кошелеве, которого в самом деле разыскивали.

Боднув глазом собеседника и не встретив возражения, капитан начал рассказывать:

— Было это под самый конец войны. Вернулся я домой. Вроде вас, на всю жизнь с непоправимой метой. Под Веной мне гитлеровский последыш впотьмах финкой по глазу провел. Глаза лишил, недобиток. Мать честная! Но беда, как говорят, за собою горе тянет. Пока лечился, жена ушла к другому. Смазливая бабенка, в торговле работала и себе цену знала. С соседками перед этим толковала: кривой, мол, не напарник мне — ни в клуб с ним, ни на танцы... Знавал я и раньше за нею проделки в этом роде. Долго замуж не шла, искала, кого бы повыше ростом. А тут война... В общем, ушла.

Капитан поднялся из-за стола, достал папиросы, прошелся по комнате. Руки его заметно дрожали, он часто и глубоко затягивался.

«Вот оно что!— ехидно отметил Кошелев.— И начальство временами в дрожь кидает!»

— Верите, товарищ Кошелев, я места себе не находил от досады. Разве же я виноват? Не одолей мы фашиста — в неволе под красным фонарем сгнила бы...

— Правда ваша,— поддержал Терентий.— Не только за себя мы кровью истекали.

— Успокоили люди: у любви свои законы,— продолжал капитан.— Семья без любви — та же неволя. Для детей в особенности. Ну я ей, Ксеньке, простил, обиду с нее снял. Зато ко всему их роду сердцем ожесточился. Комендантом я тогда на пересыльном пункте работал. Служба, сам знаешь, чертово колесо. Того одень, того обуй, накорми чем хочешь да вовремя, отправь дальше в нужный час. Заботы!.. Придет какая из женщин по делу — видеть не могу, разговаривать с ними разучился... Не приведи случай, иная

накрашенной появится! Говорить с такими не желаю, а то и за дверь выставлю... Подумать только!.. До сих пор не женат!— вздохнул капитан, улыбнувшись.

— А меня упрекали!— заметил Кошелев.

— Не по той статье!— вытянул перед собой палец капитан, как бы предупреждая, и продолжал вспоминать былое.— Сижу как-то у себя на пересыльном, снабженцев инструктирую. На целую команду к приходу эшелона сухой паек приготовить запоздали. Не успел закруглиться с ними, вот тебе — молодайка на пороге:

«Здравствуйте!»

Не сказала, пропела вроде, столько музыки в голосе... Правда, без парфюмерии и без хитростей прочих женских... В деревенском платочке миткалевом. Сапожки хоть и по ноге, но в стадии списания... Узелок в руке, сама печальная, будто с похорон. Взгляда моего испугалась, посреди комнаты ногу приставила.

«Пособите горю моему... В вашем городе раненым лежал мой суженый...»

Хотел и эту выставить за дверь: «Знаем мы вашу любовь!»

Все же подошел к ней, снабженцам своим передохнуть дал.

«Делать тебе, девка, нечего!— кричу.— У меня пятьсот человек эвакуированных отправки ждут на запад! Немец хаты пожег!..»

Она еще ниже голову опустила.

«Кошелев его фамилия... Может, слыхали...»

«Не слыхал!»— говорю. А сам глядь да глядь на нее. Не слепым родился. Чувствую, оттаивать я стал изнутри, меняется во мне что-то. Хоть и влажные глаза у нее, и худоба в лице от переживаний, одета кое-как, а все, что полагается от природы по женскому аттестату, получено ею сполна. И глазищи — только на иконах у пречистой девы и видеть приходилось!..

Через минуту сидит она уже в моем кресле, только команды не подает, а в остальном королева королевой. Но и без ее приказов лейтенант Угловский телефон накручивает. Снабженцев с особыми поручениями по инстанциям разослал... Докладывают, справки навели: ни по каким книгам Кошелев у нас не проходит, госпиталь с полгода как дальше в тыл угнали и прочие такие подробности... А она о себе потихоньку рассказывает. Оказывается, дивчина эта уже в том самом тылу побыла и другие местности

прочесала. Выходит, это последняя надежда у нее на лейтенанта Угловского... Мать честная! Вот это загадка, думаю, вот это наваждение! Представить себе пытаюсь: каким красавцем должен быть этот самый Кошелев, если его сама божья матерь разыскивает!.. Гренадер! Аполлон! Герой или, может, дважды Герой, не иначе. Справился: среди Героев Советского Союза таковой на данное число не значится...

Капитан притушил папиросу, сел на край стола, перебросив ногу на уголок, крепко сцепил руки на коленке.

— Своей любовью, страданием девушка меня эта от тоски по Ксеньке излечила... Ругаю себя мысленно: шлапак ты, Угловский, тюхтя!.. Кому ты огонь души своей подарил, о ком печалишься? Поставь рядом беспутную Ксеньку с гостьей этой, в душу загляни для сравнения — и единственным глазом на ту Ксеньку глядеть не захочется... Верите, Кошелев,— подался всем корпусом к Терентию Угловский,— при всей моей кровной обиде на женщин, если бы та, с глазами божьей матери, взяла меня за руку и повела — не отнял бы руки!.. Пошел бы хоть на край света! Искать того Кошелева пошел бы вместе с ней.

Терентий молчал, уставившись отрешенным взглядом в простенок между окон. Мутные, утратившие свежесть глаза его расширились и замерли в изумлении.

— Как она убивалась! Как плакала!— ронял по слову Угловский.— Голова кругом шла: не померещилось ли мне все это от переутомления? Нервы подвели? Небось самая Любовь в образе деревенской девушки в зашарканный кабинет комендантский по нечаянности заглянула...

Угловский хлопнул рукой по колену, походил по кабинету и сел за стол. Как бы в сомнении принялся заглядывать то в один ящик, то в другой.

— Только не выдумка все это!—повеселевшим голосом, будто от счастья пережитого, закончил капитан.— Свидетельство на этот счет имеется. Веточку цветов она мне из узелка оставила «про всякий случай». Кошелев тот, оказывается, цветы любил... Мать честная!.. Вот погляди...— Он раскрыл коробочку, едва отыскавшуюся в глубине ящика.

Но тут Угловский вздрогнул от резкого звука. Терентий выпустил на пол клюку.

— Варюха!— прохрипел Терентий, хватаясь пальцами за ворот рубашки.— Она приезжала...

— Точно!— вскрикнул Угловский.— Варей девушка тогда назвалась.

Терентий Кошелев, горбясь и волоча ногу, позабыв о клюке и новеньком паспорте, поплелся к выходу.

Как слепни перед холодами, остервенело жалят лучи полуденного августовского солнца. От злого насекомого можно спрятаться под навесом, заслониться лоскутом ткани. Жара дурманит голову, проникает ржаной остью под рубашку, расслабляет тело. Расстегнуть бы кофту, остудиться, но кругом люди... А зорче всех он, Арсений. Как ворон крылом, водит косматой бровью, следит за каждым движением плеч, за полетом рук.

Варя сегодня на подаче снопов у молотилки. С надрывным гудом зубастая пасть машины проглатывает полные охапки колосьев. Арсений успевает лишь дернуть за тугой узел перевясла, и сноп рассыпается у него на руках. Умеет он это делать, да не всегда успевает: засмотрится на гибкий стан, на отливающие бронзой икры. Чувствует Варя на себе эти тяжелые, тоскующие взгляды. И ей становится еще жарче. Когда уж совсем невмоготу от соленых мужских шуточек, забегает с другой стороны воза и опрокидывает вместе с задиристым возницей легкую телегу к ногам Арсения. А сама, будто испугавшись расплаты за озорство, бежит за скирду. Там выхватывает набрякший от воды кляп бочки, припадает запекшимися губами к серебристой струйке. Пьет долго, пока достает воздуха в груди. Потом шумно вздыхает, сбрасывает с головы косынку, расстегивает кофточку. Полуобнаженной грудью ощущает слабое дыхание полевого ветерка, закрывает глаза. А перед глазами все снопы, снопы и нет им конца...

Но и здесь за соломенной стеной скирды нет покоя. Артельная кухарка Агриппина, мать крестная, жалеючи, корит:

— Извелась вся, поди... И Арсению жисти без тебя нет, и сама что клубника на шляху... Небось председательшу к снопам не поставили бы.

Не первый раз так говорит пожилая женщина. Варя научилась сдерживать себя на людях, не спешит возражать старшим. Разве иногда защитит себя, чтобы напрасно не обижали. С крестной можно как на духу:

— К тебе тоже небось сватались, когда дядя Ваня на

войну ушел... Ты не пошла к другому, а меня гонишь...

Агриппина аж колотится от гнева, едва заслышит о Колесове, бригадире, который раньше всех мужчин деревни вернулся домой по ранению и пользовался этим преимуществом.

— Не мели языком в пустой след, дурочка!— ярится крестная, озираясь.— Сравнила гнилую морковку с пальцем! Иван муж мне, под венец с ним ходила, а Терентий — кто тебе?

Кто? Если бы Варя могла так словами передать, как складно и сладко ей думается о Терентии! Кем он для нее был — темноволосый, грубоватый парень в залатанной на локтях чистой косоворотке и суконном пиджачишке? Первым в жизни поцеловал ее Терентий у мельничной запруды, слова сказал хмельные, колдовские, против таких сладу нет в душе до нынешних дней. Потом уже сама тянулась к его терпким, упругим губам, прятала исцелованное лицо в отворотах пиджака. Разве сказанное в такие минуты можно забыть? Не записались в сельсовете? Печать над их клятвой друг другу не поставлена? Батюшка не окурил ладаном? «Какой была девицей, такой будет и молодицей»,— говаривали в старину. Верность другу — верность себе. Выйдешь замуж за Арсения, а вдруг Tереша объявится? До сих пор то один вернется, то другой. Не в нашей деревне, так в дальних.

Как ни честна была Варя, а от бабьих пересудок не спаслась. Виной тому Арсений: чуть не следом за девушкой в деревню припожаловал, будто сговорились в дороге. «За соколом бежала, а орла встретила»,— толковали в округе. Поговорили и смолкли, потому что и жаркий костер постепенно затухает, если в него не подкладывать дров.

Бывший моряк остановился на краю деревни, у одинокой кривой бобылки Секлетеи. От нее змеились по окрестью слухи: «Ранетым явился... Добровольно из лазарета выписался... Один-одинешенек, будто перст божий».

О себе новосел говорил неохотно и мало, однако Секлетея вызнала ненароком: была женка с мальцом перед заварухой, да пропали оба в осажденном Ленинграде. В здешние глухие места забрел моряк в печали, чтобы, как иголка в стогу, со своей бедой затеряться... Обиду на соседей и родичей своих затаил, что не уберегли мальчонку... Людей разлюбил Арсений, невмоготу видеть стало, когда много их в городах, и все сытые, веселые... В деревне —

потише. Здесь лучше поймут Арсения, легче ему станет...

В первый же год выбрали председателем.

Варя не верила ни сплетням вокруг нового артельного головы, ни своим догадкам о нем. Она вообще сторонилась людей, переменчивых нравом, забывающих свои привычки, кидающих родные места. Арсений был или беззаботно весел, как ребенок, или темнел лицом, замыкался. Девушку пугали его глаза: черные, восторженно-жадные. В первое время ей казалось, что Арсений смахивает лицом на одного из госпитальных, каких она перевидела бессчетно, пока разыскивала Терентия.

Это было в Петропавловске, еще не в самом дальнем пункте ее блужданий по свету. Потеряв следы Терентия, девушка решила вернуться. Перед уходом на вокзал она попросила у госпитального начальства позволения одарить домашними гостинцами раненых. Ее привели в палату выздоравливающих. Восемь худых, пересиливших смерть и оттого поверивших в бесконечную жизнь солдат встретили ее так, как будто ждали все прошедшие годы. Через минуту они звали Варю сестричкой, а спустя полчаса она знала о каждом из них все, что только они могли вспомнить сами. Варя слушала их откровения, укрепляясь в мысли, что эти иссеченные железом люди рубились не только за родную землю, но и за то, чтобы звать безвестную им дивчину сестричкой... Она тоже, без утайки, рассказала воинам все-все о себе, о Терентии, о единственной в артельном хозяйстве лошади Лыске, которую они теперь берегут и холят, не решаются посылать на тяжелые работы, чтобы не остаться совсем без тягловой силы...

Госпитальные качали стрижеными головами и переглядывались, будто слышали еще об одном диковинном сражении за победу, едва ли не самом главном. А девушка, участница безвестной им битвы, казалась им таким же солдатом, как они сами.

Исповедь Вари внесла огорчение в счастливое знакомство, а отдельных очень даже расстроила. Все были готовы ехать в колхоз сразу же после выписки из госпиталя, как в новый бой, и просили на то позволения у Вари. Девушка догадалась ответить в том духе, что, мол, рада видеть их в жизненном строю, но сама она в этом строю рядовой и левофланговый, а вопросы перемещения живой и здоровой силы решает вышестоящее начальство... Майор, заглянувший в палату в эту минуту, похвалил Варю за ее обдуманные слова и заодно напомнил о времени,

постучав ногтем по циферблату больших «кировских» часов.

Госпитальные тоже на свой лад оценили и ее находчивость и рассудительность. Двое прислали затем письма, а один... Арсений ли это был?

Смуглый, черноволосый, один из выздоравливающих участвовал в этой задушевной беседе только глазами. Он так и не откусил ни разу от полученной из рук Вари лепешки. Одной рукой моряк накрыл этот нечаянный дар и так держал на груди, не решаясь отложить на тумбочку или спрятать под одеяло. Изредка он посматривал на гостью долгим взглядом, в котором мешалась грусть с неверием. Он словно бы сомневался и в словах девушки, и в том, что на обгоревшей и израненной, как он сам, земле может сохраниться такая красота.

До сих пор Варя не знает точно, Арсений то был или кто иной. Спросить не отважилась, справедливо полагая, что своим любопытством еще больше привяжет к себе ненужного ей человека.

Долго выбирал Арсений случая, чтобы открыться. Слово к слову приставлял перед тем, а вышло все равно не так, как хотелось.

— Весь я тут, Варвара Тихоновна... Ни хуже не стану, ни лучше не смогу. Душу ты мне освежила, людей снова понимать стал... Одним словом, твой я, и весь разговор тут.

Девушка пыталась помешать объяснению:

— Не вольна я, Арсений Лукич!

— Знаю!— почти выкрикнул моряк, казнясь от бессилия.— А ждать буду.

Любящее сердце — мягкое. Стараясь не обронить сорного слова на открывшуюся рану в сердце Арсения, Варя заявила между тем решительно, как это делала всегда, если речь шла о Терентии:

— Люб ты мне, Арсений, да сердце мое не на месте. А без сердца — сам знаешь...

Не договорила, потупилась, проглатывая слезы.

Он отошел, помрачнев.

Крестная Агриппина не знала об этом их разговоре и продолжала донимать попреками. Варя рассердилась, сказала ей за скирдой:

— Одна речь — не пословица!.. За кого ты меня принимаешь, крестная? Я не сума переметная с одного плеча на другое метаться.

Занудливая баба Агриппина подступалась к Варе не только от желания соединить ее судьбу с судьбой Арсения. Племянника она никогда не любила, считала чужим в доме, боялась принять на свои руки калеку — прибавится забот. Она давно получила письмо от Терентия. Первую неделю носила сложенный вдвое синий конверт за пазухой, потом засыпала его бисером в глиняной махотке на чердаке.

Терентий писал химическим карандашом на почтовом листке с видом Кавказских гор. Букву за буквой выводил левой рукой:

«Добрый день или вечер, Агриппина Саввишна. Потому как я довожусь тебе сродственником по мужниной линии, а ты мне доводишься еще и кормилицей, сообщаю о последних известиях. Я не пропал на войне, как думалось, и не убился там насовсем, а только окалечился и нахожусь сейчас живым. По самое плечо у меня правая рука отнятая... Так вот, Агриппина Саввишна, можешь об этом во всех подробностях письма доложить моей первой и единственной невесте Варе Кожиной: если такого нынешнего она меня жалует, пусть отзовется без промедления. До середины августа месяца буду ходить на почту по такому вот адресу...

Жду ответа, как соловей лета!

Терентий».

Лето уже проходило. Старые соловьи отщебетали в заматеревших липах, молодые пробовали крылья перед дальней дорогой. Агриппина сидела с письмом за пазухой на завалинке избы. С выгона пахло коровьим потом и пылью — приближалось стадо. До того как буренка боднет калитку, женщине нужно было принять твердое решение: бежать к Кожиным сейчас или когда подоит корову...

Нужного решения не приходило. Мешал сильный стук сердца, отдававшийся болью в висках. Вдруг женщина, запомнившая с первого чтения все слова письма наизусть, приметила над одной строкой как бы прилепившееся еще одно слово. В конце строки: «У меня правая рука отнятая» — Терентий добавил: «И нога».

Агриппина вспомнила басенку военной поры: хитроватый муж, чтобы проверить глубину чувств своей благоверной половины, так расписал свои увечья, что поневоле за-

думаешься, как жить дальше. «О руке сразу написал, а про ногу потом вспомнил!»—усмехнулась женщина. Но тут же она вспомнила Терентия: тихий, простодушный, неспособный на обман... Представила их рядом — статную, горделивую Варю и калеку рядом с нею.

Женщина заплакала от жалости к обоим и к себе тоже. Она не могла понять в те минуты, с радостью или с бедой появится у Кожиных и чем это обернется в конце концов для молодых и для нее самой, коль так вышло, что за советом Терентий обратился прежде всего к ней.

Батареец давал на размышление родне около двух недель. Тетка мысленно похвалила Терентия за мужскую терпеливость к женщинам и беспощадность к себе. Мужские боли как-то не доходили до этой женщины. Она вообще не верила в постоянство мужиков и уверенно полагала, что племянник, подобно многим его сверстникам, не один раз за войну мог подженится. «Бедняжке и обняться как следует нечем,— откровенно погоревала она.— Куда уж ему теперь за красавицами бегать!»

Припрятав на чердаке письмо, Агриппина в оба глаза следила за крестницей, радовалась, когда видела Варю поблизости к Арсению. То на собрании в клубе, то на уборке люцерны. Однажды Арсений, по деревенскому обычаю, привалил девушку на свежей копне, поцеловать пытался. «Может, придышится крестница к Арсению, свыкнется за это время... Бабье дело не хитрое: обрешетится ненароком, первой мужской лаской дорожить станет. А там и поберутся рука к руке. В ноги брошусь после свадьбы с письмом этим... Счастливая, простит, забудет... Племянник — что ж?.. Терентий если и гож, то для иной судьбы».

Отослав письмо, Терентий больше не выходил «травить» добычу на перекрестках улиц. Он зачастил в парную, отмылся добела, выбрился, натянул на ссутулившуюся фигуру гимнастерку. Пенсионные деньги, полученные сразу за полгода, пошли на подарки деревенским. Осталось и себе на шевиотовый костюм.

На почте его огорчили:

— Пишут!..

Терентий поблагодарил кудрявую, с бледноватым, голубоглазым лицом раздатчицу востребуемых писем за такой обнадеживающий ответ и особенно не тревожился. Он

был готов к любому письму из деревни, самому худшему, хотя всячески настраивал себя на скорую встречу с Варей, быть может, даже на здешнем вокзале. И только на девятый день после назначенного срока не отошёл с терпеливой улыбкой от заветного окошка, а тут же у окошка опустил голову на кулак и застонал от горя. Кудрявая испуганно посмотрела на него, хотела что-то сказать, но ее остепенил тяжелый, отрешенный взгляд посетителя, как-то зло посмотревшего вокруг и боком пошедшего к выходу.

Нюшка в день объявления денежной реформы откопала в тайнике погреба два чувала, набитые крупными купюрами. В сберкассе ее встретил дотошный старичок с серыми цепкими глазами и неприятной привычкой прищелкивать языком. Старичок затрещал, будто попугай, взглянув на развязанные мешки. К делу приступил не торопясь. В лупу он обозрел несколько заплесневелых пачек, перехваченных чулочными подвязками, и швырнул их под ноги хозяйке. Деньги оказались изрешеченными подвальным грибком.

— Просушите, переберите,— будто речь шла о картошке, посоветовал финансовый служащий.

— Как же их сушить-то?— полюбопытствовала миллионерша. Она прибыла в сберкассу со своим транспортом: тачка, на которой возила творог и лепешки, стояла под окнами учреждения. Нюшка подняла с пола деньги и сложила их в передник, заеложенный варениками.— Может, детской присыпкой их притрусить?

— Лучше бы дустом,— съязвил кассир.— Но вы поступите иначе: везите на центральную площадь в солнечный день, разложите в рядок...

Нюшке было не до шуток. Глаза ее притворно заиграли.

— А если вдвоем посушим?.. Напополам?.. У меня печка широкая...

— Государство в ответственные моменты истории,— разъяснил кассир,— со своими гражданами советуется... Торговаться же не имеет привычки. В данном случае обмен денег производится из расчета один к десяти...

Он выразительно прищелкнул языком. Нюшка молча показала ему кукиш. Она возвратилась домой и нарезала щепы. Ей почему-то казалось, что деньги вспыхнут и сгорят в одно мгновение. Но подмокшие купюры долго чадили, от них валил густой, пахнущий воском дым.

Как на беду, соседка, женщина из уличкома, наведалась зачем-то. Не дружили они с Нюшкой...

Срок Нюшке дали небольшой: языкатая баба выкрутилась на суде, сказав, что подобрала мешок с деньгами на путях... Но, придя домой, язык прикусила и даже со «своими» мужчинами не лезла в спор. Дав подписку заняться честным делом, она поступила на работу в швейпром, звала Изосима и Терентия последовать ее примеру.

— Запишусь в активистки,— откровенничала она.— Всех жмотов на нашей привокзальной улице выведу на чистую воду. Уж я-то знаю, у кого сколько добра осело с войны...

Первую получку Нюшка выложила на стол, принялась вслух распределять по дням и неделям: «На хлеб... На жиры... На картошку...» При скромном расходовании заработанного хватило бы до конца месяца.

— А на водку ты считала?— издевательски подсказывал Изосим, наблюдавший за ее стараниями.— Капрон где ты по казенной цене добудешь?

Нюшка запрокинула голову в невеселом смехе:

— Про водку забыла!.. Вот дурочка! Ну как же это можно: пей — вода, ешь — вода...

Она сгребла деньги в кулак:

— Иди, Терентий, за водкой, обмывать новый закон будем!

Во хмелю Нюшка вела неутомимый спор с теми, кто будто бы испортил ей жизнь:

— Если бы все, как один, согласились жить на зарплату, и я не отказалась бы...

— Во!— стрельнул пальцем в Терентия Изосим, восхитившись словами женщины.— Одинаковость человеку требуется, равноправие во всем!

Борясь за «равноправие», Нюшка набилась в помощники экспедитору артели. Тайком она сбывала часть сверхплановой продукции. Выручку и вознаграждения она отоваривала в «Ювелирторге», приобретая дамские украшения.

— Принаряжусь немножко и замуж выйду,— грозилась она.

Терентию все труднее приходилось разживаться «живою», как он называл, копейкой. Штакетник у техникума культпросветработы, под которым он обретался последние годы, строители сдвинули чуть ли не на проезжую часть, а затем и вовсе убрали. В этом месте поднялось пятиэтаж-

ное здание с яслями во дворе. Любопытные детишки вытягивали пальцы, допытывались у родителей, зачем дядя сидит на дороге. В ответ звучали раздраженные реплики в адрес Терентия: «До каких пор торчать здесь будешь?», «Работать нужно, старик!», «Шел бы в приют».

Согбенный, подолгу не бреющийся Терентий выглядел намного старше своих лет. Однажды его чуть не придавило грузовиком, на котором подъехали к дому новоселы. Вместо того чтобы извиниться, водитель кинулся на инвалида с ключом... В этот день Кошелеву не досталось ни копейки.

Злым и огорченным вернулся он домой. Там его ждало нечаянное веселье. Изосим ликовал. В новеньком офицерском френче цвета хаки, с крупными порезами на подбородке, он важно выхаживал по комнате вокруг уставленного яствами стола.

— Прощенные мы теперь!— заскрипев ремнями протезов, кинулся он к Терентию, пытаясь облобызать. По радио прощенье объявили...

— Не винился ни перед кем,— отвел липкие руки Изосима Терентий, все еще переживая драку с шофером грузовика.

В два больших чемодана Нюшка складывала пожитки безногого.

— Господи, да объясни человеку толком,— обернулась она к Изосиму.— Амнистия!..

— Тебя же давно выпустили!— недоумевал Терентий, имея в виду хозяйку дома.

— Не обо мне речь,— пояснила вместо замявшегося Изосима Нюшка.— Изосим прощения дождался... Ну чего глаза пялишь? Полицаем он был, в торфяной яме от милиции спасался, ноги свои там оставил...

— А теперь — свято!— закончил ее фразу Гуслистый.— Закон со всеми уравнял, ясно?

Он пытался даже сплясать на протезах, но неуклюже привалился к кровати.

Терентий почувствовал удушливый комок, долго не мог протолкнуть застрявшие в горле слова.

— Гнида!— закричал он в неистовстве.— И это я с тобою из одной миски... столько лет?!

Гуслистому теперь было все равно.

— Кто из нас вошь, а кто гнида, пусть гадает бабка Степанида,— пританцовывал он опять.— А бабушка рассудила так: война отошла — довольно зла и крови...

— Да мы таких к стенке!— гремел Терентий.— Если под горячую руку попадались, прямо из пистолета.

Веселости у Изосима поубавилось, но продолжал он с прежним напором:

— Прямо только баран ворота подпирает. Но баран постоит-постоит да пойдет искать калитку... А я это все от бывалых людей и тогда знал... И не один я.

— Кто же еще? Кто? — подступился Терентий.

— Заладил: «кто да кто»!— отмахивался Изосим.— Нынешние прощенные, вот кто.

— А я «баран»? Воевал!.. За дурака теперь считаете?

Голос Терентия сник от волнения. Батареец толкнул Изосима в плечо. Тот повалился, хватаясь за Нюшку. Хозяйка, притворно пугаясь и не веря в ссору, шутливо мирила их:

— Мужички! Это чего вы надумали? Сколько лет жили душа в душу,— и вот тебе — сцепились напоследок? Что не поделили? Юбку небось мою?..

Изосим старательно заклеивал рассеченную губу клочком газеты.

— Опять в драку?— ныл Гуслистый.— Не можешь без крови?.. А я потому и в немилые попал, что своим умом жил... Вот и дождался настоящего дня победы.

— Прямой наводкой!— не слушая его, в ярости повторял лишь одну фразу батареец.— Снарядом, гранатой, кулаком — все равно!..

— Кто прямо ходит, тот к своему дому дороги не находит,— продолжал говорить побасенками Изосим.— А вот я, чуть небо прояснилось, о родне вспомнил... Под шифером новый пятистенок возведу, как до колхозов загадывал. Пусть попробуют в материале отказать или прошлое в укор поставить! Из глотки свое вырву.

Через два дня Нюшка с Гуслистым скрылись из поселка.

Южный город, куда занесло теперь Терентия, был черен и громаден. Он походил на корабль, дрейфующий с четырьмя прокуренными мачтами среди прогорклых чабрецом степей. И всемирный слет ворожеек не взялся бы угадать завтрашнюю погоду для этой местности. В любую пору здесь клубились тучи собственного производства. Сквозь эти тучи не могли пробиться ни дождь, ни град: мешались в высоте с дымом, выпадали туманом.

Странный город этот не признавал и некоторых иных вселенских обычаев. Ночью к нему не подступалась темнота, отбрасываемая исполинскими сполохами домен. Ухали гигантские молоты под сводами цехов. Напряженно зудели в вышине, между огоньками звезд и светом занесенных в поднебесье лампочек, шахтные опрокиды. Гулко падали на асфальт дороги дымящиеся куски породы.

Все это напоминало батарейцу о давно пережитом, фронтовом. Вот почему он не удивился, узнав, что в этом городе расположен единственный на все южные области госпиталь для инвалидов войны. В трудные деньки Терентий прятался в таких заведениях от неожиданных сквознячков своей ветренной судьбы. Знал Терентий и о строгом режиме в лечебницах. От самого вокзала передвигался с привалами вслед за потрепанной фуражкой, пробрасываясь все ближе к воротам госпиталя.

— Родимые! На операцию ложусь! Не откажите в копейке...

Ничто так не действует на людей, как слово «операция».

И все же вместо ожидаемых монет сверху чаще сыпалась обыкновенная гарь. Мужчины в этом рабочем краю, вероятно, обходились без хирургических вмешательств. Они были плечисты, суровы с виду и шутили тоже сурово: кидали нищему тормозки с едой, папиросы, иногда — горящие. Желторотые скалозубы из горного техникума делились с инвалидом косточками абрикосов.

— Из госпиталя, сестрицы!— голосил перед женщинами, идущими на рынок, Терентий. Те, что постарше, помнили о войне. Жалели.

Мужчинам, идущим в столовую на обед, нищий буквально распахивал душу:

— Хлопцы!.. На выпивку не дают... От всей седьмой палаты к вам посыльным выделен!..

И это убеждало больше, чем притворство. В попрошайстве, как понимал Терентий, тоже требуется свой стиль.

Но встречались непробиваемые. Особенно раздражал батарейца своим невниманием худощавый гражданин в габардиновом макинтоше. По утрам, но не в самую гудковую рань, когда город содрогается от топота тяжелых ботинок, чуть позже, выделяясь ростом и степенностью в шустрой стайке школьников, важно колыхая у самого носа побирушки авоськой с книжками, торжественно шествовал

этот «макинтош». Вызывающе блестели среди сбитых детских сандалет его новенькие тупорылые полуботинки.

Терентий однажды дотронулся палкой до книг, снабдив свое осторожное движение весьма неосторожной фразой. «Макинтош» лишь поморщился, сдвинул редкие, почти бесцветные брови.

— Жмот!— кричал Терентий вслед прохожему.— Жила!..

Сверкающие полуботинки стали ходить по другой стороне улицы.

И тогда Терентий решился. Сильно размахнувшись, он пустил палку под ноги. Клюка загромыхала по мостовой. Коснувшись ног, вдруг отскочила почти под прямым углом к ограде, с сухим настораживающим звуком.

Прохожий медленно, как и все делал, остановился, нагнулся, поднял палку.

— Гадина ты!— чтобы объяснить свою обиду, а больше потому, что боялся ответного удара, рычал Терентий.— Хоть бы плюнул в фуражку, если копейки жалко!.. Ногой оттолкнул бы меня в канаву, чтобы я жизнь твою красивую не портил!.. Может, я за тебя здоровья лишился на фронте!..

— Может, и за меня,— неожиданно согласился «макинтош».— И я в помощи друзей нуждался, в одиночку драться не пришлось...

Он подошел к Терентию и спокойно отдал клюку.

— Но только учти, солдат: когда бросаешь в тех, кого на войне защищал, бери на всякий случай повыше...

Опустив прямо в ноги Терентию свою ношу, обладатель сверкающих полуботинок ухватился двумя пальцами за стрелочки отутюженных брюк и стал поднимать штанины. Они ползли вверх торжественно, будто занавес перед началом невиданного спектакля. То, что увидел Терентий, поразило его, как ни одно зрелище прежде. Прохожий стоял перед ним на протезах.

— Неужто вся упряжка казенная?!— прошептал Терентий, хватаясь за голову.

— Собственного производства!

Терентий долго не мог приподнять голову. Знакомые, полузабытые интонации уже сказали ему все и больше того, что могли открыть ему глаза с выцветшей прозеленью зрачков.

— Лаврин!

— Звали и так в молодости... А ты, я вижу, угадываешь имена не хуже, чем палкой кидаешься...

Терентий навалился грудью на книги, цепляясь за длинные полы Ерашева, стремясь стать на ноги.

— Лаврин, не отходи!.. Спаси меня, казак! Пробуди скорее...— Кошелев всхлипнул, готовый закричать, если опознанный друг отвернется.— Какой сон!.. Какой сон из моей жизни получился!..

— Погоди-ка... не все сразу. Назовись сначала, откуда ты? Не кириченковский случаем? Конник?

— Все расскажу... Все как на духу... Уведи меня отсюда... Веди же!

— Ну идем, идем...

Их уже окружала толпа любопытных.

Лаврин и Терентий пошли, опираясь друг на друга, мешая один другому от волнения. И лишь пройдя рука об руку до конца улицы, Терентий разглядел толком, как нелегко перебарывает пространство Лаврин, как необыкновенно правильно, чтобы быть похожим на всех, имеющих ноги, а потому и не похоже ни на кого из них, ходит он по земле.

У подножия окаменелого кургана в степи за Ворсклой, где в войну стояла батарея, люди видели двух приезжих. Они вышли из такси, и один, тут же глухо вскрикнув, припал к подножию кургана. Потом он тяжело оторвался от земли, неверной походкой прошел в степь. Долго шарил единственной рукой в пожухлой траве.

Другой приезжий стоял недвижно, будто изваяние. Усталое лицо его с задумчивыми глазами выглядело печально.

Лаврин привез отщепенца к тому месту, где его жизненная тропа как бы дала петлю, спуталась в клубок.

— Ищи оборванный конец!— твердил Лаврин сурово.— Сердцем ищи, совестью скрепляй!.. Отрешись от самого себя, нынешнего... Попробуем жизнь твою прежнюю с будущей связать.

Облысевший курган притих в ожидании.

1970

ОДНАЖДЫ В ПОЛДЕНЬ

Все, кому довелось по летнему времени побывать в Святогорске, наверное, запомнили бормочущий безымянный ручеек, впадающий в реку чуть ниже главного пляжа. По

этому водостоку в разлив из верхних озер сбегают подснежные воды. Озера эти, по здешним преданиям, соединяются с монастырскими родниками и никогда не пересыхают. В стоялой воде размножается сонмище мальков. Чутьем улавливая существование поблизости большой воды, окрепшие сеголетки устремляются в опасное путешествие по узкому, извилистому, заваленному отмершей растительностью руслу стока, рискуя угодить в лапы бродячей кошке, стать добычей неприхотливого рыболова или погибнуть в тенетах водорослей.

Приятно, опустив ноги в ручей, наблюдать, как заматеревшие окуньки и плотвички в отчаянном порыве одолевают последние рубежи на пути к вольнице.

Пустынный уголок природы этот — настоящая находка для отдыха.

С кареглазой резвой Юлей мы познакомились, можно сказать, случайно. Девушка «проголосовала» нашему переполненному любителями природы автобусу, когда мы выбрались из города на открытое шоссе. Водитель, хмурый и уже немолодой Павел Аксеныч, обычно не обращавший внимания ни на какие автостопы, вдруг притормозил, удивленный девичьим взглядом, в котором застыла мольба... А может, залюбовался косой. Девушка в смущении теребила ее руками, поглядывая на проходящие машины.

Я уступил попутчице свое место.

Шофер торопился, плохо приглядывался к дороге, и мне приходилось иногда касаться то руки, то плеча попутчицы. Случалось и наоборот: она бережно так упиралась в меня ладошкой или задевала косой... При этом мы обменивались взглядами, извиняясь друг перед другом за нечаянное прикосновение. С этих извинений и началось наше знакомство.

Удалось перекинуться несколькими фразами.

— С Хацапетовки я!.. Учусь там, в медучилище!

Она радовалась, что ей повезло с попутной машиной, и казалось, готова была раскрыть душу любому встречному, заговорившему с нею. «Как она мила!» — отметил я, хотя ничего такого особенного в ее длинной, тонкой, почти детской фигурке не наблюдалось.

Юля продолжала говорить что-то про свое училище, про стариков родителей, оставленных в степном селении под Николаевом, но я плохо разбирал слова из-за дорожного шума. А тут еще кому-то вздумалось запеть, и она

подключилась к поющим, да так задорно, что ее голосок стал выделяться среди других. Затем спела что-то свое, незнакомое шахтерской нашей публике, ей даже поаплодировали.

Когда автобус приткнулся наконец к ольховому кусту неподалеку от пляжа, Юля была среди развеселившейся в дороге публики совсем своя. Ее звала к застолью чуть ли не каждая семья,— позавтракать в тени, а те, кто не осмелились это сделать, припоздали, глядели вслед девушке, упрекая себя за нерасторопность.

Усаженная по настоянию любителей пения в задорную компанию, девушка и не притронулась к вину, взяв себе, думаю, из вежливости, небольшой пирожок домашней выпечки.

«Мамина дочка... Еще от дома не отвыкла»,— отметил я.

Видя, что Юля скучает среди любителей «повеселиться», я позвал ее пройтись к ручью, посмотреть на прыгающих рыбок. Путь к ним был мне давно знаком.

— Какое чудо! Как здесь ладно, красиво, покойно! И вода и горы!.. — восклицала девушка, любуясь рекой, берега которой то вздымались, словно горы, то расстилались зеленой скатертью.

Круглое, с ямочкой на левой щеке лицо Юли рдело, почти черные глаза были полны света.

Проходя под густолистым сводом черемухи, я тронул ветку и осыпал спутницу ливнем пахучих лепестков. Юля охнула от неожиданности, но тут же с детской непосредственностью изобразила себя танцующей на балу: легонько закружилась, раскинув руки, ловила влажные от росы лепестки, шаловливо жмурилась. Можно было подумать, что на нее в самом деле сыплется конфетти новогоднего бала. Она не спешила перейти на другое место, где ее ждали иные сюрпризы ликующей природы.

— Вы понимаете! — вдруг посерьезнев, заявила Юля. — Я готова молиться на эту красоту... А вот этому дереву,— указала она на высоченную дикорастущую грушу, будто окунутую в молоко,— поклонюсь, как язычница!

Мы вышли на освещенную солнцем поляну, увенчанную роскошным, еще не очень распушившимся дубом. В тени дерева росло множество ландышей.

Юля присела на подмытое корневище вербы у впадения ручейка в Донец. Место это, обрамленное густой зеленью, озвученное живорыбным течением, и впрямь было

так неистово в своем обаянии, что к нему, казалось, не подберешь никаких слов.

Однако мы не были первооткрывателями «рая». На днище овражка за раздавшимся кустом шиповника мы заметили парня. Худощавый, широкогрудый, с крепкими бицепсами, не успевший побронзоветь, он спокойно сидел на песке, углубляя русло ручейка руками. Иногда он перехватывал нерасторопную рыбешку и тут же отправлял ее сильным броском через кособокую ракиту в реку. Занятие это парню, похоже, нравилось. Он тихо улыбался чему-то, может быть, тому, что и здесь нашел полезное применение рукам, избегающим праздности.

Не зря говорят, что у каждого из взрослых людей на всю жизнь остается нечто детское: в манере произносить отдельные слова, хлопать ресницами от удивления, доверять любому на слово... Такие люди сразу к себе располагают.

Взгляд парня, бесприветно брошенный на нас, показался издали печальным. Парень вроде говорил с кем-то или рассуждал вслух.

Раз и другой услышав приглушенную речь его, мы с Юлей приняли это на свой счет, переглянулись: не уйти ли? Ведь он первым занял «райский уголок». Может, ждет кого или стихи сочиняет любимой?

Замеченный нами парень был здесь не один. Его собеседник сидел за кустом боярышника, густо разросшегося по другой бок ручья. Тот был совсем не виден издали.

Разговор между ними шел, видимо, давно.

— Значит, не отступишь, Сергей?.. А я думал, ты сговорчивее,— прогремел трубный голос с другой стороны ручья.

— Отстань, Михай, дела не будет! — ответил ближний к нам, названный Сергеем. Он продолжал свое нехитрое занятие, роясь в песке, время от времени вскидывая темнобровое лицо в сторону скрытого кустом собеседника.

Налетевшая стая синиц заворошилась в листве, подняла писк, порхая с ветки на ветку. Сергей залюбовался пичугами, присвистнул в тон птицам и похлопал в ладоши. Было видно, что разговор интересует его куда меньше, чем прилет пернатых гостей.

— Думаешь, к тебе в бригаду проситься стану?.. — не унимался басок на том берегу ручья. — Просто соскучился по ребятам... Идем по кружке пива выпьем... Мы,

знаешь, со своим буфетом приехали,— похвастался Михай.

Сергей бросил через ручей какую-то колкую ответную фразу. Прежде невидимый его собеседник привстал на колени. Теперь его можно было разглядеть. Краснолицый и чубатый, он был весь неестественно взбодрен, воинственно настроен.

— И с пласта не уйдешь? — угрожающе вел свое Михай.

— А что тебе наш пласт? — словно не замечая бычливости соперника, спокойно рассуждал Сергей. — Небось на шахте «Румянцева» пласты не хуже.

— Уголька много под землей! — без особой радости в голосе согласился Михай. Он с хрустом вырвал былинку пырея и сунул ее в рот вместо папиросы. — Рукам дело везде найдется. Только знаешь, тебе одному скажу: душа будто неприкаянная. К «Великану» рвется... Мой это пласт! Мой, понимаешь?

— К деньгам твое сердце рвется! — оттолкнул Михая словами Сергей и принялся ополаскивать руки. Кажется, в эту минуту он заметил нас с Юлей и неожиданно повеселел от такого соседства.

— Не дури! — переменил голос Михай. — Я и сейчас по пяти кусков заколачиваю.

— Пять сотен — это уже не двенадцать,— подытожил Сергей не без злорадства.

— Надо будет, и двенадцать выгоню...

— Выгонишь! — согласился Сергей. Он стряхнул капли воды с рук и повернулся боком к Михаю. — Ну, а дальше-то что? Деньжат поднакопишь да, может, свой рудничок откроешь?

Произнес он это уже с пренебрежением, поглядев через плечо, как бы ища у нас поддержки.

— Не твое дело,— боднул головой воздух Михай. — Все вы хороши в чужом кармане деньги считать. Поворочай с мое — пуп развяжется.

Несколько минут они молчали.

— Только по триста тонн «Великан» отдает сейчас? — спросил Михай, как бы разведывая и в то же время тревожась.

— Откуда ты это взял? — отозвался Сергей, помедлив.

— А больше не получается: с остальных участков выше полторы тысячи никогда не подымали. А всего-то на тысяче восемьсот «забурились»... В газете сказано.

— Газеты почитываешь? — усмехнулся Сергей. — Не дает трех сот «Великан». На шестом участке ребята сотню прибавили.

— Неужто на двести съехали? — почти закричал Михай. И слышался в том возгласе гнев хозяина, добро которого нерадивые люди промотали, пустили по свету. Он распрямился над кустом, с досадой швырнул метелку пырея в ручей. Рослый, жилистый, подошел ближе к ручью, присел напротив Сергея. При этом сцепил руки на колене, похожем на полусогнутое, гладко отесанное бревно.

— Слышь, Серега! Добром прошу: уйди с «Великана». В помощники к себе возьму... Не пожалеешь.

Это лишь вызвало невеселую улыбку на лице Сергея. Глаза его сузились. В них блеснула решимость.

— В другой раз, может, и согласился бы. Ради шахтного плана в подручные не постыжусь. Мы с тобой уже толковали об этом по-свойски. Тогда ты не пошел за добрым словом. Упустить жирный кусок боялся! Помнишь, погнал меня с участка? Ну, вот. Теперь бесчестно мне возвращаться. Слово дал за всех ребят наших: не отойдем прочь, взнуздаем твоего «Великана».

— Не дастся вам пласт,— вздохнул Михай. — Норовистый конь только хозяйские руки лижет. Попомните мое слово: биться вскорости начнет пласт. Нутром чую: пора бы уже кое-что поменять в лаве... Но вам я не скажу, не надейтесь. Черт с вами, пропадайте под землей!

— Бьется — это верно! — согласился Сергей.

Михай нехорошо осклабился:

— Целик небось завалился?! Ну, скажи честно? — с настороженным беспокойством заговорил он, вытянув шею, перебирая мясистыми губами.

— Упал... — выдохнул Сергей и, повернувшись в нашу сторону, вдруг подмигнул заговорщически.

— Не должно бы... Может, вы костерки потревожили?

— То не костерки были, а целые горки леса. Из-за твоих костерков на шестом участке комбайн простаивал — крепить лаву было нечем.

Михай не принял объяснений или не поверил. Он забавно гоготнул, притопнул ногой. И вдруг заколыхался в недобром смехе. Злая радость Михая была не по душе Сергею.

— Что же нам делать-то теперь? — тешась его недогадливостью, Сергей продолжал улыбаться краешком

губ.— Говори, если знаешь что-нибудь. Ведь на пласту люди... Тут кровью дело пахнет!

— А ты сказал «дела не будет»! — порадовался Михай тревоге Сергея. — Оказывается, есть дело...

— Нет, Михай,— перестал разыгрывать собеседника Сергей. — Не быть тебе на «Великане»... Отходит богатырский пласт от тебя. Присмирел он, характер свой переменил. И тебе пора.

Михай уставился на реку бездумным взглядом. Юля тихо спросила, обернувшись ко мне:

— А почему бы не пустить Михая на этот самый пласт? Ведь человек к делу тянется. Чудно как-то: в наше время работать не дают...

Сергей услышал ее слова. Прежде чем я смог что-либо ответить девушке, горняк пояснил:

— Мы тоже так думали. По Сеньке и шапка... Но не время. Сердцем Михай не богатырь — букашка. Намучается — сам придет. Только болтать много не будет, как сейчас, бахвал... У нас он молчком вкалывал.

Михай уже не мог этого слышать. Он был далеко. Узнав от Сергея, что дорога на шахту заказана, он громко выругался, не смущаясь присутствия девушки. Подхватился с пригорка и пошел вдоль реки. Нельзя было не залюбоваться его атлетической фигурой. Было нечто мятежное в том, что Михай на поверхности земли не нашел себе достойного занятия, ушел в глубины и тоскует теперь по каменистому пласту, от которого его отлучил вот этот упрямый в непонятной покамест правоте стриженый парень с грустным взглядом.

— Не дам угля! — пророкотал Михай издалека.— Вот топну ногой сейчас, и «Великан» заржет под землей, сбросит тебя в воду.

— Обуздаем! — выкрикнул вдогонку Сергей, поднимаясь.— Тебя обуздали, подберем ключи и к «Великану».

Вдалеке грохотнуло. Пробовала ли силы гроза или кто-то из нетерпеливых рыболовов опустил в омут взрывчатку.

— Какие люди! Какие люди! — горячо зашептала Юля, глядя куда-то мимо меня. В глазах ее застыл вопрос, изумление.— Мне кажется, что пласт этот тянется и сюда, под рекой проходит... Вот бы глянуть!..

Она хотела было искупаться, но раздумала, села на горячий песок и с завистью поглядывала на тех, кто плыл по течению, за изгиб меловой горы. Однако и то, что происходило здесь, было ей интересно.

Сергей ловко схватил в ручье красноперку и легонько подкинул ее над головой Юли. Рыбка затрепетала в девичьих ладонях. Сергей получил за этот нежданный подарок признательный взгляд Юли и запросто подошел к нам, словно ему стало вдруг одиноко. Юля неловко размахнулась и бросила красноперку на широкое течение. Вода вздрогнула в том месте и разошлась кругами.

— Вы очень хорошо держались,— торопливо заговорила девушка.— И не вяжитесь с этим Михаем! Ему ведь ничего не стоит... Хоть люди рядом, но ведь здоров он, как вол. Глядишь, и руку поднимет...

— Что вы! — оскорбился Сергей за мнимого врага.— Михай не драчлив. Да он и не дурак силой своей разбрасываться попусту... Всякое можно подумать о Михае, но чтобы кулаки в ход пускал...

Слегка скосив глаза на меня, будто определяя, кем я довожусь собеседнице, Сергей отодвинулся от девушки, присел на прогретых корневищах вербы. Несколько минут все мы думали каждый по-своему: «А какой же он, Михай, на самом деле?»

— Недавно парень этот в наших местах,— проговорил горняк не торопясь.— Молдаванин он. Из деревни такой, где лошадьми с дедов-прадедов торгуют. Дока по этой части, говорят, не меньше, чем по углю... Трудно сказать, куда бы его черт занес, если бы не отличился в драке. За невесту с ровесником срезались. Загубил Михай соперника. И зазнобе под горячую руку досталось. В Воркуту попал, на шахту. Опустился в забой первый раз — белый свет с овчинку показался! А там, словно в насмешку, шахтеры между собой толкуют: «Конь!», «Упряжка». Полоска угля конем зовется, упряжка — рабочая смена. Ну это если по привычке, по-старому.

Припадет Михай грудью к забою и шепчет свою новую молитву: «Конь, конь... вывези меня на волюшку!» И что же вы думаете? Вывез! Еще как вывез!

Сергей улыбнулся невесело, покачал головой, явно жалея незадачливого Михая, продолжал:

— Глаз у Михая орлиный, пласт насквозь видит. Втолковали тамошние, что за пять норм пять дней сроку засчитывается. Осатанел в работе! И двух лет не прошло, выехал Михай на этом самом «коне» на волю. Навестил село свое, попировал с родственниками неделю, покатался верхом на колхозных лошадях, а потом бочком-бочком в сторону. В угольные края потянуло.

Шахту выбрал победнее, боялся, что не примут бывшего под судом. Рубит уголек день, другой. Не хуже, не лучше каждого. И все же знающие горняки по повадке в нем добытчика приметили. Придуривается человек: пол-смены анекдоты точит, а все равно меньше нормы не выходило. И больше не спрашивай. Горняки — народ дошлый. Им ясность нужна, если что — прямо скажи. Выходило, что мстит кому-то Михай. И в самом деле. Подпоили как-то: зарычал как медведь да кулаком по столу:

«— Не прощу!»

— Кому? За что?

Молчит.

На соперника зло затаил? Нет его в живых. Суженая его замуж выскочила. Советской власти — тоже вроде бы не за что: досрочно выпустили из заключения, рабочему делу нашему обучили. Ждем, что выкинет Михай.

— А как же с этим самым «Великаном»? Неужели Михаю удалось первому докопаться до богатого пласта или жилы — как там у вас называется? — выпалила Юля сразу.

— Где там «первому»?! — Сергей недовольно повел бровью.— «Великан» известен всем на шахте еще от дедов. Алмазный пласт! Подземная кладовая. Только повадки дрянной — кровожадный уголек там. Обвал за обвалом... А то еще загорится изнутри, ничем не потушишь, пока сам не остынет. В общем, прикрыли пласт, доступ к «Великану» забили породой, горбылями зашили штрек и вспоминать не хотели.

Сергей помедлил, вглядываясь в наши лица, будто проверял: понимаем ли. Продолжил:

— Прослышал как-то Михай, что есть на шахте такой пласт. Люди на поверхность спешат после смены, а он на Алмазном пасется. Топором стойки пробует, принюхивается. Пришло время — в шахтком заявился: «Пустите на «Великан» меня с братвой!» Посмеялись над новичком, горькую бывальщину вспомнили. Но Михай об этом и сам не раз слышал. Дружков себе подобрал. После смены расчистку штреков ведут, к заветному пласту подбираются. Начальство наше узнало о том, что Михай хозяйничает на «Великане», когда он уголек оттуда погнал...

А уголек позарез нужен был! Триста, а то и все пятьсот тонн к плану не докладывали скопом. Должок за шахтой был небось в состав длиною, если не больше. Горняч-

ки проходу начальству не дают: ни премиальных мужикам, ни заработков путных. Ну, решили: была — не была! Еще раз толкнемся к скаредному пласту. Тем более что доброволец выискался. Подписку с него взяли: если что — сам и отвечай за себя.

Сергей проводил глазами трясогузку, подлетевшую на какое-то мгновенье к его ноге, и принялся досказывать:

— Верьте или не верьте — пошла добыча в гору!.. Вот тут Михай и показал себя. С фасоном этаким заходит перед сменой в шахтком — никаких очередей не признавал:

«Сколько, начальничек, нынче для полного вашего благополучия перед вышестоящими добыть полагается?..»

Нужно шахте тысяча — даст тысячу тонн. Скажут четыреста — получи сверх тысячи еще четыре сотни. Правда, в угоду Михаю обижали другие участки. Кому леса нет, кому с порожняком затвоздка. Михаю и не заикайся об этих вещах. Вынь да положь. Мирились: добычной участок! Беспроигрышная лотерея! Цветами встречали на поверхности. И стоило: шахта ожила, вровень с лучшими в тресте пошла. Начальство шахтное повеселело. Хотели Михая наградой отметить, да вовремя кто-то остепенил. Чужого глазу не терпел парень на себе. Поймает любопытного — шапку подзатыльников получай. И делегаций не признавал. Сопит, молча вкалывает, от корреспондентов нос воротит в сторону: «Мы люди темные... Нам бы гро́ши да харчи хороши».

— Но не всегда же он был такой дурной,— усомнилась Юля. — А все же интересный он, правда? — Это уже было обращено ко мне.

Сергей сказал с иронией:

— Очень даже интересный! Только интерес к жизни у него особенный. Оседлал своего конька покрепче, взнуздал на пласте шахтный план и разговор повел все круче и круче. Разговаривал с глазу на глаз, без свидетелей. Издалека начинал.

«Скажи, начальничек, есть от меня польза на шахте?»

«О чем разговор, Михаил Оскарович»,— отвечал тот Михаю.

Начальник у нас — товарищ Курчавый — кругленький такой, верткий. План у него торчмя в голове стоял. Ради угля на что угодно решится. Смешно вспомнить: шабашные бригады сколачивал, штурмовые. Когда план синим

огнем горел, на шабашниках выезжал. Деньги, как купчик, разбрасывал. Так вот, беседуют они в кабинете:

«И государству и людям польза есть?» — нажимает Михай.

«И государству и людям»,— соглашается Курчавый.

«Не пора ли о моей личной выгоде в таком разе подумать?» — припирает к стенке Михай.

«Мы же вам, Михаил Оскарович, квартиру отдельную дали, на «Волгу» вне очереди записали. Деньгами будто тоже не обижены — все сполна начисляют. Если обида какая — проверим, накажем...»

«Сполна, да не вровень! — говорит Михай. — А за талант ты мне, начальник, ни шиша не прибавляешь? Забыл, что ли?»

«Это за какой-такой «талант»?» — Курчавый бледнел, когда с ним загадками объяснялись.

Михай позволял себе развалиться в кресле, ноги по ковру разбросает. Барон, да и только.

«Все говорят, что я человек особенный... Вроде ученого или из тех, которые прыгают выше своего роста. Может, мне эти самые атомы в угле открылись? Никто до Михая не совладал с «Великаном»? Никто! А если так, то я под законное правило подхожу: надбавка мне за талант полагается. Можешь, начальник, наводить критику на меня — не обижусь. Считай меня пережитком социализма — дело хозяйское, не обижусь. Согласен: души нету, но гони монету... Ха-ха-ха!»

— Смеется! Над беспомощностью Курчавого смеется! Ведь вот как еще бывает!.. Деньжищ Михай выдал на-гора из нашей бухгалтерии не меньше, чем угля с «Великана». Почувствовал слабость Курчавого, совсем обнаглел: если, говорит, там почести какие полагаются, отоварьте десятками.

Бригада у него слетелась чернокрылая: шабашники — не шабашники, а рабочей совести ни на грош. Подобрались один к одному, хваты. Даже в узких брючках сморчок с усиками у «Великана» подвизался — за душеприказчика, что ли, держал его Михай?.. Угля от этого козлика не спрашивай, зато «талант» в Михае откопал, на свару подталкивал, воду мутил, стервец.

Сергей посмотрел на часы и непритворно охнул: время уходило за полдень. Парень начал поспешно одеваться, бросая нам отдельные фразы:

— Пробовали другую смену сколотить из комсомоль-

цев — Михай на дыбы взвился: «Надо тысячу тонн — тысячу выдадим, только не мешайте! А не доверяете мне — начинайте сначала, как я начинал. Завалю штрек и уйду на соседнюю шахту...»

На работу перестали ходить. Пьют, наглецы, в ресторане среди бела дня и в общежитие горячительное таскают. Тут мы и поняли: дело — швах! Дальше ехать некуда. И Курчавый обозлился на Михая, дошло наконец или втолковали умные люди. Команду нам подал: «Действуйте, комсомолия, ваше время приспело!»

Созвал я к себе парней десяток из бывших флотских. Стали мы исподволь тоже заглядывать на «Великан». А когда Михай со своими забражничал, остались на целую смену. Видим, получается, тогда и разговор с рвачами повели настоящий, шахтерский.

— Увел Михай свою стаю,— заканчивал Сергей. — Гордости не превозмог. Насчет таланта он не врал, между прочим. Уголек ему сам в руки шел. Конечно, «Великана» мы и без Михая одолели. Насчет всяких неполадок я ему сейчас говорил, чтобы подразнить. Пусть кипятится. Любовь — она ведь и в работе о себе напомнит, любовь к делу. Мужская, настоящая...

Мы молчали, думая в это время о несметных кладовых, что веками и тысячелетиями накапливала природа в подземных глубинах. Думали и о неодинаковых пластах, залегающих в сердцах людей. А ведь Сергей с Михаем — ровесники! Им еще жить да жить, топать по дороге рядом!

Уходя, Сергей спросил у нас о том, что, видимо, не переставало беспокоить его самого:

— Как вы думаете: вернется к нам Михай?

Девушка, закусив губу, склонила голову, теребила косу, молчала. Ей, похоже, не хотелось видеть этих ершистых парней вместе.

Я же не спешил с ответом.

Лишь извилистый ручеек, торопливо бегущий к большой реке, отозвался Сергею чистым звоном...

1957

НЕ БЛИЖНИЙ СВЕТ

Ах, память, память! До чего же ты порою привередлива и капризна! Каких-нибудь двадцать лет прошло со времени учебы в университете, а, стыдно признаться, не на-

зову имена всех сокурсников, хотя в лицо опознал бы любого. Но вот товарищей по армейскому строю, друзей по блиндажам и окопам, роту свою со старшиной Вениамином Соколовым, сибиряком, стоящим со списком в руках у первой шеренги,— и сейчас переберу пофамильно без единой подсказки. И, конечно же, припомню то, чего не имелось ни в какой другой роте. К середине переклички строгий наш старшина вроде бы беспричинно начинал улыбаться, опускал список, и рота скандировала: «Попов, Поповский, Попадьин...» Числился и Попенок!.. Гриша Попенок, второй номер пулеметного расчета, сбитый снайперской пулей под венгерским городом Дьёром... Да будет, побратим, земля тебе пухом, останешься в памяти сверстников ты навечно! А другие из старшинского списка? Большинство их — увы! — тоже живут лишь в памяти однополчан.

А еще — память о хлебе... Хлеб детских лет. Такое невозможно забыть. Наверное, с ломтя хлеба и начала струиться сначала ручейком, а после набирать силу реки память моя.

Однажды приехали с ярмарки отец и мать. С ними какая-то тетя из родни, что ли. Мы, четверо братьев, один другого мельче, как галчата из гнезда, наблюдали с печи из-под дерюжки: вот сбрасывают с себя долгожданные путники промерзшую по метельной поре одежонку, хукая в ладони, отогреваются, развязывают узлы. Обширная, как дежа для запарки теста, дородная гостья принялась задабривать малышню гостинцами. Двум братьям досталось по жамке, политой медом. Еще один получил изрядный тульский пряник, отсвечивающий в пламени лампадки медью. Мне, самому крохотному, и не сразу вынырнувшему из-под дерюжки, вроде бы и не нашлось в кошелке нерасчетливой тетки подарка. И тогда она, окунув руку в кошелку еще раз и пошевелив там, извлекла кусок чего-то такого, что было явно крупнее иных ее подношений и совсем не известно мне. Это нечто, невиданное прежде, источало вкусный запах, но даже на детской ладони было почти невесомым, как вата. И я принял тот дар за игрушку. Обиделся, конечно. Братья сопели от удовольствия, вгрызаясь в свои жамки.

Я подержал на вытянутой руке городской гостинец и протянул тете обратно.

— Что ты, Колюшка!.. Попробуй сначала! — испугалась гостья. — Бери, бери!.. Это хлеб.

— Дают — бери, а бьют — беги,— возясь с тюком покупок, поддержал ее отец, не очень-то наблюдая за тем, как знакомится ярмарочная попутчица с его многочисленной детворой. Отец любил всякие прибаутки, когда был в хорошем настроении.

Я все еще держал на ладони неведомый мне подарок, борясь с соблазном и не желая, чтобы меня надули.

— Разве хлеб может быть такой легкий? — пролепетал я. — И совсем белый?

Перебивались в деревне тогда скибками причерствевшего каравая, сдобренного мятым картофелем, истолченной в ступе листвой, тертой корой, жмыхом, конопляным семенем. По цвету каравай тот мало отличался от комка земли, весом же превосходил его. А предложенный мне городской гостинец смахивал на клок льняной кудели от бабушкиной прялки. Да и вообще, может ли хлеб быть *белым,* размышлял я, готовый зареветь от обиды.

Отец все еще возился с тюком, и тогда я взглянул на маму, ища поддержки. Скинув полушубок, но еще в шали с налетом изморози, она стояла спиной ко мне, лицом к образам. Полотняная невестинская сорочка ее, ярко расшитая цветными нитками по предплечьям, обвисла. Плечи мелко вздрагивали. Мама плакала. Я подумал: своим неучтивым поведением расстроил ее, уставшую, и она плачет, стыдясь за мою невоспитанность. И тогда, прижав легкий кусочек хлеба к груди, нырнул под дерюжку.

От загадочного приношения гостьи мне досталось совсем немного, потому что братья, управившись к той поре со своими жамками и пряником, захотели убедиться в том, что хлеб в самом деле бывает белым. Когда ломоть обошел всех братьев, от него осталось ровно столько, чтобы и я мог убедиться, как вкусен белый хлеб...

Несколько позже, хотя время близилось к полуночи, был ужин, было веселье. Нам показали обновки: валенки, хомут, две чугунные сковородки, что-то из тряпья. Взрослые наперебой вспоминали об удачной поездке на ярмарку и то, что они там увидели, как торговались, и такими подробностями помогли нам, ребятне, почувствовать себя тоже участниками отгремевшей ярмарки. Гостью уговорили остаться ночевать: в подлеске за деревней шастали волчьи стаи. Ушла она все же рано, едва забрезжил рассвет.

Наутро дедушка Данила принес мне выточенную из сухого березового полена забавку с множеством круглых

шаров разной величины, как бы нанизанных на невидимый стержень.

Проговорил в усы и словно с завистью:

— Эк ты подзагнул, однако: «Хлеб не бывает легким!..» Сам удумал или слышал от кого?— Не дождавшись ответа, заключил:— То правда, внучек! Истинная правда!

Много мне пришлось походить по земле. Уверился я сполна в той истине, сорвавшейся с детских губ ненароком, словно по подсказке. Знавал я булки и паляницы куда легче на вес, выпеченные мастерицами более гораздыми, чем ярмарочные торговки уездного городка. Но не встречал хлеба легкого по вложенному в него труду. По крайней мере, легкого для тех, кто сеет его и жнет.

Да, был первый незнакомый хлеб, первая своя дорога. Как-то, порой еще дошкольной, мама провожала меня навестить бабушку. Бабка Алена жила в двенадцати верстах от нашей Тереховки. Трудно сейчас докопаться до причин, побудивших мать отправить без сопровожатого пятилетнего мальчонку в столь дальний путь. Чтобы добраться до бабушкиного поселка Гремучего, предстояло миновать деревни Суслово и Жучок с их драчливой, воинственно относящейся к чужакам ребятней. Может, я мешал матери, занятой полевыми работами в те дни. Не исключено, что мой нежданный визит надобился для подтверждения того, что о старой Алене не забывают. Собирая мне подорожный харч и гостинец бабушке, обвязывая приношенным платком широкую миску с блинами, мать сожалеючи поглядывала на меня и вздыхала, казнясь за эту сомнительную затею. То и дело роняла слова:

— Не ближний свет!

Недалеко от Суслова из-под горы мощно хлестал зеркальной струей родник. В ручье застревали груженые подводы. И тогда мужики, засучив порты выше колен, помогали коням. От Жучка дорога прерывалась глубокими оврагами. А там и вовсе надо было идти лесом. Все это мама обговорила мне, растолковала, как перебраться через ручей, чтобы не угодить в копани, где обойти овраг. Сказала даже, что если заблужусь, к кому вернуться в Жучке (четвертая от колхозной конторы изба, а живет в ней Авдотья Степановна, золовка соседа). И после каждой такой растолковки повторяла:

— Не ближний свет!

Позже я подумывал, что, посылая к бабке одного, ма-

ма испытывала меня на самостоятельность, ставила «на крыло». Если так, то спасибо ей!

Пять деревенских лет — это уже возраст, когда мальчишке или девчонке доверяют стадо гусей, посылают в дальний лог за щавелем или на покосы отнести косарям обед. Чуть позже сажают на коня бороновать, а умеющий управиться со скотиной,— считай, полноценный работник. В любое время заменит возчика или оратая.

До поселка Гремучего я добрался без особых потерь, если не считать вымоченных в леденящем роднике праздничных и единственных в то время портов. Не донес до пункта назначения два блина...

Однако и детская фантазия моя, помноженная на отмеченную дедом Данилой прозорливость, не могли мне сколько-нибудь верно представить, какие *гремучие* дали предстоит преодолевать моим ровесникам через какой-нибудь десяток лет.

Скудным ли, щедрым на радости выпало детство, теперь не определишь в точности. Да и надо ль заниматься подсчетом и взвешиванием даров судьбы и ее оплеух. Зато обильным был труд.

Я низко кланяюсь моим родителям за то, что они не щадили нас в работах. Дар любви к труду, принятый от старших! Что может быть драгоценнее?!

Пехотное подразделение, в котором третий год служил рядовой Василий Глущенко, первым вышло к овражистому берегу Южного Буга. Норовистая, злая река: в местах, где поуже, струи ее, будто веревки, вьются... Не успеешь войти в воду, и тебя понесло! Широкая вода поспокойнее. Не только с виду. Крутят ее омута, не у этого берега, так у другого, а то и вовсе на середине. Лодчонку добыли одну, дырявую. Кое-как переправили на ней четырех автоматчиков, и за то спасибо. На третьем рейсе крутнуло ее, зацепила низким бортиком воды и пошла ко дну. Бойцы едва выплыли. А тут миномет подошла очередь на другой берег доставить.

Автоматчики скатали потуже шинели, тесемочками привязали к ремням автоматы. Кто доску добыл, кто коряжину приспособил. Миномет разобрали: ствол, стойки — растащили кому что под силу. Не нашлось лишь охотника взяться за плиту. Носивший плиту на маршах младший сержант Петухов на суше быка кулачищем свалит, в во-

де же — это все знали по прежним переправам — как утюг. Самому подмога требуется.

Ротный, капитан Нестеренко, забеспокоился. Все вооружение и боеприпасы разобраны, рота ждет сигнала к форсированию реки, а минометная плита, будто ненужная вещь, валяется на куче прелого лозняка.

И вот к стальному настывшему кругу приблизился автоматчик Глущенко. Взвесил на ладонях, понянчил, снова опустил. Задумался. Поглядел на реку в самом узком и злом месте. Опять подумал о чем-то. И лишь тогда подошел к капитану:

— Разрешите мне... с плитой.

Был Василий от рождения щуплый, поизрасходовался вдобавок на длинных маршах с боями. Обветренные скулы так и выпирают. А глаза — узкие, вприщур. Не богатырского вида парень. Офицер оглядел нескладную, худенькую фигуру левофлангового второго взвода, перевел взгляд с него на кружало вогнутой стали. Плита эта показалась капитану еще более огромной, а выходка рядового Глущенко — бахвальством.

— Как же ты ее? — почти с раздражением спросил капитан. — Впереди себя толкать решил или оседлаешь на середине реки?

— По дну, товарищ капитан, пронесу! — ответил Глущенко, жестко уставившись в лицо офицера. Так смотрят лишь те, кто отважился на что-то небывалое. В деревне говорят: или кол напополам; или плетень вдребезги! Кто-то нервно или зло хохотнул в строю. Все мы напряженно вслушивались в словесную перепалку, вдруг возникшую между офицером, отвечающим за сохранность личного состава и техники, и рядовым, до той поры ничем не выделявшимся...

Капитан, похоже, и сам не встречался со случаями, когда боевую технику транспортировали под водой. Отвага отвагой, но и риск не должен выглядеть дурацким.

— Вишь ты! — все еще сомневался он. — Брат Черномора в роте отыскался!

С того берега уже постреливали. Наших дозорных заметили, и небольшая группа гитлеровцев отделилась от глинобитного скотного двора, направляясь к реке. Не исключено, что за дворами их было побольше, и если не поддержать наших дозорных огоньком, им несдобровать. Хоть умри — миномету на той стороне место!

— Приготовиться к форсированию реки! — подал

команду капитан. Все повернулись к реке и еще раз помогли друг другу осмотреть поклажу. Были и такие, что просили помочь — плохо плавали. Подняли доски, щиты, двое взялись за концы провода...

Василий подошел с плитой к самому берегу, повел плечами, глубоко вздохнул раз, другой, шумно выдохнул. Затем вошел, не выпуская ноши, в воду по пояс, будто пробуя ее на вес в воде.

За спиной прозвучал предупреждающий голос капитана:

— Уронишь плиту — можешь вместе с нею на дне оставаться!

— Слушаюсь! — глуховатым голосом, но твердо откликнулся Глущенко.

Не однажды побывавший в переделках солдат и сам понимал необычайную сложность своей задачи. И, еще раз вобрав полную грудь воздуха, Василий повременил, словно сотворяя молитву, и погрузился в пучину.

Каждый раз при форсировании водных преград в полном боевом снаряжении мы теряли двух, а то и больше воинов. Погибали, конечно, и от пуль: случалось плыть под обстрелом с вражеского берега. Но чаще все же гибли те, кто в ранние годы не научился как следует плавать,— попросту говоря, выбивались из сил. Ничего хорошего не сулил нам и Южный Буг — мутная, свирепая река, еще не совсем вошедшая в берега после разлива. Но случилось чудо, быть может, порожденное неслыханной выходкой рядового Глущенко. Каждый из неважнецких пловцов роты, будто подстегнутый примером «подводника», добровольно пошедшего с минометной плитой по дну, рубил воду руками, ногами, отфыркивался, случайно окунувшись с головой, напрягался, барахтаясь из последних сил. Но что же станется с тем, кому и дыхнуть нельзя?..

Некоторые были еще на середине реки, когда на другом берегу из редкой гривки камыша выполз, нагнувшись, и тут же упал Глущенко. Но сразу поднялся, нырнул снова в камыши — и, встав уже во весь рост, вскинул над головой пудовый кругляк железа!

— Ура! — выкрикнул кто-то. Кто мог, у кого рот не был забит водой, поддержал этот победный крик. А Василий уже тащил волоком плиту на глинистый взгорок, где залегли наши дозорные. Мы даже не заметили поначалу, что Глущенко вышел из воды без шапки. Некрепко парень привязал ее, а может, так полагалось по его диковинному

расчету: мол, если шапка всплывает, значит, не мог нарушить приказ, остался на дне вместе с плитой...

Время, пока Глущенко брел под водой с одного берега на другой, показалось нам тогда нескончаемо долгим. Но капитан уверял, что прошло две минуты тридцать секунд. После мы не раз пытались в порядке тренировки задерживать дыхание и отсчитывать секунды. Никто не выдерживал и половины того срока.

К простецкой с виду истории этой я могу спустя много лет добавить лишь то, что, не будь с нами в то пасмурное утро миномета, едва ли удержали бы захваченный «пятачок» на вражеском берегу. А Глущенко, будто в отместку за его дерзостное решение, ужалила в том бою вражеская пуля...

Сейчас диву даешься: откуда брались силы? Вмерзали в затопленные поздними осенними дождями траншеи, когда на смену дневной слякоти опускались на поле боя зимние вьюги; делали марш-броски, чтобы поспеть на выручку туда, где обнаруживался вражеский прорыв... по семьдесят километров в сутки! И тогда казалось: невмоготу! А шли, шли...

Впрочем, из ничего, как говорят, ничего и не берется. Волга — и та с малого родничка начинается. Так и жизнь человеческая — у каждого из нас была какая-то первая долгая дорога. И ее полагалось протопать своими ногами, преодолеть самому.

И тут вспоминается мне еще один случай из фронтовой жизни, когда надо было *кому-то чтó-то* придумать, чтобы спасти положение, вспомнить, как поступали в таких случаях старшие, дорыться в глубинах души до того, что иначе не назовешь как опытом народным.

Случилось это на подступах к Днепру в большом селе, километрах в пяти — семи от передовой. Время от времени нас приводили сюда подразделениями помыться, сменить белье. Баня действовала круглосуточно. Знали об этом и немцы. По-фронтовому рассуждать: шесть километров — это уже глубокий тыл. Не только мылись, принимали пополнение, чинили оружие, запасники проходили краткую подготовку перед сменой поредевших на передовой подразделений, да мало ли что. Именно поэтому вражеская тяжелая гаубица, расположенная где-то за линией фронта, методически «поплевывала» в сторону этого селения снарядами. Минута-другая пройдет — взрыв!.. Затем через такой же промежуток, с немецкой аккуратностью,

опять взрыв... В огородах, на улицах, между домов кладет снаряд за снарядом. На моих глазах от одного такого взрыва расползся, осел и превратился в груду дымящегося хлама большой домина. В тот миг я еще подумал: а ведь в каждом из уцелевших строений ночует по три-четыре десятка бойцов! Эта музыка продолжалась и ночью. Обстрел прифронтового села действовал на психику еще не обстрелянного пополнения. Однако ко всему человек постепенно привыкает. И даже к тому, что тебе на голову может свалиться «гостинец», начиненный взрывчаткой.

Банный день в роте проходил отменно. Команда обслуживания выложилась сполна: нагрели воды, колосники прожарки распалили чуть не докрасна... Мы гоготали от удовольствия, шутливые выкрики то и дело возникали в просторном помещении. Белье наше, согласно инструкции, выдерживалось положенное время в прожарке, и мы не спешили закругляться. Но вдруг страшной силы взрыв потряс бревенчатое сооружение. Что-то рухнуло, задребезжали и без того оставшиеся почти без стекол рамы, в моечную хлынули потоки студеного воздуха: дело было зимой! Мокрые, а кто еще и намыленные, солдаты ринулись было на выход, поближе к теплому белью и ватникам. Но выход завалило бревнами, окно прожарки, как и положено, было заперто изнутри железным засовом, обеспечивающим герметичность...

И тогда подал голос грубоватый лицом, чуть сгорбившийся солдат. Скомандовал по-деревенски нескладно:

— Слухай меня!.. Казать буду, как без полотенца обтереться можно насухо!

Мы обступили этого чудака. А он — до сих пор не знаю его фамилии — встал на скамейку и, крепко обхватив мускулистую, уже покрывшуюся пупырышками руку, другой рукой так плотно повел шершавой ладонью по предплечью, а затем вдоль бедра, что кожа брызгала капельками, освобождаясь от влаги, гибельной в настывающем помещении. Потом он крепко сцепил кисти рук на голове, провел раз и другой. По шее потекла тонкая струйка воды. Затем кто-то провел своими ладонями вдоль его спины...

В моечном отделении поднялся галдеж. На время забыли и о смраде, оставленном разрывом снаряда, и о холоде, и о белье, стряхивая с разопревших тел влагу.

В суматохе забыли о зачинателе этого бесполотенечного обтирания, но не забыл о своем, пусть малом, пре-

имущество перед новичками сам солдат. Он поддел тазиком угол перекосившейся оконной рамы, на минуту выставил ее и прыгнул на снег. Голый, но сухо вытертый. После мы узнали, что ему пришлось разбрасывать обломки бревен в предбаннике, кого-то вытаскивать из-под завала, контуженного. Он же ворвался в задымленную, режущую гарью глаза прожарку с бельем, откинул железные створки и начал швырять нам комплекты одежды.

Лишь начал... Потому что, подав в распахнутую «амбразуру», соединяющую отсеки бани, два-три комплекта, солдат задергался, стал хватать ртом воздух, оседать и упал — угорел. Но другие через окошко уже успели ворваться в прожарочную и закончили множеством рук эту, начатую одними руками, работу.

Через каких-нибудь полчаса рота в полном составе шла на передовую, к привычной военной страде. Шел с нами и солдат, оставшийся в моей памяти со спасительной командой: «Слухай меня!»

В колонне нашей, бодро поскрипывающей по снегу, все еще оживленно обсуждали пережитое в бане.

...С годами я успел забыть об этом, в общем-то, не выдающемся случае. Но вот недавно в гости припожаловал бывший мой сослуживец, пулеметчик, сержант Георгий Тепляков. С дороги принял душ, понежился в ванне. Я постучался в ванную, предложил потереть спину. Егор не отказался. Однако, когда дело дошло до обтирания, он вроде бы не заметил висящих в ванной махровых, вафельных, набивных — предложенных ему на выбор полотенец. Бывший пулеметчик так ловко и сноровисто действовал руками, что я сразу вспомнил, откуда у него эта наука. Взялся он, конечно, и за полотенце, но как-то нехотя, словно отдавая дань «городской моде».

Встреча старых друзей — сплошные воспоминания! Перебирая в памяти горькие и славные эпизоды тех отлетевших дней, мы не вдруг набрели на того солдата, выручившего роту в бане. Жив ли? Наверное, жив еще, хотя и в той поре он на десяток лет был постарше нас с Егором. Годами — на десяток, а мудростью, может, на целый век.

...Командир танковой бригады подполковник Чурилов, вызвав меня и двух сержантов нашего взвода, поставил задачу: проскочить на мотоцикле с коляской к окраине Вены, с ходу дать две-три короткие очереди из пулемета,

тут же спешиться, обстрелять точки, откуда раздадутся ответные выстрелы. Выяснить, не взорван ли мост через реку, опоясывающую город с юго-западной стороны. По данным воздушной разведки, в Вене еще были фашисты. Но где проходит линия обороны врага? На окраине города, за рекой? Удастся ли танковой колонне с ходу ворваться в город?

Посмотрев каждому из нас в лицо, будто прощаясь, комбриг вдруг уменьшил разведгруппу, отослав в подразделение пулеметчика Степичева.

— Поедете вдвоем с сержантом Красновым,— сказал он мне.— Вы — за старшего.

(«Краснов, Кульбачко, Каракозов...» — из старшинского списка, только более ранней поры.)

В глазах комбрига я прочел: «Потерять двоих в разведке боем — это все же лучше, чем троих». Он был прав: ссечь несущихся по широкой автостраде мотоциклистов мог любой автоматчик, оставленный в заслоне.

То ли комбриг в чем-то просчитался, приблизив колонну на недозволенное расстояние к исходной позиции, то ли Краснов гнал мотоцикл на немыслимой скорости, но мы довольно скоро выскочили на совершенно голый взлобок у дорожного знака со словом «WIEN». Накатанное шоссе круто спускалось вниз, к мосту. Неширокая река бурлила, ввинчиваясь водами в суженный бетонными берегами проем под мостом. Дальше вставали ряды серых многоэтажных домов. Кое-где дымилось: накануне город бомбили американцы.

Вокруг разлеглась, затаилась тишина. Ее даже не хотелось спугивать пулеметной очередью. Но так было приказано. Я дал очередь поверх домов. Затем, когда мы спешились, повторил, вглядываясь в онемевший город. Никто не отвечал нам. Не было заметно и простыней, обычно вывешиваемых жителями на балконах в тех городах, которые были свободны от войск. На мгновение я усомнился: может, это и не Вена? Ведь очень уж не похоже привычное нам с уроков географии название этого города на то, что было начертано латинскими литерами на квадратном столбе над нашими головами: «WIEN».

«Ну, хорошо,— размышлял я, продолжая вглядываться в узкие проезды между домами, доступные глазу со взгорка.— Пусть не какой-то Виен, а настоящая Вена, но что я доложу комбригу, если спросит про мост? Может, он заминирован и взлетит от взрыва, едва на него вступят

танки. Если так, то уж лучше мы с Красновым!..»

Сержант, наверное, думал о чем-то другом, полагая, что мы сделали все согласно приказу старшего. Прислонившись спиной к столбу с названием австрийской столицы, он обхватил голову ладонями и произнес с нескрываемым изумлением: «Ты хоть соображаешь, куда нас занесло!» И закончил почти совсем забытыми мною словами: «Не ближний свет...»

И тогда я вдруг почувствовал: наш путь не окончен. По моему знаку опять оседлали мотоцикл. Краснов стал выворачивать руль, чтобы ехать обратно, но я попридержал рожок руля, поставил его ровно. Скомандовал с яростью, не узнавая своего голоса:

— Вперед!

На полном газу мы провалились под откос и въехали на мост с такой скоростью, что, взорвись он под нами, мы все равно перелетели бы на другую сторону. Но мост не разломился надвое, не брызнул огнем и камнями. Мост покорно пропустил нас в город Виен. Зная, что в таких случаях полагается, мы кинулись под мост. Искали проводку, свежие рытвины, какие-нибудь приметы работы минеров. Уж этот-то конец моста должны были заминировать наверняка. Ничего! Никаких примет! Может, взрывчатка в воде? Но это было бы уже слишком.

Мы вернулись к мотоциклу и, проделывая явно не то, что нам полагалось, объехали ближний квартал, постреляли на площади, вернулись к набережной и только тогда послали вверх три ракеты.

...Нарастал гул приближающейся танковой колонны. Из распахнутого люка головной машины выдвинулась знакомая фигура в шлеме. Чурилов помахал нам рукой, и танк его медленно стал спускаться к реке. Бригада вошла в город, и только на северо-западной окраине Вены нас встретили яростным огнем. Как выяснилось позже, нас ждали именно оттуда. После боя мы похоронили в братской могиле сержанта Краснова.

Война для меня закончилась, но не ближний свет странствий только начинался. И самым диковинным он оказался не в чужедальней стороне, а на родине, когда наступили совсем взрослые годы и землю отичей и дедичей пришлось как бы открывать для себя вновь в лицах людей знакомых и виденных впервые.

И были те встречи не менее удивительны...

1976

ПОСЛЕДНЯЯ ПРИМЕРКА

Едва перешагнув порог квартиры, Анна прижала прохладные с мороза кисти рук к щекам и так, не раздеваясь, метнулась по ковру к зеркалу. Она чувствовала жар в лице, пыталась унять этот жар. Ей хотелось посмотреть на себя, быть может, глазами мужа. Окажись Алексей дома, все могло произойти по-другому.

Случается так: заспешишь — споткнешься на ровной дороге. Чертыхнешься с досады, потрешь ушибленное место. Невольно задумаешься. Ведь поблизости другая тропа!.. Всегда кажется, что та, другая, лучше.

Привыкшая часто и подолгу смотреться в зеркало, Анна не нашла там ответа. Нет, лицо ее не подурнело. Разве чуть шире разлился по щекам румянец. Ничего нового не сказали ей и глаза — слегка увлажненные, с зеленоватыми протуберанцами вокруг синих зрачков. «Озерца в березовой роще»— вспомнились слова Алексея, сказанные на прощанье.

Ничто так не успокаивает женщину, как уверенность в своей красоте. Анна сняла шубку, села на кушетку, подобрав ноги. Мысленно отругала себя: «Ты, Анна, чересчур доверчива на чужое слово! У тебя есть муж, вечно занятой, забывающий в делах о самом себе. Ему положено быть на людях безупречно одетым, ухоженным, с запасом домашнего тепла, без чего любой руководитель — не человек, а заржавленный гаечный ключ... У тебя шестилетний сын, ему год до школы. Пора заняться мальчиком всерьез, а то все мама да мама. И родимая уже сдает... Большая квартира, сонмище гостей. И все это, считай, на одних руках! Алексей пришел бы в ужас от твоего решения...»

Впрочем, ничего еще не решено. Надо же было доказать этой чересчур уверенной женщине, что Анна способна на нечто большее, чем быть хорошей женой. Вот если бы хоть одним глазком заглянуть в душу Алексея: как муж отнесется к ее затее? «Может, послать бумаги главе семьи для наложения резолюции?»— шутила над собой Анна.

А началось с мелочи. В прихожую детсада, где Анна, роясь в обтрепанных журналах, ждала подругу, чтобы идти с ней на последнюю примерку платья, вытолкнули при-

готовленного домой малыша. Нянечка, одевшая мальчика, даже не вышла вслед за ним в прихожую, пробурчав из-за приоткрытых дверей:

— Порастеряют все, а ты отвечай!..

Анна увидела голову ворчуньи — небрежно причесанную, с узкими глазами и двойным подбородком. Малыш в цигейковой шубе, дожидаясь мамы, стал между двумя горячими батареями.

Дверь открывалась и закрывалась, чужие мамы уводили детей, а ребенок, закутанный в мех, прел у батареи. Анна развязала ему шарфик, ослабила верхнюю пуговицу. Наконец появилась и мама. Размалеванная блондинка, прежде чем заняться своим ребенком, прошла к зеркалу и оглядела себя, коснувшись перчаткой театрально-длинных наклеенных ресниц. У театральной мамы была привычка разговаривать о присутствующих в третьем лице: «Ах ты мой умненький!.. Ты без меня не плакал? Ты сам просился на горшочек? Тебе здесь было жарко? Тетя сняла шапочку, расстегнула — и стало хорошо? Ты поблагодарил тетю, сказал ей спасибо?» Сама родительница не обмолвилась и словом с Анной.

Как уговорились с Зоей, в четверть шестого та вышла к Анне в прихожую. Зоя работала здесь воспитательницей в третьей группе дошколят. Еще с тех пор когда сын посещал садик, Анна звала всю группу Юркиной, по имени сына. И воспитательница тоже оставалась для нее Юркиной. Зоя не обижалась. Во всей ее фигуре — худенькой, хрупкой, в больших, пронзительно-синих, удивленно-испуганных глазах, в мягкой полуулыбке,— казалось, самой природой заложено нечто от покорности, готовности услужить человеку, уважить. И сейчас Зоя вся засветилась от счастья видеть Анну, хотя та пришла за ее помощью: Анна спешила в ателье, нужен был придирчивый, независтливый глаз Зои, никто не мог ее заменить в этом.

Зоя прильнула к напудренной щеке подруги:

— Анечка, золотко, ты уж извини: привезли новую партию белья. Минут на двадцать задержусь, не больше...

Она скрылась за дверью одной из комнат, успев улыбнуться через плечо.

Познакомились они здесь же, года три назад. Анна и до того мельком встречала ее, кое-что знала о воспитательнице Юрика из пересудливых, жалостливых слов других родительниц, более дотошливых. Зоя вышла замуж в

неполные восемнадцать, а через год осталась матерью-одиночкой. Уехал на целину ее муж, разбитной парень Евгений, шофер. Любила его Зоя еще со школьных лет, относилась к своему однокласснику с какой-то немыслимой для ровесников «академической» преданностью, несла до совершеннолетия это свое чувство и первой однажды открылась парню. Тот очень удивился смелости «пигалицы», как звал ее всегда, и будто шутя сделал ей предложение... Уехал он подыскать новое место жительства и забрать ее с малышом, но вместо вызова прислал коротенькое письмо: женился там, нашел «лучшую». Зоя не поверила, рассмеялась над письмом, знала за ним чудачества, однако других посланий от мужа не поступало. Чтобы легче было перебедовать с сыном, молодая женщина пошла работать в ясли — иначе туда не принимали мальчика без очереди.

Родители детей из Юркиной группы всячески жалели Зою, старались ее приласкать, одарить за хорошее отношение к детям. Так поступила однажды и Анна, протянув воспитательнице рубль в ответ на ее согласие задержаться с Юркой на полчасика, пока Анна достоит в универмаге очередь за сапожками. Денег Зоя не взяла, покраснела до бровей. Из глаз ее посыпались крупные слезы. Через минуту она уже смеялась, успокаивая перепуганную Анну. Кончилось тем, что за покупкой они отправились вдвоем, не вдвоем, а вчетвером даже, прихватив с собой и детей. Сапожки приобрели удачно, и не те вовсе, которые присмотрела себе Анна, другие, не такие броские, но более подходящие к фигуре. Так они подружились. Потом Анна уже ничего не покупала и не заказывала себе без участия подруги, не решалась на что-то серьезное, не обговорив поначалу все свои намерения с Зоей. После такого открытия для себя Анна не раз замечала, что совета этой хрупкой, с виду незащищенной молодой воспитательницы ждут другие, старшие. Детей Зоя любила и понимала их подчас лучше, чем их папы и мамы. Лишь в одном их мнения разошлись. Когда Анна решила забрать из садика сына совсем, Зоя огорчилась, начала переубеждать и как-то совсем по-свойски призналась, что любит Юрика, привыкла к нему будто к своему.

Зоя оставалась непонятной в одном: она по-прежнему любила Евгения. Не нравилось ей, когда люди, жалея ее и восхищаясь ее достоинствами, корили беглого мужа за беспутство. Зоя упрямо ждала его. На предложения обо-

ротистых товарок познакомить с новым кавалером вежливо отмалчивалась или отвечала с усмешкой, что ей с сыном живется совсем неплохо, «лучше всех».

«Неужели ты все еще любишь его?» — допытывалась Анна. Когда у них с Алексеем произошла размолвка, она сама встречалась с другим, тоже хорошим человеком, и сейчас иногда думает, что с тем она была бы тоже счастлива.

«Люблю», — с вызывающей гордостью отвечала Зоя, и лишь глаза выдавали испуг за эту свою уверенность.

«А если он никогда не вернется?»

«Вернется!.. Его никто так сильно не полюбит, как я. Поймет он».

«Дурочка ты, дурочка!»

Зоя закончила вечернюю школу медсестер, работала теперь старшей воспитательницей, ходила на подготовительные курсы в институт. Подрос и мальчишка, Женя, названный так по имени отца. Повзрослела она сама. Появились первые складочки у рта, но она упрямо отклоняла всякие попытки что-нибудь изменить в ее судьбе. Стали поговаривать, что она примет дела у заведующей, ушедшей в преклонный возраст. Всякие разговоры об этом и слухи она отметала, твердя, что ей и воспитательницей хорошо, что она всем довольна. Сама ждала вести от мужа...

Анна не раз ловила себя на мысли, что ее новая подруга, несмотря на удар судьбы, идет по жизни уверенно, выглядит, как человек, ярче многих других, всего достигает умением держать себя в руках, направлять силы на главное. Два верных качества — трудолюбие и скромность, — в конце концов, брали свое, возмещали утраченное.

Анна всегда чуточку завидовала этой, с виду неказистой, обиженной жестоким человеком женщине с большими синими глазами, в которых смешались испуг и ожидание.

На голоса в прихожей вышла начальственной походкой рослая, по-воински прямая, с короткой прической женщина в белом халате. По взгляду, осанке, манере произносить слова властно, по затененному больше, чем у остальных здесь, морщинистому лицу Анна признала в ней заведующую. «Ей бы еще папиросу!» — подумала Анна, взглянув на тонкие длинные пальцы, сжавшие карандаш.

— Кого это здесь хвалили?.. — Приняв Анну за обыч-

ную маму, заведующая добавила дежурную фразу:— Вашего еще не приготовили?

Ей бы скрыться за стеклянными дверями, обознавшись, но женщина в белом халате не торопилась. Поглядев еще раз на Анну поверх очков, улыбнулась.

— Если не возражаете, я попрошу вас на одну-две минутки к себе.

Анна поднялась в смущении:

— Но я же...

— Да я догадываюсь,— перебила заведующая, шагнув к ней и беря под руку.— Вы ждете Зою Михайловну... Я ей разрешила уйти раньше. Она только оформит ведомости.

Когда они зашли в комнату со стеклянной дверью, закрашенной белой эмалью, Вера Даниловна назвала свое имя и отчество и тут же заговорила доверительно:

— Правда, хороший бутуз? Знали бы вы, как ваше появление здесь оказалось кстати. Эта роскошная дама,— заведующая назвала фамилию, которая, впрочем, ничего не говорила Анне,— всегда нами недовольна... И вдруг — спасибо!

Там, в прихожей, кто-то прошел из внутренних комнат, слегка задев ручку стеклянных дверей. Анна подумала, что это, быть может, разыскивают ее, и отодвинула свой табурет, стоявший на проходе.

— У меня сын такой же...

— Мне легко говорить с вами,— произнесла заведующая со значением.— У вас материнское сердце.

— Ваши слова похожи на комплимент,— улыбнулась Анна, присаживаясь.

Вера Даниловна негромко засмеялась, но тут же стала строгой, какой она, судя по выражению лица, бывает всегда. Чистый высокий лоб ее портили две прерывистые морщины, неровно нависшие над бровями.

— Мне, знаете ли, нравятся люди, которые, заглянув к нам между дел, замечают, что две батареи у входных дверей — это плохо.

— У меня такой же мальчик,— напомнила Анна.— Я его не тороплюсь выводить из подъезда, если на улице ветер.

— В подъезде у вас одна батарея?

— Одна.

— Я так и подумала,— удовлетворенно заявила заведующая.— Здесь очень недостает людей, способных замечать такие вещи.

Анна поежилась под изучающим взглядом пожилой женщины. Та отчаянно хотела выглядеть приветливой, но ее выдавал беспокойный блеск выцветших коричневых глаз. «Возьму и уйду сейчас, исчезну!»— думала Анна. «Не уходи!»— просили глаза Веры Даниловны. За стеклянной дверью снова прошуршал халат, послышалась возня, мальчишеский рев.

— Самохина!— выкрикнула заведующая, сдвинув брови так, что ниточки морщин исчезли.— Не отнимайте у Славика надувную лодку!.. Завтра игрушку вернут родители.

Нечто лающее было в ответе Самохиной:

— Растаскают, а мне потом собирай...

Вера Даниловна прошлась по линолеуму, дотянулась до форточки, толкнула ее согнутой кистью руки. Затем пошарила в глубоком кармане и, к удивлению Анны, извлекла пачку «Севера».

— Картошку сами чистите?— спросила, выпуская дым в форточку.

— И чищу, и стряпаю, и стираю,— подтвердила Анна, убирая руки со стола.

Вера Даниловна, затянувшись раза три, погасила папиросу. Опуская спички в карман, она сдвинула полу халата. Анна увидела на стареньной зеленой кофте домашней вязки две пестрые планочки и вобразила эту увядающую женщину молоденькой, круглолицей, в гимнастерке со скрипящими ремнями. Анне всегда нравились люди, лица которых легко представить себе за много лет в прошлом.

Алексей, успевший к концу войны попасть на фронт, умел читать по наградам войсковую биографию встречного. Анна не раз покупала ему свежие муаровые ленты к медалям и кое-что запомнила о различии между их расцветкой. Теперь молодая женщина знала по планочкам Веры Даниловны о ее Севастополе, Заполярье, Берлине. Анна была убеждена, что женщинам дается все труднее: и война, и хождение по очередям. Труднее сберечь себя с годами. Награжденных она мысленно ставила рядом с легендарной Мариной Расковой и Аней Морозовой.

Чтобы не показаться бывшей участнице обороны Заполярья этакой благополучненькой пустышкой, Анна принялась рассказывать, какие конструкции разрешает ее руководящий муж, и она помогает ему в подборе материала, как тактично поощряет эту помощь Алексей. По подсказке Анны муж, когда он был лишь старшим инженером на за-

воде дорожных машин, обновил рессорную подвеску, назвав новый узел кодовым АА-2. В семейном истолковании это звучало довольно мило: «Анна, Алексей — 2», хотя в технический паспорт пошло как улучшенный автоматический амортизатор... Анна была счастлива мужниным признанием ее заслуг.

Рассказывая об этом всем хорошем, Анна вдруг вспомнила о том, что Алексей в последнее время, глядя на располневшую жену, пощупывает ее за бока и дурашливо называет «Пампусей». Глаза его при этом излишне веселы или очужело грустны.

Однажды, совсем неожиданно для Анны, поругались. Вовсе не из жалобы на сына, так просто, она стала рассказывать пришедшему с работы мужу, как непоседлив, криклив, любознателен теперь Юрка, как ей нелегко с ним...

Обиднее всего быть непонятой. Но случайны ли такие обиды?

«А чем бы ты занималась, если бы не Юрка?» — с внезапным раздражением оборвал ее Алексей.

У Анны чуть не сорвалось с языка всегда готовое: «А ты?.. Разве о тебе не забочусь!» Вовремя спохватилась, вспомнила бабье, горькое: увлеченные своим делом мужчины не замечают ничего, они убеждены, что могут вполне обходиться без женских рук. Доказать обратное еще никому не удавалось.

Они как-то разом смолкли тогда, сдерживаясь от взаимных упреков, и долго, может, несколько дней потом разговор не налаживался, будто оба обходили что-то опасное, появившееся между ними.

Вера Даниловна слушала Анну внимательно, даже серьезно. Она слегка привалилась на подлокотник кресла, сняла очки и держала их в левой руке, то ли готовясь надеть, то ли просто забыв положить на стол. Глаза ее с отчетливыми прожилками в уголках казались в легкой дымке, усталыми.

— Автоматический амортизатор,— тихо и, наверное, машинально повторила пожилая женщина за Анной.— Я так себе и представляла...

Слова Анны были повторены почти шепотом, но молодая женщина тотчас смолкла, перестала улыбаться. Иной дымкой повеяло на Анну от усталых глаз той, что в белом халате.

Севастополь, Заполярье, Берлин... О, этот человек шел к своим радостям иными дорогами. Анна вдруг почувст-

вовала себя рядом с Верой Даниловной дошкольницей, получившей в подарок красивую куклу или коробку из-под импортных туфель...

Да, гости и соседи завидовали Анне, называли ее удачливой. У Веры Даниловны, думала с внезапной тревогой Анна, небось муж инвалид и внуков полдюжины. Не ради денег, как думается подчас, такие люди на склоне лет возятся с чужими Наташами да Вовочками, выслушивают пререкания какой-нибудь Самохиной, стоят навытяжку перед женами профессоров... А ей тоже было тридцать! Когда она стояла у окна, Анна по женской привычке заметила у нее стройные ноги балерины, ямочки у коленного сгиба... Она топала этими ногами по размытым дорогам в кирзовых сапогах, кормила вшей в блиндаже, перевязывала под огнем русоволосых парней, с рыданьями умоляла их не сдаваться смерти... Рослую, видную издалека, ее обстреливали из шестиствольных минометов досужие гитлеровцы, преподнося ее молодости персональные букеты из огня и металла.

— Я так и думала,— продолжала Вера Даниловна.— Люди перестанут жить в бараках, сменят одежды... Появятся дома с ванной, комнаты для детей... Молодые, образованные супруги будут сидеть вместе у кроватки младенца и над чертежной доской.

Анна чувствовала, что обе они, старая и молодая, в мыслях идут где-то рядом, испытывала беспокойство от такой близости.

— Вы устали,— сказала Анна с дочерним участием, как нередко говорила своей матери.— Если позволите, мы с Зоей проводим вас к дому...

Заведующая встревоженно вскинула брови:

— Я неважно выгляжу?.. Сейчас придет автобус из поселка монтажников, заберет последних детей.

— Нет, я не об этом. Вам полезно пройтись перед сном на лыжах, только и всего.— Анна знала, как болезненно воспринимают старшие намеки на возраст.— На Селигере не были? Красиво! Мы с мужем ездили...

«Некстати прилипчивое «мы с мужем»,— поймала себя на мысли Анна.— А если она без мужа?»

Вера Даниловна провела по глазам рукой, будто сгоняя пелену.

— Пожалуй, вы правы, Аня,— она назвала посетительницу по имени, как звала ее Зоя.— Сегодня я кое-что слышала на этот счет... В трамвае один недобрый молодец

на мое замечание о том, что в стужу противопоказано ходить без головного убора, сказанул мне: «Шли бы вы, мамаша, замаливать грехи!»

— Он — хам! — заговорила Анна отрывисто, возмущенно. — Не принимайте близко, не расстраивайтесь...

Тот, с заиндевевшей шевелюрой, каких Анна и сама не раз встречала в автобусе и у театральных касс, был достоин ее резкой оценки: он говорил, чтобы оскорбить, убить словом. И, кажется, достиг цели — пожилая женщина вспоминала об этой их стычке смятенно, и, вероятно, не первый раз за день. Встреча в трамвае, похоже, будет для нее самым памятным событием дня.

— Неужели, глядя на меня, можно думать лишь о церкви да о грехах? — рассуждала Вера Даниловна. — А я ведь из тех бабусь, которые успели побегать в пионерском галстуке, с пятнадцати — комсомолка. Не только в лапотках по тайге, с киркой и наганом.... Были у нас и стихи и субботники... Диспуты были о Циолковском, была красивая любовь!

Вера Даниловна поспешно встала со стула, пошла к окну, подняв руку в предостерегающем жесте. Там, во дворе сада, разворачиваясь на обледеневшей площадке, кузовом к пищеблоку пятился грузовик, привезший ящики с мандаринами. Анна поняла, что́ так обеспокоило заведующую. Дорожка к столовой была обсажена двумя рядами молоденьких тополей. Водитель, стоя на крыле машины и правя одной рукой, вел свой транспорт с такой осторожностью, будто нес груз на ладони.

— «Мамаша», — объяснила Вера Даниловна, радуясь искусству шофера, — это слово фронтовое. Бойцы называли так всех женщин, особенно старших по возрасту... Мы не различали тогда, где своя мама, а где не своя. И этого у нас тоже не отнимешь!

Анна принялась с жаром вспоминать, что ее муж точно таким словом называл будущую тещу, когда они знакомились, что ей по душе фронтовые песни, хотя они с Алексеем не прочь позабавиться в дружеской компании джазом и твистом...

— Мне с вами легко разговаривать, — второй раз за их короткое знакомство сказала Вера Даниловна. — У меня ведь младшая дочь западные танцы обожает, летом ходит за детской коляской в шортах. Мы с ней много, по-хорошему спорим. А сегодня меня гнетет мысль: неужели и Лариса могла бы вот так нагрубить в трамвае?

Но это было сказано уже просветленно, чтобы, наконец, избавиться от навязчивой мысли. Вера Даниловна заключила:

— Хорошо, что вы, молодежь, сами у себя замечаете дурное и умеете дать оценку... А то, глядишь, иная: не сеяла, не жала, по чужим дворам в бесхлебье не мыкалась... Белы рученьки до двадцати, может, чернилами да лаком когда и замарала... Только и беды хватила, что по конкурсу в институт не взяли... А она чуть что — в истерику, свою жизнь — на распыл и предков походя жалит.

Они на этом и расстались бы, но в кабинет вошла слегка взволнованная, со следами возмущения на худеньком большеглазом лице Зоя Михайловна.

— В третьей группе,— сказала Зоя нехотя, с досадой,— вечно чего-нибудь недостает... Рукавичек, полотенец, гребешка у воспитательницы... Из-за этого не сдашь вовремя смены.

— Ох уж эта Самохина!— вздохнула заведующая.— Было бы кем заменить.

И тогда она как-то по-иному, растянув в пол-лица иссеченные морщинами губы, поглядела на Анну. Порылась в ящиках стола, выложила листок по учету кадров, четвертушку бумаги. А Зоя, первая догадавшись о намерении заведующей, обхватила подругу за талию, закружила ее по кабинету, приплясывая:

— Анна, иди к нам! Хватит тебе домовничать!.. К нам, голуба, к нам, котеночек... Я тебе свою группу отдам, заберу у Самохиной ее растрепушек!

Она выхватила из нагрудного кармана халата синий конверт и, не удержавшись, показала его Анне. Та сразу поняла, что письмо от Евгения с целины...

Анне стало как-то тепло, по-весеннему распахнуто на душе.

Подсмеиваясь вместе с Зоей чуть ли не над каждой строкой, отшучиваясь на осторожные подсказки Веры Даниловны и вообще ведя себя таким образом, будто собирается попугать уехавшего в командировку мужа, Анна заполняла бумаги. Перед графой о трудовой деятельности произошла невольная заминка. Молодая женщина не знала, что записать туда, как ответить самой себе на внезапно поставленный жизнью вопрос. Анна не то чтобы избегала работы, нет. Просто пока не получалось у нее с этим — и все. Со второго курса медицинского ушла замуж. Переезды с места на место вслед за Алексеем, ожидание жи-

лья, прибавки к зарплате, чтобы получше одеться перед выходом на люди. Потом смерть отца, нелепая размолвка с мужем... Примирение, ребенок... Затем опьяняющие годы удач, погоня за импортными вещами, покупка «Москвича». Десять лет ушло на укрепление семьи, на обставление родного гнездышка! Десять лучших лет.

А где-то сверстники и сверстницы намывали перемычки электростанций, искали нефть. У них тоже рождались и росли дети! Анна не побывала даже на воскреснике в своем дворе — все некогда, все какие-то досадные помехи. «Пройдет еще десять лет, а то и меньше,— думала Анна,— сын узнает в школе, что он гражданин самой богатой страны. И он примет это как должное, потому что папа у него из сельского подпаска стал известным инженером, нечто похожее произошло и с его отечеством. А мама?..»

Анна с беспощадной ясностью поняла, что кроме тряпок и легковушки ничего, в сущности, не нажили за десять лет. Но были и потери! А вот эти две простые, мило протягивающие ей руки женщины, которых она любит, в чем-то превосходят ее и, быть может, вовсе не завидуют ей. «Автоматический амортизатор»... «Пампуся»...

Анна собрала недописанные листки в сумочку.

— Я подумаю,— сказала она подавленно, посмотрев на Веру Даниловну, как в студенческие годы смотрела на экзаменаторов.— Согласитесь, что все это для меня так неожиданно...

Лицо Анны покрылось пятнами, голова отяжелела. Зоя кинулась к подруге, чтобы приласкать ее, успокоить, но Анна отстранилась, позабыв в этот момент о примерке.

— До свидания!— сказала она и пошла, не оборачиваясь, быстро, будто за ней гнались.

— Мне будет легко с вами работать,— услышала она вслед.

Зоя не поспешила вслед, остановленная мыслью: человеку ведь не всегда нужна помощь.

ПОВЕСТИ

АИСТЫ

1

После того как республиканская газета похвалила картину Андрея Карташова «У двух берез», на художника посыпались милости жизни, как из рога... Все три его полотна, не без радения доброхотов устроенные на юбилейную выставку и размещенные там поначалу в закутке, наподобие сиротского рукоделия, были сразу закуплены. Щедрый «купец» оказался не ближним — увез работы Карташова в Норильск для нового Дворца культуры.

Мало сказать: купил — заплатил по высшей расценке, не торгуясь. А одну из картин норильцы пожелали заполучить в двух экземплярах. В официальной просьбе о повторении полотна было оговорено, что несколько уменьшенную копию северянам желательно заиметь только в авторском исполнении...

Этот дополнительный заказ польстил Андрею не меньше, чем приятные отзывы посетителей выставки.

Картина привлекала всех незатейливым сюжетом: у двух белостволых деревьев, охваченных первой, едва проклюнувшейся нежной зеленью, на голубеющей ранней мураве расположилась пара — он и она. Женщина сидела боком к зрителю, прислонясь к развилке деревьев. Выглядела она совсем заурядно: голова запрокинута, коса распущена, платье смято. Отрешенно глядит она в голубое небо — на едва заметное зарождающееся чистое облачко.

Спутник ее полулежит на траве. Лицо мужчины, суровое и скуластое. Озабоченно, тревожно. Он как бы ждет ответа от женщины, а та ушла в себя, позабыла обо всем.

Андрей в первые дни выставки почти не выходил из зала и наслышался о своей работе всякого. Один ценитель, с виду галантный и внимательный, долго топтался возле полотна. Вдруг он мерзко осклабился, прошелся расслабленной походкой, бросив с циничным откровением:

— Доигрались!..

Седенькая в длиннополом ветхом пальто учительница, востроносая, куце подстриженная, так что была видна ее

тонкая морщинистая шея, привела табун голенастых подростков. Она бойко толковала им о пробуждении леса и совсем не обратила внимание детей на человеческие фигуры, будто их не существовало вовсе... Заядлые грибники угадывали по искалеченным деревьям подмосковную поляну вблиз Пушкино, привычно шарили глазами возле спаренного комля, дивясь сходству картинных берез с «настоящим» лесом...

«Если можно об одних и тех же вещах судить столь неодинаково,— думал в эти дни автор полотна,— если при этом связь элементов картины достаточно прочна и гармонична, значит удалось передать мысль, значит по современным понятиям работу будут считать удачной: картина настраивает на раздумья, заставляет волноваться...»

В один из таких дней, наполненных ожиданиями доброго слова и нелицеприятными спорами, Андрея разыскал на выставке студент художественного училища Максим Южанин. Рослый, как-то собранно крепкий, голубоглазый и розовощекий, он маскировал часть лица густыми черными, как и чуб, усами. Усы не скрывали возраста Максима. Молодила его размашистая крупнозубая улыбка да природная склонность к шутке. Максим не расставался с маленьким парашютным значком, напоминавшим о недавних годах службы.

— Андрей Игоревич!.. Поздравляю с «Березами». Только о них и говорят!..

— Ладно, ладно!— остепенил его Карташов, не очень вникая в смысл реплики.

Корнями Максим происходил из беглых крестьян, поселившихся еще со времен Петра I в подгорных степях близ Новороссийска. Но казачья биография юноши с самого начала надломилась, пошла по иным росстаням. В армии он прослужил три года, прихватил годик сверхсрочной. Затем из десантников, можно сказать, прямо с небес угодил под землю. За два года шахтерской работы повысился до бригадира проходчиков. Как при такой непоседливой натуре ему удавалось рисовать — и рисовать немало — удивляло всех.

— Где был-то с утра?— спросил Андрей, когда запыхавшийся студент присел на табурет спиной к холстам и принялся отирать вспотевшее лицо. На дворе полыхал август.

— Та с той же стороны,— с южным акцентом отозвал-

ся Максим.— Из потустороннего мира!.. Ты ничего не чуешь? Дывно!.. От меня же псиной несет!

— Чую, чую!— в тон ему отозвался Андрей. От чудаковатого студента действительно разило какими-то стойкими духами.

— Ну, тогда я еще поживу!— Максим, обмахиваясь платком, уселся поудобнее, расставив длинноватые с казацкой кривизной ноги в модных узких брючках, расклешенных внизу.

То ли вспомнил неважное, то ли жали модные туфли, но студент недовольно морщился и крутил опущенной головой.

— Затянули меня в пекло, в настоящий притон,— начал он рассказывать о последнем приключении.

— Ты хотел сказать — в салон?— осторожно подсказал Андрей.

Максим, видимо, и сам знал, как называется по-современному шабаш абстракционистов.

— Не сбивай, Андрей, я сам собьюсь... Послухай... Обыкновенная хуторская хата, только не из самана, а деревянная. И крынки на полках вдоль стены. Две комнаты большие, а маленьких, может, целых десять... Стены до потолка увешаны картонками, холстами. Глядел, глядел, потом приседать стал, из-под руки смотрю. Да так ничего и не увидел... Дай, думаю, лягу...

— Не врешь?!— Андрея разбирал смех.— Так и повалился на пол?

— На локотки!— уточнил Максил и продолжал:— Тут ко мне дамочка размалеванная подплыла: худенькая, что опеночек высушенный. Понравилось, спрашивает, у нас?.. Воздействует?.. Воздействует, отвечаю, а сам рачки к порогу лезу. Спасибо, говорю, всего тут нагляделся, домой пора... Настоящее искусство, объясняет она мне, как раз и рассчитано на широту... Простору сколько угодно, вежливо отвечаю, а вот одного здесь не заметил. Дамочка и спрашивает: чего?.. Да шаблюки обыкновенной, сабли, которой у нас на хуторе бабки капусту секут на засолку в зиму. Зачем вам это орудие насилия потребовалось?— удивилась хозяйка при... то есть, прости, салона... Порубил бы в утиль все,— с улыбкой пояснил я ей. Видел бы ты, Андрей, ее глаза! Уставилась на меня эта владелица частного собрания и цедит сквозь зубы: «Мне вас рекомендовали как порядочного человека, подающего надежды!..» Та подаю же, говорю ей ласково, как з батькового хлеба

перешел на свой — подаю нищим. Не знал, звиняюсь, что у вас тут тоже подавать нужно. Только полез в карман за кошельком, а из-за ширмы верзила объявился.

— Сцепился небось с верзилой? — с упреком спросил Андрей.

— Да ты шо? — обиделся Максим. — За чумака меня считаешь. Я человек интеллигентный. Да и парень тот себе на уме: говорит, я бы и сам все это в утиль сволок, да хозяйку обидеть боюсь. Ее муж мою дипломную работу рецензирует... А даму отхаживали уже вдвоем — родимчик с ней от истерики приключился.

Андрей знал: Южанин наврет с три короба, лишь бы повод был позубоскалить.

— Ты у Шильминых был или у Чураковых? — спросил Андрей.

Максил озадаченно зашевелил бровями.

— Дом такой широкий, разлапистый, с двумя верандами... И беседка у входа... И калюжа справа!..

— Ну, уж и «калюжа»! — обиделся Андрей, которому в прошлом году пришлось после проигрыша в карты лезть в эту «калюжу», чтобы выловить несколько карпят на закуску. — Это бассейн Шильминых. Они и дачу купили из-за бассейна.

Выждав, пока Южанин осознает новое для него понятие — домашний бассейн, — Андрей спросил:

— Она хоть назвалась, эта дама? Что-то не припомню такую худую, как ты говоришь...

— Назвалась... Я лежал, рассматривал этюды... Говорю ей: отдельные, говорю, пожалуй, лучше видны будут, если на голову встать... И спросил ее имя. Сама, говорит, не пишу, но глубоко интересуюсь современной живописью... Верзила называл ее потом Ларисой Семеновной...

У Андрея расширились глаза.

— Лариса?! И она тебя не укусила?.. Берегись впредь: эта дама отстаивает свои убеждения зубами! Это ведь жена Чуракова!

Южанин отмахнулся:

— Зубы-то у нее чужие, не свои...

— У нее все чужое, но это еще ничего не значит. Между прочим, я тебе не завидую. Эта дама злопамятная.

— А мне плевать! — беспечно заявил Южанин, вставая.

Андрей огорченно покачал головой — знал мстительный характер Чураковой.

Южанин подошел к окну и долго рассеянно смотрел

сквозь стекло, пока не разглядел неподалеку старенький «Москвич» Карташова, приткнувшийся под липами у тротуара.

— Кто это в твоей машине? Может, угнать собираются?

Андрей покраснел, торопливо засуетился.

— Не узнал? Это же Ната Милютина! Она вчера подстриглась... собираемся к Мизгаревым... Поедешь с нами?

— Нет!— отрезал студент.— Ревную! Я сам на Милютину метил. Казацкой породы дивчина: хоть поставь, хоть положи — круглая, будто колобок... Желаю удачи!..

Лицо Максима зарделось, едва он услышал имя Наты, и это не ускользнуло от внимания Карташова.

2

Выбрав в кассе деньги за оригинальные полотна, Андрей лишь однажды, с неделю тому назад, показался в мастерской. Счастливый от нежданных похвал, помолодевший, он объезжал на видавшем виды отцовском «Москвиче» друзей и знакомых, приглашая каждого в ресторан обмывать удачу. И неизменно его сопровождала, подстать Андрею, рослая, но довольно флегматичная для девятнадцати лет, кукольно-изящная в коротком, слишком даже коротком для ее полноватых ног, платье студентка Ната Милютина. Девушка еще не обвыклась в роли близкого друга Андрея, смущалась и часто-часто моргала, будто готовилась заплакать. Она слегка отворачивалась, прикрыв глаза густыми ресницами, когда Андрей, не очень-то заботясь о ее самочувствии в такие минуты, представлял девушку знакомым:

— Приглашаем на вечеринку... И я, и Ната!..

Нату и раньше видели с Андреем. Она училась на отделении прикладного искусства, где Андрей вел спецкурс по рисунку, приносила ему эскизы, интересовалась его работами, неподдельно восхищалась. Однажды живописец предложил студентке позировать ему. Ната как-то странно поглядела на Карташова и попросила папиросу. Затем спокойно, словно делала это ежедневно, освободилась от одежд, неторопливо прошлась через мастерскую к коврику, улеглась, подперев ладошкой голову, и согнула одну ногу в колене. Курила она неумело, робко держала в дрожащей руке сразу потухшую папиросу.

Андрей подошел к девушке — хотел немного повернуть ей голову, встретился с призывными серыми глазами, неожиданно смутился, покраснел и, отвернувшись, сказал сорвавшимся голосом:

— Не нужно... Спасибо... Оденьтесь, пожалуйста...

Ната обидчиво поджала толстые губы, торопливо натянула платье. Оба они потом довольно посмеялись над странной растерянностью Андрея.

Отпраздновать удачу Андрея собрались в голубой зал ресторана «Прага». Большинство гостей были однокашниками Андрея по институту, еще не успевшими остепениться — грубоватые, молодые, непосредственные. Отозвался на приглашение нынешний коллега Карташова, а в прошлом строгий его наставник Платон Захаров, получивший несколько лет тому назад премию за вьетнамские акварели. Немного опоздав к началу, что было в привычке метра, прибыл заслуженный деятель искусств Лутоня-Красовицкий. Без всякого зова забежал «на огонек» завсегдатай подобных мероприятий, начинающий скульптор и баснописец Яша Дудак, больше известный среди художников по кличке Яша Рублик. Жил этот худощавый светловолосый юноша с матерью, уборщицей речного вокзала, в Химках. С недавних пор туда летал от городского аэровокзала пассажирский вертолет. Не желая отставать от моды, Яша, засидевшись в гостях, требовал «рублик на вертолет» в отличие от прежних времен, когда этот рублик ему был нужен на такси...

Высокорослый, но начавший сутулиться Лутоня-Красовицкий прибыл не один. Его держала под руку присадистая, со стригущим взглядом черных, цвета переспелой вишни глаз, одетая в пестро-полосатый свитер домашней вязки и плиссированную мини-юбку, отставная звезда эстрады Эмилия Красовицкая.

Крикливо, будто с подмостков, Эмилия извинилась за опоздание, больше для того, чтобы привлечь к себе и мужу внимание, а ее супруг, переложив трость с набалдашником под мышку, молча поклонился, огладив ладонью почти безволосую голову. Лоснящаяся, розовеющая кожа головы Лутони разительно походила на цвет капроновых чулок рядом стоящей его супруги. Над крупными ушами художника торчали два пушистых белых хохолка, сходные с заячьим хвостиком — остатки когда-то мощной ше-

велюры. Эмилия по привычке потянула мужа в «президиум»—один стол был приставлен буквой «т» к остальным. Не дождавшись, что кто-нибудь из молодых уступит кресла, чета Красовицких побрела вдоль столов в поисках свободного места.

Несмотря на присутствие академика Захарова, Архип Лутоня был самым знаменитым человеком в пестром букете собравшихся имен. Еще на заре коллективизации он, тогдашний мелитопольский гречкосей, написал картину на тему популярной народной песни «Косим клевер, косим травы». По взыскательным оценкам знатоков, холст получился удачным. Он поражал некоей смелостью в подборе красок, наивной угловатостью, выразительностью лиц. Сработанный с подчеркнутой вольностью кисти, в ярких южных красках, сюжет хорошо передавал состояние утомленных трудом крестьян, людей грубоватых и бесхитростных по натуре, увлеченных своим будничным и прекрасным делом... Полотно это не раз выставлялось в Киеве, затем его попросили в Москву. Одновременно с лаковыми изделиями палешан произведение мелитопольского живописца попало на международную выставку в Париж, где, не столь успешно, однако, представляло новое искусство страны победившего пролетариата.

Лутонины «Косари» замелькали на вкладках журналов, имя художника, как одного из фундаторов рабоче-крестьянского направления в живописи двадцатых годов, занесли в школьные учебники и солидные словари. К этой поре относится и существенная прибавка к простецкой фамилии хлебороба. Опасаясь обвинений в необразованности и серости, начинающий художник стал тянуться ко всему «интеллектуальному». Тягу его к культуре заметили, особенно после того, как, появившись в столице, он был подхвачен артисткой Красовицкой.

У артистки была страсть к покровительству сельским парням, если они к тому же обладали, как она выражалась, «изюминкой». Так Лутоня и вышел в люди. Прежде всего Эмилия заменила молодому супругу расшитую косоворотку на белую сорочку с бабочкой, затем потребовала укоротить, а позже — совсем сбрить усы. И уже по своей собственной инициативе расторопный Лутоня более чем вдвое удлинил отцовскую фамилию, объяснив родителям, что так требует столичная мода.

Двойная фамилия живописца замелькала в отчетах с юбилейных вечеров и официальных встреч. Временно

отложив кисть, Архип по настоянию супруги занялся самим собой: разучивал приветствия, наносил визиты, давал интервью, вмешивался в дискуссии. Поначалу робевший при каждом новом знакомстве, сельский человек этот научился со временем произносить складные речи, выступать с приветствиями по любому поводу перед аудиторией и срывал порой больше аплодисментов, чем его артистическая супруга. Лишь одного не смогла добиться Эмилия — научить мужа произносить «г» твердо по-столичному. У старательного селянина, привыкшего к плавной речи, звук этот получался то слишком коротко, трубно, то невозможно раскатисто. Эмилия отступилась, объяснив знакомым, что фрикативное «гх» очень приличествует мужу, в виде речевого колорита человека из глубинки...

С годами на парадном костюме Лутони вытянулось несколько муаровых полосок. Его награждали за участие в выставках, при подведении итогов декады, к съездам, юбилеям — собственному и государственному — и даже по случаю победы под Москвой, потому что Лутоня несколько дней успел пробыть в ополчении. Выпускники военных училищ уступали кавалеру такого количества наград место в метро, брали под козырек на улице. Лутоня, играя под кадрового военного, взбадривался на строевой шаг встречных, кивал генеральски в ответ. Работать кистью он перестал, однако отлично выполял роль генерала от искусства на вечеринках.

Избранный тамадой в голубом зале, именитый гость какое-то время оставался без занятия. Желающих сказать доброе слово Андрею нашлось много. Говорить умели, выражались ярко, картинно, порой по-восточному витиевато. Отговорив, шли целоваться.

Андрей Карташов, застенчивый по натуре тридцатидвухлетний холостяк, не испытавший до сих пор особого внимания к себе, с радостным удивлением отмечал в тот вечер, что друзей у него больше, чем думалось. Непьющий, он вошел в азарт, наливал рюмку за рюмкой, стараясь говорить в тон друзьям — выспренно, однако с серьезным подтекстом. Ната то и дело подергивала его за рукав.

Пили за успех Карташова, за истоки и корни народного искусства, за расцвет социалистического реализма; отмечали вклад молодых в сокровищницу отечественной и мировой живописи. Снова наполняли — за будущее...

И все это было похоже на любой привычный гостям вечер. Облобызавшись с виновником торжества, гости раз-

бредались по залу, группками толковали о чем-то своем, почти не замечая Андрея, изредка отрывая голову от трапезы, чтобы вполуха выслушать тост очередного оратора. Андрей заметил, что Захаров уже не раз посматривал на часы, а Эмилия с озабоченным и слегка раздраженным лицом за что-то отчитывала своего мужа.

Вечер сам собой заканчивался, но вдруг на пороге зала появился Максим Южанин. Он был в сером в полоску новом костюме, в новой рубашке, в невероятно пестром, сбившемся набок галстуке. Видно было, что парень уже подвыпил и был навеселе.

Извлекая из кармана забавную безделушку, Южанин закричал по-простецки:

— Что за шум, а драки не видно?

И захохотал раскатисто, громко.

Официант, принесший шампанское, обернулся к Южанину, что-то сказал ему, заступив дорогу и держа в руках пустой поднос. Максим легонько отодвинул официанта, извлек из кармана сверток, направился к Андрею. Щекотнув виновника торжества жесткими усиками и все еще держа тяжелую руку на плече Андрея, Южанин повернулся к залу. Оглядел всех, тряхнул головой и — запел:

За сыбиром сонце сходыть,
Хлопци, не зевайте!..

Голос Южанина был певуч и силен, а слова песни так неожиданны и призывны, что все прекратили жевать и разговаривать, уставившись с немым изумлением на Максима. Те, что знали Максима Южанина и слушали его песни раньше — в основном студенты — шумно выразили свой восторг его появлению в поскучневшей компании. Видевшие этого человека впервые, сначала возмутились его выходкой, затем, уловив в голосе нечто приятное, яркое, заулыбались, ожидая, чем кончится этот экспромт нежданного гостя.

Лутоня, уязвленный тем, что певец выступает без его, тамады, представления публике, поднял было руку, желая остановить невоспитанного молодого человека, но, сообразив, что Южанина слушают, и слушают внимательно, со свойственной оперативностью присоединился к певцу и лихо подхватил песню.

Та й на мэнэ, Кармелюка,
Всю надию майте...

Голос Лутони был едва различим в раскатистом, динамичном баске юноши, но его участие было замечено. Эмилия, довольная, улыбалась, вкрадчивым движением одергивая подол юбки на коленях.

— Браво! Браво!— выкрикнули одновременно художник Мизгарев — чубатый, остролицый, с зардевшимся от выпивки лицом — и тонкоголосый белобрысый студент Козырев.

Максим вопросительно посмотрел на Андрея и допел песню до конца. Пел он уже не так громко, как вначале, без озорства, без вызова. Мелодия старинной песни звучала перекатами: то мятежно, то грустно, будто удаляясь в неведомые, нехоженые дали, углубляясь в чужую, но чем-то близкую теперь участникам этого концерта душу.

Андрей рывком подхватился с места и, дотянувшись до крутых плеч парня, крепко поцеловал его. Затем то же самое сделал Захаров. Он вручил певцу свое рукопожатие, как награду старшего, призванного отмечать достойных. Однако, не без волнения. Лутоня низко поклонился и прослезился, будто получил из рук Южанина давно потерянную и дорогую для него вещь. Вслед за мужем из-за стола выкарабкалась Эмилия. Она сказала Максиму покровительственно, как говорит школьнику опытный педагог:

— А в вас что-то есть, молодой человек.... Заходите, не стесняйтесь.

Яша Дудак зачитал экспромт и надоедливо полез к Максиму с рюмкой, предлагая выпить на брудершафт...

Песня отзвучала, а исполнитель ее, смущенный неожиданной реакцией участников вечеринки, умолк. В застолье наступил перелом. Об Андрее, ради которого съехались сюда, словно забыли. Разговор, то оживленный, шумный, то тихий, вкрадчивый, шел о Максиме. Непосвященные в судьбу юноши выпытывали все о нем, вплоть до личных склонностей, происхождения, возраста. Те, кто знал Максима Южанина как начинающего художника, отдавали предпочтение его кисти, а не голосу. Однако все сходились на том, что человек это незаурядный, яркий, которому не суждено затеряться в сложном и пестром мире столичных жрецов искусства.

— Ты знаешь, Максим,— сказал Южанину художник Мизгарев, когда студент освободился от чересчур горячих объятий своих неожиданных поклонников.— Пока ты пел, мне вспомнилась война... Артиллерист у нас один очень

любил эту песню... С той поры не приходилось слышать «Кармелюка». Спасибо, друг, заставил вздрогнуть,— и Мизгарев растроганно похлопал Южанина по плечу, закрепив этим жестом свою признательность.

После песни Лутоня очень изобретательно сложил с себя полномочия тамады, передав их Максиму Южанину, который сразу сделался душой застолья.

3

Прощались долго — спешить было уже некуда. Раскланявшись с Красовицким в вестибюле гостиницы, почти все участники банкета встретились сразу же у стоянки такси, возле подземного входа в метро, естественно, уже закрытого.

Андрей с Натой сошли по гранитным ступеням последними. К машине их сопровождал, отстав на полшага, Яша Дудак.

Андрей замечал, что Яша с каким-то хмурым, даже тайным выражением наблюдал за ним весь вечер. На всякий случай он проверил бумажник. После расчета с ресторанными и после чаевых там осталось еще несколько бумажек — на развоз гостей по домам. Яша не знал о такой предусмотрительности устроителя банкета. Он надеялся, что Андрею окажется по пути и тот подбросит самого верного друга на «Москвиче» в Химки. Виновник торжества, а значит, ответчик за всяческие осложнения с гостями, откупился от назойливого пажа новенькой трешницей. Яша чмокнул Андрея в щеку и, сузив холодно блеснувшие глаза в сторону Наты, пропал в улицах ночного города. Удаляясь, он все же расслышал слова Наты, в которых было не столько любопытства и осторожности, сколько желания покориться.

— Куда вы меня теперь повезете, Андрей?

— В «земство»!— бросил художник, распахивая дверцу машины.

— А вы не боитесь, Андрей?

Художник ждал совсем другого вопроса, поэтому ответил не торопясь:

— Разве нам угрожает какая-нибудь опасность?

Ната деланно засмеялась.

— Ну, мало ли что!— ответила она и загадочно повела на спутника большими серыми глазами.— Может, у меня есть жених...

— Максим?!— коротко, с вызовом бросил Андрей.

Ната уклонилась от прямого ответа.

— Некоторые из холостяков опасаются самих себя не меньше своих соперников.

— Я для себя не самый страшный враг,— с какой-то грустью сказал Андрей.

Ната не отступала, испытывая Андрея:

— Своего папы... наконец и меня...

Ответа не понадобилось, потому что она почти тут же привалилась головой на его плечо, заснула.

Андрей переключил передачу и повел машину осторожнее...

«Еду в земство» было дурашливой игрой слов подвыпившего Андрея. Обычно он говорил в подобных случаях «на дачу», хотя и такое определение звучало не совсем точно.

Дачей молодой художник называл родительский дом близ Серпухова. Высокий широкооконный пятистенок под черепицей и сейчас выглядел свежим, хотя был построен в год свадьбы родителей, еще до появления на свет Андрея.

Сейчас, когда Ната крепко уснула на его плече, к Андрею пришли опасения: действительно, как отнесется к их ночному появлению отец. Он, конечно, спит сейчас...

Прямая и строгая фигура отца словно поджидала Андрея за каждым поворотом. Он начал сердиться на самого себя за преждевременные опасения.

Отец Андрея, Игорь Васильевич, высокий, костистый, что излишне подчеркивало худобу, белоголовый от седины, однако не растерявший с годами свежести лица, был из породы людей одержимых. Он овладел своим делом так хорошо, что не замечал его и считал единственно главным в жизни свою бесконечную и безмерную работу. Таких людей всегда недоставало, но никогда и не убывало на Руси. Потомок незнатного дворянина, получившего это звание вместе с офицерскими погонами за храбрость в войнах, Игорь Васильевич унаследовал от родителя аккуратность, исполнительность, строгое отношение к службе. Быть может, слишком строгое.

Пожалуй, ничего больше, потому что в остальном родитель вел себя, особенно дома, просто деспотично. Иногда, правда, он впадал в благодушное настроение и вспоминал нелепую поговорку, видимо, оставшуюся со времен его солдатской службы:

Бляха-муха, пароход,
Лебедь белая плывет...

На детей, сбежавшихся, чтобы послушать отцову сказочку, уставным голосом рычал:

— Ну-с, чего столпились — строй смешали?! Разойдись, бляха-муха!

Благодаря сословному званию, Игорь смог поступить на медицинский факультет в Петербурге, но себя всегда относил к «интеллигентным пролетариям». Городскую жизнь Игорь как-то не принял — чувствовал себя изгоем. На каникулах спешил в родную деревеньку практиковаться. С радостью принял назначение в земскую лечебницу. После был главврачом районной больницы, участковым лекарем. А всего делу исцеления людей отдано им было без малого шестьдесят лет. Тянул бы он лямку и еще, но подвело зрение. Теперь, когда приносили газету или требовалось оградить деревце в палисаднике, поверх стареньких окуляров Игорь Васильевич обязательно подгораживал на нос еще одни очки с толстыми синими стеклами.

В разговорах доктор уже не пытался, как прежде, следить за жестами, за выражением лица, а лишь слегка наклонялся к собеседнику, подставляя ухо. Слушал, не перебивая, часто переспрашивал, потом не сразу, но твердым непреклонным голосом высказывал свое.

Воспоминания об отце, длившиеся всю дорогу, были один раз прерваны близ Подольска: ночных путешественников остановил постовой.

— Включите подфарники! — напомнил блюститель порядка, пожилой уже мужчина с куцыми усиками. Увидев Нату, дремавшую на плече, спросил, почему-то усмехнувшись:

— Супруга?

Андрей уверенным голосом подтвердил как ни в чем не бывало:

— Да, жена!

— Желаю счастья! — махнул пестрой палицей регулировщик.

Андрей резко, всей ступней нажал на педаль газа.

Ната сквозь сон слышала разговор и пробудилась не от рева машины, а от необычных слов, относящихся к ней. Она хотела было спросить, не послышалось ли ей это, но Андрей чмокнул девушку в губы и прошептал:

— Спи-и!

Однако Ната уже не могла уснуть. Она все пыталась вспомнить интонацию, с какой Андрей произнес взволновавшее ее слово.

Женился отец Андрея поздно, на исходе пятого десятка. Людям, привыкшим видеть Игоря Васильевича в холостяках, не в шутку объяснял, что медику не полагается иметь семью: донимают вызовы. Долгие часы приходится высиживать возле больного... Семья — это всегда эгоизм, раздумья о родном угле...

Игорь Васильевич изъездил всю округу, у него было много знакомых. Чего не мог воспринимать доктор в крестьянских избах, так это мусора у порога, насекомых в тряпье. Из-за этого нередко отказывался ночевать в доме больного. Как бы ни задержался на вызове, хоть под утро прибивался к дому, чтобы помыться, сменить белье. Имел болезненную привычку к чистой белой сорочке с галстуком. Утюжил ее сам... Какая из женщин, думалось врачу, станет в одну упряжку со мной? Кто вынесет тяготы службы земского лекаря? Кто будет терпеть бесконечные отлучки мужа в любое время суток?

Однако нашлась и ему жена, такая, о какой мечтал. Служила Феня санитаркой в его же клинике. Кроткая нравом, работящая, прикипевшая душой к больничным заботам, она сразу была отмечена Игорем Васильевичем... Дочь стрелочника с полустанка, ровесника Игорю Васильевичу по возрасту, она взяла всем: и красотой, и прилежанием в работе, и смирением. Сколько радости принесла она в дом, столько же душевных терзаний испытал земский эскулап после внезапной гибели Фени. Супруга умерла вскоре после родов. Эта смерть так сразила Игоря Васильевича, что он бросил врачебную практику и потребовал у начальства замены. В прошении писал: «Врач, не уберегший от смерти самого близкого человека, не достоин своей профессии...» К счастью, пользователь, присланный на смену, не прижился в этих местах. Люди по привычке все равно шли к Карташову. Многие предлагали врачу отдать сына на воспитание кормилице, понимая, как трудно приходится ему с малым дитятей, высказывали искреннее свое сочувствие, но Игорь Васильевич, вежливо поблагодарив, неизменно отказывался.

Андрея доктор растил сам. И стирал на него, и варил кашу, и первым буквам учил.

В основном домашние дела вела теща, дебелая проворная старуха Александра Прокофьевна, которая была на два года старше Игоря Васильевича. Она часто наведывалась из близкой деревеньки, где у нее были еще две дочери. Приход ее означал генеральную уборку, приготовления белья и еды впрок. Старуха отличалась от своей дочери еще большей молчаливостью и еще более неистовой хваткой в работе. К Игорю Васильевичу она относилась как к родному сыну, а глядя на внука, замечая в нем что-нибудь от покойной дочери, молча плакала и гладила мальчика шершавой рукой.

Когда Андрей заканчивал среднюю школу, возник разговор о выборе профессии:

— Место человека в жизни,— советовал отец,— определяется его пристрастием. У дельного — дело, у пьяницы — походка... Дело должно быть единственным, без него жизнь пуста, как детская погремушка. Дело нужно найти. Еще лучше, если оно тебя нашло. Но и это не все — стань мастером. Самое худшее, когда вытягиваешь только на подмастерье.

Андрей много рисовал. С годами стал замечать, что отец остается равнодушен к его занятиям живописью.

— А ты, папа, доволен своей профессией?— пытался выяснить Андрей причину холодного отношения отца к своему увлечению.

Игорь Васильевич о медицине говорил как о посланном ему судьбой счастье:

— Да, я могу говорить об этом с уверенностью человека, у которого нет мстительных ошибок в прошлом. И мне незачем возвращаться в молодые годы для исправления в своей жизни чего-то существенного...

В ответе отца был скрытый намек на нехватку способностей у сына. Он был убежден, что мальчик не может веско проявить себя в живописи. Отец мог сказать, обозрев юношеские акварели сына: «Хорошо, но это еще не твое, не настоящее!» Андрей решил доказать, что упорство тоже кое-что значит: институт он окончил с отличием. Но и после учения Андрей не обрел отцовского признания. Это породило некоторое отчуждение между двумя Карташовыми.

— Ревнует тебя старик,— рассуждали сверстники,— такой эскулап и вдруг — без наследника. Врачебных записок пуды, быстро в профессоры вывел бы...

Кроме рубленого пятистенка да внушительных стелла-

жей с книгами, доктор Карташов за многолетнюю врачебную практику не нажил ничего стоящего. Книги его были большей частью медицинские, в массивных переплетах из серого пятнистого картона, с кожаными корешками и золотым тиснением. В надежную, хотя и не очень привлекательную униформу облек их доктор собственноручно. С потрепанной книгой Игорь Васильевич возился, будто с изувеченным и потерявшим естественные черты человеком. Любил он возвращать и людям и книгам первозданный вид. Все, что попадало к нему в библиотеку, прочитывалось им с внимательностью истого книгочея. О том свидетельствовали пометки на полях, узенькие бумажные закладки, выписки, какие-то условные знаки по-латыни на титульном листе или в оглавлении.

К нескольким изданиям, правда, очень скромным внешне, даже не в картонных корках, Игорь Васильевич имел отношения как автор: на самой нижней полке, между увесистых фолиантов по внутренней терапии стояли две пожелтевшие брошюрки, обозначенные его именем. Одна, в синей тетрадочной обложке, носила почти беллетристическое заглавие: «Случай из жизни больной девочки». Так энтузиасты науки перепечатали из медицинского журнала статью Карташова, придав наблюдениям земского врача значение солидной работы. В статье давалось описание болезни пятнадцатилетней девочки Нюры С., возвратившейся из специализированной клиники. У нее обнаружили цирроз печени, о чем сообщалось в сопроводительном заключении.

— Что тебе, детка, сказал доктор, когда выписывали?— расспрашивал Карташов.— Вспомни, пожалуйста.

Изможденная, желтая с лица девочка к той поре была пособорована священником и лежала под образами со свечой в руках.

Больная отвечала уже без тревоги, с горьким удовлетворением:

— А чтобы ехала умирать домой... Тятеньке не придется гнать подводу за мною в город — жнива...

Пораженную смертельным недугом юную крестьянку земский эскулап в условиях своей лечебницы не мог поправить, он это хорошо понимал. Однако Игорь Васильевич не оставил ее без внимания. Осматривая больную, он обнаружил порок сердца — болезнь, которую медики не приняли в расчет: по тогдашним понятиям, одно другого не касалось.

Карташов начал лечить сердце. К опытам по кровообращению у него была тяга со студенческих лет. Сверх ожидания, сердце поддавалось лечению! Спало давление... Девочка выздоровела!

Вовсе не рассчитывая на публикацию, кое в чем сомневаясь, Игорь Васильевич отослал обстоятельное письмо в клинику, где ставили диагноз Нюре. Приложил анализы, наблюдения... Письмо без всякой правки передали в журнал, а к автору выслали делегацию специалистов. Никто не скрывал научной ценности опыта земского врача. В зарубежных отзывах специалистов Игорь Васильевич без обиняков именовался «уважаемым профессором». Истинные поклонники открытия нашлись и среди отечественных медиков. Карташова пригласили в столичную клинику ординатором. Ездил он, но вскоре вернулся. Знакомым объяснил:

— Рано позвали... Рано! Да и не по мне город.

Публиковалась еще одна брошюра Игоря Васильевича — о народном опыте исцеления лесной земляникой. Она вышла уже в советское время и переиздавалась несколько раз.

4

Прожившему долгие годы на виду у людей, мудрому в своей простоте Игорю Васильевичу молва приписывала одну тайну, о которой он сам не любил распространяться. Карташов-старший иронически улыбался, если Андрей при нем хвастливо заговаривал о дружбе отца с Антоном Павловичем Чеховым. Но и в спор не вступал. Всю жизнь доктор Карташов благоговел перед великим писателем, считал себя с лихвой вознагражденным за эту преданность и любовь к Чехову — человеку, сочинителю и врачу. Да, доктора Карташова считали другом Чехова. У этой версии имелась вещественная опора в виде небольшой фотографии писателя, висевшей в темной филенчатой рамочке над письменным столом в домашнем кабинете врача. В том, что фото подарено было некогда самим Антоном Павловичем, нетрудно было убедиться по автографу, если отогнуть поржавевшие коснички жести и заглянуть на испод снимка, за картонку. Гости Андрея не однажды проделывали эту операцию, когда хозяина не бывало дома, отчего на исподе рамки уцелело лишь два косничка — остальные пропали от частых заломов.

На тыльной стороне снимка было выведено знакомым каждому владельцу академических изданий почерком: «Моему юному коллеге. Будьте всегда самим собой. Антон Чехов». Многих смущало отсутствие имени, которому Антон Павлович обращал свой доверительный совет. Но сам факт, что карточка хранилась у Игоря Васильевича, отметал любые сомнения. Чехов подарил фото именно Карташову.

Их короткое знакомство произошло на исходе зимы. Стеклянно позванивал под копытами лошадей мохнатый утренний ледок, затянувший вчерашние проталины. Жестко потягивал с севера неверный порывистый ветер. Солнце, вынырнув из-за облезлых холмов, заиграло в полнеба. День обещал быть яростным, звонким от ручьев. Антон Павлович распорядился выехать пораньше, чтобы до наступления ростепели, пока окончательно не развезло проселки, добраться в Мелихово.

Едва скрылись городские заставы, с полей понесло прелью. Дуплистые скособоченные ракиты близ почерневшего льда речки остро пахли корой. На середине реки лед поднялся шалашом и треснул. Упрятав лицо толстым воротником полушубка, развившего квасцами, Чехов внимательно поглядывал на голые верхушки отдаленных лесов, немо вскинувшихся вдоль окоема. Волновала, настораживала чернильная темнота деревьев. И заслабший в эти дни седок, и краснолицый, не старый, хотя и сильно заросший в лице кучер, с одинаковым любопытством следили за полетом шустрых птах, вспархивающих у самых лошадиных морд. Природа, пробуждаясь, испытывала свои силы.

Лицо писателя было бледно, улыбка в глазах таяла и меркла. Он часто дышал, словно не лошади, а сам он тащил по бездорожью пролетку. Что-то подсказывало ему: едет здесь в последний раз! После короткого визита в Подмосковье предстояла нелегкая подорожь к югу. Как человек, страдающий роковым недугом, Чехов тянулся к теплу, к веселой игре волн; художник бунтовал в нем против разлуки с привычными местами, в душе нарастал страх перед нескончаемыми душными крымскими ночами.

Близ островерхого монастырского селения, раскинувшегося на другой стороне Пахры, их обогнала крытая одноколка с прикорнувшим седоком. Врачебная сумка, сваливешаяся набок у самых ног тучного, сникшего от качки

на ухабах хозяина, не оставляла сомнения, что это коллега.

Кони чеховского возницы сами перешли на рысь. Пролетка, гулко взгромыхнув по звонкому настилу моста, перевалилась за холм, рассеченный надвое колеей, протаявшей и обильно унавоженной конским пометом.

У большого особняка, окнами на церковную площадь, Чехов опять увидел ту же одноколку. К коновязи были причалены еще две упряжки да узкие дроги, застланные соломой. Большая рыжая кошка, играя хвостом и поблескивая шалыми зелеными глазами, гонялась по грязному двору за утятами, рано вылупившимися в этом году.

— Дом помещицы Варвары Кирилловны Кисловой,— пояснил возница, обернувшись и как бы спрашивая о намерении Чехова.

— Остановимся,— сказал Чехов. Опираясь на трость, он неспешно ступил на скользкую подножку коляски и сошел на землю. На крыльце появилась хозяйка — дородная дама с пышной прической, в длинной юбке и кожаных сапогах. Плечи ее были укутаны пуховой шалью, бахрома которой свисала до пояса.

— Мы с вами знакомы,— напомнил Чехов в ответ на французское приветствие хозяйки.— Я пользовал вашего мужа, сударыня. Что с ним?

— Николай Васильевич в Петербурге по делам,— сообщила Кислова доброжелательно.— Но мы с дочерью так рады!.. Милости просим!

Чехов, словно не замечая распахнутой перед ним двери на террасу, тяжело взошел по крутым ступенькам крыльца, повернулся лицом к площади, расслабил на груди концы шарфа. Так он стоял с минуту, медленно переводя взгляд с одного строения на другое. Все предвещало близкие теплые дни. Покосившийся крест на куполе монастырского собора обсели прилетевшие грачи, с крыши ка́пала вода... Гость осторожно отломил влажную сосульку, готовую вот-вот оборваться, и подержал ее на ладони. Рука задрожала, сосулька скользнула под ноги. Чехов невольно поморщился и перевел взгляд на куцее дерево со срезанными почти до самого ствола ветвями. Оно нелепо торчало в самом углу палисадника. Уродливые культи, оставшиеся от могучих ветвей, напоминали обрубки пальцев неживой руки, воткнутой по локоть в обледенелую, замусоренную землю. На культях, разметанные ветрами, торчали остатки исполинского гнезда.

Чехов отер платком лоб и шею. Надсадно и долго кашлял. Потом, завинтив крышку фляги, в которую он по привычке сплевывал, глухо спросил:

— Аисты в прошлом году были?

Вопрос вверг хозяйку дома в замешательство.

Помещица сбивчиво и подробно объясняла, как появились здесь птицы и, не признав изуродованного дерева за свое гнездовье, вскоре исчезли...

— Вот так у нас и повелось,— с горечью произнес Чехов,— беречь живую красоту некому, а казнить и уродовать под видом новейших опытов — всяких хватает... Вы же отбили Венере руки!.. Сознайтесь: вам застила крона?

Преодолев замешательство, Кислова готова была как угодно оправдываться, лишь бы успокоить писателя, который специально приезжал сюда раньше полюбоваться на домовитых доверчивых птиц.

— Крона была просто прелесть!— воскликнула она.— Но Николай Васильевич любил в палисаднике читать после обеда, а с дерева в росные дни и после дождя каплет. После болезни он стал чересчур мнительным. Все ему казалось, что каплет с аистов. Но ведь там и сейчас достаточно места для гнезда,— заключила растерянная женщина.

Антон Павлович вспомнил суетливого, излишне веселого, склонного к пустой болтовне и несбыточным прожектам супруга Кисловой. Пухловатый, с иосеченным ветвистыми желтыми морщинами лицом, ходил тот по двору в цветастом баварском халате и тюбетейке с кисточкой, отдавал распоряжения... Уехав, как он говорил, «за приличным образованием» в Берлин и Париж, Николай Васильевич засиделся там и после курсов осваивал быт, вникал в европейскую культуру земледелия. На родину вывез страсть переделывать растения. Бревна на мостах близ усадьбы велел перестлать не поперек дороги, а вдоль, чтобы не гремели колеса. Так он заботился о тишине, необходимой для своей умственной работы.

Николая Кислова преследовала идея: на безверхих деревьях поселить аистов. Величавый вид целой колонии мирных птиц больше обрадует путника, чем обвисшая под тяжестью ветвей плакучая ива, заросшая до корней придорожная ракита, решил он.

Обезглавленная согласно этой теории липовая аллея на въезде в село захирела, на ней не стало даже вороньих гнезд; между рассохшимися бревнами моста застревали

колеса. Ученого преобразователя окрестных видов мужики прозвали Шалапутом. А столичные газеты и журналы продолжали именовать Кислова пышными титулами действительного члена многих обществ соревнователей нового.

Спасители теперь требовались не только аистам, но и семье Кисловых. В свой первый приезд сюда Чехов вежливо попросил молодую жену Николая Васильевича оставить их вдвоем, говорил с хозяином усадьбы не столько о подагре, сколь о последствиях его увлечения в бытность за границей наукой страсти нежной... Отнюдь не просветительные дела, а забота о спасении собственной жизни удерживала теперь Кислова в Петербурге по нескольку месяцев кряду.

«Жалкий человек, ничтожные итоги!— думал сейчас о нем Чехов.— Такие люди без должных уз со своей землей, с народом своим, тщатся определить себе место во главе общества, вести к процветанию державу! Шумят, колготятся, действуют... А когда обанкротятся кругом, ждут спасителей на крыльях аистов!»

Почувствовав неприятный озноб, очужевший ко всему здесь, Чехов потрогал тростью высокий порожек и шагнул в глубь дома.

— Не ждите аистов и этим летом!— прозвучало у него приговором.

В широкой горнице Антон Павлович увидел целый консилиум: у кровати, выдвинутой почти на середину комнаты, сидел местный врач Евлампий Волков, сразу узнавший Чехова и кинувшийся ему навстречу. Только что прибывший из Москвы профессор Гродзинский расположился в кресле у изголовья больной. Короткие ноги профессора, обутые в юфтовые сапоги гармошкой, были расставлены так широко, что живот провис и опустился на сиденье. Чехову Гродзинский ответил замедленным кивком головы. Он был занят — отсчитывал пульс.

Был еще один посетитель — светловолосый, стремительно-высокий юноша в студенческой куртке. Он стоял у дальнего окна и напряженно следил за всем, что происходило в горнице. Юноша тоже сразу признал Чехова — по портрету последнего выпуска сочинений писателя в издательстве господина Маркса — и сильно смутился от этого открытия. Растерянно шагнул навстречу, но сразу опамятовался и с поклоном предложил гостю стул, спинка которого служила опорой его длинным рукам.

Чехов сел в простенке, между занавешенных окон. Ему

открылась правая сторона лица больной и рука, бессильно опущенная вниз. Больная была совсем молода. Она лежала, прикрытая по грудь атласным пуховым одеялом, неприятно бросавшимся в глаза, будто самая дорогая вещь в доме.

Вскоре пришла хозяйка. Вооружилась очками и словно собиралась читать, а не выслушивать, что ей скажут медики.

Дочь Кисловых, Аида, остролицая, очень бледная, с пугающей синевой под глазами и прямым длинным носом, спокойно и безучастно отвечала на вопросы. Она лишь один раз вздрогнула и потянулась глазами к порогу, когда зеленоглазая кошка протиснулась через неплотно притворенную дверь и, мурлыкая, двинулась к постели. Чехов с неприятной гримасой, усмехнувшись, покосился на кошку — та терлась обрызганным талой водой боком о свесившуюся руку больной.

В окне мелькнула угрюмая физиономия кучера: Чехов обещал его «ослобонить» к середине дня.

— Пульс сто десять,— скороговоркой, будто для самого себя, объявил профессор, прищелкнул брелоком и обвел глазами собравшихся. Потом он повторил для Чехова то, что услышал от больной и ее матери раньше.— Временами поташнивает, кружится голова. Аппетита нет, желания притуплены.

Он не повернулся, а ерзал всем корпусом, отыскивая Кислову.

— Типичный невроз,— твердо произнес Гродзинский.— Полагаю, к тому же связанный с перенесенной в детстве лихорадкой... А что думаете на этот счет вы, коллеги?

Тонкий, узкогрудый и оттого кажущийся длинным Волков театрально развел руками, поспешил согласиться.

— После вас, Ираклий Захарович, по обыкновению, добавить нечего... Мы счастливы вашим дозволением при сем присутствовать! Учимся!..

Чехов молчал. Внешне он казался спокойным, ушедшим в раздумье, лишь часто прикладывал платок к повлажневшим вискам. Затем принялся уголком платка торопливо протирать стекла пенсне. И вдруг сказал четким, слегка застоявшимся голосом:

— Дифиллоботриум латум.

Волков неопределенно хмыкнул, подхватился на ноги, сухо закашлялся. Профессор изумленно вскинул голову. Ровные, подстриженные, как зубная щетка, брови величе-

ственно поплыли на лоб. Круглый живот колыхнулся и затрясся от смеха.

— Изволите шутить?— спросил Чехова ученый.— Мужицкая болезнь в этом роскошном особняке? Впрочем, грустные шуточки — это в вашем... амплуа. Х-хе... Как говорится, суум куикве... Каждому свое: медикам голову ломать над диагнозом, беллетристам развлекать публику...

Чехов промолчал. Профессор приложился еще раз к руке Аиды. Извлек и тут же убрал часы...

— Премного благодарен за участие!— буркнул он Чехову. С остальными попрощался еще суше — общим поклоном. Гродзинский увлек хозяйку дома в прихожую поговорить о режиме ухода за больной. Судя по тому, как скоро отошла карета, разговор был непродолжительным. Владелица особняка вернулась расстроенной. Она разволновалась так, что губы дрожали. Но Чехов ничего не замечал, жалко сгорбившись, пристроив блокнот на колене, он быстро писал латынью. Юноша в форменке держал перед ним чернильницу. Еще не окончив рецепта, Чехов заявил Кисловой:

— Успокойтесь, сударыня! Дочь ваша будет здорова. Не хочу никого разочаровывать в знаниях уважаемого Ираклия Захаровича, самому приходилось читывать его труды... Рекомендую следовать предписанию профессора в точности. Рецепты Гродзинского годятся для любого случая. Ну, а если милейшей барышне не полегчает, дерзните воспользоваться моим скромным советом...— Антон Павлович расписался в блокноте и передал рецепт не Кисловой, а студенту.

— Вам, голубчик, надлежит сбегать к фармацевту. Семян тыквы на три копейки, флакон прованского масла той же стоимости и все остальное, что там сочинено на такой случай... Однако погодите,— Чехов попристальнее вгляделся в лицо юноши.— Скажите поначалу: вы в самом деле готовитесь кого-то из нас сменить?

— У меня практикуется,— произнес стоявший у притолоки двери Волков.

Юноша, все еще с рецептом, чернильницей и пером в руках, поклонился писателю:

— Студент второго года обучения, Игорь Карташов!

Чехов посвежел взглядом, приблизился к Игорю вплотную.

— Очень рад... Красивая русская фамилия... Эк, выгнало вас, однако! Ну ничего: здоровый вид самого лека-

ря — лучшая реклама врачеванию.... Между прочим, по выражению вашего лица, юноша, я определил: вы не согласны с моим диагнозом? Признайтесь, мне это интересно...

Игорь густо покраснел:

— Нет, Антон Павлович, не ошиблись. Я действительно не тороплюсь соглашаться с другими, но не в данном случае. Мне сразу показалось, что болезнь инфекционная. Латума я, конечно, не предполагал, но теперь почти не сомневаюсь.

— Вы наблюдательны!— похвалил студента Чехов.

Волков сник. Ему претила фамильярность практиканта, вступившего в беседу со знаменитым литератором.

Чехов внезапно заторопился к выходу.

Не обошлось без конфиденциального разговора с Кисловой.

— Лечение сейчас — главное. Однако не забудьте выдать свою наследницу замуж,— с доверительным участием советовал под конец беседы Чехов.— Приспел ей час для иных забав.

У коновязи, пока кучер освобождал лошадей от мешочков с овсом и шуршал в пролетке, взрыхляя солому, лекари немного поговорили:

— Все пьешь, Волков?— спросил Чехов, намекая на давнюю слабость друга студенческой поры.

— Пью, Антон... Искореняю общее зло насилием над собой... Детей шестеро, прибавки к жалованию не жди... В приличные дома зовут редко: рядом Москва, олимп медицинский. Против мнения профессора не попрешь — засмеют. Пустой работы не убывает... Идеалы померкли, признаков к близким переменам не замечаю... Пятый десяток мыкаем, а вокруг все то же. Молодую помещицу нутряки заедают...

— А ты не пей, Волков, врачи не велят,— пошутил Чехов без улыбки.— И в перемены верь, они скорее придут...

Евлампий Волков в волнении закашлялся и проговорил горячо и искренно:

— Плох ты, Антон!.. Я это сразу заметил... Побереги себя! Обидишь ты всех нас! Ох, обидишь!..— И Волков прижался лбом к плечу старого приятеля и коллеги.

— Спасибо,— проговорил Чехов смущенно. Он не любил разговоров о своей болезни.

Затем поспешно извлек бумажник и выбрал ассигнацию покрупнее. Чуть не силком, смущаясь, сунул деньги в повлажневшую горячую руку Волкова.

— Это тебе за пользование и совет... На гостинчик детям.

Волков не стал отнекиваться, а лишь произнес с глубокой жалостью к себе:

— Эх, Антон, Антон... Не о такой встрече нам тогда думалось!— И торопливым жестом отправил дар друга за отворот припорошенной отрубями шинели.

Кучер, ревниво покосившись на ассигнацию, напомнил:

— Антон Палыч, солнышко не ждет!

Все неудовлетворение преждевременной расточительностью седока бородатый возница вложил в удар с плеча — полоснул кнутом кошку, вышедшую вслед за хозяйкой проводить гостей. Избалованное животное, коротко мяукнув, подпрыгнуло на месте и, зашипев по-гадючьи, скрылось под крыльцом, полыхая оттуда зелеными глазами.

Карташов стоял поодаль, наблюдая за братанием двух рано постаревших врачей. Машинально поглаживая Волкова по плечу, глядел на студента и Чехов, стараясь по писательской привычке выделить в облике юноши самое характерное: гибкий, словно тополек, чуть удлиненное лицо с румянцем от подбородка до висков, одна, но глубокая складочка между бровей... Задумчив, скромен, воспитан — ни одного лишнего жеста, ни одного напрасного слова. Глаза светлые, с грустинкой. Нечему радоваться на Руси — прав Волков, хотя и ошибается подчас с диагнозом.

Чехов в последние годы все чаще ловил себя на досадной мысли: хуже стал понимать молодежь... Вот случай поговорить откровенно!.. Этот не сробеет, все выскажет!.. Лаская взглядом статную фигуру Карташова, думал о его будущем: «Проживет долго, сделает много хорошего!.. А может, на таких вот крутых, молодых плечах грянут и перемены, которых не дождались мы с Волковым?»

И ему вдруг стало веселее, будто переложил на юношу частицу своих надежд.

У околицы оглянулся: сгорбившийся Волков отвязывал лошадь, выводил ее к дороге. А Карташов все стоял, прямой и сильный, глядел Чехову вслед.

Антон Павлович помахал ему рукой. Юноша сорвал с головы фуражку и высоко поднял над собой. Чехов запомнил улыбку — щедрую, озаряющую душевным излучением, и рассмеялся, выказывая тем самым резкую перемену настроения: встреча с другом, знакомство со сметливым, честным юношей... Нескупые дары грустной сей жизни.

— Пимен Иваныч,— позвал Чехов, мешая смех с каш-

лем,— кроме подорожных, с меня целковый. Прошу напомнить при расчете.

— Это уж как вы изволите,— удовлетворенно отозвался возница.

— Не то, не то!— возразил Чехов, улыбаясь во все лицо, настраиваясь на шутку.— За добавление к рецепту благодарю!.. Зеленоглазую нахалку вы огрели кнутом кстати... Теперь несчастная животина сбежит небось куда глаза глядят! На хозяйку разобидится, что не заступилась...

Возница шумно крякнул, поняв, за что получил вознаграждение доктора Чехова, и басом захохотал. Да так громко, что кони дернули и понеслись доброй рысцой.

— Ну и скажете, господин доктор! Ну и скажете!— приговаривал он, громко всхрапывая носом и потирая глаза кулаком.— Да ежели бы я знал, то и насовсем...

— Насовсем, Иваныч, нельзя, не годится,— предупредил его Чехов.— Кошка не виновата... Пусть себе мышей ловит.

— Ежели для пользы, то отвез бы подальше,— уточнил возница.— Мне ведь все-дно на возврате в том дворе останавливаться — супонь обронили, а супонь из сыромятины, совсем новая.

— Ну, если так, то действуйте, Иваныч,— снова оживился Чехов.— В Москву ее, разбойницу, чтобы утят не обижала! Через забор Гродзинскому ее, каналью! Друг Волков не способен на такое: пал перед нуждой, раболепствует... Юноше Карташову рано бунтовать, не окреп еще. А вы — засупоньте при случае! Пусть Ираклий Захарович всем своим домашним и гостям рецепты от нутряков прописывает!

Чехов въезжал в Мелихово в хорошем настроении.

...После, когда Аида Кислова, приняв лекарство по рецепту доктора Чехова, освободилась от недуга, Игорь Карташов отослал в Ялту письмо, совсем не рассчитывая на ответ. Писатель сразу откликнулся любительским снимком, приписав на обороте несколько слов. Пока молодой человек раздумывал, удобно ли напоминать о себе больному и вечно занятому Антону Павловичу и если да, то как это сделать хоть с маленькой пользой для писателя, газеты принесли известие об отъезде писателя в Баденвейлер... А вскоре Чехова не стало.

Надежды Андрея проскочить с Натой в мансарду незамеченным отцом и провести с ней наедине под хорошее настроение остаток ночи, а потом как-нибудь объяснить все строгому родителю, не сбылись. Едва скрылись они с глаз постового, забарахлил мотор: чихнул раз-другой, крупно выстрелил выхлопной трубой и, обессиленный, запросился на обочину.

Ната пробудилась, кинулась было помогать Андрею, но пользы от нее, естественно, было мало. Андрей догадывался: неполадка в системе питания. Действуя по инструкции, он проверил бензопровод. Неисправность не пожелала на этот раз так просто открыться.

Мотор так и не удалось завести. И тогда Андрей, увидев через стекло сладко прикорнувшую на заднем сиденье Нату, ругнулся на проклятую технику, которую никогда не любил и не понимал толком, и пошел себе в кабину. Вспомнил при этом отца: тот водил «Москвича» пятнадцать лет по бездорожью и никогда не ночевал в поле.

Над лесом уже во всю играла заря.

Постовой Дементьев, проезжая с дежурства, увидел их спящими в полураскрытой машине.

— Ай-ай, молодой человек! А говорили...— он тронул тыльной стороной ладони куцые усики.

Андрей еле разобрался, что к чему — в глаза полыхало жаркое с утра августовское солнце.

— Вам документы на машину?

— Не стоит,— махнул рукой постовой,— я уже двадцать лет здесь езжу и научился различать всех, кто встречался в дороге... Счастливого пути.

Андрей заметил: капот водворен на место и даже прижат зажимами. Мотоцикл милиционера уже взревел, готовый исчезнуть с глаз.

— Подождите!— вскричал Андрей.— Может, вы глянете: что с мотором случилось?

— Все в порядке,— продолжал по-мужицки грубовато постовой.— Опростался бак... Пока вы отдыхали, я литра три в бачок вбросил. До Сергеевки хватит, а у меня участок немалый... Привет Игорю Васильевичу!

— Вы его знаете?— удивился Андрей.

— ...И он меня!— заулыбался постовой.— В младенчестве от грыжи спасал... Скажите: живой остался младший Дементьев из Котовки. Вспоминаем о докторе!

— Охотно передам.

— Спасибо!— произнес постовой на прощание.

— Андрей Игоревич!— проснувшись, спросила Ната.— Сделаем ли и мы что-нибудь такое, чтобы о нас вот так помнили?

— Сделаем!— ответил Андрей, заводя машину.— Вот вернемся и начнем...

Ната обиженно привалилась на сиденье спиной к Андрею.

Игорь Васильевич встретил сына у ворот, будто ждал всю ночь. Относительно девушки старик заметил не без сарказма:

— Краденая?

— Почти,— буркнул Андрей в ответ.

Игорь Васильевич встал, как обычно, в шесть. Он даже не знал, что сына нет дома. Андрей ложился поздно, чтобы не тревожить старика, поднимался по открытой лестнице в мансарду и не спускался оттуда нередко до самой середины дня. Игорь Васильевич не беспокоил сына, ибо как медик считал сон одним из самых целительных средств, дарованных природой человеку.

Старик занимался подрезкой кустов смородины в палисаде, когда к его удивлению послышалось знакомое пофыркивание «Москвича». Игорь Васильевич бережно относился к испытанным вещам, имел привычку не доверять без проверки ничему новому. Ему не нравилось, что сын в последнее время слишком часто пользуется его стареньким «Москвичом».

— Добьешь мой рыдван,— ворчал он,— не на чем будет в клинику съездить.

Доктор Карташов уже много лет не врачевал, но с исключительной и не лишней в данном случае осторожностью отвозил по знакомой дороге в большое соседнее село больных, если его об этом просили.

Перед тем как отправиться с Натой в мансарду, Андрей все же представил ее отцу.

Игорь Васильевич нашел девушку очень милой. «Может, женится балбес»,— подумал он о сыне.

6

От платформы полустанка к дому Карташовых вела выложенная бетонными плитами, полузаросшая мелким пыреем тропа. Обрывалась она у непересыхающего в жару

и незамерзающего зимой ручья. Дальше приходилось шагать по шлаку, расчетливо высыпаемому здесь жителями поселка во время отопительного сезона и продлившими путь по глине, от которой в ненастную погоду тропа раскисала. Летом шлак скрипел под ногами, будто снег в лютую стужу.

Привыкший все делать тихо Яша Дудак не любил этой каверзной, будто кричащей тропы. Еще больше он остерегался колючего взгляда Карташова-старшего. Игорь Васильевич не то чтобы совсем иначе, чем к остальным посетителям, относился к Яше, нет. Но прищуренный, с хитринкой взгляд доктора, казалось, прожигал все защитные оболочки Яшиной души. Всякий раз Яша нешутейно ждал что-нибудь вроде упрека:

— Поганенько живете, молодой человек! Неважно выглядите!

Сегодня Яша никак не хотел попасться на глаза старику Картошову раньше, чем повидается и поговорит с его сыном.

Пришло письмо из Норильска. Подвернувшийся Яша вызвался вручить листок северян Андрею лично. Он рассчитывал при этом на вознаграждение за усердие, по крайней мере хорошим обедом. К тому же никто другой не мог бы с пикантными подробностями и живописными добавлениями передать общим знакомым, как воспримет молодой Карташов заявку на копию. Яша спешил от электрички на взгорок к знакомому строению и заранее наслаждался душевными муками преуспевающего живописца.

Еще издали он увидел у калитки Игоря Васильевича и невольно замедлил шаг. На зеленом фоне вишенья отчетливо смотрелась согбенная фигура старика в светлом льняном пиджаке. Угрожающе поблескивали его очки. Ранний гость мысленно прикидывал, что бы такое сказать доктору веселенькое, отвлекающее и умное...

— Салам, Игорь Васильевич!— закричал Яша, отодвигая грудью калитку и размахивая пустым портфелем, в котором покоилось только письмо, предназначенное Андрею.

Доктор холодно глядел мимо, будто не слышал.

— Вы не татарин?— спросил он, когда Яша повторил свое, как ему казалось, оригинальное приветствие.

Дудак смешался, смущенно зарделся, перекладывая портфель из правой руки в левую. Впервые сейчас он за-

метил, что волосы на голове старика не просто белые, седые, а отчетливо мечены прозеленью.

— Нет, только сейчас из Москвы!— сказал Яша и дрожащими руками принялся расстегивать портфель, понимая, что говорит и делает вовсе не то.— А вообще я сибиряк, не коренной, правда.

— В таком случае, здоровайтесь по-русски, сударь...

Это «сударь» означало не лучшее расположение духа старика.

— Я с хорошими вестями, Игорь Васильевич.

О хороших вестях, не ему предназначенных, доктор слушать не захотел.

Он не уходил от калитки, а Яше казалось, что его не хотят пускать в дом. «И как ему не скучно здесь?— удивлялся Яша.— Неделями человек не вылазит из своего земства...»

Не дождавшись приглашения поделиться новостями, Яша опустил конверт обратно в портфель и произнес с придыханием:

— А искусствовед Кузнецкий умотал-таки во Францию... Все думали, что он по делу туда...

Старик выслушал новость без удивления.

— Кто такой?— доктору, конечно, попадалась эта фамилия в печати, но сейчас Игорь Васильевич хотел знать мнение молодого человека о своем ровеснике, которому надоела почему-то родная земля.

— Вы не слышали о Кузнецком?— удивился Яша.— Известный автор, за границей о нем знают... В прошлом году отмечен первым призом государства Монако.

— Хороший игрок?!— не то спросил, не то подытожил старик твердым голосом.

Яша всегда терялся от подобных шуток, надежно скрытых безупречной серьезностью лица. На всякий случай, ответил осторожно:

— Пишет-то он по-русски...

— Изъясняются на русском сейчас и в Англии,— вспомнил Карташов недавнее сообщение газет о преподавании русского языка в тридцати колледжах.— Горе-писака этот... как, бишь, его... должно быть, считается классным игроком... Тем и интересен... Иначе зачем ему, родившемуся в своем отечестве, искать лавровые венки за рубежом?

Яша понял: из этого разговора с достоинством ему не выбраться. Чего доброго, старик еще начнет сравнивать его

самого с Кузнецким. Новостей, что могли бы заинтересовать старшего Карташова, он больше не знал. И гость, проявляя нетерпение, налег грудью на калитку.

— Я с доброй вестью к Андрею... Игоревичу,— заикаясь, произнес он.

Старик махнул испачканной в земле рукой и молча занялся кустом смородины. Только сейчас Яша услышал в глубине сада смех и голоса.

Причиной холодного отношения Игоря Васильевича к «культурным новостям из столицы» был невольно подслушанный им в саду разговор приятелей Андрея по институту, Евгения Мизгарева с Лутоней, которые появились здесь незадолго до Яши.

Игорь Васильевич уже привык к тому, что его словно не замечают в доме, что он выглядит здесь ненужным анохронизмом. Молчаливая фигура старика появлялась то здесь, то там, что никого не удивляло. Он бродил среди кустов крыжовника и малины с большими садовыми ножницами, подвязывал отягченные плодами ветви, взрыхляя землю у яблоневых стволов. В разговоры гостей не вмешивался, на вежливые вопросы этих людей, слишком занятых торопливыми заботами, отвечал односложно, часто ссылался на свою некомпетентность или старомодность своих взглядов. К столу доктор обычно подходил позже всех. Однако редкие фразы Карташова-старшего, произнесенные вскользь, обиняком, запоминались надолго, передавались с непременным предупреждением: «А ты знаешь, что по адресу С. дед Карташов сказанул?.. Умрешь — не придумаешь!»

Слухи о склонности Игоря Васильевича к чудачествам разносил по знакомым и Яша. Этим он заранее страховал себя от насмешек старика, которые могли обратиться и против самого Якова — что, по убеждению Дудака, рано или поздно случится. Ему все же удалось найти подход к сердцу старика — он прикинулся любителем всяких лесных диковин, иногда приносил добытые невесть где причудливые корни и ветви, толковал об этом с видом давнего почитателя природы.

В сад обычно Карташов прихватывал длинный столовый нож, сделанный когда-то из обломка косы. Тупым лезвием выковыривал он свившиеся коренья. Кое-что из садовых трофеев доктор, веря в пристрастие Яши, жаловал в его коллекцию.

Однажды Игорь Васильевич под кустом черноплодной

рябины приметил змеевидный отросток корня, скрученный тайными силами земли почти в пружину. Этот вытвор природы завершался естественным утолщением и двумя корешками, напоминающими жало гадюки...

Яша разыграл из себя летописца, присутствующего при вскрытии гробницы фараона.

— Братцы!.. Игорь Васильевич добыл Змея Горыныча!

Перед тем как выставить добычу для всеобщего обозрения, доктор обыкновенно тратил уйму времени на очистку и обработку, удалял все ненужное, пропитывал находку олифой. Старику не понравилось, что Яша собрал вокруг необработанного корня всех присутствующих. И доктор тут же, не дождавшись, пока любопытные сбегутся и потребуют комментариев, вручил сюрприз природы настырному любителю.

— Ерунда какая-то!— объяснил он смущенно.— Не хочу рядом с красотой погань коллекционировать. Нет бы что-нибудь попалось, имеющее человеческий облик, а то — гадюка.

В тот день гости Андрея много толковали о предстоящих выборах руководства секции, вслух поносили какого-то Б., человека бездарного, однако рвущегося к любому должностному портфелю...

А старик вспоминал картины из деревенского быта.

— В масленицу по улицам водили ряженых, напяливали на себя рвань, выворачивали полушубки. Мужчины повязывались платками, а подвыпившие бабенки выкатывались за порог во всем мужском... В каком-либо доме или в плохонькой школе доморощенные актеры разыгрывали традиционное «действо»: русский богатырь в длинной посконной рубахе сшибался с двуглавым змеем, выряженным в овчину... Извечный бой добра со злом. Один выступал заступником людей, другому выпадала незавидная доля изображать коварного гада... Играть последнего было невыгодно еще и потому, что зрители по ходу «действа» швыряли в переодетого человека солеными огурцами, лежалыми яйцами... Иной огреет и увесистой палицей, выказав под видом шутки затаенную злобу на актерствующего. По древней легенде змей должен обессилеть в борьбе до издыхания — таково требование народной морали. Победить зло во что бы то ни стало полагалось добру...

Яша слушал откровения доктора, раскрыв рот от изум-

ления. Ничего подобного он не видывал в сибирском таежном селе.

— Наслушаешься вас, служителей нынешних муз,— шел к завершению воспоминаний доктор Карташов,— и приходишь к выводу, что в разгар ваших петушиных сшибок кто-то подпустил вместо ряженого змея натурального... Пока вы, горе-богатыри, размахиваете бумажной палицей и заклинаете шутейными молитвами, натуральный змей на глазах у ликующей публики разит и жалит заступника добра.

7

Отправляясь в загородный вояж, Яша и не рассчитывал застать дома лишь старого хозяина. У Карташовых вечно обретались один-два студента, которым почему-то некуда было деть себя, особенно во время каникул. С мансарды дома открывался великолепный вид на пойму, затейливо перечерченную сверкающей змейкой ручья. Родниковая струйка, изгибаясь, ярко поблескивала на фоне голубеющего неподалеку леса и тянула за собой пушистую гривку лозняка. Этот пейзаж много раз варьировался в дипломных работах выпускников института, не исключая работ и самого Андрея.

К субботе в «земство» ударялись и другие любители природы. В минувшее лето продали дачу на Пахре Лутонины и теперь чувствовали себя осиротевшими... Отвращение к недвижимой собственности питал со времени пролетарской молодости Захаров. У Евгения Мизгарева, известного книжного графика, был собственный дом в Крыму под присмотром старенькой мамы. Набрав заказов в издательствах, Евгений уезжал туда в сентябре или октябре, продлевая себе лето. А пока его устраивала обширная усадьба Карташова — с Андреем у Евгения со студенческой поры установились почти братские отношения.

Уповая на широкую натуру Андрея, знакомые везли с собою не совсем знакомых и просто незнакомых, характеризуя их как хороших людей, и этого было достаточно, чтобы те чувствовали себя свободно, наравне с давними друзьями дома. По дурной традиции в портфелях, багажниках машины, а то и в авоськах тащили бутылки экзотические, с пестрыми наклейками...

Всю эту немалочисленную ораву приходилось кормить, забавлять, размещать на ночлег. Поэтому с началом июня и до заморозков у Карташовых жила престарелая тетя

Шура, мать покойной жены Игоря Васильевича, такая же упрямая долгожительница, как и муж ее Фени. Игорь Васильевич относился к теще с глубоким почтением, всячески ее оберегал от излишней работы, соглашаясь даже подежурить у плиты. Веселая компания, зарядившись спиртным, поглощала на вольном воздухе горы снеди...

В то время как Яша Дудак, демонстрируя собой бездну искренности и восхищения, выслушивал у калитки всегда несогласного с молодыми старика Карташова, более ранние пришельцы уже разбредались по усадьбе в поисках тенистых уголков. Сквозь гривку едва распустившей бутоны, но уже остропахнущей белыми верхушками жимолости Яша разглядел двух женщин.

Над всем этим роскошным миром, опьяненным смешанными запахами летнего сада, над разомлевшим в духоте дня поселком, то и дело взлетал громовой смех Мизгарева... Мизгарев ходил между кустами смородины, сильно выбрасывая руки, жестикулируя, смеясь своим же комментариям по поводу одной незатейливой истории, относящейся к нему самому и его слушателю.

Лутоня сидел на куцей скамеечке в рубашке, перехлестнутой подтяжками. Опустив подбородок на кисти рук, обвивших деревянную трость, он морщился, опускал веки и неодобрительно покачивал головой, когда Мизгарев смеялся особенно громко. Измятый чесучовый пиджак Лутони висел на побеленном известкой суку приземистой сливы. Супруга Лутони, Эмилия, прохаживалась возле старенькой покосившейся баньки, на завалинке которой тетя Шура ощипывала только что зарезанную курицу.

С тех пор как первенец Лутониных, Леонид, стал ухаживать за сокурсницей, дочерью известного журналиста, Эмилия, внутренне одобряя выбор сына, готовилась в бабки. Она заново привыкала к игрушкам, а вид детской коляски просто умилял ее. Будущая бабка не упускала случая набиться в помощницы домработнице, тайком ходила на курсы по домоводству для молодоженов.

В саду Карташовых Эмилии больше подошла бы компания праздных дам: Ната выспалась в машине, а после знакомства с отцом Андрея не решалась залеживаться в мансарде. Она очень скоро сошлась с молоденькой женой Мизгарева, Симой. К приезду Красовицких Ната и Сима так разговорились, что им просто не хотелось принимать в свою компанию кого бы то ни было третьего. Молодые

женщины стеснялись подошедшей было Эмилии. Рядом с ними слишком заметно было нынешнее несовершенство прежней звезды эстрады. Эмилия почувствовала замешательство молодых женщин и, не зная, перед кем демонстрировать обиду, ушла в глубь сада, где вызвалась пособлять тете Шуре:

— Могу держать курицу, пока вы обираете перья,— предложила она.

Старуха, повернув иссеченное морщинами сосредоточенное лицо к гостье, рассудила:

— Курица не поросенок, ее держать нечего... Да и резаная она уже... Если бы голову сечь подоспели, не отказалась бы от услуги... Не люблю живность казнить, и Васильевич такой работы сторонится... Раньше киномеханик выручал — из клуба, здешний. Прогнали душегуба. Не успеем отвернуться, бывало, а он зажмет птице шею в кулаке, дерг... и все. А голова в кулаке зевает... И где только изверг казню такую хохлаткам удумал? Отказались мы от его подмоги...

Эмилия, поудивлявшись рассказу старухи, вежливо заметила, что и сама она едва ли совладала бы с живой курицей.

— Архип у меня тоже стал слаб на сердце,— пожаловалась она.— Чуть заговоришься о волнительном, плачет, как ребенок.

Тетя Шура разогнула спину, приохнула, вытерла тыльной стороной руки лоб и примирительно сказала:

— Ну, тогда, милая, если назвалась в помощницы, сгребай перья в подол и неси к яме — вон туда, за гороховые грядки.

Подол короткой юбки Эмилии не был приспособлен для переноса чего-либо, потому бывшая звезда эстрады сгребла часть перьев в пригоршню. Вернулась она почти бегом, высоко вскидывая над горохом отяжелевшие ноги. Полошливо зашептала:

— Тетя Шура!.. У этой курицы были птенцы?..

— Нет, отчего ты взяла?— старуха озабоченно поглядела на гостью.— Теперь курам не доверяют водить цыплят... Инкубатор в ходу... У кур, что у модниц, новая работа: телеса нагуливать. Васильич надысь в газете вычитал: бройлеры они теперь, а не куры называются. Может, весь женский наш пол вскорости как-нибудь переименуют...

— А что же т а м пищит?— продолжала Эмилия, боязливо указывая в сторону ямы.

— Воробьенок небось свалился, чума его забери... Летать они сейчас учатся, рано из гнезда запросился.

— Может, спасем?— предложила Эмилия.

— В яму за ним лезть?.. Сам небось выпорхнет или коты вечером подберут?

Такое решение тети Шуры показалось Эмилии слишком жестоким. Чтобы уговорить практичную старуху слазить в яму за птенцом, Эмилия вспомнила:

— А там и бутылок полно...

Тетю Шуру не обрадовало это сообщение. Она опасливо покосилась на голоса из сада, шепотком предупредила:

— Про бутылки молчи, милая...

— Разве это секрет?— Эмилия присела над курицей рядом с тетей Шурой.

— Секрет, чума его забери, секрет самый настоящий,— проворчала старуха.

* * *

Помимо других своих слабостей, Андрей имел непреодолимую слабость к знакомствам с новыми людьми. Иногда эти его почти ребяческие увлечения заканчивались скандалами.

Как-то сын привез на «Москвиче» худого, рослого юношу в полувоенном светло-зеленом костюме. Черные, смоляные волосы юноши свисали почти до плеч. Весь его облик — большеватые коричневые глаза, нос с горбинкой и спокойный, вдумчивый нрав — рисовали в нем человека уравновешенного, интеллигентного. Парень назвался Виктором, он оказался большим любителем финской бани, а поскольку таковой в пригородном поселке не оказалось, пробавлялся банькой Игоря Васильевича.

Пока гость мылся с дальней дороги, Андрей охарактеризовал нового гостя, не жалея красок:

— Работает инженером-отладчиком на циклотроне... Раньше вкалывал на стройке под Красноярском, что-то изобрел, учась заочно. Виктор — москвич, но с мамой у него не заладилось... Ты ведь знаешь, как теперь трудно найти общий язык с «предками», особенно тем, у кого независимые взгляды.

Игорь Васильевич поморщился при этих словах сына, но спорить с Андреем не стал. Старик пропустил мимо ушей и то, что Виктор разошелся с женой,— тоже, видно, не нашел общего языка.

Короче, полуночная беседа эта Андрея с отцом закончилась банальной просьбой: поселить Виктора в мансарде, пока у него что-либо образуется получше из жилья.

Из длинного и не совсем ясного объяснения сына Игорь Васильевич уяснил еще и то, что Виктор — офицер запаса, работает в какой-то научной организации.

Игорь Васильевич относился к людям науки, тем более к бывшим военным, с особым почтением. Многие недостатки в характере сына, особенно его слабоволие, доктор объяснял тем, что сын не прошел армейской выучки, не научился понимать авторитет и жизненный опыт старшего над собой. Речения же, которыми Андреевы собратья по кисти развенчивали именитых людей своей среды, порой ужасали Игоря Васильевича. «Нет хозяина в вашем хозяйстве,— говаривал критиканам доктор. Иногда одергивал более строго:— Нет царя в бесшабашной голове!»

Чем-то Виктор и не приглянулся доктору. Возможно, излишней молчаливостью, неприсущей другим приятелям сына.

— Ты хорошо знаешь этого человека?— с непривычной Андрею строгостью допытывался Игорь Васильевич, когда гость, выпив рюмку коньяку после баньки, отправился в мансарду.

— Папа, ты не волнуйся!— зауспокаивал отца Андрей.— Это стоящий парень, жизнь его крутанула, только и всего. К весне ему обещают квартиру, заберет жену и сына. У них и разлад-то больше с тещей, чем с женой...

Сын больше упрашивал глазами — столько было растерянности и неопределенности в его лице. Да и что он мог сказать о Викторе? Познакомились в компании у одного живописца, заслушались анекдотов, которых у Виктора была полна голова, курчавая, как у негра. А насчет семьи и скандалов, так же как и о своих заслугах перед наукой, Виктор ему сказал наскоро, в электричке, после того, как знакомый живописец уговорил Андрея дать пристанище анекдотисту.

— Не слишком ли много разладов и скандалов для такого молодого человека?— пробурчал, хмурясь, Игорь Андреевич. Но сказано это было таким тоном, будто он жалел неудачника.— Ну, ладно, если человек хороший — поселяй... Пусть занимает спальню, я все равно зазимую в рабочем кабинете, там теплее. Впрочем, почему ему жить без семьи?— озарился лицом доктор.— До весны можно и с семьей... Мне будет веселее, я соскучился без малы-

шей... Ты, балбес, вырос, уже научился плевать в бороды и не таким.

И он тернул ладонью поникшую голову сына.

Квартирант неожиданно восстал против излишнего, как он выразился, гостеприимства Карташовых. Семьи он не перевез, даже не показал ее старику за три зимних месяца, от спальни тоже отказался. Он претендовал лишь на плохо отопляемую мансарду — туда имелся отдельный ход: «Меньше буду вас беспокоить, если задержусь на работе»...

Возвращаясь, по обыкновению, поздно, когда Игорь Васильевич спал, Виктор притаскивал с собою напарника по увеселительным компаниям, а то и легкомысленную подружку. Девушек, оказывается, до ужаса интересовал спартанский образ жизни молодого науковца, а еще больше «уникальная» коллекция бутылочных наклеек, развещанных по стенам мансарды. Бутылки тоже не были безразличны коллекционеру: их он выставлял в рядок возле стен, и этот затейливый рядок постепенно окаймил и плинтуса чердачных комнат, и маленькую кухоньку-обогревалку. Живописный бутылочный хоровод грозил к исходу весны перехлестнуться через площадку на ступеньки лестницы, когда все эти художества постояльца однажды заметила тетя Шура.

Игорь Васильевич как раз прихворнул в эти дни, и теща не решилась беспокоить больного зятя разговорами о бутылках. Зато узнавший об этом Андрей пал перед своей бабушкой на колени, блажил:

— Мама!— он звал ее мамой после смерти родной матери, и это нравилось Александре Прокофьевне.— Пощади! Все уберем! Сегодня же!

Убирать они, конечно, не стали. Обнаглевший «постоялец» не нашел пристанища своей коллекции, а Андрей был ленив выполнять физическую работу. Парни переругнулись из-за бутылок, и Виктор, почувствовав приближение грозы, ретировался. Волочить сумки со стеклотарой пришлось старухе. По крестьянскому своему расчету, она понимала, что бутылки денег стоят, поэтому на время спрятала их в яму за гороховыми грядками.

Раньше тетя Шура успевала перетаскивать к ларьку пустую посуду в авоське. Потом достала где-то детскую коляску, пространное ложе которой было рассчитано на двойню. Тетя Шура однажды нагрузила этот транспорт бутылками доверху. Сметливую бабусю ждали у ларька

неприятные разговоры. Зубоскалы из очереди принялись изводить расспросами:

— Это откуль столько добра, Прокофьевна?.. И пенсии не нужно — на одних бутылках прокормиться можно!

— Набралось вот... за зиму,— скромно объяснила старуха, заталкивая груз в проем между стенкой ларька и штабелем пустых ящиков.

— Чего там «за зиму»!— выкрикнула широкоскулая баба в поролоновой фуфайке, надетой поверх домашнего фартука.

Эту женщину тетя Шура не раз встречала на рынке за лотком с рассадой. Торговка сейчас просто измывалась над старухой:— Ты же и на прошлой неделе две авоськи сдала.

— Считала ты мои авоськи!— осердилась тетя Шура.— В свои сумки заглядывай!

— Да у меня всего четыре штуки, на обмен,— не унималась торговка.

— Может, и я на обмен!— поспешила ответить ей в тон тетя Шура.

В очереди засмеялись, а единственный мужчина, оказавшийся среди горластых баб, пенсионер Иван Никитич Зубков, сухонький старичок в кашне и шапке, хорошо знавший семью доктора, пояснил с горечью:

— По прежним временам в доме Карташовых водились только пузырьки с лекарством, а теперь что-то слишком толстыми стали пузырьки... Ай затосковал наш Игорь Васильевич?.. Навестить бы надо.

Никто не обрадовался тяжкой шутке пенсионера. Прикусила язык и торговка: знала, что Зубков — депутат поселкового Совета — не даст разгуляться по адресу Карташова.

— Молодой небось хлещет!— заступились за доктора в очереди.

— Сроду винищем не баловался!— оберегла внука от выпадов недоброжелателей старуха.— Гостям накупают.

— Ну, и гостечки!— не унимался галдеж.— Нет бы показать в клубе рукомесло свое, как в Абрамцево и Малаховке каждый год тамошние художники выставляют.

— Будет вам!— резонила тетя Шура.— Напали, как слепой на стежку. Вроде и поговорить больше не о чем.

— А ты не заступайся за пьяниц,— спокойно советовали другие.

Поселок был небольшим. Если бы не веранды и фасо-

нистые заборы — заурядная деревня. Здесь знали друг о друге все.

И вот тетя Шура растерянно стояла у коляски с бутылками, а потом, так и не дождавшись своей очереди сдавать посуду, привезла стеклотару назад и передала в подробности весь разговор у ларька Игорю Васильевичу.

Эмилия Красовицкая вдоволь нахохоталась над рассказом тети Шуры.

8

Евгений Савельевич Мизгарев был сдержан и скуп на похвалу. И если уж ему пришлось протолкаться через тесный круг окруживших Максима Южанина и сказать ему несколько ласковых слов, то лишь потому, что графика Мизгарева действительно проняла до душевных глубин старинная украинская песня. О фронтовом дружке Никите Самотечном, ротном запевале с его рокочущим баском, Мизгарев неожиданно вспомнил еще с утра, когда толком и не знал, как закончится нынешний день. О фронтовой бывальщине художника попросила рассказать его дочь Ася, пятнадцатилетний подросток, отыскавшая в ящике платяного шкафа одну из наград отца.

Мизгарев жил на Кропоткинской, занимал трехкомнатную квартиру в старинном кирпичном двухэтажном доме. Это была нелепая купеческая квартира с огромным широким коридором, где мог уместиться целый грузовик. К просторному, пожалуй, слишком размашистому залу, примыкали две узкие, полутемные комнаты.

Квартира осталась от родителей покойной жены Мизгарева, Клавы. И отец Клавы, Федор Капитонович, и мать, Анастасия Ивановна, а затем и единственная их дочь, Клава, работали в трамвайном депо. Через год, после того как Клава привела в дом примака, демобилизованного сержанта Мизгарева, и стала его женой, родители Клавы один за другим покинули белый свет. Долгое время, пока Мизгарев учился в авиационном институте, а затем в художественном, у Клавы с Евгением не было детей: Мизгарев считал, что появление ребенка помешает ему осваивать сложное ремесло. Клава, чтобы обеспечить мужа, работала на полторы ставки — не только ремонтировала вагоны, но и водила после смены по ночным улицам трамвай, подменяя кого-нибудь из заболевших или находящихся в отпуске вагоновожатых.

И позже, когда все-таки появился ребенок, а муж уже прочно встал на ноги, Клавдия Федоровна не оставила своей работы, будто дала клятву не изменить фамильной профессии до конца. На одном из таких дежурств Клавдия Федоровна схватила какой-то свирепый грипп и сгорела в три дня. Остался Мизгарев в большой квартире, которую они все собирались перестроить, но так и не перестроили, вдвоем с тринадцатилетней дочуркой Асей — белоголовой и бровастой, как отец.

Мать успела научить Асю кое-чему по хозяйству. Во всяком случае, вечно занятый художник, возвратившись из своих вояжей по мастерским и издательствам, находил на кухне и в бельевом шкафу все в таком виде, будто Клава и с того света продолжала служить ему, его возвышенным занятиям, всегда считавшимся главными в их семье. Мизгарев лишь на похоронах жены, из речей выступавших сослуживцев, узнал, что Клава была награждена орденом за свой труд в депо. Ему теперь так и не узнать, почему жена не сказала об этом.

Мизгарев впервые задумался тогда о дочери. Что ему, в сущности, известно об Асе? Сызмальства дочь была приучена к работе по дому — стирала и гладила себе платьица, могла без посторонней помощи приготовить обед. Отец редко видел ее с книгой. Но, может, это примета изменившихся времен? Его собратья по кисти не однажды жаловались на своих детей: мало читают. Может, информация поступает к нынешним детям по другим каналам?..

После внезапной смерти жены Мизгарев совсем упустил дочь из виду. Не потому, что не имел времени или не видел необходимости. Он чувствовал, что к шестому году обучения у дочери прочно выработался определенный навык приготовления уроков дома. Училась она без троек — оценку эту ненавидела больше самой плохой. Однако и пятерки считала для себя необязательными. «Ты могла бы учиться лучше»,— как-то сказал Мизгарев дочери. «Наверное... Но ведь я не готовлюсь в медалистки...» Любимыми предметами Аси оставались география и естествознание. Рисовала она тоже на четверку.

Увлекалась Ася всем понемногу... Это понемногу сулило Асе в представлении отца заурядное будущее. Для достижения чего-то более значительного, чем служба в семье и в учреждении, уже сейчас требовалось нечто иное. Один из признанных живописцев, ровесник Мизгарева, попал в детстве под поезд: потерял ногу, помяло позвоночник...

На аттестат зрелости сдавал, лежа в больнице... Затем, не выдержав творческого экзамена, пошел в мастерские сторожем. В талант этого человека долго не верили, по привычке обращались как со сторожем, потом все же стали признавать, но больше уважали в нем усидчивость, чем фантазию. Прошло много лет, пока его одаренность проявила себя во всем своеобразии. И тогда за два-три года было наверстано все упущенное.

Евгений Савельич лишь на фронте научился читать душу человека. Без многолетней службы рядовым и сержантом, без мытарств и тяжких раздумий над причинами всяких случайностей едва ли он отыскал бы свое место в искусстве...

Ася, молчаливая и по-взрослому задумчивая девочка, после смерти матери сначала как-то стремительно приблизилась к отцу, но вскоре еще более ушла в себя.

Пенсионерка Марковна, соседка, заглядывая по вечерам на огонек мизгаревской квартиры, пыталась говорить с Евгением о дочери, но в ответ получала только заверения отца: вот схлынет запарка в работе, и он непременно займется Асей. Сходит в школу, посетит новое здание цирка, повезет ее в каникулы к морю. Однако ничего этого Мизгарев не успевал сделать из-за суеты, общественных нагрузок и всяких иных забот. А дочь росла под присмотром сердобольной Марковны и заметно менялась в привычках и убеждениях. Ася стала недоверчивой и раздражительной. Большую часть свободного времени она проводила у соседей, где отыскалась у нее подружка, крупнотелая, голосистая Рита — учащаяся авиационного техникума. Под влиянием Риты дочь увлеклась планеризмом, ходила в Дом техники, в авиамодельный кружок.

Впервые Ася показала свой характер, когда отец привел в дом на Кропоткинскую довольно молодую женщину.

Сделавшись сразу робким, заискивающе-слащавым — и перед гостьей, и перед дочерью — Мизгарев представил свою новую подругу Асе.

— Это Сима... Серафима Георгиевна... Искусствовед.

Ася заученно ткнула импозантной гостье тугую и крепкую свою ладошку, но тут же выдернула ее из цепкой руки Симы, гневно глянула на отца и скрылась в своей комнате. Напрасно девушку звали к столу. Она не отзывалась, не открывала дверей.

Совершенно иначе Ася воспринимала посещение их квартиры товарищами отца по институту, студентами. На

удивление Мизгарева она подружилась с Максимом Южаниным, хотя тот был шумлив, криклив и бесцеремонен.

Максим записывал в девичий альбомчик шутливые экспромты или рисовал какую-либо безделушку.

Ася дорожила его вниманием.

Иногда отцу и дочери все же приходилось подолгу разговаривать. Отец, выполняя какой-либо заказ по оформлению книг, показывал Асе наиболее удачные эскизы. У дочери был особый вкус к нарядной обложке, к простым и содержательным иллюстрациям.

Как-то Ася сама приехала к отцу в мастерскую на Песчаные улицы. Просьба ее была настолько неожиданной, что Евгений Савельевич не сразу понял желание Аси. Оказывается, классный руководитель задал детям сочинение о боевых наградах отцов. Дочь десантника, когда ее спросили о наградах отца-фронтовика, назвала лишь медаль «За отвагу». С этой самой медалью в руке примчалась в мастерские: приближался срок сдачи сочинения. Ася хотела получить и разрешение отца показать эту медаль в классе...

Выслушав дочь, Мизгарев не мог скрыть удивления. Он подумал, что Ася могла бы принести на сбор нечто большее, чем первая войсковая награда.

— У меня ведь два ордена!— подсказал отец.

— Я знаю, папа!— с непонятной упряминкой возразила Ася.— Мне было задание принести медаль. Ордена у многих, а медаль «За отвагу» на весь наш класс только у тебя. Меня просили рассказать именно об этой твоей награде.

Серебряный кружок металла с изображением танка на лицевой стороне покоился в полусогнутой ладошке школьницы.

— Я уже написала в сочинении,— торопливо сказала дочь.— На тебя шел фашистский танк, и ты остановил его связкой гранат...

Мизгарев понял, что все это возникло в воображении дочери, когда та отыскала отцовскую награду. Он и Клаве никогда не говорил, за что его наградили, и потому ему не хотелось, чтобы Ася слишком расписывала его подвиги.

— Ну, что ж... это интересно...— сказал он дочери.— Но тогда я не полз навстречу танку со связкой гранат. Мы десантировались на рассвете, за Днепром. И дело там было совсем иначе. А если бы пришлось ползти со связкой

гранат, то наверняка у тебя был бы совсем другой папа.

— Ты не воевал с танками?— разочарованно протянула школьница.

— Нет.

— А почему здесь нарисован танк?— уставилась на потускневшую поверхность медали Ася. К ней, подобно танку в детском воображении, подступал страх за свое выступление перед целым отрядом сверстников.

— Не расстраивайся,— успокоил отец.— Ты расскажешь, как было на самом деле, и это прозвучит не менее интересно. А главное — скажешь правду: твой отец рядовой солдат... Рядовых тоже не всех отмечали.

— Но танк-то был?.. Он шел на твоего товарища, и тогда ты...— у девочки мелко подрагивали губы от обиды за отца, которому не пришлось ползти со связкой гранат, а еще больше потому, что он так спокойно говорит об этом.

Мизгарев вздохнул:

— Не было, Асенок, танка... Все получилось проще: мы в сумерки наступали на одну большую станцию под Кировоградом, я бежал по железнодорожным путям. Ну, и провалился в яму, предназначенную для очистки паровозных топок. Такой смешной случай. Правда, тогда мне было не до смеха. Яма оказалась глубокой, выбраться трудно, а кричать опасно: могли подойти свои, могли и немцы... Когда бой утих, я понял: наши отошли, не взяли станцию.

— Отступили-и?..— разочарованно протянула Ася и чуть не выронила медаль.

Мизгарев передернул плечами, неохотно продолжал:

— Затем я все же высмотрел уступ в стенке ямы и, ухватившись за рельс, выскочил из западни... Вот с этого момента и начался для меня настоящий бой. На путях я увидел эшелон с военной техникой... Его минировали фашисты, чтобы взорвать перед отступлением... Я обстрелял их, прогнал от эшелона...

Ася оживилась, посмотрела в лицо отца с надеждой.

— И за тобой потом приехал танк?

Мизгарев испытывал нечто вроде отчаяния, но отступать перед навязчивой идеей дочери ему не хотелось.

— Не приехал, Асенок... В тот раз получилось иначе. Услышав стрельбу в тылу гитлеровцев, поднялись в атаку наши десантники... Первым приблизился Никита Самотечный... Он у нас из пушки стрелял, но в атаку пошел вместе с пехотинцами... Такой хороший человек был этот Никита — много песен знал...

Асю вовсе не интересовал сейчас добрый полтавчанин Самотечный. Она думала об эшелоне.

Спасенный от взрыва эшелон вдохновил девочку, хотя это было не совсем то, что ей хотелось услышать от отца.

— Тебе так и не пришлось ни разу ездить на танке?..— канючила она. В глазах ее, зеленоватых, распахнутых, медленно угасали огоньки надежды. Что-то очень для нее важное не совершил на войне отец.

— Как же не пришлось? Случалось.. Танкисты — народ артельный, они пехоту к фронту часто подвозят, если по пути.

Ася, на миг озарившись лицом, вдруг опять поскучнела. Сочинение пришлось переделывать. Зато как она сияла, вернувшись с отрядного сбора.

— Всем так понравился мой рассказ о яме и о спасенном эшелоне! Мальчишки просто лопнули от зависти. А учительница сказала, что вступить в схватку с несколькими фашистами в тылу, отогнать их от эшелона — для этого нужна не меньшая отвага, чем ползти с гранатами навстречу танку.

Право на отвагу таким образом было узаконено за Мизгаревым, подтверждено целым отрядом самых восторженных ценителей фронтовых подвигов.

Мир в семье еще на какое-то время был восстановлен.

Мизгарев, как и обещал, в субботу прибыл на дачу к Андрею. Последние шесть дней были для него настолько насыщены событиями, так ошеломляющи, что если бы было в его власти, то он перекрутил бы пружину времени в обратную сторону и постарался прожить эти дни как-нибудь иначе. Как — он не представлял себе в полной мере. Но в том, что упустил повод своей судьбы, что был слеп, когда неприятные события накапливались, чтобы разом свалиться на него, Мизгарев не сомневался. Неожиданная атака главного редактора Чуракова на одобренный редсоветом альбом акварелей Южанина, бегство Южанина из Москвы, неприятные объяснения с дочерью, почему-то посвященной в эти слишком взрослые дела, наконец, запутанные отношения с Симой... Не слишком ли много для нескольких дней?..

В душевном смятении Мизгарев порывался еще в среду посетить Карташовых. Андрей, хотя и не мог быть зрелым советчиком Евгению Савельичу в его сердечных делах,

однако он умел слушать и обладал редкой способностью не соваться с фальшивым участием к человеку. Молчаливому другу Мизгарев надеялся выложить наболевшее, чтобы лучше разобраться в происшедшем.

Едва открыв калитку усадьбы Карташовых, Мизгарев сразу подумал о том, что все здесь так же, как неделю, как и три недели тому назад — те же посетители, та же безмятежность скучающих гостей. Тетя Шура, как всегда, возилась у плиты под навесом. Лутоня, выпростав майку из брюк, колыхался в гамаке, студенты склонились над шахматной доской.

В другом углу сада, в малиннике близ самого заборчика, хлопотала у мольберта девушка, в которой Мизгарев не сразу узнал Нату. «Как расплылась, однако!» — неприязненно подумал Мизгарев, скользнув взглядом по широкой, без талии спине Наты.

Радуясь тому, что он пока никем не замечен, Мизгарев направился было к лестнице на мансарду, из которой доносились громкие голоса, но тут его окликнули с той стороны, где разлегся в гамаке с газетой в руках Лутоня. Оглянувшись, Мизгарев увидел Яшу Рублика, рассказывающего что-то смешное, потому что Лутоня, слушая Яшу, беззвучно смеялся, вздрагивал всей тушей и заслонял лицо газетой. Мизгареву достаточно было замедлить шаг, чтобы Яша оказался рядом.

— Не угодно ли выслушать притчу,—начал еще на ходу улыбающийся во все лицо Рублик. Он уже рассказывал сегодня эту притчу дачникам не один раз, и вот хорошо отработанным голосом Яша стал излагать:

— ...В одной деревне жил мужик-неряха по имени Антип. В его избе, как и в остальных, имелась лохань для помоев. В ненастье в эту лохань не возбранялось и детям справить нужду. За леностью Антип не выносил кадку вовремя и потому уже не в состоянии был в одиночку перетаскивать ее через порог. Приходилось звать на помощь соседей.

Удался Антип нерадивым, тупым и в пустяках обидчивым. Все это знали, потешались над Антипом и его лоханью. Антип не оставался в долгу. Чересчур несдержанных на язык односельчан Антип стращал по-своему: в сумерки выплескивал зловонную кадку им под окна. Из-за чего не раз попадал в переплет. Свары постепенно охватили деревню хуже зловония... Постепенно,— заключил Яша с торжеством и злорадством одновременно,— неряха

Антип приучил всю улицу опасаться, что завтра он опростает лохань именно перед их домом.

Мизгарев вырос в деревне, ему нетрудно было откопать в памяти кого-нибудь из доморощенных Антипов с лоханью. Он подивился меткости наблюдений сотворившего притчу о лохани. Неужели сам Яша?

Рублик, спрошенный напрямик, замахал руками, отказываясь от авторства, и сообщил:

— Это Максим прислал, вместо привета с дороги.

Видя, что Мизгарев не совсем понимает, пояснил:

— В альманахе Захарова разнесли... За статью о народных промыслах. Ну, а Максиму на вокзале попался этот номер альманаха с пасквилем на академика. Максим тут же на обложке альманаха и определил свое отношение к выпаду. Вы же знаете Южанина...

— Знаю!— буркнул расстроенный Мизгарев. График и сам начинал свой творческий путь учеником у Захарова. То, что Платон Валерьянович оказался жертвой злопыхателя, скрывшегося под псевдонимом, воспринималось и Мизгаревым как личная обида. Он попытался представить, как поступил бы сам, обнаружь зловредную статейку против Захарова раньше Максима? И вдруг поймал себя на мысли, что не принес бы неприятную весть первым, промолчал бы... А вот Максим не удержался...

— Идите же!— напомнил Яша, махнув рукой в сторону мансарды.— Они вам все расскажут.

9

Яша, отговорив с Мизгаревым, даже слегка испугался: ему показалось, что он опоздал к застолью. Он устремился мимо Лутони к женщинам.

Нату, одетую в короткий цветастый сарафанчик, он сразу узнал по толстым, успевшим обгореть икрам. Собеседницу ее, одетую только в купальник, Яша вспомнил, лишь когда та назвала свое имя. Это была новая супруга Мизгарева, женщина-романтик, подвижница своей судьбы. К двадцати пяти годам Сима успела переменить несколько профессий — от воспитательницы детского сада до художника промышленной эстетики. Не менее резкими переменами изобиловала и ее личная жизнь. Трижды выходила она замуж, родила двух детей, которых отправила на воспитание своим родителям. Сима при всем этом оста-

валась изящной и молодой и сурово обходилась с многочисленными своими поклонниками. Впечатления, как утверждает современная поговорка, сглаживаются, а сувениры остаются... Сима охотилась за «сувенирами».

Помимо хорошей внешности Сима обладала и тонким вкусом. Она умела, если требовалось, неплохо работать и потому чувствовала себя полностью независимой от любых обстоятельств.

В первые дни знакомства с Мизгаревым Сима сменила прическу — обзавелась куцыми толстыми косичками, рекомендованными популярной брошюрой для девочек переходного возраста...

Сима первая учуяла шаги Яши и, опершись на локоток, повернула голову к идущему, успев произнести очень важную для понимания ее нынешнего положения фразу:

— Физически я, конечно, принадлежала ему... Но душой была очень далека...

Она села и поджала под себя ноги.

Целуя полноватую, в легких крапинках веснушек руку Симы, Яша отметил про себя, что услышанные им сейчас слова нужно будет использовать при подходящем случае.

— Мы с вами встречались в Доме архитектора,— вежливо напомнил Яша молодой женщине.

— Разве?— Сима удивилась совершенно искренне: она не держала в памяти ничего лишнего.

Вопросительно обратила она на Яшу лучистые, родниковой прозрачности глаза, выражавшие детскую наивность и доверчивость. Яша тоже мог при нужде изобразить неисправимого простака. За это умение перевоплощаться его обожали представительницы слабого пола и считали своим.

Щедро рассыпая комплименты, Яша успел вспомнить, что познакомился с Симой на ее же свадьбе. Ультрамариновая «Волга» режиссера театра, тогдашнего мужа Симы, стояла сейчас у ворот дачи в ожидании Симы. Впрочем, режиссера в ней давно уж не было.

Яша остался доволен началом разговора, огляделся по сторонам.

Неподалеку стоял подрамник с начатым холстом. Картину частично скрывал куст крыжовника, но наметанный Яшин глаз сразу разобрался в контурах будущего рисунка. Он понял, что молодые Карташовы уже приняли заказ на повторение «Двух берез». Теперь у него появилась но-

вость для доверительных разговоров о том, чего еще никто не знал.

Вкрадчиво поглядывая на Симу, Яша прочел женщинам свою басню «Медведь и Воробей»...

На башне у Слона, беспечно щебеча,
Смешной Воробышек
Мешал дремать
Медведю...
Потапыч,
Его чириканьем до ярости
Доведенный,
Шугнул в нахала
половинкой кирпича...

По сюжету, едва уловимому из-за нагромождения условностей, снаряд этот упал на голову самого Медведя.

Басня эта была с подтекстом: не бросай камень в того, кто стоит выше. Впрочем, сам Яша поступал как раз наоборот: он вечно против кого-то действовал, хотя всегда оставался в стороне.

Быть может, потому и действовал.

Яша видел, слушает его лишь Ната, для которой появление Дудака было весьма кстати. Дело в том, что незадолго до того у нее был весьма длинный разговор с молодой женой Мизгарева, и Нате хотелось одной подумать обо всем сказанном.

Началось с того, что Сима попросила Нату прокатиться с ней по окрестностям. С шиком промчала она Нату мимо поселкового пляжа, заполненного крикливой детворой, и выбрала подальше от людных мест узкий береговой проем, прикрытый плотной полоской краснотала. Машину поставили у самого берега.

— Ой, девонька!— непритворно воскликнула Сима, завистливо оглядев свою новую подругу, когда та освобождалась от сарафана.— У тебя не груди, а фарфоровые чашки! Но ты, моя детка, совсем не загорала в этом году.

— На юг не успела,— ответила Ната, смущаясь,— а лето было холодное... Да и с кем пойдешь загорать?

— А с Андреем Игоревичем?

— Что вы? Андрей не признает речки да и вообще остерегается воды...— испугалась Ната.— Он такой застенчивый, совсем мальчишка... Знаете, я даже маме ничего не сказала... Андрей на двенадцать лет старше.

— Дурочка!— рассмеялась Сима, повязывая голову косынкой.— Ты через десять годков превратишься в натураль-

ную бабеху, а муж только войдет во вкус жизни... Знаешь, что мне один холостяк сказал?

Ната промолчала, опасаясь нарваться на очередную циничную выходку, к чему была так расположена ее новая знакомая.

— Увы, говорит, я бесполезен вам как мужчина, но созерцать готов вечность...— Сима захохотала, опустив руки на бедра и раскачиваясь. Она была вся такая холеная, будто и впрямь готовила себя к созерцанию.

— И вы позволяли ему созерцать?— не скрывала удивления Ната.

— А почему бы и нет?— без всякой рисовки ответила Сима. Поразмыслив, она вспомнила фразу из недавно прочитанного ею романа «Семья Буссарделей»:

— Удовольствия мужчин — обязанность женщины.

Они снова вошли в воду. Сима подсмеивалась над стыдливостью юной подруги, обдавала ее брызгами, а когда та, защищаясь, закрывала ладошками глаза, пыталась стащить с ее плеч купальник. Так они боролись, веселясь, попеременно окуная друг друга, гулко шлепали по воде. Спохватились, когда почувствовали воду в волосах, и, не сговариваясь, кинулись наперегонки по отмели к берегу, к полотенцам.

— Он предлагал вам позировать?— спросила Ната.

— Все они художники после сорока, когда созреют до понимания красоты.

— Фи-и...— брезгливо протянула Ната и вместо того, чтобы, как Сима, сбросить купальник, поправила на плечах бретельки.

Они поплыли к песчаной отмели, вытянувшейся вдоль берега желтым, сверкающим на солнце языком.

— Возраст мужчины,— поучала Сима, укладываясь на песке,— определяется не годами. Ты взгляни на Захарова!.. Ему на вид не больше сорока.

— Ах, Захаров!..— горячо отозвалась Ната.— Ну, это особый человек! Я его три года знаю. Лутоня по сравнению с Захаровым гнилой пень, развалина, седая древность. Совсем недавно мне сказали: они с Захаровым ровесники! Какой ужас!

Сима, соглашаясь, изобразила на лице негодование:

— Эмилия не умела сберечь своего мужчину... Она брала от него все, что могла... У Захарова супружница — прелесть, настоящая пуховая подушечка. Знаешь, как она

зовет Платона Валерьяновича? «Мой красавушка»... Идиллия!

— Ой, как интересно!— воскликнула Ната.— Но откуда вам все известно?

Сима, поджав губы, покачала головой, будто не решаясь признаться:

— Если по-женски доверительно... Впрочем, ты, малышка, мне не соперница. Ладно, только не смейся над неудачницей... Как-то я пыталась приволокнуться за Платоном... Однажды думала, думала и поехала к нему домой. Почему-то решила, что он проводил жену на вокзал.

— Сумасшедшая!— воскликнула Ната.

— Ну, не так уж наивно я выглядела, милочка. Горел мой дипломный проект... Мне требовалась консультация по оформлению интерьера служебного помещения в камвольной фабрике. Я не напрасно съездила: там познакомилась с Евгением... Мы с ним поспорили об арихтектуре Корбюзье...

— Нет, вы положительно сумасшедшая!— продолжала изумляться студентка. Это наивное состояние Наты забавляло Симу.

Когда они накупались и привели себя в порядок, Сима спросила между прочим:

— А ты сама-то откуда, Наточка? Здешняя?

— Из Унечи... Есть такая станция за Брянском. Помнишь в песне: «Под Унечью Щорс собирал нас...»?

— Нас с тобой Щорс, пожалуй, не взял бы в поход!— Сима невесело хохотнула и добавила серьезно:— Мы же, оказывается, почти землячки!.. Оршанка я, небось слышала? Ну, вот... Бегу, бывало, с портфельчиком из школы мимо вокзала, а на вагонах надписи: «Орша-Унеча». Когда «двойка» в дневнике, так и тянуло умотать до вашей песенной Унечи.

— Подумать только!— восхитилась Ната.— А меня в Оршу подмывало поехать!

Они засмеялись разом — ладные, крепкие, еще больше чувствуя свою общность от такого совпадения прежних несбывшихся желаний.

— Совсем родня!— заключила Сима и принялась вспоминать о своем прошлом.

— Отец у тебя строгий был, Наточка?

Вопрос самоуверенной жены Мизгарева был неожиданным для расшалившейся студентки. Та на миг омрачилась.

— Ну, что вы?!— удивилась девушка.— Тихоня, каких поискать... Между прочим, он механиком служил на тепловозе. Водил как раз составы на Оршу. Все меня обещался прокатить в будке, познакомить с родительским ремеслом, да мама чего-то не пускала, боялась — вымажусь...

Сима чему-то загадочно улыбнулась, заговорив:

— А мой папаня —из боевых мужичков, лютовал временами, руки в ход пускал, хотя должность имел интеллигентскую — бухгалтер совхоза. За «двойку» по его меркам два разочка по мягкому месту полагалось. Примерно ту же порцию отпускал, если с улицы какая из сестер припоздает. Сидит, бывало, Егор Дорофеевич у порога: курит, готовится к исполнению родительских обязанностей. Ремешок под рукой всегда. Или на гвоздике у дверей.

Мамке тоже «подкинет» на орешки. Она у нас воспитательница в детском садике. По мнению Егора Дорофеевича, наставление детей на путь разума, тем более у нас в семье одни девчонки,— дело матери. Персональная, так сказать, ответственность...

Сима хмыкнула в кулачок, будто поперхнулась от нахлынувших воспоминаний, продолжала:

— Только строгости мужские для бедненьких женщин нынешних, видно, не на пользу... Мамка, как я теперь понимаю, и сама от него погуливала. Застукает ее, случалось, Егор Дорофеевич, на горячем, за волосы домой приволочет, а сам плачет, как по покойнице. Стыдит-приговаривает: «Что, курва, меня на разврат хочешь спровоцировать? В открытую пошла гулять?.. Чтобы сказать после: «Мы — квиты!» Не выйдет, потаскуха! На зло тебе останусь честным семьянином до гробовой доски!»

Сначала мама в школе биологию вела и химию. Пришлось уйти в официантки на вокзал, а потом детсадик открылся.

Ната слушала, потрясенная той легкостью, с которой Сима говорила о родителях.

— Старшие сестренки,— спокойно продолжала Сима,— обе в девках родили... После первого «подарочка» папаня запил, а когда и вторая со сверточком из родильного дома пожаловала, завербовался было на Сахалин, да что-то там не получилось. Вернулся меня довоспитывать. Напьется, гулюшек своих старшеньких ремешком солдатским отходит по кругу, а меня по плечам поглаживает, нахваливает: «Одна ты у меня, Симочка, скромной удалась, домосед-

ка...» А я и вправду танцулек не признавала. Книжками увлекалась. Сижу себе у окошка, молодежный журнальчик почитываю, да на мосток через речку поглядываю. Кому там известно, что в башке у меня в эту минуту?.. А я жду, когда шоферня со станции возвращаться станет. Был там у меня один знакомый, тоже тихоня с виду.

— Знаешь, любовь я признавала уже тогда только с доставкой на дом. Чуть смеркнется — Гришуня разлюбезный, шофер из совхоза, соловьем свистит-изводится. Я выпорхну, в чем была, минуток десять пообнимаемся в соломе и — снова за книги. Мама удивлялась: какая-то ты у нас, говорит, клуша. Небось и танцевать не научилась?

Сима сидела под лозняком и осыпала мелким песочком щиколотки.

— Гришуня в основном хлопочет о моем наследнике. Один раз надумал увезти мальчика, через милицию вернула.

— Мальчик с вами сейчас?— спросила Ната.

— Нет, зачем же? У сестры ему веселее. И папа мой к нему привязался.

Они помолчали.

— В прежние годы,— продолжала Сима,— из дому чаще писали мне. Отец все «революционеркой» называл: ты, говорит, так часто меняешь фамилии и адреса, будто от преследования скрываешься... И еще писал: «Спасибо и за «приветы»! «Приветами» он детей моих называет.

Нате показались совсем не поучительными эти откровения. Она спросила:

— А «соловей» упорхнул в кусты?

— У нас любовь была — не разольешь!.. В Казахстан увез меня, еще из десятого класса... Да и теперь зовет, хвостов не боится.

Это уж смахивало на похвальбу. Ната повернула лицо к Симе, спросила недоверчиво:

— Как же вы... Первую любовь, настоящую?

— И первая, и настоящая!— подтвердила Сима.— Но, видно, не судьба... Муж шоферил на дальних рейсах, пропадал неделями. Меня в ясли совхозные определил на круглосуточную работу. Скудость, грязь в поселке, квартиры своей нет — у казашки в юрте угол снимали.

— Но это же так интересно!— воскликнула Ната.

— Не совсем!— обрезала Сима, нехорошо взглянув на

свою знакомую.— Злиться стал Гришуня, зашибать не в меру... Однажды за косу оттаскал — косы у меня были — закачаешься. И я ему влепила... А тут, как на грех, инструктор по клубной работе из Москвы появился, пригляделся ко мне в концерте самодеятельности: «Ах, вы — степное чудо!.. Божество!.. Не дадим пропасть в безвестности. В институт! В студию! В Москве вас любой космонавт замуж взял бы!» Мужчины нас и портят этим себе на беду...— подытожила Сима.— Не так просто разобраться, где она первая, а где настоящая... Ладно уж, милая Наточка, не суди строго. Пусть лучше «созерцают», да в тепле...

Ната не уставала дивиться той циничной откровенности, с которой говорила эта красивая женщина о том, что надо бы таить.

«Если Сима случайно потеряла себя и сознает это,— рассуждала Ната,— если находит силы отрешиться от прошлого, значит, виновата она лишь наполовину...»

Ната была готова все простить странной неудачнице. Мешал все время наплывающий откуда-то вопрос: «Ну, а с Мизгаревым поступишь так же, как с предшествующими обладателями руки и сердца?..»

Их потревожила ребятня. Посбросав рубашонки, она ринулась с пригорка прямо к машине. Сима прервала беседу и обошлась с ребятами так строго, что Ната едва не вмешалась, чтобы заступиться за них. Вернулась Сима к пляжу рассерженная, нижняя губа ее отвисла и некрасиво подергивалась.

— И все равно,— продолжала Сима,— душа у Гришуни была — рукой не достать многим московским созерцателям... О «Волге» Гришуня мечтал,— ухмыльнулась она грустно,— да я бы ему сейчас свою машину за его соловьиную любовь ко мне отвалила бы... Не возьмет. Меня возьмет, а такой машины — нет!.. Может, судьба еще повернется?..— уставилась она на собеседницу увлажненными, полными искристого блеска глазами.

Издавна известно: маленькие люди заражены страстью подражания тем, кто имеет власть. Андрей считал себя другом Евгения Мизгарева. Сима часто слышала от супруга имя Андрея. Ей, мечтающей закрепиться рядом с Евгением по всем житейским правилам, полагалось завоевать доброе отношение друзей Евгения и друзей их друзей. Если не добиться расположения, то хотя бы нейтрализовать их, разрушить худую молву о себе еще на подступах к воз-

можному конфликту. О Нате она думала: «Расположу к себе, выманю из доверчивой души все, что мне нужно знать об отношениях Карташова и Мизгарева...»

10

Пятнадцатилетняя дочь Мизгарева, Ася, лишь один раз — в день появления в квартире незнакомой ей женщины — сказала Симе «здравствуйте» и сдержанно ответила на два-три вопроса. Затем ушла, почти убежала в комнату покойной мамы...

Ася с той минуты и поселилась в комнате матери, подчеркнув этим свое несогласие с выбором отца, а с Симой она просто не разговаривала.

Как-то Евгений Савельевич, возвратившись поздно, зашел к дочери в комнату. Он увидел неподвижно сидящую на диване Асю с мокрым от слез лицом. Ася ждала отца по вечерам все последние дни.

— Папа,— решительным тоном сказала она, покусывая губы,— пожалуйста, не считай меня глупым ребенком... Ты не старый мужчина и не можешь жить одиноким... Но... папа.. Как ты мог полюбить женщину, если она нисколечко... ну ни капельки... ни в чем не похожа на маму? Ты не любил маму или не любишь эту женщину?

Большие зеленоватые глаза дочери были устремлены на отца в ожидании ответа.

Мизгарев усмехнулся, чем едва не испортил весь разговор, потому что глаза Аси вздрогнули и презрительно сузились. От них повеяло холодом.

Он понял, что имеет дело с заурядной вспышкой детской ревности. «И как это я упустил момент, не поговорил с дочерью, а сразу привел в дом Симу?..»— удивился он.

— В целом свете не существует двух одинаковых людей,— медленно заговорил отец.— Другой мамы, именно такой, как была у нас, не будет.

Дочь гневно возразила:

— Папа, вы с мамой дружили, когда ей не было и семнадцати! Значит, маму ты уважал как друга, ценил как равную...

Асе никак не удавалось унять слезы.

Когда отец опустил ей на голову руку, дочь едва заметным движением освободилась от непонравившейся ей родительской ласки и сказала с невеселым торжеством:

— Папа, можешь считать меня непорядочным человеком, но я слышала весь ваш разговор с Симой прошлой ночью...

— С Серафимой Георгиевной,— строго напомнил отец.

— Она совсем не на много старше меня... Она не любит, когда ее называют по отчеству... И тебя не любит!— добавила девочка уверенно.

— Девять лет — совсем не мало, детка,— сказал Мизгарев, пропуская мимо ушей последнюю фразу дочери.— Через девять лет ты будешь рассуждать обо всем иначе.

Он опять потянулся к дочери, но Ася, перехватив руку отца, стиснула ее в своих ладонях, будто не желая никому отдавать эту руку.

— Я прочла письмо Максима Южанина,— продолжала дочь.— Конечно, плохо заглядывать, куда не следует, но... почему ей можно, а мне нельзя?

Отец знал, о каком письме говорит Ася. Южанин написал своему другу и наставнику сразу по возвращении в родные края.

Ася спросила:

— Ты не подумал, как отнеслась бы мама к просьбе Максима?

— Максим ничего не просил!— пояснил Мизгарев.— Но мама, наверное, не спешила бы с ответом.

— Конечно!— воскликнула Ася.— Она ведь не ускакала к родным в поселок, когда тебе отказали в институте, оставили без средств... Ты предлагал ей уехать, а мама пошла подсобницей в депо и два года работала там, чтобы ты мог подготовить новые рисунки на конкурс.

— Мама была не чужим человеком, а женой!— недовольно прервал отец.— Она была обязана так поступить.

— Другом, папа! Прежде всего, другом была тебе мама! — почти закричала Ася.

— Другом! Кем же может быть еще жена?

— Симой!— тихо, но с вызовом ответила дочь.

Она выпрямилась, выпустила руку отца. Ася ожидала резкого ответа, но Мизгарев опять пропустил выпад дочери мимо ушей.

Но Ася не отступала.

— Если ты не поможешь Максиму,— заявила она, робея взглядом и надеясь на согласие отца,— то я сама постараюсь помочь ему...

Мизгарев внимательно посмотрел в лицо дочери, улыбнулся, ощущая в душе неприятный озноб и тревогу:

— Каким образом, если не секрет? Что ты можешь для него сделать?

— Поеду к нему в станицу!.. Учиться я смогу и там, а он совсем один...

Мизгарева рассмешили ее слова.

— Глупышка!— покровительственно сказал он.— Придет время, займемся Максимом.

Вместо ответа Ася выхватила из-под подушки школьный альбом и сунула в руки отца. Он с интересом перелистал. На первых четырех листах Мизгарев увидел наброски девичьей головы и сразу узнал в изображенной Асю. Южанин в эскизах достиг поразительного портретного сходства... Узнал Мизгарев и стиль Максима: сердце его вздрогнуло, забилось чаще. Это он, Мизгарев, открыл Южанина для искусства, он! Рисовать так небрежно и вместе с тем уверенно мог лишь художник большого таланта... Нечего было расспрашивать, когда это его дочь позировала Максиму,— тот заявлялся в дом без звонка, на удачу.

— Скоро ты его окрутила, однако,— сказал Мизгарев дочери, как взрослой, закрыл альбом, придавил его кулаком и постучал по обложке.

— Не беспокойся,— заверила Ася, удовлетворенная его тревогой.— Дочь твоя головы не теряет... Просто я часто вспоминаю Максима: как он живет в станице, помнит ли о нас, что о нас думает... И знаешь, папа, мне его жалко. Вот и все. Это много?

— Не сказал бы... Гм... на шестнадцатом году жизни...— он не договорил, но Ася поняла отца, вздохнула.

— Ну, что ж... Может, я за всех вас сейчас о нем думаю. И мне почему-то не страшно. А за тебя я боюсь, папа.

Дочь извлекла из того же альбома тетрадный листок с переписанными от руки стихами. На листке округлым крупным почерком, каким она обычно переписывала начисто домашние сочинения, было написано:

Кивнул на друга прохиндей,
а ты и внял ему...
А я-то думал: ты крупней
по долгу твоему...
Ведь в дружбе, звонкой, как металл,
мы были так чисты,
что братом названным считал
себя и я и ты...[1]

---

[1] Стихи Вл. Гордейчева.

Ася запнулась. Напряженно вслушиваясь в себя, улавливая внутренний ритм, она слегка покачивалась на диване:

И я тебе, давясь тоской,
дивлюсь, как палачу,
и, ненадежностью такой
раздавленный, молчу...

И вдруг без запинки закончила:

Всего заполнила меня
одна большая боль:
ведь это, дружбу хороня,
мы ссоримся с тобой...

Пробежав глазами первую строфу, Мизгарев сразу уловил направленность стихотворения, спросил:

— Это ты специально для меня выписала?

Дочь покраснела, но, преодолев неловкость, кивнула утвердительно.

— Все?— спросил отец, видя, что взволнованная Ася снова готова расплакаться. Она действительно уткнулась лицом в колени и, отвечая отцу, отрицательно покачала головой.

— Не все!

На оборотной стороне ученического листа были еще несколько вытянувшихся, окатистых строчек.

Дочь молчала. Мизгарев не стал дочитывать стихотворение до конца, возвратил листок, с неприязнью глядя на альбом, как на копилку курьезов, связанных с именем Южанина.

11

Случай в доме Мизгаревых Сима пересказала Нате, но прокомментировала по-своему.

— В ночь со вторника на среду Евгений,— сообщала Сима ровным голосом, когда Яша Рублик наконец оставил их одних,— не сомкнул глаз. Какой-то тип из Ростова прислал ему ругательный лист... Не помню кто — Матвей или Антон,— какое-то деревенское имя... На эту дрянь я наткнулась случайно, ничего не поняла и посоветовала мужу выбросить, не читая. И мне показалось, что Женя послушался. Лег он в тот вечер, как всегда, в одиннадцать. Но скоро я почувствовала: мужичку не до сна.

Поднялся, глянул мне в лицо, тихонько вышел в пи-

жаме в гостиную. Курит... Я тоже поднялась, зажгла свет. Ты, милочка, это знай на будущее: не дрыхни, если мужу не спится... Так вот. Я берусь за свое — вяжу, читаю... Не утерпела, вышла в гостиную, открыла форточку. Он просто задыхался в табачном дыму... «Знаешь, дорогая,— сказал Женя,— я влип в одно неважнецкое дело, и теперь голова трещит от мысли: как выбраться из дурацкого положения?..» Ой, Наточка, услышала я это и обомлела: доцент Мизгарев... в нехорошее дело?..

Вида, конечно, не подаю и говорю ласково: если считаешь меня способной помочь, буду помогать, как самый близкий человек... Он хмыкнул нехорошо, косо взглянул мне в лицо и швырнул окурок в угол... «Гадость эту сотворил другой человек, но в моем присутствии. А теперь я будто соучастник»... На наших глазах, отвечаю, творятся подчас вещи жуткие, мой дорогой. Мир несовершенен, при чем здесь ты... «При мне спокойненько охамили хорошего человека»... Хороших людей много, говорю... Но как ты себе представляешь теперь дыру, чтобы также спокойненько уйти?.. «Утром объяснюсь с негодяем, выскажу ему все, что я о нем думаю...»

Я даже подскочила от радости. Пустячок какой-то:

— Если это подлец, влепи ему пощечину!..

— Пощечины мало,— качает он головой.— Нужен сильный пинок...

— Пинок — это уже хулиганство, говорю...

И толкую уже спокойно, мол, давай подумаем: стоит ли с низким человеком пинками обмениваться?.. «Ты права: низкие бьют в пах, выше не достают... Этим и опасны... Однако воробей сам по себе и воробей на пьедестале — вещи разные...» Все равно, из пушки по воробьям не стреляют,— пытаюсь я осторожно увести Женю от самой опасной охоты в наше время.

Они разом вздохнули, будто заговорщицы. Сима мотнула головой, вобрав побольше воздуха.

«Пословицы, говорит, тоже стареют... Если саранча грозит всему урожаю, против нее поднимают в воздух эскадрильи современных самолетов».—«...Он твой начальник?»— спрашиваю. «В некотором роде».—«Тогда стоит подумать, нужно ли связываться...»—«Думай не думай, а он в любом случае сотворит гадость в ответ, как с тем хорошим человеком: ему задержал выпуск альбома, мне задержит книгу».—«Придет другой, не воробей, и устранит кривду».—«Когда придет?»—«Разве это имеет значе-

ние?..»—«Время всегда имеет значение для творческого работника...»

Рассказывая все это с загадочным выражением лица, Сима сноровисто орудовала руками: собирала из поздних одуванчиков венок, будто готовилась увенчать этим сооружением голову будущего кандидата искусствоведения. Любуясь своим сооружением, примеряя его на свою голову, продолжала:

— И тут он мне, Наточка, сказал такое, что живи еще двести лет — не повторится!

Ната насторожилась с любопытством.

— «Больше всего в жизни,— признался он,— боюсь остаться без денег!» Когда услышала, оцепенела. Женя с этих минут стал мне так близок духовно, будто спелый персик на веточке: бери и кушай его, глотай с косточкой!.. Знаешь, девонька, мужчины иногда поражают своей наивностью. Ходит, ходит в небесах и вдруг как плюхнется на грешную землю... Подумать только!— Сима захохотала, повалилась на венок.— Будто есть на свете человек, которому все равно, есть у него деньги или их нет?! Женю я, конечно, отговорила от пинков и пощечин. Впрочем, он и сам был близок к смирению, но, оказывается, побаивался — не посчитаю ли я его трусом? Знаешь, как я ему ответила на это?

— Если есть риск остаться без денег, то ты, милый, хорошенько подумай сначала и сам реши: стоит ли ввязываться в драку? Будут деньги, Женечка, сможешь пособить и тому, обиженному товарищу, и другому, и третьему... Конечно, не сейчас, а при других обстоятельствах... Женя сначала даже заругался на меня, крикнул: «Мириться с подлостью?.. Предавать друга?!» Потом подчинился. Я его не отпустила и на минуту в остаток ночи, выложилась сполна, лишь бы не оставался он наедине со своими опасными мыслями.

— Да, все они думают о деньгах,— охотно согласилась Ната.— Андрей вчера ходил в поселковый Совет звонить кому-то в город... Узнал о заказе на повторение «Берез»... Страшно кипятился сначала, обиделся... Думал, эту историю с письмом подстроили приятели из мастерских... Андрей спит и во сне видит новенькую «Волгу»... А тут заказ! И, представь себе, как раз получается нужная сумма. Я ему предложила: давай сделаю копию, ты одним глазком наблюдай.

— Чудесно, золотко!— вскричала Сима, обнимая и це-

луя Нату.— Ты просто клад для Андрея!.. Он, конечно, согласился?

— Ага,— простодушно ответила Ната.— Говорит, делай сама, но так, чтобы я не знал. Вот я и затащила подрамник в уголок сада.

— Не забудь же,— напутствовала практичная Сима.— И на ковры в машину деньги нужны... Без ковров нет вида.

За время купания Сима успела поведать невесте Андрея еще об одной своей тайне: она ведь пока не утвержденная жена Евгения Савельевича!.. Не дает визы дочь, Ася...

— Меня самое многие называют крепким орешком, а эта девица удалась и для родителей — не раскусишь! Прямо сказать — литой шарикоподшипничек!.. Такие, если закатываются в свою обойму, служат вечно или выводят из строя весь остальной механизм. Не глядит, что у ровесниц модные прически, мини-юбочки и польская косметика. Ходит в туфельках еще маминых, коленочки прячет от дурного глаза подальше — и не напрасно: они у Аси ой-ой-ой! Косы до пят, глазища — полтинники... Академическая копия своей мамы, а может, и бабушки. И надо же нарваться на такую!— воскликнула Сима, машинальным движением рук охорашиваясь.

12

Обеденный стол и на этот раз накрыли в саду. В пятнистой, похожей на шкуру молодого олененка, тени старой полузасохшей груши примостился сбитый на скорую руку стол из грубых досок. Грушу давно хотели срубить, но дерево, словно в моление о своей душе, год от года вывешивало в пожухлой листве несколько таких крупных плодов, что их не торопились съесть, берегли до студеной поры напоказ. Если кто приходил за семенами, отдавали целый плод.

Андрей с Натой пользовались столом для игры в пинг-понг, а иной раз, прихватив матрацы, сбегали сюда из душной мансарды на ночлег.

Одним из достоинств этого места, помимо свежего воздуха, было близкое расположение от кухни. Помощники тете Шуре всегда находились, однако старуха — босая, в ситцевом переднике и кокошнике из старенького доктор-

ского колпака — обычно разносила снедь сама. Она строго соблюдала старинный крестьянский обычай, знала, кому сначала следует подавать, а кому потом... Игорь Васильевич хотя и значился здесь домовладельцем, ни в чем не ограничивал гостей, а в дни массового набега Андреевых друзей доктор передавал полномочия хозяина сыну, потому гости в доме привыкли считать его просто своим человеком на уровне тети Шуры.

Тещу Игорь Васильевич полюбил за долгие годы и считал самой близкой родней... Заявлялась она без предупреждения: в лапотках, в домотканом зипуне. Что-то сдвигала в кладовке, меняла деревянные кружки на бочонках с солениями, перебирала и подвешивала заново пучки целебных трав в сенях. Бранчливо отчитывала дочь по пустякам. На прощанье пекла куличи внуку, роняла слезу и уходила к другим замужним дочерям.

Первое время после женитьбы на Фене доктору не удавалось с тещей и поговорить как следует. Однажды нашелся предлог: пожаловалась на одышку старуха.

— У вас не в порядке сердце,— заявил зять, выслушав ее основательно.

— Сердце?— удивилась теща.— Сроду не болело.

Доктор с упреком покачал головой.

Получив известие о смерти дочери, десять верст бежала полями, шла ночью одна через лес... С порога запричитала горько: «Ах ты моя бедная кровинушка, цветик лазоревый... На кого же ты оставила нас, сирот беспризорных?..» Перебрав таким образом все хорошее, что удержалось в ее цепкой памяти, теща только тогда обратила к зятю сухое землистое лицо. Тот всхлипывал по-детски растерянно, безутешно.

— Ну, ин ладно, Васильич, не реви, не воротим... Фенюшка моя не велела нам с тобой убиваться...

Пристыдив Игоря Васильевича за слабость, она заговорила строго и в то же время почтительно:

— Хорош ты мужик, Васильич!.. Я и десяти ден так не прожила со своим Харитоном, как доченька моя с тобой... Сколько же годов, считай, вместях работали — виделись, пока в супружество побрались... Прибежит, бывало, домой Фенюшка, одна речь, как пословица: «Игорь Васильевич приказал, Игорь Васильевич похвалил». Сколько женихов в доме перебывало, а не было для Фенюшки моей никого на свете, кроме тебя, Игорь Васильевич. Стыжу, бывало, родительским словом стращаю: «С ума сошла,

девка! Дворянского звания человек да ученый! Больно нужны мы ему — голь косопузая!..»

— Не говорите так! Не смейте! — хриплым голосом остановил старуху доктор. — Редкой красоты была Феня, ума редкого и достоинства.

Теща, прослушав хорошие слова о покойной, всхлипнула, отерла глаза уголком полушалка, что получила в подарок от дочери.

— Спасибо тебе, Васильич... Приметил ты душу ее, честь на миру всей нашей родне оказал... Гордились мы родством с тобою.

— Надеюсь, и дальше останемся людьми близкими, — проговорил Карташов.

Больше у них никогда не было разговору о Фене, хотя мысленно она всегда стояла рядом с ними, роднила мужа со своей матерью.

С тещей Игорь Васильевич установил отношения молчаливой солидарности в обороне против оравы гостей, которые, быстро освоясь у Карташовых, требовали к себе внимания не меньшего, чем дома. По правде говоря, идея Игоря Васильевича освоить под фабрику-кухню обширный сад была невинной хитростью ради заботы о тете Шуре, очень устававшей к вечеру.

Игорь Васильевич начал приготовления к обеду исподволь: застлал помост газетами, нарезал хлеб... Приготовления эти скоро были обнаружены участниками будущего застолья. Каждый из гостей не без доли праздничной иронии над собой вспомнил, как начинал этот суетный день. Все вдруг обнаружили, что проголодались.

Вяло продолжая привычный обмен новостями за неделю, гости сужали кольцо вокруг стола. Когда наконец прозвучал голос тети Шуры: «Пожалуйте», повторять этот зов пришлось разве студенту Козыреву, первокурснику, впервые попавшему сюда. Рослый парняга с застенчивыми голубыми глазами вдруг застеснялся, заупрямился... Упрашивали его за стол так ретиво, что от смущения Козырев в самом деле потерял аппетит и с вежливым отчаянием пытался укрыться в кустах жимолости. Но его вернули и усадили на самом видном месте.

Академик Платон Захаров последним спустился по рассохшейся лестнице мансарды. Его недавний собеседник, студент Антохин, всклоченный и подозрительно веселый, будто после выигрыша в схватке, мыл под рукомойником руки. Захаров уже забыл к той поре, почему он, любящий

уединение и зелень, решивший здесь спокойно отдохнуть, оказался вдруг в душной чердачной пристройке, в обществе двух студентов — Антохина и Козырева? Куда делся Андрей, позвавший его посмотреть набросок углем? Зачем туда приплелись два молодых человека, втянувших его в яростный спор? Не подоспей Мизгарев, они, наверное, разнесли бы его в пух и прах!

Спор возник невзначай, вокруг привычных терминов «план», «перспектива», «композиция»... Захарову показалось, что парни не совсем верно понимают эти слова.

Оставаясь в своих полотнах последовательным сторонником традиций, испытанным реалистом, академик в последние годы много теоретизировал, намереваясь обобщить то, что находил достойного в работах приверженцев иных стилей. Захаров задался целью провести хотя бы нестойкие грани, которыми дорожили настоящие мастера кисти всех времен и ориентаций. Он хотел оградить своих учеников от случайных в живописи людей, существующих лишь для того, чтобы ловить добычу в мутной водице. Заматеревшего во взглядах, обвыкшегося в роли метра, законодателя, его раздражали споры о сегодняшних путях искусства. Временами казалось: драку охотнее всего затевают люди бездарные, для которых непосильны твердые принципы, недостижимы цели. А ведь ради этих целей иные горят огнем божьим денно и нощно. Зато другие лишь наводят тень на плетень. Для этих, последних, никогда не откроется истинный путь к успеху — им неясно само содержание искусства!

Развивая свою мысль, Захаров пришел к выводу, что следует выработать более полные определения обиходных в мире искусства терминов, выяснить их действительный и единственно точный смысл, и тогда все станет на свои места. Халтурщики и прилипалы, потрясенные четким обозначением недоступных им вершин, отрешатся от претензий на роль в искусстве, перестанут путаться в ногах, поймут, что скудная нива ремесленников расположена значительно ниже у подножия Парнаса. Талантам же останется спокойно творить, не отвлекаясь на пустяки, не участвуя в напрасных спорах. Истина всегда была едина, она — в таланте. Нужно лишь дать этому понятию четкие границы... Так думал почтенный академик.

В подтверждение своей теории Захаров предлагал чересчур разбухшему сообществу жрецов искусства заняться осмыслением того, что достигнуто, и того, что

утрачено. Предлагал и несколько формулировок, давшихся ценой собственного отхода от принципов, которых всю жизнь он придерживался сам. Его новые законы являли собой образцы железобетонной связи и были похожи на обнаруженные в африканской пустыне каменные плиты марсиан... Такие загадочные сооружения одинаково можно принимать за последствия мирового катаклизма дочеловеческой эпохи и за относительно недавние творения космических пришельцев, опередивших землян в своем развитии.

Подобно языку эсперанто, формулы Захарова годились для обслуживания всех желающих ими пользоваться, независимо от политических систем и культурных уровней. Однако эти формулировки породили еще большие споры. Ко времени сегодняшней сшибки со студентами Захаров уже и сам кое в чем стал сомневаться в своих теоретизированиях, но не настолько, чтобы полностью отрешиться от них и признать бесполезность многолетних размышлений.

Захарова атаковал Валентин Антохин, темно-русый юноша с куцым косым чубчиком. В желтой тенниске, вскидывая тонкую, почти девичью кисть правой руки, студент отбрасывал шарообразные формулы академика, по-юношески увлекшись спором и полностью забыв о субординации.

Захаров терпеливо сносил фамильярный тон и жестикуляцию студента, всегда считал внешнюю несдержанность недостатком внутренней культуры.

На лекциях глубоко-синие изумленные глаза Антохина нередко служили академику тем оазисом, в котором он видел отсвет своих идей, а здесь студент больше походил на бойца: глаза юноши мятежно загорались, весь он становился сгустком эмоций...

Павел Козырев был моложе Антохина года на два, но выглядел взрослее благодаря более грубому складу лица: короткий приплюснутый нос, кустистые стариковские, но мягкие брови, темная от загара кожа. Павел был одет в китель, подчеркивающий в нем и без того заметную внутреннюю строгость. Одежда такая в жаркий день придавала юноше излишне официальный вид. Это усиливалось и его привычкой неожиданно доставать из кармана блокнот и заносить туда какие-то примечательные фразы разговора. Козырев любил красивые изречения и потому увлекался теорией Захарова.

— Чепуха!— восклицал Антохин так, что карандаш

в руке Козырева вздрагивал.— Где же в вашей теории место ленинским принципам партийности в искусстве? Где социальный подход к оценке общественных явлений? Вы, Платон Валерьянович, уморились ходить по земле и бороться, потому сочиняете душеспасительные молитвы, строите воздушные замки...

— Принципы, молодой человек, всегда были в сути явления, в конкретности. Наконец, в слове, определяющем эту сущность.

Выждав, когда Захаров спокойно изложит свои мысли, Антохин крикнул задорно и непримиримо:

— В поисках этой самой, давно найденной сущности вы оставляете своих учеников без поддержки, а они борются, да... и борьба зачастую обретает слишком острый характер... Вспомните о Максиме Южанине, об оценке его работ.

— Ну, это частность. Ее обобщать не следует... А относительно характера борьбы, скажу, что она мне представляется отражением лишь мнимых противоречий! Противоречия всегда были... Они в непримиримости истинного искусства ко всяким подделкам под него!

— Нет и еще раз нет!— воскликнул студент, обижая старшего иронической улыбкой.— Выходит, не классовая борьба, а только ее видимость, не партийные принципы, а профессиональные споры у мольберта?! Да...

Козырев несмело поддакивал сверстнику. Он все порывался сказать что-то свое, но не успевал из-за медлительности характера.

Захаров терпеливо сносил наскоки «молодых львов». В таких схватках «львы», по его глубокому убеждению, учились выползать на простор из прокрустова ложа школьных программ. В конечном счете это вело к выработке молодыми способности обретать убеждения, без чего не существует и научных теорий.

Профессор с грустью замечал преимущество этих задорных парней перед людьми своего поколения.

«Антохину и его друзьям нести дальше, нести несколько десятилетий в новый век нашу поклажу,— рассуждал он мысленно.— И пусть этот ершистый малый грубовато, с мальчишеским скептицизмом роется в заплечном мешке дедов, тем более что делает это не за углом где-нибудь, не прячась, а в споре с нами. Значит, не обходит, будто пни при дороге, значит, считается. Пусть взвешивает поклажу и испытывает дорогу... Как нес эту поклажу по

жизненному пути сам он, Захаров, оберегая и защищая творческий вклад близких ему Рублева, Нестерова, Пластова...»

Создавший самобытные полотна, академик знал: духовные ценности, воплощенные в картины, книги и формулы, сами себя отстоять не могут. Они превращаются в рухлядь и тлен, если не осияны живыми взглядами молодости. Нужны последователи, умеющие беречь духовные ценности от случайного и нарочитого забвения...

«Антохин и его товарищ стали после беседы со мной в чем-то мудрее, увереннее,— думал академик.— Колос ведь тоже не чувствует, кому он обязан своим вызреванием. А хлебороб видит все: и как наливается зерно от зари к заре, и каков вкус его еще до того, как превратится колос в хлеб».

Неприятны академику были лишь излишние проявления эмоций у парней. Поменьше бы озлобленности в спорах. Зло изнашивает здоровье, а здоровье нужно всем — правым и неправым. Сбив спесь со своих оппонентов этим заявлением, охладив их пыл, Захаров с удовольствием отозвался на зов тети Шуры.

Мизгарев, все время молчавший, был целиком на стороне Захарова. Он помог академику, поддерживая его под локоток, сойти по шаткой лесенке. А Захарову вдруг вспомнилась слышанная от горцев легенда о хлеборобе. С мыслью об этой легенде академик приблизился к столу, а при первом удобном случае попросил у застолья позволения рассказать ее.

Он начал неторопливо, стараясь делать паузы и дать возможность сидящим обдумать все в подробностях.

— Когда вечный оратай, он же самый талантливый художник земли, вышел весной в поле и взрыхлил плугом отдохнувшую ниву, земля без цветов и птичьих песен вдруг показалась ему настолько однообразной и унылой, что ни зелень всходов, ни золотое буйство поспевающих колосьев, вызванные воображением хозяина, не развеяли тревожной думы о скучном однообразии труда. И оратай решил одновременно с полезными злаками разбросать по полю хоть пригоршню семян ярко цветущих трав, собранных им здесь же. Цветы оратай прозрением художника уже видел в венках жниц в день урожая. Однако год выдался засушливый и на ниве выросли только махровые сорняки...

На другую весну хозяин пашни меньше заботился

об украшении нивы, а усердно выращивал хлеб. И все же нива изрядно была попорчена сорняками.

На третий выход в поле оратай уже старательно провеивал семена. Однако сорняков все же оказалось на ниве так много, что ему едва удалось спасти хлеб от порчи.

Захаров поглядел в небо, очень праздничное, игравшее ярким светом в эти минуты, и закончил:

— Никогда не сей зла, говорят на Востоке, хотя бы и чувствовал свое превосходство над ним,— академик взметнул над головой рюмочку, едва заметную в увесистом кулаке.— Сей добро, а зло само вырастет!..

Эти его слова, произнесенные с долей театральности, были встречены дружными одобрительными возгласами. А Эмилия Красовицкая, трижды сказав «браво», проворно перекатила округлые формы через доску, уложенную на два ящика сбочь стола, и засеменила мелкими шажками к академику. Она ткнулась в его щеку, и только сидевший напротив Захарова Рублик-Дудак уловил в лице академика пугающую холодность.

Захаров сразу погрузился в раздумье, а баснописец обернулся к Андрею и Нате. Рядом с ними пристроился Игорь Васильевич.

— Я хочу выпить,— начал Яша, по привычке вскидывая голову, жмурясь от солнца, мешавшего ему, и вдруг замялся.— Выпить за самую красивую, самую умную и самую преданную женщину...

Сима, едва услышав начало тоста, распрямилась, повернулась к Мизгареву и быстро-быстро заговорила с ним, кося краешком глаза на Яшу. В ее позе в эту минуту было немалое сходство с членом президиума торжественного собрания, вдруг упомянутым докладчиком.

Но обнаружив, что лестные слова обращены к другой, Сима покраснела до ушей. Она видела, что ее замешательство не прошло незамеченным, и попыталась овладеть собой. Яша же костылял по ухабам своего красноречия.

— Мой лучший друг Андрей... в свое время... на вопрос, почему до сих пор не женат, отвечал: буду холостяком, пока не встречу самую, самую...— И он сомкнул обе части тоста, еще раз перечислив явно несуществующие качества молодой жены своего друга, завершил довольно плоско:— Пью за счастье и благополучие всех людей на свете!

Сима громко зааплодировала, послав воздушный поцелуй смущенной Нате.

Наконец обед вошел в обычную колею. Все принялись за еду, наливая себе, кто сколько хочет: для аппетита. Огонь общей беседы распался на отдельные очаги.

Эмилия выбирала с противня, приподнятого над столом на двух кирпичах, нежирные куски курицы для мужа. Лутоня же, в свою очередь, придвинул поближе к супруге салат из редиски и свежих огурцов: стареющая жена художника берегла свою печень.

Курица показалась Лутоне необыкновенно вкусной и настроила его на философский лад.

— Все мы,— изрек Лутоня, скосив глаза на академика и вытирая платком лоснящиеся губы,— пассажиры воздушного шара и летим в одном направлении, к общей цели... Только у каждого свое, непохожее на другие, место в кабине, а потому один видит освещенную солнцем часть неба и радуется полету, другой оказался в тени. В душу последнего проникает сумрак... Третий, занятый только собой, совсем не замечает движения... Потом шар повернется к солнцу другой стороной или люди поменяются местами. Богатство жизни всем нам дарит возможность испытать солнце и мрак, удачи и срывы... чтобы в любых обстоятельствах человек мог оставаться человеком!.. Итак, в полет!— Лутоня взмахнул сверкнувшей на солнце хрустальной рюмкой, в которой светилась желтоватая жидкость: Эмилия вместо водки наполнила рюмку супруга фруктовой водой.

13

Съезду активных едоков и досужих ораторов суждено было в тот день пережить нечто выходящее за рамки программы обычного отдыха.

Студент Козырев повздорил с Антохиным возле рукомойника из-за теории Захарова. Он переживал эту ссору молча. На скамейке близ калитки студент обнаружил тоненький выпуск альманаха «Узоры». Рисунок на две обложечные полосы в свое время был предложен альманаху Мизгаревым. Козырев усмехнулся: содержание альманаха не очень-то соответствовало его оформлению. Номер заканчивался искусствоведческим эссе некоего Г. Макарова «Вперед к деревянной ложке», в котором автор иронически пересказывал полузабытое выступление Захарова в защиту оскудевающих с годами древних ремесел: резьбы по кости, лаковой росписи игрушек, художественно-

го литья... Статья, начатая с нескольких бесспорных замечаний по существу, постепенно приобретала глумливый тон над многовековым занятием поморов-косторезов, ваятелей, ковровщиц и над большим художником, заступившимся за умельцев...

Студент не удивился наскоку на Захарова. Академика и прежде упрекали в излишней традиционности... Автор ставил под сомнение художественный вкус Платона Захарова, намекал на несоответствие занимаемой им должности на кафедре института. Академик явно кому-то мешал... Об этом уже поговаривали даже студенты. Однако сейчас Козырева заинтересовал весьма второстепенный вопрос: кто такой Г. Макаров?.. С этой заботой он не мог справиться в одиночку и потому обратился прямо к члену редколлегии альманаха Лутоне-Красовицкому.

Лутоня продолжал объедать курицу. Не выпуская вкусную добычу изо рта, он промычал что-то нечленораздельное и кивком отослал студента к Мизгареву. Евгений Савельевич уже выходил из-за стола, разминая в пальцах сигарету. Благодушно настроенный график, уже слышавший от Яши Дудака не только о статье, но и о своеобразном комментарии к ней Южанина, с интересом принялся листать альманах.

— Поздравляю, коллега!— загремел на весь сад Мизгарев, потрясая перед лицом раскрытой книжкой «Узоров».— Антип опростал посудину у ваших окон, Платон Валерьянович!

Захаров сдержанно улыбнулся и вытянул руку к Мизгареву, однако Евгений Савельевич продолжал рассматривать альманах, будто диковинку. Лицо графика постепенно багровело. И Мизгарев, и Лутоня хорошо знали почерк этого человека и его псевдоним: ради отличия Берислава Кузнецкого — Макарова от всех прочих Макаровых, в редакции называли «Макаров-ге». То есть: «Горе-критик».

Весть о том, что Берислав удрал к закордонным своим хозяевам, не вызвала у знавших его удивления. Теперь этот отщепенец разъезжает по Западной Европе, шельмует порядки в нашей стране, обычаи, культуру и делает это с таким же азартом, с каким раньше расхваливал все без разбора. Но все помнят: Кузнецкий до бегства в логово духовных своих сородичей считался наиболее горячим сторонником Захарова по части консолидации!.. Он самолично взял на себя роль лидера «другого края общей нивы». Правда, и споря с академиком, и соглашаясь с ним, он не

торопился открыто признать себя единомышленником Захарова. А возможно, и просто издевался над заблуждениями честного, но недалекого мыслителя. И вот Берислав обрушил под занавес на своего публичного собеседника всю желчь и злобу — единственные свои аргументы.

Академик хорошо помнил крадущуюся походку своего оппонента. Лицо Берислава неожиданно всплыло сейчас в памяти Захарова. По-лошадиному удлиненное, крупное, защищенное толстыми стеклами очков на глазах. Он вспомнил, как Берислав восходил на трибуну и начинал речь, заготовленную наперед. Нижняя челюсть подтягивалась и смыкалась с верхней, голос становился свистящим и жестким, будто оратор перетирал противника зубами. Из-за этой странной особенности речь Берислава, как правило призывавшего к общечеловеческому гуманизму и доброте, производила совсем противоположное впечатление. Играя в демократизм, Берислав ходил в куцей потертой курточке, засаленной, протершейся на локтях. Он не прочь был пожаловаться на бедность, и ему сочувствовали: в отличие от многих столичных собратьев по кисти, у Кузнецкого было пятеро детей. Эта цифра — пятеро! — смягчала сердца не только работников Художественного фонда, но и многих противников его стиля: перед нуждами младшего поколения, как перед своим будущем — шапку долой! Не у каждого искусствоведа такое наследство!

И в эту шапку Кузнецкого бросали отнюдь не медяки. Кузнецкому нравилось, что его опекают, а роль бедняка приносила ему явную прибыль.

Неожиданная встреча свела Захарова с Бериславом. Оба были заядлыми грибниками и воскресные дни проводили на природе, в местах, хорошо известных любителям боровых трофеев. Практичный Берислав выводил в лес всю свою семью и относился к делу заготовки грибов очень серьезно.

Начало встречи Захарова и Кузнецкого было тягостным, неприятным. Академик было подумал, что кто-то из общих знакомых специально подстроил им свидание без публики, без свидетелей. Но неприязнь отцов легко устранили дети. Младшая дочь Платона Валерьяновича, Надя, оказывается, знала Жанну Кузнецкую по математическому кружку. Жанна и остальные четверо Кузнецких походили на мать — ширококостную, спокойную женщину с усталым выражением восточного лица. Дети-то и примири-

ли родителей. Обедали вместе. Получилось это само собой, просто и весело.

«Мы спорим, ломаем копья,— думал тогда Захаров, наблюдая за веселой игрой детей,— а дети, глядишь, все это не примут всерьез и объявят наши разногласия тяжбой отсталых предков, устроят свою жизнь как-то по-иному, ладнее...»

В этом смысле Кузнецкий показался академику непревзойденным отцом.

Женщины внесли в беседу свою, понятную каждой матери тему: как учатся девочки, чем увлекаются, кто куда готовится поступать... От Захаровых не ускользнула одна грустная деталь: сестры Кузнецкие, да и родители их были одеты очень скромно, если даже учитывать, что собирались они в лес. Всех чад отличала фамильная отцовская худоба. Сам Берислав признался между прочим: существенных перемен в материальной базе семьи не наступило, живут внатяжку. Безотказный, заваленный общественными обязанностями, Берислав присаживается к столу редко, на этюды и вовсе перестал выходить, а публицистика кормит плохо... Сборник критических эссе давно лежит в издательстве, ждать его выхода надоело, немало статей в нем морально устарело.

— Единственная прочная надежда,— неосторожно похвастал Берислав,— это тетя Соффи Раггоп... У нее свой обувной магазин в Лионе... Глядишь, подбросит посылку: отрез на костюм или башмачки детворе... Моих девочек она считает законными наследницами, завещание оформила на них.

Собеседники посмеялись этой старческой причуде француженки. Слова о потенциальном наследстве прозвучали грустной насмешкой над нынешними житейскими трудностями Берислава.

В тот день они не касались проблем, вокруг которых у них шла полемика. Было у них немало и общих взглядов на вещи, например: кусок хлеба с маслом нужен человеку любых убеждений, хотя бы для того, чтобы человек мог быть носителем каких-либо идей... Кстати, эту аксиому сформулировали задолго до разговора Платона Валерьяновича с Бериславом. Им оставалось лишь вспомнить об этом, восторгаясь мудростью предшественников.

Если речь шла о материальной помощи работникам искусства, «железобетонный» академик Захаров не признавал никаких предубеждений.

Желая преподнести сюрприз семье Кузнецких, академик на другой же день после грибной вылазки позвонил в издательство. Ему повезло: трубку взяла заведующая редакцией, защищавшая когда-то диссертацию по творчеству Захарова и хорошо знающая его позиции, однако не во всем согласная с академиком. На вопрос Платона Валерьяновича, что там у них с рукописью Кузнецкого, ответила с подозрительной нелюбезностью:

— Есть такая рукопись... Что вас в ней интересует?

— Почему не издаете?

— Знаете,— тянула с объяснениями заведующая,— у нас не сложилось единого мнения... Грубовато написано и не вполне квалифицированно. В общем, такие работы можно издавать, но можно и обойтись без них...

— Если имеется основа, лучше издать, чем не издать,— рассудил Захаров.— Книга искусствоведа вызывает новое движение общественной мысли...

— Не всегда,— упрямилась заведующая.— А если автор не придерживается ни ока, ни бока, когда заводит речь о своих противниках... Низвергает с пьедестала...

— Кого это он так низвергает, если не секрет?— полюбопытствовал Захаров.

Заведующая пыталась уйти от прямого ответа:

— Может, я не так выразилась... Но вы же знаете автора. Человек он желчный, временами неприятный даже. Все это отразилось и в его статьях.

— Кого все же низвергает Кузнецкий?— еле сдерживая смех от такой нелицеприятной характеристики, допытывался Захаров.

— М-м... вас, если угодно!— тактичная женщина эта попыталась придать своим словам шутливый оттенок.

Захаров догадывался об этом, как и о других причинах. Не затем он звонил, чтобы удовлетвориться разговором с непрошеной заступницей своего «пьедестала».

— Значит, вы, Ия Семеновна, решили поберечь меня от ударов?— сразу перешел он на жесткий тон.— Покорнейше благодарю и прошу освободить от опеки. Да, так. Под собой, извините, ничего кроме грешной земли не ощущаю. И пусть за мой пьедестал держатся те, кто его воздвиг: если шаток и доступен разрушению, туда ему и дорога... Честной борьбы ради идей, которые отстаиваю, я никогда не избегал. Оберегать меня не следует.

— Вы так думаете?— слабо сопротивлялась трубка.— Завидую вашей уверенности.

А когда книга вышла, один из авторских экземпляров был преподнесен от имени всей семьи Захарову. К своему удивлению, никаких статей против своей концепции Захаров не обнаружил. В дарственной надписи академика льстиво назвали кормильцем, давшим автору «кусок хлеба с маслом...». Академик был раздражен авторскими исправлениями. Как, оказывается, легко можно отречься от своих слов! «Неужели у Кузнецкого не осталось принципиальности?» — подумал тогда Захаров.

Прежде чем стало известно о том, что Кузнецкий сошел с парохода во время круиза вокруг Европы и не вернулся, Захаров однажды поздним вечером имел телефонный разговор с супругой Кузнецкого, Розой Матвеевной.

— Ради бога извините меня...— роняла она по слову, по два...— Вы всегда были так участливы, посоветуйте... Берислав оставил семью... А теперь вот телеграмма от его сестры, Софи... Зовет меня с детьми...

Захаров, не поверив, переспросил, а получив ясный ответ, возмутился:

— Самым натуральным образом бросил?! А как же дети?

— Без гроша оставил детей,— захлебывалась слезами супруга Кузнецкого.— И, знаете, поступил как самый последний негодяй. Забрал со сберкнижки большую сумму. Все клянчил, все копил, добывал правдами и неправдами, прикидывался бедняком. А оказывается, готовился отправиться за границу. Не знаю теперь, что и делать... Дети слышать не хотят об этой самой Софи...

— Ваших детей, Роза Матвеевна, мы в беде не оставим!— сказал Захаров с привычной для него решимостью.

Берислав не только обобрал детей своих, но и запустил в оппонента грязным пасквилем, замаскировавшись под псевдоним «Макарова-ге».

Сейчас, во время очередной трапезы у Карташовых, под истерический и глуповатый выкрик Мизгарева академику вдруг вспомнилась вся история дельца на ниве искусства, Кузнецкого.

«Похоже, кто-то другой смазал ему кусок хлеба пожирнее...»— сделал свой вывод академик.

Мизгарев возмущался громко и искренне. На правах заботливой супруги Сима принялась оберегать мужа:

— Успокойся, Женя!.. Подумаешь, альманах!.. Да кто его читает?! Господи, он и годится только на станциях пирожки торговкам завертывать!

Не скажи она этих слов, через минуту-другую все забыли бы о происшедшем. Козырев уже досадовал на себя, что привлек внимание гостей к альманаху. Студент не успел даже толком перелистать его...

В любой компании найдется человек, которому дорог добрый настрой застолья. Удачной шуткой, а то и покаянным словом можно без труда разрядить тягостную атмосферу.

Лутоня уже сочинял экспромт, желая вернуть общество к хорошей беседе.

Тетя Шура гремела противнем, поворачивая дымящиеся шашлыки на мангале. Под грушей остро запахло жареным луком и бараниной.

Всегда слышнее голос тех, кто молчалив. В воцарившейся тишине отчетливо прозвучал досадливый стук ладони по доске на другом конце стола, послышалось раздраженное бормотание Игоря Васильевича. Профессионального медика удивила мгновенная вспышка Мизгарева над раскрытой книгой альманаха, хотя художник и пытался замаскировать свое действительное состояние.

Игорь Васильевич еще раз стукнул по столу, все обернулись. Прозвучавшая совсем невнятно ворчливая фраза доктора, оказалось, имела отношение к Симе:

— Зачем ему мешать?! — громко повторил доктор.— Евгений Савельич сейчас переживает свою потерю.

При этом Карташов осуждающе посмотрел на озабоченную супругу Мизгарева — та крутилась за столом, будто сорока на колу.

— Меня зовут Сима,— напомнила женщина старику, тут же опустив глаза.

Подсказка Игорю Васильевичу не понравилась.

— Не в моей привычке, сударыня, называть девичьим именем замужнюю даму,— извинительным тоном заметил Карташов.

— Серафима Георгиевна. Георгиевна!! — раздалось сразу несколько голосов. По этой дружной подсказке Игорь Васильевич определил: его реплика новой супруге Мизгарева стала предметом всеобщего внимания. Доктор медленно поднялся с места.

— Судари и сударыни! — негромко проговорил он.— Прошу снисхождения за невольное вторжение в вашу профессиональную беседу. За обращение такое прошу извинить старика. Не могу сказать иначе. «Друзья» звучало бы фамильярно. Не гожусь, пожалуй, вам и в товарищи, ибо

самые старшие из вас,— он поклонился сначала Захарову, потом Лутоне,— пришли в мир на четверть века позже и, следовательно, по этому одному признаку относятся к младшей генерации...

Лутоня согласно потряс лысоватой головой, отодвинул тарелку с кусками мяса и поставил на место тарелки локоть. Он в последнее время часто жаловался на слух и потому, будто на заседании, приложил к уху согнутую ладонь.

— Мне хотелось лишь напомнить уважаемой Серафиме Георгиевне,— продолжал Игорь Васильевич,— о беспримерной важности того, что так взволновало Евгения Савельича. В медицине такие вспышки имеют не совсем благозвучное название: гомозус эстулатум... Попросту говоря, нервический шок, к коему человек чаще всего бывает неподготовленным, несмотря на отчетливость сознания и даже, видимую опасность...

Карташов кивнул на лежавший в траве альманах.

— Книгу, пожалуйста, поднимите!— твердым голосом попросил он...— Вот так... А вообще, судари, в нашем доме всегда поддерживалось уважение к труду в любом его проявлении. К книгам же в особенности... Если угодно, объясню... Печатное слово издревле на Руси почиталось за святыню. Можете верить мне, доживающему век: мужики снимали шапки, когда порог избы переступал человек с книгой в руках. Книгочея привечали лучше попа или медика и усаживали под образами. И это не от невежества и темноты, уверяю вас! К печатному слову тянулись души плугарей и ремесленников. Книга была для них вторым храмом. От книги ждали совета, как жить дальше... И если сейчас один из чародеев искусства, один из жрецов прекрасного отрекается от книги, кидает ее будто половую тряпку, значит, произошло или происходит нечто важное и равнодушным оставаться никому нельзя!.. Смею утверждать: Евгений Савельевич несет часть вины за осквернение этого храма... Книга, судари, не виновата.

Карташов уже держал в руках альманах, который подала ему тетя Шура.

— Значит, во всем виноват Евгений?— с некоторым запозданием произнесла Сима.

— Разве иначе, сударыня?— в свою очередь, спросил Игорь Васильевич.— Два или три года тому назад, под этой же грушей, возможно не столь плешивой как ныне, Евгений Савельевич объявил о своем решении выйти из

редколлегии. Не поступи Евгений Савельич столь опрометчиво, при его здравии... простите, при его духовном здоровье, атмосфера в альманахе была бы сейчас значительно чище... Думаю: одним лишь изумительным даром своей натуры — смехом — вы, Евгений Савельич,— старик улыбнулся хмурому, напряженно слушавшему Мизгареву,— лишили бы своих противников способности хихикать в кулачок над вашими же просчетами и просчетами вашего коллеги, как это они делают сейчас.

Карташов намеревался этим упреком прекратить тягостное для него объяснение с молодежью. Он оглянулся, отыскивая глазами повалившийся табурет, но тут подал реплику Захаров:

— Если подходить с вашей меркой, Игорь Васильевич, то виноват и я... Мы с Евгением Савельичем покинули альманах одновременно.

В словах академика старик уловил иронию.

— Вам, любезный Платон Валерьянович, тоже следовало бы выдать по первое число, но не хочу прослыть забиякой. Сдаюсь!..— Старик шутливо поднял руки.

— Отцовский ремень делу не помеха,— возразил Захаров.— Давайте уж одним заходом, если речь пошла об осквернителях храма и нерадивых служителях его...

— Прошу и свою порцию лозы!— Лутоня затарахтел вилкой по столу. Чувствуя, что накал гнева у старика прошел, Сима и Антохин, не сговариваясь, зааплодировали.

Игорь Васильевич опустился на подставленный Натой табурет и сказал, сопроводив слова нетерпеливым взмахом руки:

— Если заодно, то позвольте мне считать: не за то именно, что вы, Платон Валерьянович, имеете в виду сейчас...

— Ради бога! Позволяю!— с готовностью откликнулся Захаров. В словах старых людей, тем более в их шутках, академик научился читать скрытое значение.

Игорь Васильевич сказал примирительно:

— Вы и без меня получили ремнем, да еще с пряжкой... Ваш отказ принять редакторство открыл дорогу прохиндею, а возможно, повлиял и на настроение Евгения Савельича. Впрочем, я очень ценю вашу самостоятельность, сударь!— кивнул старик в сторону Мизгарева.

— Спасибо!— отчетливо произнес тот.

Карташов скрестил руки на груди, точь-в-точь как это

делала обычно тетя Шура. Он запросил позволения прекратить споры, утомляющие его.

Захаров остался доволен таким пониманием события трехлетней давности. Он мог бы лишь кое-что прояснить для своей же пользы, но тогда бы возникла опасность вступить в спор со старшим по возрасту в присутствии тех, кому он сам годился в отцы. О том, что Захаров отговорился от редакторства ссылкой на тогдашнюю подготовку к юбилейной выставке и необходимость съездить на кислые воды, знали все. Был ли расчет переиначивать сейчас привычное для людей мнение?..

«Выходит, не очень многим известна истинная причина моего отказа?» — удивился академик.

Платон Валерьянович размышлял о прошлом, Лутоня буйствовал за столом.

— Лозы!.. Прошу свою порцию лозы! — настаивал метр.

В выкриках Лутони, шутливо поддержанных Эмилией, Игорь Васильевич не хотел замечать легкомыслия. Подрастерявший многие качества, свойственные его былой крестьянской натуре, он все же оставался сообразительным человеком: вызывая огонь на себя, он пытался скрыться от критических реплик за дымовой завесой шуток.

Игоря Васильевича сердила назойливость Лутони. Доктор напоминал сейчас потревоженного медведя, еще не осмыслившего, с какого края ждать рогатины.

Глаза доктора стали неприятно колючими.

Андрей, лучше других знавший характер отца, принялся что-то говорить ему... Когда наконец старик успокоился, Андрей, чтобы заполнить паузу, попросил слова. Слушать гостям пришлось, однако, не его. Тем более что Андрей долго собирался, прежде чем вымолвить слово.

— Готово! Готово! — выкрикнула тетя Шура от плиты, приподнимая над плечом тяжелый противень.

Она обычно не задерживалась у стола. Гости предупредительно оставляли ей местечко, но местечко это всегда доставалось кому-либо из припоздавших. Однако тетя Шура заметила, что гости Игоря Васильевича тормошат его без меры. Понимала она далеко не все из перепалки одряхлевшего зятя с молодежью, поэтому выбрала момент для защиты не совсем удачный. Едва Игорь Васильевич принялся упрекать Лутоню за отсутствие солидарности с Мизгаревым и Захаровым и произнес слово «единомышленники», как тетя Шура пришла на помощь зятю.

— Где уж там вы одинаковы, коль пьете на-разно?— заговорила она, раздавая шашлыки.— Кушаете одинаково, что старуха наготовит, это верно, а говорите и пьете, кто на сколь горазд. Валерьяныч — приятное отчество у вас, лечебное имечко — беленькую потребляют; Савельич и Эмилия Львовна пьют коньяк, муженек Львовны сухим пробавляется... Зятек мой неоцененный в кои веки пригубит, а чаще и без рюмки обходится... Лучше всех у нас Яшенька: кто нальет, с тем и чокнется... Андрюша, прости, внучек, что перебила... еще не определился: тебе вдоволь и пива с таранкой... И все-то, выходит, на-разно!.. Вот Харитон мой, покойный, с дружками — те всегда в одноряд мыслили: приволокут четверть царской на стол, капусты в большую миску им положи или огурцов из погреба достань. Вилок не спрашивали — в заведенье не было... Разопьют в один присест да песню загремят на всю улицу...

Застолье грохнуло смехом от шутейной беседы тети Шуры.

Андрей, так ничего не сказав, сел, довольный таким исходом неприятной паузы. А тетю Шуру попросили вспомнить еще что-нибудь из бывальщины.

— Говорить, правда, не умели по-нынешнему,— продолжала она свою мысль,— а распустит кто язык, лучше б уж молчал или выл бы в подмогу певцам: что ни слово, то кувырком да враскорячку... Из ваших уст, гостечки, хоть мед пей, за душу каждое слово у вас берет...

Старуха обернулась к Захарову, самозабвенно слушавшему ее речь, и вдруг полюбопытствовала:

— Не возьму в толк, Валерьяныч, отчего этот мужик-то по весне траву в поле сеял? Долго угадывала я у плиты, всех наших перебрала и в соседней деревне — не припомню такого дурака.

Захаров любезно разъяснил:

— Это он для красоты так поступал, Александра Прокофьевна. Художником был он по натуре, тот крестьянин.

— Ну, уж разве только художник,— неохотно согласилась старуха.— Красоты-то в лугах да на полянах к жнивам до беса! А поле ведь к хлебу готовили. Без земли ой как люди бедовали! Каждую пядочку в дело способили...

Захаров поскучнел и уставился на тетю Шуру с жалостью. Этот нехороший, чужой открытому лицу глашатая народной мудрости взгляд смутил многих. Антохин накло-

нился к сидевшему под грушей Козыреву, вырвал у него из рук альманах, шепнув: «Хватит тебе в лохани барахтаться!.. Слушай, что народ говорит».

Тетя Шура не заметила недовольного взгляда академика, извинилась за неуместное слово и неожиданно высказала то, что давно береглось в ее сердце лишь для Яши Дудака.

— А вот тебе, Яшенька, сынок наш ласковый, от чистого сердца попенять хочу. Немудреное это дело — всем счастья желать налево, направо... Мы, старые, счастье так понимаем: чтоб теплый угол да ласка была от детей, женку чтобы сын в дом привел не злую, не спесивую... А она внучонка, глядишь, родила, веточку трухлявому пню в утеху подарила... Твоя-то мать, Марья Демидовна, с ревматизмом которую в запрошлогодье к Васильичу привозили, где она нынче? Все по вокзалам со шваброй мыкается? Ей небось под семьдесят?!

— Не хочет уходить на пенсию!.. Труженица, как вы! — нашелся Яша. Он с испугом огляделся, не переставая улыбаться.

— Небось о тебе все колотится, сокол! О жизни твоей неустроенной! — рассудила тетя Шура. — Не верю, сынок, что в семьдесят годов на коленках по грязным доскам елозить хочется! Пожалей родительницу, жизни ей прибавь лаской сыновьей, а то и на курорт повези. Об этом и Васильевич тебе толковал, да ты запамятовал небось... В старину говаривали: чем богаты, тем и рады... Счастья-то всем хочется. Оно главное богатство. Дуракам только оно в сказках само в руки идет. Добыть его нужно поначалу, да и с добрыми людьми делиться.

Старуха вздохнула и попросила, сложив потрескавшиеся черные руки на груди:

— Не прими в обиду, сынок... Уж такие мы, старые, нас не переделаешь на иной лад, поздно...

14

Разговор хозяина с Лутоней отпал сам собой. Едва за столом сослались на известный случай, как Чехов и Короленко дружно восстали против позорного решения императорской академии не дать Максиму Горькому почетное звание, Лутоня вскинулся, замахал огромными хлеборобскими ручищами:

— Увольте от таких сравнений!.. Поймите: не только

жить так, но и понять все эти опасные параллели отказываюсь! Увольте!

Лутоня был раздражен и зол. А Эмилия молча пыхтела, будто перегревшийся самовар.

В отличие от Захарова, Лутоня сказал всю правду. Ему икренне стыдно было за грязный выпад альманаха против честного и талантливого человека. Нынешний член редколлегии едва удержался, чтобы не вырвать своими руками последний лист альманаха с указанием своей фамилии среди других.

Воротить бы прежние лета, думал Лутоня, да не дано— сколько неблагоприятных обстоятельств открылось его взору под конец жизни... Энергия молодости безвозвратно ушла, канула в бездонный колодец времени. Жизнь потрачена на ненужные хлопоты и устройства, казавшиеся раньше первостепенными. Но муза ревнива: преуспевающих в житейских заботах она оставляет без творческого благословения. Лавры за первые работы Лутони, наиболее яркие, были давно и с лихвой собраны. Без новых картин он постепенно терял уважение в своей среде...

Подросли дети: Леня, Жужа, Оксана... Трое студентов в одной семье — бедствие для шаткого бюджета... Ребят одевать нужно, равняясь на другие заслуженные семьи.

Лутоне теперь и податься некуда. Лишь Кузеев, редактор альманаха, его принимал, хоть с дежурной улыбкой, но и не без заискивания. И нередко случалось, что сто рублей, которые аккуратно рассылал Кузеев всем своим действительным членам редколлегии, оказывались в месяц единственным источником существования пятерых Лутониных.

Покинув эстраду, Эмилия теперь сочиняла от имени мужа отзывы на присланные из альманаха статьи, рисунки, публикации... В редакции знали: Эмилия оценит как нужно, а не сможет сама — посоветуется с авторитетными для нее нужными людьми. Катастрофически редел круг друзей. Очень часто Лутоня ловил себя на мысли, что оборотистая супруга везет его к приятелям на целый день, лишь бы сберечь для детей бифштексы, оставшиеся на верхней полке холодильника. Поэтому нагловатый Дудак, способный на глазах оскудевшей четы Лутониных выудить вдобавок к обеду трешницу «на вертолет», был самым ненавистным конкурентом... «Мне все это непосильно»,— было стоном изувеченной души мелитопольского гречкосея, оказавшегося в конце жизни не в своей тарелке.

Обед у Карташовых нередко заканчивался пением какой-нибудь студенческой песни или старинных романсов. В этом особенно горазд был Южанин. Максиму всегда охотно подпевал Лутоня. Сейчас застолье переживало некоторое смущение из-за стычки тети Шуры с академиком, а Лутоня совсем приуныл от нахлынувших раздумий. Вот когда очень заметным стало отсутствие здесь веселого юноши. Однако каждый из гостей молчал, чувствуя отсутствие песни в застолье. И тогда Игорь Васильевич, которому порядком надоели пустые разговоры и любая, всегда претившая ему, дипломатия среди близких людей или называвшихся близкими, с вызовом заметил:

— Судари, кто из вас возьмется объяснить, почему нет здесь симпатичного чубатого студента? Того, что так хорошо поет «Кармелюка»?— спросил Игорь Васильевич, когда пауза слишком затянулась.

— Максим уехал из Москвы,— торопливо объявил Козырев.

— Это почему же?— удивленно спросил доктор.

— Он отчислен из института,— добавил Захаров.— Я сам подписывал неделю тому назад приказ.

— Вы его прогнали, сударь? За что?— поинтересовался доктор.

Захаров угрюмо молчал, постукивая по столу вилкой.

— Удивительно!— продолжал Игорь Васильевич.— Человек, который совсем недавно сидел вот здесь, которого мы поздравляли с прекрасными рисунками... Человек этот исчезает, и никто из нас не знает толком, где он и что с ним произошло?!

— Он отчислен за недостойное поведение в издательстве,— сухо сообщил академик.

Мизгарев облизнул внезапно осохшие губы, повел взглядом сначала на Захарова, потом на гривку жимолости, ведущую к калитке. Если бы не Сима, почему-то цепко державшая его за руку, Мизгарев ушел бы, убежал, скрылся от проницательных глаз Карташова.

— Больше, судари, никто нам ничего не скажет о Южанине?— расспрашивал педантичный доктор.

Все молчали.

— Тогда позвольте мне!..— Игорь Васильевич в который раз за сегодняшний день поднялся с табуретки.

— Юноша в пятницу, двадцать восьмого числа, был у меня. Приехал в слезах, как ребенок, потерявший отца. Сидел вот здесь, на завалинке у бани, и все твердил: «Ме-

ня бессовестно предали! Всю жизнь, с пионерской организации, меня учили драться за идеалы с врагами. Но я не умею воевать с друзьями... А они убили меня своим равнодушием...»

— И вы поверили этим глупым излияниям?! — сорвавшимся голосом выкрикнул Захаров.— Южанин в издательстве разорвал договор и подготовленные к печати свои рисунки, швырнул это все в лицо Чуракову!.. Дерзил в директорском кабинете... Нам не по дороге с такими, с позволения сказать, единомышленниками...— уже спокойнее закончил Захаров.

— И кто знает, не подвел ли он всех нас своей несдержанностью?! — поддержал Захарова Мизгарев.

— Хлестко сказано,— заметил доктор.— Вы думаете, быть на войне — это значит все время сидеть в укрытии?.. По-вашему, и у Матросова чувства были незрелые?..

— Папа, не нужно так,— тронул отца за локоть Андрей,— Мы все здесь единомышленники...

Игорь Васильевич коротко и недобро взглянул на сына и продолжал тихим голосом:

— Южанин, однако, ни слова не сказал в осуждение Чуракова. Он винил так называемых своих, нас обвинял! Мне нечего было сказать ему в утешение, кроме избитой истины: подводят лишь те, кто притворяется другом... Как вы считаете, друзья? — доктор сделал ударение на последнем слове.— Верно ли я ему все разъяснил?..— и обвел окружающих подслеповатым взглядом.

Евгений Савельич покачался на месте, проговорил глухо, раздраженно:

— Мне тоже, как Архипу Ивановичу, становится невмоготу от допроса, который всем нам учинил уважаемый Игорь Васильевич... Не позволят ли уважаемые хозяева мне удалиться?

— Как вам угодно, сударь! — сухо отозвался Карташов-старший.

Лутоня неожиданно сказал Мизгареву:

— Не ссылайтесь на меня, пожалуйста, Евгений Савельич! Прошу вас!.. С меня довольно! Всю жизнь меня кто-нибудь опекает, защищает, выдвигает. Бывает, что защищают от меня самого. И тогда трудно понять, где я сам...

Мизгарев опешил.

— Мы с женой уйдем сейчас! — заявил Мизгарев.— Но я обязан сказать здесь все, что мне известно об исто-

рии с рисунками Южанина. Выпуск его альбома на редсовете отстаивали... Однако Глеб Чураков был просто неузнаваем в тот день. Глеб, конечно, не знал лично Южанина, имел смутное представление о его работах из отзывов специалистов, но упорно не хотел видеть в планах издательства этой фамилии. К сожалению, так случается. Случается, говорят, тогда, когда Чуракова кто-нибудь убедит из домашних... Чаще — супруга.

— Лариска баба злая!— осведомленно вставила Эмилия.— Но она необыкновенно умна...

— Этак можно любого живодера аттестовать в философы!..— отозвался на похвалу Чураковой доктор.— В храме искусств совершается святотатство, поругание истины... И никто... Впрочем, извините, наверняка нашлись люди, которые по зову своей совести поддержали Южанина... Вы, Евгений Савельич, не однажды называли Южанина надеждой искусства. И, естественно, ваше слово там...

— Я не выступал на редсовете!— опередил надвигающийся вопрос Мизгарев.

— Как? Вы промолчали?!

Из-за стола выскочил Антохин, инстинктивно сжимая кулаки. Рядом с ним появился бледный Козырев. Нахмурив брови, поднялся навстречу им Захаров.

Мизгарев затравленно глотнул сухой комок.

— Просто мне показалось, что это не тот случай, когда нужно скрестить шпаги...— с нотками оправдания произнес Мизгарев и добавил тихо:— Что же мне нужно было делать... Идти за советом? К кому?

— К кому?..— отчетливо переспросил доктор Карташов.— Ну к своей совести, разумеется...— Все молча глядели на Мизгарева, и тогда Игорь Васильевич пояснил свою мысль:— За единомышленника, за надежду, за общие идеи, за чистоту храма искусства, за талант... Наконец, за Человека просто, во славу которого мы так часто и дружно поем гимны... За все это нужно бороться. Только и всего. Разве вы понимаете все это как-нибудь иначе?

— Громкие слова!— фраза эта прозвучала жалко и пусто, несмотря на зычный голос Мизгарева. Он и сам сразу понял это, сник.

Доктор Карташов не обратил на его возглас внимания, продолжал:

— Вы могли бы на другой день после случившегося пойти и подбодрить юношу. Ваши слова для него столько значили. Живи Чураков во времена моей молодости, ему

не избежать бы дуэли! Вот так, судари. Ах да, вы же отрицаете дуэль... Вы предпочитаете тосты...

Захаров обронил насмешливо и определенно в адрес Мизгарева:

— Культурное общество из-за женщин всегда несло большие потери! Чураков, как всегда, предпочел мнение своей всеведущей супруги.

Мизгарев коротко и зло посмотрел на коллегу, но ответил Карташову:

— Я не сплетник. Разносить содержание служебных разговоров не намерен... Даже друзьям, если хотите.

Игорь Васильевич с грустью посмотрел на сникшую фигуру художника.

— Да, вы не сплетник...— сокрушенно покачал он головой.— Вы уберeглись от опасной формы гриппа. Но действительная болезнь ваша, сударь, куда страшнее гриппа. Диагноз подобной болезни мне предсказал один опытнейший целитель... Название этого недуга «Дифиллоботриум латум»... Извините — солитер... Мне проходится сделать лишь небольшую поправку на обстоятельства: в вас внедрился не простой солитер, а солитер трусости...

Мизгарев уже стоял во весь рост, помогая своей супруге выбраться из-за стола, и казалось, что они с Симой стараются помочь друг другу обрести равновесие.

— Я могу это расценивать как...

— Не больше, чем услуга врача!— Игорь Васильевич пожал плечами.— Впрочем, как вам угодно.

Андрей и Ната с растерянными лицами глядели на Игоря Васильевича. Сын жалко улыбался, не знал, что ему предпринять в подобной ситуации.

— Папа! Нас могут неверно понять... Скажи, что ты вовсе не хотел их прогонять. Они сейчас уйдут! Все!— И Андрей кинулся за Мизгаревыми по аллее.

— Кто ценит правду, не обидится,— произнес, ни к кому не обращаясь, доктор.— Я давно уже собирался сказать некоторым, что мастерам пугать птиц пустопорожними выкриками место в огороде, а не среди искателей истины!

Вернулся растерянный Андрей.

— Папа, он твердит о какой-то западне... Мне кажется, ты сегодня не в духе.

— В западню попал Максим Южанин, доверившись таким друзьям,— отрезал Игорь Васильевич, поворачиваясь к сыну спиной.

Сима подвела «Волгу» к самой калитке, ожидая чету Лутониных. Архип, попрощавшись с Карташовым-старшим глубоким поклоном, а на младшего даже не взглянув, крупно зашагал к аллее, тяжело, будто слепой, вгоняя в землю трость. Пиджак метра собрался на спине гармошкой, штаны провисли и пузырились. Эмилия обежала всех — к кому прикоснулась, кому сказала на бегу пару слов. За калиткой она всхлипнула, но сразу взяла себя в руки: впихнула мужа на первое сиденье, а сама стала устраиваться на заднем вместе с Яшей, который оказался в кабине пятым.

15

После отъезда гостей в саду сразу воцарилась тишина, и доктор вдруг услышал, как сильно, будто пережив грозу, кричат птицы. И остро посетовал на свою слабость: «Боже, как много часов, дней, а быть может, и лет я прожил среди вот такой пустой говорильни. А вокруг бушует мир, полный хороших дел, здоровых устремлений, свежих красок, птичьих песен».

Игорь Васильевич потихоньку шел в глубину сада, мимо тети Шуры, молча и с яростью протиравшей посуду, тоже ушедшей в свои думы. Старый доктор вспомнил, что у кустов смородины он оставил ножовку и секатор, оставил там начатую свою работу. «Вот и хорошо, что уехали,— подумал он.— Кажется, теперь я спокойно поработаю, сделаю хоть маленькое, но полезное дело... А потом... А потом Игорь Васильевич поедет в Новороссийск к тому дерзкому и неуравновешенному юноше».

Да, он так решил еще за столом, когда прежние друзья Южанина один за одним принялись отрекаться от него или молча согласились с нынешней участью своего единомышленника. Отреклись от своей надежды...

«Возможно, этот юноша будет последним моим пациентом в жизни,— с облегчением подытоживал Игорь Васильевич.— Пусть я в понимании Мизгаревых непрошеный утешитель, надоедливый собеседник, но я поеду не продолжать бесплодные разговоры... И врачам не все подвластно, но я постараюсь помочь мятежному юноше, доказать ему: друзья есть, и не все его предали... Заеду в Таганрог,— с неожиданной ясностью представил он себя в стороне, с которой был связан всегдашними раздумья-

ми.— И свезу карточку Чехова с автографом... Давно обещал музею!»

Игорь Васильевич посмотрел в сторону дома. Усадьба уже лишилась в его воображении самого ценного здесь, чеховского дара, выглядела жалкой, ненужной ему самому.

— Завтра же уеду!— проговорил доктор вслух, раздвигая ветви. Он долго и ожесточенно работал секатором.

Возвратившись к дому, доктор увидел двух молодых людей. Антохин сидел на ступеньке лестницы, облучаемый нежаркими лучами предзакатного солнца, и строгал складным ножом ветку жимолости, подсохшую уже, трудно поддающуюся обработке. Козырев — без кителя, в моряцкой тельняшке — полулежал на траве, наблюдая за напрасными усилиями своего приятеля.

— Вы не ушли? Вы здесь?— удивился Карташов, обращаясь к студентам. На лице его играла улыбка.

По их лицам Игорь Васильевич понял, что между вечными спорщиками — быть может, после бурной перепалки — наступило примирение.

Козырев сел порывисто, обхватил колени руками, затем глянул в сосредоточенное лицо друга, объяснил:

— Мы не могли уйти, Игорь Васильевич!

— Почему?— еще больше удивился доктор.

— Не хотели!— коротко бросил Антохин.— Никогда не хотели с ними...— Он вдруг оставил свое ненужное занятие, отложил недоструганную палку и пояснил:— Мы хотели побыть с вами, Игорь Васильевич...

— До завтра!— вставил Козырев, подхватившись на ноги и приближаясь к доктору.— Только до утра!

Антохин смерил друга колючим взглядом.

— Нам показалось, Игорь Васильевич, что вам понадобится помощь.

— Но я врач, судари...— напомнил Игорь Васильевич.

— Врачи тоже люди!— возразил с виноватой улыбкой Козырев, подсмотревший таблетку в дрожащей руке лекаря.

Карташов молча склонил голову в знак благодарности за заботу о нем.

— А еще,— добавил Антохин, чувствовавший себя в паре с Козыревым ведущим,— мы хотели просто побыть с вами, Игорь Васильевич.

— Просто побыть,— машинально повторил за юношей

доктор, вкладывая в эту не совсем удачную фразу Антохина иной, благородный смысл.— Как это здорово: просто побыть!..

Антохин уточнил:

— Дело в том, что мы с Павлом завтра уезжаем... Едем к Южанину... И нам хотелось услышать от вас несколько напутственных слов.

— Для Максима,— опять вставил Козырев.

Удовлетворенный доктор вздохнул глубоко, словно раскрыл юношам свое сердце.

— Требуется благословение древнего старца перед долгой дорогой...— мягко, шутливо даже произнес он.

Студенты молча заулыбались, принимая этот дружески-шутливый тон.

— Что ж, благословляю!— тут же отозвался Карташов.— Мои мысли совпадают с вашими. А это уже кое-что значит... Прежде всего для меня... Видно, все же не зря, не зря люди ездили сюда. Впрочем, это мои, быть может, слишком старческие мысли вслух... А сейчас, судари, пройдемте за мною в дом.

Кабинет хозяина дома был с одним окном, плотно занавешенным сейчас. Здесь давно не убирали — на студентов пахнуло залежавшимися книгами, стоялой пылью. Игорь Васильевич снял с гвоздика над письменным столом портрет Чехова и не торопясь опустил его в самодельный конверт из плотной бумаги.

— Благословение — вот,— проговорил Игорь Васильевич, отдавая конверт Антохину.— Просили автограф Антона Павловича в музей, но я так подумал... Музей — хорошо, но лучше, если в живые и надежные руки.

Антохин бережно взял конверт, он чуть не задохнулся от волнения.

— Игорь Васильевич!.. Вы нам?.. Портрет Чехова?

— Да, вам!— проговорил Карташов, волнуясь не меньше студентов.— Вам, но для Максима, ему этот дар сейчас нужнее... Ваше решение ехать к нему более чем похвально, мои юные друзья! Езжайте! Завтра же, как наметили... И скажите там сразу: как только доктор Карташов почувствует себя лучше — приедет... Не может не приехать.

Студенты проводили тетю Шуру до автобуса. Затем вернулись в мансарду, долго не гасили света.

Под утро вернулся Андрей. Пьяный, взъерошенный,

растерянный. Ната отказалась возвратиться с ним, забоявшись, что Андрей разобьется по дороге, не довезет ее до места. Она увязалась на ночлег к Мизгаревым.

16

Ната не случайно оторвалась от компании Андрея, запросилась из машины, едва «Москвич» въехал в первые московские улицы. Девушка искала уединения после бурной ночи, завершившейся таким же умопомрачительным днем. Еще вчера, когда они приезжали в гастроном за продуктами, Ната заскочила на минутку в общежитие. Ждала письма от матери, получила конверт со штемпелем из Донецка, без обратного адреса, и едва поняла по почерку, что это одарил ее своим вниманием всегда насмешливый по отношению к ней, а со времени сближения девушки с Андреем ставший просто нетерпимым Максим Южанин. Был ли действительно Максим влюблен в Нату или разыгрывал из себя ревнивого «ухажера»— шуточки его в адрес Наты, провинциалки, решившей понадежнее пристроиться в столице, становились все язвительнее.

— В конце концов это не твое дело!— отбивалась Ната, как могла.— Ты мне не объяснялся в любви, и я тебе ничего не обещала!

Максим ухмылялся и заводил какую-нибудь песенку, вроде: «Мы с тобою не дружили, не встречались по весне. Но глаза твои большие...»

Насчет глаз он чуточку привирал, но дело было не в глазах. С парнем что-то происходило в последнее время, он всем дерзил, будто предчувствовал близкий разрыв. В общежитии Ната письмо читать не стала, да и Андрей нетерпеливо сигналил под окном. Эта нетерпеливость и решила исход дела: поедет Ната ночевать к Андрею или даст себе отдых от нахлынувших противоречивых чувств.

Запросившись к Мизгаревым, Ната рассчитывала на то, что ночевать ее позовет к себе Ася и с Асей они прочтут Максимово послание, чтобы вдоволь насмеяться над его каракулями, по обыкновению снабженными уморительными иллюстрациями: из всех знакомых Наты только Максим снабжал свои письма рисунками, подчас очень затейливого свойства.

Не удержалась, вскрыла конверт еще в машине... Ни одного рисунка!.. Даже скучно глядеть на страницы!..

Однако то, что написал Максим и написал именно ей, взволновало девушку не менее самых ярких композиций странноватого украинского парубка.

«Натали! — обращался Максим к девушке. Только он, Южанин, называл Нату таким возвышенным, поэтическим именем. — Если бы ты знала, откуда я сейчас пишу?! Где пишу?! Я ведь не доехал до своего Таганрога. Вот сошел на станции Никитовка, сошел в свою донецкую степь, где повкалывал под землей, прежде чем подняться на студенческие небеси... Да, это моя степь, мое скучающее по мне подземелье, моя жизнь... Какие здесь краски, Натали!.. Какой простор для глаза, для души!.. Нет, Натали, сколько бы мы ни спорили в учебных аудиториях, ни провозглашали мудрых тостов под грушей доктора Карташова — мудрость жизни здесь, в этой степи!.. И в угольных уступах, которые когда-то сокрушал салага-шахтер Максим Южанин, и в дядьке Петре Гурском — славном добряке, у которого все лицо изъедено крупинками угля... Нет, это все — нашу встречу, затем спуск в забой — не передашь словами. И красками не передашь, Натали! Самые лучшие краски нужно замешать на здешнем небе, на думках степных, на песнях!.. Ты послушай, Натали (только уговор: не читай, а слушай меня, если не забыла мой голос), вот что мне пропел дядько Петро, бригадир нашей проходческой, когда мы, выйдя черными как негры из забоя, отмылись в бане и пропустили у него дома по стопарю.

Ты можешь себе представить пожилого, изношенного уже человека с уставшими, в морщинах, глазами, который, пристукивая пальцем по краю стола, выводит в задумчивости. И в глазах его — ни смешинки, будто разговаривает он песнью с древностью, с вечностью, с жизнью самой.

А я ему подпеваю, Натали:

Я по батюшке день и ночь скучаю,
Я по матушке целый век скучаю,
Ой да по женушке да по молодой,
Ой да по женушке да по молодой...»

Песня была длинной, как сама жизнь заблудившегося в чужих далях казака, пришедшего к родному порогу пешком, ведя на поводу притомившегося коня. Ната не все поняла из этой песни и, наверное, скоро забыла бы о песне и о самом послании, если бы не неожиданная приписка, похожая на крик души:

«Натали!.. Не повторяй ошибки других, как поступают в пору молодости безоглядно: не выходи замуж за Андрея! Будешь ли ты счастлива — не знаю (зачеркнуто: «не верю»), но сделаешь несчастными сразу двух: и младшего и старшего Карташовых, если только этих двоих... Да, да, не удивляйся! Андрей Игоревич — ребенок по натуре, ты сделаешь его своей деревенской опекой еще бо́льшим ребенком, и он не совершит ничего достойного в жизни, будем говорить — в остаток жизни!.. Карташов-старший исстрадался, наблюдая за жизнью сына-слизняка и других таких же слизняков, одержимых погоней за призрачной жар-птицей удачи... Выйдя замуж за Андрея, ты как бы примешь на себя весь груз напрасного гостеприимства всех этих пигмеев от искусства, переродившихся славян!..

А им нужна степь, Натали! Нужен простор, нужен дядько Петро с его грустными, задумчивыми песнями. Нужно видеть, как вкалывают эти мужички-простачки, складывая по кирпичику наше с тобой будущее!

Я не оговорился: наше с тобой!»

Дальше Максим, как и в устной беседе, начал какую-то шутку, но не вывел ее до конца и закруглился словами найденной им в степи песни:

Я по батюшке день и ночь скучаю,
Я по матушке целый век скучаю...

1969

КАРАНДУХ

ГЛАВА 1

Если бы города и селения имели, подобно людям, чины и звания, пристанционный поселок Кряж наверняка именовался бы стрелочником. Расположенный у пересечения главных магистралей, населенный пункт этот вот уже почти сотню лет, с аккуратностью влюбленного в свое дело человека, выполнял одну и ту же работу: встречал и провожал поезда.

Уставшие от долгой дороги паровозы и электровозы с радостными гудками проносились под бетонными сводами моста у границы станции и покорно вписывались в линии, отведенные для кратковременного постоя. В эти минуты стальные локомотивы чем-то напоминали утомленных богатырей и, казалось, жаждали прикосновения заботливых человеческих рук.

Случись с каким-либо из поездов задержка в пути — поселок тревожно замирал. Если эта беда приключалась ночью, Кряж, не мигая, с затаенной тревогой всматривался зеленым глазом светофора в темноту занятого составом перегона.

Уловив сквозь белую тьму вьюги или сквозь завывание осеннего ветра отдаленный вскрик локомотива, поселок дудел в медный рожок постового стрелочника, посылал навстречу заблудившемуся поезду сигнал... А издалека по специальной селекторной связи начальствующий голос строго спрашивал:

— Кряж! Кряж! Где поезд 13—86?..

Дежурный по станции — с накинутой поверх красной фуражки дужкой наушников — спокойно отвечал так же, как его спрашивали, за весь спящий или бодрствующий поселок:

— Кряж принял... Кряж отправил поезд номер...

За много десятков лет не было случая, чтобы в любую пору суток навстречу поезду не вышло несколько кряжан. Одетые в грубые, пообтертые на широких плечах спецовки, люди осматривали и ощупывали под вагонами все, что могло испортиться в дороге. Затем снабжали паровозы углем и водой, поднимали зеленые сигналы: в добрый путь!

В поселке жили свои мастеровые и лодыри, чудаковатые балагуры и задумчивые философы, смешные добряки и злые молчальники.

Каждый по-своему беспокоился за доброе имя родного поселка-стрелочника, гордился потомственной принадлежностью к делам и событиям в Кряже.

С давних времен Кряж богат паровозными свистками, лязганьем буферов маневровых локомотивов, вороньим карканьем в пристанционных парках, воинственными криками драчливых мальчишек.

Пристанционную часть поселка украшают поседевшие от многолетия две ракиты — у пешеходного моста через речку Шилку. Деревья имели задумчивый, скорбный вид, очевидно, оттого, что и под старость им не давали спокойно подремать: разноголосые гудки и свисты проходящих невдалеке тяжеловесных составов сотрясали их до корней. Летом деревья трепетали от легкого ветерка и по утрам роняли в воду прозрачные капли ночной росы.

В жаркий полдень ребятишки, соревнуясь в сноровке, карабкались по скользкому стволу на верхушки ракит и, растопырив ноги, падали в воду.

Поздней осенью каждая веточка деревьев наряжалась в кружевную одежду инея, в кристаллах которого поблескивали, дробясь, россыпи похолодевших лучей солнца...

* * *

Вот такую пору, от заморозков до выпадения снега, любила дочка постового стрелочника Максима Гуторкова — Тоня.

После внезапной смерти матери шестнадцатилетняя Тоня осталась хозяйкой в доме. Но какая из нее хозяйка? Разве дело лишь в том, чтобы приготовить отцу завтрак до ухода на держурство, постирать себе платьице? Тоня это умеет. Мать не баловала ее, учила всему.

...Кроме форменной спецовки, у Тони два платьица. Одно — зеленое, шерстяное. Мама пошила его незадолго до своей смерти. Платье это так и называлось в их маленькой семье «маминым»: девушка берегла его как память о самом дорогом человеке, надевала не часто, хотя любила, взяв за плечики, постоять с ним перед зеркалом. В такие минуты ей становилось грустно, мечта уводила ее в еще близкое, но уже прошедшее детство.

Другое платье штапельное, в косую полосочку — при-

несла на день рождения тетя Ксения, сестра отца — высокая чопорная женщина с большим узлом темно-русых волос на затылке, всегда туго перетянутая в талии. На летней одежде родственницы дыбились всевозможные отделки. Страсть к вычурности отразилась и на ее подарке для племянницы. Платье получилось «со смыслом», оно предательски подчеркивало в Тоне развивающуюся женственность, и это страшно смущало девушку. Появившись однажды в этом платьице на танцах в общежитии, она почувствовала на себе непонятные ей взгляды взрослых парней.

Тоня любила свой поселок. Летом, особенно на закате, ей нравилось бывать у ракит, глядеть на воду, которая в последних лучах солнца причудливо меняла краски, постепенно становясь свинцово-темной. Как и всякому в шестнадцать лет, Тоне хотелось побыстрее познать таинства окружающего мира. Застенчивая от природы, она не хотела навязываться взрослым с расспросами. Зато ей легко удавалось проникать в неизведанное на крыльях своего воображения. Удивительным казалось, что каждую весну пустостволые от гнили ракиты вспыхивали целым фонтаном свежезеленой поросли. Новое убранство ракит по пышности листьев и свежести их окраски не уступало прошлогоднему. Даже казалось ярче, щедрее. От этого жизнь деревьев представлялась бесконечной.

За полтора года жизни без матери Тоня заметно повзрослела. У нее появились новые привычки. В отличие от своих сверстниц, которые могли сразу после занятий пойти в кино или поваляться на диване с книжкой, Тоня должна до возвращения отца сбегать в магазин за молоком и хлебом, разогреть приготовленную с утра — тоже до занятий! — еду.

Вот она и сегодня, едва переступив порог, кинулась к хозяйственной сумочке. Ей понадобилась чистая баночка, которую Тоня по маминой привычке после ополаскивания вывешивала на кол ограды в палисаднике. Выйдя во двор, она чуть не столкнулась с продолговатым подростком в форменке. Это был Саша Нестеренко из слесарной группы.

Обрадованно блеснув серыми глазами, Саша выдохнул:

— Ух!.. За тобой не угонишься!

— А ты не гоняйся! — отрезала Тоня, снимая с частокола перевернутую вверх дном баночку. Днище ее покрыл иней.

— Нет, ты правду скажи, почему ты всегда так быстро ходишь?

— Не всегда...— грустно и уже присмиревшим голосом отозвалась девушка. Она проворно завернула банку в газету и опустила ее в сумку. Саша с виноватым видом заступил ей дорогу.

— Давай я сбегаю за молоком,— паренек протянул руку к сумке.— Тебя Виталий Иннокентьевич зовет,— выложил он наконец основную причину своего появления здесь.

Тоня, не отдавая сумки Саше, разочарованно проговорила:

— Я же только из училища.

— Какое-то ЧП там,— махнул рукой Саша.— А завучу, сама знаешь, нужна кол-ле-ги-аль-ность...

Выхватив сумку из рук Тони, Нестеренко побежал к калитке.

— Деньги возьми! Деньги! — затрясла над головой перчаткой Тоня. Но паренек уже бежал вдоль забора:

— Потом!

«Ох, эти мальчишки!» — вздохнула Тоня по-взрослому. По правде говоря, ей часто приходилось вздыхать из-за мальчишек. По должности.

Мороз не отпускал даже к полудню. Он по-хозяйски прочно наступал по пятам журавлиных стай. Почти сразу, как только Тоня вышла из дому, на левом лацкане черной шинели, там, где прикреплены две блестящие буквы ЖУ, от дыхания образовалась изморозь.

Вот и мост. Еще не ступив на его дощатый настил, девушка заметила справа, невдалеке от заиндевелых ракит, с десяток школьников. По приречной низине разносились их крики и хлесткие удары палками о лед.

— Река замерзла! — радостно прошептала Тоня и повела взглядом вниз по течению внезапно успокоившейся Шилки.

Но река ушла под лед не вся. Напротив того места, где собрались мальчишки, на самой середине реки, словно пульс умирающего существа, билась холодная жилка воды. Ширина этой жилки была неровной. В отдельных местах хрупкая корочка льда уже соединилась, и вода здесь то перекатывалась сверху, то в бессилии ныряла под хрустальный пресс. Лед был еще до того тонок, что, казалось, звенел от упругих ударов водяной струи. Ребята затеяли игру: кто дальше от берега заберется по первому льду?

Тоня завидовала мальчишкам. Ей тоже хотелось вскочить на лед и постоять там, наслаждаясь зловещим потрескиванием под ногами, потом убежать на берег. Но это вдвойне рискованно: если не провалишься в студеную воду, то будешь беспощадно осмеяна. Ребята с шумным злорадством встречали всякого, кто возвращался назад, не достигнув уже взятого рубежа.

Когда Тоня, то замедляя, то ускоряя шаг, взошла на мост, неустойчивую тишину приречной низины всколыхнул взрыв ребячьего ликования. Взглянув на реку, девушка ахнула: по гладкому льду прямо к разводью скользила, вяло крутясь, черная шапка-ушанка. Владелец ее, низенький мальчик в куцем пиджаке, ежась от холода, тер рукавом обнаженную голову и хныкал.

Человек, бросивший шапку мальчика на лед, был знаком Тоне, хотя что-то давно уже не попадался ей на глаза. Это был Юлиан Ржава, прозванный в их поселке Стилягой. Года четыре тому назад он, будучи старшеклассником, побывал у своих родственников в Харькове и привез в поселок узкие зеленые брюки и пеструю, разрисованную петухами и лисицами рубашку. Но презирали Ржаву не за одежду: носи себе на здоровье что хочешь! По выражению отца Тони, нутро Ржавы было еще пестрее, чем одежда...

Взрослые отворачивались, завидев юношу в таком одеянии. Зато мальчишки ходили за ним стайками, разглядывая на галстуке изображение полуголых девиц.

Кое-как закончив десять классов, Ржава не нашел себе дела по сердцу, болтался целыми днями по поселку, щеголяя в желто-зеленом пиджаке, купленном на деньги каких-то состоятельных родственников. Дружил он только с малолетними, потому что ровесники Юлиана возмужали на производстве, за эти годы стали намного серьезнее, взрослее его и при встрече шпиговали Юлиана унизительными шуточками... Даже присказку сочинили...

Юлька, Юлька, не юли,
На работу к нам вали!

Но Ржава пропускал такие словечки мимо ушей. У Тони был особый счет к Юлиану: при встречах он нагло разглядывал ее прищуренными глазами, словно ястреб добычу...

Но вот мальчик заорал. Юлиан двинулся на лед за шапкой. Несколько шагов он сделал довольно бодро. Лед

выгнулся под ним лубком, из-под левого ботинка фонтанчиком брызнула струя воды. Парень робко оглянулся и хватил к берегу. Шалуны беспощадно освистали его.

Между тем шапка, достигнув разводья, мелко вздрагивала под слабеющими порывами ручейка. Намокая, она оседала, грозя вот-вот исчезнуть подо льдом. Дети притихли, стали совещаться.

Все это видела не только Тоня. На мосту остановилась пожилая женщина в желтой дохе из собачьего меха, потом ребятами заинтересовались еще трое прохожих. Женщины ахали, негодовали. Увидев на мосту взрослых, Ржава снял со своей головы зеленую шляпу и небрежно натянул ее на стриженую голову плачущего малыша.

Через несколько минут двое ребят вышли из толпы и, поодаль друг от друга, ступили на лед. Постукивая впереди себя палками, они пробовали добраться до шапки ползком. Но и эти возвратились ни с чем.

Между тем на станцию прибывали и отправлялись по своим маршрутам поезда. Морозный воздух сверлили назойливые свистки локомотивов. Ослепительно белый пар отделялся столбиками от нагретых колпаков на паровозных котлах и таял в холодном воздухе.

Никто из присутствующих на реке не заметил, как с тормозной площадки поезда, чуть замедлившего ход напротив вокзала, соскочил коренастый подросток. Прыгнул неудачно, зацепившись носком левой ноги за шпалу. Еще лежа, воровато огляделся и заметил, что из будки стрелочника к нему спешит с метлой в руках усатый человек. Встреча с усачом, вероятно, не сулила ничего хорошего, поэтому паренек, припадая на левую ногу, заторопился прочь.

Тоня заметила его уже тогда, когда подросток, помахивая железным прутиком и насвистывая что-то свое, подошел к гурьбе ровесников у речки. Походкой он напоминал одного из знакомых мальчиков, но издалека девушка не разглядела лица пришедшего. Тот же, ни с кем не поздоровавшись, поднял с земли длинную палку и с ходу шагнул на лед.

Появление нового товарища внесло оживление в толпу ребят. Они, словно по команде, подались вслед за новеньким к самому берегу. Пришедший чувствовал себя увереннее иных смельчаков. Он мелко засеменил по льду, часто переставляя ноги и обстукивая лед палкой. Когда из-под каблука брызнула вода, он лег на живот и пополз.

Сзади дружно помогали советами, на которые паренек не обращал внимания.

У перил моста к этому времени уже собралась целая вереница любопытных. Одни просто созерцали перемены на реке, других занимала опасная игра детей. А тот — в черной шинельке — все же добрался до середины реки и ловко подцепил шапку. Прежде чем попасть к владельцу, шапка пошла по рукам озорников, словно это был диковинный трофей. Каждый тянулся потрогать ее руками.

— Ура! Борька, Карандух! Ура-а,— орали они, подбрасывая шапку вверх. В хоре совсем тоненьких и по-юношески хрипловатых голосов отчетливо выделялся дискант пострадавшего малыша. Мальчик, заполучив свою шапку, сорвал с головы Юлиана шляпу и хотел было запустить ее на лед. Но Ржава вовремя схватил его за руку.

Только сейчас до сознания Тони дошло, что на льду ее бывший соученик по группе — Борис Кобцев, с неделю тому назад исключенный из училища. Воспоминание об этом мальчишке всегда вызывало в душе девушки досаду.

Возмутитель спокойствия не торопился уйти от опасности. Он повернулся к берегу боком, пополз вдоль разводья.

Одна из женщин, остановившихся на мосту, пряча маленькое личико в воротник дохи, делала нервные движения рукой в воздухе и выкрикивала:

— Ах, что же вы смотрите? Он сейчас исчезнет подо льдом! Ведь за него придется отвечать!

В толпе зароптали. Заволновалась и Тоня. Ей претила отчаянная выходка подростка, но еще более раздражали слова франтоватой женщины, которая боялась попасть в свидетели, если подросток погибнет.

— Не волнуйтесь, гражданочка! — удивляясь своей смелости, сказала Тоня. — Этот мальчишка вас не подведет. Он еще никаких надежд не оправдывал: ни хороших, ни плохих.

— Вы знаете его? У него есть мать?..

— К сожалению, да,— ответила девушка сразу на два вопроса.

— Несчастная мать! — вздохнула доха и уже больше не выкрикивала.

Подросток не исчез подо льдом. Вопреки ожиданиям сверстников, он не возвратился и к ним. Заставив оцепенеть и взрослых и маленьких свидетелей этой картины, он оперся на положенную через разводье палку у края хруп-

кой ледяной корки и ловким движением перебросил худое тело через узкую гривку воды. Несколько секунд он лежал без движения, словно не веря самому себе. Потом чуть отполз от воды и вразвалочку побрел на безлюдный противоположный берег. Вслед ему неслись крики ликования и возмущения. Тот даже не обернулся.

Тоня вместе с остальными людьми пошла с моста, даже не подозревая, что в училище ее пригласили решать дальнейшую судьбу этого отчаянного паренька.

ГЛАВА 2

Карандух не помнил своего отца...

Незадолго до начала войны слесарь паровозного депо, белобровый задумчивый парень с внимательными синими глазами на прыщеватом худом лице — Дмитрий Кобцев — поехал в деревню к родителям в очередной отпуск. Неожиданно для товарищей по цеху, да и, кажется, для самого себя, он женился там. Сверстники молодого слесаря помнят, как Дмитрий появился в общежитии с молоденькой женой, которую звали не по-городскому — Василисой. За неимением квартиры, они сначала разместились порознь: Дмитрий в мужской комнате, Василиса — с девушками. Молодожены за лето соорудили себе из шлака небольшой домик в Красном переулке. Невысокий, островерхий, с узорной металлической росписью наличников и ставней, он и по сей день стоит в переулке, как памятник застенчивому и искусному хозяину-мастеровому.

А сам Дмитрий в сорок втором году погиб.

Извещение о гибели мужа Василиса Кобцева получила в родильном доме из рук самой акушерки, которая приносила молодой матери в первый раз кормить сына. Пока лежала в роддоме, она как-то не сознавала смысла страшных слов извещения. Но, возвратясь с сыном в пустой, настывший за время ее отсутствия дом и встретившись — на портрете — с искристым смешливым взглядом уже неживого Дмитрия, Василиса охнула и в беспамятстве опустилась на пол. Пришла в себя от детского крика. Не смея поднять глаза на портрет, она тихонько вышла за дверь и побрела снова в общежитие. Прожила там полгода, а дом пустовал — чужой, страшный, где каждая мелочь напоминала о бесповоротных и теперь кажущихся выдуманными днях юности. Молодая женщина потухла, подурнела, стала безразличной ко всему.

Когда ребенок подрос и его можно было отдавать в ясли, Василиса устроилась в общежитие кондукторского резерва уборщицей.

Борька рос неразговорчивым, ершистым. Мать зачастую оставляла его в доме одного, уходя на рынок или к соседям. Мальчик сам возился с игрушками, утомленный подчас засыпал на стянутой со стола скатерти.

В школе мальчик дичился учителей, с ровесниками чаще всего объяснялся на кулаках. Иногда, возвратясь с работы, мать не заставала его в постели. Мальчишка не появлялся ни на второй, ни на третий день. Буйная фантазия влекла его в путешествия, которые обычно заканчивались малоинтересными беседами в детской комнате дорожного отделения милиции. Он никогда не просил прощения у матери, молча переносил и горькие материны упреки и побои.

Отношения с матерью у него были неровными.

Он мог не обращать внимания ни на слезы ее, ни на побои. Но чутко прислушивался к тому, о чем говорила мать, вернувшись с работы, на что жаловалась.

Однажды Василисе потребовался дополнительный выходной день. Начальник резерва не разрешил ей остаться дома.

Кляня на все лады неуступчивого человека, Василиса стала собираться на смену. Борька подошел к ней сбоку:

— Мам, а этот Гуськов — плохой, да?

— Чума его знает, каков он... Вот не пустил, и все. А прежде пускал.

Борис молча выслушал эти бессвязные причитания. На заре он встал, тихонько вылез через окно — дверь скрипела — и вытоптал две грядки моркови на огороде начальника кондукторского резерва... Так он стал мстить всем обидчикам, и своим, и материным. Разумеется, больше всех переживала сама Василиса Кузьминична...

За низкий рост, узкие с раскосинкой глаза и несколько искривленные, как у татарских наездников, ноги Бориса сызмальства прозвали Карандухом — так в поселке дразнили и других малорослых детей. Но к Борьке эта кличка почему-то прилипла, как клеймо. К странному прозвищу он привык и отзывался на него с таким же безразличием, как и на действительное свое имя.

Ко времени окончания семилетки характер юного Кобцева сформировался довольно прочно: это был замкнутый, звероватый мальчонка, запуганный бесцеремонным втор-

жением в его мир случайных людей, лишенных его доверия.

По-настоящему близких людей Карандух не имел ни в своем переулке, ни вообще в поселке.

Откровением для Бориса была крохотная отцовская мастерская. Дмитрий Авдеевич несколько лет по ключику и гаечке сносил домой добытые у товарищей по профессии инструменты. Он отгородил для мастерской небольшую каморку рядом с кладовой. Здесь имелось все — от набора метчиков до миниатюрного токарного станка. На досуге опытный мастеровой проводил здесь почти все свободное время — изготовляя то, что впоследствии ложилось в основу рационализаторских предложений. Он умел многое — этот щуплый с виду, ухватистый мужчина.

Мальчик стал хозяином этого сокровища с тех пор, как только смог детскими ручонками открыть дверь в каморку. На него чарующе действовал вороненый блеск смазанных инструментов. Он подолгу рассматривал строгие геометрические формы деталей. И когда подрос, ему с трудом верилось, что все это сделано руками человека. Отец вырастал в его глазах до сказочного чародея.

Однажды Василиса, заглянув через приоткрытую дверь в каморку, увидела мальчика в слезах: он неуклюже приставлял одну к другой две половины перебитого плоского напильника. Сын, видно, пытался что-то смастерить.

Это случилось в трудное время. Зарплаты уборщицы еле хватало на хлеб и картошку. Она как-то даже позабыла про инструмент. Борьку бить не стала. «Снесу часть инструмента на рынок,— решила она,— все равно Борька порешит его...»

Рано утром, когда мальчик еще спал, Кобцева вошла в каморку и принялась укладывать в кошелку метчики, молотки, круглые напильники, разобрала ножовку...

Борька сквозь сон уловил уже знакомый ему звон от соприкосновения металлических предметов и через несколько мгновений стоял перед оторопевшей матерью:

— Не тронь! — зло заявил он и грубовато рванул из ее рук кошелку с инструментами. — Это папино... такое не торгуют...

— Ох, горе ты мое луковое! Сладу с тобой нет! — только и могла сказать Василиса Кузьминична. — Ведь поколешь да и в мусор покидаешь.

В сердце матери все же появилась надежда: может,

мальчик полюбит отцовское ремесло и это в какой-то мере смирит его озорной нрав.

Борька тогда промолчал. Он не любил объяснять своих поступков, никому ничего не обещал. Однако мать видела, что инструмент он складывает обратно в ящик бережно и от волнения у него дрожат руки.

После этого случая мальчик все чаще постукивал молотками и шаркал напильниками в мастерской. Глаза его сияли, если удавалось что-либо сработать.

ГЛАВА 8

В коридорах училища тихо. Занятия здесь кончаются в двенадцать, иногда в час. Тоня прошлась до учительской комнаты, но зайти не решилась. Она остановилась у свежего номера стенной газеты «Металлист» и прочитала переписанную чьей-то рукой свою заметку «Можно ли так поступать комсомольцу?» В заметке шла речь о Саше Нестеренко, который не выполнил указания мастера производственного обучения Андрея Павловича и ушел на футбольный матч, не убрав рабочего места.

Статью Тоня писала по горячим следам, прямо в мастерской. Время от времени она тогда подходила к окну и восхищалась, как Нестеренко самозабвенно кидается за мячом в воротах училищной команды. Но заметку все же закончила злыми словами: «Нельзя быть хорошим спортсменом, если недисциплинирован в труде».

Сейчас она с улыбкой прочла эти слова, подумав о себе:

«А за молочком-то ты его послала, хоть и нарушителем считаешь!»

Дверь учительской скрипнула. Оттуда высунулась голова завуча, Виталия Иннокентьевича Савостина. Он поманил Тоню глазами.

Одетый по военной привычке в гимнастерку защитного цвета с двумя рядами орденских планок, Виталий Иннокентьевич внушал Тоне чувство скрытой силы, несмотря на то что девушка привыкла видеть его лишь за составлением расписаний или в беседах с двоечниками, изредка — выступающим на собраниях.

Ученица подмечала в Виталие Иннокентьевиче непонятную ей привычку штабного работника не торопиться с окончательным выводом, охватывать мысль с разных сто-

рон. Подражая взрослым, Тоня заимствовала у них отдельные элементы речи. Привычке говорить «с одной стороны... и с другой стороны» она была обязана именно завучу.

Сев по приглашению Савостина на стул, девушка заметила, что Виталий Иннокентьевич сегодня выглядит усталым, даже как будто огорченным. Сильнее обычного сутулились его плечи, и оттого гимнастерка у ключиц морщилась. В раздумье завуч отводил взгляд куда-то за окно. Глаза — необычного для мужчин зеленоватого цвета. Стараясь как можно спокойнее глядеть в лицо Савостину, Тоня вдруг пришла к выводу, что у мужчин, когда они утомлены, на лице четче выступает щетина...

— Вы о Кобцеве ничего не слыхали? — спросил завуч с хрипотцой.

— Как же, слыхала: его ведь отчислили из нашей группы,— ответила девушка, обождав, пока Савостин откашляется.

— Нет, попозже? — уже тверже уточнил он.

Тоня раздумывала: стоит ли говорить ему о сегодняшнем случае на реке? Голос как-то сам выдал ее тайну.

— Здесь он. По льду бегал только что...

Тоня думала, что упоминание о замерзшей реке всколыхнет Савостина, но он скептически проговорил о своем:

— Уже здесь? Гм... А утром звонили из В-ска, там его задержала оперативная группа.

Виталий Иннокентьевич коротко взглянул на Тонину розовую шерстяную шапочку с белым хохолком, надетую по случаю наступления холодов, и продолжал, изредка покашливая в кулак.

— С понедельника ваша группа идет на практику в депо. А что с Кобцевым делать — не знаю. Отчислить не удалось. Не утвердили нашего решения... Когда позвонили из дорожной милиции, я, грешным делом, подумал: не за характеристикой ли для прокуратуры... Потребуются свежие факты. Вот почему пришлось за вами послать.

Тоня молчала, поджав губы.

— Как-то нужно освободиться от Кобцева. — Наклонившись через стол, еще тише завуч заговорил скороговоркой: — Подведет он вашу группу, ведь на практику идете, не к кому-нибудь, а к мастеру Зубу!

— К Касьяну Ивановичу? — воскликнула изумленная Тоня. — Ох! Что же вы сразу не сказали? Так ребята обрадуются!..

— Вам, может, и радость, а как Зуб на это посмотрит? Скажет: «Хулиганье мне подсунули!» Ведь у вас небось и кроме Кобцева шалунов хватает. А? Вы же групкомсорг там. Должны знать.

— Ну что вы, Виталий Иннокентьевич! — с упреком возразила Тоня. — Сейчас мы все такие дружные, такие дружные... что просто сами выгоним нарушителей. Ведь это мы написали коллективное заявление, чтобы педсовет отчислил Кобцева... Я даже не сказала ребятам, что вы просили... то есть подсказали.

Но завуч уже не слушал ее. Он встал из-за стола и прошелся по комнате. Потом остановился у окна и толкнул форточку. Проследив за этим движением завуча, Тоня повела разговор дальше.

— С одной стороны, Кобцев очень неглупый мальчишка. Даже отважный, — вспомнила она его сегодняшнюю выходку на льду. — Но он в чем-то не похож на других. По-плохому не похож... Без него лучше. Особенно девчонок он лупит — без разбору.

По тому, как при последнем слове ученицы белесые брови завуча взмыли вверх, она поняла: сказала не то слово. Но Виталий Иннокентьевич не перебивал ее, и это ободряло.

— А если взять с другой стороны, — продолжала Тоня, — то он сын погибшего воина, сирота... Но что же делать? — заключила она услышанными когда-то от Савостина словами: — Мы не приют, а кузница кадров.

Тоня замолчала, вопросительно уставившись в худое, ощетинившееся лицо завуча. В это время зазвонил телефон, и Савостин кинулся к трубке. Выслушав, сказал: «Да-да, слушаю...» — и положил трубку на рычаг.

— Так говорите «без разбору»? — переспросил он рассеянно. — Я полностью с вами согласен. А вы смогли бы заявление от всей группы снова подать, если Кобцев — на что нужно надеяться — проявит себя и в депо?

Тоня потупилась, покраснела.

— Смогли бы, наверное, — машинально повторила она, чувствуя, что говорит не то.

— Вот так и сделайте. И вам и нам легче будет...

Раздосадованная сама на себя за неумение разговаривать со взрослыми, недоумевая, почему администрация училища оказалась не в силах отчислить Кобцева, Тоня побрела домой...

ГЛАВА 4

Борис еще издали увидел замок на двери дома и нырнул между досок щербатого забора во двор. Он знал, где мать обычно оставляет ключ, но всегда в таких случаях предпочитал входить в дом своим путем. Он отогнул жестяной косячок в маленьком окошке отцовской мастерской. Стекло, тоненько задребезжав, упало ему на руки. Затем он засунул руку в дыру, достал с полки отвертку и вывернул два шурупа — ими крепилась металлическая решетка к луткам рамы. Извиваясь всем телом, он протиснулся через окошко. Вскоре он уже шарил по кастрюлям.

— Ждала мамка! — усмехнулся он, найдя в духовке чугунок с гречневой кашей, кусок поджаренной колбасы. На столе стояла банка с молоком, прикрытая куском газеты. Довольный, он вытер полотенцем руки. Но есть ему помешали. Когда Борис уселся к окну и отхлебнул молока, у самого уха с противным дребезжанием зазвучал рожок, потом раздался смех, и в окне показалась щербатая улыбка мальчика в скомканной бескозырке.

— Хо! Гешка! Каким ветром? — удивился Борис.

— Хороший хозяин сперва накормит гостя, а потом пристает с вопросами,— серьезно заметил гость. Потом добавил, покосившись через плечо на дорогу:— Я не один.

Борис вышел в сени, нащупал на подоконнике глухого окна ключ и протянул его через выбитое стекло своим нежданным посетителям. Ключ схватила чья-то большая, явно не Гешкина рука. Через полминуты оба пришельца ввалились в дом.

Гешка, шмыгнув носом, быстро присел к столу, где в беспорядке была расставлена юным хозяином неприхотливая снедь. Пришедший с Гешкой Юлиан Ржава, брезгливо оттопырив губу, обозревал жилье Кобцевых с порога.

— И в этих апартаментах обитает будущий Роальд Амундсен, преодолевающий ледяные торосы на пути к Южному полюсу!.. — Фраза была сказана с явным намерением посочувствовать хозяину дома, но Борис не понял витиеватых слов Ржавы. Больше того, он уловил в них злую подковырку.

— Не нравится — не заходи,— буркнул Борис в ответ, косясь на зеленую широкополую шляпу гостя, верх которой представлял причудливый лабиринт складок.

— Я зашел к тебе, мушкетер, чтобы пожать твою руку. Ты сегодня совершил подвиг...

И снова Борис не понял Ржавы. В короткое мгновение, пока Стиляга, театрально расшаркавшись перед Борисом, тискал его шершавую руку, в сознании подростка промелькнуло воспоминание.

Это было два года назад. У железнодорожного клуба Ржаву, перепродававшего входные билеты, задержал комсомольский патруль. Удирая от патрульных, он ловко сунул Борису пачку билетов. Перед глазами мальчика мелькнуло перекошенное от испуга лицо Юлиана и рукоятка ножа, зажатого в руке.

Борис тогда не выдал Ржаву, хотя и не испытывал чувства страха перед ним. Юного Кобцева оскорбило другое: вернувшись из отделения милиции, Ржава получил свои билеты, но вместо благодарности сунул Борису кулаком под подбородок: «Помалкивай, шкет!»

— А ты все еще билетами промышляешь? — запросто спросил Борис, опуская глаза. Ржава обиженно фыркнул. За него отозвался Гешка:

— Ох, и скажешь, Борька! Юлиан Максимович теперь весь клуб купит, если захочет. Он в Индонезию путешествовал. Там в пáгоду босиком ходил!

— В тюрягу он босиком ходил! — не удержался Борис. — Мне в училище Сашка Нестеренко под честное слово сказывал. А у Сашки брат в милиции.

— Трепло твой Нестеренко — решительно возразил Ржава. Глаза его растерянно забегали по сторонам. Через минуту он успокоился, даже присел на скамейку, насвистывая какую-то свою, вероятно, заморскую песенку. Потом вдруг крякнул, вскочил со скамейки и подался на выход. Уже с порога он напомнил Гешке:

— Я с тобой по-честному хотел поговорить... Насчет Демкина. Но, видно, в другой раз...

Борис не остановил его, хотя напоминание о Демкине немного заинтересовало. «Что Демкин, что Ржава!» — подумал Борис.

— Ну, теперь выкладывай все начистоту,— потребовал хозяин, принимая медный рожок из рук приятеля и рассматривая его.

На отполированной поверхности рожка были чуть заметны стертые временем вензеля «М. Г.»

— Давай-ка что-нибудь поесть, а потом я тебе все расскажу,— ответил гость, смело пододвигая к себе банку с молоком. Он принялся рассказывать, сильно жестикулируя и отхлебывая молоко.

— Ух, как было! Я к будке, а он наперерез... «Ай-ай!» — кричит и усищами водит...

— Ни черта у тебя никогда не разберешь,— морщась, перебил Борька. — «Ай-ай, ой-ой...» Лучше прямо сказал бы, что спер у стрелочника рожок. Смотри: «М. Г.» — это же рожок отца нашей Тоньки Гуторковой. А с ней лучше не заводиться — девка политическая.

— Ну, Карандух, ну сколько лет просить тебя: сделай морскую бляху... из рожка... —захныкал Гешка, видя, что Борис без восторга отнесся к его вылазке в будку стрелочника.

— Не стану делать, не проси, Моряк. Рожок заберу и переводить не буду его. Хочешь получить пряжку — отнеси рожок... Даже могу подсказать, как можно передать рожок и не получить подзатыльника. У Гуторковых кот через трубу лазит. Давай поймаем и привяжем ему рожок к хвосту. Я Тоньке однажды таким манером записку передавал...

— А я знаю, почему ты так советуешь,— вдруг заговорил Моряк,— потому что Тонька — твоя невеста... — И он засмеялся.

— Дурак ты,— вздохнул Борис. — Дельному слову не веришь. А этому глисту в заморских штанах поверил — про Индонезию... Рассказывай, что они с Демкиным затеяли?

И ребята, понизив голос, зашептались о своих делах, время от времени нарушая тишину взрывами безудержного хохота.

* * *

Несмотря на сегодняшнее гостеприимство, Гешка не пользовался доверием в доме Кобцевых. История этого мальчика любопытна. Родители его пропали в войну без вести. Пристанище он нашел у кряжской старушки Никаноровны, дальней родственницы по отцу. Впрочем, с тех пор, как мальчик окончил четыре класса, услугами бабушки он пользовался все реже.

В Гешке жила птичья страсть к перемене мест. На все лето он подавался к морю, околачиваясь в портовых городах. Заводил знакомства с боцманами торговых судов, промышлял случайным заработком, не гнушался попрошайничества и мелкой кражи. Когда становилось невмоготу ночевать под рыбачьими баркасами, Гешка перебирался в родные края. Ему без труда удавалось разжало-

бить проводниц пассажирских поездов версией о том, что, мол, отыскались родители и теперь он возвращается к ним. Тех, кого не брала за душу эта волнующая выдумка, Гешка обезоруживал другим способом. На глазах у несговорчивых людей он вытаскивал из-за пояса захватанный руками серый блокнот, огрызком карандаша делал набросок человеческого лица, либо распахнутого тамбура вагона, продавца в киоске... Дивясь убедительному сходству рисунка с натурой, люди становились добрее к маленькому путешественнику, а в блокноте художника прибавлялись эпизоды его скитальческой жизни.

Мальчик охотно разрешал полистать свой блокнот, дарил отдельные наброски любому, кто приласкал его в трудную годину.

Невесть каким ветром занесенная в его душу «божья искра» могла и разгореться ярким костром, и бесследно погаснуть вместе с хрупким телом где-нибудь под баркасом, на перепутьях суровых, как осенний норд-ост, послевоенных лет. Даже несведущему человеку, взявшему в руки Гешкин блокнот, становилось понятным, что здесь налицо талант. На листах блокнота проступали то изображенный с птичьего полета (а вернее — с крыши вагона) состав, входящий в тоннель, то вздымающаяся на волнах легкая лодочка с перепуганными и восхищенными мальчишками, то гигантские краны на судоверфи, то голые женщины на пляже... Чаще иных там мелькали должностные лица транспортной и портовой милиции.

Куда сложнее Гешке удавалось передать свои впечатления на словах. Не прочитавший за всю жизнь ни одной книжки, мальчик в муках рождал слова: тряс головой, резко разводил руками, охал, мучимый неодолимой жаждой передать свои впечатления.

— А море — у-ух! Широкое — во!.. Волны — туда-сюда...

Бегающие от восторга серые глаза его при этом искрились. В них колыхалась солнечная зыбь водного простора. Как это еще нередко случается, люди восторгались художественным даром ребенка, но вскоре отходили прочь, к своим, более обыденным делам. В детских же домах мальчик не уживался: ему там было скучно...

За пристрастие к морской одежде кряжские ровесники прозвали Гешку Моряком. Вороватый живописец с достоинством носил это имя так же, как и подаренную ему каким-то большеголовым матросом старую бескозырку.

Зимой Моряк выходил с рваным мешком под мышкой к крутой насыпи, где поезда теряли скорость. Дождавшись угольного состава, он взбирался на платформу и сталкивал под откос тяжелые куски антрацита. В большинстве случаев это Гешке сходило с рук, потому что мальчик был предусмотрительный, проворный.

Сердобольная Никоноровна жарко топила печку ворованным углем и, разомлев от тепла, сказывала Гешке страшные небылицы про ведьм и леших. Она штопала мальчику тельняшку, прикладывала к его ссадинам и синякам целебные снадобья собственного приготовления, которым Гешка доверял больше, чем лекарствам из аптеки...

Карандух в художественном скарбе Гешки разыскал вещь, которая сладко хлестнула его по сердцу. Это был рисунок ставшего на дыбы и лоснящегося в солнечном свете коня. Борис чуть не прослезился от горячей нежности к нему, когда Моряк выхватил из блокнота лист с коньком и протянул его «на память». Обласканный с такой нежданной щедростью, Кобцев повел художника к себе в мастерскую. Там мальчики пытались вылепить коня из глины...

И позднее Моряк наведывался в Красный переулок. Гость с холодным блеском в глазах осматривал железные вещички, издавая односложные звуки, крутил в руках изделия самого Бориса. После одного такого визита сын слесаря не доискался в отцовских ящиках уникальной дрели с рукояткой, набранной из граненых цветных кусочков плексигласа. Восторг Бориса перед художественным даром скитальца убавился.

Этот печальный случай пошел на пользу подростку: в душе юного Кобцева вспыхнула неприязнь к воровству. Немного спустя, когда оба мальчика по ходатайству уличкома стали посещать Дом пионеров и сообща напроказили там, Гешка окончательно пал в глазах Бориса: в затруднительный момент он струсил и свалил всю вину на товарища.

Выставили из Дома пионеров, впрочем, обоих. Но и совместная беда не сделала их друзьями.

ГЛАВА 5

— Вот он, Захар Алексеевич! Вот оно — мое несчастье!.. — с этими словами Василиса Кузьминична, больно подталкивая Бориса в спину, подвела его к широкому столу в глубине комнаты.

За столом в приемной депутата поселкового Совета Глущенко сидели двое: бритоголовый, с пышными казацкими усами, как-то по-домашнему выглядевший в украинской сорочке, хозяин кабинета и, застигнутый внезапным вторжением Кобцевых, Демкин. Обоих Борис знал. Первого — по восторженным отзывам матери, которая, подобно многим поселковым женщинам, нередко наведывалась к Захару Алексеевичу со своими докучливыми делами; второй, Демкин, некогда руководивший кружком «Умелые руки» в Доме пионеров... Демкин нарядный, в новой фуфайке с воротником и в блестящих сапогах на высоком каблуке. Вторжение Кобцевых они восприняли по-разному. Глущенко спокойно, с любопытством. Демкин откинулся в кресле назад, словно испугавшись чего-то...

В двух шагах от стола Борис резко дернулся плечом, освобождаясь от цепкой материнской руки, как бы давая знать, что он не потерпит насилия над собой даже в таком безвыходном положении.

«И зачем она притащила меня сюда?— тревожно думал Борис. — Вчера ни словом не попрекнула, такая ласковая была. И эта морда здесь — Демкин. Сейчас подпевать начнет...»

Мать поклонилась и Глущенко, и принаряженному Демкину: не прогневить бы, ведь о самой большой беде своей поговорить пришла. Потом попятилась к двери и притихла там, отказавшись от настойчивого приглашения занять свободное кресло.

«Боится, что я убегу»,— объяснил себе сын.

Сделав Демкину рукой знак подождать, Захар Алексеевич поднялся из-за стола и спокойно пошел к Борису. Чем-то домашним, не начальственным, повеяло от его чуть хитроватой улыбки, когда он молча посмотрел в упор на подростка. Поглядел и заговорщицки мигнул ему левым глазом, словно намекнул на что-то известное только им двоим...

Борис едва заметно шевельнул уголками губ и низко опустил голову. В душе его вдруг потеплело, засветилось что-то под дружеским взглядом взрослого человека.

А Захар Алексеевич, обняв Бориса за плечи, уже рокотал над ним веселым басом:

— Парень как парень! Ни рогов, ни хвоста у него нет! Послушать людей — не Борька растет в рабочей семье, а сам нечистый...

Он вдруг подхватил Бориса под мышки, ловким движением крутнул его, словно юлу, на месте и, на какое-то мгновение прижав голову подростка к своей груди, убежденно заявил:

— Отличный парень растет у тебя, Василиса. Посмотри на его руки. Да это готовый тебе рабочий человек! Нет, братцы, такие руки мы никому не отдадим. А заблуждается парень — подправим... По-своему, по-пролетарски подправим...

Как он собирался «подправлять» его, Борис не знал, но цепкую силу рук депутата почувствовал.

Мать, в чем-то несогласная со словами депутата о сыне и внутренне обрадованная тем, что Глущенко не стал стыдить Бориса при постороннем человеке, молча мотнула головой и по-бабьи шумно вздохнула. А Демкин, прикрыв ладонью свои бумаги, проговорил нараспев, вполголоса:

— Я не стал бы расхваливать его, товарищ депутат, ох, не стал бы...

— Это уж вы как знаете, а мне он нравится, и весь тут разговор,— недовольно ответил Глущенко Демкину. Матери же сказал без улыбки: — А что, Кузьминична, если я заберу у тебя этого хлопца, а? Человек я бездетный, шаловливых ребят не боюсь. Мы с ним такую дружбу заварим, что водой не разольешь.

Трудно было понять этого человека: говорит он всерьез или шутит. Но Борис чувствовал теплоту в его словах. Вот депутат снова, мельком встретившись с его глазами, подмигнул Борису и тут же перевел свой испытующе серьезный взгляд на мать.

Василиса Кузьминична всплеснула руками и засмеялась чистым звонким голосом.

Лишь Демкин, соглядатайски относившийся к происходящему в кабинете, реагировал на все банальными фразами:

— Иди, Борька! Соглашайся, пока не поздно! Сам депутат тебе за отца будет! Ну!

Борис тревожно раздумывал еще несколько мгновений, пока усатое лицо депутата не приблизилось к нему вновь. Не отдавая себе отчета, подчиняясь какому-то душевному порыву, Борис резко сорвался с места и кинулся в дверь. Не отойди Василиса Кузьминична вовремя в сторону, он, кажется, сбил бы ее с ног.

— Вот шалый! — только и смогла выкрикнуть мать ему вдогонку.

— Ничего, Кузьминична,— успокоил ее Захар Алексеевич. — Хорошо, что ты показала мне его. На первый взгляд Борис не такой уж и плохой паренек. Мы с ним еще продолжим этот разговор. Это уж я сам...

Кобцева ушла домой ободренная.

«Даже усыновить хотел,— с радостью думала она о депутате дорогой. — Может, не выгонят Борьку из училища, если у него такой защитник нашелся».

* * *

Дни проходили в хлопотах и сборах. Преподаватели теоретических дисциплин как-то подобрели к ребятам выпускной слесарной группы, относились к ним подчеркнуто вежливо, будто к именинникам.

Учительница математики Нонна Федоровна явилась в класс не в форменке, как обычно, а в нарядном крепдешиновом платье, словно собиралась на бал. В руках у нее был только классный журнал и неизвестно для чего заложенная в нем еще в учительской авторучка. Авторучка несколько пугала ребят: ведь опросы закончились еще на предыдущем уроке, а нынче преподаватели лишь объявляли оценки.

— Ну, уселись хорошо? — спросила учительница, улыбаясь. — Держитесь крепче, сейчас кое-кому достанется.

В классе засмеялись. Угроза учительницы прозвучала для ребят не страшно. Все знали, что Нонна Федоровна не скупа на оценки.

Однако чем больше фамилий называла учительница, тем тише становилось в классе. Ребята переглядывались. И вот в наступившей паузе из-за двери отчетливо прозвучал мальчишеский голос:

— Можно войти?

Зашел Кобцев. Он сразу же опустился на ближайшую к двери свободную парту, провел рукой по взъерошенному на макушке хохолку. Увидев Бориса после недельной отлучки, кто-то из ребят на задней парте хихикнул. И сразу же в классе на Кобцева зашикали, в него полетел бумажный комочек.

Нонна Федоровна почувствовала, что нервное напряжение, охватившее класс во время чтения оценок, сейчас обрушится на Бориса.

— Ребята, все запомнили свои отметки? Теперь я хочу спросить: кто из вас недоволен оценкой и хочет исправить ее на лучшую?

Класс молчал. Таких вопросов никогда раньше не задавали. Поставили в журнал — и все. А пожалуешься — еще «двойку» получишь...

— Ну, чего же вы молчите? — хмурясь, требовала Нонна Федоровна. — Или смелые люди среди вас перевелись? А я нарочно занизила некоторым из вас по одному баллу. Думала, столько шума наделаете, станете справедливости добиваться... Ведь в большую жизнь идете, а там не все гладко... Ну?

— Я недоволен своей отметкой,— вдруг приподнялся с места Борис.

Прежде чем Нонна Федоровна успела что-либо сказать, проворные руки Саши Нестеренко, сидевшего сзади, резко опустились на плечи Бориса и придавили его к скамье. Саша был убежден, что запоздавший его одноклассник затевает каверзу. Учительница строго посмотрела на Нестеренко и постучала по столу.

— Иди, Кобцев, к доске.

Борис, не обращая внимания на возмущенный шепоток вокруг, подошел к доске и снял с гвоздика чертежный циркуль.

— Нонна Федоровна, я хочу сейчас до конца решить ту задачу по геометрии, которую не успел сделать на контрольной. Вы же, наверное, мне «двойку» поставили?

— Я тебе оценки своей не объявляла. Но если ты хочешь продолжить решение задачи, пожалуйста...— И учительница снова постучала по столу, требуя тишины.

Нонна Федоровна, полуобернувшись к доске, несколько минут следила за цифрами и формулами, которые довольно обильно стали появляться под рукой Бориса. Затем она села и, глядя куда-то мимо, тихо спросила:

— Боря, а ты дома был?.. Как мама?

— Мама?.. — переспросил удивленно паренек, поражаясь такому вопросу у доски. Он даже писать перестал.

— Ничего... — наконец выдавил он и добавил: — Мы сегодня с мамой ходили к Захару Алексеевичу...

Нонна Федоровна не ответила. Она взглянула через плечо на Борисовы каракули, прошлась у доски.

— Довольно, Кобцев. Ставлю тебе «четыре». Только ты в другой раз не спеши сдавать неоконченную контрольную работу. Их у тебя впереди много... Ну, кто еще недоволен своей оценкой?

Вышел Леня Жихарев. Ему тоже была на один балл

повышена оценка. Таким образом Леня исправил единственную «тройку», которая портила бы выпускное свидетельство... Охотников исправить оценку находилось все больше. Это развеселило ребят.

Тоня тоже поднимала руку, чтобы ее вызвали к доске, но как-то робко, нерешительно, боясь, как бы вместо желаемой «пятерки» не получить «тройку».

ГЛАВА 6

К концу недели из всех, кто имел какое-либо отношение к практике ребят, спокойным оставался лишь главный распорядитель их будущей судьбы — Касьян Иванович Зуб.

Худой, чуть согбенный, с выбритыми до синевы щеками, издали он больше походил на спортсмена, чем на шестидесятилетнего старика. Вблизи же на его лице можно было разглядеть глубокие неровные складки, отчего весь он казался по-старчески хмурым.

Касьян Иванович прихворнул в последние дни. Ему нездоровилось после возвращения из-за границы, куда он ездил в составе профсоюзной делегации железнодорожников.

Для ребят поселка Зуб являлся человеком почти легендарным. Хоть жил он в Кряже безвыездно свыше сорока лет, его знали повсюду, где пролегли стальные магистрали.

Еще в молодые годы, будучи подручным слесаря арматурной бригады, он предложил свой способ крепления в стенке паровозной топки дымогарных труб. Эти трубы не давали течи.

Говорят, что применявшийся долго во многих депо метод комплексной промывки локомотивов разработан кряжским мастером Касьяном Ивановичем Зубом, за что он получил именной подарок от самого министра.

Касьян Иванович свято любил родное дело и не терпел людей, которые глядят на свой труд как на вынужденное занятие. Старые его товарищи по промывочному цеху помнят такой эпизод, который очень хотел бы забыть нынешний главный инженер депо Труваленко.

Это было в самом начале войны. На железнодорожный узел налетело шесть вражеских бомбардировщиков.

Легкая бомба, разорвавшаяся в металлических опорах

под крышей цеха, насмерть сразила осколком электросварщика Демьяна Скокова и тяжело ранила молодого слесаря Ромку Слепина, который шабрил поверхность буксы.

Но вот самолеты ушли дальше. Рабочие кинулись кто к раненым, кто снова к станкам.

— Что же теперь делать? — растерянно спросил у Зуба только что прибывший из института молодой инженер Труваленко. — Мы не сможем вовремя подать под воинский состав локомотив!..

— Сможем! — осадил его Зуб и тут же распорядился: — Становись-ка, инженер, к сварочному аппарату, зашивай пробоину бронеплощадки, а я буксу пришабрю.

— Не сварю!— испуганно пролепетал Труваленко.— Я инженер-конструктор. Это не мой профиль...

— В таком случае, становись к буксе, я стану варить! — рявкнул мастер, свирепея.

Выяснилось, что с буксой инженеру не совладать. Возмущенный Зуб, не считаясь с субординацией, прогнал инженера с глаз долой, а впоследствии, через профком, добился того, чтобы инженер научился выполнять любую операцию рядовых рабочих. В депо это вошло в привычку для инженерно-технических работников...

Иной год администрация депо, уступая настойчивым просьбам железнодорожного училища, предлагала Зубу руководить производственной практикой выпускников училища. Касьян Иванович относился к такому делу без показного желания, однако и отказывался редко. Временный уход мастера из бригады на подготовку трудовой смены вовсе не означал, что он сужает рамки своей деятельности. Издавна Зуба в шутку прозвали комендантом мастерских, и это неофициальное назначение он оправдывал с честью.

Касьян Иванович мог внезапно появиться в промывочном, электромеханическом или инструментальном цехе, зайти в кузнечно-прессовый и учинить жесточайший разнос нерадивому работнику, неряхе или рвачу. Человеку нечестному трудно было укрыться от проницательных глаз старого мастера, всякая попытка обмануть его получала суровое разоблачение.

По наблюдениям старых производственников, слесари зубовской закалки значительно быстрее преуспевали в работе и впоследствии очень редко меняли свою специальность на другую. Большинство кадровых рабочих с почте-

нием относились к своенравному старику, и каждый из них гордился дружбой с Зубом, будь она долголетней или совсем кратковременной.

ГЛАВА 7

В субботу в читальном зале общежития ребята собрались на танцы. Такие вечера бывали нечасто. У Тони для них имелось даже специальное название: «Вечера Нонны Федоровны...»

Под звуки радиолы сладко мечталось групкомсоргу, припоминались эпизоды короткой, но памятной для нее дружбы с молодой учительницей математики — Нонной Федоровной.

Первый год учебы... Тоня даже не помнит точно, с чего все началось, почему именно к этой женщине потянулась колеблющаяся во всем Тонина душа? Ну, конечно же, все вышло из-за мальчишек.

Они сначала были совсем хорошими. Понаехали с сундучками и котомками из детдомов, из ближних и дальних деревень — ремеслу учиться. Для них на воскресниках был восстановлен разрушенный бомбой двухэтажный дом. На одном из таких воскресников Тоня встречала даже депутата поселкового Совета — Глущенко. Он и после заходил в общежитие.

По просьбе Тони учащимся из группы слесарей отвели отдельную комнату. Но всякий раз, когда собиралась их навестить, девушкой овладевала тревога: мальчики быстро обжились и после занятий вели себя развязно.

Больше других внушал к себе доверие Леня Жихарев — староста комнаты. Тоне нравилось, как он проворно собирал однокашников, строго прикрикивая на них:

— Эй, живо домой! К нам с лекцией пришли.

В эти минуты его стриженая голова и веселые карие глаза с длинными, как у девушки, ресницами казались красивыми. Но случалось так, что почти все Тонины «лекции» срывались, и не без участия симпатичного старосты.

Однажды Тоня, довольная наступившим в комнате затишьем, начала выразительно читать передовую статью из газеты. Гриша Азаров, сидевший до того без малейшего движения, вдруг громко ойкнул, схватился на ноги и влепил Жихареву звонкую пощечину. Четверо остальных

слушателей, словно по команде, загоготали... Леня же потер ладонью зардевшуюся от удара щеку и с выдержкой, достойной своего положения, пояснил:

— Это я его шпилькой уколол, чтоб не дремал...

Видя по глазам раздосадованной девушки, что такое объяснение не утешило ее, Жихарев добавил:

— Да, Тонька, много тебе еще с такими несознательными людьми поработать придется.

В другой раз сами ребята предложили культпоход в кино. И здесь не обошлось без «чрезвычайного происшествия»: в фойе нового клуба, прямо на паркетном полу, Тонины подопечные затеяли «малу кучу» с поселковыми старшеклассниками. Девушка чувствовала себя не лучше наседки, пришедшей с выводком утят на берег пруда...

«Вот тебе и культпоход! — с отчаянием думала она, удаляясь от клуба с билетом в кармане. — Как же они теперь посмеют мне в глаза глядеть?»

Дома Тоне приходили в голову веские и, казалось, неотразимые доводы, которыми она завтра обескуражит своих подопечных. На другой день ребята действительно с виноватыми лицами слушали ее упреки. Только Гриша Азаров — молчун и философ — вместо ожидаемого раскаяния сказал со вздохом:

— Правильная ты какая-то, Гуторкова...

— Чего же в этом плохого? — не сбиваясь с наставительного тона, допытывалась девушка. — По-моему, все должны быть правильными, стремиться к этому нужно.

Молчун покачал головой:

— Тогда будет просто скучно...

Попробуй пойми этих мальчишек!

Тоня несколько недель не появлялась в общежитии.

Кажется, к этой поре относится приезд в училище новой математички — Нонны Федоровны.

С толстой русой косой, уложенной вокруг головы веночком, круглолицая, с одной смешливой ямочкой на правой щеке, Нонна Федоровна больше походила на ученицу, чем на преподавателя. Она как-то сразу полюбила форменную одежду, и в синем шерстяном платье ее трудно было отличить от повзрослевших девочек.

Всем очень понравилось, что во время перерыва математичка не спешила в канцелярию, а выбегала вместе с ребятами на волейбольную площадку, азартно перебрасывала через сетку мяч, хохотала над озорными выходками мальчишек. Она даже по-ученически опасливо коси-

лась на занавешенное окно кабинета Виталия Иннокентьевича.

Тоня была влюблена в новую учительницу, но робкая натура не позволяла девушке высказать свои затаенные чувства.

Их сближение произошло само собой, благодаря счастливой случайности. Как-то на перемене новая учительница заглянула в класс и с порога удивленно воскликнула:

— А ты чего, Гуторкова, корпишь над тетрадкой? Урока не выучила? Поставлю «двойку», не посмотрю на твое руководящее положение...

— Нет, что вы! — растерялась ученица. — Я ваши уроки готовлю раньше других. Это... это... — Тоня оглянулась, прижимая раскрытую тетрадку к груди,— я к беседе готовлюсь, в общежитии.

— А меня с собой возьмешь? — просто, выжидающе спросила Нонна Федоровна и подошла к Тоне. — Я так хочу побывать в общежитии.

— Балованные там ребята, не то что на ваших уроках,— словно отговаривая учительницу, промолвила Тоня.

— Не беда, если шалят, лишь бы не хулиганили!..

Тоня растерянно посмотрела ей в лицо — не шутит ли: такого отношения к балованным со стороны педагогов она еще не встречала.

...Поднимаясь вечером на второй этаж общежития, Нонна Федоровна обратила внимание на вывеску на дверях комнаты-читальни:

«Тише. Здесь готовят уроки».

— Ого! — удивилась учительница. — У вас как в публичной библиотеке. Даже по субботним вечерам занимаются.

— Да,— подтвердила Тоня. — Комендант у них строгий — лейтенант запаса.

— А вот мы сейчас испортим настроение этому боевому усмирителю,— встряхнула головой Нонна Федоровна. В темных глазах ее сверкнул озорной огонек. Она решительно шагнула к двери со строгой вывеской и распахнула ее. Тоня шла по пятам.

Став на пороге, учительница и ученица засмеялись: большая комната, заставленная столами, была почти совсем безлюдной. В самом дальнем углу, под портретом Горького, сидел один Федя Переверзев, шахматный чемпион училища. И сейчас Федя с упоением отдавался лю-

бимому делу: расставив фигуры на доске, решал какую-то шахматную задачу.

— А где же твой противник? — негромко спросила Нонна Федоровна, приближаясь к Феде.

— Мой противник в Москве,— недовольно отозвался Переверзев, посмотрев в сторону вошедших только одним глазом. — Эта партия отложена в проигрышном состоянии для Ботвинника.

Неправильно поняв объяснение, Нонна Федоровна и Тоня расхохотались. Потом учительница сказала чемпиону:

— А ты мог бы продолжить игру с Ботвинником у себя в комнате? А?

— Там Никонов ребят музыкой изводит!.. Слышите?..

Действительно, из комнаты в конце коридора доносилась приглушенная мелодия гармоники.

Переверзев все же принялся складывать шахматные фигуры в коробку. Нонна Федоровна помогла Феде, потом вместе с ним пошла на звук гармоники, сделав многозначительный жест Тоне.

«Как у нее все ловко, красиво получается»,— подумала Тоня с чувством хорошей зависти.

События в этот вечер развивались совсем необычно.

Сияющий Никонов вышел в коридор и по команде Нонны Федоровны рявкнул на гармонике призывную мелодию.

Когда из комнат выскочили ребята, учительница вместе с ними начала выносить из читальни столы и стулья. Все это — с шутками и смехом — стаскивали в глубину коридора. В зале оставили только один стул.

Торжествующий Никонов уселся на этот стул и, поглядывая на Нонну Федоровну, ждал ее новых распоряжений. Учительница вышла в круг и объявила громко:

— Ну-ка, мальчики, выбирайте себе девушек, танцевать будем...

Она прошлась вдоль нестройной шеренги учащихся с вытянутыми вперед руками, как бы приглашая смельчаков на середину, но ребята пятились назад, прятались за спины друг друга.

Вот она подошла к долговязому пареньку из группы помощников машинистов — Остапенко — и взяла его за руку. Юноша покраснел, чуть отступив назад:

— Не умею танцевать и не люблю... вообще,— пробормотал он недружелюбно.

— Ух ты, какой сердитый! Это почему же?

— В интеллигенцию не собираюсь, а рабочему человеку танцы ни к чему.

Зал шумно возразил ему: ребята смехом, а девушки разными репликами.

Тоня сказала звонче всех: «Подумаешь — рабочий! Да наши рабочие книги пишут, диссертации защищают!»

Однако Нонна Федоровна и здесь все решила иначе, по-своему, без ссоры:

— Не выучишься танцевать — ни одна девушка с тобой дружить не станет...

Шутку поддержали смехом и хлопаньем в ладоши.

Нонна Федоровна чуть кивнула головой Никонову, и мелодия вальса вызывающе зазвучала впервые в этом помещении. Учительница закружилась в танце с какой-то девочкой. В круг вышла еще одна пара. К Тоне подошла, улыбнувшись глазами, знакомая девушка Зина из группы связистов. Танцуя с ней, Тоня с удивлением заметила, что Зина, подражая учительнице, уложила свои косички вокруг головы и даже надела сарафан, по цвету напоминающий платье Нонны Федоровны.

«Ей все хотят подражать,— ревниво подумала Тоня. — Какая она счастливая...»

«Счастливая» между тем была недовольна началом вечера. Она приостановила танцы, разделила всех собравшихся на две группы, построила их вдоль стен.

— Смотрите, как я буду делать, и запоминайте,— потребовала она и стала очень медленно, по счету показывать приемы поворота, выход влево, вправо.

— Теперь начали! Раз, два, три...

Вскоре читальный зал превратился в веселый хоровод. Ребята сначала неуклюже, затем все более уверенно передвигались в такт музыки. Нонна Федоровна танцевала только с мальчиками. Под конец вечера Тоня увидела танцующим и долговязого Остапенко. Даже шахматный чемпион Федя Переверзев приходил поглядеть на веселящихся сверстников. Но смотрел он на это занятие, по-видимому, скептически.

О танцах в читальном зале было много разговоров. Нонне Федоровне пришлось выдержать серьезную стычку с комендантом общежития Сычевым, который где-то пропадал в тот вечер.

Однако через две недели такой вечер повторился. Правда, танцевали меньше: играли в почту, отгадывали викто-

рины. Жгучее любопытство привело в общежитие на второй вечер и Карандуха. Нонна Федоровна как-то слишком скоро уговорила Бориса «не задаваться», а войти в круг. Однако танцевать он пошел лишь с Нонной Федоровной, которая шутя стала называть его «мой кавалер».

...Тоня хорошо запомнила, что на такие вечера Кобцев и впоследствии являлся без опоздания.

Но в конце учебного года все пошло к худшему. За Нонной Федоровной откуда-то из Заполярья приехал высокий стройный летчик с двумя рядами сверкающих орденов на груди.

Когда ребята узнали, что летчик увозит с собой Нонну Федоровну, их восторг по отношению к нему сменился глухой, по-юношески необъяснимой и отчаянной ненавистью.

На вокзале летчику никто и руки не подал. Зато Нонна Федоровна была еле видна в букетах цветов. Поцеловав Тоню на прощанье, учительница шепнула ей:

— Будь, Тонечка, умницей. Береги моего «кавалера».

Сквозь слезы Тоня видела, как через станционный забор вслед удаляющемуся поезду глядел Борька Кобцев — робкий «кавалер» Нонны Федоровны.

* * *

«...Вот возьму да смастерю такую шкатулку из плексигласа и пластмассы — сколько ее ни крути в руках, все будут новые и новые грани... Разноцветные все. И на каждой грани — другая картинка... На одной, допустим, Кремлевская стена с башнями и часами-курантами. Часы еще точнее, чем справдашные идут! На другой — паровоз-самолет, с крыльями и колесами. Никто такого паровоза и в глаза не видывал, а я его сам придумаю... В центре шкатулки Кряж выгравирую, с улицами, домами... Речечку проведу. И чтоб здание нашего училища можно было разглядеть. А сама шкатулка пусть на обыкновенной ладошке уместится.

Сделаю и пошлю в Москву на ту самую выставку, куда наших отличников летом на экскурсию посылать будут... Вот идут они по выставке, друг к другу от страха прижимаются. Сколько людей там, машин всяких тьма-тьмущая, напоказ выставлено!

Савостин за старшего — оберегать отличников от происшествий и чрезвычайных случаев. Ведет он их по огром-

ному залу. Люди, кто ни заходит сюда, к одному месту спешат. И всяк на свой лад говорит:

«Шкатулка!», «Живая шкатулка!»

«Давай-ка и мы на эту самую шкатулку мимоходом взглянем»,— подумает Савостин, чтобы, значит, молодые кряжане представление об мастерах имели. И вот шкатулка наконец у него в руках, потом ее передают Тоньке, затем Сашка Нестеренко к ней руку протягивает... А директор выставки, хоть и рад похвастаться этой штучкой, не может утаить своего горя, все на дверь поглядывает, вроде ждет и не дождется посетителя самого желанного...

— Братцы, взгляните-ка, да здесь же наш Кряж размалеван! — вдруг объявит Сашка. Непременно выкрикнет про Кряж, не утерпит.

— Точно! Вот и клуб железнодорожный, а там — мост через Шилку,— добавит Тонька. Глаза у нее быстрые, и любопытства хоть отбавляй.

Один Савостин ничего вслух не выскажет, потому что ему надо во всяком деле показать, что он взрослый и всяких диковин успел досыта наглядеться.

Директор выставки обрадуется, конечно, услышав о Кряже:

— Так вы из Кряжа, ребята?

— А то откуда же нам быть? Из самого Кряжа, железнодорожники будущие.

— А мастера, который нам шкатулку по почте выслал недавно, среди вас нет?

Ребята, конечно, переглянутся удивленно.

Тут директор и вовсе рассердится, достанет из бокового карманчика увеличительную лупу и скажет:

— Стыдно, товарищи, не знать своих земляков знаменитых. Читайте, он здесь вот свою подпись поставил.

Тонька сейчас же прочтет: «Поселок Кряж, Борис Кобцев».

— Не может этого быть! — первым выкрикнет Савостин.

— А мы уже сверились,— заявит ему директор. — Борис Кобцев, сын Дмитрия Авдеевича... За эту шкатулку Борьке вашему кряжскому золотая медаль полагается, да вот беда: не разыщем его по всему Союзу...

— Я знаю, где он сейчас,— затараторит Тонька, всегда готовая услужить начальству. — На целину уехал, когда его из училища исключили.

При этих словах Савостин, конечно, скиснет и постарается скрыться с глаз. А директор уже одним ребятам свою мысль доскажет:

— Целина большая, что твое государство новое. Нам стало известно, что Борька на целине комбайн новый изобрел и один на этом комбайне за всех урожай собрал. Собрал и уехал, комбайн на память о себе оставил. Так он и живет теперь, путешествуя с места на место и различные машины изобретая. Даже имени своего нигде не говорит — его по делам узнают потом... А у вас, между прочим, как его называли?

И никто из отличников не осмелится уже произнести это насмешливое: Карандух...»

ГЛАВА 8

Касьян Иванович встретил группу у входа в депо. Тридцать юношей и девушек дружно стояли в строю, как на линейке перед занятиями. Лица их выражали ожидание чего-то необычного, еще не виданного и не пережитого. Андрей Павлович, мастер производственного обучения по училищу, скомандовал «смирно!» и хотел было по всей форме доложить Зубу о готовности группы к занятию. Но Зуб сделал ему упреждающий жест и, сутулясь, тяжелой походкой приблизился к строю. Ребята с затаенной робостью во взглядах уставились в лицо своего будущего руководителя. Выцветшие карие глаза Касьяна Ивановича были сейчас неопределенно глинистого цвета. В их глубине играли острые лучики.

Зуб начал знакомиться с ребятами. У одних спрашивал имя, у других справлялся об отце или братьях. Трое ребят из первой шеренги, опуская голову, ответили одинаковыми — видно, часто приходилось говорить об этом — словами: «Отец погиб на фронте». Зуб, помрачнев, перестал спрашивать о родителях.

К некоторым он подходил, сдержанно восклицая, будто встречался с юностью давних друзей:

— А-а... из породы Нестеренковых! — кивнул он смутившемуся чернобровому подростку с узким с горбинкой носом. — Ну, как же не узнать? С дедом твоим на белополяков ходили...

Тоню он тоже узнал по «породе»: девушка была очень похожа на Максима Ильича. Нередко по дороге домой

Зуб присаживался перекурить у будки стрелочника и вел задушевные беседы с Максимом Ильичом.

Практиканты ждали, что после знакомства их новый мастер хлопком в ладони или особой командой, как это делал Андрей Павлович, потребует внимания и перейдет к строгим наставлениям. Но Зуб вдруг сказал просто:

— А теперь, ребятки, делом займемся...— Он обернулся было к входной двери, чтобы повести группу за собой в цех. Но Андрей Павлович поднес ему список учащихся слесарной группы. Косматые брови Зуба сошлись в одну линию. Он вопросительно уставился на своего молодого коллегу:

— Одного человека не хватает?.. Где потеряли?

— Здесь только что был... — замялся Андрей Павлович, покраснев, как мальчишка, не решаясь пускаться в долгое и неприятное для него объяснение. По рядам практикантов прошел возмущенный шепоток. Кто-то решил выручить Андрея Павловича, звонко выкрикнув с места:

— Это не человек, а Карандух!..

В строю засмеялись.

— Разыщите мне человека! — не обратив внимания на выкрик, потребовал Зуб.

Разыскивать Бориса Кобцева пришлось не долго. Едва ученики вслед за Касьяном Ивановичем переступили узенький порожек сборочного цеха, их поразила шумная суматоха среди рабочих депо. С ключами, кувалдами, свертками кабелей в руках, а то и просто отложив все в сторону, люди круто задирали головы, глядели вверх. Двое в новых брезентовых куртках тащили пожарную лестницу.

Синеватый дымок, смешавшийся с клубами морозного пара, не давал возможности непривычному глазу сразу разглядеть под высокими сводами здания то, что так привлекало внимание рабочих.

Молодой электросварщик, сдвинув защитные очки на лоб и протягивая руку с держателем электрода у себя над головой, подошел к Зубу со словами:

— Понимаете, мальчонка... небольшой, рыжий, в спецовке ремесленника... Прибежал — и прыг на цепь кранбалки. Раз, два — и наверх. Потом раскачался, словно обезьяна, уцепился за поперечину. А по ней к боковым стропилам... Во-от он, во-он уже где! — заорал парень и потряс над головой свободной рукой в рукавице. Глаза его возбужденно поблескивали. Трудно было понять: восхищается он или негодует.

— Да это же Карандух! — крикнул Саша Нестеренко. В ту же минуту Бориса опознали и другие ребята. Все разом загалдели.

— Тю-ю, Борька, слезай живо! Довольно тебе, Кобцев... Карандух, вниз! Карандух!.. Карандух!..

Озорнику, наверное, пришлись по душе всеобщее внимание к нему и поднявшаяся внизу сумятица. Он зацепился ногами за угловую скобу перекрытия и на двадцатипятиметровой высоте повис вниз головой, раскачиваясь, как физкультурник на перекладине.

Форменная фуражка слетела с головы паренька и, описав затейливую кривую линию, шлепнулась на пол. Никто не поднял ее: все надрывно кричали, уговаривали, приказывали.

В хоре голосов с каждой минутой нарастали угрозы. Рабочие потрясали кулаками, обещая вызвать пожарную команду и сбросить сорванца вниз. Некоторым уже надоел этот спектакль, и они решили продолжать свое дело, полагая, что администрация найдет способ снять мальчика с перекладины.

А возмутитель спокойствия, казалось, вовсе перестал обращать внимание на людей. Он перебрался на металлическую распорку, уселся на ней, вытер рукавом пот с лица. Потом, заложив два пальца в рот, свистнул, пугая промерзших воробьев.

Зубу объяснили, что это и есть недостающий по списку тридцать первый практикант его группы — Борис Кобцев.

— Кобцев? — переспросил мастер, задумавшись. Несколько минут он стоял без движения, будто вспоминая что-то далекое, чуть заметно шевеля губами, потом проговорил: — Интересный, должно быть, мальчик. Однако нам пора...

После ухода практикантов рабочие сборочного цеха тоже разошлись по местам. Цех принимал свой обыденный вид. О Борисе, казалось, все забыли.

Но когда тот, оглядываясь по сторонам, спустился вниз и побежал, к нему с двух сторон рванулось несколько дюжих парней. Один из них настиг Бориса уже за дверью и с ходу больно стукнул его кулаком по спине, зло выругавшись.

Двое остальных бить не стали. Они приподняли его за воротник с земли и потрясли кулаками.

— Покажешься в депо еще раз — голову сорвем!..

* * *

Ржавый маятник на часах-ходиках бодро выстукивал: тик-так, тик-так... Василиса Кузьминична зябко вздрогнула, натянула на голые плечи одеяло, приоткрыла глаза. Стрелки приближались к шести.

За годы вдовьей жизни, когда она должна была изо дня в день встать спозаранку, убрать в доме, приготовить завтрак и успеть по гудку на работу, у нее выработалась солдатская привычка просыпаться точно в шесть... Женщина накинула на плечи халат, сунула ноги в мягкие опорки от валенок.

На кровати у глухой стены посапывал Борис. Во сне, как и наяву, он не вздыхал, не чмокал губами. Мать чаще всего видела на его сонном лице хмуро сдвинутые брови и недетскую озабоченность.

Василиса Кузьминична накинула поверх халата фуфайку, подошла к окну.

...Была та пора глубокой осени, когда по утрам, до появления первых лучей солнца, полевые низины, кустарник, пади и луга застилает туман. Белый, густой и легкий, словно опустившиеся на землю облака, туман неслышно подступает к селениям. Простираясь далеко-далеко, он становится похожим на разлив молочной реки. Глядеть на потонувшие в этом половодье дома, слушать крики пробудившихся петухов — захватывающе интересно.

Какое-то время женщина стояла у окна, словно завороженная.

Несмотря на пережитые тяжелые годы, Василиса Кузьминична не утратила способности изумляться красотам родной природы. Женщина вышла на крыльцо. Вот вдали, где в хорошую погоду видна крутая насыпь, а сейчас все затопил туман, в той молочно-белой дали резко вскрикнул паровоз. Вот из-за поворота на подходе к семафору показался, отчетливо перебирая сотнями металлических ног, длинный состав.

Отсюда кажется, что утонувший до крыш поезд сошел с рельсов, превратился в караван лодок и плывет напрямик по белому океану. Лишь звонкий стук колес по настывшим рельсам напоминает о земной сути этого необыкновенного зрелища.

Восторг перед чарующей картиной утреннего тумана

был в душе женщины недолгим. Она решила приготовить завтрак, но не на керосинке, как это делала вчера, а на плитке, чтобы заодно протопить в доме. Василиса Кузьминична заглянула в ящик, где обычно хранился уголь и дрова. Там было пусто.

Нет, она ни в чем не упрекала сына. Но в этот момент вдруг почувствовала неприязнь к нему: ведь уже взрослый, мог бы помочь! Глазами человека, привыкшего к недостаткам, она замечала не раз, как чужие дети, возвращаясь домой из школы, несли небольшие поленца дров. Дети носили вязанками сушняк из леса, собирали на топливо еловые шишки. Борька же считал для себя зазорным возиться с домашней работой, если это не приносило ему удовольствия.

Через несколько минут Василиса Кузьминична все же нашла выход, раздробив топором доску в сарае. В плитке весело заиграл огонь. Стараясь поменьше звенеть ножом и посудой, она принялась готовить завтрак.

— Тик-так... Тик-так... — давали о себе знать ходики, отсчитывая минуты, оставшиеся до гудка. Вдруг кто-то осторожно, но требовательно постучался в дверь. Василиса Кузьминична бросилась в сени.

— Гешенька? — удивилась она. — Откуда ж ты? Ай снова к бабушке приехал?..

Она не знала о том, что мальчик еще вчера побывал в их доме.

— Ага! — ответил сразу на все вопросы Моряк и шмыгнул носом. Он вошел в дом вслед за хозяйкой, волоча мешок с какой-то поклажей.

Материнским сердцем Кобцева жалела сироту. К тому же Гешка был, пожалуй, единственный из ребят, который водился с Борисом, не гнушался дружбы с ним. Правда, сын грубо и нехотя разговаривал с Моряком, но с кем он был ласков? Такой, видно, у него характер.

Вместо приветствия или извинения за столь ранний визит Моряк громко зевнул, косясь в сторону спящего Бориса, и начал рассказывать:

— У-уф и уголек сегодня!.. Как начал я его швырять, как начал... Туда-сюда. А он — гу-у! И пошел без остановки... Чуть на станцию не завез...

— Опять с поезда уголь сбрасывал? — догадалась Кобцева. Она укоризненно покачала головой.

— Ага.

— И не страшно тебе?

— Не-е... нисколечко.

— А как поймают?

Гешка не знал, что ответить этой робкой женщине. Ловили, и не раз. Она сама знает об этом, но вот он перед ней — как всегда, целехонек.

Кобцева присела на корточки и стала подкладывать в плитку столбики дров, направляя под самое донышко кастрюли.

— Теть, а теть... — почему-то шепотом заговорил мальчик, тронув хозяйку за плечо. — Бери-ка уголь да топи получше. А мы с Борькой еще принесем. Ой, как много я его накидал!.. — Гешка при этом косил глазом на закипающую кастрюлю.

Василиса Кузьминична и раньше нередко потчевала его немудреной домашней пищей. Насытившись, Гешка становился словоохотливым. Говорил он, правда, больше жестами. Но Кобцева умилялась, слушая его исповеди о своих злоключениях. Втайне женщина надеялась, что при помощи Моряка ей удастся узнать кое-что о намерениях сына. Но вскоре она почувствовала, что и этот способ проникновения в душу Бориса ненадежен.

Подобревший от тепла и ласковых слов Василисы Кузьминичны, мальчик выболтал свой единственный секрет: на насыпь за углем его посылал Демкин...

— Демкин затевает какую-то фабрику,— прошептал Моряк, громко шморгнув носом. — Там даже столовая своя будет при фабрике... Ему и дрова нужны, и уголь, и проволока.

Василиса Кузьминична ничего не поняла из Гешкиных слов, лишь мельком подумала: «Мало ли кто что затевает? Нынче всюду строительство. А вот уголек нам пригодился бы тоже. Не мы, так другие подберут...»

Дальше этого мысли ее не шли.

Не дождавшись, когда Василиса Кузьминична сама в мешке возьмет уголь, Гешка принялся выбирать куски помельче и бросать их прямо в печку. Вид разгорающегося в плите антрацита окончательно покорил хозяйку, прогнал из ее души всякие страхи и сомнения относительно Гешкиных способов добычи топлива.

Она принялась будить сына.

— Вставай, сынок, товарищ к тебе пришел...

— Ну чего еще? — раздался в ответ недобрый заспанный голос Бориса. — Нет у меня никаких товарищей... Отстань.

— Поднимайся, сынок, семь скоро,— осторожно, но упорно говорила мать. — Ты вчера просил разбудить пораньше...

Упоминание о времени подействовало. Борис вскочил, принялся натягивать на себя брюки и рубашку. Он вспомнил, что в самом деле просил мать разбудить его к семи, чтобы успеть в депо до гудка.

Еще сквозь сон Борис узнал Моряка по пискливому голоску, но из-за постылого приятеля ему не хотелось покидать теплой постели. Одевшись, он приблизился к Гешке и толкнул его под бок. Тот ответил тем же. Это означало обмен приветствиями.

Ребята вышли во двор умыться.

Борьке доставляло некоторое удовольствие наблюдать, как Моряк, крякая и фыркая, трет большим куском хозяйственного мыла по заросшему затылку, сгребает ладонями со щек мыльную пену. Он не поленился принести из сеней несколько больших кружек воды. Потом умылся сам.

Сын Василисы Кузьминичны редко завтракал дома. В училище ребят кормили сытно. В те дни, когда он посещал занятия, ему не требовался домашний приварок. Но сегодня мать приготовила его любимый рассольник с фасолью и картошкой. К тому же, какой ни есть — гость. Неудобно оставлять за столом одного.

Пока ребята ели, мать длинно и жалостливо рисовала перед Борисом невзрачные перспективы холодной зимовки, если выписанный уголь не подвезут со склада вовремя, сетовала на свою занятость, укоряла сына в нерадивом отношении к дому. Все это закончилось туманно выраженной просьбой пойти сейчас с Гешкой к насыпи за углем.

Разговаривать с сыном коротко, языком родительских требований Василиса Кузьминична не могла. В этом была ее слабость. Беседы, рассчитанные на то, чтобы вызвать в душе Бориса жалость к себе, он редко выслушивал до конца, грубо обрывал мать. Молча поднявшись из-за стола, сын вытер пятерней губы и дружелюбным тоном заявил:

— Ты права, мать: я хуже всех. Об этом я уже слыхал не раз. Но с ворованным углем — красивей не стану... — Он взглянул на Гешку, который еще ниже склонился над глубокой миской. — А сегодня у нас второй день практики в депо.

Борис снял с гвоздика шинель, ловко надел ее и на прощание добавил, ткнув еще раз Гешку в бок:

— Мы тебе с Моряком целый эшелон уголька сгрузим. Правда?.. — Не дожидаясь ответа, вышел за дверь.

Решительные слова сына прозвучали для матери зловеще. Она машинально прильнула к окну, стараясь по лицу уходящего сына понять, шутит он или нет. Но Борис ни разу не оглянулся. Он так все в жизни делал — без оглядки.

ГЛАВА 9

Кобцев без особого труда проник в депо, разузнал, какое помещение отведено для практикантов. Он облюбовал себе новенькие тиски в четвертом ряде верстаков. Это рабочее место вчера закрепили за Дусей Кутеповой, тихой, плаксивой девушкой, которая отличалась от своих сверстников почти болезненной любовью к чистоте и новой одежде.

Еще до прихода мастера Борис предупредил Дусю, чтобы та искала себе другое место. При этом он грубовато толкнул девушку, чем привел ее в окончательное расстройство.

— Карандух! Марш отсюда, брысь! — шикали на него со всех сторон ребята, не стесняясь в выражениях. — Касьян Иванович все равно тебе даст пинка. Мы ему рассказали, что ты за птица.

Но Кобцев, словно клещ, вцепился в тиски и никуда не хотел уходить.

Старый мастер сразу приметил его, когда ребята вытянулись по стойке «смирно», слушая рапорт дежурного. Борис исподлобья глядел в лицо Зубу, стремясь отгадать, как этот человек будет выдворять его из мастерской.

Мастер в раздумье прошелся между верстаками, постоял немного рядом с Борисом, не глядя на него, и сел на свою табуретку.

Всех, в том числе и самого Кобцева, поразило, что Касьян Иванович отвел Дусю к другому верстаку, невдалеке от преподавательского, чего так боялась девушка. Бориса мастер словно не замечал. Это и настораживало и обижало паренька.

Дежурный, Радик Лемешев, принес из инструментальной кладовой все, что полагалось для занятий, и четко доложил:

— Касьян Иванович, я получил тридцать комплектов.

— Вас сегодня тридцать один,— спокойно возразил Зуб и распорядился:— Беги-ка, голубчик, исправляй свою ошибку.

— Это не ошибка, Касьян Иванович. Я просто не хотел брать комплект для Карандуха... для Кобцева,— поправился Радик. — Работать он не будет, а инструмент поломает.

— Выполняйте мои указания, о! — повторил Зуб. Ребята уже знали: когда мастер добавляет «о» — он волнуется.

Радик принес Борису два напильника, кронциркуль и поковку шестигранной гайки. Вручая все это, дежурный не удержался, чтобы не предупредить с яростью:

— На, бери, но если сделаешь, как тот раз у Андрея Павловича,— пощады не жди, за все ответишь сразу...

Тоня, стоявшая неподалеку, услышала, что сказал Радик. Она очень боялась мальчишеских драк и поэтому решила добавить к словам дежурного «с другой стороны» вежливую просьбу:

— Кобчик, не позорь нас перед Касьяном Ивановичем, я очень тебя прошу. Ведь я тебе ничего плохого не сделала, правда?

— Иди к черту! — прошептал он на ухо девушке.

...Сегодняшнее занятие не представляло для практикантов затруднения. Опиловка — привычное дело слесарей. Уже в первые недели практики в своей мастерской учащиеся ремесленных и железнодорожных училищ овладевают основами этого дела. За год они успевают обработать таким путем десятки всевозможных поковок.

На первый взгляд нынешнее задание было для ребят вовсе не обязательным: подумаешь — гайка. Но Зуб был хитер. Он владел грамотой особого чтения. Старый мастер читал на поверхности обработанных деталей профессиональный почерк своих учеников, тягу еще не окрепших рук к большим делам.

Вот и сейчас мастер надел очки, склонился над журналом. Со стороны можно принять его согбенную позу за дремотное состояние или старческое забытье. Но Зуб чуток и насторожен. Маскируясь очками, он живо смотрит по сторонам, наблюдает за движением рук подростков, за наклоном корпуса. Ему по душе, например, уверенные и почти небрежные силовые протяжки напильников у Лени Жихарева.

Леня уже по-взрослому скуп на движения, корпус его устойчив. Быстро бегают лишь глаза. Каждая протяжка у него рассчитана. Подросток, в отличие от своих соседей, совсем не глядит на мастера — он увлечен, верит себе...

А девчонка, комсорг в группе, много времени теряет на закрепление поковки, не наловчилась еще с одного разу зажимать поковку так, чтобы обрабатываемая грань шла параллельно плоскостям тисков. Другая девочка совсем слаба: она больше следит за мастером, чем за своими руками.

«Ж-ж, жу, дз-зи, дзи!..» — наполняется звуками мастерская.

Зуб тонко разбирается в музыкальных данных участников трудового оркестра, сразу улавливает фальшивые ноты у отдельных исполнителей и косит в ту сторону встревоженным взглядом.

...Если бы знал Борис, сколько минут до перерыва этот хитрый человек наблюдал за ним и сколько отличнейших признаков профессиональной хватки отметил именно в нем! Но подросток был занят своими мыслями. Правда, его немного пугало необычное отношение старого человека к нему. Андрей Павлович ни за что не примирился бы с его самовольным захватом тисков. Он сперва накричал бы, а потом, возможно, побежал в учительскую за директором или завучем...

Когда дежурный объявил о перерыве и все вышли из помещения, Зуб, с трудом сдерживая себя, поспешил к тискам Бориса. По его распоряжению все должны были оставить поковки на местах. Тридцать гаек сверкали отполированными гранями в зажимах. И только одни тиски, чуть разведенные в стороны, оставались пустыми. Это были тиски Кобцева.

— Ах ты, Аника-воин!— пробормотал мастер сдержанно. — Все еще не сдаешься...

Раздосадованный, но не злой, Зуб ходил от одного верстака к другому, присматриваясь к почерку напильников.

Ребята снова заполнили учебный цех.

Касьян Иванович входил в азарт сложной психологической игры. Теперь он постепенно убеждался, что мальчик (для Зуба он оставался все же мальчиком) выполняет совсем иную операцию над гайкой. Ровно шесть раз он зажимал поковку, обрабатывал грань и поворачивал ее опять. Точно шесть раз повторялся строгий комплекс

его движений. После этого Борис немного постоял в раздумье, потом, вдруг озорно просияв, закрепил поковку снова. Цепко схваченный обеими руками, плоский напильник энергично заходил по металлу. Практикант варварски сносил углы пересечения граней, округляя ребристую поверхность гайки.

«Только бы не встретиться с ним взглядом,— думал Зуб,— не дать ему понять, что мне все это видно». Но, отвернувшись в сторону, мастер как бы ощущал на себе колючий, вороватый взор подростка. Стоило Зубу лишь скрипнуть стулом, как взгляды их встретились. Борис сделал резкий отворот рычага тисков влево и схватил гайку, приготовясь к бегству.

«Так вот зачем тебе понадобились именно эти тиски»,— догадался мастер. Он спокойно повернул голову в сторону. Борис одним движением закрепил поковку опять.

Но продолжать дело ему помешала Тоня. Девушка закончила опиловку второй грани, приложила к ней кронциркуль, чуть даже присела, чтобы взглянуть на свое изделие сбоку. Затем она решила заглянуть к соседям.

— Ой, что ты делаешь? — вскрикнула она вдруг, схватившись обеими руками за щеки. Потом отняла руки от лица и, не чувствуя грязных отметин на щеках, громко объявила:

— Кобцев запорол поковку!

Это было первое ЧП на новом месте, и оно показалось комсоргу чудовищным.

Борис оторопел. Подвоха с этой стороны он совсем не ожидал. Он резко обернулся к девушке, но замер в этой позе, соображая, что предпринять. Желание отомстить Гуторковой взяло верх. Борис схватил у нее из-под рук шлифовальный напильник, занес над головой и... сильно ударил по тискам. Звонко лязгнул металл о металл, тяжелый кусок напильника подпрыгнул и задребезжал по верстаку. Осколок железа больно ударил Тоню по руке, но она от страха не успела даже вскрикнуть. Девушка машинально прижала ушибленную руку к груди и с минуту глядела на дверь, за которой исчез Борис...

Закричали все сразу. Касьяну Ивановичу давно не приходилось встречать такой шумной аудитории. Ребята, похоже, готовы были отыскать Кобцева хоть на краю земли и учинить над ним жесточайшую расправу. В воздухе то и дело звучали хлесткие, как удары, оскорбительные слова.

Радик предложил:

— Нужно сразу же после занятий пойти всей группой,— при этих словах он покосился на Тоню,— пойти к начальнику депо и добиться немедленного отчисления Кобцева.

— А мы сами,— Радик весело встряхнул чубом и обернулся к неподвижному Зубу, ища у него одобрения,— темную ему сделаем. На прощание!..

— Правильно, верно! — дружно отозвались ребята.

Шумные выкрики практикантов сначала даже заглушили настойчивый металлический звук молоточка. Зуб требовал внимания.

— А почему вы, ребята, не доверяете мне «расправиться» с Кобцевым?

Старый мастер глядел при этом не на ребят, а на тиски Бориса, в которых торчала оставленная впопыхах блестящая поковка.

ГЛАВА 10

Если бы Зубу сказал кто-нибудь с утра, что этот хлопотливый день закончится встречей с Никитой Захаровичем Демкиным, да еще у того на дому,— мастер ни за что не поверил бы. Но случилось именно так.

Никита Демкин был одним из очень немногих оставшихся в живых ровесников Касьяна Ивановича. Оба они в свое далекое время с холщовыми котомками за плечами, в лапотках пришли из деревни в Кряж и осели здесь на постоянное жительство. Это произошло накануне первой мировой войны, когда в Кряже основали железнодорожные мастерские. Им обоим пришлось даже быть подручными у одного слесаря — Евсея Кожемяки. Специальных курсов по подготовке кадров тогда не было. Человек, рискнувший освоить «железное ремесло», шел на выучку к какому-либо опытному работнику мастерских. Подростки — а иногда это были и уже вполне взрослые люди — сначала числились при своих «учителях» мальчиками на побегушках, потом становились подручными. Те, кто выдержал такой, порой многолетний и, в зависимости от опыта и характера мастера, мученический путь к ремеслу, впоследствии допускались к самостоятельной работе.

Слесарь Евсей Кожемяка был человеком исполинской силы. Он запросто поднимал и прилаживал на шейку оси

двенадцатипудовую буксу. Еще в молодые годы Евсей, работая в котельной на развальцовке массивных заклепок, почти совсем оглох. С тех пор выполнял свое искусное дело молча. За год учебы у Евсея Касьян Иванович не услышал от мастера и десятка слов, однако на всю жизнь сохранил об этом удивительном человеке добрые воспоминания.

В отличие от других слесарей, Евсей никогда не избивал своих учеников. Обычно он кивком головы или прикосновением руки подзывал их к верстаку и на глазах у них выполнял свою работу. Руки его были куда красноречивее слов.

Увлеченный каким-нибудь замыслом, сначала понятным только ему одному, или выполняя срочную работу, Евсей мог сутками не отходить от станка. Закончив, мог уйти из депо на неделю — пил. Пьяный, бился лохматой головой о деревянные полати в бараке, плакал так же, как жил,— беззвучно, горько...

Вот у этого мастера и проходили одновременно курс слесарной подготовки Никита Демкин и Касьян Зуб. По профессиональной сноровке, трудовой смекалке они не уступали друг другу. Но Демкин оказался человеком двухдонным, во всяком деле хитрил. Умел вовремя польстить начальству, угодливо предупредить желание старших.

Судьбы этих сельских парней разошлись еще в начале первой империалистической войны: Зуба мобилизовали на германский фронт, а Демкин остался в депо по ходатайству полиции. В гражданскую войну он тоже не делил со своими ровесниками тяготы походной жизни...

В поисках лучшего заработка Никита Захарович метался в годы нэпа из цеха в цех, несколько раз уходил из депо на частный промысел.

Прославился Демкин на всю округу в начале войны изготовлением зажигалок и мышеловок. Оградив себя справками о плохом состоянии здоровья, он неутомимо клепал на дому всевозможные изделия домашнего обихода, проявляя при этом отменное трудолюбие. Мастеровой не гнушался носить свое рукоделие по селам, менять на крахмал, кукурузную муку.

Сразу после войны Никита Захарович построил себе огромный — на восемь комнат — дом, обнес его высоким забором, вывесил на заборе дощечку «Во дворе злая собака» и сам редко появлялся на улице.

В отличие от соседних строений, дом Демкина на лице-

вой стене не имел ни одного окна. Словно обидевшись на весь белый свет, дом стоял «спиной» к улице.

Касьян Иванович слышал, что Демкин года два тому назад делал вылазку на свет белый — руководил в Доме пионеров кружком «Умелые руки», но продержался на этой малодоходной должности недолго.

Мысль навестить своего брата по профессии появилась у Зуба не сразу.

Разглядывая уже дома захваченную по рассеянности изуродованную гайку Бориса, Зуб решил сходить к Кобцевым.

Дом Кобцевых оказался на замке — Василиса Кузьминична возвращалась позже. К медлительному старому человеку, в нерешительности остановившемуся у крыльца, подошла из соседнего дома девочка, добровольно взявшая на себя обязанность давать захожим в их переулок людям всевозможные справки.

— Вы к тете Василисе или к Карандуху? — спросила она Зуба, кутаясь поплотнее в огромную дымчатую шаль. Серые глаза девочки поблескивали искренним любопытством. Вся ее тоненькая фигурка выражала готовность оказать услугу.

— А? Да, да, к ним,— обернулся на голос девочки Зуб.

— А их дома нет... — сказала она. — Тетя на работе, а Борька бегает.

— Что же он, так всегда и «бегает», домой не заглядывает? — Касьяна Ивановича начала раздражать поголовная враждебность в поселке к Борису. Сердитый вопрос старого человека не смутил девочку. Она провела ладонью по голым озябшим коленям и разъяснила:

— Почти никогда не бывает дома. Он — хулиган...

— Где же это он так нахулиганил? — пробормотал Зуб, намереваясь сейчас же отослать девочку домой. Но та в одно мгновение выпалила:

— Девочек колотит, из Дома пионеров его выгнали, из училища выгнали; в Доме пионеров он у Никиты Захаровича рукава от пальто оторвал... Об этом на нашей улице все знают!..

Зуб ничего не сказал маленькой сплетнице, но, удаляясь по переулку в сторону вокзала и все более задумываясь о судьбе Кобцева, пришел к выводу, что побывавший в столкновении с Борисом проныра Демкин мог бы кое-что рассказать ему о странном мальчишке...

* * *

Никита Захарович встретил Зуба радушно, однако не без опасения.

«Уж не прослышал ли этот активист о моем разговоре с Глущенко насчет артели?» — подумал Демкин. Но, убедившись, что Зуб пришел вовсе не за тем, успокоился. Демкин только раз оборвал Зуба на полуслове, откровенно заявив:

— И охота тебе, дорогой Касьян Иванович, печалиться о какой-то шпане? Не ищи ты на свою голову приключений, плюнь на него, шалапута.

Встречались они давно, и Касьян Иванович не без любопытства разглядывал своего прежнего товарища. Демкин был рыхлый, обрюзгший, с нездоровым оттенком кожи на щеках. Даже руки, руки искусного специалиста, казались припухшими, поблеклыми. С них сошел рабочий задор, двигались они как-то излишне суетливо.

«Только деньги считать такими руками,— со злостью подумал Зуб,— да и то где-нибудь в подвале, подальше от человеческих глаз. Переродился человек, и руки отмерли без большого дела».

— На пенсию не скоро? — перебил его мысли Демкин.

— А я как-то и не думал еще об этом,— откровенно сознался мастер.

Зуб навязал Демкину явно неприятный для него разговор о Борисе.

Видно, Никите Захаровичу накрепко запомнился юный Кобцев за время пребывания в Доме пионеров.

— Как тебе сказать... — настраивался на разговор Демкин. — Паренек он, между прочим, рукодельный. Прямо скажу: отцовские руки у него! А вот с головой полное расстройство.

— Ну, а что ему приходилось делать там, в кружке? Задания какие-нибудь выполнял?

— Задания, говоришь? — зачем-то переспросил Демкин, с непонятной тревогой уставившись в лицо Зуба. — Не из таких он...

Хозяин дома приподнялся со стула и таинственным жестом поманил гостя за собой.

Они прошли в узкую боковушку рядом с кухней, затем через нее попали в квадратную комнату, чем-то напоминавшую небольшие выставочные залы. Просторное помещение было уставлено и увешано богатой коллекцией

изделий по металлу и резьбы по дереву. Здесь в самых разнообразных видах расположились кубки, чернильные приборы, виды старинных башен, футляры для часов, портретные рамочки, подстаканники, зажигалки. Зуб подивился этой коллекции вещей, на какой-то миг забыв даже о кривых стежках судьбы Демкина. Правда, изделия эти имели запущенный, тусклый вид, словно пребывали в заточении и давно не испытывали прикосновения заботливых рук.

Хозяин снял со стены узенькую рамочку из дюралюминия.

— Вот, полюбуйся,— сказал он, желая подчеркнуть перед Зубом былой авторитет среди детей,— это кружковцы мне подарили...

Зуб из вежливости подержал перед глазами рамочку.

— И вот это! — в руках Никиты Захаровича появилась искусно составленная из разноцветных планочек клетка для ловли птиц.

«Обворовывал детей»,— с отвращением подумал о своем ровеснике Касьян Иванович, а вслух спросил, указывая на забавную фигурку вздыбившегося коня:

— Это тоже подарили?

— Об чем разговор? — подтвердил Демкин. — Вот эту вещичку я тебе и хотел показать. Конек сработан сыном Дмитрия Авдеевича... Без всяких заданий,— подчеркнул он.

Застывший в динамической позе конек был сделан из куска красной меди. Левый бок — от окна — потемнел, в хвосте появились дымчато-зеленые прожилки окиси.

Резвый конь был, как говорят скульпторы, «схвачен на бегу». Он встал на дыбы перед каким-то невидимым препятствием. В выпуклых глазах животного не было испуга. Внешний облик его напоминал мгновение перед скачком. Во всей мускулистой фигурке, в энергичном повороте дико запрокинутой головы с разметавшейся гривой чувствовалась необузданная сила, стихийный порыв...

Мастер долго любовался изделием. Он повернул фигурку вверх брюшком: копытце на приподнятой ноге коня было искусно обведено подковкой... Даже имелись крошечные шипы на ней.

— Значит, вы были с мальчиком в хороших отношениях? — звучно глотнув от напряжения, спросил Зуб.

— Да как тебе сказать? — Демкин сузил глаза. — По-всякому случалось. Я же тебе говорил, что...

Но Зуб перебил его новым вопросом:

— Ты точно, Никита Захарович, помнишь, что конек сработан Кобцевым? Для меня это очень важно...

— Даже не сомневайся! — горячо заверил Демкин гостя.— Мне об этом забыть никак невозможно. За этого конька он у меня, стервец, рукава от пальто оторвал... Тьфу!

Касьян Иванович вскоре ушел от Демкина, выпросив у него злополучную фигурку коня.

Несмотря на любопытную находку в доме, Зуб холодно расстался с хозяином...

* *

«Начальнику депо станции Кряж-2
от группы слесарей-практикантов ЖУ-1

Заявление

Ввиду того, что вся наша группа взяла обязательство закончить производственную практику на «отлично» и освоить на благо Родины почетную профессию слесаря-тепловозника, а всем нам мешает один Кобцев, просим отчислить его поскорее из группы.

По поручению комсомольского собрания
групкомсорг *Гуторкова,*
староста *Лемешев*».

Касьян Иванович в кабинете главного инженера дважды прочитал текст этого, уже зарегистрированного, документа, написанного красивым ученическим почерком с нажимом на листке в клеточку. Мастер повернул листок немного боком и принялся разбирать по букве в левом уголке начертанную вкось красным карандашом резолюцию Кондрашева. После некоторых усилий он скорее догадался, чем прочитал: «Главному инженеру Труваленко. Разобраться. Подг. приказ...»

Это было еще не все, что уместилось на листке, второпях неровно выхваченном из тетради. В самом низу, очевидно, во время беседы с кем-то Кондрашев мелко и вовсе недоступно такому грамотею, как Зуб, делал перечисления, ставя перед строчками, будто в научном циркуляре, пункты: а, б, в, г...

«Тринадцать»,— усмехнулся мастер, вдруг догадавшись, что это список грехов Бориса.

— Ну как? — спросил Труваленко, принимая заявление ребят из рук Зуба. Главный инженер при этом недобро усмехнулся.

— Чудной мальчонка. Повозиться с ним придется! — вздохнул Зуб.

— А чего с ним возиться? Я уже звонил в училище. Оказывается, там документы заготовили на него к отчислению. Клянусь честью — это было бы лучше. Но Савостин большой волынщик. Я его помню еще по довоенному времени, когда он табельщиком служил. Начал, видно, рассуждать: мол, к опытному человеку на практику идет... А этот опытный человек, не в обиду будь сказано, сам не разглядел, что в здоровое стадо паршивая овца попала...

Зуб порывисто встал.

— За умное слово, Григорий Аркадьевич, я никогда не обижусь. На то вы — начальство, чтобы замечания делать да поправлять нас. Только тут позвольте напомнить вам рабочую нашу поговорку: что куется трудно, то служит долго... Одним кронциркулем все детали не измеришь. А вы не ковали и не измеряли, а уже норовите человека в брак списать, о! Не хозяйственно, о!

Труваленко не торопился успокоить старого человека.

— А мое мнение все-таки: вон! Чтобы духу его в депо не было!

— То есть, как это «вон»? — уже спокойнее возразил Зуб. — В Америку его не отправишь. Не нам, так товарищам нашим паренька до дела доводить придется. И хорошо, если товарищам, а вдруг...

— Горбатого могила исправит,— перебил мастера главный инженер и отвернулся к окну, давая понять, что разговор он считает законченным.

С минуту помолчали. Зуб не уходил. Он тяжело сопел, как рассерженный ребенок. Труваленко обернулся к мастеру с примирительной репликой:

— Касьян Иванович, дорогой! Да что вы упорствуете по пустяку? О вас же беспокоимся. Стоит ли возиться с проходимцем?

— Вот об этом бы и спросили поначалу,— просветлев, сказал Зуб. Он опустился на стул снова, готовясь продолжать разговор. Но Труваленко оборвал мастера на этот раз грубо, начальственно:

— Если настаиваете на своем, то разрешите сразу же отказать вам в вашем заступничестве. По двум причинам: во-первых, нам выгоднее расстаться с хулиганом, чем покрывать причиненные им убытки; во-вторых, уверяю вас, ни один бригадир не возьмет его в свой коллектив после выпуска.

— Я взял бы,— горячо возразил Зуб. — У меня отец его работал. Дай бог памяти, тоже не ангельского поведения был смолоду.

— Ну, знаете, сравнивать этого сорванца с Дмитрием Авдеевичем нескромно, несолидно. Даже если Борис и сыном ему доводится. Здесь налицо вырождение. Клянусь честью.

Инженер замолчал. Ему не доставало средств переубедить упрямого Зуба. Как командир на производстве, он мог бы не вдаваться в дискуссию с рядовым мастером. Достаточно было формы ради ознакомить Зуба с проектом приказа, который завтра будет подписан и примет силу закона. Но Труваленко на личном опыте знал, что Касьян Иванович вносил изменения даже в подписанные приказы и распоряжения администрации.

— Не угодно ли вам выслушать еще одну новость? — вдруг вспомнил Труваленко, бросив взгляд на список Борисовых проказ. — Сегодня утром ваш подзащитный пробрался в депо и сжег катушку в сварочном аппарате сварщика Вороны.

— Вороне мстил. Этот Савелий Ворона волтузил мальчонку позавчера.

Чтобы перевести разговор с опасной темы о замыкании в аппарате, мастер в тон инженеру сказал:

— А не угодно ли вам посмотреть одну вещичку? — В его руках сверкнула гайка.

Труваленко угадал в этом предмете испорченную поковку. Две грани были обработаны. Остальные четыре запилены так, что поверхность стала полукруглой.

— Гм, гм, странная... дикая работа,— пробормотал инженер. — Клянусь честью, что Кобцев сотворил. Я его по выходкам начинаю распознавать. Не эта ли вещичка умилила вас, Касьян Иванович?

— Она самая. Приглядитесь к оставленным граням. Особенно к линии пересечения... о! — мастер протянул инженеру угольник и кронциркуль. Но инженер, не притронувшись к инструментам, сказал уверенно:

— И так вижу: неплохо... Прилично. Если бы геометрия гайки была соблюдена по всем шести плоскостям на таком уровне, опиловку можно было бы квалифицировать не ниже шестого разряда. Подходя объективно...

— А эту работу по какому разряду? — в руках Зуба засверкала пообтертая в кармане спецовки фигурка коня.

Инженер сам в детские годы, да и будучи студентом,

увлекался скульптурой. Он знал, что навыки такой профессии вырабатываются в упорном, мучительном труде. В скульптурном деле не обойтись без дарования художника. Можно себе представить, какими дополнительными качествами должен обладать скульптор-металлист.

Труваленко поставил фигурку животного на стол, с минуту разглядывал ее:

— Вещичка со смыслом,— заметил инженер, в задумчивости поджав губы. — Не хотите ли вы сказать, что и жеребчик этот выполнен Кобцевым? — поднял он взгляд на собеседника.

— Именно Кобцевым!— просиял Зуб.— Тем самым Карандухом, черт его побери, что лазит по цепи кранбалки, делает замыкание в сварочном аппарате, портит инструменты и настроение людям.

— Ладно... Что хотите, то и делайте с ним. Но помните: мы покровители не ремесел, а производства. За порчу инструментов — взыскивать будем. А с заявлением,— он кивнул на стол,— придется вам самому к Кондрашеву идти. У меня и без ваших практикантов мороки хватит... В прошлом месяце промывочный цех нас без премии оставил. В этом — с подъемочным ремонтом график валится...

Касьян Иванович взял со стола посветлевшую фигурку коня, завернул ее в тетрадочный листок.

Дверь за ним хлопнула необычно громко. Но и этот резкий звук не смог заглушить дружного топота ребячьих ног, замелькавших по коридору.

«Слышали пострелята весь наш разговор!» — изумился мастер.

ГЛАВА 11

Никита Захарович Демкин был не из тех людей, которые на старости лет удовлетворяются дарами судьбы.

Летая всю жизнь с места на место, он не забывал вовремя заручиться необходимыми справками и выписками из приказов. Однажды он целый вечер потратил на подсчеты по этим справкам затраченных лет, месяцев и дней на «государственных» должностях. Итог устраивал вполне. Трудового стажа хватало для получения пенсии по новому закону. Подобревший от такого успеха, Демкин даже вышел на воскресник по сбору металлолома, организованный уличкомом.

Как-то, от безделия слоняясь по рынку, Никита Захарович обратил внимание на толчею у нового фанерного лотка. За прилавком суетился незнакомый человек лет двадцати пяти с проворными, бегающими черными глазами. Он раскладывал на фанерном прилавке детские игрушки. В разных позах здесь валялись ваньки-встаньки, гимнасты, самодвижущиеся мышки, пестрые лягушата. Их охотно раскупали.

Демкин несколько минут наблюдал за черноглазым и его клиентами. Вот к фанерному прилавку приблизилась интеллигентного вида пожилая дама. Поморщившись, она взяла из рук кустаря кота, который с головы больше походил на сову. Удовольствие это стоило ей три рубля.

Доморощенный кряжистый коммерсант был шокирован нахальством приезжего кустаря. Дня три Демкин ходил сам не свой.

Душевный кризис разрешился неожиданно просто. Однажды, закусив в пивной селедкой, Демкин разглядел на подмокшем клочке газеты статью «Больше внимания местной промышленности». На газету Никита Захарович не обратил бы внимания, если бы она не была иллюстрирована рисунками неудачных детских игрушек, кукол и елочных украшений. Оказывается, не одному Демкину попался на глаза оборотистый кустарь. Корреспондент районной газеты разнес в пух и прах безвкусную продукцию частника.

— Ай да молодец! — похвалил Демкин автора статьи. Никита Захарович аккуратно свернул газету и отправил в бумажник.

Демкин отлично знал: на открытие новой артели потребуется разрешение местного Совета или патент финансовых органов. Но он неплохо понимал и то, что, если этот вопрос вынесут на исполком, члены исполкома завалят его кандидатуру на руководство артелью.

Мысль о создании артели детских игрушек в Кряже настолько захватила Демкина, что он отважился зайти к самому Глущенко.

«Депутат подойдет к этому делу с государственной точки и одобрит мою идею,— рассуждал Демкин, отправляясь к Глущенко на прием. — Захар Алексеевич вовсе не такой, чтобы мстить за грехи столетней давности. Он смотрит в будущее...»

Глущенко действительно принял его и не без любопытства выслушал проект создания артели.

Их разговор происходил как раз в тот день и тот час, когда в кабинет депутата вторглась со своим сыном Василиса Кузьминична.

Захар Алексеевич хорошо понимал, к чему гнет Демкин, но отпугивать предприимчивого человека от такого хитрого дела, как детская игрушка, он не мог. «Пусть пока берется, а там посмотрим». Демкину сказал:

— Идите в поселковый Совет, скажите, что мне эта затея нравится...

Он хотел добавить еще что-то, но Демкин, не оглядываясь, уже направился к выходу.

Вечёром Глущенко уехал пригородным поездом в областной центр.

На другой день Демкин первым пришел в исполком и записался на прием к заведующему промышленным отделом. Тонко обдумав всю операцию, он ликовал, заранее предчувствуя победу.

Заведующий отделом Перепелкин, уволенный из соседнего района по сокращению штатов, прибыл в Кряж недавно. К проекту создания артели детских игрушек он отнессся с подозрением, как к новому хлопотливому делу. Но инициативный посетитель сразил его авторитетным мнением Глущенко:

— Захар Алексеевич в восторге,— почти выкрикнул Демкин. — Депутат дал блестящую оценку этой идее!

Нахмурив для солидности лицо, заведующий пробовал защищаться. Но его слова звучали уже бессильно:

— Вам же потребуется помещение, специалисты... Где я все это возьму?

— Иван Васильевич...— заглядывал в глаза Перепелкину Демкин, предварительно узнавший у секретаря имя и отчество заведующего. — Иван Васильевич, теперь требуется только ваше разрешение. Именно ваше. Помещение есть, специалисты подобраны.

— ...Оборудование, материалы нужны будут,— не унимался Перепелкин. — Без художника не обойтись...

— Все предусмотрено... Все налицо. Материалы на первый случай имеются. Деревообделочный станок есть... Универсальный. Люди... Люди — чепуха. Вот они...

Демкин поспешно развернул измятую четвертинку бумаги и положил ее перед Перепелкиным вместе с клочком газеты, остро пахнущей селедкой. Заявление было выведено химическим карандашом:

«Плотники:

1. Родион Дубосеков,

2. Юлиан Ржава...

— Погоди-ка... Это не тот Ржава? — Перепелкин, потирая лоб, задумался.

— Да, да! Тот,— поспешил Демкин на помощь. — В областной газете фельетончик был про него. Парень отсидел положенный срок. По всему видно,— исправился...

Далее в списке значилось:

Слесаря:

1. Никита З. Демкин,

2. Бор. Кобцев.

Художник:

1. Моряк.

— Что это — имени у человека нет? — снова спросил Перепелкин, ставя против клички точку и резким росчерком пера зачеркивая все номера.

— М-м... — промычал Демкин смущенно. Список он составлял, даже не поговорив со своими будущими коллегами. Ему важно было сегодня добиться решения вопроса в принципе. Уловив на себе вопросительный взгляд заведующего, он соврал:

— Есть имя. Документы у человека в порядке...

— В общем, давайте договоримся так,— туманно заявил Перепелкин, еще не веря в осуществление этой затеи. — Идите организуйте работу. Когда подойдете вплотную к делу — позвоните мне. А я денька через два-три подъеду с товарищами... На месте все утрясем: насчет патента, с номенклатурой...

— Есть! Есть! — вскочил Демкин и попятился к выходу. Уже из коридора он, еще раз заглянув в кабинет Перепелкина, добавил, словно выполнял приказ: — Все будет исполнено!..

* * *

В первых двух работниках артели Никита Захарович не сомневался. Брат жены, престарелый Родион Дубосеков, еще с весны жил у Демкиных, перебиваясь случайными заработками по плотницкой части. Ржава после освобождения из заключения слонялся по поселку без дела, пьянствовал. Бориса и Гешку организатор артели уже давно приметил, встречая их на рынке с нехитрыми изделиями. Бориса он считал окончательно отбившимся от группы.

Комплектование штатов Демкин начал с Бориса. На другой день он постучался к Кобцевым.

Представившись большим другом Дмитрия Авдеевича, посетовав о горькой вдовьей жизни хозяйки, Никита Захарович с печальным лицом сочувственно выслушал ответные слова Василисы Кузьминичны.

— Забыли о нас добрые люди!

Под конец беседы женщина повернула на свое, наболевшее:

— Сладу нет с Борькой. Ведь правду говорят: «С малыми детьми и горе малое, а с большими — большое». Теперь вот совсем не у дел — убег из училища. Стыдно на глаза Захару Алексеевичу показаться. И его отцовского слова не послушался, проклятый.

— А я как раз по этому делу пришел, Кузьминична,— оживился гость.

Чтобы окончательно огорошить Василису Кузьминичну, Демкин извлек из бумажника две хрустящие десятирублевки.

— Считайте сынка зачисленным. А это, так сказать, аванс... Купите ему подарочек по вкусу...— Последнюю фразу он сказал, по-шулерски прищурив левый глаз.

У женщины от неожиданности вздрогнули брови. Она вопросительно поглядела на гостя, раньше никогда не замечавшего нужды Кобцевых.

— Не знаю, чем и отблагодарить,— запричитала Василиса Кузьминична. — Борька-то, поди, обрадуется. Без сапог он у меня... Только вы уж на поезда его не посылайте... Не ровен час...

С Моряком все вышло еще проще. Его привел в демкинский дом Ржава.

— Вот этот мальчонка, что уголь сбрасывал... Он самому Пикассо нос утрет...

Гешка хотел было раскрыть перед Демкиным свой блокнот.

— Жрать, поди, хочешь? — мрачно спросил Демкин мальчика.

— Ага...

— Ну, пойдем, накормлю...

Он сам нашел кастрюлю, налил большую миску щей — жена где-то была у соседей.

— С пьяницей надо говорить о деле над стаканом, с голодным — над куском хлеба,— вслух философствовал Демкин, косясь на Юлиана.

Моряк ел, сопя и недоуменно поглядывая в выбритое лицо бывшего руководителя кружка в Доме пионеров.

Сначала мальчик думал, что Демкин заманил его в дом, чтобы отомстить за порванное Карандухом пальто. Идея-то насчет рукавов была его, Моряка. Но Никита Захарович даже не вспомнил об этом.

— Хочешь каждый день есть такие щи... по три раза?

— Сам царь не отказался бы... — простодушно сознался мальчик.

— Так за чем остановка? Поступай ко мне на котловое довольствие. Будешь игрушкам глаза вставлять — раскрашивать их... Сможешь?

Скептически обозрев будущую штатную единицу с головы до ног, Никита Захарович дал Моряку три рубля и отослал в баню. Когда мальчик пришел из бани, в прихожей лежало добытое с чердака, выстиранное старое солдатское обмундирование: гимнастерка, брюки галифе. Нашлись даже кирзовые сапоги со свежими латками на сгибах.

— Начальство придет нас смотреть... — инструктировал художника Демкин,— держись молодцом, как и подобает на государственной службе. Спросят, сколько лет — шестнадцать, говори... А эту дрянь выбрось, — указал он на бескозырку. — Срамно глядеть на нее...

Кивая головой, мальчик молча соглашался с наставлениями. Но когда дело дошло до бескозырки, рванул её из рук Демкина, попятившись к двери.

— Хозяин! — обратился Ржава каким-то наигранно-театральным голосом к Демкину. — Если хотите иметь новые игрушки, не отнимайте у детей то, чем они игрались до сих пор. Вы же сами говорили, что для детей игрушки — вещь серьезная...

Демкин повиновался.

ГЛАВА 12

«Здравствуйте, дорогая Нонна Федоровна!

До Вашего отъезда на Крайний Север я представляла себе этот край только по книгам: нагромождение торосов, заснеженные равнины, дощатые жилища отважных исследователей. А еще — белые медведи, лазающие в студеную погоду по крышам потонувших в сугробах домов.

Сейчас ко всему этому добавился... огонек. Зажмурю

глаза — и вот он горит передо мной: радостный, лучистый, живой. Вроде маяка. Хоть и далеко до него, но зато путь верный. Этот огонек для меня — Ваше сердце. Вы сами...

За последние недели я увидела и передумала столько, что от этих дум стала кружиться голова. Чуть не потеряла себя. Говорят, в юные годы это случается нередко. Неужели и с другими так часто и так суматошно, как со мной? Нет, нет. Это все оттого, что я хуже всех и глупее всех.

Еще в детстве я где-то вычитала: жизнь такова, какими глазами на нее смотришь. От себя хочется добавить: чьими глазами смотришь. Сначала я смотрела на жизнь глазами Виталия Иннокентьевича. Он храбрый (четыре года провел на фронте), рассудительный, спокойный. Потом встретила Вас, Нонна Федоровна, и мне открылся совсем новый мир — радостного восприятия жизни, веры в себя, бесконечной веры в красоту души людей; в их умении делать жизнь интересной повседневно.

Теперь вот новое открытие — Касьян Иванович Зуб, наш мастер производственного обучения в депо. Такого человека нельзя выдумать, а чтобы описать его, потребуется целая книга.

Но что за человек Зуб? Как можно оценить его жизнь? Три войны перенес на своих плечах, получил несколько тяжелых ранений... Два сына были — оба погибли в Отечественную войну. А он (чуть не сказала привычно и страшно холодное слово — «ничего») выстоял, уберег в себе Человека. Только лицом посуровел, словно кора дуба, потрескалось оно. А посмотрели бы Вы, как он умеет радоваться нашим пустячным первым успехам.

...Принес позавчера Гриша Азаров на преподавательский стол обработанную поковку. Мастер долго рассматривал — видеть он стал хуже,— пальцами провел и вдруг обнял Гришу.

— Спасибо,— говорит,— сынок, обрадовал старика...

И все это вышло так обыкновенно и вместе с тем трогательно, что мы чуть не лопнули от зависти. Гриша-то далеко не из лучших «слесарей» группы... Был не из лучших, а теперь посмотрите, как орудует у тисков! Ведь ему сам Зуб спасибо за работу сказал!

Да, Касьян Иванович не из таких педагогов, которые воспитывают издали, через своих помощников. Обучает такой педагог вверенных ему людей два и четыре года. И за все эти годы не находит минуты, чтобы с каждым

поговорить, как человек с человеком. И вот Иванов становится хорошим, а Сидоров — плохим. При случае Савостин скажет про Иванова: «Это мой воспитанник!» А про Сидорова или совсем промолчит, или буркнет что-нибудь о врожденных недостатках. А что он лично дал хорошего Иванову или Сидорову, от чего плохого уберег их — не знает.

...Запорол как-то Саша Нестеренко поковку кронциркуля и говорит в отчаянии:

— Не будет из меня слесаря. Руки не туды вставлены... (Это у мальчишек поговоркой стало.)

Зуб подошел к нему:

— А ну-ка, покажи, что у тебя с руками?

Саша, конечно, растерялся. Спрятал руки за спину, вытер там немножко и несмело положил их на широкие ладони Касьяна Ивановича. А они и взаправду у него, в сравнении с зубовскими, никуда — маленькие, пальцы тонкие. Мастер, что твой доктор, поглядел на ребячьи руки, потом сказал:

— Не наговаривай, сынок (и ему «сынок»!), напраслины на свои руки... Настоящие они у тебя. Для больших дел вполне годятся, о! (Он часто окает по привычке.) Потом уже добавил: — Из таких рук у отцов ваших молоток не выпадал, и винтовка в них держалась крепко.

Мы часто впадаем в отчаяние от первого неудачного столкновения с жизнью. Спешим делать выводы: «Жизнь не удалась!» Не пахали и не сеяли, не валялись по госпиталям от тяжелых боевых ранений, не хоронили в братских могилах своих кровных друзей... А ведь это все возможно, к этому нужно быть подготовленными, не правда ли?..

Когда я устаю от впечатлений и дум, хочется иметь рядом такого Человека, которому без колебаний подала бы свои руки и сказала: «Веди!..» А самой — закрыть глаза и ни о чем не думать... Потом вдруг открыть глаза и увидеть: ты на той дороге, которую поначалу не увидела сама, а лишь чувствовала ее сердцем поблизости, мечтала о ней.

Как я счастлива, что в шестнадцать лет у меня есть такие люди — огоньки!

Правда, я — сумасшедшая?

Т. Гуторкова.

P. S. Между прочим, Вашего «кавалера» — Борьку Кобцева — отчисляют. Мы всей комсомольской группой попросили об этом начальника депо. Борис был как белая ворона среди нас. Путается под ногами со своими мальчишескими выходками, уже «выкинул номер» на глазах у Касьяна Ивановича, а старика надо беречь от лишних волнений. Из Карандуха все равно не будет Человека.

Т. Г.»

* * *

...«Слабею»,— все чаще отмечал про себя Зуб. Его одолевала бессонница. По ночам Касьян Иванович подолгу ворочался с боку на бок, шарил рукой по подоконнику, отыскивая спички. Свесив костлявые сухие ноги с кровати, закуривал.

В ворчливых словах полусонной супруги слышалась суровая жалость:

— Говорила: уходи на пенсию. Сорок второй год уже на службе. Намаешься с этими чертенятами за день, и сон в голову не идет. — Дремотная мысль ее перескакивала с одного предмета на другой. — Двое вас таких неприкаянных осталось по Кряжу: ты да Захар. А может, и на всей земле двое... Сами себе хлопот ищете...

В ответ только слабое зарево огня да потрескивание самосада в трубке.

Худая, сгорбленная фигура мужа в ночном полумраке кажется Ирине Даниловне страшной: «И как это он еще хорохорится на людях»,— раздумывает она.

— Ты, мать, не ругайся,— иногда откликнется Зуб,— вот еще одну группу до ума доведу — и шабаш... — Касьян Иванович по привычке называет ее «матерью», еще с той поры, когда их дом звенел голосами детей. — А Захара пустым словом не замай. Он человек большой, до последнего вздоха народу служить будет...

Шли месяцы, годы. На глазах у супругов вспыхивали зеленью и покрывались желтизной деревья, отращивали крылья и разлетались повсюду возмужавшие воспитанники Касьяна Ивановича, а ему все не хотелось оставаться не у дел.

— Ну, вот еще одну группу,— виновато бормотал он. — Это уже последняя. Хорошие ребятки попались...

...Хваля ребят нынешней группы, старый мастер не кривил душой. За три недели он довольно хорошо озна-

комился с практикантами. Ему удалось побороть у отдельных ребят возрастные привычки: робость в обращении с металлом, боязнь контроля, рассеянность за верстаком. Мастер не скупился на похвалы.

— Верно, сынок! — одобрил он как-то, заметив, что Леня Жихарев по-своему, не так, как объяснял Зуб, притирает клапан водяного насоса.

...Вскоре после ухода из группы Бориса мастеру стало казаться, что ребята без особой разницы во времени, да и качестве, выполняют свои задания. Эта одинаковость в работе сначала пришлась по душе ему. «Дружная группа! — говорят о таких. — Ни одного случая нарушения дисциплины. Чего еще?»

И все же здесь что-то было не по нраву Касьяну Ивановичу. Что именно — он пока не мог отгадать.

Опыт работы с молодежью подсказывал Зубу, что в коллективе должны быть трудолюбы и лентяи, приверженцы данного рода занятий и кочевники. Каждый практикант в этот период испытывает на себе радости и горечь облюбованной им профессии, видит ее лицевую и оборотную стороны.

В нынешней группе Зуба наступило торжественное успокоение. Наступило оно внезапно, на другой же день после бегства Кобцева, как будто и в самом деле он один был причиной всех неурядиц.

Касьян Иванович искал действительной причины такого странного явления. Перебирал в памяти лица своих питомцев. Перед ним чаще других мелькало миловидное личико Тони Гуторковой, которая с детским восторгом относилась к мастеру. Она как бы олицетворяла собой всю группу.

В день скандала с Борисом Тоня подошла к мастеру и, прижимая к груди перевязанную руку, попросила разрешения провести в мастерской комсомольскую летучку. Вежливая девочка эта позабыла пригласить его.

На другой день преподнесли ему сюрприз в виде заявления на имя директора. Зуб ни словом не обмолвился насчет судьбы этого заявления. К недоумению практикантов, он не разрешил Дусе занимать свои прежние тиски. Они оставались свободными, напоминая всякий раз о том, что дело Карандуха не окончено.

— Вы теперь довольны группой, Касьян Иванович? — спросила как-то Гуторкова. Глаза ее — сплошное ликование. — Пожалуйста, не обижайтесь на нас за Кобцева.

Зуб хотел ответить что-либо сдержанно, но получилось явно неласково:

— Все вы еще — Карандухи!

— Ну что?.. Что он сказал? — подступили к комсоргу сверстники. Девушка бойко повторила:

— Отстаньте, Карандухи!

Однажды перед началом занятий Касьян Иванович увидел в мастерской групповую стенгазету «Молнию». Поверх исписанного и разрисованного листа бумаги был выведен яркий заголовок: «Возродим лучшие традиции нашего депо. Установим комсомольский контроль за сроком службы станков и инструментов».

Зуб просиял. Это ему принадлежал нашумевший в свое время по всей дороге зачин соревнования за продление сроков службы железнодорожного оборудования. «Молодцы! — отметил про себя Зуб.— Обрадовали старика...— Постой,— размышлял он немного спустя,— не подхалимство ли это, тоже... коллективное? Ведь я и без того требую от них содержать инструменты, рабочее место в образцовом виде...»

В другой раз его удивил Ким Ампилогов, сын электросварщика из промывочного цеха. Ким был длинноруким, как и его отец Петр, но неловким и рассеянным в работе.

Запиливая паз в корпусе ножовки, подросток часто посматривал в окно, за которым разыгралось настоящее сражение школьников в снежки. Он неловко качнул рукой и отломал кончик круглого напильника. От неожиданности Ким даже ойкнул, как девчонка, чем сразу же привлек к своей беде внимание.

Сочувствующих не нашлось.

На другой день Ким принес мастеру из дому точно такой напильничек.

— Отца раскулачил, побоялся в «Молнию» попасть? — спросил у него мастер, все еще не решаясь: брать ли у практиканта инструмент. Напильник он мог просто списать.

— В «Молнию» я уже попал,— кивнул Ампилогов-младший на очередной номер стенгазеты.— Тут, Касьян Иванович, дело хуже: ребята меня в один ряд с Карандухом ставят. Так обидно...

Мастер приходил к выводу, что случай с Кобцевым был редким примером, когда паршивая овца не испортила стада, а с виду даже оздоровила его.

Однако как же быть в таких случаях с «овцой»?

ГЛАВА 13

В четверг Ирина Даниловна повстречала у молочного магазина свою дальнюю приятельницу, Ксюшу Романову. Ксюша приехала в Кряж к замужней дочери. Она поведала Ирине Даниловне последнюю новость — о прибытии в угольный край первой группы переселенцев из Аргентины. Поохали, поахали подруженьки, вспомнили о своих детях, погибших на войне, и разошлись в слезах.

Всегда веселая Ксюша пошла по своим делам дальше, а Ирина Даниловна долго не могла успокоиться. Ночью появились боли в сердце.

Поутру Зуб сам разводит керогаз, греет чай, лезет в подвал за вареньем. Мастеровой человек, взрастивший обильное племя умельцев по обработке металла, в домашних делах чувствует себя, как безнадежный практикант.

Воспаленные глаза Ирины Даниловны расширяются от ужаса, когда в кухне валится что-нибудь с полки или по полу, противно звеня и раскалываясь, катится блюдце.

— Ох, убавь газу... Ох, не хватай тарелку одной рукой..

В воскресенье, вдобавок, Касьян Иванович сам проснулся с подозрительным шумком в голове. Тут же он вспомнил причину своего недомогания: накануне выходного дня молодая чета Сырцовых зазвала его на новоселье. Отказаться старик не смог, уговорили зайти «хоть на минутку». После первой рюмки подставили вторую. Кто-то из компании, чтобы окончательно обезоружить старика, предложил тост за здоровье Ирины Даниловны.

Благо, что супруга попросила его раньше сходить на рынок за телятиной — крупный разговор о причине вчерашней задержки «с работы» откладывался.

Посещение рынка Зубу не приносило радости, подобно той, которую испытывала, например, его хозяйственная половина... Касьян Иванович не любил базары. Людей, зараженных торгашеством, презирал. Чтобы поскорее избавиться от неприятного общества разношерстной публики, он всегда приобретал все необходимое без словесной перепалки, платил столько, сколько потребуют, чем приводил супругу в уныние и надолго отбивал у нее охоту посылать его за покупками.

...Касьян Иванович прошелся у мясных рядов. Там он неожиданно увидел Демкина. Никита Захарович тоже заметил Зуба. Осклабившись, он приподнял над головой

шапку в знак приветствия. В руках Демкина ничего не было. Он бродил по базару, вероятно, в надежде встретить знакомых, послушать от заезжих людей новости.

Уже с покупками в руках, проталкиваясь сквозь говорливую толпу к выходу, Зуб услышал звонкий детский крик:

— Коврики, коврики! Налетай на коврики!..

Чистого тембра, певучий и сильный, голос этот, как стрела, пронизывал глуховатый рокот толпы. Зуб невольно посмотрел в сторону кричавшего, хотя никакие коврики его не интересовали.

У ворот рыночной ограды суетился обладатель звонкого голоса — незнакомый Касьяну Ивановичу низкорослый паренек в морской бескозырке. Мальчишка не только зазывал покупателей. Он, потирая озябшие руки, расправлял у ограды продолговатые листы плотной бумаги, на которых были наспех нанесены яркие рисунки. Ему помогали: женщина в длинной цыганской юбке и подросток, который все время сидел на корточках, выравнивая гвозди.

На одном листе красовался букет цветов, напоминающий взрыв бомбы. У подножия этого взрыва в белой лужице плавали карликовые лебеди, размером не больше бутона цветка.

— Эй, навались, у кого деньги завелись! — снова выкрикнул юный торговец ковриками и притопнул ногами, обутыми в обыкновенные женские румынки. Зуб с усмешкой заметил, что у румынок начисто отсутствовали каблуки.

— Коврики! Коврики!

Обозрев всю развешанную вдоль забора продукцию базарного живописца, Зуб, словно по наитию, еще раз покосился в сторону сидевшего на корточках подростка и чуть не вскрикнул от неожиданности: это был Кобцев.

Борис извлек из-под полы шинели две металлические рамочки для портретов и постукивал ими одной о другую, чтобы привлечь внимание покупателей. Мальчик сразу заметил бы стоявшего в десяти шагах от него Зуба, если бы поглядел в его сторону. В отличие от веселого «художника», лицо Карандуха выражало неодолимую скуку. Он глядел куда-то поверх людских голов, в темно-серые снеговые тучи, угрюмо застлавшие небо.

Вся эта картина показалась ошеломленному Зубу на-

столько отвратительной, словно на глазах равнодушной толпы совершалось преступление,— погибал человек.

Но вот Борька Кобцев заметил Зуба. Он вздрогнул всем телом, как от удара, сунул рамочки за отворот шинели и, сея вокруг себя озлобленные выкрики встревоженных людей, исчез...

Приходу Касьяна Ивановича Василиса Кобцева не обрадовалась. Она даже не отозвалась на стук в дверь, хотя видела из окна, как на крыльцо дома взошел высокий мужчина с кошелкой в руках.

— Вы знаете, зачем я пришел к вам? — почему-то спросил Зуб, так и войдя в дом без разрешения.

Василиса Кузьминична ответила просто, без всякого сомнения:

— Знаю. На Борьку жалиться. Больше к нам никто из чужих людей ни за чем не ходит.

Несмотря на воскресный день, хозяйка был одета неопрятно. Присев к незваному гостю боком, она наклонила голову, словно приготовилась к удару.

Касьяну Ивановичу вдруг стало жаль эту женщину. Ей давно набили оскомину пересуды людей о плохом сыне.

Зубу хотелось повернуться и, не говоря ни слова, уйти. Да, он, подобно десяткам «чужих» людей, хотел начать разговор с упреков, с энергичных «почему?», «отчего?». Но разве не ясно, что матери самой хотелось бы кому-либо из рассерженных посетителей задать такой же вопрос. Нет, уходить нельзя. От всех трудностей не спасешься бегством.

— Кто это смастерил? — указал гость взглядом на узорные в латунной оправе рамочки между окнами. Этот вопрос можно было бы и не задавать, потому что Зуб хорошо помнил хозяина дома.

— А все Митрий...— безразлично ответила хозяйка. Помолчала и добавила: — Рамку к его карточке Борька выпиливал.

— Я знал Дмитрия Авдеевича...

— А кто не знал его? Портреты в газетах печатали. Для московских Дворцов венки разных цветов отливал... Друзья и приятели, бывало, из хаты не выходили. А теперь вот — одна горе мыкаю. Дураком сын растет. Говорю надысь: сходил бы на склад, уголька грудочку прихватил... Другие тащат.

«У меня у самого двое сынов погибли на фронте», —

хотелось сказать Зубу. Вместо этого вырвалось только окончание задуманной фразы:

— Пустому делу наставляете сына.

Но тут же пожалел о реплике, потому что молчанию Василисы Кузьминичны пришел конец. Она вскочила и, дробно перебирая дрожащими губами, закричала:

— А вы бы хорошему его научили! Нешто я враг ребенку своему, поругала бы его за хорошее? Пороги обиваю со слезами: начальники мои дорогие, научите сироту уму-разуму, выведите его в люди...А они Бориса из школы — вон, из Дома пионеров — вон, из училища тоже, как собаку, гонят... Дразнят да бесчестят...

Женщина сыпала словами как из рукава. На какой-то миг она передохнула, а потом заключила, гневно блеснув глазами:

— А Борис мой не хуже других. Митриев прав у него — упорный. Рукодельный он... Борька еще докажет, на что он горазд.

Касьян Иванович так ни до чего и не договорился с матерью Бориса.

Неизвестно, какими словами мать передала Борису об очередном посещении их жилища «начальством» (может быть, поколотила в сердцах), только Карандух в эту же ночь залез на крышу зубовского дома и рваным пиджаком туго забил дымоход.

ГЛАВА 14

Цех практикантов считался самым шумным в депо. Если мастеру требовалось приостановить дружный скрежет трех десятков напильников или сатанинскую перекличку молотков, он брал свой молоточек за длинное цевье и легонько барабанил им по ближним тискам. Молоточек этот в группе именовали «дирижерской палочкой». Он издавал тоненький, словно звон серебряных монет, призывный звук... Шум сразу стихал. Ребята наскоро вытирали руки, поворачивались лицом к мастеру.

Чаще всего в такие минуты Зуб предупреждал питомцев о возможных ошибках при обработке деталей. Иногда молоточек яростно бился в руке мастера, возмущенного шалостью учеников. Взгляд Зуба при этом становился пронзительным.

Сейчас, заслышав призывный звон «дирижерской па-

лочки», ребята не заметили на лице Зуба недовольства. Старик затевал что-то новое.

— Вот что...— в раздумье начал мастер. Пришедшая в голову мысль захватила его врасплох. Он не успел подготовиться к разговору.— В нашем поселке есть одна семья. Ну, может, и не одна, после узнаем. В общем, семья фронтовика, о! Хозяин-то погиб на фронте, а домик, того... продырявился. Конечно, я мог бы сходить в местком, в военкомат заявить — помогли бы. Но тут одна закавыка есть... Идите поближе,— махнул он рукой, все еще не выпуская «дирижерской палочки».

Ребята, словно участники заговора, молча обступили мастера. Но Зуб коротко заключил:

— Я так думаю: помочь людям нужно, о!

— А кто эти люди?

— На какой улице?

Касьян Иванович только пробасил в ответ.

— После все узнаете. Поначалу давайте-ка создадим ударную бригаду... Нужно пять человек: четыре мальчика и одну девочку...

— Одну девочку...— повторила последние слова, шумно вздохнув, Дуся Кутепова. Она с завистью смотрела на Тоню — та ведь групкомсорг...

— А почему только пять человек? — выкрикнул далеко стоявший от Зуба Леня Жихарев. Он явно рисковал не попасть в ударную бригаду.

— Да чтобы шуму поменьше. Пришли, незаметно сделали что надо, и все.

Это было уже похоже на заговор. Касьян Иванович понимал, что недомолвками он лишь подогревает сердца своих питомцев.

Группа загалдела. Каждый выкрикивал свою фамилию. Леня Жихарев попробовал было пустить в ход локти, но встретил серьезное припятствие в лице Кима Ампилогова. Ребята заспорили. Крик продолжался до тех пор, пока Зуб не догадался опять прибегнуть к «дирижерской палочке».

Ударную бригаду решили назначить по алфавиту. Создали еще пять таких групп.

В первую пятерку на законных основаниях вошли Гриша Азаров, Витя Бабаков, Тоня Гуторкова и Леня Жихарев. Радика как старосту Зуб кооптировал в эту бригаду.

Первая бригада отправилась на секретное задание сра-

зу. Лишь на полдороге Зуб решил признаться, что ведет их к дому Кобцевых. К его радости, ребята, увлеченные самой идеей оказания помощи семье фронтовика, не обиделись. Лишь Радик, который не переносил Бориса, недовольно хмыкнул и многозначительно засвистел.

Настоящий сюрприз им приготовила хозяйка дома. Оглядев группу возбужденных ребят, она опешила, попятилась от порога к столу. На шумное разноголосое приветствие подростков отозвалась словами, полными отчаяния:

— Значит, с обыском пришли... Бориску словить захотели?

Ребята, как по команде, дружно захохотали. От их смеха Кобцевой не стало легче. Василиса Кузьминична растерянно оглядывалась, пряча глаза, предчувствуя недоброе. До нее уже дошли слухи про испорченный Борисом сварочный аппарат. Тоня догадалась, что наступила ее пора действовать.

— Мы вам помочь пришли, понимаете, помочь по хозяйству.

— А Борис ваш нам и даром не нужен! — не удержался Радик. Зуб погрозил ему пальцем и сам объяснил, зачем здесь появилась ударная группа.

В душе Василисы Кузьминичны наконец произошел перелом. Она часто заморгала и поднесла к глазам передник. Всплакнув, сказала примирительно:

— Ну, а с чего начинать, не знаю. Давайте вместе подумаем.

По команде Зуба трое ребят полезли на крышу — ее нужно было основательно починить. Двое разбирали ограду. Зуб еще с прошлого прихода заметил перержавевшую петлю на двери и принялся менять ее.

Тоня, оставшись с Кобцевой наедине, прежде всего попросила у хозяйки передничек. Надев его, предложила просто:

— А теперь давайте познакомимся! Меня зовут Тоня...

Женщина протянула ей руку.

— А меня зовут Васькой... По-благородному я — Василиса Кузьминична, а кому запросто — называют тетя Васька.

— Ой, как интересно! — воскликнула Тоня, выволакивая из-под лавки тряпку.— Я и не знала, что женщин могут такими именами наделять... По-благородному мне не нравится. Я вас тоже буду звать тетя Вася, ладно?

— В хороших устах и корявое слово поется! — махнула Василиса Кузьминична.

Пока ребята штурмовали крышу, копали ямы под новую изгородь, Тоня перетирала мебель, готовила мел для побелки.

Забрызганная мелом, Тоня выскочила во двор и крикнула ребятам, чинившим крышу:

— Эй вы, потише там...

На ее возглас обернулся Леня Жихарев и, состроив гримасу, сказал, подражая преподавателю черчения:

— Не похвально вмешиваться в чужие дела...— И добавил зубовское: — О!

Тоня сделала ему рожицу и побежала в дом.

К наступлению сумерек внутри дома остро пахло сыростью, однако и посветлело, даже стало как-то просторнее.

За это время Тоня и Василиса Кузьминична узнали друг про дружку многое. Но хозяйка дома все же не решилась сказать девушке о переходе Бориса в демкинскую артель. Правда, не все с этой артелью было ясно для нее самой.

Управившись со своей работой раньше других, Тоня и Василиса Кузьминична затеяли просмотр новых вышивок.

Девушку поразило мастерство самой хозяйки. Василиса Кузьминична развернула перед Тоней льняную скатерть со сложными узорами; показала две неоконченные заготовки для мужских сорочек... Были у нее и небольшие скатерочки, обильно усыпанные затейливыми рисунками по канве.

В сердце девушки пробудилась зависть к своей новой знакомой.

— Если бы вы знали, как мне хочется переснять у вас вот этот узор! — сказала Тоня, любуясь обшлагами на женской сорочке.— Научите меня, тетечка? Я буду каждый день к вам приходить, хорошо?

— Господи, не сон ли это? — спросила Кобцева кого-то третьего и, счастливо засмеявшись, опустила руки на плечи девушке...

* * *

Однажды Тоня зашла в угловой промтоварный магазин, где лежал облюбованный ею джемпер, и стала пробираться сквозь людскую толчею к прилавку. Ей хотелось

хоть краешком глаза взглянуть на свою будущую покупку.

Вскоре она уже стояла за спиной довольно грузной тети, которая, отойдя, должна была уступить ей место у прилавка. Наконец тетя ушла. Но почти сразу рослый, худощавый продавец, вынырнув из-за ширмы, опустил с плеча прямо перед Тоней тяжелый сверток крепфая...

— А она у вас высокая, солидная?..

— Да как сказать... Вот, примерно, как эта гражданочка,— прогудел над самым ухом низкий мужской голос, и Тоня мгновенно узнала в говорившем Касьяна Ивановича.

— Э-э, да тут знакомые,— вдруг проговорил Зуб, увидев Тоню.— Ну давай, дочка, помогай выбирать на платье...

«Неужели он станет расспрашивать, зачем я сюда пришла? Ах, какая неосмотрительность! Не смогу же я лгать этому человеку...» — роились мысли в голове девушки. Но мастер, к счастью, оказался человеком нелюбопытным.

— Ну как, сойдет на платье? — поднес он к глазам практикантки развернутый кусок материи.

— Сойдет, сойдет! — проговорила Тоня, глотая подступивший к горлу сухой комок. Взгляд ее скользил по свертку.

— Ну вот и обрадуем старуху,— заметил Зуб, видимо считавший свой выбор окончательным.

Тоня мысленно представила супругу Касьяна Ивановича в ярко-зеленом в мелкий горошек платье, и ей стало смешно. Нужно было спасать мастера, а заодно исправлять свою ошибку. Она тронула Зуба за рукав:

— Касьян Иванович, для бабушки это не идет...

— При чем здесь возраст? Она у меня сегодня именинница!

— Все равно не годится,— уже смелее наступала Тоня.— Я знаю, что ей не понравится такая покупка...

Зуб нехотя отошел от прилавка.

По обескураженному виду мастера девушка вдруг поняла, что ее мудрый наставитель ничегошеньки не смыслит в покупках для женщин. Это был первый случай, на котором девушка убедилась в несовершенстве своего наставника.

— Хотите, я вас выручу,— решительно предложила Тоня.— Я знаю, что понравится вашей супруге.

— Откуда это ты все знаешь, курносая? — полюбопыт-

ствовал с усмешкой мастер.— Ну, говори, коли знаешь...

— Берите джемпер, вон тот,— и Тоня, встав на цыпочки, показала на полку, где пока еще лежал приглянувшийся ей джемпер. Зуб долго и придирчиво рассматривал предложенный Тоней подарок, потом молча побрел к кассе. Но и получив джемпер, Тоню от себя не отпускал.

— Вместе покупали, вместе дарить будем.

Тоня покорно пошла рядом, совершенно не зная, как нужно себя вести в доме знаменитых людей. По дороге она спросила:

— А жена у вас сердитая?

— Злая! Иногда крепко достается от нее.

— Вы шутите,— засмеялась девушка.— Разве вас можно обижать? Вы такой особенный, вас все любят...

— Что же во мне особенного? Старый — только и всего. Был помоложе, побегать любил да и шалил крепко, о!

Девушка опять рассмеялась, представив Касьяна Ивановича в роли озорника.

Ирина Даниловна оказалась вовсе не злой. Узнав, что с мужем пришла его ученица, она просияла, заставила Тоню раздеться и — чего страшно боялась юная гостья — усадила ее за стол отведать пирожков.

Подарок хозяйка оценила восторженными словами, сразу догадавшись, что здесь не обошлось без постороннего человека. По адресу Тони сыпались из ее уст комплименты.

— Ах, какая ж ты милая! Красавица! Умница!..

Смущенную практикантку выручил хозяин. Он увел ее в свой рабочий кабинет. Здесь были чернильные приборы, статуэтки, кубки, в разное время выполненные руками самого мастера. Были и такие, на которых стояли дарственные надписи. Юная гостья с интересом осматривала все это.

Зуб следил за тем, как с предмета на предмет Тоня переводила взгляд чуть расширенных от изумления глаз. Он несколько раз брал в руки и ставил обратно на стол фигурку коня, желая тем самым обратить внимание девушки на это изделие. Но взгляд девушки, притухая на мгновение, упорно перепрыгивал с этой фигурки на другие предметы. Зуб не вытерпел:

— Ты знаешь, кто сделал этого конька?

Несколько секунд Тоня молчала.

— Знаю...— вдруг спокойно и твердо заявила она мастеру.— Это... Борька Кобцев.

— Позволь! — вскочил Зуб, от неожиданности выкрикнув это слово.— А откуда ты знаешь?

— Не сердитесь, Касьян Иванович! — умоляющим тоном заговорила ученица.— Мы все знаем: и о вашем разговоре с Труваленко, и о том, что вы сначала сами ходили к Кобцевым домой, а потом ругались по телефону с Виталием Иннокентьевичем за Карандуха. Вы не сердитесь,— еще тише добавила она,— у нас в группе такие вредные мальчишки, они ходят за вами по пятам, все узнают, а потом мы совещаемся...

— Но ведь это же нечестно! — возмутился Зуб, небрежно кинул на стол коня. Тоня тут же подхватила и поставила фигурку на место.

Выкрикнув еще несколько сердитых фраз, мастер ушел в соседнюю комнату. Спустя несколько минут, возвратился присмиревший, но, судя по глазам, недовольный.

— А если нам поговорить с ребятами откровенно? — допытывался он.— Рассказать им начистоту. Поймут?

— Н-нет, наверное... Касьян Иванович, они очень вас любят, поэтому не поймут. Они хотят вас избавить от Бориса. Мы так все договорились еще в училище...

— Ну, а ты вот понимаешь, что Кобцев нужен группе, что ему нет иной дороги в жизнь?

— Н-нет, пока не понимаю,— искренне созналась Тоня.— Но я как секретарь комсомольской группы обязана вас поддерживать... Я... буду за вас, если это надо...

— Ну и на том спасибо,— сердито буркнул Зуб.— Хоть по обязанности на моей стороне. Хорошо, товарищ секретарь, вот тебе первое поручение по обязанности: сходи-ка к Борису и скажи ему, чтобы он забрал своего конька. Касьян Иванович тут же завернул медную фигурку в бумагу.

— Ой, что вы? Он боится вас. Ведь вы же, наверное, не догадываетесь, что трубу-то на вашем доме заткнул он.

— И об этом группа знает? — горько усмехнулся мастер.— Но ты передай, что я не сержусь. Или вот как скажи: мол, Касьян Иванович делает одну вещичку и просит помочь ему... Да, да, так и скажи. А коня... просто отнеси и отдай ему. От меня, мол, вроде подарка. Сходишь?

— Да мне-то что?! — отозвалась девушка на ласковую улыбку Зуба.— Я сегодня же все-все сделаю. И с ребятами в группе поговорю. Только вы не сердитесь на нас, Касьян Иванович. Мы хотели как лучше для вас...

— Ладно, ладно, комсомолия,— уже совсем подобревший пробормотал Зуб. Тоня взяла коня и, попрощавшись с хозяевами, ушла.

ГЛАВА 15

...Работа в артели сначала пришлась Борису по душе. Это было, по существу, первое его настоящее дело. Здесь он чувствовал себя не учеником, а взрослым человеком, что ему особенно нравилось. Правда, делать пока приходилось самые простые вещи: закреплять концы проволоки в игрушках, обжигать спирали, ставить заклепки.

Председатель артели, как именовал себя Демкин, сразу же оценил трудовой запал юного Кобцева. Он пообещал допустить Борьку к станку, где пока хлопотал один старик Дубосеков.

Чудной этот дедок! Несмотря на то что был здесь старшим по возрасту и состоял в родстве с председателем артели, он не возносился над другими, не фискалил. Правда, вел он себя в рабочее время совсем по-домашнему: кряхтел, распиливая толстые доски на бруски, затейливо матерился с досады, если что-либо получалось не так, ругал Никиту Захаровича и «всех богов и боженят...».

Юлиан Ржава уже в первые дни выбился в «начальники по снабжению». Свои обязанности выполнял с ожесточенным усердием: проволоку, жесть и другие дефицитные товары доставлял в цех прямо на хребте. Работать он предпочитал по ночам. Днем валялся в коридоре па диване, иногда приходил в цех заспанным и в шлепанках на босу ногу.

Юлиан покорил ребят своими рассказами о тюремном житье-бытье, охотно делился с ними чужими секретами семейной жизни. Все в этих рассказах получалось весело, а сам он выглядел дерзким, отчаянным.

— Шабаш, братцы, сабантуй! — командовал он необычными словцами, косясь в спину уходящего по своим делам председателя.— План вы все равно перевыполняете. Лучше давайте-ка закурим. Берите, хлопцы, папиросы!

Моряк, осклабившись, хватал из волосатой, татуированной руки Юлиана согнутую папиросу, прикуривал. Борька тоже однажды закурил, норовя, подобно Ржаве, пускать дым двумя струями через нос.

— А теперь слушайте анекдот. Слыхали, как монах к поповой дочери ходил?

— Не-ет...— оголял щербину Моряк.— Про кума и куму ты сказывал надысь...

— Кум по сравнению с монахом — растяпа,— важно замечал Ржава, поудобней усаживаясь на верстак.

Борька слушал отборную похабщину. Он боялся от стыда поднять глаза на старика Родиона. Он ждал, что Дубосеков вот-вот подойдет и протянет деревянным бруском между острых лопаток Ржавы, заодно отхлестает и их с Моряком.

Но Родион тяжело вздыхал в углу, бормотал привычные ему ругательства и, казалось, не замечал ничего на свете...

* * *

Делать пружины и загибать на удлиненных проволочных концах крючки для скрепления крыльев бабочки Борис научился скоро.

Уже к концу второго дня он мог выполнять эту работу механически, не следя за своими руками.

Ловко накручивая на металлический стержень подогретую миллиметровую проволоку, он как-то засмотрелся на старика Дубосекова. Столяр силился лобзиком нанести на крылышки бабочки зигзагообразный паз для крючков пружины. Некогда искусные руки старика сейчас плохо слушались его. Нарез зачастую не удавался.

Борька оставил свою работу и подошел к Родиону.

— Дедушка, а что, если попробовать совсем без пазов? Я сделаю такой зажим.

Родион как-то испуганно взглянул на подростка:

— Не надобно, голубок. Так ведь и на фабрике нарезают, как мы. Делай, что велят, а то Захар осерчает, за баловство сочтет...

И он взял с подоконника фабричную бабочку, по образцу которой Демкин распорядился изготавливать игрушки в артели. Лобзик в неверных руках столяра вновь криво задвигался туда-сюда.

Но Борька не послушался совета старого человека. Рукавом спецовки он смахнул себе под ноги вдруг наскучившие ему пружинки с длинными концами и принялся закручивать их по-своему.

Зажим не получался. Досадуя на себя и еще больше входя в азарт, подросток пробовал все новые и новые ва-

рианты крепления. Последние две пробы он делал уже настолько сосредоточенно, что даже не заметил прихода Демкина.

Как и предполагал Дубосеков, председатель артели отнесся к самовольству молодого слесаря без одобрения:

— Брак? Да, брак? — крутил он перед глазами проворно подхваченную с пола еще теплую пружину...

Борька пробовал объяснить Демкину, но, возбужденный, не находил нужных слов, а делом он еще не успел доказать свою правоту. Убедившись, что штатный слесарь в рабочее время отклоняется от выполнения своих прямых обязанностей, Никита Захарович заявил:

— Не разрешаю! Здесь не конструкторское бюро, а государственное предприятие...— он недобро покосился на кучу испорченных кусков проволоки и добавил нарочито громко, чтобы слышали все: — За проволоку высчитаем...

Эти слова Борька воспринял как оскорбление. Впервые за время работы в артели подросток с ненавистью подумал о Демкине. «Я же для общей пользы!..»— хотелось крикнуть ему в багровое лицо Демкина. Но вместо этого Борис резко швырнул на пол незаконченную пружину и выбежал из мастерской.

— Я тебе докажу... Я все равно сделаю, как задумал,— шептал Борис на бегу. Продолжал он свою работу дома.

Назавтра Борис на глазах у всех членов артели полностью собрал бабочку при помощи нового зажима — без длинных некрасивых крючков. Все вышло прочнее, удобнее, а главное — без нарезки пазов. Старик Дубосеков на радостях прослезился. Демкин зорко следил за руками подростка, и Борька заметил в зеленоватых прищуренных глазах председателя артели огонек зависти...

Патент на открытие артели Демкину выдали. Прямо на зеленом заборе обширной усадьбы Никиты Захаровича, рядом с дощечкой «Во дворе злая собака», появилась лихая роспись, выведенная Моряком:

«Артель «Красный витязь».

* * *

— Что приуныл, годок? Ай недруги обидели?

По одному этому словцу — «годок», произносимому с украинским раскатистым «г», Касьян Иванович мог даже в шумной толпе распознать Захара Глущенко. Зуб круто

обернулся на голос и тут же попал в цепкие объятия приземистого усатого человека. Встреча произошла на том самом месте, где Зуб недавно принимал на обучение свою «последнюю» группу...

Длиннорукий здоровяк Захар был одет по-простецки: на нем ладно сидела уже пообтертая шубейка, скроенная точной рукой какого-то местного портного. Ноги обуты в валенки, а на голове модная кепка. Шубейка, несмотря на морозный ветер, оставалась по давней моряцкой привычке полураспахнутой. Когда Захар, доставая кисет, отвернул полу верхней одежды, на лацкане костюма сверкнул эмалевый значок депутата.

Касьян Иванович пробовал отшутиться:

— Кого же мне теперь бояться, если «советская власть» со мною челомкается? — И добавил с искренним восторгом: — Не берут тебя годы, Захар, не берут...

— Да-а...— неопределенно протянул депутат и вдруг посуровел лицом, пряча глаза в заиндевевшую заросль некрасивых кустистых бровей. Он пребывал уже в таком возрасте, когда о своих молодых годах люди вспоминают словно о диковинной выдумке или сказочном сне.

В последний раз Зуб видел Захара в кабинете начальника депо Кондрашева, когда ходил туда с заявлением ребят.

Мастер сразу понял тогда, что начальник не в духе, ему не до практикантов. Пока Кондрашев отыскивал красный карандаш и зачеркивал свою прежнюю резолюцию, Зуб успел кое-как изложить всю историю скандала с Борисом Кобцевым. Но ни Кондрашев, ни Захар Алексеевич, колко поглядывавшие друг на друга, не задали мастеру ни одного вопроса. До ухода из кабинета начальника депо Касьяну Ивановичу пришлось услышать только одну фразу Захара:

— Да, Лаврентий Фомич, рабочие знают, что я добился средств на постройку двухэтажного дома под жилье. Год кончается, неужели снова спишете эти денежки, как неиспользованные?..

«Спросить, что ли, чем закончился их разговор с Кондрашевым?» — подумал Зуб. Но тут же устыдился своей мысли: гоже ли совать нос в государственные дела? Захар хоть и побратим, но нельзя злоупотреблять его доверием...

Депутат заговорил первым:

— А ты знаешь, годок, о чем я вспомнил сейчас? Где

теперь этот самый мальчик, что всем спокою не дает? Ну, тот самый — сынок Мити Кобцева?

Зуб свистнул.

— Откуда это тебе известно, «советская власть»?

— Совсем случайно,— поспешил заверить его Захар Алексеевич. Он подошел к Зубу вплотную и любовно положил ему свои раздавленные ладони на плечи, будто желая приблизить друга к себе.— Хоть и некогда было слушать тебя,— сцепились мы с Кондрашевым насмерть,— но я... краешком уха слушал тогда... По-моему, ты в самый раз за мальчишку заступился. А я, дурак, прошляпил. Ведь его ко мне Кузьминична приводила...

Зуб сделал досадливый жест рукой, хотел что-то возразить, но Захар поймал его руку на лету и, зажав ее в своих ладонях, продолжал: — Хочу рассказать на профсоюзном собрании об этом случае отцовского подхода к ребятам. Пусть другие учатся...

— Эх, Захар, Захар,— прервал друга Касьян Иванович.— Загодя ты перехвалил меня. Пустые были хлопоты.

— Враждуют ребята по-прежнему?

— Да враждовать-то не с кем: убег мальчишка, по базарам шастает.

— Крадет?

— Хуже. Трудом своим торгует с этих пор. А руки потомственного слесаря, о!

— Да-а,— задумался депутат.— Пропасть может, как игла в сене. А чего же ты, чертов дед, мне ни полслова об этом?

— Ну, к тебе, положим, и незачем было идти. Один не таких обламывал. А тут вроде бы осечка. Не тот прицел, видно, взял с самого начала.

— Говори, что надумал?

— А ничего. Первое время бегал по его следам, а потом уставать начал. Если умный — вернется, а дурак — никакие пути не заказаны.

— Гм... гм...— недовольно передернул плечами Глущенко, сунув руки в карманы шубейки.— Непонятно! Ты сам-то похож на этого сорванца: сначала в драку за паренька кинулся, а потом свистишь ему вслед.

Зуб засопел, глаза его блеснули холодным огоньком.

— Не зли меня, Захар, подковырками. Когда сержусь — я плохой человек...

Захар Алексеевич, зная вспыльчивую натуру Зуба, не стал его раздражать, сказал примирительно:

— Со своим депутатом драться не солидно. Хоть ты меня и породил как «советскую власть» — убивать не торопись.

Глущенко достал было из кармана шубейки блокнот, отыскал чистую страницу, но Касьян Иванович грубовато захлопнул блокнот.

— Пока твоей помощи не нужно, а за подсказку спасибо. Адресок парня ты узнаешь, когда он тебя на свадьбу позовет. Ладно? А сейчас я попробую сам с ребятами довести это дело до конца. Помощников у нас с тобой целый взвод растет. Сыновья сынов!

— Не возражаю! — охотно согласился Глущенко и, хитро ухмыльнувшись, добавил: — Я ведь тебе с самого начала сказал, что случайно услыхал про мальчишку и зашел только спросить об этом, между прочим...

ГЛАВА 16

В Красный переулок Тоня выбралась лишь через неделю.

В сумерках она постучала в окошко к Кобцевым. Дверь открыл Борис. Он не догадался пропустить гостью впереди себя. Девушка робко прошла за ним через сени.

Борис остановился у стола, в новой сатиновой косоворотке и суконных брюках, заправленных в сапоги. В этом непривычном для Тони наряде да еще аккуратно подстриженный, он выглядел стройным, повзрослевшим. Прежнего озорника в нем выдавал только жесткий пучок волос на макушке. Пучок этот светился под лампочкой.

Подросток прошелся по комнате, оглушительно скрипя новыми сапогами.

— А у нас такая радость, доченька, такая радость...— заговорила вошедшая со двора Василиса Кузьминична.— Борька-то наш теперь при деле. В артели работает... За слесаря.

— Что ж, поздравляю,— сказала девушка, улыбнувшись лишь глазами. Она уже немного слыхала о судьбе Бориса, хотя и не верила этим разговорам. Ее удивляло то, что полуторагодичная борьба с мальчишкой закончилась так просто. Мальчик подрос и как будто нашел себе занятие по душе.

— Очень приятно,— вслух проговорила Тоня, посмотрев долгим взглядом на паренька. Но лицо ее выражало

не столько радость, сколько душевное смятение. Как же отнесется к этому известию Зуб? Ребята откровенно обрадуются...

Ее пригласили сесть.

Присев на скамейку, девушка молча слушала спокойный рассказ Бориса о его новой работе в артели.

Ломающийся голос подростка, степенность и достоинство в его словах — все это подчеркивало удивительные перемены в нем. Он, конечно, малость прихвастнул. Тоня ждала, что Борис закончит упреком: «Вот видишь, а вы говорили, что я никуда не годен». Но упрека не последовало. И эту сдержанность девушка расценила как результат поразительных для нее изменений, происшедших в Борисе.

— Боря!— произнесла Тоня, даже немного не дослушав.— А тебя очень хотел видеть Касьян Иванович.

— Уши надрать захотелось... Не поймает! Демкин за меня горой.

Последнюю фразу он сказал, не особенно веря в свои слова.

— Зуб что-то в тебе большое видит, понимаешь? — сказала она, не прислушиваясь к возражениям Бориса.

— Значит, плохо видеть стал... Я ведь Карандух — это всем известно.

Тоню начинала раздражать легкость, с которой опровергались ее доводы.

— А хочешь, я тебе докажу, что Касьян Иванович лучшего мнения о тебе?

Артельный слесарь безразлично вздохнул. Девушка поднялась с места, приблизилась к вешалке, где она повесила свою шинельку, и вытащила из кармана конька.

— Это тебе от Зуба!

У Бориса вытянулось лицо от удивления. Он взял конька обеими руками и, не гася улыбки, принялся рассматривать свое изделие, гладил пальцами фигурку.

— Где же это он его перенял, буланчика?

Он так и не догадался поблагодарить ни Тоню, ни Зуба за эту нечаянную радость.

— А ты сходи к нему. Он все-все расскажет,— настойчиво советовала Тоня.— Да, чуть не забыла: Касьян Иванович сейчас что-то мастерит у себя дома,— просил помочь ему...

— Ай, Тонька, перестань... Скажи лучше — хочешь, я тебе чудо покажу?

— Настоящее?

Борька рванулся в каморку.

Василиса Кузьминична, до этого молча хлопотавшая по дому, тяжко вздохнула. Тоня внимательно посмотрела на нее, стараясь угадать, о чем она думает сейчас.

— Узнаешь? — воскликнул Борька с порога. В руках он держал медный рожок, принесенный Моряком.

— Ой, папин рожок! — Тоня сразу посуровела.— Вот уж действительно чудо. Не так для меня, как для папы. А он горевал... Так это ты, самостоятельный человек, по будкам шастаешь? — спросила она строго.

— Погоди упрекать... Скажи спасибо за то, что выручил эту музыку. Пришлось отрабатывать за нее.

Борис нарочито медленным движением достал из кармана что-то завернутое в носовой платок, из свертка ослепительно блеснуло. Отполированный кусок бронзы с зарезанными уголками имел с лицевой стороны выпуклую форму. Он просто сиял в лучах света.

Чтобы придать своему чуду больше таинственности, Борька, не выпуская нового изделия из рук, наклонился к столу. Тоня подвинулась ближе.

То была форменная морская бляха. Но как жарко светилась она в полутьме Борькиных ладоней! Якорек на пряжке, в отличие от грубых фабричных, поражал исключительно четкими гранями. Его окружала выгравированная роспись каких-то морских водорослей, которые небрежно, но красиво распластали свои ветви к верхнему краю.

— Ты мне перенес бы на бумагу такой узор, только побольше,— попросила Тоня. Ей вдруг захотелось выбить эти водоросли по канве.

— Не могу,— сожалеюще отказал юный мастеровой.— Это Моряк рисовал.

— Что за моряк?

— А который спер у твоего батька рожок...

Девушка снова помрачнела: как можно в одной душе совмещать подлинное чувство красоты и омерзительную тягу к воровству... Дикие выходки в депо — и тонкая работа по металлу... «Нет, я совсем не понимаю мальчишек»,— подумала она.

Вглядываясь в светящиеся листочки на металле, Тоня не замечала, что рука ее, двумя пальчиками поддерживающая пряжку, давно лежит в прогревшейся от волнения руке паренька. Она вдруг поняла, что пареньку сов-

сем не интересно так долго рассматривать свое изделие, что, затаив дыхание, он с любопытством глядит на ее косички, на ухо, на зардевшуюся щеку, и теплые руки паренька вздрагивают... Тоня тихо-тихо распрямилась. Веки ее отяжелели, щеки горели огнем.

Тоня заторопилась. Проговорив привычные прощальные слова, она взяла со стола рожок, оделась и выскочила за дверь...

В доме с минуту продолжалось молчание.

— Мам! — тихо позвал Борис с несвойственной ему доверчивостью в голосе.— А правда, Тонька красивая?..

Василиса Кузьминична усмехнулась:

— Горе ты мое непричесанное! Вышел бы проводить девушку. Чай, время-то позднее...

— Нужен ей такой провожатый...

Он все же выскочил на крыльцо. Но в гулком от паровозных свистков морозном воздухе Тониных шагов он уже не услышал... Борис долго стоял на крыльце, прислушиваясь к стуку своего сердца.

* * *

Ночью Борису приснилась пахучая, пестрая от цветов луговина в пойме Шилки... Солнце только взошло, и над рекой еще не рассеялся сизый туман. Холодная роса обжигает босые ноги, словно крапива, но Борис не чувствует боли, торопится поскорее дойти до ракит. Пареньку не терпится взобраться на верхушку дерева, удариться грудью в сонную воду, как пушечным ядром взорвать утреннюю тишину... Но что это такое? Луг стал небычайно широким, протоптанная тропка затерялась в густой траве. Вместо ракит у берега — высоченная вышка, похожая на ту, которую мальчик давным-давно видел на обложке журнала.

Трава с каждым шагом становится гуще, выше. Река совсем пропала с глаз, о ней напоминала лишь загадочная решетчатая вышка, отодвинувшаяся вдаль.

Борису стало страшно, он даже остановился, но в этот миг где-то впереди зазвенел смех, послышался всплеск.

«Тонька?! — узнал паренек девушку по смеху.— Уже купается?»

Ликующий смех Тони отозвался эхом в душе Борьки, он сам улыбнулся. Ему захотелось поскорее узнать: с кем Гуторкова пришла в такую рань купаться. От этой

мысли руки и ноги заработали проворнее, трава расступалась. Вскоре Борис уже свободно просматривал весь берег. На песчаной отмели сидела вся их группа.

Ребята были раздеты. Утренний туман лениво обволакивал их загорелые спины.

«Это они играют в Рахметова — на выносливость»,— догадался Борис.

...Ребята сидели вполукруг. Прямая и стройная, в легком купальничке, стояла одна Тоня. Девушка уже искупалась: тело ее, в капельках воды, искрилось на солнце. Тоня подняла руки над головой и медленно развела их в сторону, будто делая вольные упражнения. От этого движения вся она немного подалась вперед. Оттененные краями купальника ноги и плечи стали выпуклее, отчетливее.

«Какое красивое у Тоньки тело,— с восторгом подумал Борька,— вот бы с нее сделать скульптуру!»

Тоня хлопнула в ладоши, требуя внимания, и сказала строгим голосом:

— Я сказочная фея. Это для вас в лунную ночь мои джинны построили вышку. Кто прыгнет с самой верхней дощечки — на пять минут превратится в птицу и может полетать в небе...

«Ух ты!— изумился Борька.— А с виду такая обыкновенная... А я хотел удивить ее пряжкой!» Мысль его прервала скучная реплика Дуси Кутеповой. Толстая, сгорбленная, она сидела у самых ног Тони и говорила, не поднимая головы:

— Комсомольцы не должны верить в чудеса. К тому же я родилась человеком и не хочу превращаться в птицу даже на пять минут.

С ней заспорили. Подхватились сразу трое: Ким Ампилогов, Саша Нестеренко, Леня Жихарев. Ребята наперегонки бросились к вышке и забарабанили резвыми ногами по ступенькам. Где-то на середине зигзагообразной лестницы отстал Ким. Он остановился, будто передохнуть, но через минуту, пошатываясь, побрел к нижнему трамплину и, набрав в легкие воздуха, прыгнул в воду. Когда он вынырнул, над рекой еще не утих насмешливый хохот. И Борька от души смеялся.

Саша Нестеренко тоже не добрался до верхней площадки. Прыжок его был хорошим, но все же это был обыкновенный прыжок.

Леня взбирался не оглядываясь. Лишь на самой верх-

ней площадке он обернулся лицом к группе и победно крикнул что-то, помахав рукой.

— Смотри же, с самой верхней дощечки!— крикнула в ответ Тоня. Но ее голос не долетел до смельчака — так высоко в небо вознеслась вышка. Отважный паренек на ней казался крохотным.

Леня развел в стороны руки, выпятил грудь и незаметно оттолкнулся от деревянных опор. Издали казалось, что распластанное в воздухе тело Жихарева не снижается, что вот-вот сбудется предсказание Тони: он станет птицей. Но лицо Тони было напряженно печальным... Полет Лени продолжался только мгновение, да и то лишь в воображении Бориса.

Раздался короткий всплеск. Леня, как раскаленный гвоздь, воткнулся в воду. Он тут же вынырнул, устало поплыл к берегу.

— Ну, вот!— воскликнула, чему-то обрадовавшись, Дуся.— Я так и знала, что никакой птицы не будет. И вообще, я с детства не верила в необычное.

— А я верила! И сейчас верю!— крикнула Тоня. Она даже притопнула левой ногой. На лице ее, прежде светлом, улыбчивом, сейчас пробежала тень.

Тоня приставила к глазам козырьком ладошку и принялась глядеть на луг. Борька внезапно понял, что глаза девушки, полные нетерпеливого ожидания, остановились как раз на той гривке травы, за которой прятался Борис.

...Борька перемахнул через гривку и понесся к вышке.

«Я буду птицей. Я стану летать, чтобы Дуся поверила в чудо, выдуманное Тоней»,— лихорадочно думал Борис.

Вот и самая верхняя площадка. Он засмеялся, довольный внезапной находкой: вместо узких перил, почти незаметных снизу, здесь лежали утолщенные брусья, с которых тоже можно прыгать. Хоть и немножко, но выше, чем с трамплина.

Борис цепко ухватился за распорку между стойкой перил и верхним брусом, занес на брус сначала одну, потом вторую ногу. Ноги и руки слегка дрожали, но слушались своего хозяина. Осторожно выпрямившись, Борис скорее ощутил, чем увидел, под собою пропасть. Вода и земля куда-то исчезли. Вокруг — голубое небо. От страха он на секунду потерял было равновесие, качнул растопыренными руками. Тотчас снизу донесся счастливый смех Тони и недружные хлопки в ладоши. Эти звуки наполняли его сердце отвагой, как ветер наполняет паруса. Борька не

сразу понял, что уже летит. Ему было забавно и жутко вдруг видеть вместо рук крылья.

«Наверное, у них часто бывают такие игры,— с завистью думал Борис, описывая круг над лугом.— Но почему они утаивают это, а при мне говорят и делают все по-книжному, скучно? Пусть же видят, что и я могу хорошо играть, если сама игра хорошая».

...Борька со свистом пронесся над самыми головами ребят, видя только их восхищенные лица. Тоня подняла руки над головой, отчетливо выкрикивая:

— Кто ты, сказочный сокол? Опустись ниже и расскажи, как ты стал птицей?..

Голос девушки звучал нежно. Борис не знал, что ответить. Но произнесенный Тоней во второй и третий раз вопрос звучал уже с мольбой в голосе.

— Разве ты не узнаешь? Я — Карандух, Кобцев,— выдохнул Борис, но слова где-то застряли в горле. Послышался лишь слабый вскрик, похожий на писк птицы. Он силился сказать:

«Это ты сделала меня птицей. Если хочешь, я снова прикоснусь крыльями к твоей сказочной вышке, сойду на землю и стану таким, как был...»

Вместо слов из груди вырвался уже совсем не птичий стон,— надрывный, протяжный.

— Сынок, проснись-ка, Боря,— раздался голос матери.

Борис открыл глаза и сразу догадался, что все виденное — сон. Но приятное ощущение полета еще не выветрилось из его сознания. Он снова натянул одеяло на голову и притих. Но сон не возвратился к нему.

ГЛАВА 17

Чтобы с кем-нибудь поделиться впечатлением от удивительного сна, Борис в обеденный перерыв рассказал о полете с волшебной вышки Моряку. В этой исповеди, правда, отсутствовала сказочная фея, потому что Гешка мог бы заподозрить рассказчика в мыслях о девушке и выкинуть по этому поводу какую-нибудь грубоватую шутку.

— Ух ты! Лета-ал!— воскликнул Моряк с жаром, как будто это случилось наяву.— А мне чаще всего паруса снятся... Белые-белые, и чайки над ними.

Бабушка Никаноровна учила его распознавать сны и приметы, но ее мудрости хватило на земные явления: при-

меты к деньгам, к письму и болезням. Моряк не помнил, чтобы Никаноровна разгадывала сны о полете в небо.

— Хочешь, я спрошу бабку, к чему это?—услужливо предложил он.

— Не смей!—строго возразил Борис. Он вспомнил, что поселковые женщины за глаза называют Никаноровну ведьмой: а вдруг старуха в самом деле «прочитает» его сон и расскажет Моряку про Тоню?

Но Гешкиных восторгов и откровенной мальчишеской зависти Борису все же показалось мало. «Что, если рассказать об этом самой Тоне? Ведь бывают же вещие сны!» Тоню он разыскал только на третий день в коридоре узловой библиотеки. Сказочная фея наяву выглядела куда хуже, чем во сне. Она простудилась на катке: лицо похудело, вытянулось, под глазами вырисовывались нечеткие синие круги. Над верхней губой вдобавок появилась сыпь, будто после лихорадки. Лишь глаза девушки были попрежнему полны веселого блеска.

Пока Борис собирался с духом и несмело приближался к ней, фея выхватила из кармана шинели платок и сказала:

— Не подходи близко, а то гриппом заражу!

Подросток остановился в двух шагах, но не потому, что боялся заболеть. В нем появилась незаметная для него самого готовность выполнять волю этой девчонки. Что-то хитроватое мелькнуло в глазах Тони. Она заявила, не ожидая Борькиных слов:

— А у меня есть новости для тебя...

Потом обернулась и пошла, не оглядываясь, в самый дальний угол коридора. Простуженным голосом, часто сморкаясь, Тоня долго говорила изумленному Борьке такое, отчего все его мысли смешались. Он был потрясен этим рассказом больше, чем волшебным сном.

* * *

Накануне памятного Борису сна Касьян Иванович опоздал на работу. Он старался нигде не задерживаться, проходя через цех напрямик.

Цех обдал его резким запахом металлов, сложной гаммой разнообразных звуков. Все в этом мудром говоре металла с человеком было молодо, задорно, приятно его душе. Он проворно передвигался по проходу между верстаками, кивая на ходу заметившим его рабочим.

Но вдруг Зуб резко остановился, недовольно сощурился, вслушиваясь в хаос звуков.

Дежуривший в тот день Саша Нестеренко часто выбегал из учебного помещения. Он первый заметил появление Зуба в депо и стал следить за ним издали. Мастер действительно вел себя странно. Он круто изменил свой маршрут, сначала шел медленно, но потом вдруг устремился в проход по направлению инструментального цеха. Саша рванулся следом за Касьяном Ивановичем, и тут он увидел как раз то, о чем Тоня рассказала Борису.

Незнакомый Зубу слесарь-новичок, недавно принятый в цех, суетился возле верстака. В спешке он никак не мог открыть верхний ящик стола. Сработанный по замысловатому способу внутренний замок ящика не слушался чужих неопытных рук, и это сердило паренька. Он сначала потихоньку, потом все злее стучал по ящику молотком, а потом поддел ящик расплюснутым концом ломика. С диким скрежетом ящик отошел, но квадратный стерженек защелки, словно издеваясь над незадачливым слесарем, бодро торчал в своем гнезде, пока не был сокрушен варварскими ударами ломика. Эти последние удары Зуб не только услышал, но и видел.

Мастер с ходу выхватил ломик из рук слесаря и швырнул его в сторону.

На новичка посыпался поток грубых слов, перемешанных с частым оканьем. Бегая вокруг приунывшего слесаря, Касьян Иванович не скупился на выражения. Мастер трогал руками изуродованную наружную поверхность ящика, словно видел рану на живом существе. Удары пришлись крепко: в отдельных местах начисто отпала масляная покраска.

Заметив на обнаженном пятачке какие-то знаки, Касьян Иванович попросил подбежавшего к нему Сашу Нестеренко:

— А ну-ка, сынок, глянь, что тут написано?..

Саша присел на корточки, осторожно отколупнул краску. Потом прочитал медленно, по слогам:

«Здесь работал Д. А. Кобцев — лучший слесарь дороги».

Зуб вспомнил: сразу после войны в красном уголке была вывешена мемориальная доска с именами погибших на фронте рабочих и инженеров. Очевидно, в это время кто-то из друзей Дмитрия Кобцева выгравировал на ящике и вот эту немногословную надпись — в память о челове-

ке, принесшем добрую славу всему предприятию. А при ремонте оборудования надпись закрасили.

— ...Ты сама видела эти слова?— глотая слезы, пораженный рассказом Тони, допытывался Борис.— Так и написано: «Лучший слесарь дороги»?

— Ну, конечно, сама! Касьян Иванович водил нас к этому верстаку. Как сейчас помню — крайний с левой стороны у окна... Потом мы еще правили помятые стенки ящика. Сейчас там все, как было, только на месте выгравированной надписи медную табличку с такими же словами прикрепили. Касьян Иванович говорит: «Самого лучшего выпускника к этому верстаку поставим...»

— А обо мне он этот раз ничего не говорил?— робко спросил Борис.

Но Тоня, будто не понимая душевных мук Бориса, долго-долго водила носком ботинка по сучковатому полу, обдумывая свой ответ. Лишь один раз она взглянула в лицо паренька и, растягивая слова, сказала:

— Понимаешь... может, что и говорил, но сама я не слышала... Хочешь, я спрошу у ребят?

Борис промолчал.

ГЛАВА 18

Очередной разговор о Борисе произошел у Тони с Зубом в мастерской.

Узнав от групкомсорга о комбинаторской проделке Никиты Демкина, Зуб пришел в ярость. Он не стал до конца слушать сбивчивый Тонин рассказ о последней встрече с Кобцевым, вышел из мастерской и принялся нервно сновать по бетонированной площадке перед конторкой начальника цеха.

Тоня не раз выглядывала за дверь, надеясь застать Касьяна Ивановича успокоившимся. Но тот, словно заведенный, ходил взад-вперед по площадке, бормоча злые слова. Одно из таких слов девушка услышала и, покраснев, захлопнула дверь.

Возвратился Зуб лишь к перерыву. Сидел молча: ни шуток, ни замечаний.

Практиканты уже научились по отдельным признакам угадывать настроение мастера. Они старались в такие минуты ничем не навлечь его гнев.

Перед последним часом занятий ребята высыпали в

коридор и затеяли там возню. Зуб в задумчивости прошелся по опустевшему помещению и остановился у тонкой дощатой перегородки, отделявшей их помещение от всего цеха. Вдруг мастер насторожился: за перегородкой разговаривали два практиканта, часто упоминая его фамилию. Касьян Иванович хотел было отойти в сторону, но какая-то сила удержала его на месте. Мастер уже мог по голосам различить своих питомцев. По первому — низкому с певучими переходами — голосу он сразу распознал Яшу Сироткина. Собеседником его был, бесспорно, Радик — староста.

Сироткин рассуждал:

— ...Завидую Карандуху: какой у него славный отец! Если бы у меня был такой, я ни за что не посрамил бы отцовской фамилии.

— Карандух — выродженец, — вздохнул Радик.— Он просто балбес. Плюет на всех, и на мать, и на нас...

— Ну, на нас ему, положим, не придется больше покататься. Мы уже не дети — по плевательнице дадим...— Ребята засмеялись. Хохотнув, Яша досказал неоконченную мысль:— Пусть Зуб заигрывает с ним в кошки-мышки, а мы знаем Карандуха, как облупленного... Если что...

Дальше Зуб не расслышал.

Ребята, довольные друг другом, снова засмеялись. А Зуб, тихо охнув, схватился за грудь и, будто неся большое сердце в руках, подошел к табуретке. До него в одно мгновение дошел страшный смысл ядовитых слов Сироткина...

«Значит, вся эта канитель с шефскими выходами в Красный переулок, спасение медного коня, ругань с Труваленко, беседы с Тоней — не сблизили враждующих сторон, все это — «игра в кошки-мышки»?

Что-то больно вонзилось в сердце Зуба и не отпускало минуту, две, три. «А ведь в моем возрасте от таких приступов и умирают... Очень просто!»— пришла ему в голову мысль. Зуб глядел прямо перед собой, старался ничем не выказать своих мучений. Но взор застлал полумрак. В этом полумраке мелькали беззаботные ребячьи лица.

— Можно сдавать задания?— один раз или уже два спросил дежурный притихшего мастера. Касьян Иванович лишь кивнул ему. И кивок этот стоил больших усилий, но сердце стало помаленьку отходить. Зуб наконец смог опустить руки на стол, сесть ровнее.

— Ну неси, Яша! Иди первым!— громко зашептали на Сироткина с разных сторон. Подросток смело направился к преподавательскому столу. Вслед за ним сразу же пошел Леня Жихарев. У обоих подростков в журналах стояли длинные ряды «пятерок».

Касьян Иванович коротко взглянул в большеглазое юное лицо Яши, открытое для добра. Оно выражало уверенность в том, что и сегодня он поработал не хуже предыдущих дней. Мастер принял из его рук сверкающий шток водяного насоса и решительно вывел в журнале «3».

Темные брови ученика резко прыгнули вверх, отчего глаза будто расширились. Он с испугом попятился и, вероятно, упал бы, если бы не наткнулся спиной на твердое плечо Лени.

Жихарев на горьком опыте Яши был подготовлен к удару. Он с достоинством перенес свою «тройку», но, вернувшись на место, швырнул деталь в угол.

Нет, это не было местью Зуба. Он не механически выставлял оценки. Но те незначительные дефекты, которые он прежде не принимал в расчет, сейчас назойливо бросались в глаза.

В зрительной памяти мастера с необыкновенной четкостью всплыли поверхности деталей, обработанных Кобцевым. Зуб невольно сравнивал детали учеников с Борькиной работой...

«Вот то было на «5», а это на «3», «3», «3», — упрямо диктовал ему ум.

Тоня ждала своей очереди без всяких надежд на положительную оценку. Но ее очередь так и не подошла. С мастером приключился второй приступ. Глотнув воды, он сидел на табурете без движения. Потом, попросив проводить его, ушел домой.

Провожали всей группой, до самого дома.

* * *

На другой день с утра к практикантам вышел Андрей Павлович. Это уже означало, что Зуб слег надолго.

Все как-то сразу простили Касьяну Ивановичу обидную шутку над ними. А Леня Жихарев уверял, что задание в тот день выполнил кое-как, и мастер даже щедро поступил с ним.

Кобцева и Демкина вспоминали с одинаковой злобой

* * *

«Милая Тоня! Юная подружка моя!

Ты обрадовала и напугала меня своим последним письмом... Спешу ответить — через час уходит на Большую землю пассажирский самолет, а на завтра плохой прогноз погоды... Связь может прекратиться на неделю. Так бывает.

По здешним неписаным законам, если опасность угрожает человеку или боевой технике,— первый, заметивший беду, дает сигнал тревоги, а сам бросается на помощь... Вот такое состояние переживаю я сейчас, когда узнала об отчислении из вашей группы Бориса Кобцева...

Да, я верю в вас — славные, отважные, мечтательные мальчишки! И в тебя верю, Тонечка, в твою чистую, родниковую душу... Укажи вам сейчас на охваченный пламенем дом или на тонущего в половодье человека — вы броситесь в огонь и воду. С детства у всех вас крылатая мечта о подвиге, а самым высоким из подвигов считается борьба за человека.

Ты называешь полюбившихся тебе людей «огоньками». Верно, такие люди, как ваш Касьян Иванович, живут огневой жизнью. Но, право же, Тонечка, людей-огоньков на нашей земле больше, чем тебе показалось. Например, мне вся наша большая Родина представляется светлой от таких огней. Она с каждым годом становится ярче... Но это не значит, что все уже сделано.

Бывают, конечно, в этом светлом океане и темные пятна, живут между нами личности с остекленелым взором и холодными сердцами. Завтра их будет меньше, послезавтра — совсем мало. Уходя в вечность, они будут оставлять тени после себя, гасить неокрепшие огоньки. Нужно уметь видеть таких людей, в какой бы личине они ни появлялись, нужно оберегать себя и своих товарищей от леденящих соприкосновений с ними.

Твоя приписка, Тонечка, об отчислении Бориса показалась мне страшной. Без схватки, без борьбы за своего товарища вы, такие мечтательные и смелые, оттолкнули от себя человека! Конечно, в вашем Кряже немало хороших людей, и они позаботятся о Борисе. Кое-что сделаю для него и я, хотя издалека. Я напишу письмо Захару Алексеевичу и Зубу. Могу приехать в Кряж и увезти Борю сюда, на Север, если ему не найдется в Кряже занятия по душе. Самое главное: не оставлять его одного. Ну

чем ты, Тоня, оправдаешь свое безразличие к судьбе товарища, если он вдруг окажется потухшим, свернет с большой дороги нашей жизни, вместо радости и света станет сеять горечь и темноту своими поступками?..

Тревога, Тонечка, тревога!

Ваша Нонна Федоровна.

P. S. Твое представление о Крайнем Севере рассмешило меня. Таким Север был во времена путешествий Беринга и Беллинсгаузена. Здесь, невдалеке от нас, строят целый город с красивыми многоэтажными домами. Даже сад на школьном дворе мы посадили осенью. Правда, сейчас деревья под снегом, но мы каждое из них надежно утеплили. Придет весна, и город станет зеленым, как Кряж... Я верю, что каждое деревцо, посаженное в землю, будет цвести.

Н. Ф.»

* * *

Старый мастер не появился в депо и на третий день. Тоня за это время несколько раз порывалась сходить к нему домой, но, чувствуя себя основной виновницей внезапного недомогания Зуба, не решалась.

Ирина Даниловна приняла Тоню радушно, словно ее здесь уже ожидали. Девушка долго вытирала ноги у порога, потом разделась, сняла боты и тихо вошла в спальню.

Обставленный с обеих сторон кровати пузырьками, баночками, мастер лежал, до пояса прикрытый тяжелым ватным одеялом. Лицо его густо заросло белой щетиной. Под глазами припухло.

— Ну что — здорово я вас напугал? — прогудел Зуб низким басом, чуть повернув лицо к вошедшей Тоне.— Небось нахохлились, как воробьи?

— Хмурые...— созналась девушка.— Только совсем не потому, что вы напугали. Из-за болезни вашей... Ой, как переживают!

Зуб часто заморгал красноватыми веками. Потом сказал, бодрясь:

— Да мне уже и легче стало. Удрал бы — домашняя «милиция» не пускает.— Он слабо кивнул заросшим подбородком в сторону супруги. Та ходила по комнатам неестественно легкими для ее тучной фигуры шагами. Покашляв, Касьян Иванович продолжал:

— А Демкин-то — гусь! Заграбастал парнишку, ровно паук. Опередил, прохвост.

Он попробовал было повернуться боком, но это не удалось. Горько посетовал на себя:

— Слаб ты стал, Касьян, поиздержался силой... По молодости лет этому Демкину скулы бы своротил! За рабочего человека и побиться не грешно. Одним рабочим на земле больше — жизнь надежнее... Значит, не будет второго Мити Кобцева, выйдет из его сына еще один Демкин...

Тоня привстала с табуретки, оглянулась на Ирину Даниловну, которая поправляла что-то в шкафу, зашептала:

— Касьян Иванович! Не говорите так!.. Мы будем драться с Демкиным. Всей группой...

Она поднялась и прикрыла дверь вслед за ушедшей хозяйкой. Потом подскочила к кровати:

— Мы завтра проведем комсомольское собрание. Если удастся переубедить ребят — всей группой нагрянем в артель. Леня Жихарев и Дуся меня уже поддерживают. А еще кто поддерживает — это наша бывшая учительница Нонна Федоровна. Она такое письмо мне прислала, что ребята все сразу на нашу сторону станут, как прочитаю.

— Это ты дело надумала, дочка,— оживился Зуб. Он даже привстал на локоть с постели.— Если удастся повернуть комсомолию лицом к Борьке — можно спасти человека. Ей-богу, можно! Только не к Демкину идите — объегорит он вас, как цыплят. Прямо к Борьке на дом валяйте! Будьте дипломатами, если надо. Тут своя политика нужна, о! А учительница ваша — молодец, если этому учит. В этом деле тут согласно действовать надо...

Комсомольское собрание почти не прибавило союзников Тоне. Слишком укоренилась в сердцах ребят неприязнь к Борису. Большинство практикантов считали его пропащим человеком. То, что Карандух работал в артели Демкина, показалось им закономерным.

— Хорошо, что приняли!— заявляли ребята в один голос.— На большее он не годится, а мы ведь скоро электровозы ремонтировать станем!

Яша Сироткин выступил еще острее.

— Где твоя комсомольская принципиальность?— с упреком спросил он групкомсорга.— Ведь ты же сама дважды подписывалась под коллективными заявлениями об отчислении Карандуха. Теперь ты хочешь, чтобы мы все пошли упрашивать его?

Поддержать Гуторкову после ее полемики с Яшей решил Радик, да и то с большими оговорками.

Радик вообще последнее время стремился чаще бывать на виду у девушки. А тут еще случай отличиться в возможной драке.

Тоня назначила сбор единомышленников на воскресенье.

ГЛАВА 19

Старик Дубосеков по рассеянности включил сразу высшую передачу в токарном станке. Непрочно закрепленный кусок металла свибрировал и по инерции разворотил зажимной патрон. Словно пуля, вылетел металлический стержень за окно да еще вдобавок зацепил деда по руке.

Убитый горем, ходил с перевязанной рукой Родион. Злился Демкин: несмотря на окрепшие за последнее время деловые связи, ему никак не удавалось подобрать к старому станку новый зажим.

Не унывал только Ржава. Он где-то пропадал днями, иногда возвращался с добычей, но принесенные им детали оказывались сплошь негодными. Это давало повод председателю артели подтрунивать над незадачливым снабженцем. Демкин уныло цедил сквозь зубы:

— Говорил тебе: нет в поселке таких станков. Есть только в одном месте...

— Сам иди в это место!— огрызался Ржава, закипая. Снабженец в эти дни был похож на ищейку. Противно топорщилась на его небритом лице щетина. Однажды он захватил с собою Моряка, но и вдвоем они возвратились с пустыми руками.

Лишь Борис оставался безучастным к их хлопотам. Частые отлучки Демкина были ему на руку. Он уходил из артели, бродил по станции. Здание депо с закопченными стенами и залепленными снегом окнами виделось ему теперь совершенно чужим.

Пареньку подчас хотелось незаметно прошмыгнуть в инструментальный цех и хоть одним глазом поглядеть на отыскавшийся отцовский верстак. Ему приснилась серебристая плашка с выгравированными буквами: «Здесь работал Д. А. Кобцев — лучший слесарь дороги».

Борис знал, что жизнь в мастерских замирает только по праздникам. И в воскресные деньки в цехе горячей

промывки работают слесари дежурной бригады, приходят машинисты, которые никогда не доверяют чужим рукам ремонта их «лайбы». Скрепя сердце паренек стал дожидаться дня очередного большого праздника.

* * *

...Чтобы не вызвать подозрения матери, в этот день Борис надел чистую рубашку, начистил сапоги. На крыльце постоял несколько минут, словно раздумывая, куда пойти.

— Смотри же, не забегай далеко: гости к обеду будут!— предупредила мать.

— Знаю,— отозвался Борис и вразвалочку сошел со ступенек. Однако солидной выдержки ему хватило, пока не свернул за угол. Ноги сами понесли к депо.

В воздухе порхал мягкий снежок. Где-то далеко-далеко выл протяжным голосом паровоз. По всему поселку раздавались охрипшие тенора подвыпивших праздных людей, на площади грохотал репродуктор.

У массивных створчатых ворот, через которые в обычные дни заходят в депо с притушенной топкой локомотивы, было совсем безлюдно.

Борис подтянул брюки и рывком опустился на шпалы между рельсов. Он весь вытянулся, продвигаясь носками сапог вперед. Квадратная щель между шпалой и нижним брусом тяжелых ворот оказалась не очень узкой. Вскоре Борис почувствовал, что может подняться. В депо стояла непривычная, оглушающая тишина... Лишь в самых верхних опорах крыши тревожно бился залетный ветерок да в висках глухо стучала кровь.

На одной из канав, тендером к воротам, стоял охлажденный локомотив. Ржавые тарелки буферов, словно расплюснутые ладони рук, предостерегающе вытянуты навстречу пареньку.

Справа от локомотива — просторный цех, заставленный молчаливыми, разбросанными в разных положениях механизмами. Осмотревшись еще раз, Борька смело пошел вдоль стены цеха, стараясь не задеть ногами какого-нибудь металлического предмета. Подчас он прыгал через протянутый от сварочных аппаратов кабель... У широкого прохода в сборочный цех остановился перевести дух.

Впереди показалось продолговатое помещение, сплошь заставленное механизмами, подъемными приспособлениями. Борис усмехнулся: перед ним был цех, по верхотуре

которого ему пришлось лазить в первый день практики в депо. Лишь мельком взглянув вверх, он понесся через цех. В одном месте сапоги громко скрипнули, и Борька тут же присел с перекошенным от досады лицом. Сидя, он отыскал глазами дверцу, которой обычно соединяются в перегородках цеха. Дверца оказалась приоткрытой.

Борька знал: это проход в инструментальный цех.

Вот он наконец переступил высокий порог и сразу же повел взглядом по ближним верстакам.

Цех был небольшим по сравнению с остальными и сумрачным. Вместо застекленной крыши здесь дощатый потолок. На нем два ряда лампочек. Несмотря на темноту в цехе, Борис понял: наконец-то добрался до того места, где работал отец...

Приглядевшись, Борис стал различать верстаки, тиски. С правой стороны шел ряд продолговатых шкафов для одежды. Посередине цеха, словно капитанская рубка на пароходе, высилась стеклянная будка. Отдельные стекла в ней выбиты и заставлены фанерными листами. Это мешало Борису с порога просматривать цех во всю глубину. Заложив руки за спину, он побрел вдоль первого ряда верстаков. Паренек поравнялся уже с будкой, но блестящей таблички со словами об отце не попадалось.

В тревожном ожидании, что вот-вот он увидит сверкающий кусочек меди, Борис резко обернулся ко второму ряду и... тут же кинулся к будке, инстинктивно зажимая рот руками: у самого ближнего к выходу станка бесшумно возился человек!.. Массивный шкаф, стоящий у окна, бросал на человека густую тень.

Незнакомец был поглощен своим занятием и вел себя довольно беспечно: орудуя гаечным ключом и отверткой, он отсоединял какую-то деталь на непонятном Борису механизме. Вор ни разу не оглянулся, полагаясь на слух, лишь время от времени вытягивал тонкую худую шею, словно зверь в глухом лесу.

«Это вор,— догадался Борис.— Я успею выскочить за дверь и даже привалить ее тележкой...»

От такой мысли подростку стало весело, хотя он понимал всю опасность встречи со взрослым человеком в безлюдном цехе. Вскоре Борис успокоился настолько, что мог оглядеть незнакомца с ног до головы. Вот полетел на жестяной настил последний болт, и вор, покряхтывая, опустил на пол массивный узел деталей. Вор снова вытянул шею, сделал шаг вперед. И в это мгновение Борис

вдруг заметил, что на верстаке бледным фонариком засветилась невидимая прежде за туловищем вора желанная табличка...

«Вор грабит отцовский верстак!— Открытие это ударило в самое сердце.— Как же я сразу не догадался, ведь Тонька говорила, что верстак — крайний слева...»

Борису стало вдруг жарко.

Сперва ему хотелось броситься на вора и свалить его внезапным ударом. Потом созрел другой план: тихонько выйти из цеха и привалить дверь тележкой. Паренек в душе ликовал, представляя отчаяние вора в этой темной мышеловке, но ему казалось, что такого наказания преступнику будет мало. «Он отца грабит... а я убегу, как последний трусишка... Нет, прежде чем захлопнуть дверь, я садану его чем-нибудь между острых лопаток...»

Кровь сильнее застучала в висках. Борис расстегнул ворот рубашки и повел взглядом по полу, отыскивая предмет, пригодный для нападения. Шагах в пяти из-под шкафа торчала засаленная рукоять молотка. Он проворно кинулся к молотку, потянул его к себе. Но сделал это слишком торопливо: массивный молоток глухо стукнулся о нижнюю кромку шкафа, и... пустой шкаф загудел, словно колокол. Борис скорее почувствовал, чем увидел, как пружиной метнулась от окна жилистая фигура вора.

Выпрямляясь, Кобцев встретился с этим человеком взглядом и больше от удивления, чем от испуга, выкрикнул:

— Ржава?!

Да, это был Юлиан. Испугался он поначалу больше, чем Борис. Потом страх уступил место ярости. Ржава не мог простить подростку непонятной шутки над собой. Глаза «снабженца» зловеще остановились, губы передергивались. Юлиан ловко рассчитанным движением, одновременно с прыжком, поднял с верстака полупудовый балансир и теперь держал его перед собой на вытянутых руках.

Вор не сразу проговорил слова, похожие на хрип:

— Выследил, сморчок, или гады подослали? Признавайся... Убью!..— Покачивая балансиром, Ржава медленно шел на сближение с Борисом.

Борис, не мигая, смотрел в темное лицо Ржавы и пятился в дальний угол. Вскоре он уперся спиной в холодную стенку шкафа.

«Убьет... Ради зажима убьет...»— думал Борис. По телу пробежала дрожь. В это мгновение он вдруг ощутил

в правой руке приятную тяжесть рукоятки молотка. В нервном напряжении вес молотка был просто неощутим.

Подросток взметнул над головой свое орудие и шагнул навстречу Ржаве.

— Уходи, слышишь?! Беги!— твердо проговорил он первые пришедшие на ум слова. Он и в самом деле мог запустить молоток в противную физиономию Юлиана.

Юлиан зло чертыхнулся и швырнул балансир на пол. Тяжелый предмет плоско ударился о цемент, выщербил его в месте падения. А Ржава смешно подпрыгнул на месте и поскакал к выходу. Борис ринулся вслед, отчаянно топоча ногами. Он был уверен, что Ржава запрет его в цехе и тогда Борис станет виновником порчи отцовского станка. Но Ржава, как пуля, проскочил в дверь и понесся вдоль стены.

Борис остановился, перешагнул одной ногой порог цеха, с минуту следил за убегающим Ржавой. Он, конечно, сознавал, что Юлиан может наткнуться на охранника, может заявить в милицию. Но паренек, только что избежавший серьезной опасности, упрямо верил в удачу. «Будь что будет,— думал он,— соберу станок и уйду. Если и арестуют, приятно будет вспомнить: хоть несколько минут стоял у отцовского верстака...»

ГЛАВА 20

Выходного дня Василиса Кузьминична ждала, как рождественского праздника. Еще в среду сын, возвратившись с работы, предупредил:

— Никита Захарович в воскресенье будет... Велел закуски наготовить!..

Борис не следил за своей речью, иногда искажал слова, но сейчас слово «велел» поставлено было им как раз на место. Просьба Демкина действовала здесь пуще приказа.

— Спиртное-то он любит?— с тревогой спросила мать, естественно предугадывая, что мужчины одной закуской не обойдутся. Денег у нее, как всегда, было в обрез. Демкинский аванс она до копейки израсходовала на подарки сыну. Так велел Демкин. А зарплату сын еще не получил.

— Водки не бери,— буркнул сын, умываясь над тазом. Он по-прежнему разговаривал с матерью неласково.— Никита Захарович сказал, что водку сам купит.

Василиса Кузьминична три дня до выходного прожила в напряженном ожидании «благодетеля». Она не поскупилась на закуску: купила свиную голову, наварила четыре миски холодного, взяла в магазине банку камбалы в томатном соусе, добыла у соседей десяток моченых яблок. Еще раз обозрев запас съестного, решила взять бутылку портвейна: «А вдруг Никита Захарович станет угощать сына водкой?»

Часам к двенадцати она расставила закуску на столе, прикрыла тарелки газетами и стала ждать. Ей понравилось, что раньше Демкина пришел сын. Она даже не заметила, что Борис крайне возбужден, чем-то недоволен.

Демкин — в полковничьей смушковой папахе, короткой «москвичке» и начищенных до блеска сапогах ввалился в дом Кобцевых к назначенному сроку. Шефу не полагалось опаздывать.

Председатель артели, прежде чем поздороваться с хозяевами, аккуратно обмел новенькие сапоги и стряхнул снег с воротника.

С Никитой Захаровичем пожаловал и Моряк. В новом наряде Моряк напоминал «сына полка», которому еще не успели подогнать по росту обмундирование. Несмотря на морозец, Моряк был в своей неизменной бескозырке. В зубах артельного художника торчала длинная папироса. Глаза, как у зайца, разошлись врозь — шеф по пути заглянул с ним в буфет.

Никита Захарович расшаркался перед хозяйкой, вытащил из глубоких карманов пиджака две бутылки водки и поставил их на теплую плиту — подогреть. С Борисом он поздоровался по-мужски, за руку.

— Гордись сыном, Кузьминична,— весело заявил председатель артели.— Благодарность парень уже получил, да не за что-нибудь — за рационализаторское предложение.

— Как же ему не стараться?— всплеснула руками Василиса Кузьминична, приятно встревоженная словами гостя.— Вы ж его на ноги поставили!

— Да не совсем еще поставил,— мельком взглянув на Бориса, возразил Демкин.— Выскочил как-то из цеха и на станцию бегом. Оказывается, электровоз прибыл в Кряж, а ему невтерпеж — поглядеть на это чудо захотелось...

— Молод он еще, несмышленыш...— оправдывала мать сына, обмахивая передником чистую, выскобленную еще накануне табуретку.

— Вижу,— согласился Демкин, садясь на эту табу-

ретку.— Геша!— вдруг крикнул он, обращаясь к Моряку.— Скажи-ка, что самое главное в жизни!

— Деньги!— заученно отозвался Моряк. В его выкрике чувствовалась дрессировка Никиты Захаровича.

— Верно!— даже притопнул высоким каблуком старомодных сапог председатель артели и продекламировал заученные с времен церковноприходской школы стихи:

Тот подлец, кто без копейки,
А не тот, кто без души!..

— ...Ну-ну, выпьем!— скомандовал он, присаживаясь к столу.

С этого момента он вообще вел себя так, словно был хозяином в доме.

Василиса Кузьминична робко поставила рядом с демкинской водкой бутылку портвейна. Ребята заняли скамейку по другую сторону стола. Самозваный тамада ловким ударом откупорил вино, налил хозяйке. Василиса Кузьминична взяла стакан, стоявший перед сыном, и осторожно пододвинула его к бутылке с вином, но Демкин разоблачил ее нехитрый замысел. Сделав предупреждающий жест рукой, он наполнил почти до краев Борькин стакан водкой. Моряку досталось чуть поменьше.

Мать была уверена, что Борис отхлебнет пару глотков горькой, не больше. «Отец-то хмелел после ста граммов». Но сын, чокнувшись с «благодетелем», крепко обхватил стакан пятерней и медленными глотками отважно выпил водку до дна. Мать сразу поняла, что пьет он впервые. Ошалело уставившись незрячими глазами в стол, Борис с минуту не притрагивался к еде. Потом произвольным жестом ткнул вилкой в горячую картофелину, поднес ее ко рту.

Василиса Кузьминична подхватила с середины стола блюдечко со сливочным маслом, подставила сыну:

— Ешь побольше,— шепнула она,— это от водки помогает...

Борис послушно зацепил кусочек на хлеб, с наслаждением принялся жевать. Потом, покосившись на мать, взял еще кусочек.

Гости и хозяева уже нестройно пели, когда на крыльце застучали несколько пар молодых ног. Вслед за Тоней в дом вошли Радик, Леня Жихарев и Дуся. Они вразнобой поздоровались.

Радик пренебрежительно сморщился, разглядев в компании охмелевшего Бориса. Тоня же была больше удивлена присутствием здесь Никиты Захаровича, который нагло разглядывал ребят посоловевшими глазами.

— Прошу, молодые люди, к столу,— промямлил Демкин, отирая ладонью рот.

— А вы здесь не хозяин,— бросила ему мимоходом Тоня, оборачиваясь к Василисе Кузьминичне.— Тетя Василиса! Нам нужно поговорить с Борей и с вами по очень важному делу.

— Она этого сделать не может,— заявил Демкин, приподнявшись с места.— Понимаете — не может! Хозяйке не полагается отлучаться.

— Так мы ей поможем,— спокойно разъяснил Леня Жихарев, отбрасывая прочь протянутую к Тоне руку Никиты Захаровича.

— Но, но, но!— меняясь в лице, сердито вскрикнул председатель артели.— Потише. Ишь, расходилась комсомолия! Это вам не двадцатые годы. Теперь порядок у нас есть и демократия расширяется!

Он все же попятился назад, сел. Растопыренная рука его сделала какой-то замысловатый жест над головой и бессильно упала на колени.

— Мы хотим, дядя, поговорить с Борисом без посторонних,— вышел вперед Радик.

Моряк, везде чувствовавший себя посторонним, вскочил на ноги, но его осадил начальственным движением руки Демкин.

— А это еще нужно выяснить, кто здесь посторонний. Боря числится на штатной должности в моей артели. Он мой работник. Понимаете — мой!

— Нет, он наш!— возразила Тоня.

— Нет, мой!— не унимался Демкин.— Из училища вы его выгнали? Из депо прогнали?

— Никто его не прогонял. Он сам ушел...— горячо заспорила Тоня, вдруг ощутив прилив смелости.— Боря ошибался, и мы тоже ошиблись.— Девушка передохнула и сердито уставилась в мясистое лицо Никиты Захаровича. Чуть обернувшись, она увидела у самого плеча дрожащие от гнева губы Дуси. Это придало сил комсомольскому вожаку. Слова вылетали стремительно, хлестали веско, как пощечины:

— Боря сын потомственного слесаря. У него золотые руки. Зачем ему ваши бабочки да лягушки? Он будет

выдавать под поезда локомотивы, выпускать на линию электровозы...

Она глянула в сторону виновника всей этой перепалки, но встретилась глазами с ошеломленной Василисой Кузьминичной, которая делала какие-то знаки сыну. Борис словно не замечал происходившего рядом.

Воспользовавшись паузой, Демкин предупредил:

— Прошу без оскорблений. Артель выполняет государственный план по важнейшей номенклатуре...

— Гм... «план»!— выкрикнула Дуся над самым ухом Тони.— Вы буржуй настоящий. И артель ваша жульническая!..

Ее перебил Леня. Он осторожно раздвинул девушек, приблизился к руководителю артели лицом к лицу:

— А ну-ка, гражданин номенклатурный, забирай свою водку и айда отсюда. Иначе — драться будем. За демократию подеремся...— Леня стал засучивать рукава.

Через минуту Демкин, угрожая и бранясь, был уже в дверях. Вслед за ним, ухмыляясь, побрел Моряк.

— Мы и этого мальчика у вас заберем!— выкрикнула вслед им Тоня, имея в виду Гешку.

По широкой сияющей пряжке она догадалась, что перед ней тот самый паренек, который стащил рожок отца.

Девушка, гордая собой и обрадованная первой победой, обернулась к товарищам. На миг Тоня забыла, что позорное бегство Демкина — только часть дела, причем не решающая часть. Ведь с Борисом еще и не начинали разговор, а Касьян Иванович именно в этом видел смысл их посещения семьи Кобцевых.

— Борис, Боря!— пересиливая свое отвращение к пьяному ровеснику, начала Тоня.

Борис слабо повернул голову на ее зов.

Вдруг между нею и Кобцевым появился Радик. На щеках его полыхал румянец. Староста группы посоветовал категорическим тоном:

— Не смей с ним разговаривать. Все равно мы не примем пьяницу в свою группу.

Такой выходки от Лемешева именно здесь Тоня не ожидала.

— А ты чего мне приказываешь?— тихо осадила она паренька.— Ты — это еще не группа, понятно?..

Леня и Дуся кинулись мирить их. Не выдержав взгляда рассерженной девушки, Радик решительно направился к выходу:

— Нянчитесь с ним хоть до поцелуев, а я пошел...

Тоня хорошо понимала, что слова насчет поцелуев, обращенные будто бы ко всем, относятся именно к ней. Ей захотелось сказать что-то колкое, но из-за стола рывком поднялся Борис, спокойно заявив:

— Не ссорьтесь... Я никуда не пойду... Ни с ними, ни с вами!

Три пары настороженных глаз ровесников уставились на него. Даже Радик, пораженный такими словами, застыл на пороге, взявшись за дверную ручку.

Напрасно ребята пытались понять смысл слов Бориса. Он победоносно глядел куда-то поверх их голов, изрекая как клятву:

— Ни с ними, ни с вами.

ГЛАВА 21

Приближался Новый год. Зима обложила сугробами подступы к железнодорожному узлу. Вечно бодрствующий диспетчер опять вызвал занесенный снегом поселок по селекторной связи:

— Кряж! Кряж! Где поезд 24—47?..

С группой практикантов Зуб уже три раза ходил по сугробам на тревожные сигналы паровозов. Среди повзрослевших ремесленников по-прежнему не было Бориса.

Паренек оказался верен своему слову и продолжать работу в демкинской артели отказался наотрез. Правда, под нажимом руководителей артели он два раза появлялся в цехах «Красного витязя», чтобы отработать аванс.

В первый же день к нему подскочил Ржава.

— Скажешь кому-нибудь слово о том... прикончу...

— Не бойся,— с достоинством отозвался Борька.—А к станку тому притрагиваться не советую...

Вскоре Ржава попался на очередной «операции». Он был задержан ночью с ящиком уворованного с пакгауза красильного лака. Изучая материалы следствия по делу бывшего «начальника снабжения» артели «Красный витязь», прокурор отделения дороги предложил исполкому Кряжского Совета отстранить от занимаемой должности Никиту Захаровича Демкина как матерого спекулянта, а несовершеннолетнего Геннадия Петровича Грибова (фамилию отыскали не сразу) отправить в интернат.

Борис предполагал, что его не коснется готовившийся

судебный процесс по делу Ржавы. Но мать дважды предупреждала: «приходили».

Как-то уже поздно вечером его застал дома старшина милиции. К удивлению Бориса, представитель органов повел его не в милицию, а к новому зданию поселкового Совета. Поддерживая за локоть, провел его по коридору к обитой черным дерматином двери, на фоне которой отчетливо выделялась надпись: «Приемная депутата З. А. Глущенко».

Не испытывая страха, однако и без особого желания переступил Борис порог этой комнаты. Глущенко сидел у окна, курил. Одет он был на этот раз в форменный железнодорожный костюм. В очках лицо его выглядело строже, начальственней. Депутат несколько минут молча рассматривал паренька.

— Ты не сердись, Боря, что мы тебя таким образом пригласили сегодня. И сам ходил, и людей посылал днем — не застали. Уж больно ты прыток: ни чужим, ни своим в руки не даешься. А поглядеть на тебя повнимательнее пора. Да ты, я вижу, и сам по мне соскучился...— Глущенко впервые улыбнулся.

— Нет у меня никаких «своих»!— с хрипотцой в голосе заявил Борис.

— Ну в этом ты, положим, не прав,— раздумывая, отозвался депутат,— однако и до такой мысли в пятнадцать лет дойти не просто. Не кажется ли тебе, Борис, что уж очень ты обозлился на всех нас? Возраст у тебя такой, что пора бы и дорожку в жизнь выбирать. А?

— Уеду я отсюда! На целину!— высказал подросток созревшую в последние дни мечту.

— Это ты можешь,— согласился Глущенко и перевернул на столе лист бумаги, на котором зоркие глаза Бориса издали разглядели подпись завуча училища — «В. Савостин»...— Ну, а там чем займешься? — продолжал Глущенко.— Ведь по закону тебя до шестнадцати годков на работу никуда не возьмут... А что, если ты сходишь к этому, как его,— он взглянул на бумагу.— Савостину вашему, к директору заглянешь? Попросишься обратно в училище? А?

— Не возьмут. Я крепко насолил им всем.

— А если прямо в группу сходить? Ребята не заступятся?

— Нет, не заступятся!— все с такой же обреченностью твердил Борис.

Захар Алексеевич помрачнел.

— Худо, брат, худо. Поссориться с товарищами — это совсем плохо. У нас вся жизнь, держава наша вся — коллективные. Образ жизни совместный, на виду друг у друга. Потерять доверие коллектива — это, дорогой мой, беда. Самая страшная беда притом. Во! Во! — оживился он вдруг, найдя уместный пример.— Получится что-то вроде Демкина: волк не волк и человеком не назовешь...

— Буржуй! — подсказал Борис, вспомнив слово Дуси, брошенное в лицо председателю артели.

— Нет, так нельзя, конечно,— возразил подобревший собеседник.— Буржуй, брат, иное. Однако... однако для таких, как ты, он в наше время опаснее буржуя. Того можно к ногтю прижать. А Демкина сразу и не возьмешь. Душу перекосит тебе, вот тебя уже и в сторону от людей повело... Бывают же у нас такие, как Ржава! Ну, а если все же попытаться сходить к ребятам? А? Старик ваш, мастер Зуб, горой за тебя! Понимаешь?

— Я ему трубу заткнул,— горько усмехнувшись, покаялся Борис.

Он ожидал, что признание рассердит депутата, вызовет целый поток длинных наставительных рассуждений. Но Захар Алексеевич хлопнул ладонью по колену, поднялся с кресла и зашагал по комнате, хохоча, как мальчишка. Борис тоже заулыбался.

— Ах ты, чертенок! — выкрикивал Глущенко.— Не побоялся! А ведь старик-то еще в силе, мог тебе бока намять за такую штуку...

Глущенко вдруг признался:

— А я ведь тоже любил такие номера откалывать в детстве. По садам лазил — страсть...

— Что-то не верится...

— Чего там — не верится? Честно говорю! — словно своего ровесника заверял Глущенко.— Но только потом остепенился. Война... Жизнь новую строить затеяли.

Он подошел к Борису и положил ему на плечо руку.

— Вот я и о тебе так думаю: не пора ли с этими шалостями закругляться? Может, все-таки сходишь перед отъездом к Касьяну Ивановичу, к ребятам?.. А то и вдвоем туда заявимся?

— Я сам попробую! — вырвалось у Бориса. Ему просто не хотелось возражать хорошему человеку.

— Вот так-то ладнее будет! Как бы ни получилось у тебя, не торопись уезжать из Кряжа. У моряков погудка

была: пить, так водку, любить, так красотку... А уж ехать — на Крайний Север!.. Зайди ко мне еще... Можешь прямо на квартиру. И гляди на меня отныне не как на высшую власть, а просто как на Захара Алексеевича. Идет?..

* * *

Неразговорчивый после болезни, Зуб вместе с Тоней склонился над тяжелой буксой ведущей пары локомотива.

Букса была с дефектом. Уже после обработки подшипника на токарном станке ее по нерасторопности упустили на цементный пол. Букса ударилась левой «щекой». Зуб поднял ее, обстукал со всех сторон своей дирижерской палочкой.

— Ну что, голубушка, отслужила свое?— как живую спросил Зуб.— Будем теперь ребят учить, как обстукивать тяжеловесные детали. Очень интересная трещина!..

У Тони хороший слух. Касьян Иванович подивился ее способности отличать по звону детали — нормальную от дефектной.

Зуб принялся на глазах у практикантки размечать и наносить на поверхность подшипника замысловатый рисунок смазочных канавок.

Девушке нравилось это занятие. Она внимательно следила за руками мастера.

Работа на таком шумном производстве, как мастерские депо, выработала в ней осмотрительность. Она время от времени поглядывала по сторонам. Вот сейчас ее как будто кто дернул за рукав. Она распрямилась.

— Касьян Иванович!— горячо прошептала Тоня на ухо Зубу.— Смотрите, Кобцев!

Мастер вздрогнул, будто все время ждал прихода Бориса в депо. Но тут же взял себя в руки и строго посоветовал Гуторковой:

— Не глядите на него! Молчите, ни звука...

Борис осмотрелся и с ходу нырнул по ступенькам в глубокую ремонтную канаву, под охлажденный локомотив. Некоторое время там было спокойно.

В канаве Ким Ампилогов и Гриша Азаров пристраивали рессорные подвески. Никто из них раньше не водил дружбы с Кобцевым. Но Борька знал, что Азаров чинил крышу на их доме, копал осенью в огороде ямы под сад. Какое-то чувство товарищества шевельнулось в душе

подростка. Со слабой надеждой на взаимное внимание он обратился имено к своем «шефу»:

— Гриша, давай помогу...

Тот обернулся на зов:

— Фью, Карандух! Как это ты надумал?

— А так просто,— сказал Борис, повеселев от доброго слова.— Пришел, и все. Давай поддержу вот здесь, посередине, а ты заталкивай в гнездо...

Он подхватил увесистый металлический вкладыш и, покачивая, направил его в заплывшее густым мазутом гнездо рессорной подвески. Ким Ампилогов, державший в руке слесарный молоток, в спешке раз и другой метко ударил по вкладышу.

— Стой, стой!— тревожно вскрикнул Борис и даже протянул навстречу Киму свободную руку.— Возьми-ка баббитовый молоток...

Слова эти были сказаны по-товарищески беззлобно, в простодушном порыве сделать добро, помочь. Но Ким вспыхнул: какой-то Карандух, проболтавшийся два месяца и неизвестно зачем заскочивший в депо, поучает его, отличника...

— Без сопливых обойдемся!— с достоинством проговорил Ким, но швырнул молоток в дальний угол канавы. Когда он сердился, делал все наоборот.— Вали отсюда, Карандух, к мастеру. Если разрешит — придешь к нам.

Ким, длинный и жилистый, распрямился, подпирая весь конец рессоры своим плечом, и отодвинул Бориса в сторонку.

Азаров заметил своему напарнику:

— Брось психовать, Ким. Человек тебе дело говорит, а ты шипишь, как баба-яга. Касьян Иванович ведь тоже предупреждал, что стальным молотком по металлическим деталям нельзя бить.

— Ну вот пусть он и работает вместе с Зубом, если они оба такие умные, а мы все дураки...

Баббитовый молоток с огромными кучерявыми заусенцами лежал тут же на рельсе, и это еще больше раздражало вспыльчивого Ампилогова. Гриша Азаров подхватил молоток и одним ловким ударом посадил вкладыш на место.

— А к ведущей паре вдвоем рессоры не подвесить,— рассудил Гриша, вытирая повлажневший лоб.— Я пойду к Зубу и скажу, чтобы к нам Борис шел.

— Пусть сам идет,— упорствовал несговорчивый Ким.

— Я после, потом схожу,— объяснил просительно Борька. Ему почему-то хотелось, чтобы мастер увидел его за работой. Он покосился в проем паровозной рамы на Зуба и добавил со вздохом:— Боязно сейчас...

Это покаяние стоило Борису большого душевного напряжения, но Ампилогов оставался равнодушным:

— Пакостить было не боязно...

Борис все же пошел. Передвигался он вяло, словно нес тяжелый груз. Вот он выбрался по цементным ступенькам из канавы и снова долгим взглядом посмотрел на чересчур уж занятого своим делом Зуба. Взгляд подростка перехватила Тоня. Девушка сделала ему манящий жест рукой.

Борис на несколько шагов приблизился к ней, но, поравнявшись с локомотивом, оробел и поднялся по металлическим ступеням в будку. Там с минуту было тихо. Даже стало еще тише, чем раньше. Потом несколько раз подряд, с ровными интервалами, раздались вспышки хохота. Под насмешки ровесников паренек сошел вниз.

Спускался он не один. Вслед за ним, отстав только на одну ступеньку, бежал Леня Жихарев.

— Борь! Не обращай внимания,— уговаривал он Кобцева, пытаясь повернуть его лицом к себе.— Поржут да и перестанут. Вернись, со мной будешь, на пару.

Борис заколебался. Но в этот момент из окошка машиниста высунулась замурзанная физиономия Сироткина, который крикнул, смеясь:

— Качай отсюда, Карандух! Котам хвосты закручивай.— И вдруг мяукнул по-кошачьему. Это удавалось Сироткину.

Леня обернулся к Сироткину, потряс над головой гаечным ключом. Сироткин скрылся в будке.

Не приняли Бориса на сборке золотников, недружелюбно встретила группа арматурщиков.

Ежась под холодными и колючими взглядами ожесточившихся сверстников, Борис замечал, что некоторые ребята сочувствуют ему, даже пытаются вразумить крикунов и насмешников. Но таких было явно меньше, да и выступали они как-то несмело, неуверенно.

Все ждали, как отнесется к появлению Карандуха в депо Касьян Иванович.

Подросток стоически переносил оскорбления. Ни слова наперекор, ни взмаха руки в ответ на рьяные и развязные угрозы.

Зуб видел всю эту картину до мельчайших деталей. Старый мастер порой терял выдержку. Но вмешиваться было еще не время.

Борис обошел все группы практикантов, размещенных по узлам ремонта машин.

Переходя от одного звена к другому, Борис выжидающе косился на Зуба, но подойти к мастеру, как ему советовали, не решался: зачем идти, если все его ненавидят.

Вот Борис, переминаясь с ноги на ногу, остановился в задумчивости опять напротив будки локомотива. Вот он стал вполоборота, поглядел на дверную прорезь в огромной стене мастерских и прошел два шага к выходу. Потом, словно его что-то удерживало здесь, присел на слесарную тумбочку. Он повел грустным взглядом по стенам цеха, повернул голову в одну сторону, затем — в другую. И в этих движениях головы подростка было уже что-то новое, не по-карандуховски трагическое. Мальчик прощался с цехом, с людьми. Навсегда. Его душе становилась наконец по-настоящему чужой эта среда, этот гул и звон металла, эта стихия, в которой Кобцевы призваны быть хозяевами. Вот Борис приподнялся и побрел между колесных пар. Но у последней пары он, будто обессилев, опять присел.

Чтобы оказаться за дверью навсегда, ему оставалось сделать всего несколько шагов. Мастер знал, что из цеха уходит человек, сила воли которого никогда в жизни не позволит ему больше переступить порог этого здания.

Но эти шесть шагов прошел не Карандух, а мастер Касьян Иванович Зуб. Прошел навстречу Борису, незаметно оказавшись у выхода.

Зуб подошел к пареньку и опустил тяжелую ладонь на поникшую голову подростка. Выношенные, выстраданные старым человеком, сами вырвались наружу слова:

— Тебя обижают, сынок?

Это были как раз те самые слова, которых ждало от близких людей всю недолгую жизнь очерствевшее сердце мальчика. Борис, подавшись худенькой фигуркой вперед, уткнулся в спецовку Зуба. Карандух плакал, вздрагивая плечами и по-детски всхлипывая. Плакал, когда над крышей цеха вздрогнул и заревел гудок, когда рабочие прошли мимо на перерыв, плакал, чувствуя, что вокруг собралась уже вся группа и ровесники молча наблюдают за его слабостью.

Касьян Иванович отчетливо видел по глазам подрост-

ков: многие из них еще не верят в слезы Карандуха и смотрят на эту сцену со злорадством. Старый мастер думал при этом, что немало трудных минут, часов, дней придется ему пережить, прежде чем эти юные мастера выйдут на твердую дорогу в жизни, а Карандух станет настоящим человеком.

1958

ЦВЕТЫ ОТЦУ

1

Поля в тот год глохли от сорняков. После каждого дождика приходилось раза три пропалывать рядки посевов. Повилика цепко обвивала еще не окрепшие стебельки льна, ползла на самые верхушки растений, нагло зацветала там раньше, чем метелочки выбросят бутоны.

Свекловичные плантации переживали нашествие осота. Ржаной клин утонул в полчищах острошлемных метелок сурепки. Колючие верхушки ее уже в конце мая были охвачены желтым лихорадочным огнем цветения.

Сорняковая пошесть перекинулась с дальних полос к гумнам и огородам, не миновали этой беды и палисадники. Жутко было глядеть на взъерошенные, словно подкрашенные в чернильный цвет головки чертополоха, достигавшего крыш.

Ладони хлеборобов трескались на сгибах, кожа пухла от укусов злой травы. Бледно-зеленые пятна ядовитого сока не отмывались даже в парной.

Когда пришла пора цветения картофеля, в белеющие от восковой спелости хлеба высадился гибельный десант васильков. Те самые, чисто-синие, будто слепленные из кусочков неба, мохнатые под венчатой шляпкой терпко пахнущие чем-то домашним цветы, без которых на Руси нельзя представить себе полей,— одичавшие цветы на глазах губили урожай...

2

Скотник Симон Аверьяныч Подузов за полдень сегодня управился с делами, намеченными с утра. Еще до восхода солнца он отвез к летним выпасам пустые бидоны, заправил фуражом кормушки в загоне молодняка. Выполнял это все Симон с расчетливым старанием, чтобы поспеть домой зáвидно и часок-другой помочь жене в огороде. И все же на обратном пути с мельницы ему пришлось дать крюку: подвезти к мастерским артельного механика, тащившего на себе от РТС фланцы к головке тракторного двигателя.

Дядя Епифан посторонился, услышав за спиной шум пролетки и негромкое понукание. Он и не подумал бы остановить подводу, если бы Симон сам не придержал разошедшихся лошадей на развилке проселочного пути. В деревенском обычае по-доброму отругать человека, не жалеющего себя.

— Эк ты не расчетливо действуешь, Епифан Палыч!— сердито проговорил Симон, соскакивая с воза.— Думаешь, износу тебе не будет!

Механик по привычке тронул тыльной стороной ладони отвислые усы, виновато заулыбался, будто уличенный в нехорошем.

— Да я ничего, голубь сизокрылый!.. Я потихоньку: где скрип, где ступ, давеча там, а сейчас уже тут...

Он махнул в сторону амбаров, где под навесом стояли тракторы.

Симон грубоватым движением снял с плеча старика увесистую чугунную деталь, перехваченную ржавой проволокой, и швырнул ее на дроги между мешков с отрубями. Потом обернулся было, чтобы помочь попутчику взобраться на телегу. Но Епифан Палыч со сноровкой, вызывающей скорее жалость, чем восторг, перевалил через поручни телеги протез-деревяшку, потом, оттолкнувшись здоровой ногой, вскочил на мягкую поклажу сам. Устроившись на возу, он отер вывернутой полой пиджака потный лоб, не спеша достал из-за голенища сапога трубку и принялся прочищать ее подсохшей былинкой клевера. Симон слышал, как тяжело сопит за спиной притомившийся человек, как постукивает он трубкой, вытряхивая обгоревшее табачное крошево.

— Витек-то пишет?— спросил старик у Симона, когда развернул на коленях кисет.

Было столько ласки в голосе инвалида, назвавшего взрослого сына Подузовых мальчишеским именем, что Симона насторожили его слова. «Уж не Настя ли нажаловалась?— подумал он с досадой.— Негоже это семейную беду напоказ выставлять». Он сильно дернул вожжой, сдерживая каурую кобылу, норовившую на бегу укусить молодого жеребчика, впервые сегодня запряженного в пару. Не хотелось сейчас говорить о сыне. Но спрашивает человек, может, к слову пришлось.

— Пишет!.. Как же иначе?.. Привет всегда передает,— неторопливо отозвался Подузов, покосившись через плечо на механика. Не заметив на лице Епифана Палыча веры

своим словам, осторожно спросил:— Или он вам чего обидного написал?

— Не... Что ты?— махнул рукой старик, закашлявшись после крутой затяжки.— Не такой он у тебя, чтоб плохое... Студент что надо!

— Не студент он уже!— бросил Симон, пристегнув каурую вожжами.— Прошлой весной еще закончил...

Подузову не хотелось продолжать разговор о Викторе. После защиты диплома сын прислал только одно коротенькое письмо. Не ему — матери. Просил денег. Знал, конечно, что мать больна после родов, на ферму не ходила полгода, жили на заработок отца. Но все же обратился к ней, не к отцу.

— Ты это зря на него,— уловил настроение Симона механик. И тут же произнес как бы в оправдание себе:— Хорошее в людях труднее замечается, чем плохое...

Епифан Палыч в тяжкой сосредоточенности уставился на гривку пырея, бегущую меж разбитой колеи.

— Стенд он мне пособил наладить для калибровки жиклеров,— напомнил старик. Симон уже не однажды слышал и от трезвого и от подвыпившего Епифана Палыча об этой, возможно, единственной услуге сына колхозу.

— Когда это было!— без радости воскликнул возница.

— Стенд и сейчас действует... Эх, сизарики!— вздохнул механик, свертывая кисет.— Поцарапались вы, видно. Недаром в газетах пишут...— Он замолчал, не договорил, о чем прочел в газете.

Чтобы окончательно отвести разговор о сыне, Симон посоветовал старику:

— Тяжел ты стал, дядя Епифан. Может, пенсию хлопотать пора?

— Пенсию мне уже второй раз назначили.— Механик резанул острым взглядом по крутой спине возницы.— Одну за ушедшие лета, другую за вот это самое...— Он постучал чубуком трубки по деревяшке. Комочек спекшегося табака вывалился через щербатый край трубки на мешок. Епифан Палыч поплевал на палец и загасил тлеющий огарок.

— Я не о деньгах!— наступал Симон.

— А об чем же?— требовательно повысил голос механик.

— На отдых пора...

— Принимай мастерские!— с язвительной готовностью

предложил механик.— А я поваляюсь под навесом и погляжу, как ты подшипники шабрить будешь.

— Научи — буду шабрить,— не сдавался скотарь.

— Вот и учу: не говори лишку!— строго оборвал старик и таким же решительным голосом распорядился:— Вон к тому краю правь, где ДТ разобранный...

Они приближались к продолговатому навесу на околице села.

Епифан Палыч сполз с телеги и заковылял к тракторам, даже не взглянув на железку, с глухим звоном сброшенную на землю.

Парень, лежавший до их приезда под рамой трактора, вылез оттуда и подхватил привезенную деталь, прокричав что-то радостное в похвалу добычливому механику.

Симону пора было заворачивать лошадей. Однако он, взглянув в этот миг на старика, никак не мог отвести от него обеспокоенного взгляда: сжался, усох человек за последние год-полтора! Сильно перекашивало его в ходу. Плечо будто срезали с левой стороны, тоскливо поскрипывала березовая нога.

— Дядя Епифан!— выкрикнул Подузов, не одолев любопытства.— А где та твоя нога?.. Ну, которую из военного госпиталя прислали?.. На пружинах?..

— Га! Пружины затужили, только полгода служили...— Механик снова дернул усы.— В город уехала нога, на дрессировку... Зачем она тебе понадобилась, голубок?

Внезапно всплыло в памяти: Виктор обещал в последний свой приезд подобрать гибкий шарнир, чтобы протез действовал плавно. Сын и увез тогда протез...

Старик продолжал убеждать:

— Мне вот эта, партизанская, вроде как родней... Гвоздь на ней выправить можно, и в мазуте замарать не боязно...

Симон нахлестывал лошадей.

— Слышишь!— летело ему вдогонку:— О стенде напомни, а о протезе — не смей! Не велю!.. Эх, разбросали сизарики крылья по разным сторонам...

Подузов застал жену в огороде. Нянчась с четырехлетним Егоркой и младшенькой Катькой, она взрыхляла капустные грядки. Симон дал детям по конфете, купленной им по пути от конюшни в сельской лавке. Обменявшись с женой несколькими ничего не значащими фраза-

ми, чтобы утаить от нее настроение после неприятного разговора с механиком, он пошел к другому концу грядки, куда еще не добрались руки Настены.

— Ух как тебя выгнало, проклятую!— сочно выругался хозяин на полынь, густо заполонившую рядки моркови, еле видной у плетня. Он принялся хватать сорняки за головки, рвал из земли с корнями.

Симон Аверьяныч твердо решил сегодня же вечером написать Виктору. Этот мысленно уже начатый нелегкий разговор с сыном постепенно успокоил его. Он шутил с Настеной, перекидывался с Егоркой рыхлыми комочками земли. Кате нашел уснувшую между листьев смородины ночную бабочку.

Сад молодо шумел над ними густыми разлапчатыми листьями. Будто в награду за старания людей тянулись к свету молодые побеги, раскидывали увешанные зелеными плодами ветви до самой крыши.

В саду Подузовых росло немного деревьев. Все они были разделены между жильцами по именам: груша — Настены, две вишенки — в честь младших детей. Яблоня Виктора, густо облепленная мохнатыми плодами и, как соломой под зиму, увитая с корня матерым кустом повилики, стояла поодаль, к углу сада. У Симона все как-то не доходили руки заняться ею: обрезать пошедшие по кроне вкривь и вкось побеги, заглянуть под комель...

— Мужички!— воскликнула Настена, распрямив спину.— Есть не захотели?

И хотя отозвался один Егорка, она пошла в дом и вынесла всем по скибке теплого хлеба, политого конопляным маслом и посыпанного крупной солью.

3

Тени деревьев заметно удлинялись. Багровое на закате солнце перекрашивало новый сосновый сруб коровника, стволы яблонь, листья кустарника.

Симон стал замечать, что — и зажмурив глаза — он видит перед собой надоедливые, ощетинившиеся листья осота. Из стада пришла их буренка, нетерпеливо терлась о плетень, мычала, напоминая о себе. Дети протягивали ей оставшиеся хлебные корки. Потом принялись кормить травой, лезли на плетень, чтобы потрогать мягкие коровьи губы руками.

Симон заговорил с женой о пристройке к коровнику, о нынешней встрече с Епифаном Палычем, когда от калитки прозвучал настойчивый голос:

— Взгляните-ка на детей! Да посмотрите же на детей скорее! Как они расшалились! Этак и до беды недолго... Настена, подружка!.. Аверьяныч! Вот как вам приспичило!.. Впору лежанку ладнать да щами на ночь заправляться, а вы все по грядкам елозите! И о чем только у людей разговору находится, ничего кругом не замечают! Работа работой, а за детьми глаз нужен...

Симон с охапкой осота повернулся в ту сторону, откуда долетали хлесткие, укоризненные слова. Егорка смекнул, в чем дело, и успел скрыться от строгого отцовского взгляда за кустом смородины. Катя, подвешенная братом за подол рубашонки на суковатом колу плетня, хныкала, сучила на весу кривыми ножками, отбиваясь от коровы, которая тянула к ней рогатую морду. Самое худшее, что грозило девочке,— это свалиться в крапиву. Поэтому Настена оторвалась от дела нехотя. Без особого усердия она отшлепала девочку по голому задику. Потом привычным движением подбросила ребенка на левой руке и пошла на зов с улицы.

У калитки стояла, опершись локотками на тяжелую сумку, деревенский почтальон Груня. Женщина могла бы и сама вызволить ребенка из беды, обойдя угол ограды, как это делала не раз прежде. Не чужой человек — крестная мать Кате. Но сейчас Груне нужно было увидеть Настену с глазу на глаз.

— Получите свою «Зарю»!— громко объявила Груня. Передавая газету, она сверху положила остро блеснувший в сумерках конверт.

— От сына?— шепотом спросила Настена.

— Ага!— так же тихо ответила Груня, взваливая свою ношу на плечо.

Вырвав у чересчур проворной девочки конверт, Настена опустила его за пазуху.

— Чего-то она раскричалась?— встретил вопросом Симон.— Пусть своих воспитывает...

Сказано это было негромко, чтобы не расслышала недалеко ушедшая Груня. Симону ли не знать, почему почтальонша коротала вдовий век бездетной? И вовсе не в укор Подузовым, а может, так просто, от тоски душевной, пропела она у чужой калитки свою заботу о чужих детях. Но сегодня Симон не мог воспринимать спокойно даже

незлобивые упреки за детей. Произнес он воркотливые слова лишь для Настены, чтобы жена помнила о его отцовской любви к малому озорному Егорке и сопливой ревушке Катьке.

Настена подала мужу газету. Расправив юбку на коленях, опустившись на грядку так, что последние лучи, процеживаясь сквозь листья, падали ей на руки, она села вполоборота к мужу.

Прежде чем распечатать конверт, Настена изучающе посмотрела на мужа. Ей нравилось лицо Симона в эту минуту: чуть притуманенные, спокойные серые глаза, изломленные, будто крылья большой птицы, свободно парящие над глазами брови... Она видела в его глазах лишь внутреннее довольство собой, своей женой и, конечно, своими детьми.

Чтобы, хоть с опозданием, отозваться на суровую фразу Симона по адресу вдовствующей подруги, Настена бросила привычное:

— Слава богу! Детки живы и здоровы.

И разорвала конверт, локотком взбодрив голову усевшейся на коленях Катьки, чтобы заслонить письмо. Но Симон догадался о письме — по ее позе и по тому, как жена, будто школьница младших классов, шевелит губами над строчками, произнося слова по слогам, стараясь догадаться материнским сердцем о том, что припрятано между строк...

— От Виктора?— хрипловато бросил Симон.

Настена не ответила. И Симон, обидевшись или делая вид, что рассержен, отошел в угол сада, принялся охаживать скребком землю под кроной «Викторовой» яблони. Затем он отложил скребок и налег на кучу травы, накопившейся с полудня между кустов.

Он сбрасывал в рытвину под плетнем целые охапки. Егорка, тоже увлеченный делом, тянул длинные плети повилики вслед за отцом, перекинув их через плечо, по-смешному тужился и пыхтел, подражая отцу. Симону нравилось, что сын ходит по-флотски, вразвалочку, солидно раздумывает перед тем, как ухватиться за новую плеть. Отец любил отыскивать в детях что-то свое, перешедшее от него, от Симона.

— Папа!— то и дело окликал отца Егорка.— Смотри, что-то ползет по веточке — с усами, а без бороды!.. Папа, почему на одной ветке крыжовник крупный, а на другой с горошину? А этот совсем похож на маленький бочоночек...

— Сам ты бочоночек! — не всегда откликался Симон, оглядывая коренастенькую фигурку сына, налитые щечки.

Егорка, не удовлетворенный таким сравнением, сорвал горсть зеленых плодов с куста и швырнул ими в отца.

Симон сделал вид, что рассердился на него и хочет настигнуть: вскрикнул, затопал ногами.

Егорка с притворным визгом юркнул под тяжелую ветвь, протянувшуюся над грядкой. Мальчик ойкнул, потом смолк и долго не показывался. До отца дошло сначала шумное его сопение, затем послышался сдержанный мальчоночий рев. Одной рукой Егорка потирал саднящий большой палец на левой ноге, а другой отчаянно колотил прутиком по широкому корявому листу с белесым оттенком. Обидчиком оказался матерый осот, хищно вскинувшийся между рядком кустарника и капустной грядкой.

— Ух ты какой вредный! — замахнулся на сорняк Симон, чтобы успокоить мальчика. — Да мы тебе сейчас отомстим!

И он с ходу забрал растение под корень. Однако рука скользнула по твердому, жилистому стволу. В кулаке остались несколько смятых листьев.

— Ого! — выкрикнул задетый остью Симон. Он сжал комель обеими руками у самой поверхности.

Егорка с веселым озорством схватился за кончик выпроставшегося из-под рубашки поясного ремня отца, готовясь пособлять.

— Мама! Катя! — позвал он. — Скорее! Будем в сказку играть... Репку тянуть, мам!..

— А ну вас! — отмахнулась занятая письмом Настена.

Симон без былой уверенности покачал стебель. Тот оказался достаточно гибким и цепким, корень его глубоко вонзился в землю. Разрыв почву у самого выхода злого растения на поверхности, Симон заметил явное утолщение корня под нижним листом и присвистнул от удивления.

Со спокойным ожесточением скотарь теперь положил руку на руку и что есть силы дернул на себя. Стебель осота хрустнул. В лицо Симона противно брызнуло липким, остро пахнущим соком. Неровное место разрыва корня стало заполняться крупными пенящимися каплями.

Егорка тут же потянулся к корневищу губами, но отец грубоватым движением отстранил мальчика. Тот захныкал:

— Мы с ребятами на лугу ели такую траву... И сок травяной сосали, он сладкий-пресладкий...

— Это другая трава!— раздраженно объяснил отец.— И сок от нее другой... Возьмешь на язык — видеть перестанешь... В сумасшедший дом отвезут...

Симон для убедительности принялся топтать корень, засыпать его землей. Он знал, конечно, что слепнут и теряют рассудок от белены, но детям незачем тащить в рот что попало. Не голодные года!

Егорка кое-что слышал о том страшном доме, где живут безрассудные, больные люди. Там обретается дядя Парфен из соседней деревушки. Парфен собирает куски жженого кирпича и называет их коровами. Он выносит свое стадо пастись на луг, и, если кто сбросит кирпичики к обочине, Парфен плачет, как маленький. Мама не велит смеяться над Парфеном, говорит: его немцы в войну искалечили...

Отец и сын, задумавшись каждый о своем, притихли. Симон достал папиросу. Сладко затягиваясь, он пускал дым в заросли смородины, где тоненько погудывал устраивающийся на ночлег шмель. Симона неприятно дразнила сшибка с осотом: «Слабеть стал?.. Или эта погань так силу взяла — еле превозмог!.. А все-таки нужно было его с корнем вытащить»,— мысленно рассуждал он. Но сейчас не хотелось идти в хлев за лопатой. Симон решил завтра по пути на ферму задержаться в огороде и доконать сорняк.

— Дед!— внезапно выкрикнула Настена за его спиной, охнув. У Настены и у Симона в войну не выжили отцы. Младшие дети Подузовых не знали дедов. Не понимали этого слова. Настена столкнула с колен Катьку и, прижав к груди недочитанный листок, еще раз проговорила в изумлении, нехорошо, непонятно засмеявшись:

— Симон, поздравляю: ты — дед!..

Наигранный смешок ее оборвался, как только она увидела лицо обернувшегося к ней мужа. Симон, всегда понимавший свою жену с полуслова, вдруг помрачнел, стал в одно мгновение чужим, лицо его выглядело погасшим, старым.

4

Кто мог предположить, что клочок бумаги, вложенный в обыкновенный почтовый конверт, принесет в дом так много суматохи. Не обзови Настена с таким надрывом мужа этим странным и далеким от его возраста словом

«дед», а скажи новость по-иному, не зареви она, наконец, после глупого хохота на грядках, может, известие о рождении ребенка у старшего сына, Виктора, воспринялось бы как должное, как принято на селе: созвали бы друзей, выбрали кума... Симон не очень-то и расстроился поначалу. Так, прошла по сердцу мутная волна: сын ведь, мог бы... Что мог — толком не определишь.

— Ну и что же, что дед? Виктору небось к двадцати подкатывается. А мы с тобой когда поженились?

— Правда?— подняла освеженные слезой глаза Настена, силясь улыбнуться.— Это не обидно, если дедами нас станут окликать теперь?

Оба они старательно обходили в разговоре слово «бабушка», будто его и не существовало.

— А тебе сколько было, когда Витька нашелся?— резонил муж.

— Восемнадцать сравнялось,— вспомнила Настена. Но она вспомнила и о чем-то другом. Лицо ее, посветлевшее было, опять стало испуганным.— Ох, не скажи... Да я же по рассудку будто старше была... Умелось мне к той поре многое: и лошадьми в борозде править, и снопы к молотилке подавать... За прицепщика на пахоте ставили.

Она вытирала лицо передником, но слезы не переставали течь по щекам. Все это время она как будто не замечала детей, жавшихся к ней с двух сторон. Егорке передалось настроение родителей. Косясь то на отца, то на мать, он силился понять, о чем они так резко переговариваются, забыв о траве.

— Ну и что же!— торопился ответить Симон, беря на руки забытую родителями и громко напоминающую о себе Катьку.— Ты при хлебе состоишь здесь, землей живешь... А у Виктора городское ремесло в руках, техникум он осилил. В газетах пишут, что они нынче умнее, чем мы были в их годы... И созревают скорее... На десять сантиметров выше своих годов поднялись,— вспомнилось ему вычитанное из какого-то молодежного журнала.

Но в словах Симона под конец уже не было той уверенности, с какой он приступал к этому вынужденному разговору. Его тяжелая мужская растерянность пугала Настену больше, чем неожиданное появление на свет внука.

Подузовы возвратились в избу, зажгли лампу. Настена старалась быть веселой, но, собирая на стол, тыкалась из

угла в угол как слепая, залезла поварешкой в ведро с водой, подшучивала над собой. Порывшись в сундуке, она застлала стол цветастой скатертью, словно в дом их прибыл долгожданный гость.

Едва высидев, пока зареванная девочка успокоится на лежанке, Настена побежала со своей новостью к Груне. Забыла и письмо прихватить.

Симон Аверьянович, повозившись в миске, незряче уставился в скомканный листок, оставленный Настеной на краю стола. Егорка, сидя за столом, цвиркал на письмо и колотил по нему ложкой. И без того нечетко выведенные, пляшущие буквы расползались под воздействием такой критики со стороны младшего брата.

С грубоватой откровенностью старший сын Подузовых писал:

«Мам, здравствуй!

Давай, мам, без паники, потому что все нормально. В общем, я тебе говорил уже о своей чувихе. Ну, о Зойке!.. Так вот знай: теперь мы живем вместе. У нее. Не одни живем — родители с нами. Тестя зовут Мусик, то есть Михаил. А тещу — не знаю, она кому как называется: Лика, Лия, Эла... Маленький теперь у нас есть, пока без имени. Зойка малыша не кормит. Говорит: и грудь моя, и фигура должны принадлежать публике, а не одному человеку, пусть даже сыну... Бережет себя Зойка. Она у нас артистка. Вот так, с этим нормально. Мы с Мусиком кормим парня из соски. И дежурим ночью у кроватки. Все чин чинарем, мам, без паники. Днем приходящая няня заглядывает. А Лия Ивановна (так она мне велит звать себя) говорит: ребенка следует в круглосуточные ясли устроить, тогда все будет в порядке. Мусик не соглашается: жалко! Ну, я так надумал, тольке без паники, мам: пусть тетя Груня к нам едет. Устроим ее здесь постоянно. Пока ребенок на ноги станет. За палочки ведь тетя Груня там сумку с письмами волочит, а здесь пеленки стиральная машина сама моет... И кино она может каждый день смотреть бесплатно.

Обрывайтесь, мам, втихаря с тетей Груней и приезжайте скорее! Без паники. Жду».

— Какой шалопай! Какой шалопай! — шептал в ярости Симон, обхватив голову руками.

Он долго курил, лежа на кушетке. В сумеречном свете лампы поглядывал на простенок между окон. Там висел, убранный рушником, студенческий портрет сына. В глазах

Симона отражалась то острая злость, то жалость к сыну, досада. Сердце когтисто сжимала тоска, причину которой он, сорокалетний дед, пожалуй, не смог бы объяснить...

5

Даже не зная подробностей с прибавлением родства, Симон Аверьянович догадывался, что во всей этой истории многое неладно. Душевный непокой его за судьбу сына заползал в душу и раньше. Временами тревога перерастала в знобкое ожидание какой-нибудь каверзы со стороны повзрослевшего Виктора.

Отношения между младшим и старшим Подузовыми никогда не были простыми. Родился Виктор в сорок втором. Симон тогда воевал под Керчью. Увиделись они впервые, когда мальчик уже собирался в первый класс — так невероятно затянулась действительная служба моряка-десантника.

Горькой была встреча Симона с деревенскими родичами после разлуки, истомившей всех. Вместо привычных рубленых изб с резными наличниками, вместо домовитых пристроек и копнистых ракит у пруда, родное село предстало в виде изрытого землянками поля. Издали торчали с поля покосившиеся дымоходы, сработанные из коленчатых самоварных, иногда крестообразных труб. Вид подземной деревни напоминал заброшенное кладбище... Моряк добрался сюда со станционного разъезда к сумеркам и почти до полуночи разыскивал среди ненумерованных землянок свою.

Героя рукопашной схватки под Керчью напугал вид загнанного вглубь родного села. Настена постарела, вытянулось ее, некогда круглое, девичье лицо. Лишь по-молодому и как-то еще более застенчиво блестели над острыми скулами зеленые большущие глаза. Из-за тряпья ее одежды шагнул навстречу Симону худенький пацаненок: длиннорукий, лицо в ярких конопушках. И глаза зеленые, как у мамы!..

— Витя, сынок!

Было в том восклицании много счастливого неверия, изумления. Моряк мог привыкнуть к чему угодно, даже к земляному полу и плетеным стенам избы, в которой, наверное, еще долго будет сниться бомбежка, чем к сыну. Но мальчик стоял рядом, он тянулся к отцу тоненькими

ручонками, тащил из сырых закоулков детский скарб. Все игрушки, даже кукла Машка, были рукодельными.

— Посмотри, папа! Крутни, папа!..

К ржавой крыльчатке, вырезанной из консервной банки, приделан гибкий металлический привод. Громыхая в кожухе, крыльчатка с забавным рокотом вращала маховичок динамо-машины... Чудом добытая в лихолетье лампочка от карманного фонаря сказочно светилась в знобких потемках земляники. Помнится, Симон все ловил себя на желании выбежать из землянки, увезти жену и малыша куда-нибудь, не оставаться здесь... Сказались долгие недели обороны в катакомбах Аджимушкая...

— Это мы с дядей Епишей собрали! — пояснил счастливый малыш.

— Епифан Палыч жив? — Симон всякий раз будто пробуждался, услышав знакомое и полузабытое имя.

— Ранен он... Без ноги теперь, — с печальной улыбкой пояснила Настена. Она тут же подхватилась, хотя было поздно, накинула на плечи полушалок. Почти вслед за ней пришел артельный механик.

Дядя Епифан показался Симону мало изменившимся, бодрым. Лишь усы, разросшиеся до ушей, несколько старили его скуластое, с зоркими серыми глазами лицо. Механик долго тискал Симона в объятиях. Крякал, удивлялся широте плеч моряка, словно спросонья тер кулаком глаза.

Из широкой штанины, плохо заправленной в протез, Епифан Палыч достал бутылку с мутной жидкостью. Бутылка имела затейливую пробку — обломок кукурузного початка. Хозяева и гость расселись вокруг плиты. Застланная куском трофейного дерматина плита служила в доме и столом.

Кроме сплюснутой алюминиевой кружки в доме не было посуды, пригодной для питья. Нашли ущербленный стакан, в котором Витя хранил собранные в огородах осколки от снарядов. Настена успела заглянуть к знакомым, перехватить пару яиц и кусочек сала. Симон раскрыл банку тушенки. Вышло почти «на уровне», как определил Епифан Палыч.

— Выпьем за Анастасию Егоровну, — вдруг предложил механик.

Женщина, присевшая на краю скамьи, подхватилась, замахала руками, протестуя.

Минутное замешательство Симона не осталось незамеченным для механика.

— Как ты служил,— принялся толковать Епифан Палыч,— видно любому и по медалям. А вот как ей пришлось,— он кивнул на хозяйку дома,— и другим таким же расскажут безвременные морщины под глазами да могильные горбки...

Епифан Палыч уронил голову. Настена всхлипнула, отодвинула кружку, принялась утешать гостя.

Жену и детей партизанского вожака Епифана Рутько казнили немцы.

— Ладно,— справился со своею бедой гость.— Живым — жить велено... Чем думаешь заняться теперь, старшина?— обратился он к Симону.

— Отдохну, подумаю,— осторожничал моряк.

— И то правда!— согласился механик. Но тут же сморщился, как видно, не от самогона.— Вот так и мне виделась из партизанской землянки победа: в сухом месте, на луговом сенце или на соломе выспаться вдоволь да картошки наесться — с солью. А потом, думаю, хоть начальником депа: куда пошлют, туда Епифан и потелипá...

— Мне положен месячный отпуск после службы,— не понял намека моряк.

— За чьей спиною?!— сказав это, механик еле заметно качнул головой в сторону Настены.

— Будет вам, мужики!— просила Настена, вытирая руки полотенцем.— Только сошлись — и уже о деле...

Симон растерялся. Он и впрямь не мог толком ответить сейчас, как сложится его жизнь в гражданке.

Епифану Палычу, оказывается, немного нужно, чтобы «поплыть». Выпил кружку самогона, еще глотнул разок, и язык одеревенел, голос стал по-командирски строгим.

— А вот это уже плохо!— упрекал он.— Воинский устав не позволяет без ориентиров по земле ходить... Теперь ты не на волнах, а на твердую землю сошел.

— Посмотрим,— ответил Симон. В глазах его появилось упрямство.

Посидев немного, гость засобирался домой. Он попрощался со всеми за руку, а мальчика полуобнял вечно черной от мазута и моторной копоти рукой.

— Что б вы ни надумали, голуби сизокрылые, а сына от железного рукомесла не отлучайте! Душа у него к этому делу прирождена... Десяток годов я поезжу на своей партизанской,— он постучал ладонью по протезу,— а там подмога небось потребуется... От него и ждать буду смену в мастерских...

Симон принял это в упрек себе, но не обиделся, потому что механик угадал его настроение.

Прокоротав за разговорами ночь у мигающей плошки, семья Подузовых решила, что Симон расстался со службой не ко времени. После отдыха придется вернуться на корабль, где его ценили как одного из расторопных, знающих службу командиров. Недаром предлагали остаться на сверхсрочную... Там он мог без особого напряжения приберечь от зарплаты семьсот, а то и всю тысячу рублей в месяц на новую избу... Настена хоть сейчас готова была покинуть сырую землянку, согласна была жить в чужом углу в каком-нибудь порту. Но потом они рассудили, что и с переездом можно повременить: везде, в том числе и в приморских городах, погуляла война, не оставила камня на камне.

...Потом было легче. Бережливая Настена каждую копеечку умела пустить в оборот с выгодой для строительства. И дом поставили, и кое-что из одежды приобрели, даже телочку по сходной цене в Заготскоте перехватили. И виделись чаще. Однажды Настена с сыном и на корабле побывали. Но ушли еще семь молодых лет. И сынишка, который почти не жил на глазах у отца, ко времени увольнения главстаршины Подузова в запас окончил семилетку. Двумя неделями раньше возвращения отца вместе с дружком одноклассником отправился в областной центр, в ремесленное.

Учился Виктор хорошо. После окончания училища его не заставили отрабатывать срок — послали в столичный техникум по специальности. Все это радовало Симона и в какой-то мере усыпляло его тревоги за будущее паренька, выросшего полусиротой при живом отце. Привыкший к строгостям державной службы, веривший в добрую силу коллектива, Симон, по простоте душевной, полагал, что если сын отличник и его ставят в пример другим, значит, на правильном курсе парень. На людях ведет себя достойно, от старших берет все в толк, без чего потом в жизни не обойтись.

Временами Симон как бы останавливался в хороших думках о сыне, даже обижался: Виктор как бы не роднился с отцом, не проявлял мужского интереса к нему. По-прежнему признавал только мать. Письма от него шли на «Анастасию Егоровну», будто в доме нет главы семьи, хозяина. Отца вспоминал под конец листа, иной раз ниже той строчки, где перечислял деревенских сверстников, передавая им привет.

Симон не позволял разыграться в себе злости к сыну: Виктор рос с матерью, от нее он впервые узнал многие житейские премудрости, из рук матери получал те нещедрые подарки, которые выпадали ему на коротком, как птичья песня, мальчишеском веку.

Да что там говорить! Не всякий раз отцу-сверхсрочнику удавалось так рассчитать свой календарный отпуск, чтобы управиться с домашними делами и на обратном пути завернуть на полдня к Виктору. Да и приласкать во время этих встреч было уже нечем... А родительские объяснения насчет того, что отпускные деньги ушли на пристройку коровника или на шифер, приобретенный по дорогой цене у барышника,— кому из ребят такие разговоры понятны?

«В науку парень пошел, своя дорога ему открылась,— любил похвастаться при случае Симон.— Срок выйдет — диплом заимеет. Заживет самостоятельно, как все...»

Настена иной раз заговаривала о помощи от ученого сына. Но Симон не любил таких слов: «Наша забота — в люди вывести, а насчет помощи — и сами не старые...»

Через год после возвращения Симона в доме их появился Егорка. С хлопотами у зыбки возвращалась припоздавшая молодость родителей. Тетехкаясь с младенцем, Симон — чего греха таить — забывал о существовании старшего, рано заступившего в самостоятельную жизнь.

6

Первые причины для настоящего беспокойства появились, когда Виктор перешел на четвертый курс. Обычно он сразу после экзаменов приезжал домой, если не посылали на производственную практику. Дом Подузовых стоял у большака. Мать с отцом часто видели, как другие студенты шли и шли мимо их окон с чемоданчиками от разъезда.

— А нашего чегой-то нету!— вздыхала под вечер Настена...

Симон или не отзывался на ее вздохи, или ронял безразлично:

— Заявится... Не всем сразу....

Виктора не было. Не отозвался он на материнскую телеграмму, посланную по ее просьбе Груней с районной почты. Наконец, пришло письмо, адресованное на этот

раз Симону Аверьяновичу. В нем Виктор с несвойственной ему подробностью объяснял, почему задерживается. У однокурсника Романа Штепы скоропостижно умерла мать, и дружок остался круглым сиротой... «Мне как-то неудобно, папа,— писал Виктор,— оставлять Романа сейчас одного... Может, я провожу его в Ростовскую область, к бабушке, а после и вернусь домой».

Родители восприняли это сообщение каждый по-своему. Мать вслух обижалась на Виктора за недогадливость, даже всплакнула: «Надо было пригласить товарища к нам, как родного приветили бы!..» Симон гордился за сына. В поступке Виктора, думающего в трудную минуту о судьбе друга, моряк видел добрую примету.

Определив по срокам отсылки письма, что ребята, должно быть, еще не выехали, Подузовы решили опередить их. В техникум была послана телеграмма с оплаченным ответом. Прошло несколько дней. Но вот, наконец, Груня с сияющим видом притормозила свой велосипед у калитки Подузовых. Она вручила (снова главе семьи!) объемистый пакет в серой почтовой обертке, с сургучной печатью. За него пришлось расписываться в специальной почтовой книге.

В пакете оказался гвардейский знак Симона и письмо на бланке Тихорецкого отделения милиции. Казенная бумага деловито гласила: «Органами охраны общественного порядка на привокзальной площади г. Тихорецка задержаны граждане Роман Матвеевич Штепа и Виктор Симонович Подузов, занимавшиеся продажей значков, в том числе знаками боевой славы. Отобранное у поименованных граждан лично не принадлежащее им имущество возвращаем по принадлежности».

Симон сразу вспомнил, как десять лет назад, при первой встрече с сыном, подарил ему гвардейский знак: «Награждаю за то, что маме дома помогаешь, а значит, и мне помогаешь служить на корабле... Носи, гвардеец!»

Мальчишка млел от восторга, разглядывая отцовские медали, а получив на хранение настоящий боевой знак, прикрепил его к школьной курточке. И, засыпая на лежанке, мальчик вешал свою одежду так, чтобы эмалевый знак со знаменем, похожий на орден, всегда оставался на виду.

Сидя над посланием из Ростовской области, Симон впервые в жизни почувствовал противную дрожь в руках. Что-то незнакомое и острое, будто перекалившийся осот, впилось ему в сердце.

Стояло жаркое, солнечное лето. Цвели хлеба. По селу до глубоких сумерек на разные лады звенели отбиваемые косы. Рискуя сорвать заготовку кормов в колхозе и оставить без сена собственную корову, тогдашний бригадир скотарей отправился в Тихорецк...

Мальчишек он там не застал. Их отправили в Москву, взяв подписку, поверив на «честное комсомольское».

Лишь через десять дней, наслушавшись в разных инстанциях обидных упреков, Симон привез и Виктора и Романа в деревню.

Настена увидела их издалека. Больше обычного заплаканная, она стояла у крыльца, не смея, не желая ступить шагу навстречу гостям. Завидев рядом с Виктором долговязого подростка в узких брюках и клетчатой желто-зеленой вельветке, Настена дала волю слезам.

— Господи!— запричитала она.— То-то неласково на свете сиротинушке!.. Из последней шали небось бабушка сгондобила сорочку. А на штаны и вовсе материи не хватило...

Ей хотелось что-нибудь добавить и насчет ботинок, которые, как повиделось матери, собраны из лоскутков и подбиты кусками автомобильной покрышки... Но ее успокоил от дальнейших переживаний Роман:

— Ничего, мамаша!— пробасил, слегка потянув носом, и приложился губами к шершавой руке хозяйки.— Как сказал великий Гете, да развеются печали.

Роман выглядел взрослее Виктора. Возможно, потому, что от подбородка до висков, утопая во встречной волне, у него вилась загустевшая курчавая гривка рыжих волос. Над пухлой, чуть вывернутой от неугасающей улыбки губой прилепился реденький шнурок усов.

Настене нравилось, что Роман не дичится в чужом доме, как иные гости, и не ломается, когда зовут к столу. Парень сам попросил рушничок, вышел во двор, освежил там из кадки лицо с дороги. Егорке он подарил судейский свисток, оказавшийся в кармане. На голове девочки взбодрил бантик, назвав ее симпатягой. Настена все время ловила взгляд мужа, пытаясь отгадать, все ли обошлось с детьми, но Симон угрюмо клонил голову.

За столом Роман долго разглядывал деревянную ложку, которую Настена неосмотрительно положила перед ним. Студент шутливо стукнул ложкой Егорку, снабдив и этот жест побасенкой: «Деткам полагается хорошо кушать и старших слушать».

Егорке понравился стишок. Мальчик принялся повторять за гостем всякие присказки, пока не получил подзатыльник от отца. К возвращению мужчин Настена припасла бутылку «московской». Симон относился к выпивке без ханжества. Детей в деревне не гонят из-за стола и в присутствии гостей. Старшим наливают «на донышко», приговаривая: «Не от нас, так от других научатся... Пусть лучше у своих!»

Дома Симон решил вести себя с парнями по-свойски. Впрочем, он успел за дорогу дать им почувствовать, что он не какой-нибудь домостроевский бурбон... Давно ли сам был таким, хотя и носил солдатскую робу в их лета!

Симон налил ребятам по полстакана, наполнил рюмочку Настене, а остальное как раз уместилось в алюминиевую кружку, прижившуюся в семье со времен землянки. Прежде чем выпить, хозяин, мысленно упрекнув недогадливую Настену, метнулся на кухню за металлической ложкой и вилкой для гостя. Пока он с мужской нерасторопностью разыскивал там нужное, кружкой его завладел Роман.

— За нашу долгожданную встречу, дорогие!— выкрикнул парень, поблагодарив хозяина. Он осклабился на рядок медалей, вывешенных на стене.— За Победу!

И тут же опрокинул кружку в рот. Виктор тоже стал пить крупными жадными глотками. Мать пугливо провожала глазами каждый глоток.

Роман сразу захмелел и стал еще болтливее. Он принялся вспоминать, как молодой граф Лев Толстой отзывался о женщинах, чем запивал спирт Александр Суворов на привалах...

Спать парни отправились на сеновал. С ними увязался и Егорка.

Симон встал спозаранку. Сквозь белесую дымку росного тумана полыхала заря. Чтобы не разбудить детей, он не стал ладить косу на подворье. Молоток и отбивку сложил в сумку, решив и навострить литовку, и заправить косу на месте.

Виктор, будто не спавший всю ночь, проворно соскочил с сеновала и запросился на луга. Пришлось и ему искать косу. Пока собрались, весь дом был на ногах. Не отозвался на утреннюю суету лишь гость.

Роман появился за околицей села разом с артельной кухаркой, привезшей косарям завтрак. Он заправски сидел на дрогах и понукал старого мерина. Юному горожа-

нину пришлась по душе и цветастая луговая пойма, и пахучие валки сена. Он сам пытался косить, и получилось это у него не так уж плохо. Но едва повлажнела спина, Роман разлюбил косьбу. Он подался вместе с дошколятами искать дикую клубнику в подлесок. Собирать ягоды Роман предпочитал лежа, переползая на локотках. Клубника скоро приелась ему. Роман сыскал иную затею. Он приглядел молодую березку, стоявшую у большака, взобрался почти на самую верхушку и принялся трясти и раскачивать деревцо. Вот оно, к восторгу своего мучителя, выгнулось дугой, наклонилось до земли. Роман то опускался, то взмывал в гору, пока деревцо не треснуло на сгибе.

В страдные дни и школьники тянутся к делу, рады оказать помощь старшим. Роман по целым дням гонял футбол с малолетками, водил их к оврагу разорять щуриные гнезда, прятал одежду жниц, пришедших освежиться в реке. Было в его поведении, как замечал Симон, многое от дурно воспитанного ребенка.

Вместе с односельчанами Симон беззлобно хохотал над проказами Романа. В иной раз пытался остепенить парня.

Хотя и не с руки было, в понятии Подузова, чужое дитя уму-разуму наставлять, однако разговор мужской сам собою напрашивался. Шутка ли: затащить на крутой взгорок колесо от комбайна и обрушить его с гребня в сторону овчарни!.. Хорошо, что пастухи к той поре стадо на выпаса спровадили!

Симон долго объяснял гостю, как непросто досталась сельчанам после войны овчарня: таскали на себе с разъезда подгнившие шпалы, накрывали чем придется, лишь бы уберечь от холода скотину...

Роман молча ковырял в зубах, развалясь в недоплетенной корзинке на крыльце дома. На этот раз юноша показался Симону более серьезным. Он потряхивал головой в такт размеренной речи хозяина дома, щедро делившегося с ним жизненным опытом. Под конец беседы студент с горестной гримасой на лице крутнул головой и опустил глаза.

— Батя!— умиротворенно отозвался из-под волосяной завесы Роман.— Матерый вы человечище! Сколько пришлось пережить! А не приходилось ли вам бывать, например, в Шахтах?

— Не довелось,— ответил Симон.

— И в поселок Первомайский не заглядывали?

— Первомайское помню, но только под Одессой.

— И с гражданкой Федосьей Капитоновной Штепой, естественно, не сталкивались?— продолжал без улыбки Штепа.

— Ни по какому случаю,— отвечал, несколько настораживаясь, бывалый моряк.

Роман резко качнулся в корзинке, подбирая под себя длинные ноги, выпрямляясь.

— Тогда мне все ясно!— выкрикнул он голосом человека, вдруг постигшего нечто необыкновенное.

— Что же тебе стало понятным, сынок?— с невеселой усмешкой спросил моряк, как у блаженного. Краешком глаза Симон уже заметил, что Виктор, сидевший неподалеку на охапке лозы, в беззвучном смехе качается из стороны в сторону, зажимая себе рот ладонью.

— Ведьма моя бабушка!— выпалил Роман.— Тысяча километров от города Шахты до вашей Подузовки, а бабка запросто вещует на такое расстояние... Гипнотизер она! Смогла же и вам свои мысли внушить!

Роман бесстыдно уставился в помрачневшее лицо взрослого собеседника.

— Понимаете... Верите, батя, все, что вы сейчас говорили, ну слово в слово... я это же самое от моей бабуси в раннем детстве слышал. Аж страшно стало, когда вы про эти самые права и про обязанности в лад с Федосьей Капитоновной заговорили...

— Ого-го!.. Охо-хо!!— изнемогал в смехе Виктор, наблюдавший один из импровизированных спектаклей, на которые был неистощим его городской приятель.

Симон побагровел, часто задышал от обиды. Выхватив из пучка лозину, он что было силы хватил Виктора пониже спины. Роман успел стрекнуть за угол дома.

Виктор стерпел боль по-взрослому. Привстав на колени, он обернулся к разъяренному отцу, рискуя получить добавочную порцию лозы.

— Чего вы хотите от Романа?— спокойно рассудил он.— Ну давайте все в один раз станем чинными, дутыми!.. А от скуки куда деваться? У Романа характер свой. Он любит жизнь такой, как она сложилась.

— Любит?!— ярился Подузов-старший.— А я, выходит, без любви по земле хожу? Скуку на вас нагоняю: с корабля меня долой, выходит?.. Сук-кины дети!..

Остаток дня Симон не мог как следует успокоиться:

«Жаль, что не на корабле вы, такие развеселые, мне встретились! Там бы я вам показал легкую жизнь!..»

Другой, внутренний, голос вступал с ним в спор: «А почему, собственно, не на корабле? С каких пор ты перестал быть хозяином этого корабля?»

Парни на несколько дней присмирели. Вдвоем ходили выкосить поляну для буренки, сами сгребли и застоговали сено. Роман даже вызвался перевозить корм к дому на тачке, но Настена запротестовала:

— Еще подумают, что мы гостей запрягли...

Как-то поздно вечером, когда уже отыграли зарницы, Симон возвращался с заседания правления домой. Внимание его привлек необычный шум у колхозного клуба. Скотарь завернул на этот шум.

Посредине нового дощатого настила, в кругу расступившейся молодежи, Симон разглядел своего юного гостя. Роман, взопревший от натуги, в самозабвении вытворял ногами какие-то замысловатые коленца. Он то прохаживался по кругу, вихляя бедрами, то, нагнувшись низко-низко, касаясь длинными волосами пола, дробно сучил ногами, выворачивая ступни и резко выкидывая их в сторону. Так роет землю рассвирепевший бык.

Все это было не похоже на любой танец, известный подузовцам, и потому каждый выбрык Романа сопровождался или насмешливыми криками отдельных зрителей, или всеобщим хохотом.

Роман искал напарников, тащил в круг девушек. Но никто из молодых не осмеливался разделить со столичным гостем его буйное веселье.

На середину комнаты вдруг вышла рябая бобылка Акулина. То ли желая подразнить молодых, то ли вздумалось бабе тряхнуть стариной, она подала Роману обе руки, по-своему приглашая в перепляс. Парень неожиданно привлек Акулину рывком к себе и так быстро задвигал ее по кругу, что женщина еле успевала перебирать ногами. Роман отчаянно вихлял тазом, вскидывал поочередно ноги выше головы оторопевшей женщины. При этом он насвистывал какой-то нервный мотив...

Акулина не сразу освободилась из цепких объятий Романа, а когда пришла в память, так съездила своего кавалера по бакенбардам, что тот еле устоял на ногах.

С того вечера Романа стали называть в деревне «подузовский гость». А всякие нелады в хозяйстве или несо-

гласие между собой сопровождали погудкой: «Как у Романа с Акулиной».

Симон решил, что наступило время поговорить с сыном о его друзьях. Он долго готовился к такому разговору.

— Я знаю, вам не нравится Ромка,— оборвал отца чуть ли не на первой фразе Виктор.— Но не могу же я дружить только с теми, кого мне папа и мама насоветуют.

— А я тебе, кажется, и не пытался подбирать друзей... Где тот парнишка, с которым вы на математическом конкурсе выступали?

— Пашка Филимонов?— скривил губу Виктор.

— Хотя бы и Пашка. Чем он негож?

Виктор передернул плечами. Он не хотел продолжать этот разговор.

Как-то на зимние каникулы сын приезжал домой вместе с сокурсником. Пашка Филимонов, почти на голову ниже Виктора, одетый в застиранный хлопчатобумажный костюм «в рубчик», в громоздких солдатских сапогах выглядел подростком. К тому же он был тих, задумчив. Он мог часами сидеть над книгой или схемой механизма, что-то выписывал себе в крохотный, сшитый из тетрадочных листков блокнот. Симона удивляла в этом парнишке взрослая готовность к делу, умение оказать помощь старшим, выручить ровесника. И какая-то ясная, светлая любовь к малышам. Увидев, что Егорка тянется из коляски, Пашка сработал из куска парусины и четырех березовых ножек ходунки. Ребенок, едва научившийся стоять, затейливо бегал по избе куда ему вздумается. Это намного облегчило материнские заботы Настены, он меньше теперь вис у нее на руках.

За десять дней гостевания у Подузовых Пашка смастерил в коробке из-под одеколона крохотный приемник. Он же потом прислал запасные батарейки, хотя отец заказывал покупку Виктору.

Но в одном деле студент превзошел все ожидания.

Как-то у Подузовых засиделись допоздна люди, пришедшие с фермы. Разговор шел невеселый. Были на исходе корма. С осени расходовали их без расчета, думали — заготовлено впрок. Брали где кому вздумается, где удобнее было по своей поре взять. А к середине зимы то ли под снег ушли стога, то ли слежались — никакого виду на запасы... Мелкими оказались силосные ямы.

Тревога колхозников передалась Паше. Наутро он по-

просил у Настены длинную колодезную веревку. Еще одну такую взяли у соседей. За два дня паренек, в окружении ватаги школьников, обошел все скирды, измерил длинной проволокой глубину силосных ям.

Подсчетам студента не поверили. Но нашлись такие, что согласились перевесить на возах небольшой стожок сена, который Паша обмерял веревкой. Разницы почти не нашли.

Слухи о предстоящей бескормице оказались ложными. Но выявилось иное — запасы нужно знать не на глазок, а на вес. И делать это при любой погоде не так уж сложно.

Случай тот заставил Симона по-иному взглянуть на своего сына. Отнюдь не пустозвон и прощелыга, Виктор заметно уступал тихоне Пашке в развитии.

Симон с Настеной в письмах потом всегда приписывали Паше несколько теплых слов. Иногда это звучало наивно: «Присматривай там за нашим сыном...» Возможно, эти слова и посеяли ревность в сердце Виктора. Родители втайне надеялись, что непоседливый по характеру их сын подружит с усидчивым и толковым пареньком. Теперь выяснялось иное.

— Да он же зубрила!— выпалил сейчас Виктор о своем бывшем приятеле. И было это так поспешно, как говорят люди первое, пришедшее в голову.— Его и в кино не дозовешься. Все чертежи переделывает, чтобы ни одной помарочки...

— А для чего помарочка?

— Ну, с книжками до ночи. Даже на танцы не ходит.

Симон не знал, велика ли беда по нынешним временам, если пропустить вечер танцев, а потому не стал продолжать спор. О книжках заметил:

— Я тоже читал бы больше, если б время... Роману, наверное, не до книжек, если так изворачивается в клубе.

Виктор не согласился:

— Роман больше других читал! Сколько он стихов знает на память! С живым поэтом дружит — вот какой Роман!

Зная отцовскую отходчивость, Виктор переходил в наступление:

— За что ты невзлюбил Романа, папа? Ведь у него ни отца, ни матери.

— Врешь!— вскипел Симон. Пуще иных людских пороков моряк не переносил лжи. В Москве он кое-что узнал о родителях Штепы, да не спешил об этом заговаривать с сыном. Тот первым начал.— Живы у него и отец и мать...

Только вот ты не постыдился похоронить Ромкину мать в письме. Как просто для вас думать и писать о смерти «предков»! Живых в могилу гоните!

Виктора не смутил и такой упрек:

— Какие же они мать и отец, если отказались от Романа? Отец, кинорежиссер, оставил его малышом, а мать потом замуж выскочила и спровадила Ромку к бабушке.

— А с бабушкой почему он не ужился?

Виктор знал, по какой причине Роман не остался у бабки, когда подрос, почему сейчас предпочитает временные пристанища у друзей по студенческому общежитию. Но отвечать на этот вопрос — значит прибавить и без того много нелестных слов о дружке. У Виктора была и чисто женская привычка: впадать в истерику, когда не хватало доводов, а логику другого принимать не хотел.

— Не любите вы Романа, не любите!.. А он хороший... Он добрый!.. Сколько раз меня выручал, когда денег на еду не хватало!

Это была спасительная ложь, но одновременно и обидная для отца.

При таких речениях Виктора отец закусывал губу. Онто знал, что скудноват был студенческий паек сына. К его стипендии они с Настеной могли прибавить считанные рубли. А Роман и в студентах получал от «предка» почти столько, сколько держава платила главстаршине на все его служебные и домашние потребности. Конечно, юный Штепа любил блеснуть щедростью, звал ровесников в ресторацию. «Но как же мог Виктор не разглядеть всей натуры Романа? — удивлялся отец. — Впереди главные встречи с людьми, когда любая подобная ошибка будет стоить дорого...»

Чтобы доказать свою любовь к детям, Симон привез студентам с ярмарки одинаковые шевиотовые костюмы. Он не постоял за ценой, осмотрительно подбирал и цвет и фасон обновки: заботился, чтобы парни выглядели в костюмах рослыми, по-молодецки статными.

Виктор и Роман не спешили обряжаться в обновки. Правда, Роман с шумным одобрением напялил на себя новые брюки, прошелся, красуясь, вышучивая свою же осанку. Потом надел костюм и Виктор. Пиджаки они посбрасывали сразу, а в брюках принялись вальсировать, то и дело поглядывая, как обвиваются вокруг тонких лодыжек широкие раструбы штанин. Потом парни напялили свои поношенные прежние одежды и ушли в клуб.

Настена аккуратно уложила костюмы в чемоданы одному и другому. Но когда парни уехали на занятия, оба костюма оказались на дне фамильного сундука...

Полгода назад пришло последнее письмо от Виктора. Сын коротко извещал, что защитил диплом и получил направление помощником мастера на завод в Подмосковье... Теперь вот это письмо, где все о рождении ребенка и ни слова о заводе.

— Что, мама?— спросил Симон, когда Настена вернулась от подруги.— Поедем знакомиться с московской родней?

Настена молча стала собирать узлы в дорогу.

7

Телеграмму об их выезде Груня дала вслед поезду.

Встречи на вокзале они не ждали. Симон слегка отпрянул, изумленный, когда у вагона к нему бросился рослый детина с окладистой темной бородой, в тонком шуршащем плаще. Рядом с ним в короткой юбочке семенила юркая черноволосая женщина.

— Здравствуй, папа!.. Знакомься, это — Зоя!

Виктор еще по дороге на вокзал договорился с женой, что цветы отцу преподнесет она. «Пахан будет сердитый, ты ему что-нибудь ласковое придумай, артистка...» Сам же он купил у грузина букетик гладиолусов в целлофановой обертке для матери.

Симон соскочил с подножки вагона первым. Настена завозилась с кошелкой в тамбуре. Виктор, встретившись глазами с отцом, не выдержал, потянулся к нему, а подбежав, переложил цветы из своей руки в отцовскую. Зоя оказалась в еще большем замешательстве. Она никогда не видела родителей мужа, даже на фотокарточке. Из вагона все еще выходили пассажиры. Рядом со статным, гладко выбритым человеком, в бушлате, застегнутом на все пуговицы, стояла рано увядшая женщина в длинной деревенской юбке и тяжелой вязаной кофте. Это могла быть и случайная попутчица. Зоя дождалась, когда мужчины наобнимаются, и вручила Симону свой букетик.

Симон тут же передал цветы Настене, представил ее невестке. Потребовалось время, прежде чем люди эти привыкли друг к другу.

Зоя показалась Настене такой обворожительной, что мать и на вокзале и в такси, не переставая, твердила:

— Господи, бывают же такие красавицы! Хоть бы на одну минутку вы к нам, Зоечка, в деревню заехали, чтобы наши подивились-порадовались, какая у Виктора жена!..

Зоя прятала глаза, но было в ее стыдливой позе больше смущения не за себя — за свекровь, которая произносила слова с южным акцентом.

Делая вид, что безмерно польщена, Зоя доверчиво поднимала на Настену из-за пушистых ресниц крупные агатовые глаза, заговаривала о другом:

— Как вы доехали, мама?

— Да мы ничего... Мы плацкартный брали... Только Симон не поспал — место свое лежачее инвалиду уступил, а сам просидел всю дорогу.

Даже Настена не догадалась, что муж просто не мог уснуть — то и дело тянуло в тамбур курить.

У мужчин разговор не клеился. Симону круто не понравилась борода сына, в сравнении с которой мальчишеские бакенбарды Романа казались бы сейчас невинной шалостью. Уже сидя в такси, отец жестко пошутил:

— Отрясину-то волочишь зачем? Чай не в семинарию готовишься? Там, говорят, если с бородой, то вне конкурса.

— Теперь и без бороды — пожалуйста,— знающе уточнил сын. Видя неудовлетворенность отца, пояснил: — Раздражение у меня: никакая бритва не берет.

— И электрическая? — усомнился Симон.

— Еще хуже! — воскликнула певучим голоском с переднего сиденья Зоя. Она ждала случая заступиться за мужа.

— А как же ты целуешься с ним, с таким, черноглазая? — кинул Симон непрошеной заступнице.

— А вот так! — сказала Зоя. Она обернулась к Виктору, сидевшему между матерью и отцом, и трижды звонко поцеловала. Потом погладила его бороду длинными пальчиками с розовыми ноготками.

Настена взвизгнула от неожиданности и залилась счастливым смехом. Симон умолк, пораженный бесстыдством невестки. Молодая женщина, покорившая свекровь непосредственностью, принялась разгонять тучу в душе свекра.

— Виктор так много рассказывал о вас, Симон Аврамович!..

— Аверьяныч,— мягко поправил Симон. Прокашлявшись, спросил: — Что же так много можно про меня сказывать?

— И что вы — Герой... И что главным были на корабле...

Симон кольнул сына осудительным взглядом:

— До Героя мне далеко... А служить старался по совести. Сейчас наш экипаж на атомную коробку пересел. Письма шлют, не забыли службы моей...

Водитель свернул к Манежной площади. Старшие Подузовы смолкли, завидев остроконечные башни, зубцы Кремлевской стены, державный флаг над зеленым куполом.

Зоя принялась рассказывать о своих родителях:

— Папа и мама у меня очень простые... Мама выступала в оперетте, сейчас осталась не у дел. Впрочем, как сказать... В общем, ее втравили склочники в нехорошую интрижку против директора. Директор — дуб, но у него рука в комитете... Мама тоже не живет без связей... На сцену пока не пускают, а в художественном совете оставили... Как говорят, искусство потребовало уступок...

Зоя смолкла на минутку, переждав, пока родители мужа станут более внимательны к ее откровениям.

— А папа у меня — суфлер. Правда, смешно? Такая редкая профессия. Он у нас добрый-предобрый. Маму любит — аж страшно!..

Симон Аверьяныч несколько лет назад встречал имя солистки Ростовцевой. Возможно, на афишке в портовом городе. Может, и запомнилось об этом потому, что у артистки была красивая старинная фамилия. Сейчас его вдруг неприятно насторожило родство со знаменитостью.

Подузов верил в широколобого первенца своего, в собственную звезду Виктора. И рассуждал он по-крестьянски: добро, когда в упряжь становятся конь с конем, а вол с волом.

Симон Аверьяныч попросил притормозить ближе к Красной площади. Виктор с Зоей остались в машине, а родители, тихо переговариваясь на ходу, побрели к Спасской башне. Моряку хотелось посоветоваться с женой, как им быть, если у Ростовцевых не найдется места для ночлега и если, вопреки надеждам, придется задержаться в Москве на несколько дней.

Однако Настена, захваченная в полон великолепием

открывшихся видов, знакомых лишь по картинкам в календаре и газетах, почти не прислушивалась к словам тороватого мужа.

— До чего же здесь красиво! — восклицала она. — А небо совсем как в нашей Подузовке!.. И облака!.. И голуби!..

— Небо везде одинаковое, по всей нашей земле,— осведомленно разъяснял муж.

— В какой же стороне теперь Подузовка? — спросила Настена.

— Сюда гляди! — махнул рукой Симон. — На четыре румба левее. Подузовка всегда была от Москвы на юго-востоке...

Настена в задумчивости уставилась в просвет мимо храма Василия Блаженного. Она вспомнила свою хату с петухом на крыше, пожалела Егорку и Катьку.

Часы на башне мелодично пробили одиннадцать. Настена вслух пересчитала эти певучие удары.

Из длинной очереди к Мавзолею приезжих заметил какой-то моряк, державший за руку празднично одетых мальчика и девочку дошкольного возраста.

— Эй, братишка! — тихо позвал Симона незнакомый человек во флотском. — Подходи ближе, если хочешь скорее на Ленина посмотреть!

— Я уже видел! — смущенно ответил Подузов и помахал доброму человеку рукой.

Разговор этот услышал милиционер. Откозыряв, он заявил Подузовым:

— Если спешите к поезду, можно и без очереди...

Настена стыдливо поглядела на свои ботинки, которые она в спешке так и не успела смазать кремом.

— Спасибочко вам, гражданин! Мы другим разом, отдохнувши придем...

В разговор с ними включилась пожилая, интеллигентного вида дама, кормившая голубей из пакетика. Одета она была в неяркое, ладно облегающее худенькие плечи лавсановое платье и широкополую шляпу. Не по летней поре, как заметила Настена, дама носила черные сетчатые перчатки.

— Да вы не стесняйтесь! — поздоровавшись, сказала она. — К Ильичу и не в такой одежде хаживали.

Признательный взгляд Настены, ее простодушный отклик на это обращение и непосредственность словно приворожили вежливую незнакомку.

— Вы случайно не тамбовские? Ах, воронежские! Ну это же совсем рядом с отчими краями.

Женщина подошла ближе.

— Я родилась и выросла в Москве. Но отец и мать — бывшие гречкосеи. Вот почему в нашей семье и старые и малые берегут добрую память о своих корнях... Как же там, в деревне-то, сейчас?

— Поправляются дела! Легче стало! — наперебой заговорили Симон и Настена.

Женщина, не сводившая с приезжих изучающего взгляда, вздохнула успокоенно:

— Спасибо вам за добрые вести! Хорошо услышать об этом, как говорят, из первых уст.

Дама склонила голову, то ли извиняясь за причиненное беспокойство, то ли прощаясь с Подузовыми. Потом вдруг предложила — озабоченно, со слабой надеждой:

— В Москву-то надолго? Может, остановиться негде? Милости прошу в гости... Поближе познакомимся.

Настена кивнула на такси, откуда уже махал рукой Виктор:

— Сын у нас здесь...

Пожилая москвичка долго глядела вслед рослому моряку и простовато одетой его подруге, пока те не скрылись в машине.

— Ох, и люди здесь! Светлые душой да кругом культурные! — восклицала Настена. — Недаром говорят: Москва — мать всех городов.

Настена прослезилась от радости, хлынувшей в сердце. Она забыла все, о чем ей толковал поднаторевший в городах и весях муж.

Симон Аверьяныч тоже чувствовал себя просветленно, как после исповеди. Поэтому он не замечал слез жены. А может, и замечал, да ничего не говорил. Он любил ее такую...

8

Машина вошла под арку старого, полуоблупившегося кирпичного здания на Петровке и остановилась у подъезда двухэтажного особняка, прилепившегося к задней стене двора. Гости поднялись по деревянной лестнице на второй этаж. Вскоре они попали в большую, даже слишком большую комнату. Она была заставлена мебелью самых различных фасонов — от исполинского буфета николаевских времен до изящного, едва поднявшегося над

полом журнального столика с двумя почти игрушечными креслами.

Из мебельных лабиринтов вышла полная женщина в домашнем халате, с множеством бигуди на голове.

— Знакомьтесь, это моя мама! — сияя, объявила Зоя.

Женщина выбросила навстречу Симону Аверьянычу руку, произнесла скороговоркой:

— Лия Иванна...

Симон Аверьяныч взял руку Лии Ивановны и держал в растерянности до тех пор, пока хозяйка решительным подергиванием не освободила ее.

Седенький, почти совсем лысый старичок с двумя смешными хохолками волос над ушами, в застиранной майке и в помочах, ждал своей очереди представиться, поглядывая на Симона поверх очков. Наконец он произнес, чуть сузив глаза, как бы в пространство:

— Михаил Евграфович!..

— Мы его зовем Мусиком,— разъяснила Лия Ивановна и поспешно скрылась за шкафом. Мусик, жалко улыбнувшись, последовал за ней.

Симон Аверьяныч с помощью Виктора принялся распаковывать корзинки. Зоя и Настена накрывали на стол. Лия Ивановна, изредка поглядывая из-за занавески на весело суетящихся в доме людей, обряжалась в голубое платье с глубоким декольте.

Настена одарила хозяйку дома расшитым рушником, а свату подала чисто отбеленные шерстяные носки.

— О-о! — изумилась Лия Ивановна, вглядевшись в рисунок на полотенце. — Да вы мастерица, Анастасия Егоровна!.. Художница вы!.. А знаете,— вдруг посерьезнела она,— мне ваши орнаменты говорят об истоках художественной натуры зятя больше, чем Виктор Симонович смог рассказать сам о себе...

— Скажете! — смутилась Настена. — Да у нас в Подузовке что ни баба, то рукодельница...

Чтобы польстить гостье, Лия Ивановна принялась ругать себя в лености, в неспособности высидеть и часа за вышиванием, хотя иной раз целые вечера гибнут в пустых разговорах.

— У вас свои заботы,— возразил ей Симон Аверьяныч, которому не понравились самоуничижительные речения хозяйки дома.

— Заботы — это правда,— вздохнула Ростовцева. — Но каждому требуется что-то для души...

Шутливо уступая друг другу роскошное кресло в центре застолья, хозяева и гости, наконец, сели за трапезу.

— Ты права, дорогая! — воскликнул с некоторым запозданием Мусик, приподняв графин с водкой. — Для души всегда человеку требуется...

И он стал разливать спиртное.

Чтобы польстить деревенским, украсившим стол дарами природы, Лия Ивановна заметила, дотянувшись до роскошной груши, положенной наверху горки таких же сочных плодов:

— Как жаль, что среди нас нет живописца!.. Написал бы натюрморт.

Мусик неуклюже пошутил:

— О тех, что пишут натюрморты, или об уписывающих говоришь?

— Уписывающих я уже вижу! — кольнула его рассерженным взглядом Лия Ивановна.

Мусик сник, дурашливо заулыбался, ища защиты у гостей.

Настена жаловалась:

— За делами недосуг было и об угощениях подумать. Взяли что на глаза попалось перед дорогой... Грибков вот не захватили...

Настена постеснялась спросить рушничок; пристраивала на коленях мужа кусок посконины, которой обшивала корзину. Это не осталось незамеченным для хозяйки. Артистка брезгливо сузила глаза и тут же отвела их в сторону. «За такой стол и главного режиссера не стыдно было бы пригласить, но хорошо, что этого не случилось».

Она поежилась, косясь на мешковину, и потянулась за рюмочкой. Мусик к тому времени уже разлил водку.

— Мм-да!.. — промямлил Мусик. Прищурив левый глаз, он проследил за не совсем грациозным движением не совсем изящной руки своей супруги. — Полагалось бы что-то сказать, милая.

— Ты всегда очень поздно входишь в роль, милый,— в тон ему ответила жена.

— А ты никогда не выходишь из роли! — выпалил Мусик и даже ерзнул на месте, обрадованный своим ответом. При этом он снова просительно поглядел на Симона Аверьяныча.

— Возьми вилку в левую руку! — произнесла нараспев артистка и сама переложила вилку из одной руки мужа в другую. В голосе ее звучала злость.

Почувствовав на себе укоризненный взгляд Зои, Лия Ивановна заговорила спокойнее:

— Если ты имел в виду тост, то первым его полагается произносить старшему.

— А кто здесь старший? — с шутовской гримасой бросил Мусик.

Ответила Настена:

— По годам, выходит, вы, Михаил Евграфович...

Мусик замахал руками:

— Года тут ни при чем! В нашей семье все равны... Даже он,— Мусик кивнул на детскую кроватку,— не признает диктата, живет по своим законам!..

— Свои законы могут быть только в искусстве,— четко произнесла Зоя. — Я вообще не люблю этого слова. Мне нравится в человеке все естественное, унаследованное от природы: и красота, и мужество, и самостоятельность. Конечно, если сам человек ценит эти качества в себе... — Она несколько секунд пережидала, будто проверяя воздействие своих слов. Затем обратилась к Симону: — Может, вы, товарищ главный старшина, скомандуете нам — «залп»?

Подузов молчал. Он вдумывался в только что услышанные слова невестки. Кроме того, Симон не решился бы в чужом доме произносить тост первым.

— За ваш атомный корабль! — неожиданно предложила Зоя, обдав Подузова-старшего ликующим взглядом.

— За знакомство, дорогие сваточки! — поклонилась хозяевам Настена. Приподняв стаканчик, она добавила: — За ваше счастье, дети...

— Я пью за сына... то есть за внука,— сбивчиво проговорил Симон и смутился. Но его поддержал Мусик, который вдруг так оглушительно захлопал в ладоши, что Настена закрыла уши.

Лия Ивановна разрезала грушу на ломтики.

— Между прочим, тосты давно вышли из моды,— произнесла она, поднося очередной ломтик к густо закрашенным губам. — Тосты — азиатский обычай. На Западе пьют без вульгарных эмоций... Просто так, для аппетита.

Сообщение это удивило Настену:

— Так и пьют молча?.. Выпили и разошлись?..

— Почему же молча? — повернула к ней лицо Лия Ивановна. — Пьют в спокойной, приятной беседе, если, конечно, есть о чем говорить.

— Слава богу,— простодушно заметила на это Настена. — Нам теперь всегда будет об чем побалакать — свои...

— Например? — бросила через плечо Лия Ивановна, отходя от стола, чтобы вытереть руки о полотенце, повешенное на угол шкафа.

Симон Аверьяныч уловил покровительственную нотку в голосе хозяйки и спросил, уводя женщин от пустого спора:

— Как же вы назвали внука, Лия Ивановна?

— Пока никак. Зовем каждый по-своему: Зоя то Андрианом, то Юрием — по имени космонавтов. Мусик Виктóром зовет. — Лия Ивановна отчетливо произнесла имя зятя на французский манер. — А мне хотелось бы, чтобы он был у нас Соломончик.

Она тут же пояснила гостям причину своего желания именно так назвать младенца:

— Мальчик спокойный... Лежит себе да будто думает. И, судя по настроению, многое ему в этом мире не нравится. — Она деланно хохотнула, закончив: — Критический ум!

— Думать ему по возрасту еще не полагается,— осторожно возразил Симон. — Глянь-ка, нас сколь тут больших! Есть кому о ребенке помозговать... Да и Соломон, говорят, не с колыбели мудрецом стал. Перед тем как в обдумывание своих поступков войти, всякие ребяческие неподобства творил...

— А как бы вам хотелось? — спросила Лия Ивановна.

— Да, к примеру, имя вашего родителя подошло бы,— поднял на хозяйку изучающий взгляд Симон.

— Браво! — выкрикнул Мусик.

Зоя поддержала его тостом:

— За Ивана!

— Иван — это не для современных детей,— заупорствовала Лия Ивановна. Ее явно беспокоил разговор. — Анахронично звучит. Маленькой я была, когда мы с мамой ушли от отца. Не помню уже, так ли хорош он был...

Симону хотелось что-нибудь узнать об этом незадачливом Иване, которого и дочь забыла. Но он постеснялся навязывать хозяйке явно неприятные воспоминания о прошлом.

Настена подавала Симону какие-то остепеняющие знаки. Она знала характер мужа: подвыпьет — грубит, кидается в спор, правдолюб.

Симон делал вид, что не замечает намеков жены.

— Впервые слышу, что Иван не в чести. Мне приходилось по заграницам ходить. Прежде не так, а в последние годы моей службы только в иностранном порту появишься: «Рус Иван!.. Рашен Иван!» — кричат. Да так крепко иной раз — проходу нет... Мне-то думалось: к Ивану лицом повернулись.

— Папа! — впервые отозвался Виктор. — Давай только без паники! Ладно?

Симон Аверьяныч чувствовал: разговор не клеится. Он обратился к невестке:

— Что же это ты, доченька, сокровище свое нам не кажешь? Сын небось тоже выпить желает?

Подузов-старший уже заметил, что всякое упоминание о младенце смущает невестку. Ему нравилось, когда к щекам Зои приливает густой румянец.

— Мама, подай, пожалуйста, мальчика,— поджав губу, сказала Зоя. Она сидела в самом углу между Мусиком и Настеной. Ей не хотелось тревожить Настену, чтобы выйти из-за стола.

Лия Ивановна подошла к кроватке внука, невидимой среди прочей мебели в глубине комнаты. Там она остановилась в задумчивости, покрутила носом.

— Его нельзя сейчас нести,— раздраженно сказала женщина. — Кстати, Зоечка, давно следовало позвонить няне. Ей пора заглянуть к ребенку.

Симон толкнул Настену, и та легонько подхватилась с места. Через минуту она хлопотала у детской кроватки.

— Да он сыренький уже! — изумленно воскликнула Настена. — Ах ты, наш умненький!.. Соломончик!.. Обмочился — и лежишь-думаешь! Ждешь, когда нянечка придет, перепеленает? А вот мы тебя сами перепеленаем. Вот мы сами!..

Зоя провела Настену в ванную комнату, где тридцативосьмилетняя бабка заходилась купать малыша. Потом гостья постирала пеленки, потому что сухих подстилочек в кроватку на этот час в квартире не оказалось.

9

Будто затем, чтобы пособить жене, Симон тоже оказался в ванной.

— Ну, ну, бутуз,— заворковал он над малышом, пытаясь пощекотать ему крохотную ножку. Вдруг лицо Си-

мона стало загадочным. — Украдем его, Настюх? Заберем в общий гурт?

Настена опешила:

— Нешто позволят?!

— А кому он тут нужен! У всех свои заботы — не до детей. Видишь: перепеленать — и то ждут няню.

Настена осторожно укутала мальчика в прогревшуюся на батарее байковую пеленку.

— Мне что... Я с большой радостью... Только вот кормить чем? Ежели с соски — дети хилые сначала бывают, долго силы не набирают потом.

Симон заулыбался:

— А у самой пересохло, что ли? Катьку-то кормила перед отъездом.

— В последний раз! — вздохнула Настена. — Груне велела на все домашнее ее переводить. Зубов полон рот...

Лицо ее затмилось на мгновенье. Потом, догадавшись, что Симон все это говорит ради шутки, сама пошутила:

— Мальчик городской, у него ротик с копеечку. Ему и соски мои не полезут.

— А ты попробуй, попробуй! — шутливо подталкивал ее в бок Симон.

— Одна попробовала да потом оглядывалась по сторонам...

Симон стал вслух припоминать. Где-то ему довелось видеть: при бомбежке погибла молодая мать; ребенка взяла пожилая женщина, которая годилась бы в родительницы той, погибшей...

Настена терпеливо выслушала наивные рассуждения мужа.

— Ох!.. — вздохнула она. — И все-то ты на военный лад поворачиваешь!.. Кто же нам позволит детенка увезти? От матери родной!.. Да я бы обревелась без своего, пешком по шпалам ударилась бы вслед...

Они вернулись к столу молчаливые, строгие, разобидевшиеся друг на друга.

10

Как успели заметить гости, жизнь в квартире Ростовцевых начиналась где-то во второй половине дня. Ничего здесь не совершалось без телефонного звонка. Огромный деревянный ящик с двумя спаренными батарейками и аршинной трубкой на цепи был украшен диском, похожим

на катушку от спиннинга. Висел этот агрегат в коридоре, напротив входной двери. Рассчитанный на обслуживание всего этажа, он отличался необыкновенной резкостью голоса и бесцеремонностью железного характера. Никто из соседей по квартире не спешил на его распорядительный зов, да это было и понятно: почти всегда приглашали к телефону обитателей квартиры номер семь, где нашел пристанище юный Подузов.

В половине пятого подала металлический голос подруга Лии Ивановны, Софа Авксентьевна. Звала «всех-всех» на премьеру. Старшие Ростовцевы, благоговея перед именем заслуженной артистки, молча стали собираться в дорогу.

Без четверти пять Виктор соединился с товарищем по кличке Прораб и, буквально вырванный им, ушел из дому. «На работу»,— буркнул сын, не вдаваясь в объяснения.

После пяти Зою предупредили, что встреча в филармонии откладывается. Немного погодя сообщили нечто противоположное. Подгоняемая железным ревом телефона и писком пробудившегося малыша, Зоя выбежала из квартиры с виолончелью в руках.

К вечеру гости остались в квартире одни, если не считать самого маленького человека без имени, который пока никак не реагировал на суматоху.

Уходя, Лия Ивановна подробно объяснила гостям, как подключать и выключать телевизор; где взять молоко для ребенка; что сказать какому-то Ионе Матвеевичу, если он спросит их сегодня.

Она не оставила никаких распоряжений лишь насчет телефона.

В арсенале оборонительных средств против голосистого чудовища у Лии Ивановны имелось и такое: если ей было очень недосуг, она, выскочив в коридор, дергала за цепь, и телефон на какое-то время умолкал, сердито пощелкивая внутренностями.

Симон поначалу не подходил к аппарату. Но прилегшая с дороги Настена, наоборот, была очень чутка к беспокойному характеру этого неодушевленного «жильца». И у спящей при каждом звонке вздрагивало лицо.

— Пойди послушай,— шептала она.— Может, что-нибудь случилось...

Симон молча крупным матросским шагом приближался к аппарату.

— Лию Ивановну спрашивали,— объяснял он, возвратившись из коридора. — Сказал, что уехала...

Пока он укрощал очередной приступ мятежных колоколов, Настена успевала заснуть.

Склонило в дрему и Симона.

— Вставай,— растолкала его Настена. — Кажется, в дверь стучатся.

Но это снова напоминал о себе бодрствующий аппарат. Кто-то из домоуправления «в последний раз» предупреждал о задолженности по квартплате.

— А сколько вам заплатить? — неумело полюбопытствовал гость. Они почти ничего не истратили за дорогу, и Симон всерьез подумывал, что своей выручкой он помог бы Виктору, живущему здесь на птичьих правах.

— Почему мне?! — вспылил бухгалтер жилищной конторы. — Платите государству! Поняли?

Почти сразу после разговора с домоуправлением в микрофон ворвался ликующий юношеский тенорок. Говорили, похоже, двое — наперебой.

— Старик! — орали на другом конце провода, едва Симон приставил к уху массивный раструб. — Ты куда исчез с орбиты? Или посадку дали?.. Чего, чего? Не притворяйся, старик! Я твой голос даже с похмелья узнаю... Ты не гриппуешь? И Лия нынче не волтузила? Тогда все в норме, выходи на орбиту. Мы тебя с Ромкой ждем тут. Хватай у Лии пару десяток и включай сразу вторую ступень!.. Ждем! Не засиживайся в плотных слоях домашней атмосферы! Чего, чего? Какой гость? Не валяй дурака, старик...

Подузов так и не разобрался, кому звонили на этот раз — Мусику или Виктору. «Если бы со мной так разговаривали,— размышлял он,— я бы послал этого самого дружка не только на орбиту, а ко всем «орбитным матушкам»...

Звонок Зои не оставил такого тягостного впечатления. Он, казалось, был нежнее и осторожнее иных. Невестка хотела о чем-то переговорить с мамой, когда та вернется, и сообщила номер своего телефона.

Решительный мужской голос в начале седьмого осведомился, здесь ли живет Виктор Подузов. Торопливый человек этот желал быть предельно кратким. Он бросил лишь одну фразу:

— Передайте Виктору Подузову, чтобы забрал свою учетную карточку.

— Какую карточку? Куда ему зайти? — кричал Симон Аверьяныч, но переговорное устройство уже посылало по проводам космическое «бип-бип».

Симона озадачил тон последнего разговора. Здесь же в коридоре висел растребушенный справочник, исписанный вкривь и вкось всевозможными добавлениями. Вверху страницы на букву «П» четким ученическим почерком было выведено несколько имен. Среди них «Виктор Подузов», а рядом группа цифр. Цифры эти были затем перечеркнуты синим карандашом. Поверх других пометок занесена другая запись: «Витя. Е5-21-94». Симон вспомнил, что по этому номеру он когда-то звонил в общежитие техникума. Поэтому он обрадовался, увидев чуть ниже выдавленный крашеным ноготком еще один набор знаков.

— Скажите, я могу поговорить с техником Подузовым? — спросил Симон без особой надежды. Он набрал номер, выцарапанный острым ногтем. Отец с особым удовольствием произносил в дореволюционный аппарат совсем новое для хлеборобского рода Подузовых слово «техник».

Трубка с минуту молчала, потом заговорила бойким девическим голоском:

— Вам Евсея Анисимовича Подузова, из гаража?

— Нет, нет! — поспешил отмахнуться от незнакомого однофамильца моряк. — Мне помощника мастера... Виктором его зовут...

Трубка опять смолкла. Где-то в отдалении, будто за перегородкой, тот же стрекочущий голосок прозвенел вопрошающе, но явно не Симону, а кому-то, кто был ближе: «Алка, какой-то мужчина ищет того лоботряса... Ну, помнишь, Подузов, с бородкой?.. Из комсомола его исключили, а райком не утвердил...» Алка со смехом отвечала подруге: «Небось опять с орбиты? Пошли их всех к черту!»

— Слышите, гражданин,— продолжала первая, не успев унять разобравшего ее смеха. — Человек, которым вы интересуетесь, у нас не работает.

Говорили явно о Викторе. Но как говорили?!

Подузов готов был броситься с кулаками на обидчиков.

— Не дурите мне голову, барышня... Техник Виктор Подузов — мой сын! Ясно? А вы мне то про Евсея торочите, то про поддонков разных... — Слово «подонки» он

произносил на свой манер, еще более жестко, чем называл их народ.

Отец уже чувствовал: собственный голос становится глуше, будто кто-то враждебно сдавил горло. И все же продолжал отбиваться:

— Мне нужен не тот Подузов... Понимаете, барышня? Ну, совсем другой... Из техникума к вам по государственной разнарядке направлен... С Пашкой Филимоновым разом кончали... Ясно теперь?.. Ага... Ну вот... Дошло, значит?..

Телефонистка оставалась беспощадной:

— Чего вы раскричались, гражданин?.. Если вы действительно отец Подузова, то должны лучше нас знать, «тот» у вас сын или «не тот». А Павел Ильич Филимонов заступает на смену в восемь.

«Павел Ильич!.. — вздохнул отец. — И рядом с ним «подонок» Виктор Подузов... С орбиты...»

Рычаги звонко щелкнули.

«Филимонову к восьми, а сына вызвали после пяти... — лезла в голову поганая думка. Вызревал протест против самого себя: — А чего кипятишься-то?.. Диплом дипломом, а заспотыкаться можно и на ровной дорожке...»

Симон отер рукавом пот, внезапно проступивший на лице. Через минуту думалось другое: «За Витькой небось ухлестывали, дурехи, а не получилось... Вот и плетут на парня пустое».

Он вернулся в комнату, прилег на кущетку.

«Павел Филимонов заступает на смену в восемь» — все еще будто доносилось из микрофона.

Подузову остро захотелось курить. Он вышел на лестничную площадку. Горбоносая женщина с черными редкими волосами над верхней губой гремела у мусорного ящика ведром. Она так долго копалась в ведре, отковыривая залежавшийся мусор, что Симону стало не по себе. Женщина словно ждала, когда уберется прочь незнакомый ей, чем-то расстроенный мужчина. Уже внизу, под лестницей, его настиг шепоток усатой домохозяйки:

— Шляются тут всякие...

«Так же, наверное, она говорила сначала и о моем сыне,— думал Симон. — Пока они не встретились у мусорного ящика или где-то в очереди за гречневой крупой, пока его не стали здесь принимать за своего...»

Симон вышел на угол улицы Пушкина. Встречные люди куда-то торопились, обгоняя друг друга. И не было

конца-края этому людскому водовороту, от которого непривычно кружится голова...

На афише кинотеатра «Россия» Симон вдруг увидел рослого крепыша в тельняшке на фоне цепочки сейнеров, уходящих вдаль. Это был киножурнал о Дальнем Востоке.

Знакомый шум волн обрушился с экрана. Симон закрыл глаза, ощущая лицом полузабытую прохладу океана.

Соленая влага коснулась пересохших от волнения губ.

11

Пашка Филимонов, узнав от телефонистки о разговоре с каким-то странным мужчиной, знавшим и его и Виктора, догадался о приезде Подузовых. Он сразу отпросился со смены.

Пашку испугали заплаканные глаза Настены. Утешая женщину, Пашка принялся помогать в хлопотах вокруг «племянника», как он назвал Витькиного сына. За этими хлопотами их и застал Симон.

В белой сорочке с галстуком, в ладно скроенном костюме, остроносых туфлях Пашка выглядел подбористым, ловким. Исчезла его деревенская привычка оглаживать обеими ладонями непокорный вихорок на макушке, хотя белый клочок волос все еще не поддавался ни загрубевшим рукам, ни синему берету. Заматерев от полнолетия, голос у парня стал раскатистым, еще больше выдавал в своем владельце вологжанина.

— Вот и прикотили!— напирая на «о», радовался Пашка. — Недаром говорят: все дороги теперь до Москвы ведут...

Все помнил Пашка: и подрумянившуюся в заустье печи толченку, которой Настена кормила подголодавших студентов на каникулах, и скособочившиеся скирды соломы в поле, и дядю Епифана с его партизанскими прибаутками...

— Егорка-то небось подрос, до Викторовых игрушек добрался?

Упоминание о Викторе возвратило Симона в сегодняшнюю обстановку.

— Разбрелись по разным орбитам! — с упреком выговаривал Подузов-старший Пашке. — Учились вместе,

шли ноздря в ноздрю, а на финише дорожка раздвоилась? Полоскать вас по-флотски за эти упущения следовало бы!..

Настена плакала в голос. Взревел, зашелся криком и ребенок.

— Цыц! — прикрикнул на жену Симон, отыскивая под подушкой соску. — А то я вам всем сейчас успокоительного пропишу...

Пашка оборонялся:

— Негоже, дядя Симон! Ни к чему это!.. А полоскать по-флотски или отжимать по-вологодски нужно после хорошей стирки. Золой у нас холсты отбеливали, иногда с песочком, а потом уже и полоскать везли на чистую воду, к копаням...

— Я вам еще всыплю! Обоим! — грозился от кроватки Подузов.

Пашка повернулся, подставляя спину.

— Мне теперь никакой ремень не страшен... Нужда по бокам на колеснице погуляла, полос наоставляла...

— Выучки вам армейской не хватает! — бросал колючие взгляды на Пашку Симон. — Видишь неустойку — свистай всех наверх, подмогу зови... Письмо-то мне мог написать? Ну скажи, мастер конопатый, мог?..

Он в шутку боднул Пашку под ребро.

— Уймитесь, дядя Симон, поберегите себя!.. Рано свистать... Ну задурил Витька... Покуражится малость... Молод он! А тут поветрие...

— А ты не молод?

— И я молод! И моей вины во всей этой истории немало...

Он принялся вспоминать со смехом:

— Это же моя была работа — сцену налаживать в театре по вечерам! Да прихворнул я... Витька вроде как подменил меня. А тут Зойку черт принес за кулисы, маминого дружка разыскивала...

— Чушь! Ерунда! — отвергал все Пашкины доводы Симон. — Тебя «поветрие» не взяло, а вот наш запутался.

— Пробовал и я запутаться, дядя Симон! — клялся Пашка. — Да она на меня и оком не повела... Витька ей враз приглянулся...

Симона словно прорвало:

— Вот это и я понимаю: так зацепила, что и с завода — вон, из комсомола — долой! А ему хоть бы хны!

Хорошо, что не попова дочка, а то и семинарскую мантию согласился бы ради такой красотки волочить. Обличьем уже на отца Ванифатия смахивает.

Пашка дурачился, хохотал по-мальчишески звонко, сводил все на шутку: и увлечения дружка, и родительские упреки.

— Как в воду глядели, дядя Симон! Борода тут всему причина! Мастер Аникей Васильевич невзлюбил его за эту бороду. Все, бывало, говорит: «Не поймешь, кто же из нас старший в смене? Подузов или я? Всяк поначалу к «бороде» идет, мастера обходит...»

Теперь улыбался Симон. Впервые за день повеселела Настена, терзаясь хорошей завистью к далекой вологодской крестьянке Устинье Филимоновой, вырастившей такого ладного, умного сынка.

— Потащили вашего сына за бороду в комитет комсомольский,— продолжал Пашка. — Решение приняли: отнять бороду! Смена, мол, борется за звание коммунистической и прочее. Но тут Витька и доказал права свои конституционные... «Потеряюсь я,— кричит,— без бороды между вами!..» Насчет Конституции он у Лии Ивановны успел подзанять аргументов. И о праве на свое собственное лицо... Пока речь шла про физиономию с бородой — спорить можно было. А как только душа Витькина обрастать стала мошком зеленым — на голосование поставили: кто за, кто против?

— Я первым поднял бы руку за исключение! — негодовал Симон.

— А я поднимал против,— не смутился решительных слов старшего Пашка.— «Кроме бороды, говорю, нет у Подузова собственной вины. А за бороду, насколько мне известно, ни Карл Маркс, ни молодой Щорс в коллективе доверия не лишались». И об этом сказал на собрании.

— Ой и молодец же ты, Пашенька! — воскликнула Настена и, подойдя к парню, чмокнула его в щеку.— Я Симону с какой поры толкую: отращивай усы! Я старею, а ты все за младшего у меня. Хоть снова под венец! Отец у меня был с усами...— Она еще раз поблагодарила парня за выручку сына: — Спасибо тебе за помогу Витьке-то.

Симон твердил удрученно:

— А все-таки не вышло по-твоему.

— Демократия! Большинство голосов не поддержали,— согласился Паша.— Но райком не утвердил.

— Все равно вытолкали с завода, как паршивую овцу! Какой позор: карточку велят забрать...

— Не верьте! — вспылил Пашка.— Поговорить хотят ребята с ним! Верят в Виктора. И диплом ему в кадрах на руки не дают... Ждем, дядя Симон. Заскучает Витька без нас. С бородой ли, без бороды — заявится.

— Ну а нам-то с Настасьей Егоровной с какого края теперь браться, в чем пособлять? — спросил Симон с надеждой.— Где концы искать этого клубка?

Пашка причмокнул языком, глядя на ребенка:

— Концы, пожалуй, в нем сейчас... Вот в этом живом клубочке...

— В таком разе,— загорелся Симон,— Настена хоть завтра мальчика домой свезет. А я Витьку зануздаю да к этому самому Аникею Васильевичу на покаяние...

Пашка принялся раздумывать вслух:

— А может, подождать с этим, дядя Симон? Отцовский ремень неплохая штука, но всегда ли нужно распоясываться?

Пашка горячился. Он распахнул пиджак, ослабил галстук. Брючки, ладно облегая узкую талию, держались у него на двух блестящих бронзовых пряжках... «И этот с форсом!» — подумал Симон.

— А может, землицы Виктору сейчас понюхать? — бросил на прощанье Пашка. Он продолжал заботиться о дружке.— Уговорите его на денек-другой в Подузовку. Красивое село у вас!.. Сено даже зимой лугами пахнет!

12

Премьера была явно неудачной. Софа появилась чересчур взвинченной, переигрывала и к середине спектакля, вдруг почувствовав, что роль ей не удалась, стала нервничать, грубила.

Ростовцевы громко аплодировали, вырывая у зала жиденькие хлопки, и Софа то и дело с отчаянием смотрела в первый ряд. Если бы не этот провал и не обязанность в перерывах утешать подругу, Лия Ивановна ушла бы после первого действия... На расспросы, чем она так занята сейчас, Лия Ивановна отвечала скороговоркой: «Гости... Очень милые деревенские люди... Забавный морячок со своей матрешкой».

Артистка, она была способна убедить, не будучи убе-

жденной сама. Мнение это о своих гостях сложилось у нее не по личным впечатлениям, а по рассказам юного зятя («Папа любит выпить, потом всякие флотские истории вспоминает; мама — доверчивая, веселая»).

Все загородные жители казались Ростовцевой похожими друг на друга, будто туземцы незнакомого континента. Лия Ивановна относилась снисходительно к их примитивным страстям. На рынке сельчане торгуются за каждую морковку, с серьезной озабоченностью пересчитывают мелочь в кулаке, прежде чем завязать выручку в уголок платка; в ЦУМе осаждают отдел уцененных товаров; на улице через каждую сотню метров спрашивают встречных, в какой стороне вокзал, и направляются туда пешком...

«Подарю свахе поношенную доху и ночную сорочку,— решила Лия Ивановна накануне приезда Подузовых.— А свата Мусик поведет в историко-революционный...»

Сама Ростовцева к встрече с деревенскими родичами не стремилась, но и противиться их приезду не стала. «В конце концов, что бог посылает — на пользу,— решила она.— А Зоечке нашей сам бог не угодит».

Виктор при первом знакомстве с ним показался артистке до ужаса нескладным. Лию Ивановну просто угнетало его неумение подать себя, произвести впечатление. Зоя хохотала над убийственной характеристикой, выдаваемой матерью по адресу «ремесленника». Она лишь добавляла одну непременную фразу к проработкам родительницы: «Но он очень мил!»

Во время одного из посещений юным Подузовым полуоблупившегося особняка на Петровке дочь вскользь бросила матери:

— Мама! Пожалуйста, справься о прописке Виктора!

— Что?! — завопила Лия Ивановна, перебегая гневным взглядом с дочери на ее внезапно покрасневшего друга.— Ни-ког-да! — заключила она по слогам.

Виктор выбежал тогда на лестницу, не выдержав короткой, но яростной перепалки матери с дочерью. Так же скоро они помирились.

Зоя обняла мать со смехом:

— Неужели ты позволишь, чтобы твоя дочь ушла в заводское общежитие?

— Нет, конечно,— прошептала поверженная одним упоминанием о заводском общежитии мать.— Еще одна

такая твоя шутка — и тебе не к кому станет обращаться за пропиской...

— Я беременна,— не без волнения, однако и без лишних предисловий открылась Зоя.

— Ты долго готовилась к этому спектаклю?— вымученно заулыбалась мать, полагая, что девочка ее шутит.

Тогда лишь Лия Ивановна заметила, как натянулось на бедрах дочери платье, шитое с запасом.

И принялась разыскивать домовую книгу.

Симон и Настена произвели на Ростовцеву более благоприятное впечатление, чем их сын. Она испытывала даже некоторое удовлетворение: «Важные дела всегда приятно решать с умными людьми... Речь будет идти о счастье наших же детей. Не думаю, что мы так уж поразному понимаем смысл этого счастья. А если и поразному, то поправку внесут дети. В конечном счете, у меня не больше удовольствия видеть свое дитя замужем за мужланом. Пусть поступают, как им лучше».

Еще до рождения внука, всякий раз, когда Лия Ивановна задумывалась о будущем дочери, в ее воображении в такт легким шагам Зои по ковровым дорожкам звучала музыка и аплодисменты... «Конечно, Зоя не монашка и не ханжа. Как и всякой женщине, ей потребуется домашний уют, внимание близких людей. Но в цивилизованном обществе, тем более человеку с определившимся призванием, незачем опутывать себя условностями. Муж должен быть прежде всего другом. Не только сознательно, но и в силу привычек, муж не смеет давить на ее хрупкую, органную натуру ни грубостью своего интеллекта, ни — избави боже! — заботами о собственной карьере. Какие еще могут быть посторонние интересы в семье музыканта?»

Кажется, накануне праздника совершеннолетия Зои, в доме Ростовцевых стали появляться сразу трое парней. Они не были ее однокурсниками. Познакомились где-то на выезде, на молодежном фестивале. Из всех выделялся Роман Штепа. И ростом и манерами. С порога кидался сначала к ручке хозяйки, крепко сжимал длинными пальцами руку Михаила Евграфовича. Для Зои у него всегда был припасен букетик ландышей или какая-нибудь смешная безделушка. Все это вызывало улыбку хозяев квартиры.

Роман стремился все в жизни принимать таким, как

оно есть. Мог и переиначить, иногда настолько, что хозяева не узнавали ни своего жилища, ни самих себя. Особенно если гость заявлялся с друзьями.

Музыка, кажется, интересовала Штепу всерьез. Он умел дослушать новую пьесу Зои до конца и не забывал сказать ей несколько теплых слов. Поэтому шалости парня не вызывали у Лии Ивановны душевной боли. Едва заслышав из магнитофона знакомую мелодию, Роман толкал с прохода шкаф-перегородку, тащил к простенку всегда заставленный немытой посудой стол. Зоя в руках его мелькала, словно мотылек. Платье от резких движений пузырилось, закатывалось выше бедер.

— Миша, погляди, что они вырабатывают! Ой, не могу, Мишик! — кричала в радостном изнеможении Лия Ивановна мужу.

Михаил Евграфович стеснялся глядеть на обнаженную в мятежном танце дочь и не реагировал на призывные вопли супруги.

— Мишик, включи «Марину» снова! — по-свойски командовал Роман.— Мишик — музыку! Музик — Мишику! — каламбурил гость.

Позже из «Музика» Михаил Евграфович был превращен в «Мусика». Это новое имя сразу прилипло к слабохарактерному главе семейства.

Способность Романа перевертывать не только вещи и людей, но и имена казалась Лии Ивановне частью художественной натуры парня.

Однажды Штепа был в особенном ударе. Под яростный рев магнитофона квартира заходила ходуном. Роман волочил свою жертву от порога до родительской кровати в глубине комнаты, дергал за руку, силясь перекинуть через плечо. При этом он вопрошал, тараща глаза на другие пары: «Кто там шагает правой? Левой! Левой! Левой!»

Лия Ивановна с Мусиком дружно пристукивали ногами.

Шутливые выкрики Романа теперь адресовались лысеющему художнику Аркадию Яковлевичу, давнему другу дома Ростовцевых. Художник осваивал свой хореографический рисунок танца в паре со студенткой, проходящей практику в театре, где подвизался художник. Подстриженная коротко и небрежно, студентка, несмотря на смазливое лицо, выглядела сонно, казалась вечно непричесанной. У нее были очень короткие юбки. Сильно раз-

витые толстые ноги выныривали из-под подола, когда она, устав танцевать, плюхалась в кресло.

С излишней серьезностью на мальчишеских лицах танцевали Виктор с Пашкой. Роман затянул их как-то «на огонек», чтобы сблизить с настоящей столичной публикой.

— Разворачивайтесь в марше!— покрикивал на сверстников нигде не чувствующий себя чужим Штепа.

Лия Ивановна как-то прихворнула. Она полулежала на кушетке, уткнув напудренный нос в грелку. Простудилась на остановке такси. Мусик, как обычно, рылся в груде магнитофонных лент и пластинок, повернувшись спиной к танцующим. Роман что-то крикнул ему раз и другой, затем подскочил к старику и, схватив за предплечье, толкнул к кушетке, на которой в ожидании запоздавшего художника сидела студентка Тая.

— Мусик! — заорал парень.— Извивайся с остальной Леевой!

«Да ведь он груб и глуп! — внезапно пришло в голову женщины.— Но... несомненно, талантлив!.. Так перевернуть чужие строки, заставить их звучать по-своему!»

Вместо того чтобы указать грубияну на дверь, Лия Ивановна захлопала в ладоши:

— Ромочка! А ну-ка выдай что-нибудь еще в этом духе!

Штепа тут же последовал ее совету. Он предложил игру в рифмы. Зоя должна была подсказывать вслед за Романом вторую строку в импровизированной строфе.

— Все дороги ведут к Москве,—начал Роман.

Зоя как бы впервые заметила недовольство отца дурной выходкой парня. Она часто-часто заморгала мохнатыми ресницами, что означало напряжение мысли. Лоб девушки некрасиво подернулся морщинистой рябью.

— А у Романа ветерок в голове! — пропела она тонко и язвительно.

— Браво! — воскликнул Роман, перебарывая смущение.— Теперь ты начинай.

— К Яузе стремятся все реки,— бездумно бросила она.

— А к Яозе — дуре́ки! — дурашливо извратил он имя девушки.

Слово «Яоза» было не новым в обиходе между ними. При первом их знакомстве Роман объявил: имя Зои звучит чересчур прозаично — и попытался тут же произносить его по-своему. Выходило нечто несуразное: «Яоз»,

«Язой»... Звучали эти новые слова хотя и загадочно, но не по-женски. И тогда родилось нечто удовлетворяющее Романовым новациям: девушка стала «Язозой».

Однажды Лия Ивановна, выпроводив Пашку и Виктора, попросила Романа остаться. За чашкой кофе она повела разговор о новой квартире, в которую будто бы скоро она уйдет со стариком.

— Мы уже перебрались бы с Мусиком,— доверительно заявила мать.— Но Зоечке отсюда ближе до филармонии. А одну ее оставлять в старой квартире нельзя... она у нас трусиха...

Женщина была уверена, что Роман влюблен в ее дочь, и ждала признаний. Парень с первых слов этого разговора понял, к чему клонит Лия Ивановна.

— Да, дела, дела! — хмуро отозвался Роман, поднимаясь из-за стола.— У каждого свои заботы. Вы о квартире хлопочете, а мне голову распирают стихи. Первая строфа вроде ничего, а вот дальше... дальше, хоть брось.

Он показал смятый листок, на котором четко обозначились слова:

Жизнь моя — сплошные займы да долги:
Узы Яузы становятся узки.

— Вы пользуетесь ассонансами,— критически заметила Ростовцева.

— Да, мне ненавистен академизм,— сознался поэт.— Особенно в личной жизни.— И он артистически сделал Лии Ивановне ручкой на прощание.

С той поры в квартире Ростовцевых предпочитали вальсы и фокстроты в тон характеру Виктора Подузова. А Роман Штепа снова пожаловал к ним с букетиком ландышей лишь ко времени возвращения Зои из родильного дома.

Лия Ивановна встретила его приветливо и пообещала пригласить в кумовья, на «крестины» внука. Она считала недостойным своего интеллекта долго таить обиду. Кроме того, она верила в случай, способный внести поправки в личную жизнь дочери.

13

Подузовы, несмотря на позднее время, бодрствовали. Лия Ивановна, возвратившись с премьеры, осыпала их упреками в невнимании к себе. Она приготовила постель

на кушетке для Настены. Симону Аверьянычу принесли из кладовой раскладушку.

— Вы чем-то расстроены?

В подавленном настроении Симон Аверьяныч сидел у распахнутого окна и словно не замечал ее забот.

— Может, поссорились? Или внук не ко времени раскричался? — продолжала сыпать вопросами хозяйка.

— Сын нас обидел,— ответила Настена.— По Виктору-то Симон загоревался.

— Даже так?— с деланным изумлением воскликнула Лия Ивановна.— Звонил? Нагрубил?

— Худое слово стерпели бы,— все еще недоговаривала мать. Она украдкой поглядывала на мужа, будто проверяя, следовало ли заводить об этом разговор сейчас.

Лицо Симона казалось непроницаемым.

— С заводом у него не поладилось,— наконец решилась Настена.

Лия Ивановна сжалась, будто от укола. Она незаметно от Подузовых изобразила на лице ужас, вкось глянула на Мусика и, собираясь с духом, направилась к трюмо снять клипсы.

Перед зеркалом находился ее семейный капитанский мостик, откуда раздавались самые резкие команды.

— Виктор ушел с завода, ну и что ж? — спокойно и даже удовлетворенно проговорила она, позванивая дешевыми украшениями.— Разве сын не писал вам об этом?

— «Ушел»! — недобро ухмыльнулся Симон Аверьяныч.— Может, его «ушли» оттуда?..

— Был, конечно, небольшой инцидент,— согласилась Лия Ивановна.— Но все обошлось.

Женщина зачем-то стала накладывать крем на щеки, плавными движениями пальцев распрямляя складки возле крупного носа. В любом случае она не забывала о личном обаянии.

— Виктор уже имеет городскую прописку и поставлен на очередь за получением своего жилья,— продолжала она.

— «Своего»? — нехорошо скопировал хозяйку Симон.— Это по какому же такому праву? Не работал, считай, нисколько — и уже в очередь за квартирой?.. Не положено, не положено!..

Разъяснить свату пожелал Мусик. Он сбросил пиджак и тесные вечерние туфли, включил радиоприемник, чтобы заглушить музыкой раздраженные голоса до-

мочадцев, вылетающие на улицу через раскрытое окно.

— На расширение мы давно имеем право,— выпалил он торопливо.— Получат и Виктор с Зоей. Вполне законно.

— Существуют и неписаные законы,— добавила Лия Ивановна, прохаживаясь у зеркала.— По этим законам мы, родители, обязаны помогать своим детям устраиваться в жизни... В кругу моих друзей считают ханжами тех отцов и матерей, что вместо конкретной помощи детям в нынешних сложных условиях существования кивают на Конституцию: вот, мол, вам, детки, единственный закон, по которому счастье приходит. Ждите и обрящете...

— Ни в коем разе! — воскликнул Симон Аверьяныч. Он закашлялся от подступившей спазмы.— Мы с Настеной не говоруны какие-нибудь, хотя и веры в законы не потеряли... С превеликой радостью мы отвели бы детям полдома... Лучшую половину!

Лия Ивановна вздохнула, странно потеплев взглядом. Слова ее были холоднее взгляда.

— Вы прямой человек, Симон Аверьяныч... Поэтому позвольте разговаривать с вами без обиняков.

— Ради бога! — отозвался Подузов, сминая в руке папиросу, которую он так и не решился закурить в комнате, полагая, что разговор этот вот-вот прекратится и он выйдет покурить.

— Вы всерьез говорите об этой самой вашей половине дома? — начала она с вопроса.— Вы хотели бы, чтобы моя дочь, воспитанная на музыке Грига и книгах Ремарка, ходила с коромыслом за водой, скребла ножом скамейки? Ходила в туалет по сугробам?

Она прижала пальцы рук к вискам, бросила через плечо мужу:

— Полно, пора с этим кончать!..

Но как кончать, Лия Ивановна не знала. Она чувствовала на себе тяжелый выжидающий взгляд Подузова. Пауза в разговоре стала угнетать ее.

— Ты еще что-то хотела сказать, милая? — напомнил Мусик.

— Ах да...— вспыхнула Ростовцева, но тут же взяла себя в руки: — Разве я не сказала? Нет? Хотела попросить тебя помолчать.

Перепалка с мужем, как ни странно, успокоила ее, помогла собраться с мыслями.

— Все это действительно не так просто,— заговори-

ла Лия Ивановна несколько спокойнее.— Они муж и жена, есть ребенок. И должны жить под одной крышей. Все это можно понять. Я, кажется, вас понимаю. Но и вы нас поймите: среда, почва, окружение... Не всякое растение можно запросто пересадить из одного места в другое...

— Если заморское растение, то не приживется у нас,— согласился Симон.

— Не будем вдаваться в агрономию,— ушла от неудачного ответа с пересадкой растений Лия Ивановна.— Дети есть дети. Хоть они взрослые уже, но в таких вещах, как семья, будущее, они остались детьми... Не скрою: в их сближении много случайного, особенно рождение ребенка... Но, как бы там ни произошло, нам, старшим, нужно сделать их общность не только квартирной, но и духовной...

— И это можно сделать? — перебил ее Подузов.

Лия Ивановна с улыбкой погрозила пальцем:

— Не ловите на слове, Симон Аверьяныч... Мы же говорим о наших детях, об их счастье. Здесь лишние слова так же неуместны, как и действия невпопад. Впрочем, говорят, и зайца можно научить спички зажигать.

— Какие же спички вы собираетесь вручить Виктору?!

— Ну, это уж слишком! — Лия Ивановна вспыхнула, сделала вид, что убегает за перегородку, но остановилась и со страдальческой гримасой заговорила с Мусиком, уже залезшим под одеяло.— Я чувствую, что меня в моей квартире постепенно приучат мыслить примитивно, плоско.

— Да, дорогая, да! — пробормотал Мусик, укрываясь еще плотнее.— В наше время кто прост, тот глуп...

Лия Ивановна не дождалась предполагаемого извинения от Симона.

— Я решила ввести Виктора в круг друзей дома,— как бы нехотя продолжала она.— Те позаботятся о карьере мужа моей дочери.

— Нельзя ли поточнее? — попросил Подузов.

— Если точнее, то он уже работает в театре... Помогает художнику-декоратору готовить оформление сцены... Но это, разумеется, лишь начало... Позже мы попробуем его на ролях или устроим на режиссерский факультет...

— В кино будет сниматься?— подала голос Настена, все время сидевшая молча у детской кроватки. Но она испуганно смолкла, увидев поникшего в напряженной позе Симона Аверьяныча.

— Вы верите, Лия Ивановна, в то, что я говорю от души? Что по-родительски тревожусь о сыне? — глухо проговорил Подузов изменившимся голосом.

— Можете не сомневаться! — бросила Лия Ивановна.

— Ежели так, то примите и наши родительские убеждения: ни сызмальства, ни позже у Виктора не замечалось тяги к рисованию. А на сцене он даже в пионерах не выступал! Все с железками да с железками... Правду я говорю? — спросил Симон у жены.

— Тройки у него по рисованию,— уныло подтвердила Настена.— И стеснительный он у нас, долго к людям привыкает.

Лия Ивановна легко, как ей думалось, опровергла доводы Подузовых:

— Давно ли вы, Симон Аверьяныч, разговаривали со своим сыном по душам? Известно ли вам, что у Виктора хороший художественный вкус? Редкая у него склонность к независимым суждениям. А ведь эти качества для начинающего жизнь молодого человека куда более важны, чем прежние ребяческие увлечения...

— Не знаю, не знаю,— сокрушенно твердил Подузов.— Получить диплом... Оставить завод... Рисовать декорации... Выступать на ролях... Все это, может, и годилось бы для кого другого...

Ростовцева не разделяла тягостного состояния своего несговорчивого свата.

— Вы не оригинальны, дорогой Симон Аверьяныч. Вы повторяете слова многих нынешних недальновидных родителей... А может, это и хорошо, что дети задают нам такую нервотрепку? Может, мы уступим им, наконец, священное право устраивать свою жизнь, как они хотят? Ведь в их возрасте мы, кажется, кое-что себе позволяли. И нам было обидно, если кто-то, пусть даже на правах родства, грубо вмешивался в личную жизнь...

Симон постепенно убеждался, что одни и те же слова могут обозначать совершенно разные понятия.

В голове билась, повторялась, варьируя, горячая мысль: «Независимое суждение!.. От кого независимое? От вас, Лия Ивановна? От Зои? Едва ли! Только от меня небось да от родной матери!..»

— О ребенке-то он заботится? — спросил Симон, ни к кому не обращаясь.— Или полностью на тещины хлеба перешел?

Мусик почти закричал от радости, первым почувствовав приближение минуты перемирия:

— Да он приносит теперь побольше, чем с завода!— Сват прищелкнул пальцами и посучил ими от удовольствия.

— Откуда приносит?! — разом выкрикнули Подузовы.

Лия Ивановна энергичным шагом подошла к кровати и натянула на голову мужа одеяло:

— Не кажется ли вам, друзья мои, что для первого дня чересчур много вопросов?

14

Утром Симон Аверьяныч пробудился от прикосновения чего-то грузного, стеснившего дыхание. Раскладушка заскрипела, будто телега, взъехавшая на солончак. В переполненной спящими домочадцами комнате Ростовцевых лучисто полыхал ломкий юношеский басок:

— Сбываются начертания Магомета: гора с горою всегда сойдутся!..

Гора раздавшихся Романовых телес, обряженная в силоновую тенниску, навалилась на моряка. Ранний гость куда-то спешил. От него веяло интригующей таинственностью вечных странствий. Через плечо — ремешок фотоаппарата, из кармашка брюк торчат кончики ручки и мундштук. От баков и следа нет, зато волосы с затылка прикрывают плечи.

Симон уловил осторожный перезвон посуды на кухне: Настена готовила завтрак. У детской кроватки, спиной к бодрствующим мужчинам, сидела незнакомая женщина, вероятно приходящая няня. Мусик устало храпел.

— А я к вам с повинной, батя!— удовлетворенно рокотал Роман. Он зажал бутылку коньяка между колен, всаживая в пробку штопор.— Передо всеми уже голову склонил, кому в несовершенные годы на любимую мозоль наступил... Только к Федосье Капитоновне не успел: богу душу отписала. Собирался в Подузовку — вы опередили, выехали навстречу.

Роман выплеснул из вчерашних рюмок остатки вина и стал наполнять их коньяком.

— Принимаю поздравления в неограниченном количестве,— сообщил парень.— Второй месяц в штате, на своих хлебах. Испытательный срок прошел в командировке. Шеф проворонил этот срок.

Роман осторожно подал Симону наполненную до края рюмку.

— Вздрогнем, батя?

Симон поздравил юношу с выходом на собственное прокормление и тут же полюбопытствовал:

— Ладно, срок — сроком, а люди потом как — за своего признали?

Роман выпил, крякнул и принялся кромсать кусок ветчины.

— Признание — тонкая штука... У нас аплодисменты, а за океаном свистом выражают признание. Поэтому я обожаю и то и другое. Хуже, когда молчат.

— Пишешь, значит? — раздумчиво произнес Симон, удивляясь тому, с какой резвостью заглатывает репортер холодное мясо.

— Пишу, — прорычал Штепа. — Не приходилось видеть в еженедельнике?

— Видели! — вспомнил Симон.

— А где же овации?

— Свистели! — сострил скотник. — Читать читали, но вспоминали о березке... Стоит она у дороги гнутая...

— Дерево! — досадливо отмахнулся Штепа. — Раньше береза, говорят, на гвозди шла: стельки подбивать. Сейчас обходимся синтетикой.

Он выставил напоказ новенькие полуботинки с квадратным носком.

Заметив тень на лице Симона, вскричал:

— Но береза все же вдохновила меня на зарисовку, когда попросили написать для пробы.

— Не будут в Подузовке тебя читать, — решительно заявил Симон. — Не любят там гнутых берез.

— Всякому свое, — согласился Роман. — Кто не умеет гнуть березы, сам гнется в дугу перед иностранцами у «Метрополя».

— Это ты не о Викторе случаем? — вскинулся Подузов-старший.

Роман косо глянул на разбросавшегося во сне Виктора, ответил загадочно:

— Это многих славный путь!.. Только мне сувенирчики и вся эта мазня до лампочки теперь! Да и Витька отфутболил бы их слева направо и сверху вниз, если бы тещи не боялся.

Роман хотел еще что-то сказать, привалился к плечу Симона. Но тот отпихнул от себя парня, стал поспешно

одеваться. С неожиданной ясностью открылась причина необычно долгой задержки сына вчера «с работы». Виктор пришел лишь под утро.

— Да вы на все это наплюйте,— посоветовал Роман, обнаружив ярость на лице «бати».— Елки научились синтетические делать... Насажаем искусственных берез... Давайте лучше крепить смычку города с деревней. Хлопочите насчет хлеба, а на коньяк я заработаю. Лии Ивановне окорок подбросьте,— кивнул он на стол,— а мне темку для новеллы, хоть в виде гнутой березы...

Он снова наполнил свою рюмку, притронулся к рюмке Симона:

— Вздрогнем?!

— Не дрогнем!— ответил Симон Аверьяныч, с гневной решимостью глядя в беспечные глаза Романа. Но — выпил: не пасовать же перед сопляком?

15

Симон Аверьяныч курил папиросу за папиросой, поджидая Виктора на лестничной площадке. «Черт знает, где этот «Метрополь»?.. Побежал бы хоть через всю Москву туда!..»

Мысли Симона Аверьяныча перебегали с непокорного сына на Лию Ивановну, на других обитателей квартиры номер семь. Многого он не понимал в образе жизни Ростовцевых. Были такие вещи, которых он просто и не смог бы понять. Но то, что само бросалось в глаза, будоражило его, представлялось отвратным.

«Вроде культурные люди,— рассуждал Симон.— Все о спектаклях да актерах толкуют, знаменитостей по плечу похлопывают... Мусик про югославский путь к социализму часами торочит. А что делается у себя в стране, знает понаслышке, от таких же, как он сам. В квартире ералаш, книги — четыре штуки в шкафу. Выписывают лишь «Вечерку» да «Шпильки»... Ноты в ванной разбросаны... Для ребенка баночки-скляночки и весы дорогие куплены, чтобы все чин чинарем да по весу, а сами спят до одиннадцати, не умывшись, не причесавшись, бегут к вчерашнему столу. Затем наведение марафета на заспанном лице, звонки по знакомым: то заказать, другое достать, третье выбить... Туда на чашку кофе поспеть, сюда на загородный пикник пригласить... И все по одному принципу: ты мне, я тебе,

а третий и все остальные вроде бы лишние в этой дьявольской игре.

На заводе совсем иное,— перебирал в памяти новые знакомства Симон,— на заводе погоревали о сыне, а потом расспросами затормошили: «Как там у вас в деревне? Чем бы рабочий-то класс пособил вам в данную пору? Может, заводы химические для каждой области? С дорогами, спрашивают, не улучшается ли?.. Гм... Будто сами они улучшатся... А все же веселее на душе от такого участия. Своя кость, пролетарии!..»

Сын долго не появлялся. Наконец, юркнул в подъезд, запыхавшись, словно за ним гнались. Отец включил свет на площадке.

— Не торопись, Вить... Мама по магазинам ходила долго, отдыхает.

— А ты чего не спишь? Я раскладушку положил в кладовой перед уходом. Лия Ивановна знает, где она там.

— Лия Ивановна ушла на художественный совет... Не в этом дело.

— А в чем?

— Поговорить надо... По душам.

— Может, завтра? Вчера вы, говорят, допоздна толковали... Я хотел тебе сказать, папа: с тещей разговор бесполезен... Ее не собьешь.

— Это не твое дело,— оборвал отец.— Я не сбивать ехал, а повидаться, поговорить с тобой. Вчера не успели, а сегодня пора.

Он глубоко вздохнул, словно собираясь нырять, раздраженно бросил:

— Покажи-ка, что у тебя в карманах!

Виктор попятился к стене, губы ему свело от испуга. Он покосился было на дверь, но длинная тень отца, ставшего между лампочкой и проемом двери, четко пересекала дорогу.

— Другой стал бы спорить, я — без паники,— пролепетал Виктор.— Чур, об одном уговоримся: в карманах шарь сколько угодно, в душу не пущу...

— Туда, может, и не обязательно,— согласился отец. Из карманов сыпались смятые бумажки, папиросы Все это они складывали на широкую дощечку перил. Отец приговаривал:— У иного лоботряса что в кармане, то и в душе...

Виктор становился неприятно веселым:

— Пап, ты оглядывайся... Мы ведь в подъезде... Вон в той квартире, двери напротив наших, живет дружинник.

Тебя могут принять за грабителя или подумают, что к съемке нового фильма готовимся: революционный моряк обыскивает буржуйского сынка...

Симон стукнул сына по затылку, продолжая свое дело.

— Меня в этом подъезде, может, больше, чем кого другого, ограбили. Кое-что есть. Приступим к допросу?

— Всегда готов!

— Что это?

— Валюта... Зачем лишние слова? Ты сам небось не один раз в руках держал такие.

— Приходилось... На кружку пива получал, когда в иностранный порт заходили. Но не всем полагалось: кто честной службой увольнение на берег заработал.

— Ну вот и мне на кружку пива подкинули.

— Негусто,— пробормотал отец, обшаривая подкладку поролоновой куртки, начиненной затейливой дребеденью. Что-то треснуло под рукой моряка.

— Пап, осторожнее... Куртка не моя. На время выпросил.

— Вроде спецовки продавцу.

— Это тоже не мое — сувениры...

На одной картонке, величиной в пол-ладошки, была изображена дева Мария с младенцем. На другой... Симон Аверьяныч крутил ее по-всякому, подносил к самому лицу и отводил руку в сторону, но разобраться в рисунке не мог. В переплетениях красных и черных линий он разглядел совершенно отчетливый одинокий глаз.

— Сколько за такой глаз дают иноземцы?— полюбопытствовал отец.

Виктор хмыкнул:

— Нельзя же так примитивно судить о живописи!.. Глаз здесь выступает как составная часть, один из элементов художественного замысла... Он символизирует пробуждение, выход индивидуума из плена грубых реальностей... Потому и вся картина называется «Прозрение». Аркадий Яковлевич задумывал ее как автопортрет...

— Он что — одноглазый?

Виктор засопел оскорбленно:

— Пап, ну не могу же я тебе здесь лекцию читать об искусстве... Произведения новой живописи нужно понимать обобщенно, философски. Они как музыка: в твоем сознании вызывают одни ассоциации, в моем совсем иные...

— Смотри, как этот глаз разъединил нас: тебе мерещится одно, а мне, значит, совсем другое!

— Но я же тебе не говорил о том, что вижу я, и не спрашивал о твоих впечатлениях...

Симон Аверьяныч махнул рукой, возвращая картинки.

— Чего меня спрашивать? Вычистил из-под коров, навалил на тракторный прицеп навозу побольше — и в поле. Отвез — и за новой ходкой айда... Потому что хлебушек нужен! А припечет в лихолетье — бери, Симон, винтовку опять, в огонь лезь, спасай одноглазых, у которых свое «прозрение»... Об этом твои интеллектуалы не говорят с тобой? Не говорят! Значит, многое сами забыли.

— Зачем ты упрощаешь все это, пап? Зачем?

— А затем,— вскипел Симон Аверьяныч,— что твоему Аркадию Яковлевичу мало денег советских — дай еще и американские, мало хлеба моего — отдай и сына!.. Для побегушек!.. Чтобы мой сын с протянутой рукой стоял перед иностранцем в ожидании подачки!

— Опомнись, папа! Что ты говоришь?

— А то, что слышишь, шалопай!.. Ну скажи, ты улыбаешься туристу, когда он достает тебе эти доллары? Улыбаешься?

— Что из этого?

— А если бы он тебя попросил по городу вместе прокатиться, город показать?

— Русские славятся гостеприимством.

— А к заводу попросил бы провезти? К заводу?!— хрипло выкрикнул Симон. Он качнулся, ловя рукой опору.

Виктор испугался, поглядев в лицо отца:

— Папа, но я же не работаю на заводе. А насчет Аркадия Яковлевича ты зря. Я сам напросился.

— Не из таких Подузовы, чтобы одноглазым в дружки навязываться!

Виктор стоял на своем:

— На заводе я потерялся бы среди сотен и тысяч... Роман Штепа и техникума не кончил — выгнали. А фамилию его в газетах печатают. Две статьи в центральной прессе, командировка на Сахалин...

— Новую Акулину искать по Сахалину?

— Не шути, пап... Он теперь штатный репортер. И никто ему не говорит, что таланта нет, что не за свое дело берется.

— Скажут, сын. Разберутся и скажут.

— Кто именно?

— Народ!

Виктор покачал головой укоризненно:

— Не заставляй меня/упрощенно думать!.. Народ — это океан. А мы в нем — капельки.

— Умно сказано! Но и капельки разные бывают. В одной солнышко на заре светится, а другая капелька лошадь с ног валит... И про народ могу свое слово сказать, как я сам это понимаю. По мне народ — это Сашка Бурлаков... В Керченских каменоломнях гитлеровский батальон ляпнул. У командира ихнего в блокноте запись нашли: «Русский народ оказался сильнее, чем мы думали». Это он обо всем народе... А в каменоломне Сашка с ручником был, с ручным пулеметом по-нашему... понял? И никого больше! Трое суток сидел, пока кровью не истек. Значит, и одному человеку при случае можно за весь народ выступать. И в каменоломнях и у «Метрополя».

Симон полуобнял Виктора за плечо, присел на перила.

— Ну вот что, сын, поцарапались и — довольно. Ехали-то мы с матерью не для ругани вовсе. Пособить хотели по-доброму... Есть такая давняя обязанность у деревни — городу пособлять... Что с сыном думаешь делать?— вдруг спросил Симон.

— Она хочет его в круглосуточные ясли устроить...

— Кто она? Почему и здесь это липкое словцо «устроить»?

— С яслями туго, ты напрасно кипятишься,— рассудительно заметил Виктор.

— А в деревню, между нами говоря, спровадить не думали?

Виктор ждал этого вопроса.

— Она только рада будет.

— Да кто она?!— еле сдерживал себя Симон.

— Конечно, Лия Ивановна... Между прочим, она очень умная...

— Может, ты хотел сказать: хитрая?

— Все ходы и выходы знает,— продолжал Виктор характеризовать тещу.

— Лисица тоже запасными выходами живет. Но хитрость — это ум мелкого зверька, а не человеческий ум.— Симон вздохнул:— Мать ребенка не возразит, если мы возьмем у вас мальчика?

— Зоя сама ребенок. Что ей!..

Симон затянулся папиросой.

— Глубоко она в тебе?..

— Да, конечно,— тихо ответил сын.

— Она хорошая,— согласился отец.— Настене по ду-

ше пришлась. Но наша мама за вас боится: говорит, будто на гулюшках живут, не записавшись вовсе...

— Зоя считает это предрассудком...

— Куда ни шло, если бы так думала Зоя,— горестно проговорил отец.— Может, я и ошибаюсь, но мне кажется, что они тебя на пробу взяли... Все...

— Зачем же меня испытывать?— удивился Виктор.— Я ни от кого не скрывал своих чувств к Зое. Из-за нее я и с завода ушел.

Сердце подсказывало Симону догадку о том, что теща готовит из Виктора второго Мусика. Для дочери.

— Ты всегда был предан друзьям,— отгоняя прочь навязчивую мысль о скорбной роли сына в семье Ростовцевых, проговорил отец.

Он помолчал, затягиваясь, швырнул окурок в ящик с песком.

— В деревне вам всем первое время было бы удобнее.

— Зоя не поедет в село, папа!— прервал мучительные раздумья отца Виктор.— И не станет уговаривать меня, если я уеду! И не будет ждать меня так долго, как мама тебя с войны ждала... Поймите же, наконец, это! Зоя выше всего будничного! Она ребенок, которого нужно любить,— и все!

— А сын ваш — кто он?— нащупывал слабинки в логике Виктора отец.— Не ребенок еще? Или инкубаторский, ласка родительская без надобности?

— К сыну нужно привыкнуть,— оборонялся Виктор.— И тогда все будет нормально...

— До нормального еще как до неба... Как до Подузовки,— уточнил Симон.

— Зачем все это, папа? Зачем? Разве я не понимаю, чего вы добиваетесь? Но я же сказал: не могу без Зои!

— Сколько сможешь,— наступал отец.— Между прочим, ты задолжал словом хорошему человеку. А он, может, не меньше твоего живописца уважения стоит...

— Протез остался в общежитии,— догадался Виктор.— Вышлю позже. Мне как-то стыдно появляться с протезом у Ростовцевых. Ах как вы все не хотите понять!

— Епифану Палычу не совестно было делиться с тобой пайкой хлеба в сорок седьмом. Он-то небось понимал тебя? Или тоже не понимал?

Виктор оскорбился:

— Могу чемодан белых батонов привезти!

— Вези! С оркестром встречать выйдем!— закинал

отец.— Один такой ведро молока своей кормилице посулил... На электронной машине, говорят, подсчитал, сколько высмоктал из той и другой титьки... В аккурат ведро набежало...

Глаза сына внезапно повлажнели.

— Зачем ты так, отец? Ты же на скандал рвешься!.. В один момент тебе, в один вечер, в год один и долги и обязанности... И протез, и прибор для шабровки фланцев... И о куске хлеба даже вспомнил!

Симон почувствовал: сын может решиться именно сейчас на что-то безрассудное, необратимое. Он тронул его за плечо, привлек.

— Петух, петух!..

— Закукарекаешь поневоле,— смягчился Виктор.— И тут поспевай, и там не задерживайся.

— А все это и называется — взрослая жизнь... Да еще в самом что ни на есть горьком начале... Ты-то ведь тоже в мальчишеские годы мечтал: вот вырасту, вот заживу без нудной опеки!

— Да, хотелось,— согласился Виктор.

Симон, наконец, почувствовал, что железо поддается ковке.

— Епифан Палыч о калибровках сказывал...

— Ну и как?— вздрогнул Виктор.

— Работают.

Симону вдруг показались хорошими, очень похожими на Настенины, никогда не теряющими стыда зеленые глаза сына. Не вспомни он про Настену в этот момент, продолжал бы бомбить сына крупнокалиберными.

— По-доброму вспоминает,— осторожничал отец.— А о протезе он вовсе не велел говорить.

— Смолчал старик?

— Точно!.. А чему ты радуешься-то?— вновь насторожился отец.

— Радуюсь, это правда... По душе мне, папа, люди такие, что не спешат повелевать другими, надеются на человека, верят в него. Таков и Епифан Палыч, наш голубь сизокрылый...

В глазах Виктора внезапно заиграли ребяческие огоньки.

— Поеду!— решил он.— Только так договоримся, пап: безо всяких плакатов там, без паники!.. Хоть и деревенский я, но не объезженный. Под седлом не люблю ходить. По-

чувствую шпоры — брыкаться стану... Я ведь тоже Подузов!..

«Выкрутился, дьяволенок... Вырос!» — потеплели глаза отца.

16

— Симон, ты спишь?
— Да... А ты?
— Тоже заснула...
— Вот и хорошо.
— Симон, тебя на завод пустили?..
— Умгу...
— К Витькиным машинам подходил?
— Нет, в конторе был.
— И мастера Витькиного видел?
— Мастера и начальника цеха.
— Что мастер сказывал?
— То же самое.
— Ну, что, что? Какими словами?
— Брак!..
— С машинами сын не справился?
— С людьми не поладил.
— Симон, а где труднее: с машинами или с людьми?
— С людьми, пожалуй...
— А этому их тоже учили?
— Нет, наверное.
— Самому трудному, а не учат?..
— Жить среди людей человек должен сам научиться.
— Симон, а за что тебя все любят?
— Только от своей жены слышал объяснения в любви.
— Не смейся, Симон. Я серьезно.
— Сам людей уважаю.
— А Пашка сумел с людьми?
— Да.
— Чего же он нашему не подсобил?
— Подсоблял. И товарищи пытались.
— А Витька не послушался?
— Тебя-то он всегда слушался?
— Так же, как тебя!
— Кажется, договорились...
— Перекрестись, если кажется!..
— Перекрестился.

— Ох, муженек, своих-то можно и не послушаться когда ни то... А вот с чужими не заладишь — врагов наживешь...

— Разбуди, скажи ему.

— Слава богу, есть кому сказать и приказать: у него отец имеется.

— И мать у него есть... Женщин они в этой поре больше почитают.

— Лия Ивановна ученая. Она культурным обхождением берет.

— Пусть его теперь хоть черт заберет, не только Лия Ивановна.

— Не ори, шалый! Людей поднимешь!

— Давай спать. Мы тоже люди.

— Да я уже спала. Спросить хотелось.

— Ну спросила?

— Не успела. Ты все в сторону сбиваешь... Что с дипломом-то Витькиным? Назад в техникум отошлют? Или выбросят?

— Выбросили уже... Мне отдали... Для вторичного вручения. На семейном совете.

— Все село собирать будем, как на свадьбу?

— Радости на всех не хватит...

— Епифана Палыча позову.

— Это другое дело! Он и вручит.

— А если Виктор не возьмет, не захочет?

— В армии говорили: не умеешь — научим; не хочешь — заставим.

— Поедет он с нами-то?

— На недельку согласился, а на большее, говорит, не рассчитывайте.

— Симон, а если сын на другую профессию повернет, наново учиться нужно?

— Смотря какая профессия... Американец один тоже в художники захотел: вымазал ослу хвост краской и холст подставил; потом эту мазню за миллион толстосуму продал... Если ослам хвосты в краску мазать — учиться незачем.

— Не смеши, Симон! Я о деле спрашиваю...

— И не думал шутить!.. Новый Витькин мастер, живописец, глаз в желудке намалевал и — тоже на продажу. Только не миллион просит...

— Не чуди, Симон! Захохочу в голос, дурочкой назовут.

— Завтра покажу. У меня глаз этот.

— Выдумщик ты, Симон!.. Заговариваешься.

— По-твоему, я и складуху про такой глаз сочинил? Помнишь, на вечерках припевали:

Милый Вася, я снялася,
Вышли карточки не те:
Глаза, уши — на макушке,
Борода на животе.

— О-хо-хо!.. Дурной, замолчи!.. Эту припевку Алдакей Косых сварганил. Но он же чокнутый. В старушечьей панёве по деревне ходил, чтобы от других отличаться. При немцах добровольно в Германию завербовался. Говорил: на собственной легковушке в Подузовку приеду...

— Не перевелись, видно, алдакеи и сейчас...

— К беде хохочем мы ночью, Симон. А я о серьезном хотела поговорить.

— Говори скорее... Светает.

— Так вот, у Епифана Палыча внучатый племянник есть, Гришка. Художественное училище кончает. По-всякому он горазд: и красками, и карандашом, и кусочком угля выводит... Как живое, получается...

— Гришка и до художественного училища рисовал. Зато гвоздя как следует вбить не мог. А твой сын, Настасья Егоровна, выше «тройки» по рисованию не поднимался.

— Так же, как и твой.

— Договорились! Спи!

— Сам спи, «глаз в животе»...

17

...Знакомые, поблескивающие огнями пристанционные здания. Исполинские контуры вокзала. Площадь, заполненная суетливыми, не замечающими друг друга людьми.

На полшага опережая свою пеструю семейку, с ребенком на руках торопился к кассам Симон. Как всегда, он выбрит. Подузов, в общем, доволен своей поездкой в Москву и не скрывает этого.

Симон успевает отвечать и Зое, дающей дорожные напутствия Виктору, и Настене, которая в большом городе чувствует себя угнетенно, как дошкольник, сыплет вопросами.

— И зачем это столько людей со своих мест срушилось?

— К своим едут,— объясняет Симон.— Кто к детям, кто с детьми.

«И в самом деле,— думает Настена,— у каждого ведь свои где-то живут. Хорошо, если с детьми ладится...» Она вздыхает.

— Витек, ты не задерживайся!— щебечет Зоя.— Восемнадцатого августа вечером в студии премьера. Подарок мне какой-нибудь деревенский привези... Слышишь? Может, лапти... Лесные, настоящие!

— Лапти немец пожег,— отвечает Симон Аверьяныч за сына.— А картошку в мундире можно.

— Почему в мундире?— изумляется Зоя.

Симон Аверьянович видит в ее глазах сонмище переплетающихся лучиков света, детскую радость существования. Уезжает муж, увозят ребенка — ни грустинки в глазу!.. «Зоя выше всего этого»,— вспоминает он слова Виктора о своей подруге.

— И ты, доченька, приезжай к нам, хоть в гости, хоть насовсем,— в который раз упрашивает невестку Настена.— Уж так мы тебя любить будем, так привечать. Музыкальная школа будет, а телевизоров уже и у нас много...

Виктор как бы вспоминает о матери. Переложив тяжелый протез из одной руки в другую, он пытается взять у матери авоську с бубликами. Неожиданно сталкивается с носильщиком.

Носильщик пьян или благодушен. Он словно обрадован внезапной встречей с рассеянным бородатым человеком, ловит Виктора за пуговицу плаща, тычется ему в бороду своим волосатым лицом. Голос носильщика неприятно зычен или кажется таким Виктору.

— Что, ровесничек, старость подошла, бородой украсила? Сынка со службы дождался, ровесничек? Экий молодец он у тебя вымахал? Во флот не каждого берут. И ребеночка прихватили — с прибавленьицем! Ничего, борода! Вынянчит моряк, выкохает!.. И своих деток в люди выведет, и твою старость пригреет!..

Симон слышит эти слова. Он вовсе не воспринимает их как похвалу себе и спешит удалиться от того места, где дурашливый или хитрый человек срамит на всю площадь бородатого юнца.

Внук безмятежно посапывает на руке деда. Ему еще все равно, на чьей руке досматривать первые сны. Коро-

тенький, как у Зои, носик его приткнулся к грубой, затемневшей у большого пальца коже на ладони деда. «Наверное, не привык к таким рукам, ишь, как крутит носом, морщится мальчонка во сне!» — заботливо думает Симон.

Глядя то на внука, то на Зою, которая рассказывает о предстоящей премьере, Симон рассеянно думает о своем. Он жалеет, что не совладал тогда с заматеревшим корневищем осота, поторопился тащить его и оставил наполовину в земле. Но он хорошо запомнил место, где угнездилась поганая поросль, и мысленно дал себе обет никогда не забывать о нем.

1963

СТОЯЛ СТАРИК НА ОБОЧИНЕ...

1

На вечерней поверке старшина Маремчук, торопливо закончив перекличку, внезапно переменившимся голосом вызвал из строя солдата Семена Зубкова.

— За нетактичное поведение во время прогулки... два наряда вне очереди!— объявил старшина сурово.

— Есть два наряда!— с подозрительной готовностью повторил за командиром Семен, дурашливо мотнул головой и осклабился, но тут же серые с темнинкой зрачки глаз его забегали в поисках сочувствия.

Решение старшины никого не удивило, да и сам провинившийся последние полчаса, пока рота обходила гарнизонную площадь и возвращалась в расположение части, ежился от предчувствия неминуемого наказания.

— Становитесь в строй!— изрядно подержав остряка-неудачника под смешливыми взглядами товарищей, разрешил Маремчук.

А случилось вот что.

На свороте от шоссе к военному городку, где пролегал маршрут солдатской прогулки перед сном, у облетающих молоденьких тополей колонне повстречался сгорбленный суховатый дедок. Старика нередко видели здесь и днем: размашисто вгоняя лопату в глинистый грунт, он долбил ямки под саженцы новой аллейки. Если по шоссе проезжала машина или натруженным шагом проходил с полевых учений строй, дедок распрямлялся, окучивал лоснящимися ладонями почти совсем белую бороду и, опершись на черенок лопаты, стоял минуту-другую, пока не опростается шоссе. Замечали: к песне старик и вовсе не равнодушен. Едва заслышит звонкую, молодецкую, оставляет работу и подходит поближе к дороге, шевеля усами, будто тихо подпевая... Улыбнется иной первогодок, наблюдая, как старается принять стойку «смирно» старик. Но кому в диковину, что деду и посейчас бодрит душу строевая песня, сегодняшняя или совсем давняя?

Семен Зубков, невысокий ростом, с развернутыми крутыми плечами солдат, оснащал лихие припевы задиристым свистом, от которого кололо уши. Если же командир отделения, сержант Скворцов, уходил на сутки в наряд по штабу, то Семен оставался главным запевалой. Ждал это-

го случая Семен, выкладывался сполна. Сегодня же будто черт за язык дернул. Когда поравнялись со стариком, петь бросил, шикнул на примолкшего в почтительной позе старого человека:

— Папаша!.. Не пугай бородой, а то приснишься!

— Прекратить разговоры!— оборвал озорника шедший впереди колонны и тут же обернувшийся на голос Маремчук. Но старик расслышал слова Зубкова, смущенно отвернулся, побрел сбочь дороги в противоположную сторону. Старшине ничего не оставалось, как догнать его и попросить прощения за грубую выходку подчиненного.

Старик не удивился, когда его настигли широким, почти строевым шагом. Выслушал, держа картуз в кулаке.

— Отставить с извинениями, старшина!— дружески проговорил он сочным крепким баском.— Надо было того дуролома прислать, я бы его отцовским словом прохватил... Он из таких, видно, удался, к кому разум в голову через руки приходит. Побольше занятий таким давайте...

«Разум... через руки!»— удивился старшина совету. Спросил из вежливости:

— В армии служили, отец?

— Немного пришлось!— дедок почему-то вздохнул, но в глазах, выцветших, увлажненных только что слышанной песней, блеснули горделивые искринки.

Голова у старика была почти белой, волосы скатывались колечками по обе стороны головы, закрывая виски. На лысину не было еще и намека. Щеки выбриты, грудь широка, хотя сквозь потертую одежду отчетливо проступают ключицы...

«Красив, должно быть, человек был смолоду,— с необъяснимой радостью за необидчивого старичка подумал Маремчук.— Постой, а ведь мы где-то виделись!..» Старик, по-видимому удовлетворенный вниманием старшины, вернулся к начатой яме и взялся за лопату.

«Разум... через руки!»— вспоминал Маремчук, догоняя роту.— Вот я сейчас и пропишу ижицу ретивому Зубкову по рецепту бывалого человека».

— Зубков!— распорядился старшина.— Сегодня и завтра после отбоя будете ямки копать у шоссе!

— Какие еще ямки?— заартачился солдат. Он уже расстегнул гимнастерку, готовясь ко сну.

— Те самые, от которых старикашку пугнул!— разъяснил кто-то за старшину. Удачная реплика понравилась солдатам. Ее поддержали дружным смехом. Зубков нехо-

тя затянул ремень, стал перебирать пуговицы гимнастерки. Маремчук сказал ему от порога с гневом:

— Стыдно!

2

Служил Маремчук в роте одиннадцатый год. Дочке Люсе сейчас столько же. Она была главной виновницей посвящения отца в сверхсрочники: родилась как раз перед увольнением его в запас. И квартира, и твердый заработок родителям с ее появлением на свет потребовался. Легкая жизнь, как понял Маремчук, не для армейских старшин. И все же выпадали в роте дни спокойные.

Именно таким, напряженным и ровным, складывался день нынешний, накануне выходного.

К подъему в расположение роты пришел командир их отдельного батальона подполковник Лихотин. Солдаты звали его «батей», офицеры Иваном Федоровичем. Подполковник службу любил, цену себе знал. Знал он также и о превратностях воинской жизни. В одну секунду все может перемениться — по телефонному звонку, по сигналу. В армии Товарищу Случаю принадлежит не последняя роль...

Рослый, слегка полноватый, поскрипывая начищенными сапогами, то и дело поглядывая на ровные стрелки отутюженных брюк, Лихотин прошелся между рядами опустевших коек — солдаты ушли на физзарядку. Заглянул офицер и в тумбочку дневального, попросил открыть пирамиду с оружием... Он так и сказал, указывая на пирамиду: «Прошу!..»

По крепкому рукопожатию «бати» Маремчук понял: командир службой доволен.

Ротный тоже пришел с офицерской летучки, улыбаясь во все лицо: отстрелялись в этот день на четверть балла выше, чем соседи. Можно было с легким сердцем подвести черту спокойно уходящему в прошлое солдатскому дню, а заодно и всей неделе, и вдруг...

Надтреснутым колоколом прозвучал перед самым отходом ко сну противный голосок Зубкова!

Старшина был так расстроен пустой выходкой солдата, что, выйдя за проходную, свернул к увлажненной свежими рытвинами прогалине в аллее, чтобы еще раз высказать свое осуждение Зубкову, который пришел туда немного раньше. Старшина не захотел близко подходить к солдату, сел на край ямы, опустил в нее ноги, закурил с глубокой затяжкой. Зубков, искоса наблюдая за стар-

шиной, с наигранной злостью рыл землю, разбрасывал ее по обе стороны ямки.

— Как же это ты, Семен, оплошал?— миролюбиво спросил Маремчук солдата.

— Сорвалось, товарищ старшина!— Зубков повернулся к нему лицом и сам вдруг сел, положив лопату на колени.— Исправлюсь!

Не скажи солдат это проходное «исправлюсь», промолчи он в ответ на справедливый упрек старшего по службе, Маремчук выдал бы ему очередную порцию нравоучений и, успокоив себя таким образом, пошел бы своей дорогой к дому, где его ждала жена Мария и дочь пятиклассница, но старшину просто взорвало.

— Не финтите, Зубков!— потребовал старшина, переходя на «вы».— Говорите правду: что-нибудь личное имеете против старика?

Зубков, похоже, не ждал такого вопроса. С полминуты он обалдело молчал, затем проговорил покорно:

— Так точно, товарищ старшина! Имею личное!

Маремчук вытянул шею от изумления.

— Что именно?

— А то, товарищ старшина,— скороговоркой зачастил солдат,— что жалко мне стало деда. Он землю роет, а молодые, кому ходить под тополями, гульки себе справляют... Вот послушайте...

Из городского парка в это время действительно погромыхивали, расплываясь в прохладной окрестности, звуки духового оркестра. Зубков не в шутку погрозил в сторону парка лопатой.

Маремчук укоризненно покачал головой.

— Пенсионеры не могут без дела,— разъяснил старшина.— От непривычного покоя сердце безвременно застопорится.

— А от излишней работы,— пожалел себя Зубков,— и у здоровых сердца не выдерживают...

Солдат сидя принялся охорашивать лопатой неровные края подсохшей ямки.

— Старики все делают с обдумкой,— заметил старшина.— Не нам их учить.

— А я и не учу!— Зубков поднялся.— Жалко, и все тут... Да и какая это работа: за две недели восемнадцать ямок...

— Завтра утром подсчитаю, сколько ты выкопаешь!— с усмешкой проговорил старшина.

— Я — что?.. Я не землекоп, слесарем до призыва вкалывал. А вот мой дядя Андрей... Андрей Васильевич, фронтовик, рассказывал: был у них в разведке один такой лейтенант... А может, старшина, вроде вас, Александр Кириллыч... Так вот лейтенант тот, или старшина, мог одной рукой стрелять, а другой на глазах у фрицев в землю зарываться. Что твой тушканчик действовал, потому и ни одного ранения за войну... Говорят, никакого оружия, кроме лопаты, не признавал. На него, бывало, с пушкой, с кинжалом фашисты, а разведчик: выпад — влево, удар — вправо!.. Особенно ловко по рогатым каскам проходился! Вот это артист был!

— Так он же у тебя сейчас только стрелял одной рукой! — попытался уличить солдата Маремчук. Но тут же поверил Зубкову или посчитал нужным поверить, сказав коротко: — Талант!

Зубков, довольный, что так надежно ублажил старшину, произнес просительно:

— Может, я спать пойду, Александр Кириллыч, а?

Старшина не ответил. И тогда Зубков решился сказать такое, чего не смог бы выведать у него Маремчук в другом случае.

— Если хотите знать правду, товарищ старшина, это у меня в самом деле личное... Такое личное — дальше некуда. У дедуси, мною обиженного, дочь или внучка — сказка! Живая фантазия! Голубая звезда на черном небосводе!.. Два раза ваш Зубков в увольнительной потанцевал с Лелей — и нет теперь покоя до гробовой доски!.. Только два разочка вышла она на свиданье, а после и глаз не кажет... Встретил как-то ее в городе, рядом с бородатым землекопом шла, так она, верите, на другую сторону улицы перескочила. Чертов старик, видно, отговорил ее и на танцы не пускает!.. Ну и сорвалось у меня сегодня в отместку!

— Старость не радость, и зелень не сладость! — с досадой ответил на эти объяснения Маремчук. — Глупый ты, Зубков, как сало без хлеба. Если решил цель личного счастья достичь, то дед или бабка в доме невесты — первейшие помощники нашему брату! Старики спят и внуков видят!.. Вот тут тебе бы и доказать, что лучшего, чем ты, отца их внукам старикам и во сне не встретить! Отцов и матерей вы, балбесы, в таком возрасте ни во что не ставите. А к деду или к бабке внучка со всеми сердечными

тайнами идет, как на духу... Уж если старшие к тебе уважение заимеют, найдут, какой совет дать!

Зубков хмыкнул, представив, как он, по подсказке старшины, должен был завоевывать расположение Лели.

Старшина погасил окурок, поднялся и подошел к Зубкову вплотную:

— Маруся моя не последнего форсу девка была. Даром, что у тетки росла, без родителей — женихам счету не знала. И офицеры, и аспирант сватался... Она бы и согласна на семейную жизнь, потому как года подошли. Но тетка Алевтина у нее — зверь... Дракон в юбке!.. Не знаю, дворянкой ли была по происхождению, или еще в каком звании, но гимназию окончила точно. Чуть что не покажется ей, сейчас кричит: «Мужланы!.. Пастухи!.. Кукурузу вам сеять, а не за воспитанной девушкой ухаживать!..» Случай в то время свел меня со старикашкой, тоже из бывших... Интендант в отставке. Не помню уже, как и разговорились. Определил, надоумил: «Главное звено в золотой цепи Гименея — тетка! Ее поначалу и обхаживай... Манерам подучись, подарочек преподнеси». Одним словом, же ву зем, де ла фри... Купил я этой образованной ведьме в антикварном магазине хрустальную вазу старинного гранения. С полведерный самовар... Волоку эту вазу, к ручке приложился... Конечно, и Марусе букетик ландышей прихватил. Но больше вокруг тетки кручусь. Смотрю: обе при встречах улыбаются... А там и свадьба! После женушка мне все эти проделки не раз вспоминала, да поздно. Первого мужика баба никогда не оставит. Первый во всяком деле — первый!

Зубков слушал бы этот рассказ до утра. Но старшина, поняв, что судьбы людей неповторимы, прервал разговор и туманно пообещал:

— Копай, Зубков!.. Станешь хорошим солдатом — сам пойду Лелю тебе в жены сватать... Старик — он вроде ничего, сговорчивый. Я его немножко по плотницкому ремеслу знаю... Вообще, Зубков, не спешил бы ты с такой заботой. Никуда эта зазноба от тебя не денется.

3

А старик — звали его Захар Тимофеевич Бондарев — скоро забыл о выкрике из колонны. Правда, неуместная шутка эта перепутала его планы. Давно хотелось старику попросить солдат спеть свою любимую, фронтовую.

Как служил в полку герой,
Был разведчик боевой.
На разведку он ходил,
По команде доложил...
Гей, гей, герой —
На разведке боевой.

Не эту, так другую... Удивительное дело, песни фронтовые разом с мыслями о пережитом все чаще стали наведываться в его поседевшую голову. Шел Захару Тимофеевичу шестьдесят четвертый. Не так уж много, если вспомнить, что отец его и дед Иван преставились на девятом десятке. Жить бы да жить. Но с нынешней весны у плотника быткомбината Бондарева стало пошаливать сердце. Однажды беспричинно вывалился из рук топор... Вместе с горькими приметами старости вороньем кружились в мозгу неласковые думки: прильнет ненароком слабость к сердцу — и прощайся с жизнью!.. Чудно подумать: на войне смерти не дался, а сейчас костлявая тенью по следам шныряет...

Может, и не загоревался бы Захар о будущем, если бы не одиночество... А кто виноват?.. Кто же, если не совесть, не спокон вечная привычка Бондаревых жить для людей, откладывая свои нужды на самый последок!

Гей, гей, герой —
На разведке боевой!..

Застряла в голове давняя припевка, будто маятник на ходу качается... А все потому, что с человеком одним связана. Мишка Луканов, войсковой товарищ, тому причина — вон дом его стоит на самом углу, возле поселкового сквера: широкое окно в горницу и два тополя под тем окном.

...Не всегда ходил по земле Захар Бондарев в белой шапке волос да согнувшись. Чуб смоляной и витой волос — кольцо в кольцо — до сих пор небось помнятся не одной бабенке... Тридцать восемь Захару сравнялось, когда прошумела в их стороне чернокрылая весть: фашисты напали!..

Статный, крепкий в кости Захар будто родился в гимнастерке — так к нему шла военная форма. А может, фамильная аккуратность в каждом деле помогла освоить непростую солдатскую профессию, стать и в армии нужным человеком. В разведчики определили — шел без сом-

нений: не все ли равно, где работать на войне... Таким же сноровистым и безбоязненным удался и кореш его — уралец Михаил Луканов.

Ночка темна, нету звезд,
Едет вражеский разъезд...
Гей...

Сколько таких ночек прокорпели они с Михаилом за вражеской полосой, выбирая момент для нападения на дот или бункер, сколько воинских удач выпало на долю вольных охотников за живыми трофеями! Тяжки фронтовые деньки, иная неделя в целый год вытянется. И все же разведчики не сникли от нуды окопной, ни огню, ни вше поганой не поддались — один и другой дожили до полных сорока на передовой, фронтовой чаркой отметили мужское полнолетие. Думалось, не про них и смерть писана, да вот, считай на краю, у границы, когда ворог в логово откатился, за Минском слепая пуля ужалила под лопатку Михайлу. Принес Захар из разведки не врага, а побратима. Думал похоронить на виду, в могиле братской. Кореш в себя вдруг пришел, заметался, глаза поднял на Захара.

И в минувшие деньки, на отдыхе, при добром настроении Михаил был не прочь помечтать. Дружки постепенно дошли до мысли, что им нет никакого резона терять друг друга после войны. Неплохо бы поселиться где-либо по соседству, чтобы сподручнее было вместе избы ставить, детей растить.

— Да мало ли что еще придется!— подытоживал такие разговоры Захар.— Я с тобой, Миша, хоть куда согласный...

В таком их сговоре на будущее вызрела молчаливая мужская клятва: не оставлять без ласки детей друга, если кому из них судилась смерть на войне.

Михаил был характером бойчее и в самых серьезных беседах не избегал шутки. Как-то сказал:

— Умру — никому не уступлю своей жены, Лукии... Разве что за тебя она пошла бы с моего позволения, Захар.

Захар тоже отзывался шуткой, гордясь за удачу фронтового побратима с выбором жены-подруги, желая ему скорого возвращения к Лукии после победы. Да и Михаилу было известно: у Захара на Орловщине супруга есть, Дарья, и трое ребят... Знал, а в смертный час, видно, все в голове перепуталось.

— Не отдавай плохому человеку Лукию,— проговорил Михаил, прерывисто дыша, пытаясь обнять склонившегося к нему Захара.— Береги Лукию... Детей...

4

Тропы одна за другой круче, петлястее и все поперек желаний легли на пути Захара. С располосованным до кости бедром попал он в госпиталь. Рана оказалась опасной, чуть не остался воин без ноги. После излечения ждала его весть пострашнее бомбового осколка. Не зря, видно, молчала, не откликалась на письма родная Тереховка. Пала эта партизанская деревенька, как боец в рукопашной: покуражились в ней факельщики... Сконала недолгий век в пожарище и Дарья с детьми!.. Голым столбом, ошкуренным до сердцевины, показался сам себе на обугленном подворье Захар. Не знал, в какую сторону отбрел — на чужую станцию прибился через леса. Не помнит, как очутился в дальнем краю уральском. Одна ему оставалась забота теперь: помочь детям фронтового дружка на ноги подняться, голодовку осилить. Может, в память о своих, не выживших.

От соседей в поселке узнал о Лукановых: получила Лукия отосланные штабом вещицы погибшего мужа и медали его. Почти разом с похоронной пришел тот скорбный добыток... Так что не начинал Захар при встрече с Лукией с самого тяжкого.

Представился будто по делу: деньги, мол, при нужде брал у Михаила, вернуть время приспело... Что набежало за долгие госпитальные месяцы из солдатской казны, на стол выложил. Все взяла хозяйственная Лукия: две буханки хлеба подорожные, полученные на узловой станции, банку консервов, завалявшуюся в вещмешке. Нашлось по куску серого сахара детям. Самая младшая, Леля, на колени к Захару взобралась... Для нее отцом был всяк, лишь бы в сапогах да шинели. А если с усами, то и сомнений никаких: отца только по фотографии девочка знала!

Поверила или не поверила Лукия в байку о солдатском должке, но деньги приняла, считать не стала. Пачку рублей за портрет мужа положила и портрет поправила, чтобы висел ровненько.

Много рассказывал о своей женушке Михаил, да всего упомянуть не успел или, может, слова берег про запас. И с застывшим горем в глазах, в чем попало одетая, Лу-

кия выглядела королевой! Повела припухшими от слез очами на пришельца, неважный платок темный на голове поладнала, спросила тихо:

— Место, служивый, запомнил, где Михаил путь свой окончил?.. Детям знать нужно!

Сник под ее взглядом Захар, закусил губу от душевной муки, готовой выплеснуться из горла криком. Не отважился при детях говорить всей правды, святой ложью заслонился, ненадолго:

— Нет... Не видел мертвым Михаила... Живым его помню.

— О чем толковали напоследок? Может, что передать велел?

— Толковал Миша о чем-то,— не поднимая глаз, выдавливал из себя по слову Захар,— да не разобрал я: сильно слаб он был, крови потерял много.

— Жалко!— с упреком выговорила Лукия.— Михаил попусту слов не ронял, а последние слова друга полагается век помнить!

И тут их взгляды встретились: «Ох, Лукия, Лукия!.. Все-то ты насквозь видишь, зачем душу выворачиваешь? Зачем?!»

— Ну, ладно,— тихо проговорила вдова, прочитав эту мольбу в глазах гостя.— Спасибо вам за верность моему мужу...

У порога, отцепляя крепкие ручонки Лели с шеи «папы», Лукия шепнула, таясь от тех двух детей, подросших без отца:

— Идите скорее!.. Пореветь мне одной хочется!

«Ну и баба!»— только и успел подумать Захар.

Долго искал щеколды в сенях Захар, тыкался в потемках. Крика боялся, как удара в спину. Но Лукия колотилась, уткнув лицо в подушку, молча... Ни тогда, ни когда-либо после Захар не слышал ее крика, не видел в глазах отчаяния.

Уезжать Захару было некуда. Он попросился в быткомбинат плотником, выискал неподалеку квартиру. Всякий раз, в дни получки, он нес детям то одежку, то гостинец. Случалось, починить обувку брался. Леля узнавала его еще в конце улицы:

— Папа идет!.. Папа!— кидалась навстречу.

Лукия не всегда была строга и печальна. Лицо ее светлело при встречах, хотя в голосе звучала всегдашняя сдержанность.

— Исправный человек вы, Тимофеич, дельный, а поглядеть на вас: задолжали людям бессчетно!..

5

Савватеевка, новое пристанище бывшего разведчика, считалась когда-то казачьей заимкой, выстроенной в таежных порубях. Крутые берега Урала за околицей, отгороженной березовыми жердями, мутные буруны по быстрине реки напоминали известняковые холмы Орловщины, омываемые апрельскими полыми водами. Захар пристрастился к рыбалке — лучшего места, чтобы вернуться к мыслям о пережитом, и не сыщешь! В родной Тереховке он пробавлялся вьюнами и карасиками в заводях. Подрос — отец брал его вместе с мужиками на Нерусу — коварную, злую речку, петляющую по лесам. Здешние уловы поражали воображение жителя Средней России. На удочку брались таймень, угри, белорыбица... Рыбацкая удача — новый предлог навестить Лукию с детишками.

В одиночку и рыбалка не отдых. Привязался, как сосунок к матке, напросился в проводники Захару молоденький лейтенант из военкомата, Вячеслав Безбородько. Только училище окончил парень — в первом же бою ногу потерял... Затрофеила его сюда местная казачка, медсестра фронтовая. Раненого подобрала, в медсанбат сопроводила. Кровь свою дала для переливания, адресок до поры в лифчике носила. Добротой женской сердце в полон взяла.

Познакомились рыбаки, старший и младший, при исполнении служебных обязанностей: лейтенант брал Бондарева на учет. Не поленился офицер встать из-за стола, увидев на пороге гвардии-усача, под локоток взял, усадил в кресло.

Завидев в руках бывшего разведчика стопу наградных книжек и еще несколько бумажек, по которым полагалось кое-что дополучить, лейтенант покраснел до ранних залысин и, забыв об официальной части знакомства, вскрикнул, по-мальчишески восторженно блеснув из-под белесых бровей глазами-васильками:

— Старшина! Бог тебя любил!.. Да здесь «железок» небось побольше, чем у генерала Морозова — есть у нас на учете такой полководец, после отставки на заречном хуторе поселился!..

Сразу осекся, устыдившись смешной поговорки, невесть

откуда прилепившейся к его речи. После всегда называл Захара Тимофеевича на «вы».

У самого Безбородько в память о фронтовом увечье на неширокой, не раздавшейся еще груди колыхалась в одиночестве серебряная медаль, с которой офицер никогда не расставался.

— Ну, уж и полководца нашли,— отказался от такого сравнения разведчик.

На рыбалке молодой офицер входил в настоящий азарт, суетился, волоча неровно сросшуюся ногу, вприпрыжку скакал по берегу.

— Тимофеич!.. Помогите тащить. Тайменища, килограммов на двадцать, бог его любил...— Захар при этом осторожно выводил к отмели окуня фунтов на пять.

Но и это уже был не шутейный повод развести костер и откупорить «белоголовую». Пил лейтенант, как и все делал, со страстью, быстро хмелел и тут же ложился у костра на хвою. Захар делился с ним добычей, чтобы не навлечь на нового дружка гнев казачки, быстро вошедшей после фронтовых лет в роль домовитой, прижимистой хозяйки.

6

Лукия скоро узнала историю гибели семьи Бондаревых, не обижала осиротевшего Захара напрасными подозрениями, без ханжества принимала подарки детям. В праздничные дни Захар приносил бутылку ликера, и Лукия молча расставляла на столе посуду...

Узнала она наконец от подвыпившего Захара и о последних словах смертельно раненного мужа. Всплакнула и вроде покорилась своей доле:

— Ведаю, служивый, что не зря ты у вдовьего окна шапку ломаешь... У тебя, Тимофеич, выбор богат: в какой двор ни глянь — вдова в полном соку или девка-перерosток!

Так прошло два года...

Провожали старшего Михайлова сына, Сашу, в областной центр в техникум. Домой возвращались лесом. Было тихо и грустно под кронами полуоблетевших, багряных с краев берез. Все напоминало о близких переменах в природе. Но перемены эти замечали лишь взрослые, много раз наблюдавшие картины угасания лета.

Средний сын Лукановых, Коля, и младшенькая Леля,

оба в новенькой школьной форме, недавно купленной для них Захаром, на ходу затеяли играть в «пятнашки» и далеко опередили маму с дядей Захаром. Вот когда только Захар заговорил о своих чувствах, напомнил об уходящих летах, о будущем. Лукия молча слушала спутника, время от времени нагибалась, чтобы сорвать поздний цветок — она и сейчас была статна и легка в движениях. Уже давно женщина замечала, что Захар любуется ею, не скрывая своих чувств.

Выслушав Захара, Лукия по-девичьи легко поднялась на цыпочки, потом резко остановилась и протянула ему букетик. Пока он ошалело разглядывал цветы, женщина шагнула навстречу и крепко сжала горячими ладонями его седые виски. Поцеловала раз и другой, с внезапно пробудившейся жадностью.

— Что с вами поделаешь, однолюбы!.. Приходи!

Но женщина не была бы женщиной, если бы всегда шла за своим словом.

Однако когда Захар двумя днями после объяснения в лесу появился в доме Лукановых, то увидел Лукию переменившейся, чужой. Она была в новом платье, но густая коса, сваленная на затылок, была заколота кое-как. Женщина сидела у стола. Глаза ее тяжело уставились куда-то в угол, мимо Захара.

— Нет! — почти выкрикнула Лукия, вставая. — Не приму!.. Михайловых глаз боюсь... Не обессудь, Захар Тимофеевич...

Она поклонилась и крепко прижала ладони к лицу.

Жил Захар теперь по соседству — купил освободившийся домик. Подросшая Леля сама прибегала к нему, училась у папы Захара первым буквам.

Неделю и другую Захар не встречался с Лукией. Пришла сама — дело заставило вспомнить.

— Тимофеич... ты бы урезонил моего балбеса, совсем от рук отошел наш средний, Николай... Не хочет в школу ходить, к табаку пристрастился.

Захар сам не предполагал, что получится так сурово. Заглянул в дневник мальчика, обнаружил между страниц табачное крошево...

Руки потянулись к ремню.

— Как ты смеешь, сморчок, позорить фамилию Лукановых? У тебя такой папа!.. И мама!.. — Захар задыхался от волнения. — Да я тебя сейчас отцовским ремнем фронтовым отхлещу!

Что-то вроде испуга мелькнуло в диковатых с прозеленью глазах мальчика, но тут же он повис на руке Захара.

— Вы кто мне, что бить собираетесь?..

Захар поплелся через порог, втягивая голову в плечи. «В самом деле, кто я им, кем довожусь этой семье?»

Не ведал Захар, чем закончился неприятный разговор матери с Николаем, только паренек вскорости пришел извиняться. Прощенья просил он неуклюже, бычась, медленно ронял слова, пока не добрался до главного:

— Это верно, дядя Захар, что у вас ремень папин?

— Такими вещами не шутят!— без колебаний заявил Бондарев.— Не веришь — приглядись к надписи на левой стороне.

Мальчик разыскал на шершавой коже едва заметные, выведенные химическим карандашом литеры «М. Л.», рядом — несколько совсем почти стершихся цифр — ротный номер разведчика. Глазам не поверил — темным ноготком провел по буквам.

— Поменялись мы с твоим отцом подпоясками,— продолжал привязывать к себе ремешком этим душу подростка Захар.— Сказать по-солдатски: махнули!.. Он мне свой, а я ему свой.

Не нужно было спрашивать о яростном желании мальчишки завладеть дорогой памятью об отце. Но Захар забрал ремень из рук Николая. Забрал да еще добавил при этом:

— Тебе бы отдать ремень и полагалось. Но можно ли передать его в такие руки, если от них за версту смердит табачищем? Отец-то не курил и в окопах. И меня от дурной привычки отвратил — усовестил. Зову, бывалочка, к себе в ячейку махоркой руки погреть. А он выпустит очередь по гитлерюгам, прогреет ствол автомата и озябшие ладошки приставит... Двойная польза... Ты, Коля, видно, по-иному жить хочешь. Задания тебе в школе дают — не выполняешь. Говоришь: забыл! Так и ремень где-нибудь посеешь...

Мальчик всхлипнул от обиды, а Захар говорил и говорил об отце... Не дождавшись брата, Леля прибежала звать на ужин. Обоих увела. За ужином все те же воспоминания. Не о храбрости и сметке отца толковали, а о его аккуратности, преданности слову. Захар — добрая душа!— уже готов был наградить паренька за внимание, передать ремень. Удержала от этого Лукия, сидевшая за

шитьем и внимательно слушавшая тот мужской разговор.

— В армию будем провожать — получишь! — добавила к словам фронтовика мать, откусывая нитку.

Она была явно довольна вечерней беседой.

Паренек остался верен разговору с дядей Захаром. Семилетку закончил крепким середняком, без троек. К началу экзаменов списался с суворовским училищем. Уезжал в Москву по вызову — в уголке чемоданчика лежал туго свернутый отцовский ремень. Там же покоилась выцветшая пилотка с потершейся от времени звездой. Это все ему выделил дядя Захар из своего фронтового запаса.

7

А годы спешили без роздыха, без привала. Мелькали дни куда быстрее, чем на войне. В военкомат Захара Тимофеевича Бондарева уже не так часто, как прежде, звали, поговаривать стали о снятии с учета. Захар Тимофеевич не торопился получать белый билет, ссылаясь на свою особую военную профессию. Как-то даже на сборы попросился с молодыми...

Перед самым выходом на пенсию снова пришла повестка.

Облысевший почти до затылка тонколицый майор Безбородько встретил старшину запаса шутливым упреком, будто надоедливого знакомого:

— Чем вы там, Захар Тимофеевич, занимались на войне, бог вас любил?.. В четвертый раз за последние годы приходится бумаги ваши исправлять...

— Ай оплошку допустил в каком-нибудь деле? — встревожился Бондарев.

— Она самая, оплошка и есть, — сыпал словами майор, открывая скрипучую дверцу сейфа. — Не вами лично допущенная, а противником... Сандомир помните?

— Так точно! — всколыхнулся бывший разведчик. — За два дня до общего наступления посылали в городок ихний... Только не смог я тогда все выполнить до точности... Бумаги в целости принес, а гитлеровец охлял по дороге, не очнулся с перепугу... В канаву я его спустил. Ну, конечно, не похвалили в полку. Может, единственный тот раз за всю войну накладка и вышла.

— В полку поругали, а в дивизии разобрались и орден выписали, — прибавил к чистосердечному признанию разведчика майор, не переставая улыбаться. — Распишитесь-ка здесь, старшина, и получите награду, а я занесу

ее в список... О, да это уже третий орден Славы!.. Поздравляю!.. Выходит, что без пяти минут Герой?

Бондарев осудительно крутнул головой, отодвинул бумаги.

— Зачем зря бросаться таким словом? Работу свою знал Бондарев на войне, только и всего. Другие полегли, не вернулись... Не хуже воевали. Давайте для них и побережем самые хорошие слова.

Майор долго не отпускал руку кавалера трех орденов Славы, с грустью отмечая, что с каждым разом рука эта становится узластей, суше.

— Хорошо, Тимофеич... Не будем. Но магарыч с вас полагается — на рыбалку приносите бутылку коньяку... Между прочим, давно зовет генерал Морозов к себе на озера... Хочет познакомиться... Вот соберется компания, бог вас любил! Орденов куча!

Военком потирал руки от удовольствия, предвкушая добрую выпивку в именитой компании. Но не забыл и о деле:

— В техническое училище у меня просили бывшего фронтовика к допризывникам. Лучше вашей кандидатуры, Тимофеич, не подыскать: четырнадцать наград! Только у генерала Морозова...

Бондарев сидел в замусоленном деревянном кресле с красной коробочкой в руке и будто не радовался награде. Седые кольца волос обвисли. Темные мешки под глазами портили открытое, скуластое лицо. На щеки от глаз поползли морщины.

— Лектор я никакой,— ронял по слову старик,— не моя это работа... К детям с дорогой душой, но не настаивайте.

— Захар Тимофеевич, выручайте!— майор попытался обнять старика.— Скромность не всегда на пользу... Итак, не забудьте: в субботу с Лихотиным к генералу на лесные озера, а в понедельник в училище вас провожу...

— Не в скромности загвоздка,— вдруг заупорствовал Бондарев.— Плох я стал, сердце подводит! И сам не знал бы, да случай помог увериться... Поехали мы как-то с гражданочкой одной в Белоруссию, на могилу супруга ее. Боялся за нее, а помощь потребовалась мне. Как увидел те болота, по которым две недели брюхом елозил, мысли нахлынули — нет спасенья!.. А сердце: тук, тук — и дальше вроде бы ни с места! Чуть ногами вперед не отнесли к братской могиле... Может, оно и к лучшему было бы — не

вернуться с тех болот. Не сейчас, конечно, а годков двадцать пять тому назад. Да пуля не разбирает, кто на этом свете нужнее, кого дети ждут...

— С Лукановой ездили?— догадался майор. Он подвигал мясистыми губами и заговорил громко, убежденно, оберегая Бондарева от воспоминаний о поездке.

— Напрасно вы так на себя сетуете, Захар Тимофеевич! И на гражданской службе вы прожили жизнь достойную! Ребят-то каких вырастили: инженер... офицер... учительница!..

— Хватит меня величать, майор,— вконец засерчал на собеседника Захар.— За доброе слово о детях Луканова спасибо. Моих тут забот самая малость. Было их кому и без меня уму-рассудку наставить... А о детях и помощи моей скажу. Зовет как-то Леля, то есть Ольга Михайловна, на урок к себе, ребятишкам о войне рассказать... Вашей просьбе, товарищ майор, отказал, а ей не смог. Приплелся старый дурак в школу... Трумтурурум!.. Барабан гремит, горн дудит, несут знамя на середину... Галстук мне под белую бороду повязывают... Притихли, что твои воробышки под застрехой, слушают... Слово, другое сказал, чую: слеза в бороду покатилась!.. В Белоруссии от горя по погибшим товарищам плакал, как маленький, а здесь с радости заслаб, на виду у ребяток и девчушек... А вы говорите: герой!— Бондарев вздохнул, развел руками:— Война только в окопах отбушевала, а в сердце клокочет, огнем жалит...— Он подал руку майору и пошел к двери. Что-то недосказанное остановило его у порога. Проговорил, будто долг отдал хорошему человеку:

— К солдатскому празднику нашему — я так надумал — пусть за мной аллейку новую запишут.

— Считайте, Захар Тимофеевич, что аллейка за вами!— подхватил майор.— Сажайте на здоровье!

8

Очередной день в гарнизоне начался с того, что командир части Иван Лихотин собрал сержантский состав на беседу о подготовке к осеннему смотру. Беседы эти в уставном порядке не были обязательными. Но Иван Лихотин начинал службу в запасном полку, в школе младших командиров. Во фронтовые годы командовал отделением танковых десантников. С той далекой юношеской поры Лихотин и уверовал в одну из главных армейских истин: сержант в два раза больше понимает солдата. Полковой

сержант лучше офицера обязан видеть в солдате человека. Сержант видит его и в строю, и задумавшегося над распечатанным конвертом, видит в нательном белье после отбоя и в чем мать родила — в бане...

На время сержантских сборов и сам командир части забывает о своих золотых погонах. Едва выслушав рапорт дежурного о прибытии младших командиров, Лихотин садится в кругу их на табурет, жестом зовет парней поближе.

Так было и на этот раз.

— Тема сегодняшней беседы,— начал Лихотин,— личные качества воина Советской Армии.

Вдруг на командирском столе, за спиной офицера, вздрогнул и забился в тревожном звоне телефон.

Командир части не любил, когда ему мешают в хорошо начатом разговоре, когда складывается настрой беседы. А тут телефонный звонок прервал его прямо на первой фразе. Лихотин досадливо поморщился, извинительно развел руками и прошелся к столу. Он стоял вполоборота к собравшимся, надеясь при первом удобном моменте прекратить разговор. Между тем сержанты сообразили, что на этот раз командира подцепили крепко. А старшина Маремчук, сидевший ближе других к телефону, по правую руку от подполковника, улавливал даже отдельные фразы. Звонили из военкомата:

— Выручай, подполковник!.. Пришли своих солдат на похороны... Хороший солдат скончался, разведчик... Легкая смерть, между прочим: наработался на посадке деревьев, прилег дома по-фронтовому, одетый, и не проснулся. Сердце будто разрывной пулей прошило.

— Солдатская смерть не диковина,— сдержанно сказал подполковник, нетерпеливо перекладывая трубку из правой в левую.

— Похоронить нужно как следует,— не сдавалась трубка.— Кавалер трех орденов...

— Пять человек хватит?!— прервал военкома Лихотин. Он вспомнил, что года полтора тому назад этот же Безбородько уже просил для салюта на могиле офицера запаса четырех или пятерых солдат.

Безбородько так и сыпал словами, будто опасаясь, что его не дослушают до конца.

— Наград четырнадцать!.. Четырнадцать, говорю... Это орденов Славы три!.. Да, да! Полный кавалер... А я его накануне работой нагрузил, бог меня забодай.

Подполковник, приготовившийся как можно скорее отбить телефонную атаку, на минуту задумался. Его остановила цифра четырнадцать! В трубку он произнес:

— Майор!.. Бог тебя любил, а ты не напутал с наградами? У нас в полку и среди кадровиков с таким иконостасом сейчас не найти. Как фамилия покойного? В каком звании служил?

— У вас нет, а у нас на учете имеется полный кавалер орденов Славы!.. То есть был... А звали его Захар Тимофеевич Бондарев... Старшина запаса. Договорились, значит. Пришлешь команду с карабинами?

Маремчук видел, как дрогнула рука подполковника, в которой он держал трубку, и поплыла вниз. Спокойный, слегка иронический тон, каким офицер всегда разговаривал с суетливым по характеру военкомом, внезапно изменился. Лихотин вдруг начал трясти трубку и даже по-фронтовому дунул в нее, хотя слышимость была отличная:

— Вячеслав Карпович!.. Дружище! Это не тот сержант Бондарев, который в Пятой ударной?..

— М-м... Тот, наверное... По документам — и в Пятой ударной служил, и фашистского генерала брал под Каменец-Подольском, и еще многое за ним значится. Одним словом: четырнадцать... Два раза в сводке Главнокомандующего о нем упоминали... Да это же ваш старик, с улицы Космонавтов... У проходной в последние дни работал: аллейку вам подсаживал.

Лихотин теперь хорошо представлял себе невысокого старичка в поношенном картузе и фуфайке. Видел не раз его сгорбленную фигуру. С деревянным ящичком в руке этот старик часто попадался ему на глаза в поселке. По-смешному брал под козырек кепочки, когда с офицером встречался...

9

В одно мгновение здешние встречи с Бондаревым сменились иными картинами. Вспомнил фронтовик Лихотин размытую дождями степную балку у Нижнеднепровки... По правую сторону балки не очень четкий строй выпускников полковой школы, только что выдержавших яростную схватку с танковой бригадой гитлеровцев... У многих пестрели повязки бинтов... Кто-то сидел с перевязанной ногой на пригорке.

Ожидали приезда в часть сержанта Бондарева, того самого разведчика, которому фронтовая газета чуть не

в каждом номере отводила заголовок: «Сержант Бондарев — действует!..» Газету передавали из рук в руки: «Ну-ка, что там про нашего Захара слышно?»

Никогда не возвращался с вражеской полосы сержант Бондарев с пустыми руками. Дерзкие задумки чередовались одна за другой. В часть, где служит двадцатилетний Иван Лихотин, знаменитый разведчик приехал, чтобы подобрать в разведгруппу соратников из нового пополнения.

...Строй замер, и Лихотин со своими однополчанами увидал диво, которое под стать лишь фронтовой обстановке: капитан, их командир курсантской роты, докладывал по всей форме приехавшему на «виллисе»... сержанту. Таков был фронтовой обычай чествовать боевых любимцев!

Как раз перед появлением штабной машины по рукам бойцов прошел свежий номер дивизионки. Иван Лихотин, комсорг роты, получил газету первым. Он сразу увидел броский заголовок: «Находчивость гвардейца»... То было воспоминание одного из участников ночного поединка группы Бондарева с вражеским «секретом». Рассказ бойца был записан по свежему впечатлению. В нем местами сохранились речевые привычки рассказчика. Слова очевидца врезались в память юного Лихотина. С той поры Лихотин бережет газету в семейном альбоме. Приносил он однажды эту фронтовую реликвию и сержантам. Под крупными буквами заголовка было написано:

«...Вышли мы за полночь. Этак после двенадцати... Скоро и нейтралку одолели бросками... Осталось нам две-три перебежки до леса, как вдруг слышу: ефрейтор Белоножко, что шел следом, охнул и сел на землю. Оглянулся — над ним гитлеровец... С ножом! Я за автомат. Фашист попался не из робких, подхватился — и ко мне! Вижу нож в руке, рот перекошен... Я — за руку, а тут его кто-то по башке... Оказывается, это спроворил наш сержант, швырнул автомат фрицу в голову. В два прыжка Бондарев был рядом. Как раз в ту минуту из-за укрытия мелькнуло еще несколько теней. Мы поняли: засада.

То была, братцы мои, жуткая сшибка: ни крикнуть в темноте, ни позвать на подмогу. Немцы были уверены в успехе, потому и действовали холодным оружием. Мы тем более не могли объявить себя огнем. Офицер из засады оказался крепким орешком. Ему удалось вывернуться из-под Бондарева. И тогда наш сержант вспомнил о запасном оружии.

— Лопаты!—громким шепотом напомнил он нам.

Тут, братцы, приключился настоящий шурум-бурум... Мелькают лопаты, охаживаем мы ими по рогатым каскам. Глядим: дело в нашу сторону обернулось. В последний раз сержант огрел по макушке офицера, достал тогда из внутреннего кармана офицерского френча бумаги, сунул их себе за отворот шинели и дал нам знак. Стали считать. Один убитый у нас, еще один боец, Тищенко, стонет с вывихнутым плечом. У сержанта кровь на щеке... Лежим, слушаем. С минуты на минуту связные побитых секретчиков хватятся своих, и тогда нам каюк. Нельзя задерживаться на нейтральной полосе! Стали судить-рядить, сержант произнес под конец заветное наше слово:

— Вперед!

Пока фрицы надумали осветить место сшибки, мы уже подползали к лесу. А в лесу ищи-свищи разведчиков! Задание?.. А как же! Все честь честью выполнили...»

Под заметкой, подписанной незнакомой Лихотину фамилией участника ночного поиска, было несколько строк от редакции:

«Как выяснилось сегодня, немецких секретчиков возглавлял майор фон Веббе, известный фашистский разведчик, окончивший специальную школу абвера. Думал ли профессиональный бандюга, отправляясь в ночную засаду, что примет бесславную смерть от орловского землепашца, хорошо знающего от предков: при защите родной земли и лопата — надежное оружие!..»

Но вот сержант Бондарев, будто сошедший с газетной полосы, застенчиво улыбающийся, с незажившим шрамом на левой щеке, в плащ-накидке, подвязанной истершимся шнурочком у самого подбородка, плечистый, спокойный, медленно идет вдоль первой шеренги... Бондарев иногда останавливался на миг, вглядываясь в лицо воина, касался рукой счастливчика и спрашивал тихо: «Пойдешь?»... Идти нужно было в глубокий тыл, с каким-то очень трудным заданием. Но кто откажется пойти с Бондаревым?!

Разведчик был обычного роста, даже ниже, чем показался в первую минуту, когда выходил из машины. Вот он остановился напротив Лихотина: серые глаза Бондарева, спокойные, с домашней теплинкой, изучающе остановились на Иване. Тот даже качнулся вперед, выражая готовность выйти из строя, лишь бы Бондарев позвал. Но сержант

чуть кивнул ему, возможно поблагодарив за эту понятую им готовность, и прошел к следующему. Лихотину застлала глаза обида. Злость на самого себя: «Значит, не достоин! Есть лучше, конечно же есть!..»

Но что все же помешало проницательному Бондареву пренебречь качествами Ивана Лихотина? Заметил ли он перевязанное запястье — Ивана слегка царапнуло осколком, сущий пустяк... Нужно было, как другие, сбросить повязку в кусты бурьяна... Быть может, выдала природная моложавость Лихотина. Не перед врагом робел — восторженно любовался волевым, властным и открытым русским лицом настоящего разведчика! То было лицо мужества и силы, лицо Победы, о которой думалось в те дни неотступно.

На какое-то время после неудачи с отбором в разведгруппу Иван Лихотин растерялся, перестал уважать себя. Но потом самолюбие вспыхнуло в нем с ревнивой яростью. После фронтовых лет он отказался от увольнения в запас, стал профессиональным военным. Верил Лихотин, что Бондарев тоже навсегда останется в армии, не может не остаться: не может армия обойтись без такого аса ночной разведки. И они еще встретятся... Лихотин постарается подготовить себя таким образом, чтобы при этом не затеряться среди других, не остаться незамеченным.

Удивительное дело: никогда после — в сходных ситуациях, если из лучших требовался самый лучший, когда отбирали кандидатов в военное училище, если из числа преуспевающих офицеров направляли в академию и представляли к наградам, ставили в пример — ни разу не обошли Ивана Лихотина! Торжествуя временную победу над другими, менее старательными, менее удачливыми, Лихотин внутренне всегда вспоминал оценивающий взгляд Бондарева. Лихотин перебрал все в своей душе до мельчайших складочек, перетер, перемыл беспощадно! И в этом помогал ему строгий и одновременно теплый взгляд, обращенный в самую душу. Сам Лихотин учился глядеть на своих подчиненных именно так, как глядел на него когда-то сержант Бондарев.

Да, окажись Лихотин в числе избранных разведчиков, жизнь его наверняка сложилась бы по-иному. Группа та проникла в глубокий тыл. Через несколько дней взяла в плен фашистского генерала с обозом дальнебойных ракет. Одни вернулись в часть с орденом; другие навечно остались в братской могиле под Каменец-Подольском... А сам

Бондарев? От кого-то он слышал после, что с тяжелым ранением разведчик попал в госпиталь. Другие толковали, будто и вовсе остался он за линией фронта...

10

Весть о том, что Захар Бондарев жил все эти годы в Савватеевке, пробавлялся дедовским плотницким ремеслом, ошеломила Лихотина. Значит, было несчетное количество возможностей встретиться с Бондаревым, подружиться с ним. И вот Лихотин, все еще с телефонной трубкой в руке, никак не мог поверить известию. Наконец он взял себя в руки, бережно опустил трубку на рычаг и медленным шагом вернулся к сержантам.

— На чем мы остановились?— спросил офицер.

— Вы говорили об индивидуальных качествах,— подсказал сидевший в первом ряду большелобый, с широкими голубыми глазами старший сержант Лукьянов.

Сержант надеялся: в нынешней беседе командир части вспомнит и о нем.

Лихотин кивком головы молча поблагодарил его.

— Да, да... Так вот, о личном участии командира в каждом сколько-нибудь значительном событии в жизни солдата... Впрочем, время от времени нам полагается отрываться от мелочей повседневности, жить значительно шире... Шире...

Лихотин, не отдавая себе отчета, машинальным движением пальцев расстегнул верхние пуговицы кителя. Говорить подполковнику мешал вновь всплывший из далекого прошлого взгляд Бондарева. И тогда Лихотин преодолел слабость, громко скомандовал:

— Встать!

Сержанты дружно поднялись.

— Товарищи командиры,— заговорил Лихотин, чувствуя одновременно горечь от неожиданной вести и облегчение от принятого решения.— В населенном пункте, где мы служим, сегодня ночью скончался один из настоящих солдат, имя которого в свое время было известно каждому фронтовику... Он был, как и вы, сержантом. Разведчик Бондарев умер своей смертью. Умер от старости, в своем доме, в своей постели. К сожалению, по нашей оплошности, мы почти ничего не знаем о его жизни после войны. Возможно, он совершил много хорошего и на гражданском поприще, оставаясь в душе бойцом, каким был на

фронте... Я встречался с Бондаревым в фронтовой обстановке... Я многим обязан этому человеку... Когда мы соберемся снова, чтобы продолжить нынешний разговор, я расскажу о своей встрече с ним. А сейчас прошу разойтись по ротам и объявить всему личному составу, свободному от караульной службы и нарядов: занятия до обеда отменяются! В парадной форме, при всем наличии орденов и медалей батальону выстроиться на площади у клуба... Пойдем отдать последние почести герою,— закончил Лихотин тихо.

Когда сержанты стали расходиться, Лихотин окликнул Маремчука:

— Передайте командиру роты: от вас выделяется взвод с оружием!

Маремчук молча щелкнул каблуками, сочувственно глядя в лицо подполковника. Остатки смущения и недосказанности прочел он в потускневшем, осунувшемся лице офицера. Затем старшина пошел.

В коридоре штаба старшину настиг голос дежурного: «Лихотин зовет!» Перед тем как вернуться в кабинет командира части, старшина согнал под ремнем складочки гимнастерки. Лихотин сидел на обычном месте, огрузневший, согнувшийся. Пуговицы на кителе все еще были расстегнуты.

— Послушайте, Маремчук,— сказал Лихотин совсем не командирским голосом.— Вам приходилось когда-нибудь с глазу на глаз оставаться с Бондаревым?

— Сколько угодно!— выпалил Маремчук, дернувшись всем телом.— Дедок этот часто стоял по вечерам у дороги... Случалось — один, а как-то с девушкой выходил... Не осведомлен точно, кем она ему доводится: дочерью или внучкой? Знаю, что учительница. Люську мою учит. Раза два видел ее на танцах, с рядовым Зубковым танцевала в Доме культуры...

Слово «старик» никак не укладывалось в сознании Лихотина с образом Бондарева. Сам Лихотин, по-военному стройный и крепкий, еще ни в чем не замечал близящейся старости.

— А так, чтобы... ближе?— продолжал офицер.

— Ближе тоже приходилось,— выкладывал дальше старшина.— Супружница моя, Маруся, как-то привела плотника стеллажи подновить... Ходил он по утрам и после работы через наш двор. Покличь, говорю, плотника! На собрание сочинений мы с Марусей подписались...

— Сделал?

Лицо Маремчука расплылось в виноватой улыбке.

— Обернуться не успели — готово было!.. Марусе еще пришлось извиняться: до получки два дня, а у нас денег в обрез, нечем с мастером расплатиться...

— Что же Бондарев?

— Простак-человек!.. Говорит: «Не беспокойтесь... Когда будут деньги, отнесите Лукии Гавриловне».

— Больше ни о чем не поговорили? О фронте не вспоминал?

— И разговору не было, товарищ подполковник!.. Молчком человек работал... Все они такие, плотники! Да я и видел-то его в тот раз всего несколько минут... Даже как звать не спросил: плотник и плотник... Все они такие!

Лихотин некрасиво усмехнулся.

— Деньги, надеюсь, отнесли? — машинально спросил офицер.

Меньше всего Лихотин интересовался в эту минуту деньгами. Не замечая того, он искал выхода подступающей к сердцу обиды на себя, на старшину, на Зубкова. Усилием воли подавил это раздражение. Старшина тоже молчал. Он не ожидал такого, слишком далекого от служебных дел вопроса. К тому же он просто не знал, отнесла ли жена заработок плотника Бондарева по указанному адресу. Ответил философски обобщенно, почти уверенно:

— Маруся у меня с деньгами оч-чень аккуратная, товарищ подполковник! — Тут же нашелся: — Я проверю!

Чтобы уйти от неприятного разговора, старшина закончил перечисление своих встреч с Бондаревым:

— В последний раз мы с ним на днях встречались. Извинился я за Зубкова. В общем, все нормально обошлось. Не обидчивый попался старичок! Стоит себе, бывало, на обочине или в земле ковыряется. Песню затянем — по стойке «смирно» выпрямится...

На высоком лбу подполковника появились морщины.

— Вы, товарищ Маремчук, какую тему готовите к инспекторской проверке?

— Ночной поиск! — без запинки отчеканил старшина и стал ровнее, будто готовясь к отчету по утвержденной теме.

— Консультация требуется?

Вопрос озадачил Маремчука. На всякий случай он сказал:

— Не отказался бы!

— Так вот на квартиру к вам не плотник приходил, а целая академия по ночному поиску!

Лихотин резко встал, взял фуражку:

— У меня пока все!.. Вы, старшина, свободны.

* * *

На окраине поселка, чуть левее поворота к гарнизонной проходной, среди заросших пыреем холмиков и каменных надгробий, высится дощатая пирамидка со звездой. Тополиная аллея протянула к этой пирамидке свое зеленое крыло.

Летним вечером, когда багрянец угасающего дня еще полыхает в полнеба, а осенью, когда чуть посветлеет от звезд, старшины выводят роты на прогулку. Не доходя до пирамидки, солдаты без команды переходят на строевой шаг. Рядовой Зубков первым — он добился у старших этого права — звонким юношеским тенорком поднимает к звездам знакомый отцам и дедам напев:

Как служил в полку герой —
Был разведчик боевой!..

Содержание

Николай Иванович Родичев

ИЗБРАННОЕ

Рассказы и повести

Редактор *В. Саркисянц*
Художник *Н. Стасевич*
Художественный редактор *А. Никулин*
Технический редактор *В. Флид*
Корректор *Г. Панова*

ИБ № 3176

Сдано в набор 24.01.85. Подписано к печати 13.05.85. А13109. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Гарнитура литерат. Печать высокая. Бумага тип. №1 Усл. печ. л. 27,72. Усл. краск.-отт. 27,72. Уч.-изд. л. 30,29. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1130. Цена 2 р. 20 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Отпечатано с матриц Областной ордена «Знак Почета» типографии им. Смирнова Смоленского облуправления издательств, полиграфии и книжной торговли, 214000, Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2, в Рязанской Областной типографии, 390012, Рязань, ул. Новая, 69/12.

Заказ 2341.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Просим Вас отзывы о книге, ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении, направлять по адресу:

123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62
Издательство «Современник»

Родичев Н. И.

Р60 Избранное: Рассказы и повести/Предисл. Анатолия Иванова.— М.: Современник, 1985.—524 с.

В пер.: 2 р. 20 к.

В книгу писателя Николая Родичева вошли лучшие рассказы и повести, написанные им за три десятилетия работы в литературе. Свое творчество он начинал с рассказов о детстве, затем неоднократно обращался к сельской теме, близка ему и тема Великой Отечественной войны, участником которой он был в юные годы.

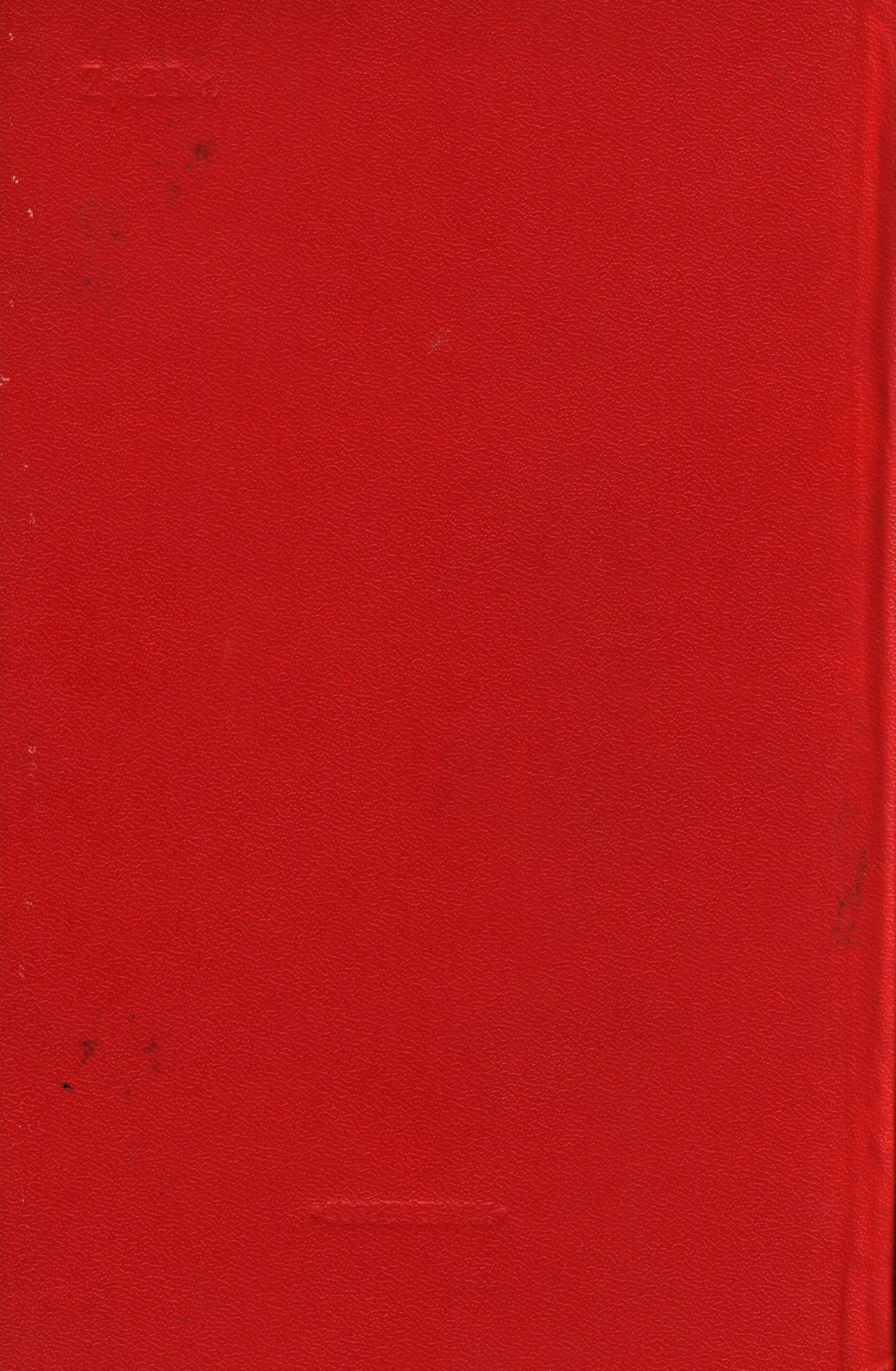
Р $\frac{4702010200-229}{М106(03)-85}$ КБ-4-37-85 ББК84Р7 Р2

'О-

по-
вое
ра-
ой-

Р7

2



НИКОЛАЙ РОДИЧЕВ ◆ ИЗБРАННОЕ